РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ



ИСТОРИЯ И СУДЬБА



МОСКВА
«НАУКА»
2000

УДК 930.85
ББК 85
Р 89

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

академик *Д.С. Лихачев* (председатель, отв. редактор)
Т.Б. Князевская (зам. председателя и составитель)
академик *Б.В. Раушенбах*, академик *Ю.С. Степанов*

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

доктор философских наук *В.В. Бычков*
член-корреспондент РАН *Г.И. Вздорнов*

Русская интеллигенция. История и судьба / Сост. Т.Б. Князевская. – М.: Наука, 2000. – 423 с.
ISBN 5-02-011803-6

В статьях сборника, написанных видными учеными – филологами, историками, философами, искусствоведами, социологами, исследуются социальные и исторические корни такого явления, как русская интеллигенция. Рассматриваются ее функции и роль в прошлом и настоящем России, ее взаимоотношения с государством и народом. В книге нашел отражение взгляд русской интеллигенции конца XX в. на саму себя.

Для филологов, историков, философов, искусствоведов, социологов и всех, кто интересуется русской культурой.

Russian Intelligentsia. History and Fate.

The collection includes articles written by prominent scientists – philologists, historians, philosophers, art critics, sociologists. The authors examine social and historical roots of such a phenomenon as the Russian intelligentsia. Its functions and the role in the past and the present of Russia as well as relations of the Russian intelligentsia with the state and the people are considered in the articles. Views of the Russian intelligentsia of the end of the XXth century on itself has been reflected in the book.

For philologists, historians, philosophers, art critics, sociologists and all those interested in the Russian culture.

ISBN 5-02-011803-6 © Издательство "Наука", 2000

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Предлагаемая вниманию читателя книга "Русская интеллигенция. История и судьба" представляет собой сборник научных статей, написанных преимущественно учеными-гуманитариями, а также представителями искусства и литературы, размышляющими о том, что такое русская интеллигенция как социальная группа, как этическое и культурологическое понятие, как феномен русской и мировой истории. Эти размышления, даже если они и не носят явно личностного характера, тем не менее всегда имеют личностную основу, поскольку о русской интеллигенции пишут русские интеллигенты, для которых рассматриваемые в книге проблемы имеют жизненно важное значение.

Однако авторы этих статей – прежде всего ученые, поэтому содержание их исследований лишено злободневности и политизации, они не возражают, а доказывают, не просто отстаивают свою точку зрения, но аргументируют ее. Средствами своей науки они рассматривают в который раз сформулированную, но так и не решенную до конца проблему специфического понятия русской культуры и русской жизни как таковой и до сих пор обозначенного в иностранных словарях пометой *рус.* (русский) понятия интеллигенции.

Никто из создателей этой книги не тешит себя иллюзией относительно окончательного решения вопроса, точного описания указанного понятия, но все надеются на важность и полезность данного сборника, который именно в силу отсутствия намеренной политической ангажированности может помочь найти общие точки зрения для дальнейшего понимания феномена русской интеллигенции, ее социальных и исторических корней, отражения ею культурной специфики России, ее взаимоотношений с государством и народом.

Мысль о создании научной книги, посвященной теме русской интеллигенции, возникла при подготовке конференции "Роль русской интеллигенции в формировании картины мира", проведенной в 1997 г. Научным советом по истории мировой культуры РАН совместно с Институтом искусствознания Министерства культуры Российской Федерации. Многие статьи – это переработанные доклады, прочитанные на указанной конференции, часть статей написана специально для этого сборника, и несколько работ были опубликованы ранее*.

Книга условно делится на четыре раздела: первый составляют статьи, посвященные теоретическим аспектам проблемы; во втором рассматриваются вопросы, порождаемые интеллигенцией, но не решаемые ею; третий посвящен анализу ее исторического прошлого; в центре внимания четвертого раздела находятся кон-

---

* См.: Культурологические записки. М.: 1998. Вып. 4: Роль интеллигенции в формировании картины мира.

кретные судьбы отдельных представителей интеллигенции в контексте общей проблематики сборника.

Авторы исследований зачастую опираются на одни и те же факты и явления, говоря о происхождении термина "интеллигенция", цитируют одни и те же работы одних и тех же авторов, однако совершенно по-разному интерпретируя приводимые высказывания.

На страницах книги возникает живая дискуссия, поскольку при общем намерении создать научный труд, посвященный анализу феномена русской интеллигенции, сама трактовка проблемы у разных авторов своя.

Мы приглашаем наших читателей прислушаться к полифонии мнений людей, так или иначе принадлежащих к русской интеллигенции, – мнений, отражающих взгляд русской интеллигенции конца XX в. на саму себя.

I

М.Л. Гаспаров

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ, ИНТЕЛЛИГЕНТЫ, ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ

В середине XVIII в. произошло и осталось никем не замеченным одно из самых важных событий в истории человечества. В Англии начался демографический взрыв, стремительный рост населения, который потом волнами покатился по Европе и миру и не останавливается до сих пор. Отчего он начался – дело спорное: раньше считали – от успехов медицины, теперь считают – от улучшения питания. Но значение его было бесспорным. До этих пор человечество много тысяч лет боролось с природой за выживание, и большие эпидемии или неурожаи могли уничтожить его даже не вполовину, а целиком. (Если чума XIV в. унесла меньше народу, чем могла, то только потому, что по тогдашним дорогам даже чуме было трудно пробираться.) Чтобы выстоять в борьбе с природой, люди сплачивались в общество. Общество было жесткое, традиционалистическое, с раз и навсегда выработанными порядками и идеалами. Это произошло потому, что ситуации борьбы с природой были однообразными: важно было копить коллективный опыт и хранить традиции.

В XVIII в. стало ясно, что победа одержана, человечество спаслось от вымирания. (Символом – если нужен символ – можно считать образ Робинзона Крузо, выживающего в заведомо гибельном единоборстве с природой.) Борьба с природой из оборонительной стала наступательной, ситуации ее сразу сделались гораздо менее предсказуемыми, коллективного опыта для них было уже недостаточно. Кроме того, – и это очень важно – старый опыт, накопленный обществом и отложившийся в его устройстве, теперь уже начинал мешать, требовал смены устройства, а оно тоже не давалось без борьбы. В психиатрии это называется неврозом: психика человека, ощущая какую-то угрозу, строит механизм, все более мощный, защищающий от этой угрозы; угроза проходит, а защитный механизм остается, требует все больших душевных затрат впустую и наконец заставляет человека лечиться от собственного защитного механизма. Лечение человека бывает трудным, лечение общества – тоже трудным и часто кровавым.

Говорят, в звериных стаях есть особи-маргиналы с нестандартным поведением: их держат в унижении и пренебрежении, однако не убивают. А когда стая оказывается в нестандартной, опасной ситуации, их выпускают вперед: если погибнут – не

© М.Л. Гаспаров, 2000

жалко, а если не погибнут, то, может быть, отыщут выход. Вероятно, в человеческой стае тоже есть такие маргиналы с таким отношением к ним; теперь, во время всеевропейской перестройки, спрос на них вырос, они и стали героями новой, индивидуалистической эпохи. К ним и относится определение "интеллиджентсии", цитируемое Д. Мирским из Оксфордского словаря: "часть нации, стремящаяся к самостоятельному мышлению". Когда культурным героем прежних эпох был святой или рыцарь, в нем ценилась не личность – ценилось, с какой полнотой они воплощают общехристианские или общесословные идеалы. Теперь в таком герое стала цениться именно индивидуальность, непохожесть на других; отсюда пошли все романтические и декадентские демоны и титаны. Это в литературе; а в жизни отсюда пошли те работники умственного труда, о которых идет спор в этой книге.

Между ними произошло как бы разделение сфер деятельности. Одни взяли на себя продолжение борьбы с природой – уже в наступлении: это те ученые и техники, наследники научной революции XVII в. и промышленной революции XVIII в., которым мы обязаны нашей современной материальной культурой (без нее не было бы и духовной). Другие взяли на себя борьбу со сковывающими порядками общества – борьбу оборонительную, новую и непривычную: это профессиональные политики со всем хорошим и плохим, что связано для нас с этим словом. Формы этой борьбы по усовершенствованию общества сложились в XVIII в. в той же Англии и распространились в XIX в. по всему континенту: парламентское равновесие власти и оппозиции. Отношение к власти строилось по образцу отношений в природе, и само слово "оппозиция" было взято из астрономии. Когда эта государственная машина давала сбой, то происходили революции – тоже термин из астрономии. Специалисты и политики смотрели друг на друга свысока и до сих пор не выяснили, в каком соотношении они должны находиться у власти; но сейчас нам это неважно.

Здесь пора начинать игру в терминологию. На Западе работники умственного труда назывались *les intellectuels*, в России с 1860-х годов – *интеллигенты*. Неопределенность этого понятия явствует из всех без исключения статей этого сборника. Когда с одинаковой легкостью говорят "Бердяев как типичный русский интеллигент" и "Чехов как типичный русский интеллигент", то совершенно ясно, что при такой расплывчатости понятия ни о какой терминологической точности здесь не может быть и речи. Можно было бы попытаться закрепить слова *работник умственного труда* за учеными, наступающими на природу, а слово *интеллигент* – за общественными деятелями, совершенствующими общество. Но и тут всякий носитель русского языка не поколеблется сказать, что и Менделеев – интеллигент, и Эйнштейн – интеллигент. Здесь не явление ищет себе слова, а слово ищет для себя явления. Точно так же, например, русский язык имеет свое слово *рассказ* и заемное слово *новелла*; означают они в точности одно и то же: короткое прозаическое повествование, но русские литературоведы немало пролили чернил, чтобы закрепить за каждым какие-нибудь надуманные оттенки значения. Поэтому попробуем подойти к понятию "интеллигенция" через историю слова *интеллигенция*.

У слова *интеллигенция* и смежных с ним есть своя история. Очень упрощенно говоря, его значение прошло три этапа. Сперва оно означало "люди с умом" (этимологически), потом "люди с совестью" (их-то мы обычно и подразумеваем в дискуссиях), потом просто "очень хорошие люди".

Слово *intelligentia* принадлежит еще классической, цицероновской латыни; оно значило в ней "понимание", "способность к пониманию". За две тысячи лет оно поменяло в европейской латыни много оттенков, но сохранило общий смысл: В. Тредиаковский предлагает для него термин "разумность". В русский язык оно вошло именно в своем этимологическом смысле. В. Виноградов в "Истории слов" (М., 1994. С. 227–229) напоминает примеры из второй половины XVIII – первой половины XIX в.: у масонов это высшее, бессмертное состояние человека как умного существа, у А. Галича "интеллигенция – разумный дух", у Н. Огарева иронически упоминается "какой-то субъект с гигантской интеллигенцией", и даже "собака стала... интеллигентнее, впечатлительнее и сообразительнее, ее кругозор расширился" (Тургенев, 1871). Более позднее определение Даля (1881): "Интеллигенция – разумная, образованная, умственно развитая часть жителей". Вместе со словом *интеллигенция* в этом смысле, как мы видим, появляется производное слово *интеллигентный*, позже – слово *интеллигент*, еще позже – производное от него слово *интеллигентский*. Последним приходит (из английского и французского) слово *интеллектуал*: его еще нет в словаре Ушакова 1935 г., но оно уже есть в Малом академическом словаре 1961 г.

Примеров такого – интеллектуалистического – значения слова *интеллигенция* и остальных в этом сборнике приведено немало. Я хотел бы добавить еще один, малоизвестный, – из введения к неизданной "Методологии точного литературоведения" Б.И. Ярхо (1889–1942): «Наука проистекает из потребности в знании, и цель ее (основная и первичная) есть удовлетворение этой потребности... Вышеозначенная потребность свойственна человеку так же, как потребность в размножении рода: не удовлетворивши ее, человек физически не погибает, но страдает порой чрезвычайно интенсивно. Потребностью этой люди одарены в разной мере (так же, как, напр., сексуальным темпераментом), и этой мерой измеряется степень "интеллигентности". Человек интеллигентный не есть субъект, много знающий, а только обладающий жаждой знания выше средней нормы» (см.: Контекст – 1983. М.: Наука, 1984. С. 205).

Подчеркиваю, это определение, целиком интеллектуалистическое, принадлежит человеку последней предреволюционной формации – той, с которой расправлялась революция (писаны эти слова в 1936 г. в сибирской ссылке). Наступает советское время, культура распространяется не вглубь, а вширь, образованность мельчает. По иным причинам, но то же самое происходит и в эмиграции: вспомним горькую реплику Ходасевича, что скоро придется организовывать «общество людей, читавших "Анну Каренину"» и пр. (Г.П. Федотов вполне серьезно предлагал подобные меры для искусственного создания "новой русской элиты", которая затем распространила бы свое культурное влияние на все общество и т.д.). Казалось бы, тут-то и время, чтобы интеллектуальный элемент понятия "интеллигенция" повысился в цене. Случилось обратное: чем дальше, тем больше подчеркивается, что образованность и интеллигентность – вещи разные, что можно много знать и не быть интеллигентом, и наоборот. Окончательный удар по этому интеллектуалистическому понятию интеллигенции нанес А.И. Солженицын, придумав слово без промаха: *образованщина*. Конечно, для порядка образованщина противопоставлялась истинной образованности. Но было ясно, что главный критерий здесь уже не умственный, а нравственный: коллаборационист, который несет свои умственные способности на службу советской власти, – не настоящий интеллигент.

Теперь зайдем с другой стороны – от производного слова *интеллигентный*. При Тургеневе, как мы видели, оно означало лишь умственные качества – хотя бы собаки. Для Даля оно еще не существует. Около 1890 г. оно ощущается как новомодный варваризм (В.В. Виноградов цитирует филиппику И.М. Желтова). Слово *интеллигентный* – производное от *интеллигенция* (сперва как "умственные способности", потом как "совокупность их носителей"). Близкое слово *интеллигентский* – производное от более позднего слова *интеллигент*. Как *интеллигенция*, так и *интеллигент* – слова, с самого начала не лишенные отрицательных оттенков значения: "интеллигенция" (в отличие от "людей образованных") охотно понималась как "сборище недоучек", примеры тому (в том числе из Щедрина) подобраны у Виноградова; издевательское выражение "а еще интеллигент!" было ходячим уже при Саше Черном. Но на производные прилагательные эти отрицательные оттенки переходят в разной степени.

Слово *интеллигентский* и Ушаков, и академический словарь определяют: "свойственный интеллигенту" с отрицательным оттенком: "о свойствах старой, буржуазной интеллигенции" с ее "безволием, колебаниями, сомнениями". Слово *интеллигентный* и Ушаков, и академический словарь определяют: "присущий интеллигенту, интеллигенции" с положительным оттенком: "образованный, культурный". "Культурный", в свою очередь, здесь явно означает не только носителя "просвещенности, образованности, начитанности" (определение слова *культура* в академическом словаре), но и "обладающий определенными навыками поведения в обществе, воспитанный" (одно из определений слова *культурный* в том же словаре). Антитезой к слову *интеллигентный* в современном языковом сознании будет не столько *невежда*, сколько *невежа* (а к слову *интеллигент* – не *мещанин*, а *хам*). Каждый из нас ощущает разницу, например, между "интеллигентная внешность", "интеллигентное поведение" и "интеллигентская внешность", "интеллигентское поведение". При втором прилагательном как бы присутствует подозрение, что на самом-то деле эта внешность и это поведение напускные, а при первом прилагательном – подлинные. Мне запомнился характерный случай. Лет десять назад критик Андрей Левкин напечатал в журнале "Родник" статью под заглавием, которое должно было быть вызывающим: "Почему я не интеллигент". В.П. Григорьев, лингвист, сказал по этому поводу: «А вот написать: "Почему я не интеллигентен" у него не хватило смелости».

Попутно посмотрим на еще одну группу мелькнувших перед нами синонимов: *просвещенность, образованность, воспитанность, культурность*. Какие из них более положительно и менее положительно окрашены? *Воспитанность* – это то, что впитано человеком с младенческого возраста, "с молоком матери": оно усвоено внутрь прочнее и глубже всего, однако по содержанию оно наиболее просто, наиболее доступно малому ребенку: "не сморкаться в руку" заведомо входит в понятие "воспитанность", а "знать, что дважды два четыре" – заведомо не входит. *Образованность* относится к человеку, уже сформировавшемуся, форма его совершенствуется, корректируется внешней обработкой, приобретает требуемый образ ("ображать камень" – "выделывать вещь из сырья", – пишет Даль) – образ, подчас довольно сложный, но всегда благоприобретенный трудом. *Просвещенность* – тоже не врожденное, а благоприобретенное качество: свет, пришедший со стороны, просквозивший и преобразовавший существо человека; здесь речь идет не о внешних, а о внутренних проявлениях образа человека, поэтому слово *просвещенный* ощущается как более воз-

вышенное, духовное, чем *образованный*. (Слово *просвещенцы* звучит менее обидно, чем *образованцы*.) Наконец, *культурность*, слово самое широкое, явным образом покрывает все три предыдущие и лишь в зависимости от контекста усиливает то или другое из их значений. Самым молодым и активным в этой группе слов является *культурность*, самым старым и постепенно выходящим из употребления – *просвещенность*; уже Даль сводит его к образованности: "просвещенный человек – современный образованьем, книжный". Понятие о просвещенности как свойстве более внутреннем, чем образованность, и более высоком, чем простая воспитанность, исчезает из языка. Освободившуюся нишу и занимает новое значение слова *интеллигентность*: человек интеллигентный несет в себе больше хороших качеств, чем только воспитанный, и несет их глубже, чем только образованный.

Таким образом, понятие "интеллигенция" в русском языке, в русском сознании любопытным образом эволюционирует: сперва это "служба ума", потом "служба совести" и, наконец, если можно так сказать, "служба воспитанности". Это может показаться вырождением, но это не так. Службу воспитанности тоже не нужно недооценивать: у нее благородные предки. Для того, что мы называем "интеллигентностью", "культурностью", в XVIII в. синонимом была "светскость", в средние века – "вежество", куртуазия, в древности – humanitas, причем определялась эта humanitas на первый взгляд наивно, а по сути очень глубоко: во-первых, это разум, а во-вторых, умение держать себя в обществе. Особенность человека – разумность в отношении к природе и humanitas в отношении к обществу, т.е. осознанная готовность заботиться не только о себе, но и о других. На humanitas, на искусстве достойного общения между равными держится все общество. Не случайно потом на основе этого – в конечном счете бытового – понятия развилось такое возвышенное понятие, как "гуманизм".

И, заметим, именно эта черта общительности все больше выступает на первый план в развитии русских понятий "интеллигенция", "интеллигентный". "Интеллигенция" в первоначальном, этимологическом смысле слова, как "служба ума", была обращена ко всему миру, живому и неживому, – ко всему, что могло в нем потребовать вмешательства разума. "Интеллигенция" в теперешнем, заключительном смысле слова, как интеллигентность, "служба воспитанности", "служба общительности", проявляется только в отношениях между людьми, причем между людьми, сознающими себя равными, "ближними", говоря по-старинному. Когда я говорю *Мой начальник – человек интеллигентный*, это понимается однозначно: мой начальник умеет видеть во мне не только подчиненного, но и такого же человека, как он сам.

А *интеллигенция* в промежуточном смысле слова, "служба совести"? Она проявляет себя не в отношениях с природой и не в отношениях с равными, а в отношениях с высшими и низшими – с властью и с народом. Причем оба этих понятия, и "власть" и "народ", достаточно расплывчаты и неопределенны. Именно в этом смысле интеллигенция является специфическим явлением русской жизни второй половины XIX – начала XX в., – тем самым явлением, которое находится в центре внимания этого сборника. Оно настолько специфично, что западные языки не имеют для него названия и в случае нужды транслитерируют русское: *intelligentsia*. Для интеллигенции как службы ума существуют устоявшиеся слова: *intellectuals, les*

intellectuels. Для интеллигентности как умения уважительно обращаться друг с другом в обществе существуют синонимы столь многочисленные, что они даже не стали терминами. Для "службы совести" – нет. (Что такое совесть и что такое честь? И то и другое определяет выбор поступка, но честь с мыслью "что подумали бы обо мне отцы", совесть – с мыслью "что подумали бы обо мне дети".) Более того, когда европейские *les intellectuels* вошли недавно в русский язык как *интеллектуалы*, то слово это сразу приобрело отчетливо отрицательный оттенок: "рафинированный интеллектуал" (словосочетание из Малого академического словаря), "высоколобые интеллектуалы". Почему? Потому что в этом значении есть только ум и нет совести, западный "интеллектуал" – это специалист умственного труда и только, а русский "интеллигент" традиционного образца – нечто большее. И наоборот, когда западные историки (привыкшие, что их les intellectuels исправно служат обществу и государству, каждый в своей области) стараются понять, в чем особенность русской intelligentsia, то они определяют ее приблизительно так: "это – слой общества, воспитанный в расчете на участие в управлении обществом, но за отсутствием вакансий оставшийся со своим образованием не у дел". Отсюда и оппозиционность: когда тебе не дают места, на которое ты рассчитывал, ты, естественно, начинаешь дуться.

В чем те особенности русской действительности, которые породили это явление, удивляющее иностранцев? Как всегда, в том, что России за три века пришлось пройти ускоренный курс европейского развития. Все мы помним блестящую картинку В.О. Ключевского, как в русском обществе XVIII в. при дворе сменялись навигацкие ученики, вертопрахи, вольтерьянцы и то ли масоны, то ли служаки, причем каждое очередное воспитание сходило со сцены, не успев быть востребованным. Русская власть была традиционалистична и неповоротлива, homines novi в ее рядах (вроде Сперанского) появлялись не чаще, чем в Древнем Риме. Отмена крепостного права при Николае I обдумывалась десятилетиями, но обдумывалась в секретных комитетах, а для общественного обсуждения была запрещена. Западная государственная машина, двухпартийный парламент с узаконенной оппозицией, дошла до России только в 1905 г. До этого всякое участие образованного слоя общества в общественной жизни обречено было быть не интеллектуальским, практическим, а интеллигентским, критическим – взглядом из-за ограды.

Власть была нерасчлененной и аморфной, она требовала не специалистов, а универсалов. Виднее всего это было на больших переломах: при Петре в таких людях, как Татищев или Нартов; при большевиках, когда комиссара с легкостью перебрасывали из ЧК в НКПС. В промежутках этого универсализм выглядел мельче и комичнее, но оставался тем же: кажется, это Вяземский иронизировал: "назначь Жуковского командовать кавалерией – все возмутятся, а назначили генерала командовать финансами – никто не удивляется". Пенять на это не приходится, такова была историческая ситуация России; в конце концов крестьянскую реформу 1861 г. тоже провели военные и статские генералы, а не специалисты по народному хозяйству.

Где властью занимаются профессионалы-политики, там вопрос об отношении интеллектуалов к власти не стоит – во всяком случае, не в большей степени, чем об отношении их, скажем, к экономике. В России власть непрофессиональна, случайна, непредсказуема – при царе ли, при Ельцине ли: она напоминает власть в волчьей стае с паханом-государем во главе. Власть закона в России насаждали и Екатерина II, и Николай I, и Александр II: все оказывалось прежде-

временно, результаты напоминали больше европейский XVI в., чем даже XVIII-й. Когда военная реформа запрещала бить солдат по закону, их били по обычаю. Сейчас любят определять интеллигенцию как хранительницу традиций (иногда забывая прибавлять: "духовных"; впрочем, власть – это тоже в конечном счете духовная категория). На самом деле в гораздо большей степени хранительницей традиций является власть – как в волчьей стае. Радоваться ли этому? В одной из статей этой книги интеллигенция определена как "профессиональный ревизионизм"; это очень точно, а что в русских условиях такой профессиональный ревизионизм очень легко превращался в профессиональное революционерство – очень естественно.

Русская интеллигенция была западным интеллектуальством, пересаженным на русскую казарменную почву. Интеллигенция есть часть народа, занимающаяся умственным трудом, и только в силу исторических неприятностей берущая на себя дополнительную заботу: политическую оппозиционность. Может быть, нервничанье интеллигенции о своем отрыве от народа было прикрытием стыда за свое недотягивание до Запада? Интеллигенции вообще не повезло, ее появление совпало с буржуазной эпохой национализмов, и широта кругозора давалась ей с трудом. А русской интеллигенции приходилось преодолевать столько местных особенностей, что она до сих пор не чувствует себя в западном интернационале. Щедрин жестко сказал о межеумстве русского человека: в Европе ему все кажется, будто он что-то украл, а в России – будто что-то продал.

Критический взгляд из-за ограды – ситуация развращающая: критическое отношение к действительности грозит стать самоцелью. Анекдот о гимназисте, который по привычке смотрит столь же критически на карту звездного неба и возвращает ее с поправками, – естественное порождение русских исторических условий. Парламентская государственная машина на Западе удобна тем, что роль оппозиции поочередно примеряет на себя каждая партия. В России, где монопольная власть до последнего момента не желала идти ни на какие уступки, оппозиционность поневоле стала постоянной ролью одного и того же общественного слоя – чем-то вроде искусства для искусства. Даже если открывалась возможность сотрудничества с властью, то казалось, что практической пользы в этом меньше, чем идейного греха – поступательства своими принципами.

Особенно это выявилось в последние десятилетия советской власти. Б.А. Успенский в недавней статье прямо называет логически определяющим признаком русской интеллигенции принципиальную невовлеченность в политические структуры. Идеальный ее тип – диссиденты, идущие в истопники и дворники, чтобы только не служить неприемлемой власти. (Этот тип маргинальности называется богемой; он выработался в романтическую эпоху среди людей искусства, теперь он распространился на людей науки.) Разумеется, в истопники и дворники в буквальном смысле слова шло меньшинство оппозиционно настроенных интеллигентов; большинство находило себе места младших сотрудников при не очень политизированных областях знания. Здесь возникали свои психологические сложности. А.К. Жолковский в ретроспективном анализе собственного жизненного поведения в 1970-е годы показывает блестящий тому пример: он работал на радио при вещании на суахили; этим он удачно отгораживался от идеологического участия в окружающей советской жизни, однако этим же он нес советское идеологическое давление в далекую сомалийскую жизнь, о чем предпочитал не думать.

Почему русская интеллигенция ведет свою историю с 1860-х годов? Просвещение распространялось в России, как всюду, сверху вниз – от узкого образованного слоя к народу. В средние века эта передача культуры от верхов к низам осуществлялась духовным сословием, в XVIII в. – дворянским, но мы не называем интеллигенцией ни духовенство, ни дворянство, потому что оба сословия занимались этим неизбежным просветительством лишь между делом, между службой Богу или государю. Понятие интеллигенции появляется с буржуазной эпохой – с приходом в культуру разночинцев, т.е. выходцев из тех сословий, которые им самим и предстоит просвещать. Психологические корни "долга интеллигенции перед народом" – именно здесь: если Чехов, сын таганрогского лавочника, смог окончить гимназию и университет, он чувствует себя обязанным постараться, чтобы следующее поколение лавочниковых сыновей могло быстрее и легче почувствовать себя полноценными людьми, нежели он. Если и они будут вести себя, как он, то постепенно просвещение и чувство человеческого достоинства распространится на весь народ – по трезвой чеховской прикидке, лет через двести. Оппозиция здесь ни при чем, и Чехов спокойно сотрудничает в "Новом времени". А если чеховские двухсотлетние сроки оказались нереальны, то это потому, что России приходилось торопиться, нагоняя Запад, – приходилось двигаться прыжками через ступеньку, на каждом прыжке рискуя сорваться в революцию.

"Долг интеллигенции перед народом" своеобразно сочетался с ненавистью интеллигенции к мещанству. Говоря по-современному, цель жизни и цель всякой морали в том, чтобы каждый человек выжил как существо и все человечество выжило как вид. Интеллигенция ощущает себя теми, кто профессионально заботится, чтобы человечество выжило как вид. Противопоставляет она себя всем остальным людям – тем, кто заботится о том, чтобы выжить самому. Этих последних в XIX в. обычно называли "мещане" и относились к ним с высочайшим презрением, особенно поэты. Это была часть того самоумиления, которому интеллигенция была подвержена с самого начала. Такое отношение несправедливо: собственно, именно эти мещане являются теми людьми, заботу о благе которых берет на себя интеллигенция. (Когда в басне Менения Агриппы живот, руки и ноги относятся с презрением к голове, это высмеивается; когда голова относится с презрением к животу, рукам и ногам, это тоже достойно осмеяния, хотя, что характерно, об этом никто не написал басню.) О классическом типе мещанина, флоберовском мсье Омэ, Ренан сказал: "Если бы мир не состоял из таких Омэ, нас всех давно бы сожгли на кострах".

Мы не касаемся еще одной смежной общественной прослойки – "полуинтеллигенции": это слишком далеко бы нас завело. Между тем совершенно ясно, что когда герои Зощенко с уважением говорят друг о друге "полуинтеллигент" или когда у Алданова проходной (комический, но не отрицательный) персонаж говорит: "я принадлежу к высшей полуинтеллигенции нашего местечка", то речь идет о социальных процессах, очень массовых и очень важных для современной культуры.

Отстраненная от участия во власти и неудовлетворенная повседневной практической работой, интеллигенция сосредоточивается на работе теоретической – на выработке национального самосознания. Этой теме уделено неожиданно много внимания в настоящем сборнике. Самосознание, что это такое? Гегелевское значение, где самосознание было равнозначно реальному существованию, видимо, уже забыто. Остается самосознание как осознание своей отличности от кого-то друго-

го. В каких масштабах? Каждый человек, самый невежественный, не спутает себя со своим соседом. В каждом хватает самосознания, чтобы дать отчет о принадлежности к такой-то семье, профессии, селу, волости. (Какое самосознание было у Платона Каратаева?) Наконец, при достаточной широте кругозора – о принадлежности ко всему обществу, в котором он живет. Можно говорить о национальном самосознании, христианском самосознании, общечеловеческом самосознании. Складывание интеллигенции совпало со складыванием национальностей и национализмов, поэтому "интеллигенция – носитель национального самосознания" мы слышим часто, а "носитель христианского самосознания" (отменяющего нации) – почти никогда. А в нынешнем мире, расколотом и экологически опасном, давно уже стало главным "общечеловеческое".

Когда западные интеллектуалы берут на себя заботу о самосознании общества, то они вырабатывают науку социологию. Когда русские интеллигенты сосредоточиваются на том же самом, они создают идеал и символ веры. В чем разница между интеллектуальским и интеллигентским выражением самосознания общества? Первое стремится смотреть извне системы (сколько возможно), второе – переживать изнутри системы. Первое рискует превратиться в игру мнимой объективностью, второе – замкнуться на самоанализе и самоумилении своей "правдой". В отношениях с природой важна истина, в отношениях с обществом – правда. Одно может мешать другому, чаще – второе первому. При этом сбивающая правда может быть не только революционной ("классовая наука", всем нам памятная), но и религиозной (отношение церкви к системе Коперника). "Самосознание" себя и своего общества как бы противополагается "сознанию" мира природы. Пока борьба с природой и познание природы были важнее, чем борьба за совершенствование общества, в усилиях интеллигенции не было нужды. Сейчас, когда мир, природа, экология снова становятся главной заботой человечества, должно ли измениться место и назначение интеллигенции? Что случится раньше: общественный ли конфликт передовых стран с третьим миром (для осмысления которого нужны интеллигенты-общественники) или экологический конфликт с природой (для понимания которого нужны интеллектуалы-специалисты)?

"При широте кругозора", – сказали мы. Просвещение – абсолютно необходимая предпосылка интеллигентности. Нынешние все более частые декларации, что образование не гарантирует интеллигентности и что в людях простых и неученых можно встретить больше интеллигентности, чем в иных профессорах, – это только значит (как мы уже говорили), что понятие интеллигентности сдвинулось в область чистой нравственности и что иные профессора, видимо, на самом деле образованны плохо. Сократ говорил: "Если кто знает, что такое добродетель, то он и поступает добродетельно; а если он поступает иначе, из корысти ли, из страха ли, то он просто недостаточно знает, что такое добродетель". Культивировать совесть, нравственность, не опирающуюся на разум, а движущую человеком непроизвольно, – опасное стремление. Что такое нравственность? Умение различать, что такое хорошо и что такое плохо. Но для кого хорошо и для кого плохо? Здесь моральному инстинкту легко ошибиться. Даже если абстрагироваться до предела и сказать: "хорошо все то, что помогает сохранить жизнь, во-первых, человеку как существу и, во-вторых, человечеству как виду", то и здесь между этими целями "во-первых" и "во-вторых" возможны столкновения; в точках таких столкновений и разыгрываются обычно все сюжеты литературных и жизненных трагедий. Интеллигенции следует помнить об этимологии собственного названия.

И как власть была нерасчлененной и аморфной, так и формы интеллигентской оппозиции были нерасчлененными, литература, публицистика и философия сплывались в какой-то первоначальный синкретизм. (Впрочем, в предромантической и романтической Европе тоже можно найти тому множество примеров.) Теперь иные теоретики русской философии пробуют выдавать этот архаический синкретизм за грядущий синтетизм всеединства – все равно как Герцен видел в архаической русской общине образец грядущего социализма. Сейчас критика любит горевать, что русская литература перестает быть учителем и вождем, а становится, как на Западе, беллетристикой, чисто художественным явлением. Между тем это естественный результат развития, дифференциации культуры: публицистика – публицистике, эстетика – эстетике.

Точно так же, вероятно, кончается и эпоха русской интеллигенции образца XIX в., которая одна работала и за искусство, и за философию, и за политику. Русское общество медленно и с трудом, но все же демократизируется. Отношения к вышестоящим и нижестоящим, к власти и народу отступают на второй план перед отношениями к равным. Не нужно бороться за правду, достаточно говорить правду. Не нужно убеждать хорошо работать, а нужно показывать пример хорошей работы на своем месте. Это уже не интеллигентское, это интеллектуальское поведение. Мы видели, как критерий классической эпохи, совесть, уступает место двум другим, старому и новому: с одной стороны, это просвещенность; с другой стороны, это интеллигентность как умение чувствовать в ближнем равного и относиться к нему с уважением.

Это хорошо, лишь бы понятие "интеллигент" не самоотождествилось, расплываясь, с понятием "просто хороший человек". "Психологическое сословие" – удачно было сказано о современной интеллигенции на одной из страниц этой книги. Такое самоощущение опасно: умиленный самоанализ может прогрессировать, и как бы сама эта книга не оказалась его проявлением. Нынешнее обсуждение следовало бы начать с вопроса: считаем ли мы, обсуждающие, себя интеллигентами? За себя я ответил бы: нет, я – работник умственного труда на государственной зарплате. С этой точки зрения я и пытался ответить на вопросы дискуссии.

Ю.С. Степанов

"ЖРЕЦ" НАРЕКИСЬ, И ЗНАМЕНУЙСЯ: "ЖЕРТВА"

(К ПОНЯТИЮ "ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ" В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТА)

Нижеследующие размышления складывались в течение многих безнадежных лет, первоначально как статья для моей книги "Константы. Словарь русской культуры"[1]. Эта статья (в первом варианте), под заголовком "Интеллигенция", увидела свет в составе названной книги, сопровождаемая там двумя другими – "Диссиденты" и "Облик толпы". Но размышления на этом не кончились. Здесь три упомяну-

© Ю.С. Степанов, 2000

тые статьи объединены, текст кое в чем изменен и значительно дополнен. И, самое главное, дополнен некоторыми (печальными) соображениями, которых, на мой взгляд, требуют прошедшие несколько лет. Выводы предварены в заголовке: "жрец" превращается в "жертву"[2].

Упомянутая книга – словарь не слов, а к о н ц е п т о в, т.е. понятий культуры, присутствующих в коллективном сознании или даже в "коллективном бессознательном" обществе. Это предмет особый и деликатный. Во-первых, концепты, за редкими исключениями (и как раз "интеллигенция" – такое исключение), в обществе обычно не формулируются явно, во всяком случае не формулируются явно и успешно. Их пытаются раскрыть исследователи, которые, естественно, привносят, как и во всяком исследовании, нечто от своего собственного менталитета. Но в этом нет никакого рокового препятствия. Необходимо только осознать, что иного пути, кроме как с у б ъ е к т и в н о г о описания о б ъ е к т и в н о существующего, здесь не дано[3]. Во-вторых, концепты – в той мере, в какой в самом обществе они осознаются и ощущаются, – не только логически "осмысливаются", но и эмоционально "переживаются". Поэтому они зачастую могут быть определены – и даже требуют такого определения – не по "существенным признакам" только, как положено в логике для понятий, но и по признакам "привходящим", изменчивым, важным, для какого-либо данного периода, иногда десятилетия или даже пятилетия[4]. Тотчас, несколькими абзацами ниже, мы выделим из десятков различных определений интеллигенции одно именно такое (принадлежащее Н.Я. Мандельштам), важное для понятия "интеллигенция" в 1960-е годы. А в конце обратим внимание на связь "концепта" с "обликом" его носителей, хотя в логическом плане эта связь вовсе не может быть признана "существенной".

В многочисленных определениях того, что такое "интеллигенция", постоянно сталкиваются два различных критерия – критерий моральный, критерий духовного облика, с одной стороны, и критерий социальный (профессия, классовое положение, имущественное положение и т.д.) – с другой. Именно в их изменяющемся соотношении по мере приближения к нашим дням мы и пытаемся разобраться к концу статьи. Но начнем все же с критерия м о р а л ь н о г о.

Моральный критерий принадлежности к интеллигенции едва ли не наилучшим образом, – во всяком случае, в наилучшем контексте, – был выражен вдовой поэта Осипа Мандельштама (1891 – репрессирован в 1938 г.) Надеждой Яковлевной Мандельштам в ее книге "Воспоминания"[5]. «Никто не может определить, что такое интеллигенция и чем она отличается от образованных классов. Это понятие историческое; оно появилось в России и от нас перешло на Запад. У интеллигенции много признаков, но даже совокупность их не дает полного определения. Исторические судьбы интеллигенции темны и расплывчаты, потому что этим именем часто называют слои, не имеющие на это права. Разве можно назвать интеллигенцией технократов и чиновников, даже если у них есть дипломы или если они пишут романы и поэмы? В период капитуляции над подлинной интеллигенцией издевались, а ее имя присвоили себе капитулянты. Что же такое интеллигенция?

Любой из признаков интеллигенции принадлежит не только ей, но и другим социальным слоям: известная степень образованности, критическая мысль и связанная с ней т р е в о г а (здесь и ниже разрядка моя. – *Ю.С.*), свобода мысли, совесть, гуманизм... Последние признаки особенно важны сейчас, потому что мы увидели, как с их исчезновением исчезает и сама интеллигенция. Она является носительницей ценностей и при малейшей попытке к их переоценке немедленно перерождается и исчезает, как исчезла в нашей стране. Но ведь не только интеллигенция хранит ценности. В народе они сохраняли свою силу в самые черные времена, когда от них отрекались в так называемых культурных верхах... Быть может, дело в том, что интеллигенция не стабильна и ценности в ее руках принимают динамическую силу. Она склонна к развитию и к самоуничтожению. ⟨...⟩

У русской интеллигенции есть один особый признак, который, вероятно, чужд Западу. ⟨...⟩ Однажды Осип Мандельштам спросил меня, вернее, себя, что же делает человека интеллигентом. Само слово это он не употребил – оно в те годы подверглось переосмыслению и надругательству, а потом перешло к чиновным слоям так называемых свободных профессий. Но смысл был именно тот. "Университет? – спрашивал он. – Нет... Гимназия?.. Нет... Тогда что же? Может, отношение к литературе?.. Пожалуй, но не совсем..." И тогда, как решающий признак, он выдвинул о т н о ш е н и е ч е л о в е к а к п о э з и и. У нас поэзия играет особую роль. Она будит людей и формирует их сознание. Зарождение интеллигенции сопровождается сейчас небывалой тягой к стихам. Это золотой фонд наших ценностей. Стихи побуждают к жизни и будят совесть и мысль. Почему так происходит, я не знаю, но это факт».

Мы выделили в этом рассказе Н. Мандельштам два слова, в сущности, если речь идет об определении интеллигенции, два термина – т р е в о г а и о т н о ш е н и е к п о э з и и. О первом из них нужно сказать, что он стал во французской культуре именно почти термином – *inquiétude* 'беспокойство'. *Inquiet* 'беспокойный' – это интеллигент, человек постоянно духовно неуспокоенный[6]. Г.П. Федотов, живший в эмиграции во Франции, в 1930-е годы хорошо подметил это свойство и сравнил его с русским: "Может показаться странным говорить о московском типе (т.е. о типе культурного человека, восходящем к Московской Руси. – *Ю.С.*) в применении к динамизму современной России. Да, это Москва, пришедшая в движение, с ее тяжестью, но без ее косности. Однако это движение идет по линии внешнего строительства, преимущественно технического. Ни сердце, ни мысль не взволнованы глубоко; нет и в помине того, что мы, русские, называем д у х о в н ы м с т р а н н и ч е с т в о м, а французы – i n q u i é t u d e (разрядка моя. – *Ю.С.*). За внешним бурным (почти всегда как бы военным) движением – внутренний невозмутимый покой"[7]. Отмеченное здесь Федотовым внешнее кипение при внутреннем покое – это и есть утрата интеллигентности, за которой идет утрата и интеллигенции, к счастью не наступившая целиком.

Что касается "отношения к поэзии", то этот неожиданно схваченный и кажущийся или временным, или случайным признак – на самом деле важнейший опознавательный, во всяком случае для русской интеллигенции определенной поры, 1950–1960-х годов (вспомним массовые вечера, почти "митинги", поэзии, собиравшие тысячи людей в Москве, в Политехническом музее, в "Коммунистической аудитории" Университета, где читали свои стихи Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Окуджава, Б. Ахмадулина). Мы уже говорили выше, что "опознавательный" признак, будучи несущественным для понятия ("любовь к поэзии" и "интеллиген-

ция" – какая же тут "существенная" связь!), оказывается очень важным для культурного концепта.

Теперь проследуем далее более систематически.

По внутренней форме слово *интеллигенция* – от лат. *intellegentia* – означает "высшую степень сознания, самосознание", и русская интеллигенция – уникальный случай, когда "класс" (или "прослойка" – это уже другой вопрос) выделен в обществе и назван по этому признаку.

Вообще, – сделаем здесь небольшое отступление, – общественные классы называются, как правило, довольно точно в соответствии со своим основным признаком: "рабочие"; "капиталисты", или "промышленники", или "предприниматели"; "купцы"; "землевладельцы"; "духовенство" и т.д. Исключение составляют, пожалуй, *крестьяне*; так же фр. *paysans* от *pays* 'страна', исп. *campesions* от *campo* 'деревня, не-город', нем. *Bauer* от *bur* 'поселение, населенная местность' – всюду крестьяне обозначены как основное "население страны, ее земли"; название крестьян ничему не противопоставляется, оно вне противопоставлений, оно – основное. В русском же слове положен в основу признак вероисповедания – *крестьяне* от *христиане*, но этот признак, в сущности, тоже обозначает их как, для своего времени, "все основное население страны", в отличие от ее соседей – нехристиан, "нехристей", как и все другие наименования крестьян. Уникальность наименования интеллигенции, таким образом, не в его точности – точны все наименования классов, – а в его признаке: русская интеллигенция – единственный случай, когда такой класс назван как "самосознающий". В русском языке и в русской культуре *интеллигенция* утверждается как особое слово и концепт в начале 60-х годов XIX в. (см. подробнее ниже, раздел "Б").

План настоящей статьи следующий: Интеллигенция. А. Дальняя история термина и концепта (1. В культуре Рима; 2. В Европе первой трети XIX в., у Гизо, Гегеля, раннего Маркса; 3. В России 1840–1865 гг.; 4. Связь понятия "Интеллигенция" с контекстом русской духовной жизни начала XX в.). Б. Русская интеллигенция. Социологическая характеристика (1. У писателя П.Д. Боборыкина, министра П.А. Валуева и др.; 2. У исследователей культуры; 3–4. В среде "разночинцев", у Н.В. Шелгунова, П.Л. Лаврова; 5. Национальный состав и "национальный вопрос" в русской интеллигенции); В. Русская интеллигенция. Духовный склад (в частности, по сборнику "Вехи" 1909 г.); Г. Российская интеллигенция. Наши дни; Диссиденты; Облик толпы; Примечания.

А. Дальняя история термина и концепта 'Интеллигенция'.

1. Его первоисточником является греческое слово *nóēsis* (νόησις) (жен.р.) "сознание, понимание в их высшей степени". Этот концепт, "ноэсис", противопоставляется двум более низким степеням сознания – *diánoia* (διάνοια) "образ мыслей, размышление" и *epistḗmē* (ἐπιστήμη) "научное знание" и объединяет их как высшая категория[8].

Под влиянием этого греческого концепта в римской культуре возникло слово *intellegentia*, первоначально означавшее просто 'хорошая степень понимания, сознания' без больших греческих тонкостей. Здесь впервые оно засвидетельствовано не у какого-нибудь философа, а у драматурга-комика Теренция

(190–159 до н.э.); так в комедии "Свекровь" ("Второй пролог" – обращение автора к зрителям):

28 ...Теперь благоволите вы
С моею личной просьбой ознакомиться.
Комедия "Свекровь" здесь снова ставится.
Не мог ни разу в тишине сыграть ее –
Такое приключилось с ней несчастие!
30 Но ваше разумение (vostra intellegentia) смягчит беду,
Придя на помощь нашему старанию.
Eam calamitatem vostra intellegentia
Sedabit, si erit adiutrix nostrae industriae...[9]

Далее в латыни основным значением этого слова оказывается "способность понимания" как высшая умственная способность, главенствующая над всеми остальными – над *mens* 'ум, дух', *ratio* 'рассудок'. У Цицерона *intellegentia* употребляется много раз и обрастает различными смысловыми оттенками. Большой тонкости достигает этот термин у "последнего римлянина" и "первого схоласта" Боэция (480–524). В своем завершающем сочинении "Утешение философией" (Consolatio philosophiae), написанном в тюрьме перед казнью, Боэций определяет четыре ступени познания: чувство воспринимает то, что заключено в материальную форму; воображение постигает нематериальный образ; рассудок, минуя внешнюю форму предмета, постигает его общее понятие, его идею, "универсалию", его принадлежность к определенному "роду". Но есть еще высший разум, "божественная интеллигенция", которому доступны все перечисленные виды познания и еще особое, высшее: этот вид разума, "поднявшись над вселенной, проникает лезвием чистого разума в самую простоту форм" (Cons., V, pr. 4). Высшая "интеллигенция" – это не личностный разум, это высшая точка познания, взятого во всеохватывающем, универсальном масштабе[10]. В таком виде этот концепт перешел в немецкую классическую философию и был развит в системах Шеллинга и Гегеля (см. ниже).

2. Но сходными идеями, в применении теперь уже к истории общества, была пронизана вся духовная жизнь Европы первой трети XIX в. В 1812–1818 гг. Гегель создает свою первую значительную работу "Наука логики", а Вильгельм фон Гумбольдт в 1821 г. публикует работу "О задаче историка". Здесь он пишет: "В ходе этого исследования делалась попытка внушить две вещи: что во всем происходящем действует не воспринимаемая непосредственно идея и что познана эта идея может быть только в пределах самих событий. Поэтому историку не следует искать решения всех вопросов только в материальном мире и исключать идею из изображения происходящего"[11]. Гумбольдт приглашает историка исследовать искусство, легенды, мнения общества как проявление "идеи".

Во Франции Гегель впервые был упомянут в 1804 г., в одном обзоре о современном состоянии философии в Германии (в "Archives littéraires", I). Но независимо от того, связано ли это конкретно с Гегелем или с общим "духом эпохи", примечательно, что в 1807 г., начиная свои первые публикации, французский историк – в будущем знаменитый историк и политический деятель – Франсуа Гизо (Guizot, 1787–1874) уже разделяет подобные представления. И уже в своей первой лекции Гизо формулирует их гораздо более точно, чем Гумбольдт. Гизо вводит понятие "история цивилизации" как истории последовательно сменяющих друг друга общественных задач, пронизанных общей идеей. В 1828 г. Гизо начинает публиковать свой знаменитый курс лекций "История цивилизации в Европе", а годом позже –

"История цивилизации во Франции", которым было суждено сыграть большую роль в развитии понятия "интеллигенция" не только в Европе, но и в России. Сотни страниц "Истории цивилизации во Франции" посвящены "силе идей", "силе общественного р а з у м а-и н т е л л и г е н ц и и" ("la force des idées", "de l'intélligence publique"). Эта сила, по Гизо, не имеет никаких оформленных средств проявления, но тем не менее оказывает принудительное воздействие на правление страной: общераспространенные идеи обладают принудительной силой[12]. Во всем этом проглядывает большое сходство с учением Гегеля о самопознании духа в истории, в историческом процессе, но Гизо дает конкретное историческое исследование, а не просто декларацию. Здесь концепт 'Интеллигенция', впервые, по-видимому, встречается с концептом 'Цивилизация' и пересекается с ним.

Зато у Гегеля, пропустившего те же идеи через концепцию своей "Логики", некоторые утверждения звучат прямо как продолжение Боэция: "В теоретическом отношении к природе первой стороной является то, что мы отходим от явлений природы, оставляем их в неприкосновенности и ориентируемся по ним. При этом мы начинаем с чувственных сведений о природе. Однако если бы физика основывалась на восприятиях... то работа физика состояла бы лишь в осматривании, прослушивании, обнюхивании и т.д., и животные, таким образом, были бы также и физиками. В действительности, однако, видит, слышит и т.д. дух, мыслящее существо... В теоретическом отношении мы отпускаем вещи на свободу... Лишь представление, интеллект (у Гегеля здесь букв.: интеллигенция – die Intelligenz. – *Ю.С.*) характеризуется этим свободным отношением к вещам"[13]. В другом месте Гегель обобщает: "Субъект, погруженный в созерцание, находится в непосредственной связи с ним, так что в созерцании, собственно говоря, он не имеет еще никакого другого бытия, кроме указанного объективного, пространственного и временно́го бытия. Свободная деятельность интеллигенции состоит здесь во *внимании* к многообразному наличному бытию *непосредственно данного* и в том, чтобы по *собственному усмотрению* останавливаться на каком-то содержании или переходить к другому – *способность постигать*"[14].

Как ни абстрактны эти рассуждения Гегеля, они, по-видимому, оказали прямое воздействие на трактовку политических и социальных вопросов в Германии 1830–1840-х годов. Это связано с тем, что у Гегеля большую роль играет идея "самосознания духа в истории, в историческом процессе", столь важная для Германии этой поры. Вполне гегельянский взгляд мы находим в статьях К. Маркса, объединенных названием "О сословных комиссиях в Пруссии" (1842). Сословным интересам различных социальных группировок Маркс противопоставляет "интеллигенцию", или "интеллигентность", как принцип: "⟨...⟩ Интеллигентность ⟨...⟩ не есть ищущий удовлетворения эгоистический интерес, это – всеобщий интерес"; "Об интеллигентности речь может идти не как о части, входящей в состав целого, а́ как об организующем начале"; "...Чтобы требование представительства интеллигенции имело смысл, мы должны толковать его как требование сознательного представительства народной интеллигентности, которая отнюдь не пытается противопоставлять отдельные потребности государству, но для которой высшая потребность заключается в том, чтобы претворить в жизнь самую сущность государства, рассматриваемого притом как ее собственное деяние ⟨...⟩"[15]. Эти высказывания Маркса следует трактовать, конечно, не как какое-то особое "марксистское" понимание интеллигенции как социальной группы, чего здесь вовсе нет, а как гегелевскую идею о самосознании народа, причем совершенно ясно, что это самосознание, под

названием "интеллигентности" или "интеллигенции", связывается не с какой-либо отдельной социальной прослойкой, не с сословием, а с самосознающим духом всего народа. В таком качестве заметки Маркса очень важны, они свидетельствуют о важном промежуточном звене в развитии концепта 'Интеллигенции': интеллигенция понимается уже не как разлитый в обществе "разум-интеллигенция" у Гизо, а как социальное, историческое самосознание народа в процессе государственного строительства, но это самосознание не связывается еще определенно с каким-либо сословием (а вероятно, такие попытки были, так как слова Маркса воспринимаются как протест против них).

3. Только в России в период между 1845–1865 гг. совершается следующий этап в развитии концепта 'Интеллигенция': субъектом (носителем, агенсом, производящим деятелем) исторического самосознания народа в процессе государственного строительства оказывается при этом новом понимании не абстрактный "разум", не "дух народа" и не весь народ, а определенная, исторически и социально вполне конкретная часть народа, взявшая на себя социальную функцию общественного самосознания от имени и во имя всего народа. Собственно, это и есть основное содержание концепта 'Интеллигенция', и, вопреки мнениям о будто бы необычайной запутанности его дальнейшей истории, мы полагаем, что она ясна и проста: концепт остается одним и тем же, как бы "рамкой" для кадра, но он лишь как бы "примеривается", а затем и передвигается с одной социальной группы на другую в поисках ответа на вопрос: какая же социальная группа является субъектом самосознания нации? В "кадре" оказываются разные социальные группы.

Необходимо, однако, подчеркнуть, что такое "передвижение" совершается не вполне стихийно – не так, как, скажем, понятие "авангарда", самого модного течения или группы в искусстве, фиксируется то на одном, то на другом течении в литературе, живописи или эстрадной музыке. Напротив, в данном случае "передвижение" концепта и его фиксация на той или иной социальной группе происходят путем сознательных усилий, путем общественного осмысления и обсуждения в среде различных социальных групп и общества в целом – в конечном счете путем сознательных усилий тех самых социальных групп, которые в данную историческую эпоху и оказываются, в силу самих этих усилий самосознания, носительницами общественного самосознания. Далеко не случайно поэтому, – напротив, исторически детерминированно, – вопрос о роли самосознания в истории, о роли личности в истории и о роли воли и детерминизма в истории оказывается связанным с вопросом об интеллигенции.

Процесс развития концепта на этом не заканчивается, в нем есть определенная "логика" развития, или, можно сказать, "алгоритм". Его хорошо уловил русский историк права П.И. Новгородцев (1866–1924): "Прежняя формула об органическом действии национального духа (как у представителей французской романтической историографии, см. выше. – *Ю.С.*) сменилась потом более конкретным представлением о значении среды и эпохи, далее среда была разложена на классы, а классы на группы..."[16].

По-видимому, опосредованное отражение этой концепции можно видеть в статье "Интеллигенция": «Экономическое понимание И. (т.е. "социальное" в нашем вышеприведенном разделении. – *Ю.С.*) дает В.В.; для него И. – "небольшая группа лиц, которая ⟨...⟩ сделалась представителем образованности и политической силы"

и играет "самостоятельную распорядительную роль в экономической жизни"; у каждого общественного класса есть своя И., представляющая его интересы, но И. влиятельную имеют только культурные классы; в развитом буржуазном обществе – только буржуазия»[17].

Роль класса и социальной группы внутри класса в формировании морали вообще и в частности идеи социального самосознания особенно подчеркивалась – и преувеличивалась – в марксистской этике. Но даже и такое, искажающее, представление основано на объективной "логике" ("алгоритме") развития этого концепта, оно (представление) просто фиксирует и "повышает в ранге" некоторое звено, некоторый этап в этом развитии.

Однако процесс продолжается. Далее, естественно будет допустить – и предвидеть, – что в какой-то момент истории в силу объективных причин (определенного состояния данной страны) внутри определенной социальной группы выдвинется еще более узкая "подгруппа", которая и окажется носителем (агенсом, действующим лицом) идеи социального самосознания. Так в действительности и произошло в России (тогда в СССР) в 1960–1980-е годы, когда из среды интеллигенции выдвинулась нравственно активная группа – диссиденты (см. далее: Диссиденты).

Наконец, в силу все той же "логики" (подкрепленной к тому же просветительской идеей XVIII в. о "законодательной силе" личности) носителем социального самосознания могла представляться и совсем уже узкая группа именно отдельных личностей – активных, "критически мыслящих" и т.п. Этот этап – с некоторым нарушением последовательности в "логике" концепта – возник еще ранее в среде русских разночинцев революционной ориентации, в особенности у русских народников и в концепции Петра Лаврова (1823–1900). Деградацию и нравственное вырождение этой идеи мы увидим потом в "культе личности И.В. Сталина". Но этот путь – путь вырождения – был не единственно возможным. Наряду с ним существовали и путь возрождения.

В качестве такого этапа надо рассматривать этику русских эсеров. Здесь нельзя не согласиться с советским исследователем: «На ход этических рассуждений эсеров оказала решающее влияние идеология народников. У эсеров конструирование идеала исходило из желаемого, они восхваляли "критически мыслящую личность", преувеличивали роль интеллигенции в историческом развитии, будто бы способной "тащить историю" в соответствии с выработанным ею "социальным идеалом", приняли на вооружение субъективный метод в социологии (метод Лаврова. – *Ю.С.*)...»[18]. В конце этого отрезка "концептуального пути", пройденного в соответствии с описанной логикой, возникало следующее положение, высказанное в наиболее определенной форме эсером Н.Д. Авксентьевым: "Перед нами встает в конце концов идеал свободной самоопределяющейся, автономной, моральной личности, черпающей свой закон (разрядка моя. – *Ю.С.*) из собственной своей разумной воли"[19].

К близкому выводу, но без отношения к Ницше подошел и П.И. Новгородцев в уже упомянутой статье: "...Далее среда была разложена на классы, а классы на группы, но как бы ни видоизменялось основное понятие, сущность его оставалась все та же: представление о связи личности с некоторой объемлющей ее средой, объясняющей ее жизнь, ее стремления, ее идеалы. А это представление было косвенной поддержкой для той проповеди о смирении личности пред общим ходом событий, с которой историческое созерцание выступило первоначально"[20].

Но вернемся к концепту 'Интеллигенция', к тому моменту в русской истории, когда "рамка" концепта как понятие о "самосознающей социальной группе" начинала получать не только концептуальное, но и социологическое основание.

Заканчивал свою статью П.И. Новгородцев твердой констатацией связи между понятиями самосознания, нравственного закона и философии:

"Философия Канта, впервые с такой ясностью проведшая грань между бытием и долженствованием, вместе с тем установила между этими областями безысходный и безнадежный дуализм. Нравственная идея оказывалась возвышенной, но недосягаемой целью стремлений. Задача нашего времени, как и эпохи непосредственных преемников Канта, состоит в том, чтобы понять связь двух областей и их конечную гармонию. Эта задача выводит нас за границы как положительной науки, так и моральной философии: мы вступаем здесь в область метафизики... Причинная необходимость, е с т е с т в е н н ы й х о д с о б ы т и й (разрядка моя. – *Ю.С.*) могут противоречить и противодействовать нравственному закону, но только в пределах ограниченного опыта. Конечное торжество принадлежит высшей гармонии.

Отсюда нравственная задача, и в частности идея естественного права, получает свое высшее подкрепление. Сила нравственных построений и твердость надежд опираются на такой фундамент, который незыблем для временных разочарований и преходящих неудач. Каковы бы ни были эти неудачи и разочарования, в служении высшему благу, в сознании нравственного закона мы находим верный путь к освобождению от призрачной силы преходящих явлений и к радостному признанию абсолютных начал"[21].

Здесь надо сказать о связи слов *интеллигенция* и *самосознание* в русском языке. Хотя, как мы видели выше, и по смыслу, и по происхождению эти два слова тесно связаны, однако второе, по мере развития первого, в русском языке стало сдавать свои позиции. По данным Е.А. Земской, слово *самосознание* как калька или перевод с нем. *Selbstbewußtsein* первоначально употреблялось в значении, прямо вытекающем из его состава, "сознание себя, осознанность": "Без размышления, без *самосознания* они бросились друг к другу, и уста их соединились" (А.К. Толстой. Князь Серебряный, гл. 5), здесь – "не помня себя, не сознавая себя". В 30–40-е годы XIX в. это слово стало употребляться и в отвлеченном, обобщенном значении, свойственном ему и в современном русском языке, но, важно отметить, как бы в некоторой синонимичной близости и к слову *интеллигенция* (которое, как уже было сказано, само имело значение "самосознание нации"): "Остерман знал, что истинного *самосознания* (курсив мой. – *Ю.С.*) национальности не существовало в России" (И.И. Лажечников. Ледяной дом, ч. II, гл. 7); "...содействовал *самосознанию* России..." (В.Г. Белинский. Письмо к Гоголю, 1847 г.) и т.п. В настоящее время семантический компонент "самосознания нации" полностью выделился из слова *интеллигенция* и закрепился за словом *самосознание*, тогда как компонент "носитель самосознания в обществе", напротив, закрепился за словами *интеллигенция* и *интеллигент*.

В свете новейших данных история слова *интеллигенция* в России расширяется в прошлое. Как показал С.О. Шмидт, первое засвидетельствованное на сегодняшний день употребление содержится в дневниковой записи В.А. Жуковского 2 февраля 1836 г. Жуковский описывает страшный пожар, случившийся около Адмиралтейства в балагане, где погибло много народа, а "через три часа, – с возмущением продолжает Жуковский, – после этого общего бедствия, почти рядом... осветился

великолепный Энгельгардтов дом, и к нему потянулись кареты, все наполненные лучшим петербургским дворянством, тем, которое у нас представляет всю русскую европейскую интеллигенцию; никому не пришло в голову (есть исключения), что случившееся несчастье есть общее; танцевали и смеялись и бесились до 3-х часов и разъехались, как будто ничего и не было..."[22]. Автор публикации заключает: «...для Жуковского понятие "интеллигенция" ассоциируется не только с принадлежностью к определенной социокультурной среде и с европейской образованностью, но и с нравственным поведением. По-видимому, в таком значении это слово было в употреблении и в разговорном языке его круга»[23].

4. Осталось сказать о связи понятия об интеллигенции с контекстом русской духовной жизни конца XIX–начала XX в. В 1902 г. Московским психологическим обществом, крупнейшим русским философским кружком (председатель Л.М. Лопатин) был издан указанный выше сборник "Проблемы идеализма". Помимо уже упомянутого П.И. Новгородцева среди участников сборника были С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, Е.Н. и С.Н. Трубецкие – единомышленники по "философии всеединства", наиболее сильного и наиболее оформленного течения в русской философии начала XX в., основанного Вл. Соловьевым[24].

Таким образом, концепт 'Русская интеллигенция' формировался в самой тесной связи с философией, и надо сказать еще точнее – в связи с самой русской философской жизнью, с философствованием как духовной общественной деятельностью. (В это же время и позднее мы увидим ту же связь – философствования как жизни духа – у русских символистов: Андрея Белого и др.)

Упомянутый сборник 1902 г. "Проблемы идеализма" явился непосредственным предшественником знаменитого сборника "Вехи" 1909 г. Обе книги группировали в качестве ядра своих авторов одних и тех же лиц. Но между двумя сборниками пролегла русская революция 1905–1906 гг., и во втором из них проблема интеллигенции приобрела особую социологическую остроту (см. ниже).

По-видимому, первым, кто подчеркнул, "концептуализовал", самую связь между "интеллигенцией" и "философствованием" как видом "интеллигентской деятельности", был В.Ф. Асмус (1894–1975) в очерке 1946 г. "Борьба философских течений в Московском университете в 70-х годах XIX в.": "...Чем менее охвачено было общество политической деятельностью, чем более ограничен был для него доступ к различным формам и проявлениям политической жизни, чем менее ясным было общественно-политическое сознание различных его групп, тем большее значение в политическом развитии страны принадлежало университетам как выразителям растущей политической самодеятельности и самосознания общества"[25]. В.Ф. Асмус обрисовал значение в этом плане деятельности Г. Струве, Н. Аксакова, С. Усова, Н.Н. Страхова, П.Д. Юркевича, М.М. Троицкого, Вл. Соловьева, деятельности, соединенной "профессионально" с жизнью университетов – защитой диссертаций, обсуждением профессорских кандидатур и т.д. В.Ф. Асмус, в частности, впервые обратил внимание в этой связи на фигуру профессора математики Н.В. Бугаева, будущего отца Андрея Белого и основателя московской (математической) школы "аритмологии", которая впоследствии оказалась тесно связанной с учением о. П. Флоренского и в наши дни с направлением философии "синергии" (С.С. Хоружий и др.).

Тема, поднятая В.Ф. Асмусом, продолжает привлекать внимание исследователей[26].

Теперь вернемся к концепту 'Интеллигенция', чтобы рассмотреть его более детально.

Б. Русская интеллигенция. Социологическая характеристика.

Именно в России 1860-х годов слово и понятие "интеллигенция" приобрело социологический смысл, стало обозначать социально оформленную часть общества, взявшую на себя "миссию" (можно было бы сказать "функцию") выразителя и "формирователя" самосознания нации. На протяжении целого исторического периода оно приобретало разнообразные и до некоторой степени противоречивые социальные оттенки, но – подчеркнем еще раз – в "рамке" достаточно единого, инвариантного концепта, очерченного выше.

1. Писатель П.Д. Боборыкин, по его утверждению (а также по мнению исследователя Р.В. Иванова-Разумника), употребил это слово едва ли не первым в 1866 г. в значении "высший образованный слой общества"[27]. В смысле "чиновники, представители административной власти" это слово употреблено в одном и том же 1865 г. в дневниках министра внутренних дел П.А. Валуева и профессора литературы, цензора А.В. Никитенко. Верхи дворянства считали интеллигенцию людьми низшего ранга, недостаточно "воспитанными", презирали этот термин и никогда не применяли его к себе (свидетельство Л.Д. Любимова в мемуарах о русской эмиграции, 1965 г.)[28].

2. В другом социальном смысле, – и это значение склонны подчеркивать многие современные исследователи культуры, – интеллигенцией в это же время назывались люди "свободных профессий": врачи, адвокаты, "свободные художники" и т.д. В этом варианте концепта выступает древняя европейская традиция выделять в особую группу "свободные профессии" – фр. *professions libérales; arts liberaux*, исп. *profesiones liberales* в противопоставлении к *arts mécaniques*, т.е. "механическому, ручному труду, ремеслам". Интересно, что современные испанские словари определяют эти профессии как "требующие применения интеллекта" ("que requieren el ejercicio del entendimiento"[29]. Это, конечно, определение архаическое, но оно восходит к глубокой культурной традиции – к "семи свободным искусствам" средневековья. В наши дни такое понимание концепта 'Интеллигенция' все еще остается, но оказывается одним из самых узких и анахронических.

Некоторые исследователи переносят такую концептуализацию в далекое прошлое и считают возможным говорить об "интеллигенции в эпоху Гомера" (представителями которой оказываются у них рапсоды, зодчие и т.д.); об интеллигенции эпохи Возрождения, т.е. о представителях "свободных искусств" в это время, тогда "интеллигенция" – это и Тассо, и Кастильоне, и Аретино, и Челлини, но зато не Микеланджело, который был "исключением" – художником-интеллигентом. "Художникам, – писал в 1929 г. А. Дживелегов, – среди которых редки были идейные люди, вроде Микеланджело, и спрос на которых все же был больше, чем спрос на интеллигентов, – ибо они содействовали внешней пышности, – вообще было бы легче приспособиться, чем людям умственного труда... Интеллигенция была явлением совершенно новым. Этого вида общественного служения не знали Средние века. Средние века знали рыцаря, который был призван защищать общество, знали духовное лицо, облеченное заботами о душе, а иногда и о теле человечества. Но светского ученого, светского проповедника, светского учителя не знали. Он явился вме-

сте с новой культурой, чтобы служить ей и ее пропагандировать. Это был гуманист и не сладко было на первых порах его существование ⟨...⟩. Только сверхъестественная способность приспособляться, только гибкость, доходившая порой до морального безразличия, помогли гуманистам выполнить свою историческую миссию ⟨...⟩. Унижаясь перед королями, князьями, вельможами, попрошайничая у пап и прелатов, пресмыкаясь везде, где звенело золото, гуманисты вбивали в сознание имущих и командующих, а через них и всего общества, идею важности и великого значения интеллигентского труда"[30]. (Читая эти строки теперь, спрашиваешь себя: а уж не метил ли Дживелегов, в 1929 г., под покровом итальянской истории и в нашу современность?)

Такой перенос понятия "интеллигенция" на прошлое содержится и в термине "крепостная интеллигенция" в России, который впервые был употреблен в статье Е. Летковой[31].

Работа Е. Летковой сильна, однако, другим – своим моральным пафосом, с которым связан и ее основной идейный тезис. Работа представляет собой серию очень живых очерков – эпизодов из жизни крепостных актеров, музыкантов, певцов, живописцев, многие из которых составили себе славное имя в русской культуре: Щепкин, Тропинин, Кипренский и др. Щепкин, к примеру, был одною из тысяч душ, принадлежавших графу Волькенштейну; его стали одалживать у графа официантом, и вот какие эпизоды пришлось ему переживать. «Одна дама, очень образованная по времени и обществу (даже крепостные отзывались о ней как о доброй женщине), у графини на именинах, за обедом, не краснея, позволила себе сказать в разговоре о прошедшей кампании (1812 г. – *Ю.С.*): "Вообразите, какое счастье Ивану Васильевичу: он отдавал в ополчение 9 человек, а возвратился всего один, так что он получил 8 рекрутских квитанций и все продал по три тысячи, а я отдавала 26 человек, и на мою беду все возвратились (живыми. – *Ю.С.*) – такое несчастие!" При этих словах ни на одном лице не показалось даже признака неудовольствия против говорившей. Все согласились, а некоторые даже прибавили: "Да, такое счастие, какое Бог дает Ивану Васильевичу, не многим дается"!..

Что должен был чувствовать при всем этом Щепкин, смирно переменявший тарелки господам? Он был крепостным, но в нем уже горел тот огонь, что через несколько лет заставил тысячи зрителей и скорбеть, и смеяться, и ненавидеть, и плакать... Такова одна из драм крепостного быта.

Крепостное право рухнуло. Но этим оно не вычеркивается из предметов, подлежащих изучению ⟨...⟩ Всякий, интересующийся явлениями общественной жизни, должен ⟨...⟩ дорожить крепостным правом, как огромным экспериментом, сделанным историей, как особенно резко выраженной формой болезни общественного строя. Отношения крепостного быта – отношения полнейшей зависимости и бесправия, с одной стороны, и неограниченного господства – с другой. С падением юридического рабства зависимость и господство не исчезли; они существуют и до сих пор во всем мире, но приняли гораздо более мягкие, сложные, замаскированные формы. И эта-то сравнительная мягкость, сложность, замаскированность мешают оценить истинный характер отношений зависимости, которые, напротив, с такой полнотой и яркостью выступают в рабстве, юридически оформленном»[32].

Таким образом, Е. Леткова указывает параметры, по которым она выделяет "крепостную интеллигенцию", – высокий уровень духовного развития (прежде всего этического и художественного) при полной рабской, юридически оформленной зависимости от господина, зачастую деспотического и невежественного. Леткова

создала также стиль описания этого явления – "очерки-портреты" о лицах и личностях. Работа Летковой оказалась пионерской.

Несколько десятков статей и книг, последовавших за этим в дореволюционные и послереволюционные годы (их перечень можно найти в книге М.Д. Курмачевой[33]), сохраняют эти определяющие черты.

Напротив, первую же решительную попытку придать понятию "крепостная интеллигенция" классово-социальный смысл, а это и есть упомянутая книга М.Д. Курмачевой 1983 г., вряд ли можно считать удавшейся. (Автор пытается представить "крепостную интеллигенцию" как некое социальное видоизменение крестьянства, "отпочковавшееся" от него, притом крестьянства, занятого классовой борьбой, – обширная глава посвящена крестьянским восстаниям, в частности восстанию Пугачева!)

В "крепостной интеллигенции" отсутствует главный определяющий признак интеллигенции – самосознание и принятие на себя ответственности за самосознание общества. Юридическая крепостная зависимость оборачивается в ментальном смысле осознанием своей собственной зависимости (подобно тому как интеллигентный инвалид прежде всего осознает, что он инвалид). "Крепостная интеллигенция" в России осталась на этом этапе. И Е. Леткова (не употребляя, конечно, нами употребленных терминов) это прекрасно почувствовала: один из доминирующих образов ее очерка – крепостная певица, допустившая погрешность в исполнении труднейшей арии, естественно для себя самой – естественно! – отправляется на конюшню, чтобы быть выпоротой.

3. Но вернемся от "крепостной интеллигенции" к интеллигенции, обладающей "полнотой определения", вернемся к России XIX в.[34] (Здесь мы используем работу В.Р. Лейкиной-Свирской "Интеллигенция в России до второй половины XIX века". До некоторой степени сходные процессы отмечены также в Польше, что вполне естественно в силу связи между историческими судьбами обеих стран. Мы можем говорить здесь о своеобразной русско-польской изоглоссе в культуре. Конкретный материал см. в работе З. Вуйцека[35].)

Еще до того как слово *интеллигенция* вошло в привычный русский обиход, концепт уже существовал и его "рамка" передвигалась на особую часть общества, не на чиновников и не на "свободные профессии": Герцен и Огарев говорили об "образованном меньшинстве", о "новой России", Чернышевский – о "новых людях", Лавров – о "критически мыслящих личностях". Этот, третий, вариант концепта развивается далее в двух направлениях: с одной стороны, он расширяется, распространяясь на большую часть разночинцев, а с другой – сужается до революционных интеллигентов, бунтарей против существующего строя. В последнем смысле у Н.В. Шелгунова (1824–1891), который писал: интеллигенция – "сознающая сила, и в этой роли – ее государственная функция. Она же создает и новое государство, разрушая сначала критикой все обветшалое" ("Неизданная записка 1881–1882 гг.")[36] (это очень близко к концепту Гегеля и Маркса 1842 г.). В концепции П.Л. Лаврова передовая интеллигенция "сужается" до совокупности "критически мыслящих личностей", которые переделывают историю. Впоследствии это понимание развилось в концепцию революционных социал-демократов "о роли личности в истории" и в конечном счете выродилось в "культ личности" в эпоху сталинизма.

4. Более широкое понимание интеллигенции в социальном смысле, как связанное с разночинцами, оказалось наиболее устойчивым и типичным для России всей второй половины XIX – начала XX в. Словарь Даля так определяет слово *разночинец*: "Человек неподатного сословия, но без личного дворянства и не приписанный ни к гильдии, ни к цеху"[37]. Из податных сословий, мещан и крестьян, образованные разночинцы выходили лишь в небольшом количестве, но в основном это были дети купцов и духовных лиц, формально вышедшие из своего сословия; дети чиновников и низших офицеров, выслуживших личное почетное гражданство или личное дворянство на низших ступенях табели о рангах.

В.Р. Лейкина-Свирская, сделавшая первую попытку исследовать "широкую тему об интеллигенции как социальном слое капиталистической России", так характеризует разночинцев: «Разночинцы были в основной массе жителями городов. В первой переписи Петербурга, проведенной в 1869 г., содержится подробный перечень профессий и занятий лиц, попавших в рубрику разночинцев. Тут и конторщики, и придворные служители, и лоцманы, и воспитанники домов призрения и учебных заведений, имевших характер приютов, и служащие, и служители театральных ведомств (в том числе актеры), и т.п. Сюда же попали люди неопределенных званий, как арестанты, бродяги, а также музыканты, сестры милосердия и проч., и не показавшие своего звания ученики Академии художеств, студенты и фабричные. В общем числе разночинцев (17,5 тыс. обоего пола) очень мало таких, которых можно причислить к работникам умственного труда: аптекари разных градаций, ветеринары и фельдшера – 233 человека муж. пола; художники – 337 чел. м.п.; домашние воспитатели и гувернеры – 104 чел. об. п.; наконец, люди разных технических специальностей (агрономы, технологи, механики, землемеры, таксаторы, чертежники, топографы, ученые, управляющие) – их всего 25 чел. м. п. Сохраняя старое значение, вместе с тем слово "разночинец" постепенно наполнялось новым смыслом, связанным с привилегией образования. Разночинцами стали называться получившие чин или звание по праву образования (разрядка моя. – *Ю.С.*). Изменение смысла слова было связано с новым социальным явлением – быстрым формированием буржуазной интеллигенции»[38]. (Здесь непонятно для нас только слово "буржуазная": что "буржуазного" в этой интеллигенции? По-видимому, ничего.)

Из показанного пестрого состава разночинцев ясно, что концепт "самосознающего класса", – а тем более "класса, сознающего ход истории и государства и берущего на себя ответственность за такое осознание", – конечно, мог быть применен только к очень небольшой части общества. Это и произошло.

К моменту революции концепт 'Интеллигенция' в сознании русского общества понимался в духовном смысле именно таким образом, а в социальном – как применимый к части разночинцев, наиболее образованной и этически наиболее чуткой, совестливой.

5. Национальный состав и "национальный вопрос" в русской интеллигенции. Этот подзаголовок мы даем здесь по чистой "традиции наименований" "вопросов", так как по существу русская интеллигенция всегда снимала "вопрос" о национальной принадлежности, о национальности интеллигента. С чисто социологической точки зрения русская интеллигенция формировалась, конечно, прежде всего из русских, но также из немцев, поляков, евреев, литовцев и в меньшей степени из представителей других национальностей, населявших Российскую империю. Некоторыми ориентирами в социологической ча-

сти могут служить данные об университетском образовании в связи с вопросом о национальности.

После подавления польского восстания 1830 г. русское правительство закрыло Варшавский университет (1830), Вильнюсский (тогда Виленский) университет (1832), находившийся под сильным польским влиянием, и Кременецкий лицей (1831); вместо них по инициативе министра народного просвещения С. Уварова был открыт Киевский университет (1834) с целью "подавить дух отдельной польской национальности и слить его с общим русским духом"[39]. Позднее эти университеты были снова открыты, но их права существенно урезаны: они имели особые уставы, ограниченный состав профессуры, меньшие оклады и т.д. Проводилась также политика ограничения образования по национальному признаку. После польского восстания 1863 г. для поляков была установлена 10-процентная норма при поступлении в русские учебные заведения; в 1866 г. эта норма была поднята до 20%. Для евреев ограничения заключались в следующем: с 1866 г. евреи не допускались к преподаванию в университетах юридических, политических, исторических и словесных наук; в 1886 и 1887 гг. прием евреев в средние и высшие учебные заведения был ограничен процентной нормой от общего числа поступавших: в черте оседлости (учебные округа Виленский, Киевский, Одесский, Варшавский, Дерптский) и в Западной Сибири – не выше 10%; в Казанском и Харьковском округах – до 5%; в Петербурге и Москве – не выше 3%; при этом требовалось также полицейское свидетельство о "праве жительства" вне черты оседлости; вообще не принимались евреи в Военно-медицинскую академию (но при этом допускался прием сверху нормы на медицинские факультеты университетов), в Московский сельскохозяйственный институт и нек. др.[40]

В. Русская интеллигенция. Духовный склад. Кем бы и когда бы ни делалось "портретирование" русской интеллигенции, – а оно предпринималось много раз, – оно никогда не могло удовлетворить всех ее представителей одновременно; всегда кому-нибудь из них одни черты казались преувеличенными, а другие – преуменьшенными. Поэтому мы пойдем здесь (сначала) особым путем: будем указывать только те черты русской интеллигенции, которые подмечались и обсуждались ею самою, т.е. будем приводить высказывания. (См. также: Облик толпы.)

1. «В нашей литературе много раз указывалась духовная оторванность нашей интеллигенции от народа. По мнению Достоевского, она пророчески предуказана была уже Пушкиным, сначала в образе вечного скитальца Алеко, а затем Евгения Онегина, открывшего собой целую серию "лишних людей"»; «В своем отношении к народу, служение которому своею задачей ставит интеллигенция, она постоянно и неизбежно колеблется между двумя крайностями – народопоклонничества и духовного аристократизма. Потребность народопоклонничества в той или другой форме (в виде ли старого народничества, ведущего начало от Герцена и основанного на вере в социалистический дух русского народа, или в новейшей, марксистской форме, где вместо всего народа такие же свойства приписываются одной его части, именно "пролетариата") вытекает из самых основ интеллигентской веры. Но из нее же с необходимостью вытекает и противоположное, – высокомерное отношение к народу, как к объекту спасительного воздействия, как к несовершеннолетнему,

нуждающемуся в няньке для воспитания к "сознательности", непросвещенному в интеллигентском смысле слова»[41].

2. «Правые и левые видят совершенно иное лицо русского человека и лицо России. Возьмем левый портрет. Это вечный искатель, энтузиаст, отдающийся всему с жертвенным порывом, но часто меняющий своих богов и кумиров. Беззаветно преданный народу, искусству, идеям, положительно ищущий, за что бы пострадать, за что бы отдать свою жизнь. Непримиримый враг всякой неправды, всякого компромисса. Максималист в служении идее, он мало замечает землю, не связан с почвой, святой беспочвенник (как и святой бессеребренник), в полном смысле слова. Из четырех стихий ему всего ближе огонь, всего дальше земля, которой он хочет служить, мысля свое служение в терминах пламени, расплавленности, пожара (...).

Однако этот столь юный, последний в русской культуре, интеллигентский слой не лишен совершенно народных корней, – или, точнее, соответствий. Потому что здесь мы имеем дело не с прямым влиянием из народной глубины, а с темной, подсознательной игрой народного духа, которая в судьбе отщепенцев и мнимых апатридов (см. далее: Диссиденты. – *Ю.С.*) повторяет черты иного, очень глубокого и вполне народного лица. Отщепенцы, бегуны, искатели, странники – встречаются не только наверху, но и внизу народной жизни. Их мы видим среди многочисленных сектантов, но также среди еще более многочисленного слоя религиозно обеспокоенных, ищущих, духовно требовательных русских людей. В них живет по преимуществу кенотический (от греч. κένωσις 'скудость', 'добровольное самоуничижение и отрешение от земных благ'. – *Ю.С.*) и христологический тип русской религиозности, вечно противостоящий в ней бытовому и литургическому ритуализму. (...) Это не значит, что у него не было истоков в древней Руси – они были даны в кенотическом типе русской святости, – но в оторванности от почвы, в скитальчестве своем эта духовная форма принадлежит новейшей истории»[42].

3. "Интересы распределения и уравнения в сознании и чувствах русской интеллигенции всегда доминировали над интересами производства и творчества. Это одинаково верно и относительно сферы материальной, и относительно сферы духовной (разрядка Н.А. Бердяева. – *Ю.С.*): к философскому творчеству русская интеллигенция относилась так же, как и к экономическому производству"[43]; «С русской интеллигенцией в силу исторического ее положения случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине. А философия есть школа любви к истине, прежде всего к истине. Интеллигенция не могла бескорыстно отнестись к философии, потому что корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья... Основное моральное суждение интеллигенции укладывается в формулу: да сгинет истина, если от гибели ее народу будет лучше житься, если люди будут счастливее, долой истину, если она стоит на пути заветного клича "долой самодержавие!"»[44].

Как точно констатирует Бердяев! Как ясно – в 1909 г.! – отвечает он на будущий вопрос самой же потрясенной интеллигенции 1936 г.: «Как могли Бухарин и другие жертвы сталинских процессов над "врагами народа" так легко согласиться с фальшивым обвинением, так без сопротивления принять на себя вину?»

4. Бердяев продолжает: «К объективным идеям, к универсальным нормам русская интеллигенция относилась недоверчиво, так как предполагала, что подобные идеи и нормы помешают бороться с самодержавием и служить "народу", благо которого ставилось выше вселенской истины и добра. Это роковое свойство русской интеллигенции, выработанное ее печальной историей, свойство, за которое должна ответить и наша историческая власть, ⟨...⟩ привело к тому, что в сознании русской интеллигенции европейские философские учения воспринимались в искаженном виде, приспособлялись к специфическим интеллигентским интересам, а значительнейшие явления философской мысли совсем игнорировались. Искажен и к домашним условиям приспособлен был у нас и научный позитивизм, и экономический материализм, и эмпириокритицизм, и неокантианство, и ницшеанство»[45].

«Нужно, наконец, признать, что "буржуазная" наука и есть именно настоящая, объективная наука, "субъективная" же наука наших народников (Бердяев имеет в виду "субъективный метод" Н.К. Михайловского. – *Ю.С.*) и "классовая" наука наших марксистов имеют больше общего с особой формой веры, чем с наукой. Верность вышесказанного подтверждается всей историей наших интеллигентских идеологий: и материализмом 60-х годов, и субъективной социологией 70-х, и экономическим материализмом на русской почве»[46].

Но это же подтверждают и "учение Лысенко" в биологии, и "новое учение о языке" Марра в языкознании, и проклятия генетике и кибернетике в 1950-е годы.

"Материализм и эмпириокритицизм", книга В.И. Ленина, еще только выходил в свет (в том же, 1909 г.), а слова Бердяева уже были ее убийственным эпиграфом. Как же могли "Ленин и Партия" иначе отнестись и к сборнику "Вехи", нежели как к "энциклопедии либерального ренегатства"?

5. Сборник "Вехи", из которого мы так много цитируем, вышел в свет в 1909 г. и уже в том же году было выпущено его 2-е издание[47]. Вопреки предвзятой и часто недобросовестной критике это был сборник не о революции 1905–1906 гг., а, как гласил его заголовок, "Сборник статей о русской интеллигенции". В нем подводились итоги не революции, а отношению интеллигенции к революции, притом именно к революции 1905–1906 гг. Итоги были двоякими: жесткая, может быть впервые в русской истории столь жесткая, но и впервые столь меткая критика и самокритика русской интеллигенции и ее отрицательное отношение к **такой** революции.

В сборнике были напечатаны: Н.А. Бердяев "Философская истина и интеллигентская правда", С.Н. Булгаков "Героизм и подвижничество", М.О. Гершензон "Творческое самосознание", А.С. Изгоев "Об интеллигентской молодежи", Б.А. Кистяковский "На защиту права", П.Б. Струве "Интеллигенция и революция", С.Л. Франк "Этика нигилизма". В каждой статье содержался глубокий анализ положения дел в соответствующей, выбранной автором области, а затем некоторый прогноз и горячие рекомендации[48].

Н.А. Бердяев призывал от предвзятой, политической оценки философских и научных теорий обратиться к их объективной оценке в соответствии с требованиями научной истины и философских критериев.

С.Н. Булгаков, анализируя отношение интеллигенции к религии, констатировал: "...Пока интеллигенция всю силу своей образованности употребляет на разложение народной веры, ее защита с печальной неизбежностью все больше принимает характер борьбы не только против интеллигенции, но и против просве-

щения, раз оно действительно распространяется через интеллигенцию, – обскурантизм становится средством защиты религии... Устанавливаются по этому уродливому масштабу фактические группировки людей на лагери, создается соответствующая психологическая среда, консервативная, деспотическая. Нация раскалывается на-двое, и в бесплодной борьбе растрачиваются лучшие ее силы" (с. 67). Это было предчувствие гражданской войны. Но, заключал Булгаков, "рядом с антихристовым началом в этой интеллигенции чувствуются и высшие религиозные потенции, новая историческая плоть, ждущая своего одухотворения"; Булгаков призывал интеллигенцию осознать эти свои потенции.

П.Б. Струве констатировал, что русская интеллигенция характеризуется особым качеством – "интеллигентским противогосударственным отщепенством" (см. далее: Диссиденты), от которого она будет – и должна – избавляться. Но "русская интеллигенция, отрешившись от безрелигиозного государственного отщепенства, перестает существовать как особая культурная категория. Сможет ли она совершить огромный подвиг такого преодоления своей нездоровой сущности? От решения этого вопроса зависят в значительной мере судьбы России и ее культуры" (с. 173). Струве, в качестве прогноза ("гороскопа", как он говорит), указывает две возможности. Либо интеллигенция "обуржуазится", примирится с государством и распределится по разным классам общества. Либо "может наступить в интеллигенции настоящий духовный переворот, который явится результатом борьбы идей. Только этот переворот и представляет для нас интерес в данном случае... Нам нужна, конечно, упорная работа над культурой. Но именно для того, чтобы в ней не потеряться, а устоять, нужны идеи, творческая борьба идей" (с. 173–174).

С.Л. Франк дал своей статье подзаголовок "К характеристике нравственного мировоззрения русской интеллигенции". Как и другие авторы, он начинает с констатации: "Два факта величайшей важности должны сосредоточить на себе внимание тех, кто хочет и может обсудить свободно и правдиво современное положение нашего общества и пути к его возрождению. Это – крушение многообещавшего общественного движения, руководимого интеллигентским сознанием, и последовавший за этим событием быстрый развал наиболее крепких нравственных традиций и понятий в среде русской интеллигенции" (с. 175). Конечный, после подробного анализа, призыв Франка был таков: "От непроизводительного, противокультурного нигилистического морализма мы должны перейти к творческому, созидающему культуру религиозному гуманизму (разрядка С.Л. Франка. – *Ю.С.*)" (с. 210).

Статья А.С. Изгоева была посвящена конкретным вопросам воспитания детей и молодежи в интеллигентской среде и содержала, в частности, интереснейшие статистические данные о семье и школе (которых так не хватает в упомянутой книге В.Р. Лейкиной-Свирской). Изгоев посвятил свою статью столь же конкретным вопросам о правовых знаниях русской интеллигенции и более общему вопросу – ее отношении к праву, часто отрицательному.

Отрицательное отношение к революции в том ее виде, как она произошла в 1905–1906 гг. и какой обещала быть революция в России в будущем, буде она грядет, выражено в самой резкой форме во всем сборнике в статье М.О. Гершензона "Творческое самосознание": "Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, – бояться его мы должны пуще всяких казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от

ярости народной" (с. 89). В критике, особенно большевистской, эти слова приписывались всему коллективу сборника, между тем как в Предисловии к 1-му изданию было сказано: «Революция 1905–6 гг. и последовавшие за нею события явились как бы всенародным испытанием тех ценностей, которые более полувека, как высшую святыню, блюла наша общественная мысль. ⟨...⟩ По существу поражение интеллигенции не обнаружило ничего нового. Но оно имело громадное значение в другом смысле: оно ⟨...⟩ глубоко потрясло всю массу интеллигенции и вызвало в ней потребность сознательно проверить самые основы ее традиционного мировоззрения, которые до сих пор принимались слепо на веру ⟨...⟩ Так возникла предлагаемая книга: ее участники не могли молчать о том, что стало для них осязательной истиной ⟨...⟩ Люди, соединившиеся здесь для общего дела, частью далеко расходятся между собою как в основных вопросах "веры", так и в своих практических пожеланиях; но в этом общем деле между ними нет разногласий...» (с. I–II).

Кроме того, сам М.О. Гершензон во 2-м изд. сделал к своей несчастливой фразе следующее примечание: «Эта фраза была радостно подхвачена газетной критикой, как публичное признание в любви к штыкам и тюрьмам. Я не люблю штыков и никого не призываю благословлять их; напротив, я вижу в них Немезиду. Смысл моей фразы тот, что всем своим прошлым интеллигенция поставлена в неслыханное, ужасное положение: народ, за который она боролась, ненавидит ее, а власть, *против* которой она боролась, оказывается ее защитницей, хочет ли она того или не хочет. "Должны" в моей фразе значит "обречены": мы собственными руками, сами не сознавая, соткали эту связь между собою и властью, – в этом и заключается ужас, и на это я указываю» (с. 89). (Нужно заметить, однако, что в то время как участники сборника – вожди "веховства" в 1922 г. были высланы из СССР, М.О. Гершензон остался здесь.)

Г. Российская интеллигенция. Наши дни. В советское время, вследствие социальных пертурбаций, физического уничтожения многих тысяч представителей интеллигенции и государственным запретом на деятельность самосознания общества, интеллигенция в качестве меры внутренней самозащиты снова выдвигает на первый план моральный критерий принадлежности к интеллигенции – "качество интеллигентности".

Но это – признак "самосохранения", а весь процесс "концептуализации", с ним связанный, – процесс стремления к самосохранению. Интеллигенция как общественная сила самосознания общества, социальная сила устроения общества – из общества устраняется, вытесняется и в этом качестве перестает существовать. В наши дни это стало очевидным. Из "жреца" интеллигенция стала "жертвой" и сама принесена в жертву. Вот печальный вывод, который мы сочли необходимым вынести в заголовок этой статьи.

Но параллельно общественному, социальному вытеснению извне внутри самой интеллигенции (ибо как группа она еще не перестала существовать) нарастает процесс моральной консолидации, основанный на осознании "качества интеллигентности". "Тростник" оказался "мыслящим тростником", "жертва" оказалась "мыслящей". Вот резюме того, что мы собираемся сказать в этой части.

Прежде всего нужно напомнить, что "наши дни" начались в этом смысле очень рано – в первые годы советской власти.

В 1924 г. в Политехническом музее в Москве состоялся диспут "Будущее интеллигенции" (материалы диспута, прошедшего 6 апреля 1924 г., сохранились в реферативном изложении: "Бюллетени литературы и жизни" (1924 г., кн. 3. С. 190–192); здесь цитируем по перепечатке[49]). Основным докладчиком был проф. М.А. Рейснер (отец революционерки и журналистки Ларисы Рейснер). Как сказано в "Бюллетене", "докладчик, проф. М.А. Рейснер, лишь вскользь коснулся теоретической стороны вопроса об интеллигенции. Он охарактеризовал интеллигенцию как социальную группу, которая в профессиональном отношении является группой техников, мастеров, ремесленников и строителей культуры. Как и всякая профессия, интеллигенция имеет свои профессиональные болезни. Наиболее характерной и существенной из этих болезней является тенденция интеллигенции к превращению в касту, к монополизированию просвещения и образования, к обеспечению за собой определенного материально-политического положения". Профессор призвал выработать такую систему "воспитания новой интеллигенции, которая, с одной стороны, создаст подлинных красных спецов, а с другой – обеспечит самую крепкую связь между ними и социальной средой, которая их родила и выдвинула". Этот призыв относился, однако, к области будущего, и, как видно из следующего же требования, будущего фантастического.

"Вместе с тем, – заключил профессор, – в вузах должна быть продолжена та чистка в среде старой интеллигенции, которая началась только в 1923 г., отставши на целых пять лет от Октября. Интеллигенция как совокупность просвещенных элементов населения, конечно, будет расти и размножаться, но интеллигенция как каста должна быть уничтожена. Весь пролетариат должен стать своей собственной интеллигенцией (разрядка моя. – *Ю.С.*)".

Доклад, несомненно, выражал установку власти, и обсуждение, а вместе с ним и реферат "Бюллетеня" заканчивались словами: «"Интеллигенция" – это иллюзия, которая очень дорого обошлась стране и революции, с которой давно пора покончить (разрядка моя. – *Ю.С.*)».

Поэтому то, что происходит – уже в буквальном смысле слова – в "наши дни", – это лишь завершение процесса социального вытеснения интеллигенции как "самосознающей силы общества" и, в сущности, запрета на самосознание общества. "Осознавать общество" – на это имеет право только власть (т.е., в известный период, до "перестройки", – коммунистическая партия). Отсюда явление диссидентства как силы самосохранения и протеста "сознающей части" общества (см. далее: Диссиденты).

Но вытеснение интеллигенции как социальной силы не прекратилось и после "перестройки". Интеллигенция так же, если еще не больше, не нужна и теперь, в обществе "новых русских". И здесь опять-таки, как и в предыдущем случае (лучше сказать: в вышерассмотренном аспекте), процесс начался давно, причем начался как бы в среде самой интеллигенции. Ведь что такое "новые русские" в отношении к интеллигенции? Это "вполне интеллигентные люди" – образованные (т.е. получившие высшее образование), знающие иностранные языки (т.е. языки бизнеса), люди европейские (т.е. часто выезжающие в Европу и США), знающие искусство (т.е. посещающие престижные художественные выставки, театральные премьеры,

аукционы предметов искусства), они ценят искусство (т.е. знают его стоимость), они красиво одеваются (т.е. если "в человеке все должно быть прекрасно...", то у них прекрасная одежда и нередко красивые лица), короче говоря, по многим признакам они – часть интеллигентной среды общества. Более того, они – наиболее мощная, "массовая" часть среды. Процесс их выделения начался давно, но был осознан только в наши дни – косвенным путем, через искусство и критику искусства (через художественную критику).

Здесь мы можем сослаться на одно из удачных "проникновений" – на работу Т.Б. Князевской «Провидческое у Чехова (Четыре постановки "Трех сестер")»[50]. "Будущие конфликты отчужденности, разрыва с природой, с социумом, конфликты внутри семьи, гаснущие семейные очаги ⟨...⟩ были не только чертой, знаками уходящего века – в них таилась опасность, угрожавшая и новому XX в. И наибольшую опасность – в частности для русского общества – увидел Чехов в появлении нового типа Homo sapiens – массового человека, человека толпы, стоящего вне культуры, лишенного нравственных ориентиров, понятий о добре и зле, хорошем и плохом". Это «тип личности без личности – "массовый человек", начисто лишенный нравственных критериев, живущий вне культуры», но он же и иной – "он компенсирует сознание своей неполноценности и чуждости культуре агрессивностью и может утверждаться только с помощью насилия. Таков штабс-капитан Василий Васильевич Соленый"[51].

Рассматривая четыре постановки чеховской пьесы – В.И. Немировича-Данченко 1940 г., А. Эфроса 1967 г., Ю.П. Любимова 1981 г., Петера Штайна 1988 г., – автор показывает, как от постановки к постановке нарастало ощущение вытесненности интеллигенции из жизни. У Немировича-Данченко – тоска по потерянному прекрасному прошлому (мы знаем, что на его спектакле весь зал плакал); у Эфроса уже другое – "жизнь трех сестер проходила на юру, где оголенные ветки черных деревьев с вороньими гнездами угрожали одинокой душе человека, где даже самые близкие разобщены и каждый таит свою боль в себе и тащит груз своей жизни через силу, зная, что Москвы впереди нет. ⟨...⟩ И только человек, затянутый в военную форму, – штабс-капитан Соленый – этот новый тип грядущего завоевателя ⟨...⟩, ни в чем не сомневается и знает, как надо. Уже с первого акта он утверждает себя хамским тоном, открытой грубостью с окружающими, понять которых ему просто не дано..."; "В спектакле Любимова будущее, о котором мечтали сестры, осуществилось. Их дом превращен в казарму, в железный загон для людей, где стоят солдатские койки, застеленные серыми казенными одеялами ⟨...⟩ Одна из стен зрительного зала превращена в зеркало, и мы все, зрители этого спектакля, видим в нем себя. А когда на сцене сестры мечтают о Москве, стена медленно ползет вниз и нам открывается сегодняшняя, сиюминутная Москва – тусклый свет фонарей на Таганке, моросящий дождь..."[52].

И – добавим от себя – это все еще современно. Если дождь идет не реже и не чаще, то уж фонари-то теперь не тусклы и военные, может быть, не держат нас за плечи, но ощущение выброшенности из жизни то же: торжествуют Соленые, мир хорош для Соленых.

В спектакле П. Штайна 1988 г. Т.Б. Князевская чувствует уже иное: в мире по-прежнему царят добро, красота, высокая культура, сочувствие и понимание между людьми, и "типы, подобные Соленому, не представляют угрозы для общества, спаянного нравственными принципами, глубоко укоренившимися в культуре"[53].

И – опять добавим от себя – это убедительно, но это пока лишь прогноз и надежда. Реальный же процесс вытеснения интеллигенции и интеллигентности обнаружен, и он не прекратился.

Но в этом случае возникает "объективная видимость" исчезновения концепта 'Интеллигенция'. Возникает ощущение легкости, с которой можно это понятие ниспровергнуть. И хотя "объективная видимость" остается видимостью, а не делается реальностью и легкость лишь иллюзорная, однако этой иллюзорной возможностью не преминули воспользоваться. Так, например, газета "Книжное обозрение" (1992. 13 мар., № 11) опубликовала ("в порядке дискуссии") заметку Александра Иванова "И н т е л л и г е н т – э т о к т о?". Автор пишет: "Сейчас, в который уже раз в нашей истории, возникли споры об интеллигенции. Высказываются крайние, полярные точки зрения. Первая: интеллигенция – бяка, натворила она в русской истории Бог знает что, стыдно быть интеллигентом. Вторая: интеллигенция – совесть народа (таким образом, получается, что интеллигенция отдельно, а народ отдельно), цвет и гордость страны, надо ее холить и лелеять, а кто нападает на интеллигенцию – бяка, и слушать его не надо.

Позвольте, – говорит автор, – в силу разумения вмешаться в разговор. Выскажу сугубо личную точку зрения, на обилие разделивших ее не рассчитываю".

«...Еще никто никогда не сумел сформулировать, что же такое "интеллигенция". Толкований масса, но все какие-то туманные, неопределенные. В итоге выходит, что это нечто доброе, порядочное, гуманное, человечное (не обязательно с высшим образованием!), но этакое совестливое, высоконравственное и даже где-то возвышенное. Интеллигент – властитель дум, утешитель, учитель, вдохновитель (тут уж рукой подать до "организатора"). И одновременно – вечный оппозиционер правительству, которое никогда не понимает, бестолковое и высокомерное, истинных чаяний народа... Подразумевается, что интеллигент – человек непременно *хороший*. Что окончательно запутывает дело.

Что же получается? Николай Гаврилыч Чернышевский, звавший Русь к топору, – интеллигент? Александр Ульянов, Кибальчич, на досуге рисовавший в камере смертников космические корабли будущего, Софья Перовская – тоже интеллигенты? Считается, что Ульянов-Ленин, организатор государственного переворота, тоже интеллигент. Приехали. Ерунда получается.

Во всех языках в ходу слово "интеллектуал", то есть человек, добывающий хлеб насущный напряжением мозговых извилин. В отличие от человека, занятого трудом физическим. При этом не исключается, что, допустим, фермер пишет неплохие стихи, а философ в свободное время – отличный садовник или столяр-краснодеревщик.

И вот, как ни крути, выходит, что русский интеллигент – это человек, не желающий напрягаться физически и неспособный шевелить мозгами. Маргинал, тот же люмпен. Заменяющий труд переживаниями и сомнениями. А если удастся – "борьбой".

Не случайно же сегодня у нас словом "интеллигенция" прикрывается черт знает кто, личности без малейших признаков интеллекта, подзаборная шантрапа».

«Несуществующее это понятие "интеллигент", надуманное, искусственное. Ведь никто так и не смог дать определение, что же это за штука такая – интеллигентность.

Что же касается роли так называемой русской интеллигенции в истории государства, то она, на мой взгляд, весьма неблаговидна. Вечная рефлексия, неведомо

откуда взявшийся комплекс вины", "хождение в народ" и прочие пустые поползновения привели в конце концов к трагедии».

«Если уж мы, пытаясь выздороветь от чумы так называемого социализма, хотим действительно влиться в мировую цивилизацию, забыть надо эти вздорные, мертворожденные слова – "интеллигент", "интеллигенция". Выдумка это, плод больной души и заблудшего ума. Нет таких слов и понятий»[54].

Но, конечно, приведенная точка зрения если и свидетельствует о том, что "нет таких слов и понятий", то нет их не в российской действительности, а в голове автора и, самое большее, в "необильной" социальной группе "разделивших эту точку зрения".

Ю. Левада (и его статья "Интеллигенция" может читаться как один из ответов на вышеприведенное) пишет: "И все же гонимый или потаенный дух интеллигенции и интеллигентности не исчез полностью. В призрачном, фантомном виде он сохранился в скрытом сопротивлении, туманных надеждах и настойчивых стремлениях сохранить высоты культуры перед лицом торжествующей бюрократии и полуобразованности массы (разрядка моя. – *Ю.С.*)"[55].

Как мы пытались показать, процесс вытеснения интеллигенции как силы самосознающей и сознающей ответственность за общество не остановился. Он принимает новые формы.

Но так же принимает новые формы и процесс самосохранения этой силы. Не так-то легко совладать с осознавшим себя духом!

В таком случае имеет (глубокий) смысл осознать и другие формы этого процесса, особенно – формы недавнего прошлого – диссидентство.

Диссиденты. По внутренней форме это слово означает буквально "сидящий отдельно" (от латинского глагола *dissidere* 'сидеть врозь'). Но уже в классической латыни этот глагол приобрел значения: 1) далеко отстоять, находиться вдали; 2) быть несогласным; 3) отличаться; 4) бунтовать; по всем значениям он относится к людям как членам общества. Писатель Федр высказал афоризм, ставший почти поговоркой: Humiles laborant, ubi potentes dissident – «Простые люди страдают, когда сильные (мира сего) не согласны между собой ("сидят врозь")».

В эпоху Реформации слово *диссиденты* стало означать, первоначально в латинской форме, людей, расходящихся по вопросам веры. Считают, что это значение возникло в Польше в XVI в., но сначала этим термином обозначались, как и в классической латыни, все спорящие стороны, как большинство, так и меньшинство; это засвидетельствовано юридической формулой мира (1573): pax inter dissidentes de religione – "мир между (всеми) диссидентами в религии". Затем это слово стало относиться только к религиозным меньшинствам, т.е. в Польше к протестантам и православным, в их противопоставлении официальной религии – католичеству.

В Германии в начале XX в. этот термин означал членов религиозных меньшинств, не примыкающих к трем вероисповеданиям, пользующимся государственным признанием, т.е. к католичеству, протестантизму, иудаизму.

В России (т.е. тогда в СССР) этот термин утвердился с середины 1970-х годов, когда "сначала западная, а затем и советская печать начала называть так лиц, открыто спорящих с официальными доктринами в тех или иных областях обществен-

ной жизни в СССР" – так определяет это слово статья "Диссиденты", написанная Л. Богораз и А. Даниэлем[56]. Это слово имело синонимы – *отщепенцы*, что первоначально в языке русской интеллигенции не содержало оттенка какого-либо позорящего клейма (см. И н т е л л и г е н ц и я у Г.П. Федотова[57]), но получило его в официальных текстах: *инакомыслящие; правозащитники*.

«Само явление, – продолжают далее Л. Богораз и А. Даниэль, – зародилось значительно раньше, в эпоху, непосредственно последовавшую за хрущевской "оттепелью", т.е. в 1964–1968 гг. В этот период значительная часть интеллигенции осознала расхождение между своими общественными идеалами, сформированными в основном историческим опытом и надеждами предыдущего десятилетия, и политическим курсом послехрущевского руководства, непосредственным толчком к такому осознанию стал судебный процесс над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем (февраль 1966 г.). Этот суд не только способствовал кристаллизации общественного мнения, но и стимулировал первые формы гражданской активности (прежде всего в виде петиционной кампании в защиту осужденных писателей). В 1968–69 гг. под влиянием продолжающихся политических процессов ⟨...⟩ гражданская активность части "инакомыслящих" стала приобретать признаки общественного движения»[58].

"Специфика диссидентского движения в истории общественных движений в России определяется тем, что диссидентство как целое никогда не стремилось стать ни политической оппозицией, ни тем более политической партией"; «Таким образом, понятие "диссидент" изначально несло в себе принципиальную парадоксальность. О с о з н а т ь с е б я ч л е н о м о б щ е с т в а, о т в е т с т в е н н ы м з а е г о с у д ь б у (разрядка моя. – *Ю.С.*) значило быть отторгнутым от общественных структур, носивших в значительной мере иллюзорный характер»[59].

Выделенные нами слова – это основной признак концепта 'Интеллигенция' как общественной группы, осмысляющей судьбу общества в целом и берущей на себя ответственность за эту функцию осознания. Таким образом, можно сказать, что в рассматриваемый период выразителем, носителем основного качества интеллигенции были диссиденты.

В центре диссидентского движения оказалось течение "правозащитников", ставившее себе наиболее конкретные, непосредственно понятные всем цели: положение с правами человека в СССР (политическими, социально-культурными, национальными, религиозными и др.) и несоответствие этого положения Всеобщей декларации прав человека ООН. Термин "правозащитники" был единственным самоназванием, которое диссиденты не получили извне. Термины "инакомыслящие" или "диссиденты" выражали несколько различные концепты: "Провести границу между инакомыслием и диссидентским движением крайне непросто: скорее всего, ее можно определить как границу между образом мыслей и типом социального поведения"[60].

В полном соответствии с традициями русской интеллигенции диссидентское, и в частности правозащитное, движение не выделяло как-то особо русскоязычное население, русских, русский народ, – вопросы ставились в общечеловеческом, гуманитарном и демократическом ключе. Иным было положение за пределами России (тогда РСФСР) и в автономных республиках внутри нее. "У наций бывших союзных и автономных республик, – утверждают исследователи, – практически все движения в той или иной форме ставили вопросы национально-политические: суверенитет, экономическая самостоятельность, приоритет национальной культуры, язы-

ка, переоценка исторических событий, задевающих национальное достоинство"; в самой России, вплоть до 1987–1989 гг., т.е. уже в период широких движений гражданских инициатив, "большинство неформальных групп так или иначе поднимали проблемы, связанные с правами человека, многопартийной системой, свободными выборами, рыночной экономикой, отстаивали идеалы свободы. Все это имело принципиальное значение для жизни русского народа, но в общественном сознании не соединялось тогда с представлениями о национальном возрождении, как в других республиках. Национально-патриотическое движение развивалось в России как бы параллельно"[61]. В дальнейшем эта особенность привела к тому, что общедемократическому движению стало противопоставлять себя отдельное, национально-патриотическое, движение, представленное, в частности, различными группами, объединенными общим названием Общество "Память".

Однако указанную ранее особенность диссидентского движения нельзя оценивать как какой-то "просчет" или недостаток. Вряд ли можно лучше сказать по этому поводу, чем словами Н.А. Бердяева о предыдущем поколении: "Русская интеллигенция всегда с отвращением относилась к национализму и гнушалась им, как нечистью. Она исповедовала исключительно сверхнациональные идеалы. И как ни поверхностны, как ни банальны были космополитические доктрины интеллигенции, в них все-таки хоть искаженно, но отражался сверхнациональный, всечеловеческий дух русского народа (разрядка моя. – *Ю.С.*)"[62].

Итак, можно сказать, что эпоха "перестройки" легализовала диссидентские лозунги, чем и выяснилось то – ранее отвергавшееся официальной пропагандой положение, – что эти лозунги сохраняли и даже "предохраняли" основные общественные идеалы: гласность, демократическую общественную жизнь, создание правового государства, многопартийность в политической жизни, радикальную экономическую реформу в направлении рыночной экономики и "конвергенции" с Западом, открытое общество, права человека и т.д.

Но судьба диссидентов не могла не быть трагичной: преследования, заключение в концлагеря, изгнание из страны были их обычной участью. К ним применимы слова, сказанные Надеждой Мандельштам о поколении интеллигентов 30-х годов: "Судьба была заложена, как в куколке бабочки, в духовной структуре этих людей".

Фигуры А.Д. Сахарова (1921–1989) и А.И. Солженицына (род. 1918) остаются наиболее ярким личным воплощением этого общественного типа.

Облик толпы. Много раз в этой статье идет речь о внутреннем, духовном облике. Но – облик внешний? Есть, конечно, и он. Но только это выражение я отнесу не к облику народа, а к облику толпы. В частности, к облику толпы на улицах.

В культуре вообще нет ничего ни чисто "физического, материального", ни чисто "духовного". Внешний облик толпы складывается из представлений смотрящих и из реальных физических черт объекта, на который они смотрят. Взгляд смотрящих пропускает далеко не все, что может воспринять их глаз. Подобно этому, ухо слушающего воспринимает в слышимой им речи только то, что отвечает его фонематическим представлениям: русское ухо слышит во французском слове *humanité ю* "юманите", разлагая французское *и* на "*й* + *у*"; напротив, французское ухо не различает в русской речи *ть* и *ц*, и изучающий русский язык фран-

цуз произносит "играц" и т.п. Итак, "облик толпы" складывается из реальности + представлений о том, какая она должна быть.

Я наблюдал это на демонстрации 16 августа 1991 г. в Москве по случаю победы над путчем. На Арбате я вышел из рядов и стал смотреть на проходящих со стороны; одновременно, разумеется, я видел и стоящих на тротуаре "наблюдателей". Их реплики по отношению к демонстрантам были таковы: "Вот они, идут, – очкарики!" Между тем в физическом смысле людей в очках среди демонстрантов почти не было, гораздо больше их было среди самих "наблюдателей", – демонстранты же были энергичные, большей частью молодые и средних лет люди, веселые – в этот радостный день, – поющие. Толпа разделилась – на тех, кто шел в демонстрации, и тех, кто смотрел на нее с тротуара. "Очкарики", т.е. "интеллигенты", – было презрительной оценкой первых со стороны вторых. Но, вероятно, им и в действительности виделся в демонстрантах некий тип лиц, которые – пусть не сейчас, но "в принципе" – могут носить очки.

Теперь мы подошли к одному важному следствию из этого явления: о д и н о ч е с т в о в т о л п е. Какая может быть связь между "обликом толпы" и "одиночеством" человека в ней, притом "человека из той же толпы?" Это разъясняет для нас, русских XX в., великий француз – Паскаль (1623–1662): "По мере того как развивается его собственный дух, человек различает больше оригинальных людей вокруг. Человек толпы не видит различий в других людях"[63]. Выражение Паскаля "l'homme du commun", которое он здесь употребил и мы перевели как "человек толпы", можно перевести еще иначе: "заурядный человек", "неразвитой человек" и т.п. Человеку толпы в толпе же и одиноко, потому что все люди вокруг него для него – толпа, потому что он сам не способен выделить себя из толпы. Этим же объясняется причудливое явление наших дней: в пору моего детства все жители большого московского дома здоровались друг с другом при встрече, а сейчас даже жильцы с одной лестничной площадки не узнают друг друга: изменились не только отношения между людьми – изменились люди.

Вернемся теперь к облику толпы. Он связан с обликом города. Москва, особенно зимой и по ночам, какой она стала в первые дни 1918 г., и запечатлена И. Буниным:

«2 марта. "Вон из Москвы!" А жалко. Днем она теперь удивительно мерзка. Погода мокрая, все мокро, грязно, на тротуарах и на мостовой ямы, ухабистый лед, про толпу и говорить нечего. А вечером, ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо. Но вот тихий переулок, совсем темный, идешь – и вдруг видишь открытые ворота, в глубине двора, прекрасный силуэт старинного дома, мягко темнеющий на ночном небе, которое тут совсем другое, чем над улицей, а перед домом столетнее дерево, черный узор его громадного раскидистого шатра..."[64].

"23 марта. Вся Лубянская площадь блестит на солнце. Жидкая грязь брызжет из-под колес. И Азия, Азия – солдаты, мальчишки, торг пряниками, халвой, маковыми плитками, папиросами. Восточный крик, говор – и какие все мерзкие даже и по цвету лица, желтые и мышиные волосы! У солдат и рабочих, то и дело грохочущих на грузовиках, морды торжествующие"[65].

Еще раньше Бунин записал: "25 февраля... ⟨...⟩ Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка – и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток:

– Вставай, подымайся, рабочий народ!

Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские". Но мы уже

сказали вначале, что облик толпы складывается и из представлений смотрящего на нее извне.

Облик связан с психическим складом, с душевным типом. Впервые у нас это подметил, пожалуй, Н.А. Бердяев[66]: «Уже война (он имеет в виду войну 1914–1918 гг. – *Ю.С.*) выработала новый душевный тип, тип, склонный переносить военные методы на устроение жизни, готовый практиковать методическое насилие, властолюбивый и поклоняющийся силе. Это – мировое явление, одинаково обнаруживающееся в коммунизме и фашизме. В России появился новый антропологический тип, новое выражение лиц. У людей этого типа иная поступь, иные жесты, чем в типе старых интеллигентов. Подобно тому, как в 60-х годах (XIX в. – *Ю.С.*), при появлении нигилистов, более мягкий тип идеалистов 40-х годов заменен был более жестким типом, в стихии победоносной революции, вышедшей из стихии войны, тот же процесс произошел в более грандиозных размерах. При этом старая интеллигенция, генетически связанная с "мыслящими реалистами" нигилистической эпохи, играет ту же роль, которую в 60-е годы играли идеалисты 40-х годов, и представляет более мякий тип. Вследствие ослабления памяти, под влиянием аффекта, она забывает, что произошла от Чернышевского, который презирал Герцена, как мягкого идеалиста 40-х годов по своему происхождению. Коммунисты с презрением называли старую революционную и радикальную интеллигенцию буржуазной, как нигилисты и социалисты 60-х годов называли интеллигенцию 40-х годов дворянской, барской. В новом коммунистическом типе мотивы силы и власти вытеснили старые мотивы правдолюбия и сострадательности. В этом типе выработалась жесткость, переходящая в жестокость. Этот новый душевный тип оказался очень благоприятным плану Ленина, он стал материалом организации коммунистической партии, он стал властвовать над огромной страной. Новый душевный тип, призванный к господству в революции, поставляется из рабоче-крестьянской среды, он прошел через дисциплину военную и партийную. Новые люди, пришедшие снизу, были чужды традициям русской культуры и жили исключительно верой. Этим людям свойственно было ressentiment (обида, смешанная с завистью. – *Ю.С.*) по отношению к людям старой культуры, которое в момент торжества перешло в чувство мести. Этим многое психологически объясняется»[67].

Этим многое психологически объясняется и в наши дни, в обществе "новых русских" и Соленых...

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Степанов Ю.С.* Константы: Словарь русской культуры. М.: Школа "Языки русской культуры", 1997.

[2] Все время нужно заботиться о точном, хотя бы и переносном, значении употребляемых исследователем слов. Обратимся и в данном случае к определениям. Словарь Ушакова (Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1. Стб. 878, 860) точно определяет: "*Жрец.* 2. *перен.* Человек, отдавшийся на служение чему-н. (науке, природе, искусству; ритор. поэт.) ... *Жрец Фемиды* (судья; Фемида – богиня правосудия у древних греков и римлян)"; "*Жертва.* 6. *чего.* Человек, пострадавший или погибший во имя чего-н., вследствие преданности чему-н. *Он пал жертвой честного отношения к делу...*"

Сама же заголовочная строчка взята мной из рассуждения Вяч. Иванова "О действии и действе", которым он сопроводил свою трагедию "Прометей" (1906–1919). На очень, конечно, абстрактном и очень литературном уровне трагедия эта и трактат имеют все же отношение и к нашему предмету, и не абстрактному, и не "литературному". «Слова, влагаемые Эсхиловым хором старцев в уста Агамемнона, стоящего на пороге рокового решения: "Что здесь не грех? Все – грех!" – заключают в себе целую философию действия: так, по крайней мере, философствует Трагедия. Но последняя изменила бы

своей природе, если бы в то же время – и именно в силу противоречия, ею вскрытого, – не повелевала человеку действовать.

Познай себя, кто говорит: "Я – Сущий",
Познай себя – и нарекись: "Деянье".
⟨...⟩
"Жрец" нарекись, и знаменуйся: "Жертва".
Се, действо – жертва. Все горит. Безмолвствуй»

(*Иванов Вяч.* Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 157). Это писалось в 1919 г., что это – предчувствие?

[3] Автор хотел бы лишний раз подчеркнуть, что и данная статья не претендует на роль исторического очерка, это – очерк о концепте (но последний имеет, конечно, свою историю).

[4] Близкое по объекту исследований направление развивается во французской школе "Анналов" и в России в коллективе, руководимом А.Я. Гуревичем. Оно известно под названием "История ментальностей" (суммарное представление о нем может дать книга "Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996). Его преимущественным предметом являются системы и процессы сравнительно большого масштаба, развертывающиеся на протяжении сравнительно больших периодов истории.

В центре же нашего подхода иной предмет – мельчайшая единица ментальности, "концепт", и мы стремимся уловить ее первоначально в иной точке процесса – в наши дни.

[5] *Мандельштам Н.* Воспоминания. Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1970. С. 352–353.

[6] Ср. наш опыт описания этого понятия: *Степанов Ю.С.* Концепт "духовного странничества" в России XIX и XX вв. // Русское подвижничество / Сост. Т.Б. Князевская. М.: Наука, 1996. С. 40.

[7] *Федотов Г.П.* Россия и свобода // Мыслители русского зарубежья: Бердяев. Федотов / Сост. А.Ф. Замалеев. СПб.: Наука, 1992. С. 441.

[8] A Greek-English Lexicon / Compiled by H.G. Liddell, R. Scott, rev. and augmented by H.S. Jones. Oxford: Clarendon Press, 1985. С. 1178.

[9] *Теренций.* Комедии. М.: Искусство, 1988. С. 328–329; Lexicon Terentianum / Conscripsit P. McGlynn. Londini; Glasguae, 1963. Vol. prius A–O. С. 295–296.

[10] См.: *Уколова В.И.* "Последний римлянин" Боэций. М.: Наука, 1987. С. 99–100; *Майоров Г.Г.* Формирование средневековой философии. М.: Мысль, 1979. С. 362.

[11] *Гумбольдт В. фон.* О задаче историка // Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. С. 306.

[12] *Реизов Б.Г.* Французская романтическая историография. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1956. С. 197.

[13] *Гегель.* Энциклопедия философских наук. М.: Мысль, 1975. Т. 2. С. 15.

[14] *Гегель.* Работы разных лет. М.: Мысль, 1971. Т. 2. С. 184.

[15] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 40. С. 287–290.

[16] *Новгородцев П.И.* Нравственный идеализм в философии права // Проблемы идеализма. М., 1902. С. 238.

[17] *В-въ В.* Интеллигенция // Новый энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 19 (ок. 1912 г.). Стб. 538.

[18] *Дробжев М.И.* Этические идеалы эсеров // Очерки этической мысли в России конца XIX – начала XX века. М.: Наука, 1985. С. 277.

[19] *Авксентьев Н.Д.* Сверхчеловек. Культурно-этический идеал Ницше. СПб., 1906. С. 107 (цит. в работе: *Дробжев М.И.* Указ. соч. С. 285).

[20] *Новгородцев П.И.* Указ. соч. С. 238.

[21] Там же. С. 296.

[22] *Жуковский В.А.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1960. Т. 4. С. 671.

[23] *Шмидт С.О.* Подвиг наставничества: В.А. Жуковский – наставник наследника царского престола // Русское подвижничество / Сост. Т.Б. Князевская. М.: Наука, 1996. С. 217–218.

[24] См. подробнее: *Акулинин В.Н.* Философия всеединства: От В.С. Соловьева к П.А. Флоренскому. Новосибирск: Наука, 1990; по линии чисто философской (не социологической) концептуализации см.: *Моисеев В.И.* Логос русской философии всеединства как основание теоретизации гуманитарного знания // Современная философия языка в России: Предварительные публикации 1998 г. / Сост. Ю.С. Степанов; Ин-т языкознания РАН. М., 1999. С. 103–167.

[25] *Асмус В.Ф.* Борьба философских течений в Московском университете в 70-х годах XIX века // Асмус В.Ф. Избр. философские труды. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. Т. 1. С. 238.

[26] *Щетинина Г.И.* Идейная жизнь русской интеллигенции: Конец XIX – начало XX в. М.: Наука, 1995. (Очерк В.Ф. Асмуса, к сожалению, этому автору остался неизвестным.)

[27] *Боборыкин П.Д.* Подгнившие "Вехи" // В защиту интеллигенции. М., 1909. С. 128.

[28] Приведенные краткие сведения из истории русского языка необходимо теперь дополнить недавно опубликованными материалами акад. В.В. Виноградова (*Виноградов В.В.* Интеллигенция // Виноградов В.В. История слов. М.: Толк, 1994) и С.О. Шмидта (*Шмидт С.О.* Указ. соч.).

[29] Diccionario enciclopédico Sopena. Barcelona, 1977. Т. 3. Стб. 2473.

[30] *Дживелегов А.* Интеллигенция в Италии XVI в. // Дживелегов А. Очерки итальянского Возрождения. М.: Федерация, 1929. С. 13.

[31] *Лѣткова Ек.* Крепостная интеллигенция // Отечественные записки. (СПб.). 1883. Т. 271, № 11, ноябрь; см. также: *Курмачева М.Д.* Крепостная интеллигенция в России: Вторая половина XVIII – начало XIX в. М.: Наука, 1983.

[32] *Лѣткова Ек.* Указ. соч. С. 159–160.

[33] *Курмачева М.Д.* Указ. соч.

[34] *Лейкина-Свирская В.Р.* Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М.: Мысль, 1971.

[35] *Wójcik Z.* Rozwój pojęcia inteligencji. Wrocław, etc.: Wydawn. Polsk. Akad. Nauk, 1962.

[36] *Шелгунов Н.В.* Неизданная записка 1881–1882 гг. // Каторга и ссылка. 1929. № 8–9. С. 165; см. также в работе: *Лейкина-Свирская В.Р.* Указ. соч.

[37] *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 41.

[38] *Лейкина-Свирская В.Р.* Указ. соч. С. 25.

[39] *Милюков П.* Университеты в России // Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. 1902. Т. 34А.

[40] *Лейкина-Свирская В.Р.* Указ. соч. С. 41.

[41] *Булгаков С.Н.* Героизм и подвижничество // Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. 2-е изд. М., 1909. С. 59–60.

[42] *Федотов Г.П.* Письма о русской культуре // Мыслители русского зарубежья... С. 404–405.

[43] *Бердяев Н.А.* Философская истина и интеллигентская правда // Вехи... 2-е изд. С. 3.

[44] Там же. С. 7.

[45] Там же. С. 10.

[46] Там же. С. 12.

[47] Вехи... 2-е изд.

[48] Далее цитируем по сборнику "Вехи".

[49] См.: Судьбы русской интеллигенции: Материалы дискуссий 1923–1925 гг. / Отв. ред. В.Л. Соскин. Новосибирск: Наука, 1991. С. 15–18.

[50] *Князевская Т.Б.* Провидческое у Чехова: (Четыре постановки "Трех сестер") // Чеховиана: Чехов в культуре XX века. М.: Наука, 1993.

[51] Там же. С. 131.

[52] Там же. С. 134.

[53] Там же. С. 135.

[54] *Иванов А.* Интеллигент – это кто? // Книжное обозрение. 1992. 3 мар., № 11.

[55] *Левада Ю.* Интеллигенция // 50/50: Опыт словаря нового мышления. М.: Прогресс; Пайо, 1989. С. 130.

[56] *Богораз Л., Даниэль А.* Диссиденты // 50/50: Опыт словаря нового мышления. С. 411.

[57] *Федотов Г.П.* Письма о русской культуре.

[58] *Богораз Л., Даниэль А.* Указ. соч. С. 411.

[59] Там же. С. 412.

[60] Там же. С. 413.

[61] Русские: Этно-социологические очерки. М.: Наука, 1992. С. 379.

[62] *Бердяев Н.А.* Психология русского народа // Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Сов. писатель, 1990. С. 15.

[63] *Pascal B.* Pensées // Pascal B. Œuvres completes. Bibliothèque de la Pléiade. P.: Gallimard, 1980. С. 1091.

[64] *Бунин И.А.* Окаянные дни. Лондон (Канада): Заря, 1973. С. 35.

[65] Там же. С. 41.

[66] *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С. 101.

[67] Высказывания Н.А. Бердяева (только что приведенные и выше) составляют одну из самых жестких критик русской интеллигенции. Но и самого Бердяева нельзя воспринимать некритически. Обращает на себя внимание поразительное сходство между его работой "Истоки и смысл русского коммунизма", задуманной Бердяевым в 1933 г. и вышедшей в свет в 1937 г. на английском языке, и "Историей ВКП(б). Краткий курс", опубликованной в СССР в 1938 г. Сравним хотя бы следующие места (русский текст Бердяева даем по изд.: *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990).

Н.А. Б е р д я е в: «...Твердая надежда, которую дает научный социализм на осуществление вожделенной цели, связана с промышленным развитием, с образованием класса фабричных рабочих. Страна, которая останется исключительно сельскохозяйственной и крестьянской, таких надежд не дает. Поэтому первые русские марксисты прежде всего должны были опрокинуть народническое миросозерцание, доказывать, что в России развивается и должен развиваться капитализм. Борьба за тот тезис, что в России развивается капиталистическая индустрия и, следовательно, возрастает количество рабочих, представлялась революционной борьбой. Социалисты-народники в глазах марксистов превратились почти в реакционеров.

Но марксизм был воспринят по-разному. Для одних развитие капиталистической промышленности в России означало надежду на торжество социализма. Возникает рабочий класс. Нужно отдать все свои силы на развитие сознания этого класса. Это Плеханов говорил: "за капитализм вся динамика нашей общественной жизни". Говоря это, он думал не о самой промышленности, а о рабочих. Для других, преимущественно для легальных марксистов, развитие капиталистической промышленности приобретало самодовлеющее значение и революционно-классовая сторона марксизма отходила на второй план. Таков был прежде всего П. Струве, представитель марксизма буржуазного. ⟨...⟩

Марксисты считали народников реакционерами, сторонниками отсталых форм хозяйства, народники же считали марксистов сторонниками капитализма, призванными служить развитию капитализма» (с. 84–85).

"К р а т к и й к у р с" (цит. по изд.: История Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков): Краткий курс. М.: Госполитиздат, 1950): "В своих работах, направленных против народников, Плеханов доказал, что нелепо ставить вопрос так, как ставили его народники: должен или не должен развиваться капитализм в России? Дело в том, говорил Плеханов, доказывая это фактами, что Россия *уже вступила* на путь капиталистического развития и что нет такой силы, которая могла бы ее с этого пути свернуть.

Задача революционеров была не в том, чтобы *задержать* развитие капитализма в России – этого они все равно не смогли бы сделать. Задача революционеров заключалась в том, чтобы опереться на ту мощную революционную силу, которая порождается развитием капитализма, – на рабочий класс, развивать его классовое сознание, организовать его, помочь ему создать свою рабочую партию" (с. 14).

«В то же время народники в своих журналах вели травлю марксистов. Сознательно искажая, перевирая взгляды русских марксистов, народники уверяли, будто марксисты хотят разорения деревни, будто марксисты хотят "выварить каждого мужика в фабричном котле". Разоблачая эту фальшивую народническую критику, Ленин показал, что дело не в "желаниях" марксистов, а в действительном ходе развития капитализма в России, при котором количество пролетариата неизбежно увеличивается. Но пролетариат явится могильщиком капиталистического строя» (с. 21).

Такие параллели между двумя текстами, особенно по общим вопросам общественного развития России (а не собственно "партийного строительства") можно было бы продлить. Разумеется, акценты и выводы в этих двух текстах существенно разные. Но в главном выводе они совпадают: и "Краткий курс", и Бердяев считают большевизм естественным и закономерным завершением борьбы партий в России начала XX в., а Октябрьскую революцию – естественным и закономерным завершением общественных противоречий в России этого периода.

Из основного совпадения вытекает сходство стилей. К стилю "Краткого курса" странным образом подходит характеристика, данная бердяевской манере историком русской философии протоиереем В.В. Зеньковским (мы имеем в виду его книгу: *Зеньковский В.В.*, прот. История русской философии. (Париж: YMCA-press, 1950. Т. 2), признанную и даже изданную, хотя и "Для научных библиотек", еще в "советский период" в нашей стране): «В литературной манере Бердяева есть некоторые трудности, – часто читателю трудно уловить, отчего данная фраза следует за предыдущей: порой кажется, что отдельные фразы можно было бы легко передвигать с места на место – настолько неясной остается связь двух рядом стоящих фраз. Но в чем Бердяев является блестящим – это в чеканке отдельных формул, в своеобразных bons mots, которые запоминаются навсегда.

Особой чертой Бердяева является то, что в нем чрезвычайно сильна стихия публицистики. Я думаю даже, что эта сторона в творчестве Бердяева особенно способствовала его мировому влиянию. ⟨...⟩ Впрочем, элементы публицистики очень тесно сплетаются у Бердяева с проповедью, с устремленностью к будущему – с тем, что сам Бердяев в себе называл "профетическим". Это не пророчества в точном смысле слова, это скорее именно проповедь и утопические вдохновения, – и всегда в них есть элемент "дидактический", по выражению одного автора, писавшего о Бердяеве. Бердяев всегда учит, наставляет, – обличает и зовет, всегда в нем выступает моралист» (с. 300–301).

У меня есть подозрение, что тексты Н.А. Бердяева, в особенности "Истоки и смысл русского коммунизма", оказали влияние на текст "Краткого курса ВКП(б)", хотя, конечно, доказать это без специальной текстологической работы я не могу. Известно, однако, что в период подготовки "Краткого курса" в СССР работала специальная комиссия, которая в числе прочего имела среди порученного ей и ознакомление с различными относящимися к делу текстами.

Вяч.Вс. Иванов

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ КАК ПРОВОДНИК В НООСФЕРУ

Настоящая статья основана преимущественно на материале, связанном с русской интеллигенцией и ее историей, хотя конкретные данные нужны автору только для обоснования и пояснения нескольких выводов общего характера. Поэтому изложение ведется не строго хронологически. Факты разных эпох рассматриваются вместе, если в них видна характерная для русской истории повторяемость. Сведения, относящиеся к другим странам и периодам, приводятся лишь выборочно и для сопоставления. Однако предлагаемые умозаключения, возможно, действительны не только применительно к России.

1

Одной из существенных отличительных особенностей интеллигенции является ее социальное положение. Начиная с XIX в. (главным образом со второй его половины, после реформ Александра II) русская интеллигенция определенно выступает в качестве особого общественного слоя или сословия. Интеллигенты в это время достаточно отличны от купечества и предпринимателей. Но они разнятся и с духовенством и с дворянами, по традиции занятыми на военной или чиновничьей службе. Как рано складывается эта социальная обособленность интеллигенции?

Попытка ответить на этот вопрос неизбежно приводит к рассмотрению взаимоотношения русских традиций духовной и мыслительной деятельности с официальной церковью и неофициальными религиозными движениями. Выделение людей, занятых такой деятельностью, в особую социальную группу стало возможным после потери православной церковью монопольного положения в этой области.

Кандидатами на роль предшественников, или предтеч, выполняющих ту функцию, которая века спустя переходит к интеллигенции в современном смысле слова, могли бы считаться те древнерусские монахи (точнее, монастырские и церковные писатели), которые были заняты не столько узкомонастырскими или вообще церковными делами, сколько сочинением летописных, житийных и других текстов, имеющих в виду будущего читателя и, во всяком случае, не всегда прямо связанных со злобой дня или с чисто богословскими профессиональными целями. Одним из

© Вяч.Вс. Иванов, 2000

показательных примеров может быть автор первоначальной "Повести временны́х лет". Кажется возможным предположить, что и собственно языковая сторона древнерусских летописей и житий святых связана с особым характером задач, которые ставили перед собой их авторы или составители, подобные летописцу Нестору. Вопреки несколько упрощенному представлению, отраженному, например, в работах С.П. Обнорского[1], самые ранние части летописи не написаны на древнерусском языке в том его более или менее "чистом" виде, как в текстах других жанров, скажем в грамотах. К древнерусской грамматической и лексической системе в летописях, начиная с их самых ранних прообразов, реконструированных Шахматовым и Приселковым, должны были примешиваться черты явно церковнославянского происхождения. Это хорошо видно по морфологии глагола. В отличие от более близких к разговорному древнерусскому языку грамот, например новгородских, в летописях и житиях святых, как и в позднейших текстах книжного характера, регулярно используются формы аориста и имперфекта, соответствующие церковнославянским нормам. Поскольку повествование ведется в прошедшем времени, эти формы оказываются ключевыми для структуры текста в целом. Думается, что влияние церковнославянского языка связано здесь с желанием перевести рассказ в план, отличный от повседневного. В позднейшей интеллигентской традиции можно в качестве параллели указать на использование эзотерического языка, недоступного непосвященным (например, широко использующего иностранную или вообще специальную терминологию).

Как и в иных случаях, раньше других современность этой социальной роли древнего книжника благодаря своему поэтическому чутью заметил Пушкин. Возможно, что ему помогало сравнение с проходившей на его глазах деятельностью Карамзина-историка – "последнего летописца", чью "Русскую историю" он сразу по ее выходе прочитал залпом, хотя и отзывался о ней поначалу противоречиво и иногда без сочувствия[2]. Так или иначе в "Борисе Годунове", посвященном Карамзину, чей труд Пушкин положил в основу пьесы, изображен отшельник-летописец, содержащий в себе черты русского писателя, заботящегося только о будущих поколениях. Кризис, усматриваемый в древнерусской культуре Г.В. Флоровским[3], искавшим его корни в Византии, уже предвещает катастрофичность развития современного русского интеллигентского мировоззрения.

В период, следующий за освобождением от монголо-татарского гнета, в жизни, поведении и деятельности русского монаха, занятого творчеством, усиливаются именно те черты, которые типологически сходны с будущим интеллигентом. Озаренность свыше дается как вознаграждение за земной подвиг. О современности этого человеческого типа на протяжении XX в. в равной мере свидетельствуют "Часослов" Рильке, фильм Андрея Тарковского "Андрей Рублев" и двухтомное сочинение В.И. Топорова о русской святости. Русский монах у Рильке знает о католической культуре, отличной от его собственной (перевод мой).

Есть много братьев у меня в сутанах
На юге, где в ограде лавр стоит.
Я знаю о Мадоннах их румяных
И часто думаю о Тицианах...

Пути развития восточного христианства оказались достаточно отличными от эволюции западной церкви.

Монастыри на протяжении почти целого тысячелетия оставались в России основными центрами хранения и переработки информации, в том числе и тогда, когда на Западе эта функция давно уже осуществлялась университетами. Гипотеза Мазона и Зимина о монахе Иоиле как авторе "Слова о полку Игореве" (в новом варианте поддержанная недавно Кинноном) кажется интересным свидетельством того, что для серьезных историков культуры именно монастырская среда остается вплоть до XVIII в. главным возможным источником творчества (в том числе и направленного на фальсификацию; многие проявления ранних тенденций, о которых идет речь, известны по столь поздним свидетельствам, где реконструкцию трудно или почти невозможно отличить от подделки). Роль Оптиной пустыни для таких писателей, как Леонтьев и Достоевский, можно рассматривать скорее как продолжение давней традиции. Эти взгляды позднего Достоевского отражены и в роли Зосимы в композиции "Братьев Карамазовых", как и в опущенной главе "Бесов" с исповедью Ставрогина, чей собеседник проясняет один из двух моральных полюсов, которые предполагалось показать в "Житии великого грешника". Наследие старчества, претворенное славянофилами разных поколений, оказалось весьма значительным для интеллигентского сознания. В романе В. Маканина "Андерграунд, или Герой нашего времени", представляющем собой опыт художественного осмысления последних десятилетий, главный герой, совмещающий в себе писателя-"агэшника" (принадлежащего к "агэ" = "а.г." – андерграунду) и бомжа, отчетливо формулирует распространенный взгляд на сходство всей своей общественной группы с монахами-аскетами и их наследием: "некоторые начинают счет с отшельников – со святых отцов, убежавших от мира в пустынь". В этой связи он перечисляет "всех вообще возмутителей и без того нескучного российского спокойствия: волна за волной. Отшельник – как внутренний эмигрант. Едва кончаются отшельники, как раз и начинаются эмигранты. Эмигрантов сменяют диссиденты. А когда испаряются диссиденты, заступает андерграунд. Прочтений русского отступничества хватит на всякий вкус. И прекрасно. Это – мы. В России, как нигде, новизна любой идеи оборачивается через время своим выворотом. Мы мученики не идей, а их мучительно меняющихся прочтений..."[4].

Если говорить о характере отношения носителей идей и их прочтений (интерпретаций) с официальной религиозной властью, то бросается в глаза типичность конфликтов с наиболее одаренными людьми. Отличие этого наследия от западноевропейского, в той или иной мере связанного с ренессансным, можно отчетливо показать на тех примерах, когда человек, связанный изначально с идеями Возрождения, затем выбирает путь, ориентированный на православную традицию, иногда приводящий к тяжелым испытаниям, если не к мученичеству. В этом отношении едва ли не всего показательнее биография Максима Грека. Его сознательный выбор пал на афонское и русское православие после трагедии Савонаролы, для него обозначавшей неприемлемость происходившего тогда в Италии. Многолетнее повторное заточение в монастыре в России позволяет говорить о нем как об одном из первых русских интеллигентов, вступивших в конфликт с официальной (церковной) идеологией и властью (причисление его к лику святых русской Православной церковью на соборе 1988 г. показательно прежде всего для измерения промежутка времени – 332 года после его смерти, – понадобившегося для оценки его заслуг). Возвращаясь к языку как к одному из возможных знаков изменения социальной позиции, можно отметить роль Максима Грека в замене некоторых книжных форм в

церковных книгах выражениями, более близкими к разговорной речи[5]; обмирщение языка (тенденция, прямо противоположная эзотерической и приходящая ей на смену) стало позднее одной из главных функций литературы, создаваемой интеллигентами, в частности поэтами.

Отмеченные черты ранней прединтеллигентской психологии устойчиво сохраняются вплоть до недавнего времени. Решительное противопоставление западного послеренессансного пути традиционному русскому, одновременно православному и интеллигентскому (с характерным для последнего тяготением к универсальному, или энциклопедическому, знанию), можно видеть в философии священника Павла Флоренского, повлиявшего и на сходные взгляды А.Ф. Лосева. Флоренскому представлялось чуждым и враждебным то миросозерцание, которое, по его мнению, торжествует начиная с Возрождения. В нем признается только точка зрения наблюдателя/субъекта в отличие от более ранней и близкой ему философии, которую Флоренский связывал с Птолемеем и Данте[6]. Независимость общественной позиции Флоренского привела к трем его арестам: одному во время первой русской революции, когда он произнес проповедь "Вопль крови" с протестом против казни лейтенанта Шмидта (типичного интеллигента, возглавившего морской мятеж по нравственно-религиозным соображениям), и двум во время усиления советского террора (после заключения в Соловецком концлагере его расстреляли в 1937 г.). В последних письмах из лагеря Флоренский с горечью пишет о судьбе одаренного человека, чей вклад в жизнь общества не реализован по вине последнего (имея в виду цитированную ниже мысль Чаадаева, Шаховского, Капицы, можно было бы сказать: по причине отсутствия последнего).

Есть несколько глубинных психологических качеств или установок, которые сложились в отдаленный период русской интеллектуальной истории (еще целиком связанный с монастырями), но по непрерывавшейся традиции оставались значимыми вплоть до самого недавнего времени. Одно из них связано с отрицательным отношением к деньгам и имуществу. Представляется, что в достаточно общем виде стоит говорить о наследии нестяжательства. Оно не стало главным направлением в православной церкви, но, быть может, именно поэтому подспудно оказывало едва ли не все возрастающее влияние на тех, кто не хотел идти проторенным путем. Не только уединявшиеся в удаленных скитах отшельники, но и все остальные, кому по душе был их аскетический опыт, испытали на себе воздействие этой идеологии[7].

Вспомним об идее Макса Вебера, согласно которой кальвинизм с его положительным отношением к личному обогащению как делу богоугодному сыграл едва ли не решающую роль в становлении европейского капитализма[8]. Было бы упрощением считать, что если капитализм в России до революции (согласно Н.Д. Кондратьеву[9] и вопреки В.И. Ленину) так и не развился, то объяснение этому следует видеть только в господстве отрицательного отношения к собственности как греховной. Было много и других факторов, таких, как преобладание традиций мира в деревенской жизни, враждебность власти по отношению к независимым богачам, стремление последних как можно быстрее спустить все заработанное (две последние черты остаются существенными до последнего времени). Но презрение к имуществу и нежелание его увеличивать оставалось постоянным идеальным воззрением, не всегда практически осуществляемым, но хотя бы потенциально значимым (вплоть до анархизма Бакунина и Кропоткина, толстовства и других позднейших форм эти представлений уже на заре нашего века).

В более общем смысле из черт, унаследованных от византийской традиции, в русской жизни все существеннее становилось т я г о т е н и е к ю р о д с т в у. В специальном исследовании С. Иванова[10] и в других работах, посвященных этой проблеме[11], освещалась уже роль юродства как модели поведения, присущей и едва ли не наиболее характерным представителям русской интеллигенции. Федоров в "Философии общего дела" предложил определение государственного строя великого Княжества Московского как абсолютной монархии, ограниченной институтом юродивых. Эта формулировка, опять-таки предвосхищенная Пушкиным в "Борисе Годунове", с определенными видоизменениями сохраняет свою силу вплоть до нашего века, но роль юродивых перенимают как бы юродствующие интеллигенты. Власть в России (как до того в Византии) оттесняет неугодных ей или несовместимых с ней людей, дерзающих ей противоречить, в сферу юродства примерно тогда же, когда в западных цивилизованных странах начинается исследованное Фуко систематическое использование психиатрии. С этой точки зрения случай Чаадаева (которого здесь и далее мы предлагаем рассматривать как характерный ранний пример русского интеллигента первой половины XIX в.) представляет собой перенесение на русскую почву западных приемов расправы с инакомыслящими. В своем поведении именно сам Чаадаев по-своему продолжает русскую традицию юродствующих, а оскорбленная им официальная власть ведет себя на западный лад. В дальнейшем наблюдается колебание между этими двумя моделями даже применительно к одному и тому же человеку.

Известный физик-атомщик акад. Л.А. Арцимович не только в частных беседах, но и в интервью, данных за границей, объяснял ситуацию А.Д. Сахарова в конце 60-х – начале 70-х годов тем, что он играет роль характерного для России юродивого, которому многое позволяется. Но позднее, во время ссылки в Горький, на его голодовку власти ответили лечением в сумасшедшем доме, подорвавшим его здоровье.

Биография Сахарова кажется одним из наглядных примеров наличия реальной преемственности традиционной религиозной нравственности, о семейных примерах которой он вспоминает в своих мемуарах, и позднейшего интеллигентского самосознания. Мне довелось участвовать в беседе с Сахаровым в редакции "Литературной газеты" (во время приезда в Москву Н. Берберовой) за полтора месяца до его смерти. Он говорил о значимости для него религии как серьезного жизненного начала. О религии как форме серьезности по отношению к миру высказывался в годы после написания "Доктора Живаго" Б. Пастернак. В этом плане противоположность религии представляют в русской культуре не столько серьезные интеллигентские формы богоборчества (например, у раннего Маяковского и Эйзенштейна, у которого эта тема проходит через все творчество[12]), во многом сходные с религиозным экстазом (хотя и отличающиеся от него по знаку), а то общее "смеховое" (насмешливое и иронически-скептическое) отношение к жизненным ценностям, которое, например, возобладало в средствах массовой информации, в массовой культуре и отчасти в культуре элитарной (в частности, в поэзии) в годы после горбачевских реформ (как бы предчувствуя это, различные формы популярного смехачества в особом эссе осуждал Сопровский). Гамалея, бывший на рубеже XVIII и XIX вв. одним из самых последовательных проводников этой традиции религиозной серьезности, отчетливо сформулировал это различие: "Шутить есть дело и забава наружного человека или язычески живущего, а важную материю говорить и писать есть дело внутреннего человека, принадлежащего к истине"[13].

Когда осуществилось обмирщение той совокупности нравственных и духовных ценностей, которые мы соотносим с понятием интеллигенции? Одна из возможных исторических причин возникновения этого особого явления в России, быть может, и связана именно с тем, что отделение от церкви и монастырей произошло очень поздно. Врач и адвокат во Франции еще перед началом Ренессанса занимался своей отдельной социально важной профессией, не думая о том, что тем самым он входит и в более широкую группу интеллигентов. Он мог в следующий период, как Рабле, увлечься литературой, но и это не делало его отличным от других специалистов, скажем ремесленников. В романе Рабле брат Жан и Телемское аббатство служат символами связи с религиозными идеями, но они обращены к будущему, а не к византийскому прошлому, как Зосима и его монастырь.

Поскольку на протяжении многих веков всякая интеллектуальная деятельность в России была возможной только внутри православной церкви, изменение ситуации в последней после раскола и петровских реформ сказалось на предыстории интеллигенции самым решительным образом. После того как официальная церковь была национализирована и огосударствлена, на смену течениям, до того бывшим внутри церкви, начали приходить секты и связанные с ними мистические движения[14], которые подготавливают почву для будущих интеллигентских поисков[15]. В качестве примера, показывающего, что первоначально эти тенденции не были ограничены одним узким социальным слоем, можно было бы привести распространение логического трактата Раймунда Луллия – средневекового предшественника нынешней семиотики, на роль которого в истории европейской мысли недавно обратил внимание Умберто Эко в специальной статье, ему посвященной. Согласно новейшим разысканиям, рукописное сочинение, представляющее собой сокращенное изложение этого трактата, распространилось в первой половине XVIII в. по Руси (особенно в северной ее части) среди лиц самой разнообразной социальной принадлежности. Судя по пометам читателей, которым принадлежали найденные десятки копий этого текста, его читали и купцы, и крестьяне, в том числе приписанные к монастырям[16]. В одном из северно-русских мест, где находились увлекавшиеся этим чтением мистически настроенные простолюдины, побывал до прихода в Москву совсем молодой Ломоносов. Можно высказать предположение, что его научные и религиозно-философские устремления в этой среде совсем не были исключением. В то время существовала возможность значительно более быстрого и широкого приобщения к культуре разных кругов русского населения, которые вышли за пределы сферы влияния официальной церкви. Эта возможность была упущена по вине русских церковных и гражданских властей, о чем говорит хотя бы судьба авторов "Поморских ответов" братьев Денисовых[17]. Тем не менее этот потенциал сохранялся до начала XX в., о чем свидетельствует творчество Клюева, загубленного в пору сталинского террора (любопытно, что, говоря в стихах, посвященных Ленину, о поиске истоков разрухи времени гражданской войны, он усматривал именно традицию "Поморских ответов").

Интеллигенция в более современном смысле возникает в России после двух больших религиозных кризисов. **Первый** из них вызван Просвещением и ставшим благодаря ему возможным рационалистическим подходом к жизненным ценностям. Затронутый этими новшествами помещик второй половины XVIII в., которому все позволено, лишен тех главных нравственных начал, которые для нас связаны с интеллигенцией. Они возникают у тех немногих, кто идею

просвещения соединяет со служением высшим целям. Самый примечательный пример – это московский кружок розенкрейцеров, душой которого становится Новиков. Членов кружка, к которому принадлежали весьма влиятельные в городе люди, объединяли сходные нравственно-религиозные и мистические устои и устремления. Его можно рассматривать как аналог ранних христианских общин, соединяющий вместе с тем духовный опыт восточного христианства с идеями герметической религиозной философии и европейского просвещения[18]. С.И. Гамалея, бывший в то время секретарем московского главнокомандующего Чернышева, современниками описывался как образец подвижника, живущего в миру и во всем себе отказывающего. В.О. Ключевский недоумевал, "каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалее подобает житие, а не биография или характеристика"[19]. Гамалея перевел все основные мистические трактаты Якова Беме (увлечение последними в России началось еще раньше, и возможные его следы находят в воззрениях сектантов с конца XVII и в начале XVIII в.). Переводы Гамалеи из Беме распространялись в рукописях только среди членов кружка; планы их издания не осуществились[20] (поэтому большинство этих текстов заново открыто только в самое недавнее время).

Новиков и другие члены кружка придерживались распорядка, согласно которому знание должно было быть структурировано иерархически. Наиболее широко надо распространять достаточно элементарные общеобразовательные знания, касающиеся главным образом позитивных наук, художественной литературы, истории, философии, нравственности. На это была нацелена бурная деятельность издательства, созданного Новиковым. В одном из писем он так формулировал свои задачи: "Я стараюсь особенно о том, чтобы книги пускать как можно более дешевле и тем заохотить к чтению все сословия"[21]. Результаты этой деятельности не просто внушительны, их без всякого преувеличения можно считать фантастическими. За короткий период, обозначенный Ключевским как "новиковское десятилетие"[22] русского просвещения, Новиковым было издано около тысячи книг[23], что составляет примерно треть всей книжной продукции России этого времени (Новиков откликался и на просьбы помочь наладить издания в других городах, например в Тамбове, о чем его просил Державин, бывший там губернатором). То, что лишь небольшая часть изданных Новиковым книг (66 из 891) относится к собственно масонской мистике, объясняется структурой умственных занятий, предполагавшихся в кружке Новикова. Более интимные духовные знания излагаются в сочинениях, издаваемых для относительно узкого круга избранных. Книги этого рода, описанные Новиковым в его переписке с другими розенкрейцерами, совпадают с теми, которые были найдены у него дома при обыске во время его ареста. Наконец, самые ограниченные по распространению знания мистического свойства содержатся в таком розенкрейцеровском "самиздате" той поры, как упомянутые выше переводы Гамалеи из Беме.

Для установления преемственности, которую важнейшей приметой русской интеллигенции считал Иванов-Разумник, представляется особенно существенным не раз уже в связи с характеристикой Новикова цитировавшееся замечание о нем в дневнике Льва Толстого: «Читая философское предисловие к журналу "Утренний свет", который он издавал в 1777 году и в котором он говорит, что цель журнала состоит в любомудрии, в развитии человеческого ума, воли и чувства, направляя их к добродетели, я удивлялся тому, как могли мы до такой степени утратить понятие

о единственной цели литературы – нравственной, что заговорите теперь о необходимости нравоучения в литературе, никто не поймет вас... В "Утреннем свете" помещались рассуждения о бессмертии души, о назначении человека, Федон, жизнь Сократа и т.д. Может быть, в этом была и крайность, но теперь впали в худшую»[24]. Едва ли не еще замечательнее совпадение некоторых начинаний кружка Новикова с направлением общественно полезной деятельности Толстого. Во время голода 1787 г. Новиков при поддержке члена розенкрейцеровского Дружеского ученого общества, видного масона Г.М. Походяшина, организует закупку хлеба, чтобы накормить голодных и засеять поля весной. Как замечает по этому поводу Пыпин, горячее участие Новикова «к народному бедствию (голод в 1787 г.), вызвавшее известный поступок богача Походяшина, который отдал в распоряжение Новикова большие деньги для раздачи неимущим, показывает, что масонское "человечество" (для этого понятия, как видим, еще только придумывалось русское слово. – *В.И.*) было для него не одной фразой»[25]. Новиков и его товарищи по Дружескому ученому обществу основали огромную аптеку на Садовой Спасской, где новейшие лекарства отпускались по низким ценам, а беднякам – бесплатно. Для работы в ней приглашались известные фармацевты из-за границы. Развернулась широкая преподавательская деятельность не только в Филологической или Педагогической семинарии, но и в семинарии Переводческой, готовившей переводчиков для новиковских изданий[26]. Перевод религиозных книг, согласно розенкрейцеровским взглядам, требует, как в средневековых монастырях, соответствующего образа жизни; по словам Гамалеи, для этого необходимо "хорошее знание и иностранного языка, с которого перевод делается, но и природного русского, и притом хорошее житие, сходственное с содержанием хорошей переводимой книги"[27]. В этом отношении, как и по характеру отбираемых и переводимых текстов, переводческая деятельность Новикова и Гамалеи отличалась от внешне с ней сходных предприятий в России советского времени (скажем, от переводческих групп и семинаров в Литературном институте им. М. Горького). И.В. Лопухин, сам ставший выдающимся духовным автором[28], так описывал задачи, ставившиеся перед его товарищами по кружку: "...цель сего общества была издавать книги духовные и наставляющие в нравственности истинно Евангельской, переводя глубочайших о сем писателей на иностранных языках, и содействовать хорошему воспитанию, помогая особливо готовящимся на проповедь Слова Божия, чрез удобнейшие средства приобретать знания и качества, нужные к оному званию; для чего и воспитывались у нас больше пятидесяти семинаристов..."[29]. Присущая и потом русской интеллигенции ориентация на общеевропейские и общемировые ценности сказывалась не только в выдвижении на первый план переводов (что не мешало новиковской деятельности по собиранию и печатанию русских исторических и литературных памятников), но и в отправлении стипендиатов за границу: Новиков оправдывал свое ощущение преемственности по отношению к Петру Первому. Но место его шутейных сборищ заняли собрания серьезные.

Как замечает Р. Фаджонато, "московское розенкрейцеровское общество, которое собирается в доме у Никитских ворот и потом в Гендриковском доме, – это и свободолюбивое литературное объединение, и религиозное собрание... В этом доме, где члены общества не только собирались, но и проводили совместную жизнь, профессор Шварц, Новиков или Семен Гамалея были для учеников настоящими старцами-наставниками, учителями в жизни и в искании Бога. С ними начинается традиция просветителей-подвижников, публицистов – защитников за-

ветных ценностей, готовых пострадать за них. Философия воспринимается как жертвенное служение истине; они берут на себя миссию передачи святого учения, становятся средствами и жертвами просвещения. Развивается в новиковском кружке тот культ братства, основанного на единстве духовных идеалов, который станет наследием последующим поколениям: экзальтация дружбы и любви среди братьев, идея совокупных усилий во имя общей цели, отрицание личной, отделенной от братства жизни будут характерными чертами и кружка Зеленой Лампы, и декабристов"[30].

Новикова и таких участников его кружка, как Гамалея, так же как и тесно с ними связанного (особенно в первых своих публикациях) Радищева, кажется возможным отнести к интеллигентам этого времени. Как было замечено в исследованиях начала XX в., "масонство было идентично тогда с понятием интеллигенции в настоящее время"[31]. По словам Иванова-Разумника, "впервые интеллигенция XVIII века сумела отречься от классовых идеалов и тем самым, будучи сословной по составу, оказаться внесословной по намеченным целям. Группа общественных деятелей с Новиковым во главе и с Радищевым в виде эпилога, бывшая зерном русской интеллигенции, была по своему составу дворянско-земледельческой; однако классовые... интересы приносились этой группой в жертву общему идеалу; сословные черты выбрасывались за борт мировоззрения"[32]. В них и их судьбе виден и свойственный русской интеллигенции порыв найти приложение своим идеям и передать другим известное ей, и неизбежный конфликт с перепугавшимися властями. В гениальном стихотворном ответе Радищева на вопрос, куда он едет, сформулирована в выражениях, мало отличимых от современных, мысль об опережении им будущих подобных вольнодумцев:

Дорогу проложить, где не бывало следу,
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх,
В острог Илимский еду.

Парадоксальность мысли Радищева отмечает в своем комментарии Р.О. Якобсон: «Всем предыдущим текстом любопытствующий читатель подготовлен к идее, что поэт, отвергший рабство во имя человечности, посвятит себя прокладке новых путей туда, где дотоле не было и следа какой-нибудь дороги, и что за ним последуют смельчаки, возбужденные, по отзыву Екатерины, "редкой смелостью" "Путешествия из Петербурга в Москву" и одой "Вольность", "совершенно и явно бунтовскою"; пойдут, не останавливаясь перед суровой действительностью, которая страшит чувствительные сердца. Однако заключительный стих кладет конец путеводным иллюзиям отрывистым оповещением: "В острог Илимский еду»[33].

Когда Пушкин в черновике "Памятника" говорит, что прославил свободу "вослед Радищеву", он имеет в виду и воспевание Вольности у последнего, и тот его путь, который описан в цитированном стихотворении[34]. Заметим, что конфликт Радищева с властями и со всем укладом и устройством тогдашней России не был просто политическим. Он был определен всей его нравственно-философской позицией. Она была связана с духовными поисками, в самом общем своем направлении сходными с теми, которые мы видим у Новикова[35]. Но в отличие от последнего, к концу жизни вовсе разочаровавшегося в научном знании[36], Радищев стоит уже на пороге двух следующих веков не только в радикальных политических взглядах, но

и в своих антропологических сочинениях, опирающихся на данные эмбриологии (в том числе почерпнутые из Петровской кунсткамеры в Петербурге) и других естественных наук[37] и, – словно уже предвосхищая тектологию Богданова, – выдвигающих структурное понимание целостности или "организации"[38].

2

Интеллигенция как общественный институт формируется прежде всего теми невидимыми связями, которые создаются книгами и журналами (ср. понятие "невидимый колледж", играющее большую роль в современном науковедении); новиковские журналы, "Современник" Некрасова и "Новый мир" времени Твардовского сыграли решающую роль в становлении, сплочении и сохранении русской интеллигенции в соответствующие периоды ее истории. Запрещение каждого из подобных изданий отзывалось болезненно и могло приводить к длительной остановке развития. В России, в условиях жесткой цензуры государства и церкви, всегда сохраняют первостепенное значение формы личного устного общения, как и взаимной переписки и переписывания неразрешенных к печати текстов. В какой-то мере общению интеллигентов могут помогать в юности учебные заведения (ср. исключительную роль Царскосельского лицея для Пушкина и его соучеников, университета для Герцена и его друзей), а на следующих возрастных этапах – учреждения, подобные Академии наук, хотя их и может подчинять себе государство. Поэтому особую роль могут приобретать свободные от влияния последнего легальные объединения вроде новиковского Дружеского ученого общества, его продолжения в Дружеском литературном обществе[39] и полулегальные и совсем нелегальные институты, такие, как масонские ложи.

Начало эпохи Александра I ознаменовалось деятельностью нескольких разрешенных властями объединений людей интеллигентного труда, таких, как Общество любителей изящного, учрежденное по предложению просветителя В.В. Попугаева в 1801 г. (позднее Общество любителей словесности, наук и художеств). Подобные союзы оказались важны для объединения отдельных интеллигентов в группы, что, однако, не всем из них и не всегда было нужно (вспомним сомнения Блока в начале следующего века в целесообразности создания союза поэтов). Но драматизм исключения Розанова из Религиозно-философского общества и Пастернака из Союза писателей показывает, что такие группы стали влиять на общественное и индивидуальное сознание интеллигентов даже в тех случаях, когда они контролировались государством, как, например, советский Союз писателей.

Одним из способов предельно далеко отойти от официальной культуры, особенно для младшего поколения, может служить карнавализация деятельности объединения. В качестве примеров можно привести "Арзамас" и "Зеленую лампу" времени юности Пушкина и герценовский кружок в университетские годы. На "культивирование антиофициальности тесного дружеского кружкового общения" обращал внимание Ю.М. Лотман в статье, где конец XVIII и начало XIX в. характеризуются как "время возникновения дружеских кружков, пародийных ритуалов и внутрикружковых языковых экспериментов"[40]. По отношению к сентиментализму, как и к рококо, ко всей культуре европейского XVIII в. и романтизму, прямо следующему за сентиментализмом, эти черты выявил Й. Хейзинга. Он отмечал применительно к двум последним явлениям возможность толкования их как игры, не про-

тиворечащую наличию в них значительной части серьезного[41]. Можно было бы интерпретировать это в духе боровской дополнительности.

Такой подход кажется неизбежным по отношению к "Арзамасу". По остроумной догадке Набокова, само название этого шуточного литературного братства имело игровое происхождение: в нем угадывается анаграмма, вторящая фонемам имени главной для общества литературной фигуры – Карамзина, имевшего неподалеку от Арзамаса имение[42]. Историки литературы усматривали в "Арзамасе" то шутовское начало, то серьезное[43]. Очевидна пародийность арзамасских текстов и всего поведения членов братства по отношению к "Беседе", в чинной обстановке собиравшейся в доме Державина. Противостояние этих двух литературных групп знаменовало перемену ситуации в среде русской интеллигенции, внутри которой обнаружились два лагеря.

Та же возможность двоякого истолкования как игровой затеи и более чем серьезного тайного декабристского общества[44] с еще большей очевидностью обнаруживается и в отношении "Зеленой лампы", которая при типологическом сходстве с "Арзамасом" отличалась предпочтением новых норм устной и стихотворной тайнописи перед салонными способами выражения в духе рококо.

Поставленный Лотманом в ряде его работ вопрос о карнавальном характере декабристских дружеских встреч можно понять и в духе идеи Хейзинги об игре как основе подобного поведения. Праздничное карнавальное веселье самой своей логикой ведет к ниспровержению существующего порядка. Дружеские встречи скрепляются опьянением карнавала. Герцен, говоря в "Былом и думах" о пирушках послеуниверситетских лет перед арестом, тюрьмой и ссылкой, вспоминал: "Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновенья, разгула... Делали шалости и мы, пировали и мы, но основной тон был не тот, диапазон был слишком поднят. Шалость, разгул не становились целью. Цель была – вера в призвание; положимте, что мы ошибались, но, фактически веруя, мы уважали в себе и друг в друге орудия общего дела"[45].

Интересную параллель в последний период советской истории интеллигенции представляет собой использование карнавальных масок диссидентами. Особенно наглядно это обнаруживается в литературном поведении Синявского-Терца. На этом современном материале можно попробовать ответить на вопрос: как смеховое поведение противников режима, годами лагерей расплачивавшихся за свою смелость, совместить со сказанным выше о забавах и их отрицанием у Гамалеи? Один из возможных ответов лежал бы в плоскости степени неофициальности. Среди первых жертв сталинской цензуры (а потом и полиции) был Эрдман с его "Заседанием о смехе". Попытка писателя обнаружить несовместимость советской власти со смехом оказалась крайне опасной. Этим же объясняется и выбор Зощенко как главной мишени нападения в начале послевоенного времени. Массовым оружием борьбы с режимом, как отмечал тот же Синявский, стали смеховые жанры: анекдоты и гротескные песни. Время реформ и постсоветское время характеризуются превращением смеховых жанров в дозволенные. До этого времени, как и на протяжении почти всей истории русской интеллигенции, именно недозволенность или частичная разрешенность этих форм общения и писания придавала им особую значимость, которую они хотя бы отчасти утрачивают, становясь разрешенными.

Во все времена тяжелого гнета полиции и цензуры, как в николаевский период и на протяжении первых десятилетий советской власти, кружки разной степени легальности были главным способом объединения нителлигенции. Хотя даже и такие

объединения внеполитического свойства, как кружок любомудров, были вынуждены прекратить свое существование после подавления восстания декабристов, салоны и вновь возникавшие свободные формы общения сделали возможной подготовку новых направлений. Ко времени окончательного зарождения русской интеллигенции с характерным для нее навязчивым стремлением немедленно выяснить в спорах будущее России относится и формирование кружка Станкевича, с которым было связано позднейшее образование отдельных кружков славянофилов и западников, чьи полярные точки зрения отражены в последующих дискуссиях вплоть до наших дней. Но среди посещавших чужие салоны или имевших свой салон были единицы, по сути остававшиеся одинокими.

Ближайшую аналогию изолированным одиночкам, подобным Радищеву, в поколении Пушкина представляет Чаадаев. Загадку его отказа от блестящей поначалу карьеры пытались решить многие, среди других в недавнее время – Ю.М. Лотман, приводивший литературные параллели (в частности, из Шиллера), едва ли объясняющие поведение молодого офицера, оборвавшего свой служебный путь сразу после разговора с императором[46]. Из разных формулировок этой загадки удачной кажется данная недоброжелателем: "Ушел с военной службы как раз для того, чтобы иметь возможность думать"[47]. Это и было бы типичным поведением русского интеллигента.

К этой категории отнести Чаадаева позволяют и многие другие обстоятельства его жизни и свойства характера. По-интеллигентски он думает о судьбах России в контексте мировых вопросов; эта сторона его философии истории раскрыта лучшим его знатоком – Д.И. Шаховским в его недавно напечатанных записях, сделанных в середине 1930-х годов перед арестом[48]. По-интеллигентски Чаадаев печатает первые плоды своих размышлений, не предполагая возможных оглушительных последствий публикаций, и потом их пугается. По-интеллигентски он продолжает затем свои размышления, пряча заметки и записи между страницами книг своей обширной библиотеки. Кажутся весьма типичными для последующих русских интеллигентов ссылки Чаадаева на выводы позитивного знания (в частности, на Ньютона) и высокая оценка им возможного будущего русской науки[49].

Шаховской в переписке с Гревсом в конце 1920-х – начале 1930-х годов едва ли не самой актуальной идеей Чаадаева считает констатацию им отсутствия в России общества[50]. По Чаадаеву, для европейской цивилизации, напротив, существенно наличие общества наряду с народом и правительством. Параллель этому выводу можно найти в замечаниях П.Л. Капицы об истории русской науки. В статье о Ломоносове как ученом, написанной в начале 1950-х годов, П.Л. Капица отсутствием в России научной общественности объясняет социальный неуспех Ломоносова, то, что он не создал школы, не имел учеников, не мог добиться своевременного признания своих открытий[51]. Статья безусловно была написана не только как историческая. Ситуацию с Ломоносовым Капица относил и к последующей ситуации русской науки вплоть до нашего времени (как и Шаховской соответствующую идею Чаадаева считал возможным распространить на свою эпоху). Возникает вопрос: не есть ли само появление интеллигенции попытка образующих ее отдельных изолированных деятелей объединиться в условиях, когда они лишены общественной поддержки по той причине, что общество (а поэтому и научная и литературная общественность) отсутствует? Императорская академия наук (и ее продолжение – советская Академия наук после того, как попытка непременного секретаря академии С.Ф. Ольденбурга сохранить самостоятельность была сломлена) по отношению к отсутствую-

щей научной общественности играет роль, сопоставимую с функцией советского Союза писателей как надсмотрщика за писателями или официальной православной церкви как глушителя духовных исканий и Думы как суррогата несуществующего общества.

В чаадаевском отношении к православию как исторически обусловленному оскудению христианской идеи, определявшемуся социальными условиями Византии и России, можно видеть преломление того первого религиозного кризиса, с которым начиная со времени Просвещения связывается формирование интеллигенции в России. Чаадаев выход из кризиса искал и нашел в обращении к европейской христианской традиции, от которой Россия была отъединена.

3

Второй большой **религиозный кризис**, который и приводит к окончательному обмирщению интеллигенции и ее идеологии, начинается к середине XIX в. и охватывает несколько следующих десятилетий. В это время увлечение успехами европейской науки приводит к существенной переоценке ее возможностей. В науке, особенно позитивной, находят ключ к решению многих проблем, которые выходят далеко за рамки, ею самой очерченные (отчасти сходно с этим уже и отношение Чаадаева к Ньютону). Начальный период в истории уже оформившейся интеллигенции был базаровским. Его родословную можно возводить к Белинскому. Тургенев в воспоминаниях писал о нем как о русском Лессинге. Белинский прямо биографически связан с предшествующим временем. Он успел посетить Лермонтова на гауптвахте и пострадать за участие в журнале, где были напечатаны философские письма Чаадаева. К этому времени становится обычным ориентироваться на какого-либо одного западноевропейского философа, выступающего в качестве безраздельного властителя дум. Для любомудров и раннего Чаадаева это – Шеллинг, для Белинского – Гегель.

В этой связи поучительны споры по поводу учения Дарвина. Его отрицание связывается с целым комплексом представлений, которые на современном языке можно было бы назвать фундаменталистскими. Позднеславянофильскую версию такого отрицания Дарвина можно видеть у Н.Я. Данилевского. Его двухтомное исследование, с одной стороны, предваряло критику дарвиновского понимания эволюции в таких основополагающих работах XX в., как труд Берга о номогенезе[52], с другой же стороны, было связано с общей установкой в философии истории, где, опережая не столько Тойнби и Шпенглера (на что обычно обращается внимание в историографических работах), но и будущих евразийцев, Данилевский намечал основные различающиеся между собой замкнутые типы цивилизаций. Анализ терминологии позволяет установить несомненную преемственность между Н.Я. Данилевским и евразийскими сочинениями князя Н.С. Трубецкого. В частности, оба они используют термин "романо-германский" для обозначения западноевропейской цивилизации. Трубецкой как лингвист хорошо представлял себе сугубую неточность этого обозначения. То, что он тем не менее продолжал его использовать, говорит о его желании следовать словоупотреблению Данилевского.

Та часть читающей русской публики, которая приветствовала такие успехи европейской науки, как дарвиновское учение об эволюции, решительно отвернулась от православной церкви. Этот второй кризис в отношении к религии, обозначивший полный разрыв с официальной церковью, имеет особое значение для истории

России и русской интеллигенции, потому что он и определил то, что происходит со страной в XX в. Марксизм в России появляется как одно из тех новых европейских учений, которыми увлекается отшатнувшаяся от официальной церкви интеллигенция. На это обращает внимание Владимир Соловьев в последних, предсмертных работах. По его мнению, три новые точки зрения, три учения представляли интерес для России в конце XIX в. Одно из них имеет отечественные корни, а два других, в том числе экономическое учение Маркса, пришли с Запада.

Собственно российского происхождения – нравственное учение графа Льва Толстого, хотя в его возникновении свою роль сыграла и критика евангелий в немецкой богословской науке конца прошлого века, и опыт таких одиноких американских мыслителей, как Торо и Эмерсон. Значимость толстовства в российском и мировом духовном развитии трудно переоценить. Речь шла об очень радикальном опыте сохранения только основного нравственного содержания христианства при отказе от значительного числа таких церковных догматов, которые Толстой считал противоречащими разуму. Иначе говоря, в этом случае русская нравственная философия вплотную подошла к созданию новой религии. Судьба толстовства на собственно русской почве была трагической. При жизни Толстого с этим движением соперничали другие варианты новой религиозной идеи, такие, как, например, федоровская философия общего дела. В архиве моего университетского учителя М.Н. Петерсона, сына федоровца, сохранялась часть переписки федоровцев, содержащая нравственную критику Толстого и его последователей[53], которых, в частности, упрекали в том, что они не пострадали за свои убеждения. Представителям других течений казалось, что Толстой должен был бы разделить судьбу героев второй части его романа "Воскресение". Анафемы православной церкви, оглашавшейся еженедельно, показалось недостаточно. Уход и смерть Толстого были как бы запоздалым ходом в игре, которую от него ожидали. В. Рейк утверждал, что личная гибель создателя учения является единственным способом спасти его идеи от забвения. Толстовцев жестоко преследовали при советской власти. Но ни их мученические биографии, ни эпилог жизни самого Толстого не создали ореола страдания, без которого продление учения невозможно. Еще печальнее участь Ганди – самого крупного общественного деятеля XX в., в молодости испытавшего влияние Льва Толстого. Его убийство не привело к торжеству его и толстовских идей непротивления в Индии; недавний поворот событий свидетельствует об обратном. Сходным образом осуществлялась и трансформация дела Мартина Лютера Кинга, на которого повлиял Ганди вместе с Толстым, хотя в отличие от Толстого Кинг остался в лоне ортодоксальной церкви. Из всех, кто в XX в. продолжал эту линию, пока едва ли не наибольших успехов достиг Мандела, но его срок пребывания в тюрьме был несопоставимо долгим.

В истории русской интеллигенции особенно значительна роль Льва Толстого как писателя, чьи образы (Пьера Безухова, Андрея Болконского, Левина) служили как бы моделями возможного интеллигентского поведения и выходов из кризиса.

Наряду с учением Льва Толстого вторым влиятельным мировоззрением к концу XIX в., по Владимиру Соловьеву, в России становится марксизм. На рубеже двух столетий большинство одаренных русских молодых мыслителей проходит через увлечение им. Это относится и к тем, кто (как, например, Бердяев и Булгаков) позднее отошел от него в сторону религиозной философии и был выслан из Советской России, и к тем, кто (как Шпет) пробовал совместить позднейшие занятия философией, отличной от Марксовой (например, в случае Шпета – феноменологией

Гуссерля), с лояльным отношением к новой власти, но был ею уничтожен. Однако еще перед первой революцией у этих молодых сторонников марксизма наступает разочарование в нем: Шпет его формулирует уже в 1903 г.[54]

Появление и преобразование марксизма в России представляет одну из самых драматичных глав в общей истории интеллигенции. Первые его шаги были одновременно и затруднены цензурой и облегчены общественным (главным образом интеллигентским, лишь позднее коснувшимся рабочих, которым была адресована политическая агитация марксистов) интересом к полузапретному антиправительственному учению. После первой революции серьезные занятия марксизмом частично осуществляются в заграничных эмигрантских кружках и школах. Но власть в России в конце 1917 г. захватывает группа авантюристов, отношение которых к учению Маркса с самого начала было проблематично: для Ленина, как и для всех последующих советских и постсоветских правительств, решающими оставались возможность удержания власти любой ценой (в частности, с помощью все более совершенствующегося и разрастающегося полицейского аппарата) и владение разнообразными способами неограниченного и циклически повторяющегося ограбления населения при полной лживости официальной пропаганды, все дальше уходившей от политической реальности. Марксизм (наряду с другими, иногда едва ли совместимыми с ним, идеологиями, в частности крайним русским национализмом или шовинизмом) был чаще всего только ширмой или вывеской для осуществления этих двух главных целей советской власти. Тем не менее для некоторой части населения (в том числе и для отдельных интеллигентов, в особенности на следующих этапах существования советской власти после сталинского террора) марксизм стал заменой отмененной и запрещенной государственной религии. Однако сколько-нибудь серьезные попытки им заниматься не поощрялись или даже преследовались. Показательна, например, судьба известного марксиста Георга (Дьердя) Лукача, жившего в эмиграции в СССР и участвовавшего в издании журнала "Литературный критик", закрытого перед началом войны с Гитлером.

Популярная на Западе идея, согласно которой марксизм (или коммунизм/социализм) потерпел поражение в холодной войне, по ряду причин абсолютно неверна. В России главным поражением марксизма был совершенный большевиками переворот 1917 г. Им удалось сохранить часть марксистской фразеологии при очень существенном отходе от всех основных принципов политической философии Маркса.

Третьим и наиболее важным для России в конце XIX в. учением, по Соловьеву, была ницшеанская идея сверхчеловека. Владимир Соловьев считал ее самой перспективной из трех названных, имея в виду при этом тот ее христианский вариант, при котором предполагается в качестве исторического образца сверхчеловека Христос, а не придуманный Ницше Заратустра. Идее и в этом последнем варианте (развитом, например, Пастернаком в "Докторе Живаго"), и в виде, более близком к ницшеанскому сверхчеловеку, в самом деле принадлежало особое будущее. Но сначала немного о ее прошлом.

Секуляризованное понятие роли отдельного человека, резко выделяющегося из толпы или наделенного особой миссией, начинает занимать умы русских мыслителей начиная со времени наполеоновских войн. Участвовавший в них совсем молодым офицером Чаадаев кладет его в основу своего представления об истории человечества, которая им мыслится в большой степени как результат деятельности индивидуальностей, подобных Моисею и Христу. Пушкин, на формирование взглядов которого Чаадаев оказал влияние, и вслед за ним Лермонтов под воздействием

Байрона одновременно излагают в своих байронических поэмах разные версии таких представлений о человеке или мифологизированном сверхчеловеческом персонаже – Демоне и дают острую критику поведения такого человека или сверхчеловеческого существа:

Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно...

А.С. Пушкин. Евгений Онегин. Гл. вторая, XIV

Последняя сторона наполеоновской идеи была детально изучена Достоевским. Эта мысль положена в основу "Преступления и наказания", "Бесов" и "Братьев Карамазовых". Она была провидческой: в свете позднейшего российского опыта Сталина можно было бы считать тем по происхождению деклассированным подобием лакея Смердякова, который доводит до еще более преступных выводов теорию своего образованного и макиавеллистски изощренного первоначального наставника – Ленина.

Из многочисленных преломлений ницшеанства на русской почве, в последние годы изученных довольно подробно, следует отметить прежде всего символистские. Сверхчеловек был для этой эпохи главной проблемой. Одни целиком принимали эту идею, примеряя ее на себя, как Скрябин. Другие, как Блок, развивали сходное представление о Художнике или Артисте как новом типе человека, который определит культуру будущего. Сильнейшее воздействие Ницше в несколько упрощенном варианте можно видеть у двух писателей – Горького и Маяковского, которые после своей трагической гибели заняли главные места в советском официальном пантеоне. Поэтому при долго длившемся запрете на сочинения Ницше его идеи в сильно упрощенной и огрубленной форме (как и в нацистской Германии) продолжали оказывать влияние.

4

Споры об интеллигенции времени "Вех" и "Из глубин" в большой мере определялись злобой дня. На протяжении второй половины XIX в. на первом плане была политически активная левая группа интеллигентов. Само название стали относить преимущественно к ней. От тех, кто придерживался взглядов иного рода, большинство интеллигентов, увлеченных противостоянием режиму и хождением в народ, отшатывалось. После первой русской революции намечаются крен в обратную сторону и утверждение тех основных духовных ценностей, которым должна следовать интеллигенция. Но по мере усиления конфликта с советской властью политическая сторона снова на время становится главенствующей. Если "Вехи" и цитируются, то главным образом потому, что в них содержится критика социал-демократических взглядов.

Накопленный исторический опыт позволяет шагнуть дальше, не повторяя этих однообразных колебаний. Интеллигенции в том виде, как она сложилась и вопреки всем гонениям и испытаниям все еще сохраняется в России, удалось сквозь века притеснений пронести несколько простых и важных истин. К ним относятся прежде всего принципы общечеловеческой морали, одинаково чуждые циничным политикам и дельцам любой ориентации. Отличие интеллигента от лиц других групп состоит не в наборе политических убеждений и не в какой-то оп-

ределенной религии или ее отрицании. Во всех этих сферах существует полная свобода выбора из многих возможностей. Но сам по себе интеллектуальный выбор и многообразие этих возможностей существуют благодаря интеллигенции. Ни Тейяр де Шарден, ни Вернадский не знали, как именно в деталях может осуществляться движение к ноосфере и ее дальнейшее обогащение. Но они понимали, что важно обеспечить движение общества в этом направлении. Именно эта задача по плечу интеллигенции.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Обнорский С.П.* Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.: Изд-во АН СССР, 1946. Ср. более общепринятую точку зрения: *Истрин В.М.* Очерк истории древнерусской литературы. 1922. С. 82; *Булаховский Л.А.* Исторический комментарий к русскому литературному языку. 5-е изд., доп. и перераб. Киев: Гос. уч.-пед. изд-во "Радянська школа", 1958. С. 12–16.

[2] Ср. подборку цитат с комментариями: *Кожевников В.А.* О "прелестях кнута" и "подвиге честного человека": Пушкин и Карамзин // Московский пушкинист: Ежегодный сборник I. М.: Наследие. С. 151–185.

[3] *Флоровский Г.В.* Пути русского богословия. Париж, 1988.

[4] *Маканин В.* Андерграунд, или Герой нашего времени // Знамя. 1988. № 2. С. 3–96. Любопытно, что диссидентами русских сектантов стали называть еще в прошлом веке, см.: *Юзов И.* Русские диссиденты: староверы и духовные христиане. СПб., 1881.

[5] *Иконников В.* Максим Грек и его время. Киев, 1915. С. 68; *Виноградов В.В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. 2-е изд. М., 1938. С. 5. О других аспектах его деятельности и судьбы ср.: *Скрынников Р.Г.* Государство и церковь на Руси XIV–XVI веков. Новосибирск: Наука, 1991. С. 191–217; *Синицына Н.В.* Максим Грек в России. М., 1977; *Langeler A.* Maksim Grek, byzantijn en humanist in Rusland. Amsterdam, 1986.

[6] *Флоренский П.А.* Мнимости в геометрии: Расширение области двумерных образов геометрии: (Опыт нового истолкования мнимостей). М.: Поморье, 1922 (см. также: *Флоренский П.А.* Указ. соч. / Предисл., послесл., коммент. и общ. ред. Л.Г. Антипенко. М., 1991); *Он же.* Анализ пространства и времени в художественно-изобразительных произведениях. М.: изд. группа "Прогресс", 1993; П.А. Флоренский и культура его времени / Hrsg. M. Hagemeister, N. Kauchtschischwili. Marburg: Blaue Heorner Verlag, 1995; П.А. Флоренский: Pro et contra: Личность и творчество Павла Флоренского в оценке русских мыслителей и исследователей / Ред. К.Г. Исупов. (Антология. Сер. "Русский путь".) СПб.: Изд-во Рус. христиан. гумант. ин-та, 1996.

[7] Если Иванов-Разумник и был прав, когда настаивал на отсутствии прямой преемственности между последующей интеллигенцией как группой и Нилом Сорским или Максимом Греком, которых он готов назвать "интеллигентами" в кавычках, хотя и с оговорками (*Иванов-Разумник* (Иванов, Разумник В.). Что такое интеллигенция? // Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Интеллигенция. Власть. Народ: Антология. М.: Наука, 1993. С. 74), то наличие общей тенденции, идущей от Нила Сорского и его последователей, все же несомненно.

[8] *Weber M.* The protestant ethic and the spirit of capitalism / Transl. by T. Parsons. N.Y., 1958. P. 171 ff.; *Idem.* Essays in sociology / Transl., ed. and introd. by H.H. Gerth, C.W. Mills. N.Y.: Oxford University Press, 1958. P. 302–322, 447. Полемика, в ходе которой предполагалось центральное значение трудовой дисциплины, вырабатываемой в кальвинизме (*Walzer M.* The revolution of saints. N.Y.: Atheneum, 1968. P. 303–306), также может быть существенной при формулировке противопоставления наблюдаемому в русской истории.

[9] *Кондратьев Н.Д.* Особое мнение // Избр. произведения: В 2 кн. М.: Наука, 1993. Кн. 1. С. 43 и след.

[10] *Иванов С.* Юродство в Византии. М., 1994.

[11] *Ferrari-Bravo D.* Per una tipologia del "personaggio folle" // Letteratura e psicologia. Napoli, 1990. P. 87–102; *Idem.* Identita russa: Lessico intelletuale russo fra '800 e '900. "Russia" // Europa Orientalis. 1996. XV/2. P. 151–153.

[12] *Иванов Вяч.Вс.* Эстетика Эйзенштейна // Избранные сочинения по истории культуры и семиотике: В 2 т. М.: Школа "Языки русской культуры", 1998. Т. 1. Богоборческие сюжеты в особенности характерны для рисунков Эйзенштейна.

[13] *Г(амалея) С.И.* Письма. М., 1836. Т. 2. С. 212.

[14] *Коновалов Д.Г.* Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Сергиев Посад, 1908; *Розанов В.В.* Апокалиптическая секта. СПб., 1914; *Клибанов А.И.* Народные противоцерковные движения // Русское православие: вехи истории. М., 1989.

[15] Ср.: *Дилакторская О.Г.* Скопцы и скопчество в изображении Достоевского: (К истолкованию повести "Хозяйка") // Philologica. 1995. Т. 2, N 3/4. С. 59–86; *Эткинд А.* Содом и Психея: очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М., 1996; *Niqueux M.* Le mythe des xlysty dans la litterature russe // Revue des études slaves. 1997. Т. 69, f. 1–2. P. 201–221.

[16] *Горфункель А.Х.* Великая наука Раймунда Луллия и ее читатели // XVIII век. Сб. 5. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 336–348; *Gorfunkel A.Kh.* Raymond Lully in Russia // Elementa: Journal of Slavic Studies and Comparative Cultural Semiotics. 1995. Vol. 2, N 1. P. 29.

[17] Деятельность этих выдающихся религиозных писателей протекала в рамках Выгорецкого старообрядческого общежительства монастырского устава. Поэтому при всех отличиях старообрядческой беспоповской традиции от официального православия их можно отнести к монастырской части истории русской культуры. О тех выходцах из неверхушечной части общества, которые принадлежат к истории светской культуры этого времени, см.: *Штранге М.М.* Демократическая интеллигенция в России в XVIII веке. М., 1965.

[18] *Фаджонато Р.* Розенкрейцеровский кружок Новикова: предложение нового этического идеала и образа жизни // Новиков и русское масонство: Материалы конф. 17–20 мая 1994 г. Коломна. М.: Рудомино, 1996. С. 39–50.

[19] *Ключевский В.О.* Воспоминания о Н.Н. Новикове и его времени // Соч. М., 1969. Т. 8. С. 242.

[20] *Новиков Н.И.* Письма. СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова, 1994. С. 344, прим. к письму № 135.

[21] Там же. С. 283.

[22] *Ключевский В.О.* Указ. соч. С. 249.

[23] *Макагоненко Г.П.* Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. М.; Л., 1961; *Мартынов И.Ф.* Книгоиздатель Николай Новиков. М., 1981; *Сухов А. Д.* Просвещение и просвещенный абсолютизм в России // Общественная мысль: исследования и публикации / Ред. А.Л. Андреев, К.Х. Делокаров. М.: Наука, 1989. С. 54–59; *Некрасов С.М.* Апостол добра: Повествование о Н.И. Новикове. М.: Рус. путь, 1994.

[24] *Толстой Л.Н.* Дневник // Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1934. Т. 46. С. 213–214.

[25] *Пыпин А.Н.* Русское масонство: XVIII и первая четверть XIX века: Исследования и материалы по эпохе Екатерины II и Александра I / Ред. и прим. Г.В. Вернадского. М.: Огни, 1916. С. 248. Форма "человечнее" в "Письмах русского путешественника" Карамзина может указывать на воздействие масонской терминологии. Новикову также принадлежит и заслуга введения в русский язык термина "педагогика" как обозначения науки о воспитании (*Некрасов С.М.* Указ. соч. С. 118). О Г.М. Походяшине ср.: *Новиков Н.И.* Указ. соч. С. 288, 357 (с указанием дальнейших его упоминаний в этом издании).

[26] *Некрасов С.В.* Указ. соч. С. 113.

[27] *Г(амалея) С.И.* Указ. соч. М., 1939. Т. 3. С. 165.

[28] *Некрасов С.М.* И.В. Лопухин – автор "Духовного рыцаря" // О ΖΗΛΟΣΟΦΟΣ: Искатель премудрости, или духовный рыцарь. М.: Рудомино, 1994. С. 48–58.

[29] [*Лопухин И.В.*] Записки сенатора... Лондон, 1859. (Репринтное воспроизведение: Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.Н. Огарева. М.: Наука, 1990. С. 20.)

[30] *Фаджонато Р.* Указ. соч. С. 41.

[31] *Тукалевский В.Н.* Н.И. Новиков и И.Г. Шварц // Масонство в прошлом и настоящем / Под ред. С.П. Мельгунова, Н.П. Сидорова. М.: СП "ИКПА", 1991. С. 190. (Репринтное воспроизведение издания 1914 г.)

[32] *Иванов-Разумник* (Иванов, Разумник В.) Указ. соч. С. 75. На сугубо аристократическом характере московского кружка розенкрейцеров настаивал Пиксанов, существенно занижавший в своих работах этого времени численность членов кружка и видевший в нем "малую церковь". Подчеркнутый церковный ритуализм и аристократизм не были, однако, характерными чертами для таких масонских духовных наставников, как Новиков и Гамалея. Для Герцена, напротив, именно вовлечение в одно дело людей разных сословий – от крупного сановника империи до бедного школьного учителя и уездного лекаря – было особенно притягательно в Новикове.

[33] *Якобсон Р.О.* Разбор тобольских стихов Радищева // XVIII век. Сб. 7: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры: К 70-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР П.Н. Беркова / Ред. Д.С. Лихачев, Г.П. Макагоненко, И.З. Серман. М.; Л.: Наука, 1966. С. 230. Удивительное техническое совершенство стихотворного мастерства Радищева (особенно очевидное в его "Сафических строфах" – едва ли не лучшем русском любовном стихотворении того времени) проявилось как в композиционных чертах, детально раскрытых Якобсоном, так и в анаграмматиче-

ских построениях: *проложить–борзых* – в прозе; в стихах – *сердцам–в страх–в острог* [astrox]; в двух последних фонетически почти совпадающих оборотах сопоставляются и обыгрываются разные контекстуальные – пространственно-конкретные и переносные – значения предлога *в* (как в поэзии начала XX в., ср. у Пастернака: "Пока *в Дарьял*, как к другу, вхож, / Как *в ад, в цейхгауз и в арсенал*, / Я жизнь, как Лермонтова дрожь, / Как губы *в вермут* окунал").

[34] Связи этих и других тем у Пушкина и Радищева раскрыты Ю.М. Лотманом: *Лотман Ю.М.* Пушкин: Биография писателя: Статьи и заметки. 1960–1990. "Евгений Онегин". Комментарий. СПб.: Искусство, 1995. С. 288–289, 665–685; ср.: *Томашевский Б.В.* Пушкин. 2-е изд. М.: Худ. лит-ра, 1990. Т. 1: Лицей, Петербург. С. 43, 138–141, 146, 149, 169; т. 2: Юг, Михайловское. С. 91–92, 147, 166–168, 170, 249 (Томашевский многократно настаивает на отличиях Пушкина от Радищева, не всегда приводя достаточно веские доводы в пользу своей точки зрения), см.: *Макагоненко Г.П.* Учение Радищева об активном человеке и Пушкин // XVIII век. Сб. 7. С. 345–352, особенно с. 349 – о Пугачеве, интерес к которому у Пушкина, возможно, был вызван или усилен произведениями Радищева.

[35] Характерно, что в отношении некоторых текстов, опубликованных под псевдонимом И.Т. (ср. обозначения И***Т*** в "Отрывке путешествия в ***И***Т***" в журнале Новикова "Живописец": *Радищев А.Н.* Отрывок путешествия в ***И***Т*** // Сочинения. М.; Л., 1941. Т. 2; *Татаринцев А.Г.* Идейно-эстетическая позиция автора "Отрывка путешествия в ***И***Т***" // Н.И. Новиков и общественно-литературное движение его времени. Л., 1976; *Некрасов С.В.* Указ. соч. С. 43, 57; ср.: *Орешкин В.В.* (публикация). Кто автор ответного сочинения за № 71? // Общественная мысль: исследования и публикации. С. 226) в новиковском журнале "Утренний свет", остаются сомнения, отнести ли их к ранним сочинениям Радищева (как в отношении некоторых из них думал Г.А. Гуковский, мнение которого оспаривал Г.П. Макагоненко), или же считать их написанными самим Новиковым. К ним, в частности, принадлежит "Размышление Сенекино о честном бытии" (к названию ср. "Размышления о греческой истории" Мабли, переведенные Радищевым в молодости, в 1772 г.: *Радищев А.Н.* Размышления о греческой истории // Сочинения. Т. 2; *Лотман Ю.М.* Избранные статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 2: Статьи по истории русской литературы XVIII – первой половины XIX века. С. 100–123).

[36] Ср. в особенности его письмо Карамзину от 30 апреля 1816 г. (*Новиков Н.И.* Указ. соч. Письмо № 147. С. 219–222), в котором Пыпин, сильно преувеличивавший роль враждебного ему иррационализма в мировоззрении Новикова, видел обскурантизм, имевший, по его мнению, историческое объяснение (*Пыпин А.Н.* Указ. соч. С. 257–258). Нельзя, однако, отрицать меткости некоторых из содержащихся в этой критике замечаний, ср.: "В моем веке во всех науках несколько систем переменилось; да я уверен, что и ныне существующие системы не долго устоят и переменятся в другие новые: нам любезнее всего новое, новое и новое" (*Новиков Н.И.* Указ. соч. С. 221).

[37] В этом отношении усматривается связь его идей с воззрениями А.А. Каверзнева, одаренного русского философа, учившегося в Германии и там написавшего свое главное сочинение: *Каверзнев А.А.* Философическое рассуждение о перерождении животных: Пер. с нем. 2-е изд. 1787.

[38] *Шкуринов П.С.* А.Н. Радищев: Философия человека. М., 1988; *Болдырев А.И.* Проблема человека в русской философии XVIII века. М., 1986; *Лотман Ю.М.* Избр. статьи. С. 135–150.

[39] Ср. разные точки зрения на это общество и его связь с масонской традицией: *Истрин В.М.* Дружеское литературное общество // ЖМНП. 1910. № 8, отд. 2. С. 273–307; *Ehrhard M.* V.A. Joukovsky et le preromantisme russe. P.: Champion, 1938; *Лотман Ю.М.* Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени // Учен. зап. Тартуского ун-та. 1958. Вып. 63. С. 18–76; *Тодд У.М.* Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху: Пер. с англ. СПб.: гуманит. агентство "Академический проект", 1994. С. 176, прим. 8.

[40] *Лотман Ю.М.* К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи // Избр. статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1993. Т. 3: Статьи по истории русской литературы. Теория и семиотика других искусств. Механизмы культуры. Мелкие заметки. С. 431, 436. Лотман в качестве примеров наряду с Арзамасом приводит воронежский кружок Болховитинова в XVIII в. и кружок Милонова–Политковских в 1810-х годах.

[41] *Хейзинга Й.* Homo ludens: В тени завтрашнего дня: Пер. с нидерл. М.: изд. группа "Прогресс", "Прогресс-Академия", 1992. С. 210–216.

[42] *Nabokov V.* Commentary: Pushkin A.S. Eugene Onegin. Translation. Vol. 3. Bollingen Series LXX II. Princeton: Princeton University Press, 1975. P. 172; *Тодд У.М.* Указ. соч. С. 179, прим. 35.

[43] "Арзамас" и арзамасские протоколы / Ред. М.С. Боровкова-Майкова. Л., 1933; *Тынянов Ю.Н.* Пушкин и его современники. М.: Наука, 1968. С. 125–126; *Гиллельсон М.И.* П.А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969; *Он же.* Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974; *Тодд У.М.* Указ. соч. С. 46; *Лотман Ю.М.* К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи. С. 436–438; *Он*

же. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX в.). СПб.: "Искусство – СПб.", 1994. С. 304 (в этой работе принимается арзамасская "карнавализация масонского ритуала"); *Он же.* Пушкин: Биография писателя... С. 41.

[44] Последнюю версию на основании протоколов допросов декабристов принял Б.В. Томашевский (*Томашевский Б.В.* Указ. соч. Т. 2. С. 173–203). На неофициально-игровой стороне общества в ряде уточняющих друг друга публикаций настаивал Ю.М. Лотман (*Лотман Ю.М.* Декабрист в повседневной жизни: (Бытовое поведение как историко-психологическая проблема) // Избр. статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. С. 320–326; *Он же.* К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи. С. 438; *Он же.* Беседы о русской культуре... С. 360–364; *Он же.* Пушкин: Биография писателя... С. 51–53. Особенно интересным представляется предложенный Лотманом на основе этих выкладок опыт реконструкции особенностей масонской ложи "Овидий", членом которой был Пушкин, и его "Вакхической песни" не только как масонской (по Мурьянову), но и как декабристской песни: *Лотман Ю.М.* Беседы о русской культуре... С. 369–376.

[45] *Герцен А.И.* Былое и думы. М.; Л.: Academia, 1932. Т. 1. С. 123–125. Описание кружка Огарева, данное Герценом в этой книге, цитируется как основной источник для изучения кружков в труде Дж. Хоскинга, кладущего изучение этого явления в основу своего понимания становления интеллигенции (*Hosking G.* Russia: People and empire. 1552–1917. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1997. P. 168 ff.).

[46] *Лотман Ю.М.* Избр. статьи. Т. 2. С. 309 и след.; *Он же.* Отставка Чаадаева // П.Я. Чаадаев: Pro et contra: Личность и творчество Петра Чаадаева в оценке русских мыслителей и исследователей. (Антология. Сер. "Русский путь") / Изд. А.А. Ермичев, А.А. Златопольская. СПб.: Изд-во Рус. христиан. гуманитар. ин-та, 1998. С. 648–656.

[47] *Ульянов Н.И.* "Басманный философ": Мысли о Чаадаеве // П.Я. Чаадаев: Pro et contra... С. 497.

[48] *Шаховской Д.И.* Письма и заметки // П.Я. Чаадаев: Pro et contra... С. 553–554.

[49] *Иванов Вяч.Вс.* Чаадаев – наш современник // Лит. газета. 1996. 31 июля, № 31. С. 3.

[50] *Шаховской Д.И.* Письма В.И. Вернадскому: Ответ на замечания неизвестного. Чаадаев. Дневник. Чаадаев Петр Яковлевич. Заметки и тетради // Сфинкс: Петербургский философский журнал. 1994. № 2. С. 213; *Он же.* Письма и заметки. С. 523, 809, прим. 13.

[51] *Капица П.Л.* Эксперимент, теория, практика. М.: Наука, 1977.

[52] *Берг Л.С.* Номогенез, или эволюция на основе закономерностей. М.: Госиздат, 1922.

[53] Некоторые письма после смерти М.Н. Петерсона были уничтожены его вдовой А.Ф. Петерсон, но до этого с ними успел познакомиться историк русской культуры А.А. Дорогов.

[54] Жизнь и труды Г.Г. Шпета // Шпет в Сибири / Ред. М.К. Поливанов. Томск: Водолей, 1995. С. 5–16.

И.В. Кондаков

К ФЕНОМЕНОЛОГИИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Обращаясь в настоящей работе к феноменологической проблематике русской культуры, мы апеллируем к той культурфилософской традиции, которая прямо или косвенно связана с именами Платона и Аристотеля, Шеллинга и Гегеля, Гете и В. Гумбольдта – вплоть до Гуссерля и его разноречивых последователей. Согласно этой традиции, мир феноменов – это совокупность "чистых сущностей", "идей", интеллигибельных, т.е. по самой своей природе доступных не чувственному, а собственно интеллектуальному созерцанию, и задача их познания состоит в том, чтобы минимизировать затемняющие подлинную сущность предмета наслоения преходящих, чувственно-эмпирических и второстепенных смыслов. В русской философии

© И.В. Кондаков, 2000

культуры к феноменологическим исследованиям были по-разному причастны Г.Г. Шпет, А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин; в той или иной степени – русские символисты, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, Г.П. Федотов, Л.И. Шестов, а среди мыслителей второй половины XX в. – Э.В. Ильенков, М.К. Петров, Н.Н. Трубников, Г.С. Батищев, М.К. Мамардашвили, М.Б. Туровский, В.С. Библер и др.

Уже круг названных имен, представляющих собой яркие и своеобразные индивидуальности, свидетельствует о широте и практически неисчерпаемых возможностях феноменологического подхода к культуре, открывающего перед исследователями новые научные горизонты. Во-первых, культурология избавляется от натуралистического деления культуры на материальную и духовную, а общественных явлений – на социальные и собственно культурные (подход, унаследованный от наивного сциентизма эпохи Просвещения и позитивизма XIX в.). Соответственно культурным смыслом начинают обладать феномены, неправомерные с точки зрения той или иной оценочности: кажущиеся и мнимые, действительные и ложные, рациональные и иррациональные, массовые и элитарные, повседневные и трансцендентные, относящиеся к различным аспектам и формам ценностно-смысловой специализации или к области обыденного сознания, – все они с феноменологической точки зрения в равной мере являются реалиями сознания и в качестве таковых входят в актуальный или потенциальный мир человеческой культуры.

Во-вторых, культура освобождается от примитивной зависимости от кажущихся "внешними" по отношению к ней природных и социальных факторов (в том числе географических, экономических, собственно социальных, политических, идеологических), в результате которой культура представлялась прежде вторичной и производной относительно экономики, политики, административно-управленческих решений, тем самым превращаясь в необязательный "придаток" (или атрибут) социальной или натуральной предметности. Как только культура обретает имманентную логику саморазвития, все "внешние" факторы выступают как ценностно-смысловой контекст культурно-исторического развития, во взаимодействии с которым исходный *текст культуры* последовательно "обрастает" гетерогенными слоями смыслов и оценок, образующими единство со смысловым "ядром" культурного феномена, в результате чего происходит "приращение" культурного содержания и преобразование текста культуры в качественно новую парадигму.

В-третьих, культура в ее феноменологической интерпретации понимается как всеобщий аспект всех феноменов, попадающих в кругозор человеческого сознания, – природных, экономических, социальных, политических, исторических, идеологических, гуманитарно-научных, естественнонаучных, технических, математических, психических (в том числе и бессознательно-психических), психопатологических и т.п. Феноменология культуры, таким образом, объединяет различные конкретные науки и философию универсальным предметом познания – культурой (представленной различными смысловыми структурами) и общим методом феноменологической редукции и рефлексии, позволяющим дифференцировать общий "поток сознания", различные его уровни и слои, конкретные феноменальные формы и глубинную интенциональность "чистого сознания" ("ядерные структуры культурных феноменов").

Особый интерес для культурно-феноменологической интерпретации истории отечественной культуры представляет *русская интеллигенция*, одновременно выступающая и как своеобразный *феномен культуры*, с присущими

ему историческими, национальными, нравственными и иными особенностями (т.е. специфический о б ъ е к т культурологического исследования), и как с у б ъ е к т культуры, ее несущий, осмысляющий и формирующий; ведь своеобразие интеллигенции состоит в единстве п р е д м е т а р е ф л е к с и и и самой р е ф л е к с и в н о с т и как таковой, причем специализированный предмет рефлексии и органическая способность к ней не только взаимно обусловливают и стимулируют друг друга, но и принципиально совпадают в едином, целостном феномене. Для понимания феноменологии русской интеллигенции важно и то, что ее глубинная сущность, равно как и разнообразные поверхностные ее проявления, получившие систематическое (теоретическое и публицистическое) осмысление и объяснение сравнительно недавно (главным образом в конце XIX – начале XX в.), неразрывно связаны со всей тысячелетней историей русской культуры и имманентны ей. Таким образом, рассмотрение русской интеллигенции как феномена отечественной культуры есть в то же время осмысление всей русской культуры как архитектонического целого, в том числе и отдельных наиболее фундаментальных ее пластов и закономерностей.

I

Начнем с условной "словарной" дефиниции. *Интеллигенция* (лат. *intelligentia, intellegentia* – "понимание, познавательная сила, знание"; от *intelligens, intellegens* – "умный, знающий, мыслящий, понимающий") в современном общепринятом (обыденном) представлении означает общественный слой образованных людей, профессионально занимающихся сложным умственным (по преимуществу интеллектуальным) трудом. В соответствии с таким, в значительной степени социологизированным и схематизированным, пониманием этого термина (сложившимся относительно поздно, в XIX в.) принято говорить сегодня, например, о творческой и научно-технической, столичной и провинциальной, дворянской и буржуазной, городской и сельской, "крепостной", "рабочей" и даже "партийной" интеллигенции как об особых с о ц и о к у л ь т у р н ы х с т р а т а х (при всей условности и даже нарочитости последнего деления интеллигенции по классово-политическому признаку: ведь русская интеллигенция, например, по определению, была образованием и д е й н ы м и э т и ч н ы м, "снимавшим" в себе все социальные разделения, – отсюда ее принципиальная *разно-чин*-ность). Генетически понятие интеллигенции является чисто культурологическим и означает прежде всего: к р у г л ю д е й к у л ь т у р ы, т.е. тех, чьими знаниями и мыслительными усилиями созидаются и поддерживаются ценности, нормы и традиции культуры. Не утрачивается до конца в понятии интеллигенции и его изначальный смысл, заключенный в латинском термине: *понимание, знание, познавательная сила, интеллект* – именно эти свойства, присущие определенной категории людей, оказываются определяющими их деятельность, ведущими в их общественном значении и социокультурном статусе, в их самосознании и престиже. Именно эти ценностно-смысловые атрибуты, собственно, и являются определяющими в характеристике "круга людей", социальной группы или социокультурной страты, называемых интеллигенцией, а не их положение среди других сословий или классов общества, которое оказывается производным от того места, которое занимают в том или ином типе общества соответствующие социокультурные ценности: знание, интеллект, понимание происходящих в обществе процессов, познавательная деятельность и т.д.

Понятие интеллигенции по своему происхождению является категорией русской культуры и в большинство европейских языков (французский, немецкий, английский и др.) пришло из России в XIX в. Определенным аналогом русского слова *интеллигенция* (но без значений собирательности, связанности, цельности) в западноевропейской культуре стал термин "intellectuels" (интеллектуалы"), хотя попытки западных деятелей культуры (например, О. де Бальзака, Ф. Гизо) ввести в обиход слова, адекватные будущему русскому понятию "интеллигенция" (фр. *intelligentiels, intelligence*; нем. *die Intelligenz*), так и не прижились. Для того чтобы понять специфически русский смысл собирательного понятия "интеллигенция", важно понять его исходную семантику, саму логику его формирования в русской культуре. Во второй четверти XVIII в. склонный к учености В.К. Тредиаковский переводил латинское слово *intelligentia* как "разумность"; позже профессор Петербурского университета А.И. Галич, один из учителей Пушкина в Царскосельском лицее, в "Опыте философского словаря" (1819) объяснял понятие интеллигенции в шеллингианском духе как "разумный дух" и "высшее сознание". В аналогичном, философском, смысле употребляли слово *интеллигенция* еще и в 1850–1860-е годы такие разные, во многом взаимоисключающие, деятели отечественной культуры, как демократы Н.П. Огарев и Н.Г. Чернышевский, аристократы кн. В.Ф. Одоевский и кн. П.А. Вяземский и др. Традиция отвлеченно-философского толкования интеллигенции оказалась прочно укорененной в русской культуре.

Несомненно, что на формирование понятия интеллигенции как интеллектуальной элиты общества в первой половине XIX в. оказала сильное влияние классическая немецкая философия, увлечение которой, особенно Шеллингом, а позднее Гегелем, становилось престижным и модным в образованных слоях русского общества[1]. Мало кто из русских мыслителей первой трети XIX в. прошел мимо Шеллинга: Д.М. Велланский, А.И. Галич, М.Г. Павлов, М.П. Погодин, С.П. Шевырев, И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, А.И. Кошелев, Д.В. Веневитинов, В.К. Кюхельбекер, П.Я. Чаадаев, Н.В. Станкевич, В.Ф. Одоевский, Ф.И. Тютчев начинали как правоверные шеллингианцы; многие слушали самого Шеллинга, общались с ним и состояли в переписке. Из шеллингианского "любомудрия" (русская калька греческого термина "философия") вышли все представители русской интеллигенции 1830–1850-х годов – и западники, и славянофилы, и консерваторы, и либералы, а косвенно и радикалы (многие декабристы, позднее В.Г. Белинский и М.А. Бакунин). Конечно, немецкое философствование переводилось на русский язык, а вместе с тем – на язык русской культуры. В немецкой философской традиции понятие "интеллигенция" имело значение отвлеченной философской категории – в одном ряду с понятиями "дух", "разум", "интеллект", "сознание", "мыслящая субстанция" и т.п. На русской почве это понятие конкретизировалось и "заземлилось" – носители философского разума, духа и были этой самой "мыслящей субстанцией". Неудивительно, что многие важные оттенки значения слова *интеллигенция* в русском языке явно имели философско-идеалистическое происхождение и генетически восходили к категориям немецкой философской культуры. Приведем несколько характерных примеров.

И.Г. Фихте в работе "Первое введение в наукоучение" дает, например, следующее определение: "Интеллигенция как таковая *смотрит внутрь самой себя*; это созерцание самой себя непосредственно связано со всем, что ей присуще, и в этом *непосредственном* соединении бытия и созерцания состоит природа интеллигенции. То, что в ней есть, и то, что она вообще есть, она есть *для себя самой*; и лишь

поскольку она есть это для себя самой, она есть это как интеллигенция". В отличие от вещи, которая всегда существует *для кого-то* (например, для какой-нибудь интеллигенции), последняя "необходимо есть то, что она есть, для себя самой". "Тем самым, что она положена как интеллигенция, положено и то, для чего она есть. Следовательно, в интеллигенции – чтобы выразиться образно – имеется двойной ряд бытия и созерцания, реального и идеального; и в неразрывности этого двойного ряда состоит ее сущность (она – синтетична); тогда как, наоборот, вещи присущ лишь один простой ряд, ряд реального (простая положенность). Интеллигенция и вещь, следовательно, диаметрально противоположны: они лежат в двух мирах, между которыми нет никакого моста"[2]. Обратим внимание на содержащиеся здесь принципиально важные смысловые оттенки понятия "интеллигенция": непосредственное единство ее бытия и созерцания как неразрывного "двойного ряда" – синтеза реального и идеального; преломленность любых сторон бытия через самосознание интеллигенции, т.е. интериоризованность и рефлексивность ее бытийности; самоценное существование интеллигенции для самой себя; внеположенность интеллигенции вещному миру, а вместе с ней любой одномерной реальности, оторванной от идеала.

Сошлемся на другой пример – Ф.В.Й. Шеллинга. Сделав интеллигенцию "главным героем" своего обширного трактата "Система трансцендентального идеализма", Шеллинг постулирует вечную двойственность и непреодолимую противоречивость интеллигенции, поскольку она тяготеет к тождеству с собой и в то же время к непрерывному продуцированию (производству нового). Борьба между тождеством и продуцированием составляет сущность и природу интеллигенции, при этом носит вечный характер. "Интеллигенция есть интеллигенция, только пока продолжается эта борьба; как только борьба завершится, интеллигенция – уже не интеллигенция, а материя, объект. Следовательно, столь же несомненно, как все знание вообще основано на этой противоположности между интеллигенцией и объектом, эта противоположность не может быть снята ни в одном отдельном объекте. ⟨...⟩ Интеллигенция не может распространиться в бесконечность, так как этому препятствует ее стремление возвращаться к себе. Но она не может и абсолютно вернуться к себе, ибо этому препятствует присущая ей тенденция быть бесконечной. Следовательно, опосредствование здесь невозможно, и синтез будет всегда лишь относительным"[3].

Всеобщность и универсальность интеллигенции, претендующей на охват всего универсума, делают ее почти безграничной в ее познавательных и генерализирующих возможностях. "Итак, если интеллигенция созерцает эволюцию универсума в той мере, в какой она доступна ее созерцанию в виде организации, то созерцать эту организацию она будет как тождественную самой себе. Ибо интеллигенция стремится увидеть себя отраженной в своей продуктивности во всех лабиринтах и извилинах органической природы. Но ни в одной из подчиненных организаций интеллигенция не воплощает себя полностью. Только если она достигнет совершеннейшей организации, где в сжатом виде отразится весь ее мир, она признает эту организацию тождественной себе. Поэтому интеллигенция явится себе тогда не просто органической, а находящейся на вершине организации. Все остальные организации она может рассматривать просто как промежуточные звенья, проходя сквозь которые постепенно освобождается от уз материи совершеннейшая организация или посредством которых сама интеллигенция полностью становится объектом для самой себя. Следовательно, она и не признает все ос-

тальные организации равными себе по достоинству"[4]. Во всех этих рассуждениях Шеллинга характерно стремление представить интеллигенцию в качестве высшей ступени организации универсума, "снимающей" в себе все предшествующие ступени организации (включая все формы органической природы). Весь естественный мир доступен интеллигенции и ее продуктивности, а потому потенциально весь познаваем и объясним ею (естественнонаучное знание). Превосходство интеллигенции над всем остальным миром (природным и социальным) заключается в том, что она в процессе своего исторического и духовного становления освобождается от "уз материи" и, становясь наконец объектом для самой себя, обретает свободу самореализации (духовную свободу).

Проблема свободы, по Шеллингу, – одна из кардинальнейших для интеллигенции: "интеллигенция ограничена в своей свободе объективным миром (...), однако в пределах этой ограниченности она вместе с тем не ограничена, так что ее деятельность может быть направлена, например, на любой объект; предположим, что она начинает действовать, тогда ее деятельность должна быть направлена на определенный объект, так что все остальные объекты останутся свободными и как бы не затронутыми ею"[5]. Таким образом не только допускается, но и прямо утверждается существование других интеллигенций, внеположенных данной, которые благодаря своей свободе выступают как границы свободной деятельности каждой из них. Последняя, ничем не ограниченная, степень свободы достигается, согласно Шеллингу, лишь художником-гением, создающим произведение искусства, которое становится средством преодоления любых ограничений интеллигенции. "...Сам по себе объект никогда не имеет цели вне себя, так как если и существуют целенаправленные объекты, то они могут быть таковыми лишь по отношению к самим себе, они суть своя собственная цель. Лишь произведение искусства в широком смысле слова имеет цель вне себя". Если интеллигенция, отправляясь от объекта "слепого созерцания", останавливается на явлении, то "произведение искусства, которое, правда, сначала также есть только мое созерцание, тем, что оно выражает понятие понятия, ведет рефлексию непосредственно к *интеллигенции вне ее* (ибо только такая интеллигенция способна иметь потенцированное понятие) и, таким образом, к чему-то абсолютно *от нее* независимому. Следовательно, только произведение искусства может привести интеллигенцию к чему-то, что есть не объект, т.е. ее продукт, а нечто бесконечно более высокое, чем все объекты, а именно к *созерцанию* вне ее, которое, поскольку оно никогда не сможет стать созерцаемым, есть для нее первое абсолютно объективное, полностью от нее независимое"[6]. Тем самым достигается посредством разума "высшее единение свободы и необходимости в искусстве (посредством которого сознательно продуктивная природа замыкается и завершается в самой себе)"[7]. Таким образом, высшая свобода духа достигается творческой, художественной интеллигенцией, преодолевающей отчуждение между субъектом и объектом (неизбежное в любых иных интеллигенциях) и способствующей установлению диалога между разными, независимыми друг от друга интеллигенциями (невозможного в других случаях).

Обратимся и к третьему примеру, важному для понимания изначальной семантики интеллигенции как категории русской культуры, – философии Гегеля. Особенно показателен здесь труд Гегеля "Философия духа", составляющий третью часть его "Энциклопедии философских наук", поскольку в нем большое место занимает диалектическое развитие понятия "интеллигенция". Возьмем исходное определение интеллигенции у Гегеля: "Дух, объемлющий обе стороны – субъектив-

ность и объективность, – полагает себя затем, во-первых, в форме субъективности – и тогда он есть *интеллигенция*, – во-вторых, в форме объективности – и тогда он есть *воля*. Интеллигенция, сама еще на первых порах не осуществленная, снимает свою не соответствующую понятию духа форму субъективности тем, что противостоящее ей объективное содержание, еще обремененное формой данности и единичности, она измеряет абсолютным масштабом разума, придает этому содержанию разумность, влагает в него идею, превращает его в конкретное всеобщее и таким образом принимает его в себя. Этим интеллигенция достигает того, что то, что она знает, не есть уже абстракция, но объективное понятие и что, с другой стороны, предмет теряет форму данного и получает образ (Gestalt), в котором содержание присуще самому духу. Поскольку, однако, интеллигенция достигает сознания, содержание берется ею из самой себя, она становится практическим духом, только самого себя полагающего своей целью, – духом как волей, которая начинает не с некоторого извне данного единичного, подобно интеллигенции, но с такого единичного, о котором воля знает, что оно коренится в ней самой"[8].

В гегелевской системе понятий д у х соседствует и различается с р а з у м о м, и с т и н а взаимодействует с и д е е й, и н т е л л и г е н ц и я – с в о л е й, з н а н и е не то же самое, что с о з н а н и е или п о з н а н и е. В результате движения понятия "интеллигенция" в системе других понятий происходят содержательные метаморфозы как с этим феноменом, так и с тем смысловым контекстом, в котором он выступает в той или иной роли. Переходя в практический разум, интеллигенция становится волей, полагая себя своей целью, а усваиваемую ею объективное содержание восходит к конкретному и, обретая разумность, становится из данного и единичного всеобщим. Иными словами, интеллигенция призвана преодолеть свою субъективность и обрести объективность (став в о л е й), обратиться к п р а к т и к е, а свое знание превратить в конкретное и всеобщее. В отличие от Фихте и Шеллинга рассуждения Гегеля об интеллигенции уже можно понимать антропоморфно и гуманитарно, как некую общественную субстанцию, а не голую философскую абстракцию.

"Интеллигенция *находит* себя *определенной*; это есть ее видимость, из которой она исходит в своей непосредственности. Но и в качестве *знания* она состоит в том, чтобы найденное полагать как свое собственное. Ее деятельность имеет дело с пустой формой, с тем чтобы *найти* разум; ее целью является то, чтобы ее понятие было *для нее*, т.е. чтобы она была разумом *для себя*, благодаря чему и *содержание* сразу становится для нее разумным. Эта деятельность есть *познавание*. Формальное знание достоверности возвышается – ибо разум есть нечто конкретное – до определенного, сообразного с понятием знания. Ход этого возвышения сам разумен и представляет собой определенный понятием необходимый переход одного определения интеллектуальной деятельности (так называемой *способности* духа) в другое. Опровержение видимости, нахождение разумного, а это и есть познание, исходит из уверенности, т.е. веры интеллигенции в свою способность иметь знание посредством разума – веры в возможность овладеть разумом, в чем и состоит как интеллигенция, так и ее содержание"[9].

Деятельность интеллигенции не случайно характеризуется Гегелем как п о з н а н и е; причем не в ряду каких-либо иных разновидностей интеллектуальной или духовной деятельности – созерцания, представления, воспоминания, воображения и т.д., – а как единственная в своем роде, органически присущая интеллигенции. "Понятие познания раскрылось для нас как сама интеллигенция, как достоверность

разума: действительность интеллигенции *есть* само познание. Отсюда следует, что нелепо говорить об интеллигенции и в то же время признавать, что она может по произволу познавать или не познавать. Но познание является истинным именно постольку, поскольку интеллигенция его осуществляет, т.е. полагает *для себя* его понятие"[10]. В процессе познания интеллигенция преобразует и возвышает любой свой объект. "...Интеллигенция заполняет себя непосредственно данным ей объектом, который, – как раз вследствие своей непосредственности, – обременен всеми чертами случайности, ничтожности и неистинности внешнего наличного бытия. На этом принятии непосредственно развивающегося содержания предметов интеллигенция, однако, не останавливается; напротив, она скорее очищает предмет от того, что в нем оказывается чисто внешним, случайным и ничтожным". "Интеллигенция, превращая предмет из *внешнего* во *внутренний*, и самое себя делает внутренней. Эти два факта – превращение предмета во внутренний предмет и сосредоточение духа в самом себе – есть и одно и то же. То самое, о чем дух имеет разумное знание, становится разумным содержанием. Интеллигенция отнимает, следовательно, у предмета форму случайности, постигает его разумную природу, полагает ее тем самым субъективно и преобразует таким образом одновременно и субъективность до формы объективной разумности"[11]. Функции, выполняемые интеллигенцией, придают ей, в интерпретации Гегеля, философскую высоту и величие. "Интеллигенция, – пишет Гегель, – есть власть, господствующая над запасом принадлежащих ей образов и представлений..."[12], и эта власть позволяет интеллигенции выступать в качестве "символизирующей фантазии", свободной и культуросозидающей продуктивной силы всеобщего порядка. Признание за интеллигенцией ее преобразовательных возможностей, в том числе превращения формального в содержательное, субъективного в объективное, абстрактного в конкретное, случайного в необходимое, ничтожного в величественное, неистинного в разумное, единичного во всеобщее, придавало ей в глазах читателей и последователей Гегеля черты общественного и религиозного избранничества, власти не от мира сего. Многие из названных атрибутов философского понятия впоследствии были перенесены в Германии и Австрии на обыденное представление об интеллигенции как социальном сословии, классе. Подобный процесс происходил – независимо от немецкого словоупотребления – и на почве русской культуры.

Практика подобного словоупотребления сохранилась в отечественной элитарно-интеллектуальной среде надолго: даже в 1920-е годы А.Ф. Лосев обращался к понятию интеллигенции в его отвлеченно-философском значении, сохранявшем все обертоны классической немецкой философской традиции – от Фихте до Ф. Брентано. Так, в "Диалектике художественной формы" (1927), определяя "феноменологодиалектическую природу сознания", он опирался на дефиницию: "*Сознание, интеллигенция есть соотнесенность смысла с самим собой*", и далее: "Смысл сам в себе производит различие, отождествление и т.д. Он – ***для себя*** то, что он есть вообще". Интеллигенция в лосевском смысле – это "самосоотнесенность, самосозерцательность, адекватная самоданность" смысла или еще: "интеллигенция есть самоотнесенность, т.е. полагание себя как себя, утверждение себя тем же самым для себя, чем являешься вообще, сам по себе, т.е. ***определенным и оформленным через инобытие***"[13]. А.Ф. Лосев до конца своих дней продолжал использовать понятие интеллигенции в значении "совокупность познаваемых идей" (например, у Филона Александрийского, Плотина). Характеризуя философию Платона во 2-м томе своей фундаментальной "Истории античной эстетики", Лосев специально оговаривал специфический смысл

используемого им понятия интеллигенции: «Средневековый термин "интеллигенция" является, конечно, неудобным и употребляется нами только за неимением другого, лучшего. Он обозначает собою то родовое понятие, видами которого являются сознание, самопознание и мышление вместе с соотнесенными с ними адекватными предметами». А далее Лосев подчеркивал, что "центральными и важнейшими категориями интеллигенции" являются (в платоновском "Филебе", представляющем собой, по Лосеву, теорию интеллигенции) "*разумность* и *удовольствие*", диалектически взаимосвязанные между собой[14].

Во всех этих дефинициях интеллигенция предстает как единство сознания и сознаваемых предметов, мышления и мыслимого содержания, разумного мироустройства и чистой духовности, получающей умственное и эстетическое удовольствие как от познания разумности мира, так и самосознания. Сохранение этого отвлеченно-философского (неоплатонического, а затем и немецкого) смысла в слове *интеллигенция* показательно для русской (именно русской, а не античной или западноевропейской) культуры. Так, в русском словоупотреблении нового времени сложилось и закрепилось представление об интеллигенции как о смысловом единстве познаваемых идей и избранного сообщества разумных людей, живущих этими идеями, как о тождестве носителей высшего сознания и духовности, способных к рефлексии культуры и саморефлексии, и самих форм духовной культуры, рефлектируемых софийным умом, – как о духовном образовании, воплощающем в себе самоценный смысл действительности, соотнесенный в самосознании с самим собой. Подобная интеллектуальная семантика имплицитно экстраполировалась на представления о соответствующем сословии (классе или страте) российского общества, специализирующемся на духовном производстве, познавательной деятельности и самосознании (особенно последнем)[14а].

II

Не подлежит никакому сомнению, что история русской культуры неразрывно связана с историей русской интеллигенции, которая выступала одновременно и ее носителем, и творцом, и теоретиком, и критиком, – фактически сама являлась средоточием, воплощением и смыслом русской культуры. Драматическая, часто трагическая, судьба русской интеллигенции была не просто составной частью истории русской культуры, но как бы концентрировала в себе ее собственную судьбу, также весьма драматичную (самоданность смысла). Внутренние противоречия русской интеллигенции (включая пресловутую проблему "вины" и "беды", поднимавшуюся то А.И. Герценом – в романе "Кто виноват?" и его эссеистике того же времени, то Н.Г. Чернышевским – в "Русском человеке на render-vous" и романе "Что делать?", то В.И. Лениным – в статье "Памяти Герцена" и других статьях), очень осложнявшие ей внутреннюю жизнь, самосознание и самореализацию в деятельности, в культурном творчестве, лежали в основании ее собственного саморазвития и саморазвития всей культуры России. Исторический опыт русской культуры откладывался в самосознании и деятельности интеллигенции, порождая соответствующие противоречия и конфликты.

Своеобразие русской интеллигенции как феномена национальной русской культуры, не имеющего буквальных аналогов среди "интеллектуалов" Западной Европы, людей, занимающихся по преимуществу умственным трудом, представителей "среднего класса", "белых воротничков" и т.д., является сегодня общепризнан-

ным (как известно, во всех словарях мира слово *интеллигенция* в близком нам смысле употребляется с пометкой: "*рус.*" – как специфическое образование русской истории, национальной общественной жизни). В этом отношении феномен русской интеллигенции совпадает с национальным менталитетом русской культуры и оказывается в такой же мере источником, п р и ч и н о й ее становления и развития, в какой и р е з у л ь т а т о м, плодом истории культуры России. Универсальность того смысла, какой заключает в себе русская интеллигенция, объясняет многообразие притязаний на представительство интеллигенции в российском обществе со стороны разных классов и сословий: дворянство и духовенство, крестьянство (в том числе даже крепостное) и городское мещанство, буржуазия и рабочий класс, советская партгосноменклатура и диссиденты, техническая (ИТР) и гуманитарная интеллигенция. Принадлежность к интеллигенции в разные культурно-исторические эпохи была престижна по-своему, но исключительно в духовном и нравственном смысле: ни социально-политических, ни экономических, ни властных привилегий причастность к интеллигенции никогда не давала, хотя стимулом для пополнения рядов интеллигенции продолжала являться даже тогда, когда наименование интеллигенции было равносильно политической неблагонадежности или оппозиционности властям, а ее материальное положение было, по сравнению с другими социальными группами, просто плачевным.

Долгое время считалось, что слова *интеллигенция, интеллигент* и *интеллигентный* ввел в повседневный обиход русского языка и отечественной журналистики прозаик, критик и публицист П.Д. Боборыкин (1866), который сам объявил себя "крестным отцом" этих слов (в статьях 1904 и 1909 гг.). Писатель, использовавший еще в 1875 г. слово *интеллигенция* в значении философском: "разумное постижение действительности"[15], в то же время определял интеллигенцию (в социальном значении) как "самый образованный, культурный и передовой слой общества" или как "высший образованный слой общества"[16]. Однако подобный смысл понятия интеллигенции выявляется сегодня в различных, и гораздо более ранних, источниках. С.О. Шмидт недавно доказал[17], что слово *интеллигенция* впервые употребил почти в современном его значении В.А. Жуковский в 1836 г. (в контексте: "лучшее петербургское дворянство... которое у нас представляет всю русскую европейскую интеллигенцию"[18]). При этом не исключается влияние на мировоззрение и речь Жуковского, а также людей его круга А.И. Тургенева, тесно общавшегося и состоявшего в переписке с Шеллингом (последний сам признавал духовную близость себе своего русского корреспондента).

Показательно, что понятие интеллигенции ассоциируется у Жуковского: 1) с принадлежностью к определенной социокультурной среде; 2) с европейской образованностью; 3) с нравственным образом мысли и поведением, т.е. с "интеллигентностью" в позднейшем смысле этого слова[19]. Таким образом, представления об интеллигенции как социокультурной среде, моральном облике и типе поведения складывались в русском обществе уже в 1830-е годы, в среде Карамзина и деятелей пушкинского круга, и были связаны прежде всего с идеалами "нравственного бытия" как основы просвещения и образованности и дворянским долгом служения России. В 1860-е годы это представление было лишь переосмыслено в новом семантическом и социальном контексте (прежде всего в связи с задачами самосознания разночинской, демократической интеллигенции, ориентированной на служение народу и социальное подвижничество) и получило более активное и широкое распространение в обществе.

Смысловой оттенок умственного, духовного избранничества, элитарности, нравственного или философского превосходства, сознательных претензий на "высшее" в интеллектуальном, образовательном, этическом и эстетическом отношениях сохранялся в словах *интеллигенция, интеллигентный* даже тогда (в 1860-е годы), когда в русском обществе получили хождение взгляды на преимущественно разночинский, демократический характер, поведение и убеждения русской интеллигенции (в этом отношении последовательно противопоставляемой дворянству и аристократии), а вместе с тем появилось и ироническое, насмешливо-презрительное отношение к тем "интеллигентам", которые таковыми, в сущности, не являются, хотя претендуют на это престижное самоназвание (об этом свидетельствуют переписка В.П. Боткина, И.С. Тургенева, дневниковые записи А.В. Никитенко, В.О. Ключевского, статьи А.И. Герцена, П.А. Лавровского, П.Д. Боборыкина в периодической печати, "Толковый словарь живого великорусского языка" В.И. Даля, лексика Л.Н. Толстого, И.А. Гончарова и др.). Фактически с этого времени ведет свое начало борьба среди интеллигенции за отделение подлинных ценностей интеллигенции от мнимых, действительных представителей интеллигенции и ее внешних подражателей, за "чистоту рядов" интеллигенции, кристаллизацию ее норм, традиций, идеологии. Интеллигенция сама осуществляла различение и разделение смыслов интеллигенции, постоянно вступая в смысловое соотношение с самой собой в процессе исторического саморазвития и саморефлексии и стремясь к качественному своему самосовершенствованию, интенсивному саморазвитию и росту. Это и полемика западников и славянофилов, и взаимоотношения консерваторов, либералов и радикалов, и первые конфронтации "естественников" и гуманитариев, представителей религиозно-философской мысли и атеизма, и т.п.

Речь шла именно о духовном, ценностно-смысловом превосходстве интеллигенции над другими слоями и классами общества, в том числе, например, над дворянством (отличавшимся знатностью рода, исторической генеалогией, политико-правовыми и экономическими привилегиями), над буржуазией (выделяющейся своим богатством, предпринимательской инициативой, практичностью, подчас нравственной неразборчивостью в отношении используемых средств финансово-экономического самоутверждения в обществе) и над крестьянством (составляющим основную массу российского населения, живущим своим трудом и воплощающим собою народ как основную силу истории, но в большинстве случаев неспособным подняться до осмысленного и словесно оформленного образа жизни, до сознательного протеста и научного мировоззрения). Смысл духовного избранничества интеллигенции тем самым оказывается тесно связанным не только с усилением социальной дифференциации общества и разложением четкой сословно-классовой структуры феодального (или близкого ему) общественно-политического строя (прежде всего – с типично российским явлением разночинства, т.е. с утратой сословиями и классами России своих смысловых и социальных границ и возникновением смешанных, маргинальных групп и слоев общества), но и с традицией наивно-просветительских представлений о поступательном характере социально-экономического, политического и культурного прогресса, о непосредственной детерминированности исторического развития появлением и распространением философских, политических, нравственных и эстетических идей, продуцируемых носителями высшего Разума – мыслителями, писателями, деятелями культуры. Отсюда – легко объяснимые притязания интеллигенции на выражение высшего исторического и нравственного смысла социальной действи-

тельности, на понимание и формулирование объективных закономерностей социокультурного развития, на выражение "гласа народа", изъявление национальной воли, непосредственное созерцание истины, ненаблюдаемой остальными представителями общества. Эти интенции русской интеллигенции, при всей их этической и социально-психологической самобытности, несомненно содержат в себе многие смысловые атрибуты философской категории интеллигенции, почерпнутые отечественными мыслителями из классической немецкой философии – у Фихте, Шеллинга, Гегеля.

Особняком среди идеологов русской интеллигенции (Добролюбов, Чернышевский, Писарев, Михайловский и др.) стоит К.Н. Леонтьев, определенно выступающий не только против интеллигентских идеалов и нравственного авторитета интеллигенции, но и против самой идеи "сближения ее с народом" (которой не были чужды ни Л. Толстой, ни Достоевский, ни весьма последовательные консерваторы – М.Н. Катков, К.П. Победоносцев и др.). Возражая тем консерваторам, которые "желают все того же *сближения* с народом", которые «сокрушаются о том, что русский народ русскую "интеллигенцию" *не любит*», Леонтьев усматривает в этих ламентациях субъективные эмоции – «это чисто личное порождение невольного страха или оскорбленное чувство доброго и честного человека, считающего себя перед "народом" ни в чем не повинным». «С точки зрения *государственной* надо, напротив того, *радоваться*, что народ "интеллигенцию" *нашего времени* не очень любит, что она ему *не нравится*. Пускай в среде этой "интеллигенции" есть прекрасные и гуманные люди, пусть мы сами принадлежим к ней, все-таки надо *радоваться*, что эта "интеллигенция" так непопулярна, несмотря на всю теперешнюю гуманность свою. Радоваться надо этому потому, что идеи и вкусы, господствующие в интеллигенции, *все заимствованные*, а у народа идеи и вкусы все *свои*; сближаясь с народом, мы только вредим ему; вредим не в каком-нибудь грубом смысле, что мы его обманываем или грабим, или можем отстранить его от каких-нибудь вещественных благ, а в том *более важном смысле* – что мы почти нечаянно учим его *европейству* и не можем не учить, потому, что сами до сих пор выдумать ничего не были в силах...»[20].

За этим парадоксальным суждением Леонтьева стоит, с одной стороны, признание культурной силы интеллигенции, способной "заразить" народ "чуждым", европейским влиянием, с другой – констатация низкой культурной ценности духовного содержания русской интеллигенции как вторичного, подражательного, нетворческого. Получается, что русская интеллигенция как социальная субстанция органически и глубоко отчуждена от интеллигенции как философской рефлексии, находится с нею в трагическом противоречии. Недаром "интеллигенция" (у Леонтьева в кавычках!) не тождественна интеллигенции. Ведь, по Леонтьеву, "культура не *в массе знаний*, а в живом *своеобразном освещении* этого умственного хаоса"[21]. Культура, по Леонтьеву, – это интерпретация знания и информации, а не сами по себе знания и информация. Культуру создает народ, несущий "мудрость веков", а потому способный к "живому" и "своеобразному" осмыслению любой информации (к культурным инновациям), а не так называемая "интеллигенция" (в лучшем случае обремененная лишь "массой знаний", а потому способная интерпретировать знание с помощью того же "готового" знания, т.е. вторично, формально). «"Русский" смысл, – продолжает Леонтьев, – не в массе знаний, подавляющих только слабые умы большинства учащих и учащихся, а *в способе освещения этих знаний*, этой массы фактов в так называемом "выходе в жизнь"»[22].

Фактически, доказывал своим читателям русский мыслитель-консерватор, интеллигенция русской действительности (в шеллингианско-гегельянском смысле) складывается и развивается в среде простого народа, а не в сознании интеллектуальной элиты; отсюда нескрываемое презрение Леонтьева к "интеллигенции", неспособной понять и выразить свою, национальную интеллигенцию.

Поэтому-то Леонтьев пишет о спасительности для России и Славянства "свержения *умственного ига* Европы", – для этого должно «желать не дальнейшего влияния "интеллигенции" нашей на простолюдина русского, а наоборот, – ⟨...⟩ наилучших способов и наилегчайших *путей подражания мужику*». Лишь в одном случае Леонтьев готов примириться с влиянием "интеллигенции" на народ: "если бы *сближенная* уже с ним теперь реформами интеллигенция подавала ему (русскому простолюдину. – *И.К.*) сама поразительный пример развитого, самосознательного, я готов даже сказать, *надменного в независимости своей культурного руссизма*!" Заметим, речь не идет о любви народа к интеллигенции или любви интеллигенции к народу, речь не идет о сближении с ним в социальном, юридическом, деловом или каком бы то ни было еще отношении ("вовсе *не смешение с народом, а сходство с ним*"), – Леонтьев имеет в виду "идеальное сближение" с народом, т.е. м и м е з и с ("*подражание мужику*"): "надо любить его *национально, эстетически*; надо любить его *стиль. Нужно быть с ним схожим в основах*"[23]. Образованное сословие призвано лишь "восстановить" и утонченно "развить" ту самобытную, но "загрубелую" в "бедных руках" интеллигенцию, которая бессознательно живет в простом народе, выражая его безусловное п о н и м а н и е действительности.

В некотором смысле еще более парадоксальным, нежели концепция почвенника и реакционера К. Леонтьева, было объяснение феномена русской интеллигенции западником и либералом В.О. Ключевским. Парадоксальность "Мыслей об интеллигенции", записанных великим русским историком в 1897 г., состоит в том, что русская интеллигенция, осмысленная им с позиций, во всем противоположных леонтьевским, также воспринимается как явление негативное, ущербное, в корне расходящееся со своим назначением и названием. Заметки Ключевского начинаются прямо с определения: "Назначение *интеллигенции* – понимать окружающее, действительность, свое положение и своего народа"[24]. Весь смысл дальнейших рассуждений историка заключается в том, что русская интеллигенция именно этого-то своего назначения не выполняла и своего названия не оправдывала, будучи чем-то принципиально и н ы м. Причины этого состояли, во-первых, в том, что до середины XV в. "русская мысль была усвоением идеалов, принесенных со стороны, христианством, и обращалась к своей туземной действительности только для того, чтобы уразуметь и почувствовать ее непримиримое несогласие с этими идеалами, т.е. чтобы оправдать и даже узаконить свою наклонность игнорировать и даже презирать ее". Во-вторых, пробуждение русской мысли о действительности было вызвано "не ограниченным ростом общественного сознания, не внутренней потребностью размышления, а механически, внешними толчками" (с. 299), к числу которых в допетровское время Ключевский относил падение Византии; борьбу Ивана Грозного с боярством; пресечение старой династии и вызванную этим Смуту; русский религиозный Раскол, толчком к которому послужили церковные новации патриарха Никона. Иными словами, русское национальное самосознание складывалось либо как заимствованная, "ч у ж а я" и н т е л л и г е н ц и я, неадекватная окружающей действительности; либо как искусственное, вынужденное явление, вызванное к жизни разгулом насилия или внешними потрясениями, т.е. н е - и н т е л -

л и г е н ц и я (мыслительное образование, лишенное органичности и возникшее внезапно и не в результате саморазвития).

Исторически последовательно в Древней Руси, согласно концепции Ключевского, складываются два типа будущих русских интеллигентов, каждый из которых был по-своему неполноценен. Первый из них возник в результате христианизации Руси, под влиянием переводной византийской книжности. "...Эта книжная мудрость, – иронически замечал Ключевский, – была для нас подарком добрых, но сторонних людей, отблеском чужого ума. Мы встретили ее, как встречают желанную, но слишком высокую гостью, с растерянной приветливостью и удрученным смирением. Как взглянул русский разумный и понимающий человек на просвещенный мир сквозь привозные книги, так и впал в крайнее уныние от собственного недостоинства, от умств[енного] и прав[ового] убожества. Русская земля показалась ему таким бедным, заброшенным уголком Вселенной, где [ни] Христос не учил, ни пророки не пророчествовали, ни апостолы не походили своими стопами. Тогда русский ум припал жадно к книгам ⟨...⟩, и самой глубокою чертою в характере этого книжника стало смиренномудрие личное и национальное". Далее у Ключевского следует его убийственная характеристика "первого достоверно известного по письменным памятникам типа русского интеллигента": "это был нищий духом, побирающийся под окнами европейских храмов мудрости плодами чужого ума, крупицами с духовной трапезы, на которой ему не было места" (с. 301). Трудно не признать в этом колоритном образе древнерусского книжника символическое изображение современного Ключевскому русского западника, с его заниженной национальной самооценкой и завышенной оценкой "чужой" культуры.

Другой типаж русской интеллигенции сложился в период Московского царства, под впечатлением от падения, с одной стороны, монголо-татарского ига, с другой – от падения Византии под ударами Османской империи. Воссиявшая на Русью слава "Москвы – третьего Рима" вскружила голову вчерашнего недоучившегося европейского ученика, сделав его в собственных глазах единственным в своем роде "учителем". Вот как рисует Ключевский духовные метаморфозы, произошедшие с образованными русскими людьми: «Русская земля, еще недавняя идолослужительница, темное захолустье вселенной, явилась последним и единственным в мире убежищем правой веры и истинного просвещения; Москва, до которой не дошел ни один апостол, как-то оказалась третьим Римом, московский царь остался единственным христианским царем во всей вселенной, а сам он, этот московский книжник, еще недавний "новоук" благочестия, вдруг очутился единственным блюстителем и истолкователем истинного христианства, весь же остальной мир погрузился в непроницаемый мрак неверия и суемудрия». Здесь-то и возник новый тип русского интеллигента: «из скромной и трудолюбивой пчелы он превратился в кичливого празднослова, исполненного "фразерства и гордыни", проникнутого нехристианской нетерпимостью» (с. 303), презиравшего другие европейские страны и "еретические" знания, отвергавшего большинство книг и даже запрещавшего их читать как некую опасную "прелесть" и признававшего единственно "мастерство чтения и письма", потребное "в тогдашнем церковном и канцелярском обиходе". Характеристика второго типа русской интеллигенции Ключевским оказывается поистине уничтожающей: "этот самонадеянный грамотей-мастер, уверенный, что можно все понимать, ничего не зная, и был вторым типом русского интеллигента, и самой характерной особенностью этого типа была гордость личная и национальная" (с. 304).

На самом-то деле, как показывает Ключевский, тот и другой типы русской образованности вполне стоили друг друга. "Прежний книжник прилежно учился книгам и посредством книжного учения старался понять вещи; но по скромности он не считал себя ни все знающим, ни все понимающим. Книжник нового типа учился несравненно меньше прежнего, но считал себя [по]нимающим несравненно больше, потому что не признавал книжного учения не только единственным, но и главным источником понимания". Его "притязания на разумение" жизни базировались на представлениях о незыблемом "умственном и нравственном запасе", накопленном за пять веков русской христианской истории (с. 304–305). В результате отречения от прежнего миросозерцания и прежнего типа образованного человека воцарилось новое представление о мире и месте России в этом мире: "надменный русский книжник малодушно признавал торжество доморощен[ного], низменного, некнижного понимания над прежним – возвышенным, книжным, отказывался от мышления во имя предания, от новых знаний во имя повторения задов" (с. 306). В образе "надменного русского книжника" легко угадывается прозрачная пародия на современные Ключевскому славянофильство и почвенничество. Тип недоучившегося, но спесивого патриота Ключевский уподобляет евангельскому рабу, ленивому и лукавому, который закопал в землю вверенный господином талант, дабы добро сберечь и самому не работать.

Собственно, весь "великий спор", разгоревшийся в российском обществе много позднее, уже в XIX в. (Ключевский имеет в виду полемику западничества и славянофильства), основан на противоположности двух названных и описанных типов русской интеллигенции. "Одни настойчиво доказывают необходимость для нас общеевропейского научного образования как единственного средства правильно понимать вещи и, доказывая это, рисуют такое образование, которое едва ли приведет к пониманию чего-либо" (это – западники). "Другие еще настойчивее начинают утверждать, что мы, русские, можем хорошо понимать вещи и без научного образования, и, утверждая это, обнаруживают такое понимание, для которого действительно не нужно никакого образования". Считая самоназвание русской интеллигенции в качестве и н т е л л и г е н ц и и крайне неудачным и двусмысленным, Ключевский иронизировал: "Не потому ли и подвернулось слово, смешивающее образование с пониманием, что способность понимания у образованного русского человека становится больным местом, в котором завелись бактерии сомнения в виде запятых?" (с. 300).

Коренная проблема русской интеллигенции, как ее представлял Ключевский, заключается в том, что в сознании образованных русских людей складывается неразрешимое противоречие между знанием и пониманием действительности, между знанием и его применением на практике, между обыденным сознанием, ориентирующимся на традицию, и разумом, требующим понимания своих целей и задач, между верой в догматы и авторитеты и мышлением, рациональным по своей природе. Историк остроумно и в некотором смысле зло формулирует дилеммы, раздирающие русскую интеллигенцию начиная с XVI в. и вплоть до его современности: "Так гордый русский интеллигент очутился в неловком положении: то, что знал он, оказалось ненужным, а что было нужно, того он не знал" (с. 307). То и дело сказывалось "неумение правильно определить отношение привозного книжного образования к простому доморощенному пониманию вещей. Образованный русский человек знал русскую действительность, как она есть, но не догадывался, что ей нужно и что ей делать, т.е. не понимал ее, а не понимал потому, что ничего не признавал,

кроме нее, как своего единственного идеала, пока сама же она не раскрыла ему своих недостатков и не закричала о своих нуждах. Тогда впервые почувствовал русский интеллигент, что можно знать родную жизнь, не понимая ее, и что для понимания нужно знать еще нечто кроме нее; но как нужно знать, чтобы понимать, и что еще нужно знать – этого он не мог уяснить себе. В этом и состояло его недоразумение" (с. 307–308). Это был уже третий тип интеллигенции, сомневающийся и мучимый рефлексией, наблюдавшийся Ключевским среди своих современников.

Приводя современную "классификацию интеллигенции", Ключевский абсолютно безжалостен к ней. Он называет те три типа, которые затем прослеживает на историческом материале: 1) "люди с лоскутным миросозерцанием, сшитым из обрезков газетных и журнальных"; 2) "сектанты с затверженными заповедями, но без образа мысли и даже без способности к мышлению (...)"; 3) "щепки, плывущие по течению, оппортунисты либеральные или консервативные, и без верований, и без мыслей, с одними словами и аппетитами" (299). Первый тип, как уже говорилось, – гротескный портрет "западника"; второй – не менее гротескный портрет "славянофила"; третий – беспринципный приспособленец, ведущий паразитический образ жизни и исповедующий смешанную спекулятивную идеологию... Кажется, что придумать нечто четвертое, развеивающее представление о "бедной русской мысли" (крылатое выражение Д. Писарева), уже невозможно. Между тем новый этап в самосознании русской интеллигенции только начинался.

III

Начиная с 1880-х годов (фактически накануне и особенно – после акта цареубийства 1 марта 1881 г.) в российском образованном обществе складывается новый этап в смыслоразличении интеллигенции. Независимо друг от друга А. Волынский в цикле статей, в дальнейшем объединенных в книге "Русские критики", В. Розанов в цикле статей о наследстве 60-х и 70-х годов ("Московские ведомости" 1891–1892 гг.) и Д. Мережковский в публичной лекции "О причинах упадка и о новых течениях русской литературы" (1892 г., вышла в свет отдельной брошюрой в следующем, 1893 г.) поставили вопрос об ограниченности политических и нравственных идеалов интеллигентов-"шестидесятников", об ущербности их материалистической и атеистической философии, представляющей человека не целью, а средством общественного развития[25]. Критикуемые с точки зрения "вечных истин" взгляды позднего Белинского, Чернышевского и Добролюбова, Писарева и др., слывших в общественном мнении мучениками в борьбе за идею, борцами за освобождение народа, смелыми новаторами-вольнодумцами, предстали опасными упрощениями и заблуждениями, дилетантизмом в науке и философии, тенденциозной пропагандой, граничащей с политической демагогией, т.е. как огромный соблазн для российского общества.

С этого времени интеллигенция, как и ее духовные вожди, стала рассматриваться в русской культуре как своего рода интеллектуальное "сектантство", характеризующееся специфической идеологией и моралью, особым типом поведения и бытом, физическим обликом и радикальным умонастроением, неотделимым от идейно-политической нетерпимости. Соответствующий облик интеллигенции сложился в результате ее идейного противостояния (в лице радикально настроенных поборников демократии в России) русскому самодержавию. Интеллигенция ассоциировалась уже не с аккумуляцией всех достижений отечественной и мировой куль-

туры, не с концентрацией национального духа и творческой энергии, а скорее с политической "кружковщиной", с подпольной, заговорщицкой деятельностью, этическим радикализмом, тяготеющим к революционности (вплоть до террора), пропагандистской активностью и "хождением в народ". Принадлежность к интеллигенции тем самым означала не столько духовное избранничество и универсальность, сколько политическую целенаправленность – фанатическую одержимость социальными идеями, стремление к переустройству мира в духе книжно-утопических идеалов, готовность к личным жертвам во имя народного блага.

Эта тенденция в негативном самосознании русской интеллигенции достигла своей кульминации в сборнике "Вехи" (1909), специально посвященном феномену русской интеллигенции. Будучи сами представителями русской интеллигенции, авторы "Вех" различали среди деятелей отечественной культуры "типичных" интеллигентов (левых радикалов) и высокодуховных интеллектуалов. П.Б. Струве (а вместе с ним и Н.А. Бердяев, и М.О. Гершензон, и С.Н. Булгаков) доказывал, что Новиков, Радищев и Чаадаев отнюдь не являются представителями интеллигенции или ее предшественниками; первый русский интеллигент – М.А. Бакунин и следующие за ним Белинский, Чернышевский; первые трое и вторые трое – вовсе не звенья одного ряда, а "непримиримые духовные течения"[26]. Вне интеллигенции оказались великие русские писатели – Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Тютчев, Фет, Достоевский, Л. Толстой, Чехов, даже Герцен, Салтыков-Щедрин и Г. Успенский; не относятся к интеллигенции и философы – Чаадаев, Хомяков и др. славянофилы, Бухарев, Чичерин, В. Соловьев, С. и Е. Трубецкие, Лопатин. Русская интеллигенция разделилась сама с собой, признав собственно интеллигенцией свою последовательно политизированную часть, деятелей, зараженных "мономанией", умственным, нравственным и общекультурным декадансом, а потому вычленяющих в культуре "две истины" – полезную и вредную (с. 19) (Н. Бердяев), а часть, свободную от борьбы с самодержавием и его атрибутами, духовно эмансипированную от политики, – носителями универсального сознания, объективной истины, общечеловеческой культуры и морали.

Н.А. Бердяев вслед за Н.К. Михайловским, различавшим "правду-истину" и "правду-справедливость", доказывал, что "интеллигентская правда", тенденциозная и субъективная, практически исключает "философскую истину"; поэтому интеллигенции чужда подлинная философия, которая на практике подменяется научным позитивизмом, заменяющим собой религию, и политизированной верой, приводящей к политизации и мысли, и действия, к замене "философской культуры" – "кружковой отсебятиной" (с. 16–27). Б.А. Кистяковский выявил ущербность, "притупленность" правосознания интеллигенции, что вызвано, во-первых, отсутствием правового порядка в повседневной жизни русского народа, постоянными нарушениями прав личности и вытеснением личности в русской истории и повседневности семьей, общиной, государством, а во-вторых, апологией революционного насилия, игнорирующего политические и иные права, освященные авторитетом старого строя или враждебных классов (с. 126–127, 133, 139–140). П. Струве писал о "безрелигиозном отщепенстве от государства" интеллигенции и разрушительном характере осуществленного в российской истории синтеза "политического радикализма интеллигентских идей" с "социальным радикализмом народных инстинктов", что обусловило поражение русской революции 1905–1907 гг. (с. 153–157, 160–165). М.О. Гершензон призывал интеллигенцию к обретению органичного, национально самобытного, а не заемного с Запада "жизненного разумения", что только и может

приблизить интеллигенцию к народу; к преодолению безликой "общественно-утилитарной морали", страдающей косным радикализмом и фанатической нетерпимостью; к освобождению от "тирании общественности" и принудительно-коллективного "смысла жизни"; к углублению творческого самосознания личности и обретению интеллигенцией подлинного, а не мнимого плюрализма (с. 82–86, 92–95).

С.Л. Франк в своих размышлениях об "этике нигилизма" русской интеллигенции пришел к выводу, что одной из самых характерных черт типично русского интеллигентского духа является "борьба против культуры", которая ассоциируется с "ненужным и нравственно непозволительным барством". В умонастроении интеллигенции нет места чистому понятию культуры: науку, искусство, культуру в целом русская интеллигенция трактует утилитарно – как достижение благ материальной цивилизации, развитие народного образования, поднятие народного благосостояния или совершенствование политического механизма. Причинами подобного "нигилистического морализма" русской интеллигенции, как полагал С. Франк, оказываются российская "историческая, бытовая непривычка к культуре" и "метафизическое отталкивание интеллигентского миросозерцания от идеи культуры" ради счастья большинства (народа). Служение интеллигенции последней цели подразумевает аскетическое самоограничение и пренебрежение к самоценным духовным запросам, отказ от любви к чистому знанию и предпочтение "живой любви к людям", наконец, подмена альтруистического служения нуждам народа ("любви к ближнему") "религией абсолютного осуществления народного счастья" в формах революционного социализма ("любовью к дальнему"). Последняя метаморфоза интеллигенции (народничество) была чревата вытеснением любви ненавистью, созидания разрушением; отказ от творчества нового осуществлялся во имя справедливого распределения старого. Подобная культурная политика интеллигенции, доказывал Франк, ведет к "увековечению низкого культурного уровня всей страны", поскольку культурным эталоном интеллигенции становится темная мужицкая стихия, люди, "слабые, бедные и нищие телом и духом" (с. 176–181, 190–192). В статье, посвященной интеллигентной молодежи, А.С. Изгоев показал, что кризис интеллигенции и ослабление ее влияния на исторический процесс в России обусловлены жалким образованием интеллигенции, ее уродливым воспитанием, низким уровнем самосознания и воли, отсутствием интереса к знаниям и расцветом показной политической демагогии (с. 114–120).

Выход в свет сборника "Вехи" вызвал резкую полемику как справа, так и слева – от Д. Мережковского до А. Пешехонова и В. Ильина (Ленина). Вышли в свет четыре антивеховских сборника[27], в которых с критикой "веховства" выступили П.Н. Милюков, Д.Н. Овсянико-Куликовский, И.И. Петрункевич, К.К. Арсеньев, Н.А. Гредескул, М.М. Ковалевский, М.И. Туган-Барановский и др. Были, правда, и защитники "Вех" (с одобрением о знаменитом покаянном сборнике интеллигенции писали В.В. Розанов, А.П. Столыпин, А.А. Кизеветтер, А. Белый, Е.Н. Трубецкой, арх. Антоний Волынский и др.), но само заступничество некоторых из них (например, Розанова и арх. Антония) казалось компрометирующим. Главное, против чего восставали критики "Вех", – это "ренегатство" либеральной интеллигенции, осмелившейся произвести решительную переоценку ценностей, и прежде всего ценностей демократической, радикально настроенной интеллигенции. Собственно, отсюда пошло и название сборника: *вехи* – это меты на пути, ориентиры движения и исторического развития, предназначенные либо для возвращения назад, либо для критического обзора пройденного пути (что и предпринимают авторы сборника,

как и их оппоненты, и их защитники, – возвратиться, чтобы переосмыслить пройденное). "Вехи" положили начало целой исторической традиции русской интеллигенции ("веховской") – критически переосмыслять свое недавнее прошлое и в соответствии с приобретенным опытом менять "вехи" (идейные ориентиры своего саморазвития). Так, вслед за "Вехами" появился сборник "Из глубины (сборник статей о русской революции)", созданный в основном авторским коллективом "Вех" (1918), и почти одновременно в эмиграции – "Смена вех" (1921), также о русской революции, но во многом с антивеховской позиции. Много лет спустя группа диссидентов (среди которых И.Р. Шафаревич, А.И. Солженицын, М.К. Поливанов, М.С. Агурский и др.) подготовили сборник "Из-под глыб", вышедший за рубежом в 1974 г. и соединивший в себе пафос всех трех предшествовавших сборников, обращенный на критику советского тоталитаризма. В постсоветский период (1996) вышел в свет альманах демократической публицистики "Новые вехи" (вып. 1), объединивший Л. Тимофеева, И. Чубайса, С. Дзарасова, В. Лившица, М. Семина и Г. Мрозека вокруг "российской проблемы"[28]. Присутствие в альманахе "веховской" традиции несомненно, причем не только по его названию.

От того, как мы осмысляем происхождение русской интеллигенции, как мы определяем духовные истоки этого феномена культуры, социокультурные факторы его становления и развития, как мы объясняем его имманентные противоречия и проблемы, зависит в целом картина культурно-исторического процесса в России в ее эволюции на протяжении по крайней мере последних трех веков. Более того, от того, как и по каким основаниям мы датируем генезис русской интеллигенции, зависит наше понимание того, что такое русская интеллигенция, какова ее историческая роль в формировании русской культуры и ее историко-типологического и национального своеобразия, чем обусловлены внутренние тенденции и закономерности ее истории, периоды подъема и спада, фазы расцвета и кризиса. Речь идет, по существу, о степени укорененности в истории отечественной культуры всех тех ее особенностей, проблем, принципов, комплексов, ценностно-смысловых установок, методов и форм деятельности, которые сказываются в ее классический период (XIX в.) и в период "неклассический", новейший (XX в.); об "исторической глубине" залегания важнейших черт и смысловых пластов русской культуры, предопределивших ее судьбу и мировое значение, в том числе распространение явления и понятия интеллигенции в других культурах Запада и Востока – под влиянием авторитета русской культуры и русской интеллигенции.

На самом деле все варианты исторического генезиса русской интеллигенции являются взаимодополнительными смысловыми конструкциями и должны рассматриваться одновременно. Так, например, одна из традиций отечественной культуры, наиболее отчетливо заявленная русским народничеством, а затем и марксизмом (Н.К. Михайловский, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин), – начинать историю русской интеллигенции с возникновения разночинства в 40-е годы XIX в. в лице наиболее ярких его представителей и идейных вождей – В.Г. Белинского и А.И. Герцена. Следующее поколение разночинной интеллигенции (Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев и другие "шестидесятники") продолжило и радикализировало взгляды людей, представлявших не то или иное сословие или класс, но "чистую мысль", дух (нации или народа), воплощенное искание истины, справедливости, разумной действительности. Таким образом, "разночинское" обоснование русской интеллигенции объясняет не только ее отвлеченную духовность, но и знаменитую ее "беспочвенность", разрыв со всяким сословным бытом и традициями, ее

социальную неукорененность, скитальчество, "отщепенство". По словам Н.А. Бердяева, интеллигенция в России всегда была "идеологической, а не профессиональной и экономической группировкой, образовавшейся из разных социальных классов", которая была объединена "исключительно идеями и притом идеями социального характера"[29].

Другая традиция истолкования генезиса русской интеллигенции связывает его с истоками русского вольномыслия ("вольтерьянства", масонства, религиозной и политической оппозиционности); в этом случае родоначальниками русской интеллигенции оказываются А.Н. Радищев, Н.И. Новиков (к этой точке зрения по-разному склонялись Ленин и Бердяев); Д.Н. Овсянико-Куликовский начинал свою историю русской интеллигенции с момента публикации "Философического письма" П.Я. Чаадаева[30], положившего начало национальному нигилизму отечественных мыслителей (своего рода оборотной стороны русской мессианской идеи). Именно острота постановки Чаадаевым проблемы национальной самобытности русской культуры и российской цивилизации в контексте мировой культуры вызвала почти двухвековую полемику русских "западников" и "славянофилов" вокруг вопроса о ценностной самоидентичности русской культуры и породила множество оригинальных гипотез и концепций духовно-цивилизационного своеобразия России и русской культуры.

Тем самым происхождение русской интеллигенции связывалось, во-первых, с культурным европеизмом, распространением просвещения, развитием наук, искусств и вообще возникновением специализированных форм культуры (которых в Древней Руси с ее культурным синкретизмом не существовало) и их обслуживающих профессионалов; во-вторых, – с обретаемыми навыками религиозной и политической свободы мысли, слова, печати, тем более трудными для России, что рождались они в жестком противостоянии политическому деспотизму и авторитаризму, традиционализму и религиозно-духовному догматизму, цензурным гонениям и запретам, – в отсутствие сложившегося общественного мнения, традиций гражданского общества, правового государства (т.е. в принципиально иных социокультурных условиях по сравнению с западноевропейскими свободами).

Третья традиция (ее наиболее последовательно отстаивали в своих культурологических эссе Д.С. Мережковский и М.О. Гершензон) возводила истоки русской интеллигенции ко временам петровских реформ и к самому Петру, признаваемому первым русским интеллигентом, стремившимся "по своему образу и подобию" сформировать отряд послушных его воле "птенцов гнезда Петрова". Сюда же относится традиция осмыслять успехи просвещения в России в связи с державной волей просвещенного монарха (Петр I, Елизавета, Екатерина II, Александр I, Александр II и т.д.). Эта традиция исследования генезиса русской интеллигенции была плодотворна тем, что обозначала драматическую коллизию, сопровождавшую в дальнейшем всю историю русской интеллигенции – сложные взаимоотношения интеллигенции с властью и государством. С одной стороны, интеллигенция "рекрутирована" властью, ее деятельность мотивирована гражданским долгом перед Отечеством, его духовным благом и процветанием; с другой – интеллигенция сама творит себя, а не порождена властью, она самоопределяет смысл и цели своей деятельности, связанной с творчеством и распространением культуры, общечеловеческих ценностей, идеалов Разума и просвещения, а не служит лишь интеллектуальным, культурным орудием политической воли самодержавного монарха и его бюрократического аппарата. Сложившийся было в XVIII в. альянс между правящей дворян-

ской элитой (бюрократией) и духовной элитой (просвещенным дворянством) быстро распался из-за принципиального различия систем ценностей в них[31]: если для правящей элиты высшей ценностью являлась политическая власть, участие в принятии государственных решений, то для элиты духовной высшей ценностью была личная независимость и свобода творчества, мысли, слова, совести и т.п. (ср. пушкинское: "Ты царь: живи один").

Четвертая традиция осмысления культурно-исторических истоков русской интеллигенции связана с поисками более глубоких, древнерусских ее корней. Так, в многовековой – "пятиактной" – трагедии русской интеллигенции Г.П. Федотов видел и многовековую же ее предысторию: целых два "пролога" к ней – "в Киеве" и "в Москве". Иначе говоря, по Г. Федотову, первые "интеллигенты" на Руси – при всей условности их отнесения к интеллигенции – это православные священники, монахи и книжники киевского и московского периодов древнерусской культуры; мысль о происхождении русской интеллигенции из духовенства высказывал в "Вехах" и П.Б. Струве (с. 153). В этом случае история (точнее – предыстория) русской интеллигенции уходит во мглу веков и теряется чуть ли не у истоков Крещения Руси. Однако такой, несколько метафорический, подход к исследованию русской интеллигенции раскрывает важные смысловые составляющие понятия интеллигенции – органическая близость древнерусской "протоинтеллигенции" к народу (своим бытом, языком, верой) и вместе с тем отчужденность, оторванность от него, от народного творчества (культурный аристократизм, византинизация идеалов жизни, нравственности, эстетики); отрыв от классической, античной традиции (Киев, по словам Федотова, – "греческая окраина", духовная периферия Византии), отсюда компилятивность и вторичность древнерусской философии, науки, богословия, отсутствие схоластических споров и университетов, "страшная немота" и косноязычие Древней Руси, проявляющиеся в иконописи – "умозрении в красках" (Е.Н. Трубецкой), а не в Логосе, и обращенность духовного взора на Восток, и замыкание в своей самобытности. Собственно, уже в Киеве, как полагал Федотов, было "заложено зерно будущего трагического раскола в русской культуре"[32].

"Клерикальные" истоки русской интеллигенции раскрывают еще один важный смысловой пласт русской интеллигенции в целом – духовное подвижничество, искание "светской святости". Один из авторов "сборника статей о русской интеллигенции", С.Н. Булгаков, в своей "веховской" статье "Героизм и подвижничество" поставил и убедительно раскрыл вопрос о "религиозной природе" русской интеллигенции. Секуляризация затронула лишь внешние формы жизни и сознания интеллигенции. Религиозное воспитание, психология православия отразились в мировоззрении и деятельности "семинаристов", включая вождей русской интеллигенции – Добролюбова и Чернышевского: ригористические нравы, аскетизм, строгость личной жизни, бессознательно-религиозное отвращение к духовному мещанству, к "царству от мира сего", к самодовольной успокоенности. К этому присоединялись боль от дисгармонии жизни и сострадание нуждающимся, эсхатологическая мечта о Граде Божием, о грядущем царстве правды, народолюбие и "социальное покаяние" перед народом, пролетариатом – все это черты религиозности, присущие интеллигенции в "снятом" виде (с. 35–49).

Даже знаменитый интеллигентский "атеизм" и естественнонаучный материализм, как показывает Булгаков (а вслед за ним и Бердяев, и др.), – это не что иное, как "вера", извращенная форма религиозности, сформировавшаяся под влиянием западноевропейского Просвещения "религия человекобожества и самообожения".

Далее, Булгаков доказывает, что максимализм и радикализм интеллигенции, стоическое перенесение страданий и гонений, психология героизма и героического экстаза, апология борьбы, опасности и гибели за идею, самопожертвования – все это некая замена религиозной святости, сублимация иноческого служения, духовного подвига веры. Более того, сами социализм и революция, трактуемые через призму религиозной природы интеллигенции, суть эквиваленты всеобщего религиозного спасения, требующего духовного героизма, самоотверженности от каждого участника движения (с. 50–63, 71–72).

У истоков русской интеллигенции как движения – мечтательность, утопия радикального преобразования общества и всех социальных отношений через обновление культуры, через духовное творчество, через нравственно-эстетическое преодоление действительности, через религиозное (или религиоподобное) подвижничество, самоотречение. Перед развязкой "трагедии интеллигенции" – вырождение духовности и культурного творчества, "срыв" в террор – индивидуальный или массовый, жажда практических преобразований, "жизнестроения", мания "организации" ("общего дела", коллективного труда, партий, вооруженного восстания, социалистического строительства и т.п.). Возражая тем публицистам и теоретикам, которые пытались оправдать большевизм как "самое последовательное выражение русской интеллигенции", интеллигентского "радикального сознания" (в какой-то степени здесь имелись в виду и "сменовеховцы", и неупоминаемый Н. Бердяев), Г. Федотов справедливо писал, что "самая природа большевизма максимально противоположна русской интеллигенции: большевизм есть преодоление интеллигенции на путях революции"[33]. В то же время это не отменяет того, что сам большевизм был порождением и составной частью русской интеллигенции начала XX в., впитав в себя черты атеистической религии, политической утопии и нравственного ригоризма русской интеллигенции.

Сама революция и радикальные в моральном и политическом отношении умонастроения – порождения все той же, классической русской интеллигенции. Прагматизм, жесткая дисциплина, организованность, деловитость профессиональных русских революционеров исходят из того же мировоззренческого корня, что идейный и нравственный их нигилизм, "народопоклонство", апология коллективного разума, безответственность и интеллектуальная лень. Знаменитое интеллигентское безбожие, воинствующий атеизм не так уж далеки от религиозного фанатизма и мистической экзальтации (в частности, "богоискательства" и "богостроительства", столь распространенных в начале XX в. в России). Н. Бердяев так объяснял это явление: "Именно русской душе свойственно переключение религиозной энергии на нерелигиозные предметы, на относительную и частную сферы науки или социальной жизни"[34]. В этом также проявлялась пресловутая "беспочвенность" русской интеллигенции – на этот раз идейная, мировоззренческая: религиозная природа русской интеллигенции слишком "всеядна", слишком универсальна.

IV

Пятая традиция трактовки интеллигенции в отечественной культуре связана с вкладом русского марксизма, впитавшего в большевистском варианте идеологию "махаевщины" (доктрины, автором которой по праву считается В.К. Махайский и которая объявляет интеллигенцию классом, враждебным революции, в то время как основой революции оказываются деклассированные элементы, люмпен-проле-

тариат)[35]. Согласно этой интерпретации, интеллигенция не находит определенного места в социально-классовой стратификации общества: это не класс, а "прослойка" между трудящимися и эксплуататорами; интеллигенция "вербуется" из недр трудящихся, однако ее труд, знания, продукты умственного труда являются "товаром", который заказывается и оплачивается главным образом эксплуататорскими классами, превращаясь тем самым в превращенную форму идеологического обмана и самообмана трудящихся. Интеллигенция, таким образом, предстает в качестве ученых "лакеев", "приказчиков", "прислуги" эксплуататорских классов (помещиков и буржуазии), а создаваемые ею произведения культуры в соответствии с поступившим "социальным заказом" оказываются опасными и вредными для народа, т.е. подлежат изъятию, исправлению, переосмыслению с новой классовой точки зрения, т.е. целенаправленной с е л е к ц и и. Отсюда – новая роль революционной цензуры, партийно-государственного контроля за интеллигенцией, ненадежной и продажной, лицемерной и склонной к политическому предательству.

Эмиграция значительной части интеллигенции после революции и в ходе гражданской войны, насильственная высылка ряда ведущих представителей гуманитарной интеллигенции за границу, показательные политические процессы против "буржуазных спецов", якобы вставших на путь вредительства и диверсий, шпионажа и терактов (спровоцированные и инспирированные чекистами по заданию коммунистического центра), – все это должно было уверить массы в том, что интеллигенция, некогда возглавившая революционную борьбу и называвшая себя "друзьями народа", составляет после революции ренегатскую основу контрреволюционных и антисоветских движений и представляет собой "врагов народа". Идеологами этой теории стали лидеры большевистской партии, сами вышедшие из рядов интеллигенции, – В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, А.А. Богданов, В.В. Воровский, Н.И. Бухарин, А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, П.И. Лебедев-Полянский и др.

Не без влияния теории "пролетарской культуры" (основоположником которой был А.А. Богданов) утверждалось, что место уничтожаемой и изгоняемой "старой" интеллигенции должна постепенно занять "новая", трудовая, революционная, советская интеллигенция (подбираемая по классовому принципу и социальному происхождению): только выходцы из рабочих могли создавать полноценную "пролетарскую культуру", – отсюда селекционный принцип высшего образования, подбора кадров в науке и искусстве и т.д. Ирония истории состояла в том, что искусственно выращиваемая "советская интеллигенция" во многом воспроизводила основные черты дореволюционной русской интеллигенции: рефлексирование культурных ценностей и смыслов само по себе способствовало формированию интеллигенции как смыслосозидающей и ретранслирующей общности "людей культуры", порождающей философемы культуры и в этом качестве интеллектуальную рефлексию национальной действительности. Однако сохранение репрессивной политики советской власти в отношении интеллигенции рождало внутренне противоречивое, раздвоенное самосознание интеллигенции.

Именно здесь находятся глубочайшие корни того явления, которое – уже в наше время – получило, под пером отечественного философа-диссидента 60–70-х годов В.Ф. Кормера, название "*принцип двойного сознания* интеллигенции", в равной мере отчужденной от Власти и от народа, но пытающейся "заигрывать" и с той, и с другим, избегая прямого соучастия в зле. Этой проблеме в конечном счете были посвящены и два знаменитых сборника статей – "Вехи" ("о русской интеллигенции") и "Из глубины" ("о русской революции"). Диалектика сложных взаимоотно-

шений русской интеллигенции с русской революцией, во многом выпестованной, воспитанной и принесенной ею на собственных плечах, лучше всего раскрывает трагедию "двойного сознания" русской интеллигенции XX в. – одновременно "беспочвенной" и "межеумочной".

Размышляя о русской интеллигенции как специфическом феномене отечественной культуры, В. Кормер писал: "Исходное понятие было весьма тонким, обозначая единственное в своем роде историческое событие: появление в определенной точке пространства, в определенный момент времени совершенно уникальной категории лиц ⟨...⟩, буквально одержимых еще некоей нравственной рефлексией, ориентированной на преодоление глубочайшего внутреннего разлада, возникшего меж ними и их собственной нацией, меж ними и их же собственным государством. В этом смысле интеллигенции не существовало нигде, ни в одной другой стране, никогда". И хотя в с ю д у были оппозиционеры и критики государственной политики, политические изгнанники и заговорщики, люди богемы и деклассированные элементы, но "никогда никто из них не был до такой степени, как русский интеллигент, *отчужден* от своей страны, своего государства, никто, как он, не чувствовал себя настолько чужим – не другому человеку, не обществу, не Богу – но своей земле, своему народу, своей государственной власти. Именно переживанием этого характернейшего ощущения и были заполнены ум и сердце образованного русского человека второй половины XIX – начала XX века, именно это сознание коллективной отчужденности и делало его интеллигентом. И так как нигде и никогда в Истории это страдание никакому другому социальному слою не было дано, то именно поэтому нигде, кроме как в России, не было интеллигенции"[36].

Фактически социокультурным "первотолчком" в возникновении интеллигенции была деспотическая власть российского централизованного Государства. Видим ли мы такой источник в реформах Петра, в его концепции насильственного просвещения (породивших первый выводок "птенцов гнезда Петрова"); или в просвещенной монархии Екатерины II, окружившей себя сонмом придворных поэтов, историков, журналистов и философов, совмещавших с интеллектуальной деятельностью почетную миссию государственных сановников и придворных льстецов; или в суровом абсолютизме Николая I, стимулировавшего оппозиционные настроения и жестокой расправой над декабристами, и строжайшей цензурой, и широкими полномочиями III Отделения Е.И.В. канцелярии, и общей тяжелой духовной атмосферой, воцарившейся в обществе, и торжеством государственного бюрократизма, вытеснившего культуру в духовное подполье... Вспомним, что Белинский и Герцен, зрелый Пушкин и Гоголь, ранние западники и славянофилы, кружок Петрашевского и "натуральная школа" – все это плоды н и к о л а е в с к о й р е а к ц и и, – если не прямые, то косвенные. Именно русское самодержавие, со всеми характерными чертами внешне европеизированного восточного деспотизма, – настоящий "автор" этого противоречивого, амбивалентного явления русской культуры – интеллигенции, со всеми вытекающими отсюда чертами и последствиями. Главной из них стало двойственное отношение интеллигенции к власти – одновременно сочувственное и возмущенное, доверительное и критическое. Все специфические особенности русской интеллигенции, и прежде всего ее раздвоенность, получили свое логическое завершение в советский период развития отечественной культуры.

"... На всем бытии интеллигенции, – писал В. Кормер, – лежит отпечаток всепроникающей раздвоенности. Интеллигенция не принимает Советской Власти, отталкивается от нее, порою ненавидит, и, с другой стороны, меж ними симбиоз, она

питает ее, холит и пестует; интеллигенция ждет крушения Советской Власти, надеется, что это крушение все-таки рано или поздно случится, и, с другой стороны, сотрудничает тем временем с ней; интеллигенция страдает, оттого что вынуждена жить при Советской Власти, и вместе с тем, с другой стороны, стремится к благополучию. Происходит совмещение несовместимого". Здесь есть и черты к о н ф о р м и з м а (но этого мало), и приспособленчество (это точнее, но также недостаточно), это и л а к е й с т в о (но осложненное страданием, сомнениями, "ужасом падения и наслаждения им", с "достоевщинкой"). Проступающий в "двойном сознании" русской интеллигенции дуализм – это не дуализм субъекта и объекта, не дуализм двух противоположных начал в объекте ("добра и зла, духа и материи"), но "дуализм самого познающего субъекта, раздвоен сам субъект, его этос"[37]. Вся жизнь и творчество русской интеллигенции – особенно в XX в. – это грубое соединение "веры в просветительство" и "отвратительного страха", заигрывания с ненавидимой и презираемой Властью и легкомысленных надежд на просвещение государственной власти и ее дальнейшую либерализацию.

"Вся история интеллигенции за прошедшие полвека (т.е. за время советской власти. – *И.К.*), – писал В. Кромер в 1969 г., – может быть понята как непрерывный ряд таких соблазнов, вернее, как модификация одного и того же соблазна, соблазна поверить, что исправление нравов наконец совершилось, что облик Власти начал меняться. Все эти годы интеллигенция жила не разумом, не волей, а лишь обольщением и мечтою. Жестокая действительность каждый раз безжалостно наказывала интеллигенцию, швыряла ее в грязь, на землю, разочарования были такой силы, что, казалось, от них никогда не оправиться, никогда снова не суметь заставить себя поддаться обману. Но проходило время, и интеллигенция снова подымалась в прежнем своем естестве, легковерная и легкомысленная, страдания ничему не научали ее"[38]. То это Блок, поверивший большевикам и призвавший интеллигенцию "слушать музыку Революции", то Маяковский – "сам" – пришел в Смольный ("моя революция!"), то Горький явился из своей добровольной эмиграции на зов Сталина, то Пастернак воскликнул: "Ты рядом, даль социализма!" А. Серафимович, Демьян Бедный, Д. Фурманов, А. Фадеев, А. Толстой, М. Шолохов, К. Федин и т.д. – те и вовсе верой и правдой служили советской власти, большевикам, и не за страх (хотя и это было, пожалуй, у каждого!), а за совесть. А Д. Шостакович, И. Бабель, Вс. Мейерхольд, С. Эйзенштейн, М. Зощенко, А. Платонов, И. Эренбург, А. Твардовский, К. Симонов, А. Туполев, С. Королев, Ю. Харитон были живым воплощением "двойного сознания" советской интеллигенции... Причем даже самые независимые из русских интеллигентов XX в. – М. Булгаков и М. Цветаева, О. Мандельштам и В. Гроссман, Н. Вавилов и А. Лосев – не избежали творческих противоречий и идейно-нравственной раздвоенности, которая особенно ярко проявилась у "шестидесятников" периода хрущевской "оттепели" – времени наивных иллюзий относительно "социализма с человеческим лицом" и больших разочарований, неосуществленных надежд, задавленных начинаний.

В то же время интеллигенция несла в себе огромный потенциал д у х о в н о г о п р о т и в о с т о я н и я тоталитаризму, всей созданной им атмосфере лжи и насилия. Здесь проявились в полной мере религиозно-подвижнические свойства русской интеллигенции, ее нравственная стойкость и политический героизм, питавший и оппозиционную общественно-философскую мысль, и литературное творчество "в стол", и диссидентское движение. Размышляя о феномене интеллигенции, А.И. Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГ" писал: "Интеллигент – это тот, чьи ин-

тересы и воля к духовной стороне жизни настойчивы и постоянны, не понукаемы внешними обстоятельствами и даже вопреки им. Интеллигент это тот, чья мысль не подражательна"[39]. Страшное испытание ГУЛАГом, выпавшее на долю русской интеллигенции в эпоху сталинского тоталитаризма, предельно сблизило опыт "простого народа" и интеллигенции, привело к уникальному в мировой истории "слиянию опыта" верхнего и нижнего слоев общества[40]. Не случайно потрясение этим опытом породило в среде русской интеллигенции двух великих протестантов, своей деятельностью приблизивших конец тоталитаризма во всем мире и обусловивших крах русского коммунизма, – А.Д. Сахарова и А.И. Солженицына.

Интеллигенция как феномен русской культуры образуется весьма сложным смысловым конфигуратором, и для этого есть определенные исторические, социальные и ментальные основания. Русская интеллигенция элитарна и вместе с тем ориентирована на массы; она органически связана с народом и его судьбой и в то же время оторвана от него, "страшно далека" от народа (поскольку сама идея и образ народа носили сконструированный, эстетизированный и нравственно идеализированный характер); она тесно связана с властью, надеется на нее влиять, вступить с нею в некий духовно-политический альянс и одновременно отчуждена от нее, обличает ее, корит, критикует, отвергает, составляет ей оппозицию; она секулярна и одновременно религиозна; она проникнута радикальными, максималистскими умонастроениями и склонна к либерализму, к компромиссу с силами, против которых борется; она преисполнена героизма, самоотверженности и заражена социальным страхом; она вольнодумна и свободолюбива, но политически зависима, страдает сервилизмом и конформизмом; она тянется к высокой духовности, но видит все через призму утилитарности; она подражательна и вторична в своих начинаниях, ориентируясь на Запад, и в то же время самобытна, отталкивается от Запада и демонстративно противостоит ему, будучи к тому же преисполнена национальной гордыни и мессианских настроений. Во всех отношениях русская интеллигенция является последовательно бинарным явлением культуры, выражая тем самым национально-русский менталитет. Феномен культуры, аналогичный русской интеллигенции, встречаем мы в XX в. во всех тех регионах, где разворачиваются противоречивые процессы быстрой и привносимой извне модернизации (прежде всего в странах "третьего мира"), как правило не завершенной и подчас незавершимой в принципе.

Но не одно двоемыслие, лицемерие, прислуживание режиму видим мы сегодня в "двойном сознании" русской интеллигенции, стремившейся соединить в вечном компромиссе вольнодумство и оппозиционность с лояльностью и компромиссом. Смысловая конфигурация интеллигенции, как это показал Ю.А. Левада, помимо бинарности содержит в себе и устойчивую тернарную структуру: она образуется треугольником отношений между компонентами – "народ", "власть" и "культура"[41]. Интеллигенция является центральным, связующим звеном этих трех элементов; однако в треугольнике отношений существуют не только притягивание и взаимосвязь этой триады, но и отталкивание, взаимное отчуждение, также поддерживаемое интеллигенцией. Культура – ценности, привносимые извне, средствами насильственной модернизации, одинаково чужда народу и власти; народ – косная традиционная масса, внушающая любовь и страх и с трудом поддающаяся аккультурации; власть – жестокая и консервативная сила, использующая народ в борьбе с оппозиционной интеллигенцией и культурной модернизацией, а интеллигенцию – как средство управления народом, как орудие угнетения и подчинения средствами куль-

туры. В парадоксальной гибкости, приспособляемости интеллигенции к невыносимым – в политическом, духовном, нравственном отношении – условиям существования и творчества, в ее искусстве "соединения несоединимого" и "разделении нераздельного" заключалась тайна выживания русской культуры – при самодержавии и при тоталитаризме, во время революций и войн, в эмиграции и в концлагерях – вопреки очевидной ее, казалось бы, невозможности и невостребованности.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. подробнее: *Сахаров В.И.* О бытовании шеллингианских идей в русской литературе // Контекст. 1977. М., 1978; *Каменский З.А.* Русская философия начала XIX века и Шеллинг. М., 1980; *Он же.* Московский кружок любомудров. М., 1980. См. также: Гегель и философия в России. М., 1974; *Володин А.И.* Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. М., 1973.

[2] *Фихте И.Г.* Соч.: В 2 т. СПб., 1993. Т. 1. С. 461, 462.

[3] *Шеллинг Ф.В.Й.* Соч.: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 354–355.

[4] Там же. С. 368.

[5] Там же. С. 413.

[6] Там же. С. 421–422.

[7] Там же. С. 489.

[8] *Гегель Г.В.Ф.* Энциклопедия философских наук. М., 1977. Т. 3: Философия духа. С. 42–43.

[9] Там же. С. 262.

[10] Там же. С. 264.

[11] Там же. С. 265–266.

[12] Там же. С. 290.

[13] *Лосев А.Ф.* Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 22, 24.

[14] *Лосев А.Ф.* История античной эстетики. [Т. 2:] Софисты. Сократ. Платон. М., 1969. С. 269, 272. В этом отношении Лосев остался вполне верен себе: те же идеи относительно платоновского "Филеба" он развивал и в своих "Очерках античного символизма и мифологии" (ср.: *Лосев А.Ф.* Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 566–567).

[14а] См., например: *Степанов Ю.С.* Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997. С. 610–628.

[15] См. подробнее: *Сорокин Ю.С.* Развитие словарного состава русского литературного языка: 30–90-е годы XIX века. М.; Л., 1965. С. 144–149.

[16] *Боборыкин П.Д.* Русская интеллигенция // Рус. мысль. 1904. № 12. С. 80–81; *Он же.* Подгнившие "вехи" // В защиту интеллигенции: Сб. статей. М., 1909. С. 29.

[17] *Шмидт С.О.* К истории слова "интеллигенция" // Россия, Запад, Восток: встречные течения: К 100-летию со дня рождения акад. М.П. Алексеева. СПб., 1996. С. 409–417.

[18] *Жуковский В.А.* Из дневников 1827–1840 гг. // Наше наследие. М., 1994. № 32. С. 46.

[19] См.: *Шмидт С.О.* Указ. соч. С. 412–413.

[20] *Леонтьев К.* Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891). М., 1996. С. 289.

[21] Там же. С. 290.

[22] Там же. С. 291.

[23] Там же.

[24] *Ключевский В.О.* Об интеллигенции // Ключевский В.О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 298. Далее ссылки на это издание даются непосредственно в тексте статьи с указанием страниц (в скобках).

[25] См., например: *Волынский А.Л.* Русские критики: Литературные очерки. СПб., 1896. С. 213 и далее; *Розанов В.В.* Старое и новое [Сб. статей "Литературные очерки"] // Собр. соч. [Т. 7:] Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. М., 1996. С. 168, 177 и далее; *Мережковский Д.* О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы // Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 527–530 и далее.

[26] Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 156. Далее ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием страниц (в скобках).

[27] В защиту интеллигенции. М., 1909; По вехам: Сборник об интеллигенции и "национальном лице". М., 1909; Интеллигенция в России. СПб., 1910; "Вехи" как знамение времени. М., 1910.

[28] Сюда же примыкает и претендующая на историческую программность книга И.Б. Чубайса "От Русской идеи – к идее Новой России: Как нам преодолеть идейный кризис" (М., 1996), требующая отдельного разговора – за пределами настоящей статьи.

[29] *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 17.

[30] См.: *Овсянико-Куликовский Д.Н.* Из "Истории русской интеллигенции" // Овсянико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 5–8.

[31] См. об этом подробнее: *Ахиезер А.С.* Россия: критика исторического опыта: (Социокультурная динамика России). 2-е изд. Новосибирск, 1997. Т. 1: От прошлого к будущему. С. 189–200.

[32] *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 410–415.

[33] Там же. С. 439.

[34] *Бердяев Н.А.* Указ. соч. С. 9.

[35] См., например: *Вольский А.* [*Махайский В.К.*] Умственный рабочий. Ч. 1: Эволюция социал-демократии (1898); ч. 2: Научный социализм (1899); Ч. 3. Вып. 1: Социализм и рабочее движение (1904); Вып. 2: Социалистическая наука как новая религия (1905).

[36] *Кормер В.* Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. М., 1997. С. 216–217.

[37] Там же. С. 225–226.

[38] Там же. С. 236.

[39] *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАГ // Малое собр. соч. М., 1991. Т. 6. С. 180.

[40] Там же. С. 304.

[41] См.: *Левада Ю.* Интеллигенция // Левада Ю. Статьи по социологии. М., 1993. С. 156–158.

В.М. Петров

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА И ФУНКЦИИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ*

Вопрос об интеллигенции, ее роли в обществе всегда был предметом "тлеющего горения" в российском обществе. Иногда, впрочем, наступали моменты обострения[1], и "тление" это превращалось в горение весьма интенсивное, затем оно снова переходило в тление... Локализовался этот процесс по-разному, в зависимости от конкретно-исторических условий: то он протекал на страницах печати (как это было, например, в начале нашего столетия), то "загонялся" в недра кухонь и даже камер концлагерей (в эпоху сталинизма), то вновь становился публично обсуждаемым (в эпоху перестройки и после). Но – "процесс идет" постоянно, без каких-либо перерывов.

Интересно, что этот процесс – явление в своем роде "эндемическое", характерное именно для России. Больше нигде в мире нет подобных интенсивных дебатов касательно интеллигенции. Причем на Западе проблему эту считают чисто русской, а в России многие интеллигенты гордятся подобной "эндемичностью", считая

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 99-06-80282а.

© В.М. Петров, 2000



Рис. 1. Логическая схема "конструирования" феномена интеллигенции и возможностей его функционирования

уникальность данного феномена неким признаком "божественной избранности" России.

Как это обычно бывает во времена резких перемен в социальной жизни, сейчас снова обострился вопрос о роли интеллигенции в этих переменах, равно как и о роли интеллигенции вообще. Думается, что обострился этот вопрос немного поздновато: при должной предусмотрительности (приличествующей интеллектуалам) вопрос этот следовало бы обсуждать загодя, готовясь к тем переменам, которые сейчас происходят в обществе. Но такова уж особенность русского менталитета (что интеллектуальского, что мужицкого); как гласит русская пословица: "пока гром не грянет, мужик не перекрестится!" И эта особенность проявляется не только в отношении к отдельным метеорологическим процессам, но и к климату в широком смысле этого слова, и в особенности – к климату социальному.

Однако "лучше поздно, чем никогда" (как гласит пословица, принадлежащая, впрочем, не только русскому народу). Тем более что основные, самые серьезные социальные перемены ждут нас (согласно прогнозу) в весьма недалеком будущем. Так что хотя бы для подготовки к ним имеет смысл рассмотреть проблему роли интеллигенции в процессах социальной и культурной динамики. Но эта проблема имеет и самостоятельное ("вневременное", "извечное") важное значение – в рамках создаваемой общей теории социальных процессов.

Поэтому имеет смысл соединить оба указанных аспекта: начав с чисто теоретического анализа, затем перейти – в свете его выводов – к рассмотрению конкретной, текущей социокультурной ситуации. Именно этим путем мы и последуем. (Логический "скелет" предстоящего изложения иллюстрирует рис. 1.)

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА: ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД

Осуществляя теоретический анализ, мы будем следовать чисто дедуктивной логике: исходя из самых общих теоретических соображений, внешних по отношению к изучаемому феномену, мы обрисуем его функции и контуры, чтобы позднее конкретизировать его внутреннее строение.

Кажется абсолютно очевидным (как и многое другое, тоже на первый взгляд очевидно-тривиальное), что любое общество должно претерпевать процессы социальной и культурной динамики. (Хотя вроде бы и существовали цивилизации – либо просто племена – без явных признаков динамики, но ведь и они когда-то появились, а когда-то исчезли; впрочем, рано или поздно даже самое консервативное общество вступает в полосу перемен.) Мы, однако, взялись следовать дедуктивной логике и потому не имеем права принимать факт социальной динамики лишь на основании даже весьма многочисленных наблюдений над эмпирической реальностью (т.е. подчиняясь индуктивной логике). Значит, нам надлежит начать с дедуктивного обоснования необходимости динамических процессов в социокультурной сфере.

Известен целый ряд подходов к дедуктивному обоснованию таких процессов. Из них наиболее продуктивным представляется подход информационный[2], трактующий необходимость социокультурной динамики как производную от потребности в совершенствовании информационных структур, функционирующих в обществе: его социально-психологического "климата", отношений с другими обществами, науки, искусства и т.д.[3]

В рамках этого подхода показана неизбежность достижения – рано или поздно – любым обществом такого состояния, когда в нем протекают процессы периодической смены доминирующей информационной парадигмы. Существуют два типа таких парадигм – аналитический и синтетический, или соответственно "левополушарный" и "правополушарный" (поскольку имеется связь между типом парадигмы и функциональной асимметрией полушарий человеческого мозга). Аналитический (левополушарный) тип характеризуется преобладанием в социальной жизни рационализма, логики, открытостью общества для внешних взаимодействий, демократичностью социальных отношений, высокой ролью рефлексивных процессов и т.п. И наоборот, для синтетического (правополушарного) типа характерно тяготение к эмоциональности, интуитивности, замкнутости общества, авторитарному стилю правления, высокая роль непосредственно-чувственной стороны восприятия и т.п.

Эти два типа попеременно доминируют в социальной жизни любого общества, и полный период колебаний (цикличности) должен составлять

около 40–50 лет, ибо именно такой срок соответствует смене двух поколений (ведь длительность доминирования одного поколения в социально-психологической жизни составляет 20–25 лет), так что происходит как бы чередование стилей в цепочке: отцы – дети – отцы... Правда, этот период – самый малый (короткий) из реально возможных: цикличность может быть и более "медленной" (т.е. может иметь более длинный период), но никогда не более "быстрой", потому что невозможно "отменить" такую фундаментальную константу, как срок доминирования одного поколения (каковой, в свою очередь, обусловлен возрастом вступления человека в репродуктивную фазу).

Как показали многочисленные исторические и культурологические исследования, два указанных стилевых типа действительно попеременно доминируют в социальной жизни общества. Причем этот периодический процесс обладает двумя важными свойствами, каковые вытекают из теоретической модели и полностью отвечают эмпирической реальности:

А. Такое попеременное доминирование протекает синхронно в различных подсистемах социальной жизни (хотя и могут наблюдаться небольшие отклонения отдельных подсистем от этого синхронизма). И к числу таких "синхронизированных" подсистем принадлежат не только те, что принято относить непосредственно к социальной сфере (характер правления, стиль межличностных коммуникаций и др.) либо к ее ближайшим "окрестностям" (например, характер межгосударственных отношений), но и подсистемы, представляющиеся достаточно автономными, например различные виды искусства. Так, проявления указанного периодического доминирования были теоретически предсказаны и действительно наблюдались в стилевой изменчивости архитектуры[4], музыки[5], живописи[6], поэзии[7], драматургии[8], театральной режиссуры[9]. В каждой из названных областей были выявлены присущие ей индикаторы (черты, приметы) доминирования аналитического либо синтетического начала и наблюдались процессы синхронной (совместной) волнообразной эволюции всех этих областей. На рис. 2 показаны некоторые из реально измеренных периодических процессов – в социально-политическом "климате" и в стиле искусства[10].

Б. Синхронность эволюции обнаруживается также применительно к различным регионам (странам, национальным культурам и т.п.), находящимся в тесном информационном контакте друг с другом. Так, до 30-х годов XVIII в. изменения социально-психологического климата в Западной Европе и в России не были синхронизированы, а затем стали протекать синхронно[11]; видимо, сказалось "прорубленное" Петром "окно в Европу".

Но подобными периодическими "переключениями" социокультурная динамика не исчерпывается. Не менее (а возможно, даже более) важны процессы апериодические, и в первую очередь монотонно протекающее изменение "основного фона", по отношению к которому происходят вышеназванные периодические процессы. Дело в том, что имеются достаточно весомые аргументы в пользу серьезных, фундаментальных различий между "фоновым" доминированием, характерным для различных национальных культур, или менталитетов[12]. В частности, можно говорить о противоположной ориентации большинства западноевропейских культур и культуры русской[13]; последняя в сравнении с первыми имеет несомненно гораздо более "синтетическую" ("правополушарную") ориентацию. Это проявляется и в несомненно большей ориентации[14] русской культуры на художественное нача-

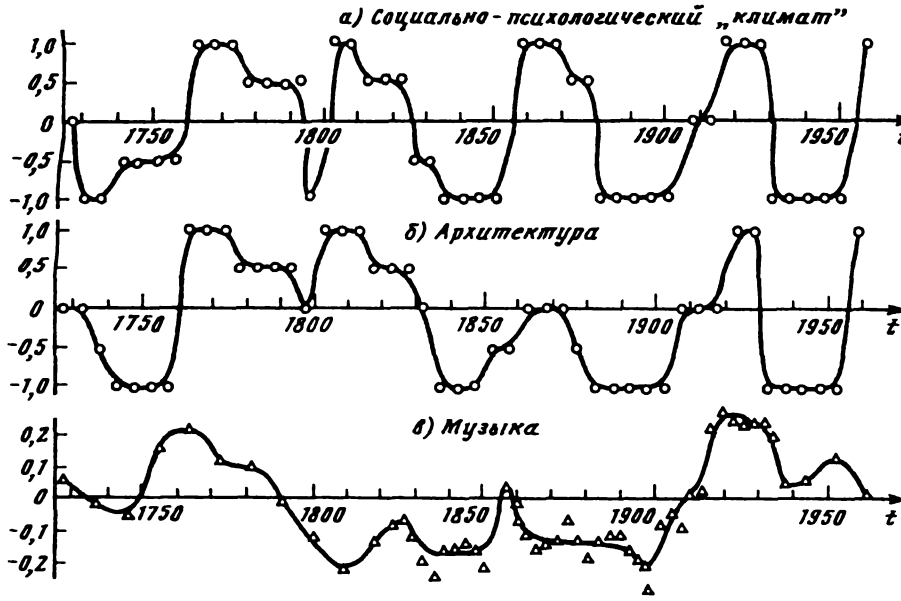


Рис. 2. Периодическая компонента степени асимметрии социально-политического "климата" (Россия), стиля архитектуры (Россия) и стиля музыки (Западная Европа и Россия)

ло (недаром достижения русского искусства всегда были гораздо выше, чем, скажем, достижения в области науки или организации производства), и в структуре русского языка[15], и во всем стиле жизни[16], etc. (Разумеется, западноевропейские менталитеты (культуры) сами достаточно различны в плане своей "полушарной" ориентации[17]: скажем, менталитеты скандинавских народов существенно отличаются от менталитетов народов средиземноморских, последние гораздо "синтетичнее", ближе к русскому менталитету. Однако в целом описанное противопоставление Западной Европы и России представляется достаточно адекватным реальности.)

Указанное различие культур обусловливает р а з л и ч н у ю д и н а м и к у "о с н о в н о г о ф о н а" каждой из них (то же различие сказывается, конечно, и на протекании периодических процессов, но пока речь идет не о них). В результате межкультурных взаимодействий, – а также процессов, зреющих автономно в недрах каждой культуры, – все они должны проявлять (и действительно проявляют!) д о л г о в р е м е н н ы й м о н о т о н н ы й т р е н д, заключающийся в постоянном росте роли аналитических процессов (по сравнению с ролью процессов синтетических).

Чем обусловлен этот тренд? Он просто-напросто является воплощением той и н ф о р м а ц и о н н о й з а к о н о м е р н о с т и, которая сопровождает весь процесс эволюции живой материи, включая развитие человека и человеческой культуры. Эта фундаментальная закономерность заключается в постоянном с о в е р ш е н с т в о в а н и и способов п е р е р а б о т к и и н ф о р м а ц и и всеми развивающимися системами. (Собственно говоря, такое информационное

совершенствование и составляет глубинную сущность, "подноготную" развития сложных систем.) В свою очередь, для совершенствования информационных структур целесообразно первоочередное развитие в них целого ряда черт, которые характерны для аналитического (левополушарного) типа.

Прежде всего, это касается рефлексивных процессов, каковые, по свидетельству теоретического анализа[18], представляют собой важнейший инструмент эволюции любой сложной системы (в том числе и социальной). Именно развитую рефлексию принято считать главным отличием homo sapiens; в принципе же специальный "рефлексивный блок" должен неизбежно – рано или поздно – появиться в любой системе и затем энергично развиваться. Приоритетное развитие рефлексивных процессов (а также их выделение в специальные блоки) имеет множество обликов: применительно к человеку – это выделение левого полушария со специфическими аналитическими функциями; применительно к экономическому производству – это построение многоуровневой пирамиды технологических процессов, венчающейся уровнем фундаментальной науки; применительно к художественной жизни общества – это появление специального блока художественной критики и искусствознания... Причем роль таких рефлексивных блоков, рефлексивных процессов во всех сферах постоянно растет. Такое же постоянное нарастание характерно и для других проявлений аналитического типа.

Указанный долговременный тренд не только следует из теории, но и действительно наблюдался в реальной эволюции всех без исключения социальных формаций. Этот тренд представляется свойством первостепенной важности при анализе социальной динамики любых обществ: оказывается, что при всем своеобразии каждого из них все они стремятся в одну и туже сторону – в сторону усиления аналитизма. И одни культуры успели дальше продвинуться по этому пути, чем другие. Так что, несмотря на все разговоры о разнообразии культур и путей их развития, долговременная тенденция у них общая, да и факт периодичности доминирования тоже общий для них. Различия же заключаются главным образом в разном фоне и в разных темпах (крутизне) его изменения, а также в амплитуде колебаний.

Теперь сочленим долговременный тренд с цикличностью, и тогда обнаружится определенное "неравноправие" между переходами от аналитического доминирования к синтетическому и обратно. Это неравноправие, разумеется, должно быть тесно связано с уже упоминавшимися темпами (крутизной) изменения фона. Здесь могут наблюдаться две полярные ситуации (между которыми возможны различные промежуточные варианты). Эти ситуации иллюстрирует рис. 3.

1. Фон изменяется очень медленно, практически постоянен (по крайней мере в масштабах времени порядка периода осцилляций). В этом случае нет никаких оснований для неравноправия в переходах (от аналитизма к синтетизму и обратно).

2. Фон изменяется достаточно быстро, и поэтому существенно, что один из переходов (от аналитизма к синтетизму) совершается "наперекор" долговременному тренду, тогда как другой переход (от синтетизма к аналитизму) совпадает с этим трендом. Это и есть источник неравноправия.

(Рис. 3 иллюстрирует эти два случая, представляя соответствующие им условные схемы динамики.)

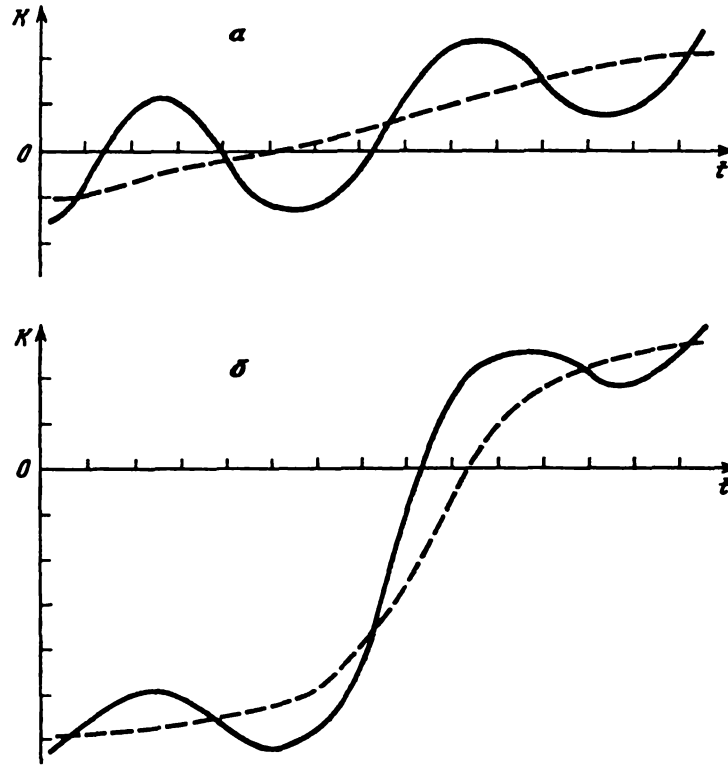


Рис. 3. Гипотетические эволюционные зависимости степени асимметрии менталитета К (положительные значения отвечают аналитической ориентации, отрицательные – ориентации синтетической):
а – ситуация медленного изменения фона (показан пунктиром); *б* – ситуация быстрого изменения фона

Суть неравноправия – в том, что первый из переходов (от аналитизма к синтетизму) культура может "пережить" вполне естественно: ведь речь идет фактически об определенном откате, возврате к уже знакомым, "обжитым" позициям. И наоборот, при втором типе переходов (от синтетизма к аналитизму) культуре предстоит "новый виток", резкий "скачок в незнаемое", в еще не испытанное – по степени аналитизма – состояние. И тут есть шансы для всевозможных своеобразных эффектов (включая, по-видимому, даже и какие-то катаклизмы, стрессовые ситуации, etc.).

Стало быть, принадлежность культуры – либо ее тяготение – к одной из этих полярных ситуаций является фактором, определяющим национальную специфику динамических процессов, протекающих в каждой данной культуре на данном этапе ее эволюции.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Любой динамический процесс нуждается в своем "морфологическом" (т.е. инструментальном, материальном) обеспечении, – имеются в виду т е с р е д с т в а, с помощью которых этот процесс обретает практическую реализацию. В социальных системах таким средством служат л ю д и – носители определенных социально-психологических качеств. Но – к а к и е л ю д и? Все – либо же какая-то часть из них? А если часть, то – какая: по количеству и по "типажу"?

Подойдем к этой проблеме последовательно: сперва решим вопрос о к о л и ч е с т в е людей, реализующих интересующую нас динамику, а затем – вопрос о "т и п а ж е" этих людей. Причем оба вопроса будем решать сначала для варианта медленного изменения фона, а потом – для изменения быстрого.

При очень м е д л е н н о м и з м е н е н и и ф о н а соответствующие сдвиги в социально-психологических параметрах людей вполне способны протекать в "спокойном" режиме, когда наступающие изменения параметров появляются у каких-то "передовых" ("опережающих" других) людей и постепенно распространяются все шире и шире. При этом в е р о я т н о с т ь п р и о б щ и т ь с я к новому стилю мышления зависит от целого ряда обстоятельств по п р и н ц и п у "и л и": или данный субъект оказался в близком контакте с кем-либо из "опережателей" (и потому воспринял "флюиды" соответствующего стиля мышления), или по роду своей деятельности субъект интенсивно контактирует с соответствующими явлениями (содержание которых несет на себе отпечаток "должных веяний"), или субъект в силу своего темперамента тяготеет к любым резким переменам, или... Словом, может оказаться достаточно даже какой-то одной из подобных причин, чтобы субъект изменил состояние своей ментальности в "должную" сторону.

В таких ситуациях, как известно[19], обычно складывается более или менее р а в н о м е р н о е р а с п р е д е л е н и е (субъектов по значениям интересующего нас параметра), близкое к нормальному, т.е. Гауссову. Иными словами, нет никаких оснований говорить о формировании какой-то обособленной группы субъектов, резко отличающейся от подавляющего большинства населения по значениям данного параметра.

Совсем другая ситуация складывается при б ы с т р о м и з м е н е н и и ф о н а. В этом варианте тем субъектам, которым суждено совершить "большой скачок", удается сделать это только в том случае, если действует п р и н ц и п "и": данный субъект оказался в близком контакте с кем-либо из "опережателей", одновременно и его род деятельности толкает его к соответствующим сдвигам, и темперамент, и... Иными словами, необходимо удачное совпадение нескольких подобных причин, чтобы ментальность субъекта изменилась в должную сторону.

Как известно, в подобных ситуациях обычно формируется существенно н е р а в н о м е р н о е р а с п р е д е л е н и е, типа так называемого закона Ципфа[20]. Попросту говоря, образуется некая очень небольшая, "о с о б а я" г р у п п а с у б ъ е к т о в, резко отличающихся – по значениям интересующего нас параметра – от подавляющего большинства населения.

В последнем случае такую группу может "цементировать", объединять именно эта их в н у т р е н н я я о б щ н о с т ь, отделяющая их менталитет от такового у

основной массы ("страшно далеки они от народа", – как выразился когда-то В.И. Ленин). Между тем как раз усилиями этой немногочисленной группы и должны реализовываться необходимые социально-психологические перемены. (А если усилия этой небольшой группы будут подавлены консервативным большинством, перемены либо не произойдут, либо окажутся очень невелики.)

Таким образом, мы пришли к выводу о целесообразности (с точки зрения реализации "должной" социальной динамики) формирования достаточно о б о с о б л е н н о й г р у п п ы н о с и т е л е й н е о р д и н а р н о й (по отношению к подавляющему большинству) м е н т а л ь н о с т и. Причем предпочтительная пора формирования такой группы – моменты, когда в социально-психологическом климате должны произойти р е з к и е п е р е м е н ы, преимущественно в с т о р о н у р о с т а а н а л и т и з м а. (Разумеется, возникнув, такая группа может затем существовать достаточно автономно, "подпитываясь" происходящими изменениями; впрочем, возможно и исчезновение этой группы.)

Фактически мы дедуктивно вывели не что иное, как в о з м о ж н о с т ь п о я в л е н и я и н т е л л и г е н ц и и как особой социальной группы, для жизни которой ключевым моментом является р е а л и з а ц и я р е з к о й с о ц и а л ь н о й д и н а м и к и (это как бы ее основная "специализация" в интересующем нас отношении) и которая для этого должна обладать существенно отличной (от других) ментальностью. Иначе говоря, данная дефиниция опирается скорее на умонастроения, чем на какие-либо социально-демографические, классовые, имущественные и тому подобные признаки. Это практически совпадает с цитируемой Д. Мирским дефиницией из Краткого Оксфордского словаря: «Интеллиджентсиа, имя сущ.; часть нации, стремящаяся к самостоятельному мышлению (от русского "интеллигенция")»[21]. Именно такое определение[22] представляется осмысленным с системно-функциональных позиций (а не, допустим, перечислительные дефиниции: учителя, врачи, etc., – либо дефиниции, опирающиеся на образовательные критерии и т.п.).

Теперь становятся понятными и р а з л и ч и я м е ж д у н а ц и о н а л ь н ы м и к у л ь т у р а м и – в плане наличия (либо отсутствия) в них подобных специфических образований. Очевидно, потребность в появлении интеллигенции – в вышеуказанном значении этого термина – высока в тех культурах (разумеется, на соответствующих этапах их развития), которые традиционно тяготеют к синтетическому типу, но в силу необходимости быстро "втягиваются в водоворот" общей динамики – эволюции в сторону аналитического типа. Прекрасный образец такой культуры представляет Россия последних двух-трех столетий (и интеллигенция действительно впервые появилась именно в России); Япония конца прошлого века (после переворота Мэйдзи) и др. Между тем в "нормальных" (т.е. тяготеющих к аналитизму и потому не испытывающих резких изменений ментальности) западноевропейских культурах: Англии, Германии, Франции и др., – интеллигенция появляется сравнительно поздно и не обладает столь явно выраженными отличительными чертами (ибо в этих культурах должная динамика осуществляется как бы "автоматически", не нуждаясь в усилиях специальной группы).

Однако мы рассмотрели лишь в о з м о ж н о с т ь формирования такого социального слоя (группы), но не п р а к т и ч е с к у ю р е а л и з у е м о с т ь его существования. Как раз эта практическая реализуемость и имеет непосредственное отношение к вопросу о "т и п а ж е" людей, составляющих данный слой (ведь рассмотренный выше количественный вопрос решить очень просто: любую долю лю-

дей всегда можно отобрать). Итак, каким качественным ("типажным") требованиям должен отвечать этот слой?

Очевидно, этот слой должен состоять из людей, достаточно "продвинутых" в своем стиле мышления, и прежде всего в плане межличностных коммуникаций, активных человеческих взаимоотношений (ибо главным образом через них и осуществляются воздействия этого небольшого слоя людей на основную массу). Значит, в данном слое заметную роль должны играть те, для кого эти коммуникации и взаимоотношения являются весьма важной компонентой деятельности (т.е. лица, которых сейчас принято называть гуманитарной интеллигенцией: писатели, журналисты, священники, обществоведы и проч.). Конечно, в этот слой могут входить также и те, чья специализация имеет иной характер, но также достаточно "продвинутые" по стилю мышления. (Видимо, они должны составлять периферию этого слоя, ведомого "ядром" вышеназванной основы.) В целом, думается, качественные очертания этого слоя теперь уже обрисованы достаточно отчетливо: это не что иное, как хорошо знакомый нам образ интеллигенции – круга образованных людей с сильным интересом к социальным проблемам (проблемам социального "обустройства" современного им общества).

Ядро этого слоя должно быть достаточно обособлено от основной массы (чтобы суметь автономно формировать свое мировоззрение), но в то же время должно с нею контактировать (чтобы элементы этого мировоззрения распространялись). Впрочем, сочетать два указанных условия в современном обществе нетрудно: ведь требуемые односторонние контакты (т.е. воздействие со стороны этого слоя – на другие слои) вполне можно осуществить за счет средств массовых коммуникаций (СМК). В самом деле, по имеющимся оценкам[23], вся перестройка мышления населения Советского Союза на рубеже 80-х и 90-х годов была осуществлена усилиями не более 100 интеллигентов (преимущественно с использованием СМК).

Другой важной чертой, желательной для формирования и обособления такого круга, является его самоопределение, осознание себя как некоего автономного целого. Для этого нужна сильно развитая рефлексия, что, впрочем, характерно для большинства "продвинутых" людей, особенно на этапах стремительного роста аналитических ("левополушарных") тенденций.

Резюмируя сказанное (об условиях формирования интересующего нас слоя), мы можем сделать определенные выводы о том отрезке времени, об эпохе, когда данный слой мог сформироваться. Для этого нам следует всего лишь скомбинировать все вышеназванные параметры:

а) наличие какого-то количества "продвинутых" личностей;

б) желательность достаточно высокой доли лиц с гуманитарной направленностью;

в) достаточная развитость СМК;

г) высокая роль рефлексивных процессов, соответствующая росту аналитических тенденций.

И наконец, главное, с чего мы начинали сей дедуктивный вывод, – наступление эпохи интенсивного перехода данного общества к новому стилю мышления, а это, вероятнее всего, наступает тогда, когда происходит

д) открытие границ данного общества для интенсивных внешних взаимодействий.

Именно в таких условиях может начать ф о р м и р о в а т ь с я и н т е л л и г е н ц и я – в описанном выше понимании этого термина.

Теперь становится ясным, что в глобальном временно́м "макромасштабе" интеллигенция может появиться отнюдь не на любом этапе развития общества (и притом отнюдь не любого общества), а лишь на достаточно позднем этапе, когда интеллектуальный труд стал играть заметную роль (а), с развитой потребностью в специальной гуманитарной деятельности (б), а также развитием СМК (в), что стало возможным лишь начиная с XIX в. Что же касается таких конкретных "микромасштабных" условий, как совпадение с этапом роста аналитических тенденций (г) и открытие границ (д), то они, конечно, индивидуальны в разных странах. Так, в России последнее конкретное условие (д) существовало еще с XVIII в. (прорубленное Петром I "окно в Европу"), развитие СМК (в) – с начала XIX в., тогда как условие (г) на данном отрезке времени впервые реализовалось лишь в 1850–1860-е годы; именно отсюда начинается отсчет существования русской интеллигенции (зафиксированной, в частности, в прозе И.С. Тургенева). В Японии же главным ограничителем было как раз последнее условие (д), каковое стало благоприятным лишь после уже упоминавшегося переворота Мэйдзи (1868), когда нарушилась двухвековая изоляция страны; ближайшим же отрезком аналитического роста стали 1900-е годы, когда и начала формироваться японская интеллигенция (наиболее ярким представителем ее был, пожалуй, Акутагава Рюноске).

Таким образом, нам удалось д е д у к т и в н о в ы в е с т и не только необходимость феномена интеллигенции и некоторые его черты (нужные для выполнения определенных социодинамических функций), но и условия его появления, имея в виду и место (тип культуры), и время.

Любопытно отметить в связи со всем сказанным одну о б щ е с и с т е м н у ю ч е р т у данного феномена, роднящую его с широким кругом совсем иных (казалось бы) явлений. Мы имеем в виду напрашивающуюся параллель с формированием функциональной а с и м м е т р и и п о л у ш а р и й человеческого мозга.

В самом деле, эта асимметрия возникла тогда, когда человек вступил (много тысячелетий назад) в полосу чрезвычайно высоких темпов развития, изменения (благодаря собственным усилиям) окружающей среды, создания орудий и знаковых систем (и прежде всего естественного языка), etc. Все это требовало соответствующей перестройки информационной деятельности, что, в свою очередь, должно было получить надлежащее м о р ф о л о г и ч е с к о е (т.е. инструментальное) о б е с п е ч е н и е[24]. Если бы темпы развития информационной деятельности на том отрезке времени были не слишком велики, то эволюция, скорее всего, вполне смогла бы успеть сформировать какое-то новое устройство, отвечающее новым условиям работы и новым функциям, – например, сформировать поверх коры головного мозга "надкорку" (наподобие того, как сформировалась сама кора). Однако темпы развития среды были, видимо, столь высоки, что на такое "строительство" времени не оказалось. И эволюция пошла по другому пути: использовала уже готовое одно из полушарий (которые у животных дублируют друг друга) для специализации на новой (знаковой) деятельности, и л е в о е п о л у ш а р и е стало таким специализированным органом.

Точно так же динамика социально-психологической сферы – в случае высоких темпов – требует своего "морфологического" обеспечения, – и в качестве такового используется некий с л о й л ю д е й, рекрутируемый из числа тех, кто осуществляет определенные виды интеллектуальной деятельности (т.е. интеллигенция).

В случае же невысоких социодинамических темпов для тех же целей можно воспользоваться слоем профессиональных политиков (как это имеет место, например, в большинстве стран Западной Европы и США), и нет необходимости в непрофессионалах (т.е. интеллигентах).

Эта параллель свидетельствует о некоем "с а м о п о д о б и и ", сходстве эволюции информационных структур различных уровней: индивидуально-психологического и социального, т.е. о наличии своего рода "ф р а к т а л ь н ы х с т р у к т у р " в рассматриваемой большой системе.

Все сказанное выше относилось к интеллигенции в ее "узком" понимании, определяемом нашей моделью. Но коль скоро такой феномен возникает, он начинает, как уже отмечалось выше, распространять свои воздействия и на интеллигенцию в более широком (обыденном) понимании этого термина, т.е. на большинство лиц, занимающихся преимущественно интеллектуальной деятельностью: ведь они более, чем какие-либо другие социальные группы, близки к описанному выше слою по целому ряду параметров – интеллектуальных, материальных и др. Поэтому наше последующее изложение будет во многом относиться и к более широкому пониманию интеллигенции.

Но коль скоро такое выведенное нами социальное "новообразование", как интеллигенция, существует, имеет смысл перейти к его ф у н к ц и о н и р о в а н и ю – по крайней мере к неким его чертам, важным и в чисто теоретическом плане, и в плане актуальном.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: ПРОБЛЕМА САМОСОЗНАНИЯ

Итак, мы "сконструировали" некий социальный слой, названный интеллигенцией, который должен (и может) появиться для выполнения определенных социально-динамических функций, служить и н с т р у м е н т о м социальной динамики. Но как он будет эти функции выполнять? Ведь известно, что реальное функционирование любого социального инструмента (как, впрочем, и любого инструмента вообще) может обернуться – благодаря каким-либо "побочным" факторам – весьма неожиданными для "конструктора" последствиями, порой прямо противоположными исходному функциональному замыслу! (Да ведь и инструмент – например, нож – может оказаться практически неработоспособным, т.е. тупым, и даже быть направленным совсем не в ту сторону, как это замысливалось, а, например, против своего хозяина!)

Причиной появления подобных "побочных" эффектов следует считать возникновение у рассматриваемого "новообразования" иных связей, не включенных в первоначальную функциональную конструкцию. А поскольку материал нашего "новообразования" составляют л ю д и и они могут обладать собственными интересами (порой совершенно далекими от социальных, например сугубо корыстными), собственной свободой воли, целями, etc., то главную причину надо искать именно в области этих с о б с т в е н н ы х и н т е р е с о в, которые совсем не обязательно будут совпадать с дедуцированными нами интересами функциональными ("должными"). Иными словами, на "внешние" функции интеллигенции (обусловленные ее социодинамической ролью) вполне могут накладываться функции, связанные с собственными интересами самих интеллигентов и/или их совокупности. Отсюда – возможные "интерференции", противоречия, etc., каковые мы и рассмотрим.

(Извечная проблема взаимоотношений между собственными интересами какого-либо блока системы, играющего в ней ключевую роль, – и потребностями этой системы в целом – является не только весьма интересной, но и чрезвычайно актуальной для нынешней социальной действительности. В самом деле, сейчас в огромном большинстве случаев люди или группы, занявшие какие-то ключевые позиции, могут навязывать свои собственные интересы всей системе вследствие колоссальной концентрации имеющихся в их руках технических возможностей, чрезвычайной централизации системы. Но информационная централизация все-таки нужна, так что единственный шанс избежать нежелательных для системы последствий – организовать эту централизацию таким манером, чтобы "ключевой" блок вовсе не содержал человеческих компонент либо, в крайнем случае, чтобы задействованные в нем люди не имели никаких собственных интересов, пересекающихся с интересами системы.)

Обратимся же к проблеме собственных интересов интеллигенции. Разумеется, как у всякой социокультурной группы, у интеллигенции может быть множество самых различных интересов, от сугубо материальных до чисто духовных. Но она все-таки достаточно специфическая группа, в сознании которой преобладают (или по крайней мере должны преобладать) духовные мотивы, рефлексивные процессы, etc. Иначе говоря, о с о з н а н и е, понимание с в о е й р о л и должно быть ключевым звеном в деятельности данной специфической социокультурной группы (ведь этим звеном опосредуются все ее мотивы и интересы). Каким же может быть у нее осознание собственной роли?

Д в е прямо п р о т и в о п о л о ж н ы е п о з и ц и и сразу же вырисовываются при первом же взгляде на эту проблему. (И неудивительно, что они-то и реализуются в социальной практике, поскольку любое сознание обращается в первую очередь к тем взглядам, которые наиболее очевидны!)

Попытаемся очертить обе полярные позиции, а коль скоро они непосредственно отражаются в сознании их носителей, это позволит украсить наше повествование наглядно-образными иллюстрациями.

П е р в а я п о з и ц и я опирается на постулирование с а м о ц е н н о с т и интеллигенции. В качестве обоснования здесь может выступать прежде всего тот факт, что интеллигенция действительно представляет собой интеллектуальный "ц в е т н а ц и и", ее "верхушку", сформировавшуюся в значительной степени благодаря отбору по критериям интеллектуального развития. Поэтому возникает соблазн считать, что процветание этого слоя (развивающего духовное начало) идентично прогрессу всего общества, т.е. что эти два феномена "автоматически" связаны друг с другом. А отсюда – уже один шаг до призыва к изоляции этого слоя от внешних помех, чтобы условия для саморазвития были наилучшими, как в "Игре стеклянных бус" Германа Гессе. (Правда, один вид внешних взаимодействий этот слой может принимать, и весьма благосклонно: энергетическую "подпитку" от внешнего мира – поставку различного рода материальных благ.) Такую позицию можно кратко обозначить: "и н т е л л и г е н ц и я д л я и н т е л л и г е н ц и и", или "самообслуживание интеллигенции".

В т о р а я п о з и ц и я, напротив, исходит из очевидности материального "паразитирования" интеллигенции, о б е с п е ч е н и я е е с у щ е с т в о в а н и я за счет деятельности других социальных групп, т.е. общества в целом. В самом деле, поверхностному взгляду представляется, что большинство интеллигенции "ничего не создает", а питается плодами деятельности других социальных

групп. Не вдаваясь здесь в обсуждение несостоятельности такой позиции, отошлем читателя к соответствующим количественным, теоретико-информационным соображениям[25]. Описанную позицию можно кратко обозначить: "с а м о у н и ч и ж е н и е и н т е л л и г е н ц и и", или: "интеллигенцию – на службу народу".

Так где же и с т и н а? Может быть, она лежит где-то посередине между двумя приведенными крайними точками? Увы, нет! Истина лежит вовсе не посередине и вовсе не на линии, соединяющей две названные точки, – и даже не в той плоскости, в которой лежат эти точки. Она находится совсем в иной плоскости! (Кстати, обычно только очень плоская истина лежит в той же плоскости, что и те крайние точки зрения, которые этой истине надо примирить!)

В предыдущих разделах мы уже вывели (притом дедуктивно) и сформулировали позицию, соответствующую истинной роли интеллигенции – как к л ю ч е в о г о з в е н а в с о ц и а л ь н о й д и н а м и к е общества в целом, в происходящих социальных изменениях. И о с о з н а н и е, понимание этой своей функции ("миссии"), равно как и соответствующая д е я т е л ь н о с т ь, – только это и должно быть "точкой отсчета" для оценки "полезности" данного специфического социального слоя, его роли, степени достойности его существования, да и правомерности самого этого существования.

В свете данной концепции становятся ясными и ответы на те вопросы, которые ставят обе вышеназванные крайние позиции.

Действительно, разве не "самоценны" интеллигенция и ее процветание? Да, интеллигенция ценна (хотя и не "само"), но лишь в той мере, в какой "ловит мышей", т.е. реально способствует социальной динамике, развитию общества в должную сторону. А разве не следует интеллигенции "служить народу"? Да, следует, но только тогда, когда этот народ движется в должную сторону, и притом такой "службой" не должна подрываться социодинамическая функция интеллигенции. Вот с такими оговорками можно принять обе крайние позиции (впрочем, тогда они уже не оказываются крайними).

Но если принять введенные нами оговорки, то окажется, что сознание интеллигенции должно быть не чем иным, как "э в о л ю ц и о н н о й с о в е с т ь ю" общества. Ведь применительно к человеку именно совесть задает должное направление его движения, проставляет оценки всем явлениям, и в первую очередь самому себе (в соответствии с собственным движением в должном направлении или в ином). Главное же то, что интеллигенция – это отобранная из всего общества ("рекрутированная" из него) его наиболее мыслящая часть. А следовательно, и ответственность лежит именно на этой части – за судьбы всех, из кого она отобрана, т.е. кого она, в каком-то смысле, "обобрала", духовно "обездолила". В самом деле, никто не вправе требовать, чтобы токарь, пекарь или пахарь разбирался бы в тонкостях политики или экономики (а кухарка, как недавно говорили, управляла бы государством), – ведь они фактически, молча д е л е г и р о в а л и э т и с в о и п о л н о м о ч и я и н т е л л и г е н ц и и. А вот справится ли она с этой своей социальной ролью, оправдает ли доверие – и не столько доверие так называемого "народа", – а д о в е р и е э в о л ю ц и и в целом?

Ответ на этот вопрос определяется тем, как н а с т р о е н а сама и н т е л л и г е н ц и я, каково ее самосознание, какова расстановка сил внутри этого столь специфического слоя...

Разумеется, рассматриваемый слой не может иметь совершенно однородное сознание. По какому же основанию, могущему быть существенным с точки зрения социальной динамики, этот слой способен дифференцироваться? Да просто по своему отношению к этой самой социальной динамике, т.е. по степени своей собственной заинтересованности (или незаинтересованности) в предстоящих переменах, т.е. по степени совпадения (или несовпадения) своих собственных интересов с объективной логикой прогрессивной эволюции. Иначе говоря, по своей работоспособности, имея в виду способность содействовать этой эволюции (либо, наоборот, противодействовать ей).

Но – возникает законный вопрос – как могут какие-то части этого слоя быть неработоспособными в своем содействии должному эволюционному продвижению – либо даже стать тормозом на его пути? Ведь формируется-то этот слой как раз для такого должного продвижения! Как же может возникнуть в этом слое пассивность или даже обратная тенденция?

Так-то это так, формируется-то этот слой совершенно "грамотно", но лишь в функциональной теоретической модели. А в реальности этот слой, сформировавшись, обретает определенную автономность, становится в какой-то мере независимым от тех системных функций, которые он призван выполнять[26]. Так бывает (и это уже отмечалось выше) в любых сложных системах – и тем более в тех, где определенные подсистемы (блоки) состоят из "человеческого материала", т.е. поведение которых в какой-то мере зависит от "свободной воли" людей. И вот эта степень "своеволия" (могущего быть направленным в любую сторону) и будет нас сейчас интересовать. (Ведь это "своеволие" в принципе способно даже "съесть", свести на нет все порывы к должной эволюционной деятельности!) Попытаемся выяснить, какие формы подобное "своеволие" может принять, имея в виду неадекватность реальной деятельности представителей этого слоя их эволюционному предназначению?

Для этого имеет смысл рассмотреть два аспекта реальной деятельности – ее интенсивность (энергию) и ее направленность (т.е. мы фактически рассматриваем эту деятельность как вектор).

Говоря об энергии деятельности, следует учесть прежде всего принципиальный характер ее содержания, каковым является преодоление старой парадигмы, борьба, даже война с ней. Что может воспрепятствовать такого рода борьбе, сыграть роль "троянского коня" в славном стане воинов-интеллигентов?

Ответ очевиден: препятствием в такой борьбе могут стать взгляды, отвергающие саму правомерность борьбы. В современной постсоветской реальности эта тенденция наиболее четко проявляется в проповеди так называемого социального "консенсуса" ("национального согласия", прощения грехов прошлого, etc.). На этой идее стоит остановиться чуть подробнее и выявить ее корни – психологические и социальные.

В психологическом плане идея консенсуса очень заманчива. Она привлекательна, потому что отвечает вполне естественному стремлению каждого (или почти каждого) человека к достижению самосогласованного, бесконфликтного состояния своей психики. В чем это может заключаться конкретно, – например, применительно к интеллигенции постсовет-

ского периода? Главным образом в том, что почти для каждого современного интеллигента среднего возраста характерен крайне неоднородный социальный опыт, социальное прошлое, в котором вступают в конфликт мотивы поведения, скажем, в далеком прошлом, при тоталитарном режиме, и в недавнем, в стадии начальной демократии (допустим, человек в прошлом был апологетом социалистического реализма, а позднее "перестроился" и стал проповедовать плюрализм в художественном творчестве). И возникает вполне резонное стремление к самооправданию – к тому, чтобы "не судиться" с собственным прошлым, чтобы в душе была "гладкая округлость" – без конфликтов и без "ненужной" четкости и определенности.

А в плане социальном консенсус также вполне соответствует тому же стремлению к непротиворечивости, отсутствию конфликтов, но уже с членами своего социального окружения. А оно, например в среде современной интеллигенции, чаще всего оказывается крайне неоднородным. Так, в нем имеются люди, основной функцией которых была поддержка тоталитаризма (а для кого-то аналогичная "тяга души" характерна и теперь), а есть и ярые его противники; словом, все смешалось – как в доме Облонских... Поэтому так заманчиво сгладить "неуютность" могущих возникнуть конфликтных ситуаций, не выяснять отношений вокруг себя.

И вот сплав этих двух факторов – психологического и социального – как раз и привел к концепции пресловутого "консенсуса", которую так удачно запустил в оборот М.С. Горбачев. Эта идея, надо сказать, легла на хорошо подготовленную, "унавоженную" почву русского менталитета. Тут сказалось и христианское "Не судите – да не судимы будете...", и традиции толстовского непротивленчества... (Недаром И. Бродский писал о "подставлении второй щеки" и о последствиях такого поведения в советское время: "... в послетолстовской России – этика, построенная на перевранном стихе, во многом подорвала волю нации в противостоянии полицейскому государству. Дальнейшее слишком известно: шесть десятилетий обращения другой щеки превратили лицо нации в сплошной синяк, так что теперь государство, которому наскучило насилие, в это лицо просто плюет. Как и в лицо мира. ⟨...⟩ Я имею в виду одно: убрать у вас из головы клише, которое столь многим навредило и так плохо окупилось"[27].)

"Консенсус", т.е. фактически отрицание необходимости внедрения новой парадигмы, – коль скоро это может привести к конфликту, – поразил, подобно ржавчине, практически все круги российской интеллигенции. Прежде всего, как уже отмечалось, это – очень "комфортабельная" точка зрения. Правда, комфортабельна она главным образом для самой интеллигенции, а ведь вовсе не ее собственное душевное равновесие должно было бы отвечать зову ее эволюционной (социальной) совести, но усилия на пути социальной динамики. (Подобно этому, вовсе не здоровье персонала поликлиники должно было бы, по идее, являться его главной задачей!)

Завершив наш пассаж, касающийся энергии социодинамической деятельности интеллигенции и опасностей уменьшения этой энергии, обратимся к проблеме ее направленности. А направлена эта энергия может быть в любую сторону. И коль скоро мы ведем речь о возможных опасностях, их здесь таятся две.

Во-первых, энергию можно направить в сторону, "перпендикулярную" должному социальному развитию. Именно этому способствуют идеи не-социальной направленности, дающие нулевую проекцию на ось социаль-

ной динамики. Тут и движение за возрождение дворянства, купечества, казачества и других сословий, и всевозможные национальные, патриотические, конфессиональные и тому подобные движения, создающие своего рода "экологические ниши". Признавая их возможную полезность (а скорее приятность) для текущей жизнедеятельности отдельных групп интеллигенции, следует все же признать, что они не только не способны принять на себя бремя той социальной нагрузки, которая отвечает функции интеллигенции, но, наоборот, отвлекают усилия от проблем социальных перемен.

Во-вторых, можно направить энергию и в сторону, прямо п р о т и в о п о л о ж н у ю должной социальной динамике, и это гораздо опаснее (вреднее с социодинамической точки зрения). Что может стать движущим мотивом такого явления? По-видимому, соответствующий мотив должен быть не непосредственно ретроградным (хотя, впрочем, в принципе возможно и такое), но каким-то образом "закамуфлированным", иметь благородную "наружность". Пожалуй, наиболее удачным кандидатом на такую роль могут стать различные версии патриотического (или религиозного) мотива. Тем более это удобно в тех культурах (например, в русской), которые традиционно были ориентированы на стиль мышления ("синтетический"), противоположный "должной" тенденции ("аналитической"), а также на созерцание прошлого, а не на планирование будущего. В этом случае предстоящие стилевые перемены выглядят как "кощунство и святотатство" по отношению к сложившимся традициям и, следовательно, наталкиваются на активное сопротивление в среде интеллигентов соответствующей ("патриотической" и/или религиозной) ориентации.

Мы обрисовали целый спектр возможных (и наблюдаемых в реальности) мотивов, способных препятствовать выполнению интеллигенцией ее социодинамических функций. Учтем, что все эти мотивы могут сочетаться друг с другом, переплетаться в общей для них среде (притом усиливая друг друга). И зачастую эта среда может составить для их "благоденствия" весьма благоприятную почву. Именно такая ситуация сложилась, в частности, в России, где по причине высокой степени синтетичности ("правополушарности") культуры, "умиротворящего" воздействия православия и т.п. очень затруднены идейные конфликты, процессы перемен, в том числе борьба за новую парадигму мышления. Поэтому и энергия соответствующей деятельности как бы автоматически "гасится", переходя в другие сферы (в частности, в область пьяного застолья).

В результате всевозможных переплетений описанных факторов среда нынешней российской интеллигенции напоминает некую аморфную, вязкую смесь, в которой невозможно какое-либо поступательное движение. Можно ли преодолеть вязкость этой смеси?

Здесь на ум приходит термодинамическая аналогия – с газом в закрытом сосуде. Хаотически движущиеся в нем молекулы обладают разной скоростью, но эти различия никак нельзя использовать для получения работы. Есть, правда, некий "идеальный" (т.е. практически нереализуемый) способ: соорудить посреди сосуда перегородку с маленьким отверстием, у коего посадить некое умное существо, именуемое "д е м о н о м М а к с в е л л а". Когда к отверстию подлетает молекула с нужной скоростью, этот демон впускает ее, а когда с другой скоростью – не впускает. Благодаря этому по одну сторону перегородки соберутся молекулы с высокой скоростью, а по другую сторону – с низкой. И тогда уже система сможет выполнять работу, станет р а б о т о с п о с о б н о й.

В случае замкнутого сосуда этот "идеальный" путь, как известно, нереализуем. Но в ситуации человеческого сообщества, способного – за счет своей интеллектуальной деятельности – увеличивать степень своей организованности (структурированности), такой "демон Максвелла" вполне реализуем. Если он будет реализован в виде соответствующей "идеи разделения", размежевания ("Нам не хватает разногласий!" – так писал когда-то Л.С. Баткин), – он позволит выделить из среды интеллигенции ту ее часть, которая станет способной выполнять должные социодинамические функции. Остается лишь надеяться, что в будущем этот путь найдет свое практическое воплощение, будет способствовать позитивным изменениям в менталитете российского общества.

Согласно полученному (на основе вышеописанной модели) прогнозу, через несколько лет Россию ожидает новая "точка бифуркации", момент выбора пути дальнейшего развития. Предыдущие бифуркационные точки (в частности, 1991 и 1993 гг.) не дали позитивного продвижения в "должном" направлении, и здесь – значительная вина российской интеллигенции. Остается надеяться, что к следующему решающему моменту она придет все-таки более подготовленной и выполнит свою социодинамическую роль.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Одно из предыдущих обострений наблюдалось в начале нашего столетия и нашло свое отражение в знаменитом сборнике: Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. М., 1909.

[2] Весьма интересен также смежный с информационным термодинамический подход, обосновывающий необходимость социальной динамики как следствие потребности в увеличении энергии, которой может располагать общество. См., например: *Кузнецов П.Г.* О возможности энергетического анализа основ организации общественного производства // Эффективность научно-технического творчества. М.: Наука, 1968.

[3] См. подробнее: *Маслов С.Ю.* Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семиотика и информатика. М., 1983. Вып. 20. С. 3–31.

[4] Там же.

[5] *Petrov V.M.* [*Петров В.М.*] Evolution of art and brain asymmetry: A review of empirical investigations // Emerging visions of the aesthetic process: psychology, semiology, and philosophy / Eds. G.C. Cupchik, J. Laszlo. N.Y.: Cambridge University Press, 1992. P. 255–268.

[6] *Petrov V.M.* [*Петров В.М.*] Evoluzione dell'arte e asimmetria cerebrale // Rivista di Psicologia dell'Arte. Nuova Serie. Anno XVI. 1995. N 6, P. 4–9.

[7] *Кошкин В.М., Фризман Л.Г.* Быть поэтом: (Опыт статистической литературометрии) // Человек. 1991. № 3. С. 79–82.

[8] *Pokorskaya Ye.Ya.* [*Покорская Е.Я.*] The search for parameters in dramatic art // Emotions and art: problems, approaches, explorations / Eds. L.Ya. Dorfman, D.A. Leontiev, V.M. Petrov, V.A. Sozinov. Perm: International Association of Empirical Aesthetics (Russian Branch): Perm State Institute of Arts and Culture, 1992. P. 315–327.

[9] *Петров В.М., Бояджиева Л.Г.* Перспективы развития искусства: методы прогнозирования. М.: Рус. мир, 1996.

[10] Там же. С. 11.

[11] *Маслов С.Ю.* Указ. соч.

[12] Сейчас для нас несущественна причина (механизм) таких различий: связаны ли они с генетическим фактором либо с трансляцией культурных традиций.

[13] *Петров В.М., Байерс К.* Интегративное направление в параллельной гуманитарной культуре России: от 1960-х – к нашим дням // Культурологические записки. М.: Гос. ин-т искусствознания, 1996. Вып. 2: Тоталитаризм и посттоталитаризм. С. 190–215; *Петров В.М.* Русская культура и развитие мировой культуры // Культура. Искусство. Человек. Пермь: Пермский гос. ин-т искусств и культуры, 1995. Т. 2. С. 3–15.

[14] *Vorobieva Z.Ye., Dorfman L.Ya., Petrov V.M.* [Воробьева З.Е., Дорфман Л.Я., Петров В.М.] East – West: convergence and intergration of scientific mentalities // Emotions and art... P. 7–19.

[15] Так, о связи созерцательного начала со структурой языка И. Бродский писал: «... не существует более поглощающей, более емкой и более естественной формы для самоанализа, нежели та, что заложена в многоступенчатом синтаксисе русского сложноподчиненного предложения. Облеченный в эту форму кальвинизм заходит ("заводит" индивидуума) гораздо дальше, чем он оказался бы, пользуясь родным для кальвинизма немецким» (*Бродский И.* Об одном стихотворении // Бродский И. Набережная неисцелимых: Тринадцать эссе. М.: Слово, 1992. С. 112). Другим – и притом уникальным! – проявлением "синтетичности" русского языка является использование в нем специфической экспрессивной лексики (мата).

[16] *Касьянова К.* О русском национальном характере. М.: Ин-т нац. модели экономики, 1994.

[17] Эти различия могут быть неодинаковыми и даже иметь разное направление – применительно к разным культурным подсистемам. Скажем, различие по стилю живописи может иметь иной характер, чем различие по социально-политическому "климату" общества. Тем не менее здесь и далее речь идет о различиях, характеризующих культуру в целом, т.е. о доминирующем в ней менталитете.

[18] *Петров В.М.* Рефлексия в истории художественной культуры: Ее роль и перспективы развития // Исследование проблем психологии творчества. М.: Наука, 1983. С. 313–325.

[19] *Martindale C.* Fame more fickle than fortune: On the distribution of literary eminence // Poetics. 1995. Vol. 23. P. 219–234.

[20] *Петров В.М., Яблонский А.И.* Математика и социальные процессы: (Гиперболические распределения и их применение). М.: Знание, 1980.

[21] *Мирский Д.* Интеллиджентсиа. М.: Сов. литература, 1934. С. 5.

[22] Современный словарь толкует понятие интеллигенции следующим образом: "часть общества, которую можно рассматривать (или которая сама себя рассматривает) как интеллектуальную и способную к серьезному независимому мышлению" (*Hornby A.S., Cowie A.P.* Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Oxford University Press, 1982. Vol. 1. P. 444).

[23] *Shlapentokh V.* Soviet intellectuals and political power: the Post-Stalin era. L.; N.Y.: I.B. Tauris & Co. Ltd Publishers, 1990. P. 265.

[24] *Golitsyn G.A., Petrov V.M.* [Голицын Г.А., Петров В.М.] Information and creation: intergrating the "two cultures". Basel; Boston; Berlin: Birkhauser Verlag, 1995.

[25] *Петров В.М.* Информационное мировоззрение и этика: творцы культуры и народ // Проблемы информационной культуры. М.: РГБ, 1996. Вып. 3: Информационное мировоззрение и информационная культура. С. 33–48.

[26] Каждая подсистема, разумеется, подчиняется требованиям со стороны системы в целом, но при этом обладает и собственным "своеволием". О данном аспекте см. также: *Dorfman L., Leontiev D., Petrov V.* [Дорфман Л., Леонтьев Д., Петров В.] Toward non-classic empirical art studies: methodological considerations // Emotion, creativity, & art / Eds. L. Dorfman, C. Martindale, D. Leontiev, G. Cupchik, V. Petrov, P. Machotka. Perm: International Association of Empirical Aesthetics; Perm State Institute of Arts and Culture, 1997. P. 37–67.

[27] *Бродский И.* Актовая речь // Бродский И. Набережная неисцелимых... С. 146.

В.В. Кожинов

ПОПЫТКА БЕСПРИСТРАСТНОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Слово *попытка* в заглавии моей статьи уместно или даже необходимо потому, что размышлять о феномене "интеллигенция" с полным беспристрастием крайне трудно или даже вообще невозможно, причем дело обстояло примерно так же в любой период новейшей истории России. Если составить антологию, включающую в себя высказывания и целые сочинения XIX–XX вв. об этом феномене (она может

©.В.В. Кожинов, 2000

быть весьма объемистой), преобладающее место в ней займут, без сомнения, два полярных "жанра" – славословие и проклятье, причем в качестве приверженцев одного и того же жанра явятся очень разные авторы; так, в интеллигенции усматривали ценнейшую или даже вообще единственную действительно ценную общественную силу России лидер либерализма Милюков и имеющий титул "пролетарского писателя" М. Горький, а резкие суждения о ничтожестве и, более того, прямой вредоносности интеллигенции нетрудно найти в сочинениях Ленина и ..."веховца" Петра Струве. Но даже и более "умеренные" высказывания об интеллигенции чаще всего предстают скорее как определенные "оценки", нежели как итоги объективного размышления.

Конечно, эта пристрастность небеспричинна. И она, между прочим, оказывается в непримиримом противоречии с "официальным" толкованием слова *интеллигенция* в энциклопедических словарях: "... слой образованных людей или работников умственного труда"[1]; "общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным, творческим трудом, развитием и распространением культуры" (если это действительно так, то почему вокруг "людей умственного труда" разгораются столь противоречивые страсти?). Далее БСЭ утверждает, что "первичной группой И. явилась каста жрецов. В средние века место жречества заняло духовенство..." и т.д. Но тут же – как это ни удивительно – говорится: «Термин "И." был введен в обиход писателем П.Д. Боборыкиным (в 60-х гг. 19 в.) и из русского перешел в другие языки»[2].

Следовательно, феномен "интеллигенция" существовал в мире в течение тысячелетий, но был, так сказать, впервые "открыт" и получил "имя" только в России середины прошлого века. Эта "концепция" предельно или даже, пожалуй, запредельно неправдоподобна, и термин "интеллигенция", несмотря на его латинский корень, обозначает, конечно же, собственно российское явление (как и, например, также восходящее к латыни русское слово *царь*). Правда, и в других странах возникали аналогичные группы людей (об этом еще будет речь), но они, во-первых, не обладали столь же громадным и первостепенным значением в бытии своих стран, а во-вторых, имели временный и локальный характер.

Кстати, в самой цитированной энциклопедической статье, по сути дела, опровергается отождествление российской и западноевропейской "интеллигенции", ибо о последней сказано: "В Европе... деятели И. пробивались на высокие государственные должности". Между тем в России причисляемые к интеллигенции люди всегда стремились идти по более или менее самостоятельному пути, противоречащему либо хотя бы не совпадающему с "линией" государственной (а также и церковной) власти. И, даже входя во власть, истинные представители интеллигенции осуществляли или по крайней мере пытались осуществить свою, а не собственно государственную "программу".

Те же, кто, заняв высокие посты, полностью переходил на сторону власти, воспринимались, как "предатели" и автоматически "исключались" из интеллигенции. Так, никто, конечно же, не причислял к интеллигенции занявших высокие государственные должности Бенкендорфа, Дубельта или Михаила Муравьева (так называемого "вешателя"), хотя в молодые годы они входили в преддекабристские организации и Дубельт после 14 декабря находился под следствием, а Муравьев был даже арестован! Один из виднейших декабристов, С.Г. Волконский, вспоминал впоследствии о том, что Бенкендорф, "человек мыслящий и впечатлительный", задумал в начале 1820-х годов создать легальную организацию из "лиц честных, смышле-

ных... и пригласил нас, многих своих товарищей, вступить в эту когорту, как он называл, добромыслящих, и меня в их числе..."[3].

Столетием позднее, в 1916 г., один из лидеров интеллигентского "Прогрессивного блока", Протопопов, стал "добросовестным" министром внутренних дел и тут же был полностью отлучен от интеллигенции.

Прежде чем идти дальше, необходимо одно пояснение. Термин "интеллигенция" складывается в середине XIX в., и тем не менее речь у нас зашла о декабристах, действовавших в начале столетия. Вообще вопрос о времени возникновения феномена "интеллигенция" в России не решен сколько-нибудь основательно. Но едва ли столь существенное явление родилось в середине XIX столетия, как говорится, на пустом месте; естественно полагать, что у него была длительная "предыстория".

Так, на рубеже XV–XVI вв., когда складывается "Московское царство" и, кстати, начинает употребляться само слово *Россия*, значительнейшую роль играет целый ряд деятелей, которые в той или иной мере выступают самостоятельно, не совпадая с линией государственной и церковной власти, подчас даже оказываясь в достаточно остром конфликте с этими властями. Среди этих деятелей того времени были Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, великий иконописец Дионисий, "князь-старец" Вассиан Патрикеев и мн. др.; об этом идет речь в моей изданной в 1997 г. книге "История Руси и русского Слова. Современный взгляд". И хотя буквально применять термин "интеллигенция" по отношению к этим жившим полтысячелетия назад людям едва ли уместно, они все же могут быть поняты как своего рода "прообраз", "архетип" обозначаемого этим термином российского феномена...

Впрочем, изучение истории (и предыстории) интеллигенции – сложная и трудоемкая задача, которую ставить здесь невозможно.

Ныне в большом фаворе знаменитая книга "Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции", вышедшая в свет в 1909 г. и неоднократно переизданная в наше время. В этой книге, бесспорно, содержатся меткие и, более того, глубокие умозаключения. Но едва ли обладают объективностью ее о с н о в н ы е, наиболее общие положения.

"Веховцы", особенно настоятельно П.Б. Струве, предложили, в частности, "исключить" из интеллигенции не только крупнейших художников слова XIX в. – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевского, – но и Новикова, Радищева, Чаадаева, Вл. Соловьева и даже (хотя и с оговорками) Белинского, Герцена и Щедрина; к интеллигенции Струве причислил только революционных или, по меньшей мере, радикальных "социалистов", родоначальником коих объявил Бакунина[4]. И "интеллигенция" во главе с Бакуниным и Чернышевским представала в рассуждениях веховцев – идеологов, перешедших после 1905 г. на антиреволюционные позиции, – в заведомо и даже крайне негативном свете.

По-своему прямо-таки замечательно, что большевики, которым веховцы явно противостояли, тоже относились к "интеллигенции" резко критически, но они в противоположность веховцам, по сути дела, "исключили" из нее как раз радикальных деятелей типа Чернышевского; тем самым точки зрения веховцев и большевиков являли собой, так сказать, "зеркальное" отражение друг друга, в коем "левое" становится "правым" и наоборот.

Говоря об этом, необходимо вспомнить, что Струве (как и другие веховцы – Бердяев, Булгаков, Франк) начал свой путь в конце XIX в. именно в рамках РСДРП

(тогда еще не расколовшейся на большевиков и меньшевиков), в достаточно тесном сотрудничестве с самим Лениным, и позднейшее "отрицание" веховцами левой интеллигенции было и "самоотрицанием", каковое, к примеру, вполне уместно сопоставить с сегодняшними проклятиями в адрес КПСС, постоянно изрекаемыми множеством ее недавних руководящих лиц...

Весьма характерны суждения Струве о Толстом. Выстраивая ряд не принадлежащих к интеллигенции "великих писателей" (см. выше), он не ввел его в этот перечень, что, надо думать, объяснялось очевидной радикальностью толстовской критики существующего общества. Но, сознавая, по-видимому, что умалчивать о Толстом как-то неудобно, Петр Бернгардович, прибегнув к весьма ядовитому словосочетанию "мундир интеллигента", заявил, что "Достоевский и Толстой каждый по-разному срывают с себя и далеко отбрасывают этот мундир"[5].

Можно согласиться с тем, что, решительно осудив свою принадлежность в молодые годы к петрашевцам, Достоевский тем самым действительно совершил нечто подобное... Однако п о з д н я я – наиболее радикальная – публицистика Толстого (отчасти распространявшаяся даже нелегально!) в значительной мере "работала" именно на ту интеллигенцию, которую столь резко критиковали веховцы.

Характерно, что всего за несколько месяцев до появления "Вех", в сентябре 1908 г., Ленин как раз превознес Толстого, утверждая, что его сочинениям присуща "беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления... срывание всех и всяческих масок..."[6].

У Струве Толстой "срывает с себя... мундир интеллигента", причем Струве тут же, прямо совпадая с Лениным, говорит и об "интеллигентских *масках*". По Ленину, Толстой "срывает маски" с российского капитализма и государства, – и это утверждение трудновато опровергнуть. Правда, в соответствии с тем свойственным большевикам и веховцам "зеркальным" видением одних и тех же явлений, о котором говорилось выше, Ленин за отсутствие последовательной "революционности" здесь же причисляет Толстого и к и н т е л л и г е н ц и и ; в качестве "толстовца" он квалифицируется как "истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом" (там же).

Исходя из вышеизложенного, можно, как представляется, сделать вывод о том, что феномен "интеллигенция" характеризовался в начале нашего века (притом совершенно разными идеологами) не столько на основе понимания его существа, сколько в плане п о л и т и ч е с к о й "о ц е н к и", всецело зависящей от опять-таки чисто политических позиций "оценщиков".

В принципе это имеет свое если и не оправдание, то основательное объяснение. Интеллигенция – даже независимо от личных устремлений людей, которые так или иначе к ней принадлежат, – не только неизбежно вовлекается в политико-идеологическую жизнь, но и в определенных отношениях представляет собой ее с р е д о т о ч и е, ее концентрированное выражение. И потому п о л и т и ч е с к и й "подход" к интеллигенции вполне закономерен – и не только в начале XX в., но и ранее, и позже – вплоть до наших дней...

Прямые отзвуки того, что писали об интеллигенции Струве и Ленин или Милюков и Горький, нетрудно услышать в сегодняшней публицистике. Но решусь высказать мнение (возможно, впрочем, слишком оптимистическое), что ныне – впервые после почти полуторавекового периода, начавшегося в 1860-х (если не в

1840-х) годах, – открывается возможность размышлять об интеллигенции более или менее о б ъ е к т и в н о и б е с п р и с т р а с т н о.

Такое размышление действительно было очень трудным либо вообще невозможным делом, когда готовился и тем более непосредственно совершался катаклизм революции, а также и в те предшествующие нашему времени десятилетия, когда постепенно назревало всецело закономерное, имевшее место после любой великой р е в о л ю ц и и решительное ее "отрицание", каковое давно принято обозначать словом *Р е с т а в р а ц и я*. Но теперь, после происшедшей начиная с 1991 г. реставрации (пусть и далеко не столь решительной и глубокой, какой была реставрация после Великой французской революции, начавшаяся в 1814 г.), многое можно осмыслить намного яснее и взвешеннее.

Конечно, в современной идеологической литературе очевидно п р е о б л а д а ю т "традиционные" оценки интеллигенции. Сошлюсь на первые попавшиеся на глаза во время сочинения этой статьи, но типичнейшие суждения.

Один "академик РАЕН" (сейчас различных "академиков" развелось невиданное множество) утверждает, что «цвет российской интеллигенции... всегда светил ("цвет светил"! – *В.К.*) России и тем сохранял ее позитивную значимость в мире»[7]. То есть в России (как и полагали в начале века Милюков и его многочисленные единомышленники) не было и нет ничего "позитивного", кроме интеллигенции.

Но всего через пару дней в рамках того же периодического издания являются сразу два сочинения, в которых об интеллигенции говорится не "по Милюкову", а "по Струве" (на коего даже имеется ссылка), и она предстает как едва ли не самое "негативное" явление в истории России...[8]

Я постараюсь показать, что эти – типичные – крайне противоречивые, взаимоисключающие суждения об интеллигенции, изрекаемые в продолжение по меньшей мере полутора столетий, заведомо поверхностны и односторонни, т.е. в конечном счете л о ж н ы; они являют собой, в сущности, не плоды познания, а побочные продукты политической и идеологической борьбы.

Сомнительность этих противоречивых суждений нередко ясно обнаруживается в сомнительности самой их "л о г и к и". Так, Струве, стремясь "вывести" Белинского (поскольку это очень уж весомое имя) за пределы обличаемой им интеллигенции, утверждал: "Белинский велик совсем не как интеллигент... а главным образом как истолкователь Пушкина и его национального значения"[9]. Однако в качестве "истолкователя Пушкина" Белинский находится в весьма обширном ряду критиков, мыслителей, писателей, филологов XIX–XX вв. и едва ли занимает в этом ряду одно из "первых" мест; между тем в роли вождя интеллигенции как о б щ е с т в е н н о й с и л ы он, конечно же, неизмеримо более значителен, – а для этой роли первостепенную важность имело не его сочинение о Пушкине, а, например, его знаменитое "Письмо Белинского к Гоголю". Кстати, есть серьезные основания полагать, что текст – вернее, несколько имеющихся налицо различных вариантов текста – его "Письма"... в той или иной степени не является сочинением самого Белинского[10]. И это не столь уж удивительно: в сознании и бытии самой интеллигенции всякого рода м и ф ы занимают огромное место; они нередко важнее фактов.

Вообще вес того или иного деятеля в интеллигентской "иерархии" определяется не столько его конкретными профессиональными достижениями в сфере философии, науки, художественного творчества, различных видов практической деятельности, сколько его ролью в жизни интеллигенции как общественной силы (хотя, собственно, профессиональные заслуги и могут повысить "статус" интеллиген-

та). Так, например, легендарная Вера Засулич, не имея особых заслуг в своей профессии, стала одним из кумиров интеллигенции, в сущности, только потому, что в 1878 г. неожиданным выстрелом из револьвера ранила петербургского градоначальника Трепова, а, скажем, наш современник Юрий Афанасьев стал знаменит, собственно говоря, лишь потому, что в 1989 г. "дерзнул" публично назвать "горбачевский" Верховный совет "сталинско-брежневским"...

Сказать об этом важно потому, что подобные факты обнажают кардинальное различие между российской интеллигенцией и "интеллектуалами" Запада, роль которых в обществе зависит в основном от их профессиональных достижений, или, точнее, от общественного признания этих достижений (ибо ведь высокий статус в сфере науки, искусства, философии и т.д. не столь уж редко приобретают на какое-то время мнимые "гении").

Могут, правда, возразить, что ведь и на Западе в те или иные периоды возникают подобные (хотя бы в известной мере) российской интеллигенции явления; таково, например, "бунтарское" молодежное движение 1960-х годов. Но в высшей степени характерно, что это движение вдохновлялось прежде всего заветами Бакунина и Кропоткина!

Вообще мы склонны всячески преувеличивать влияние Запада на Россию, но крайне редко обращаем внимание на следы обратного воздействия. В конце 1940 – начале 1950-х годов, в период начала "холодной войны", группа деятелей культуры (главным образом кинематографии) США вступила в довольно резкий конфликт с государством и подверглась репрессиям со стороны Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Но едва ли можно сбросить со счетов тот факт, что некоторые из этих американских "интеллигентов" являлись выходцами из России, а многие обладали знанием исторического опыта ее интеллигенции, ибо Россия была в большой моде среди американцев во время войны с германским нацизмом.

Впрочем, суть дела даже и не во "влиянии" России, способном породить на Западе явления, аналогичные российской интеллигенции. Наиболее существенно, что такие явления на Западе, в отличие от России, имеют временный и локальный (они захватывают в свое русло не столь уж значительную часть "интеллектуалов") характер. Особенно показательно следующее. Те западные "интеллектуалы", которые вовлекаются в политику, в той или иной мере становятся профессиональными политическими деятелями; между тем российские интеллигенты так или иначе вовлекаются в политику совершенно независимо от их профессий и в сущности все без исключения, ибо в России и принципиальный отказ от политики, ее отвержение предстает в качестве своеобразной, но достаточно значимой политической акции.

Предшествующие рассуждения – введение в проблему, а не ее непосредственное осознание; но без этих вводных замечаний, как мне представляется, нельзя было обойтись. Сама же проблема интеллигенции в России может решаться только на основе самого широкого, пользуясь популярным определением, глобального взгляда на бытие страны в целом.

В России издавна обсуждается "триада" – "народ, государство, интеллигенция", – и третий ее компонент, взятый в его целостности, в конечном счете столь же "необходим", как и два других. По сути дела, важнее всего осознать именно необ-

х о д и м о с т ь интеллигенции в России, что поможет преодолеть господство "оценочного" отношения к ней, подменяющего действительное ее понимание. В восхвалениях и поношениях интеллигенции (а также в "отлучении" от нее тех или иных деятелей отечественной культуры) выражается не понимание, а, по сути дела, только политическая "позиция" данного – взявшегося рассуждать об интеллигенции – автора; притом эта "позиция" – и, следовательно, "оценка" интеллигенции – нередко изменяется у одного и того же автора в зависимости от изменения политической ситуации в стране (что ясно выражалось, например, в написанных в разное время сочинениях вышеупомянутого Струве и других веховцев).

Вместе с тем нельзя не сказать, что в России все же были мыслители, которые судили об интеллигенции более или менее объективно; среди них в XIX в. – Аполлон Григорьев (1822–1864), а в XX-м – Василий Розанов (1856–1919), к наследию которого я и обращусь.

В сознании тех, кто только знакомился с розановским наследием в отдельных его наиболее "впечатляющих" проявлениях, но не постигал его глубокий и целостный смысл, сказанное мной вызовет, вполне вероятно, недоумение, ибо Василий Васильевич не раз крайне, подчас даже беспрецедентно резко писал о "корифеях" безусловно преобладающего большинства российской интеллигенции – Белинском, Герцене, Чернышевском, Добролюбове, Писареве и т.д. Однако при должном внимании нетрудно убедиться, что Розанов "проклинал" не столько самих этих кумиров либеральной и революционной интеллигенции, сколько навязывание их в качестве носителей истины во всем ее объеме и, как говорится, в последней инстанции.

Он писал, например, в 1914 г.: «Белинский и вся линия его "традиции", весь тон "господ Родичевых" (имеется в виду один из главных кадетских лидеров. – *В.К.*) вышел в "господа России"... Так *в этом тоне* всегда и говорили... У них не было России-Матери... а было – служанка Россия, обязанная бегать у них на побегушках, а когда она не торопилась, – они выходили из себя и даже вредительствовали ей. Прямо "таскали за косу" горничную...

– "Да кто горничная-то?" – "Россия, русское общество, русское правительство, русский обыватель". – "Да кто вы будете, сударь?" – "Студент, – и не доучился, как мой великий учитель Белинский".

Конечно, это "смрадно и тупо" (Дост.)»[11].

Но тот же Розанов в ту же пору и на страницах той же газеты "Новое время" писал о Белинском:

«"Критик" в нем для нас был не главное (ср. с приведенным выше неосновательным суждением Струве. – *В.К.*): главное "учитель жизни" и, в сущности, "*учитель всего*"... Так как он касался "всего" в своих критиках, то он был для нас первою "энциклопедиею". Но не фактической, а идейной... Это – необъятно... И все дал сухопарый, не окончивший университета студент.

Вот этим духом студенчества, юным-юным, он и охватил... всю русскую литературу; через литературу же охватил и целое общество. Все "по Белинскому". Хорошо ли это? Есть худое и хорошее... Суть Белинского, историческую суть, мне кажется, можно выразить одной строкой: личным своим волнением он взволновал всю Россию...»[12].

Тогда же Розанов писал о другом кумире интеллигенции: «Как море, шумела вокруг Добролюбова жизнь, – а он, как "маяк времени", стоял в нем свои пять-шесть лет, упрямый, недвижный, негаснущий, "наводящий на путь"... К нашему "теперь"

значение всех критик Добролюбова прошло... Но это все равно... он не умер и не умрет. За силу свою, за упор, за значительность... В суровости его была какая-то нежность, в сдержанности – энтузиазм, в "поучительности" – безумие 24 лет...»[13].

Вообще, если обратиться к наследию Розанова в целом, станет, полагаю, ясно, что никто из либеральных и радикальных хвалителей Белинского и Добролюбова, пожалуй, не сказал об их значении так веско и так верно, как "ретроград" Розанов, хотя он же писал об их идеологической "монополии" крайне, даже подчас "неприлично" резко (впрочем, и в только что цитированном тексте упомянуто, что в Белинском "есть худое и хорошее").

Розанов был одним из очень немногих мыслителей начала XX в., обладавших той высотой взгляда, которая давала возможность видеть бытие России в ц е л о м, а кроме того, преодолевать зависимость от политических пристрастий, и, нисколько не "идеализируя" российскую интеллигенцию, Розанов ясно сознавал ее н е о б х о д и м у ю – и в конечном счете великую – роль в этом бытии.

Если выразиться наиболее кратко, интеллигенция в России – необходимая "посредница" между государством и народом, что, конечно, нуждается в существенном разъяснении.

В странах, называемых "демократическими", "посредничество" между государством и народом осуществляется, как известно, постоянным действием строго соблюдаемой системы законов и норм, утвержденной выборными органами, что присуще даже западноевропейским м о н а р х и я м; в России же – несмотря на отдельные исключения и отклонения – власть всегда имела авторитарный характер, а подчас приобретала черты откровенного деспотизма.

К вопросу о соотношении демократии и авторитаризма мы еще вернемся; сначала остановимся на "причинах" российской авторитарности. Как ни странно (и прискорбно), чрезвычайно широко распространены неосновательные, способные убедить только не привыкших к серьезному размышлению людей представления об этих самых "причинах". Так, многие твердят о прямом и, так сказать, элементарном "заимствовании" авторитаризма из Византийской или Монгольской империй (либо из обеих сразу), которое, мол, и определило навсегда путь России; весьма популярны версии о неком патологическом, как бы врожденном властолюбии российских царей и императоров (и окружавшей их свиты "эксплуататоров-грабителей") и, с другой стороны, о фатально "рабской" психике русского народа и т.п.

Вообще Россия, как несколько лет назад выразился один внезапно ставший радикальным либералом высокопоставленный партаппаратчик (со стажем аж с 1946 года!), – это "парадигма[14] тысячелетней несвободы", – в отличие от других, "нормальных" стран.

Однако "свобода" – достаточно сложное и многозначное понятие, чье содержание долго и напряженно стремился раскрыть, как известно, Николай Бердяев, которого не без оснований называют "философом свободы". И дальнейшие мои ссылки на суждения Бердяева о проблеме свободы в России обусловлены не тем, что я считаю Николая Александровича мыслителем наивысшего уровня, но тем, что он уделил наибольшее (из представителей русской философии) внимание именно этой проблеме.

Бесспорно, что в России не было той свободы п о л и т и ч е с к о й и э к о н о м и ч е с к о й деятельности, которая присуща западноевропейским странам; Российское государство всегда стремилось безраздельно держать в своих руках основные рычаги и политики, и экономики. Как справедливо писал накануне катак-

лизма 1917 г. Бердяев, "Россия – самая государственная и бюрократическая страна в мире... Интересы государства занимают совершенно исключительное и подавляющее место в русской истории. Классы и сословия слабо были развиты и не играли той роли, какую играли в истории западных стран... Бюрократия развилась до размеров чудовищных... И она превратилась в самодовлеющее отвлеченное начало; она живет своей собственной жизнью, по своим законам, не хочет быть подчиненной функцией народной жизни".

Но в то же время, продолжает Бердяев, "Россия – страна безграничной свободы *духа* (курсив мой. – *В.К.*)". Эту "внутреннюю свободу русского народа, которую он не уступит ни за какие блага мира", мыслитель противопоставил "внутренней несвободе западных народов, их порабощенности внешним. В русском народе поистине есть свобода духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жаждой земной прибыли и земного благоустройства. Россия – страна *бытовой* (курсив мой; это уже другая сторона дела. – *В.К.*) свободы, неведомой передовым народам Запада, закрепощенным мещанскими нормами... Русский человек с большой легкостью уходит от всякого быта, от всякой нормированной жизни. Тип странника так характерен для России... Странник – самый свободный человек на земле... Величие русского народа и призванность его к высшей жизни сосредоточены в типе странника... Россия – фантастическая страна духовного опьянения... страна самозванцев и пугачевщины... страна мятежная и жуткая в своей стихийности..."[15].

Вполне вероятно возражение такого рода: Бердяев исключительно высоко ценил самую эту категорию "свобода" и потому попытался "приписать" некую не замеченную другими "внутреннюю свободу" своему – на деле всецело "рабскому" – народу. Но вот сочинение, написанное одновременно с цитированным сочинением Бердяева "сторонним" наблюдателем, -- дневник французского посла в России в 1914–1917 гг. Мориса Палеолога. Этот человек, как полагают специалисты, не был особо выдающимся дипломатом, однако из целого ряда его способных удивить точных п р е д в и д е н и й ясно, что он обладал и замечательной наблюдательностью, и незаурядным умом.

Российское государство Палеолог характеризует, в сущности, совершенно так же, как Бердяев, констатируя в записи от 13 января 1917 г. (по российскому календарю – 31 декабря 1916 г.), что "вне царского строя, т.е. вне его административной олигархии, ничего нет: ни контролирующего механизма, ни автономных ячеек, ни прочно устанавливаемых партий, ни социальных группировок..."[16], – и справедливо видя в этом кардинальное отличие России от стран Запада.

Но французский посол, как и Бердяев, видит и "другую сторону", – правда, толкуя ее смысл и значение по-иному, ибо, естественно, смотрит на Россию с точки зрения Запада; то, что Бердяева в большей степени восхищает (хотя отчасти и ужасает), у Палеолога вызывает почти один только "ужас"...

28 (т.е. 15-го) февраля – еще за две недели до начала Революции – Палеолог записывает: «На какую ни стать точку зрения... русский представляет всегда парадоксальное явление чрезмерной покорности, соединенной с сильнейшим духом возмущения.

Мужик известен своим терпением и фатализмом, своим добродушием и пассивностью, он иногда поразительно прекрасен в своей кротости и покорности. Но вот он вдруг переходит к протесту и бунту. И тотчас его неистовство доводит его до ужасных преступлений и жестокой мести, до пароксизма преступности и дикости...

Нет излишеств, на которые не были бы способны русский мужчина или русская женщина, лишь только они решили "утвердить свою свободную личность"...

Можно отчаяться во всем. О как я понимаю посох Ивана Грозного и дубинку Петра Великого!»[17].

Это признание необходимости государственного деспотизма в России как бы "оправдывается" в предшествующей записи Палеолога от 20 (7) февраля 1917 г.: "Разумеется, эволюция является общим законом..." Но на Западе "самые быстрые и полные изменения связаны с переходными периодами, с возвратами к старому, с постепенными переходами. В России чашка весов не колеблется – она сразу получает решительное движение. Все разом рушится, все – образы, помыслы, страсти, идеи, верования, все здание"[18]. Следовательно, необходимо держать этот народ железной рукой...

Наконец, уже после февральского переворота, 20 (7) апреля 1917 г., французский посол внес в дневник свою речь, обращенную к тем его соотечественникам, которые возлагали великие надежды на революцию, будто бы ведущую Россию к преобразованию в "западном" духе: "Русская революция... может привести лишь к ужасной демагогии черни и солдатчины, к разрыву всех национальных связей, к полному развалу России. При необузданности, свойственной русскому характеру, она скоро дойдет до крайности... Вы не подозреваете огромности сил, которые теперь разнузданы..." И всего через десять дней, 30 (17) апреля, Палеолог констатирует: "Анархия поднимается и разливается с неукротимой силой... В армии исчезла какая бы то ни было дисциплина... Исчисляют более чем в 1.200000 человек количество дезертиров, рассыпавшихся по России..."[19].

Знатоки сочинений Бердяева могут напомнить, что и он после революции, – например, в статье "Духи русской революции", опубликованной в известном сборнике "Из глубины" (1918), – писал о "безграничной свободе" русского народа совсем иначе, чем ранее, – в сущности, примерно так же, как Палеолог. Да, Николай Александрович был весьма неустойчив и переменчив даже в основных своих воззрениях. Однако впоследствии, подводя итоги своих размышлений после четверти века жизни на Западе, он писал в автобиографическом "завещании" (глава "Россия и мир Запада"), по сути дела, так же, как перед 1917 г.:

"...в русской природе, в русских домах, в русских людях я часто чувствовал жуткость, таинственность, чего я не чувствую в Западной Европе... Западная душа гораздо более рационализирована, упорядочена, организована... придавленная нормами цивилизации...

Когда сравниваешь русского человека с западным, то поражает его недетерминированность, нецелесообразность, отсутствие границ, раскрытость в бесконечность... Западный человек приговорен к определенному месту и профессии, имеет затверделую формацию души..."[20].

Обратимся теперь к предреволюционному бердяевскому сочинению "Душа России", где речь шла о том, что русский народ – самый свободный в духовном и бытовом плане, а в то же время "бюрократическое государство" в России развилось в нечто чудовищное. "Никакая философия истории, славянофильская или западническая, – писал Бердяев, – не разгадала еще, почему самый безгосударственный народ создал такую огромную и могущественную государственность..?"[21].

И в самом деле мысль и славянофильского и западнического склада, в силу своей односторонности, как бы проходила мимо этого чрезвычайно существенного вопроса. Но на него просто и вместе с тем вполне точно ответил, например, Чаадаев,

философия истории которого сложилась ранее драматического раскола русской мысли на славянофильство и западничество, хотя Петр Яковлевич был совершенно безосновательно причислен к западникам[22].

Чаадаев писал, в частности, что Россия к концу XVI в. уже являла собой громадное государство, но в то же время состояла из сравнительно "немногочисленного населения, *бродившего* (курсив мой. – *В.К.*) на пространстве между 65° и 45° (северной) широты (т.е. двухтысячеверстное расстояние между Белым и Азовским морями; "яркий", надо признать, "образ" России... – *В.К.*)... несомненно то, что нужно было... положить конец бродячей жизни... Таково было обоснование административной меры, клонившейся к установлению более стабильного порядка вещей. Этой мерой (имеется в виду указ об отмене "крестьянского выхода" в 1581 г. – *В.К.*), как известно, мы обязаны Иоанну IV – этому государю, еще недавно так неверно понятому нашими историками, но память которого всегда была дорога русскому народу...»[23].

Мы видели, что Бердяев чуть ли не выше всего ставил "странничество" русского народа, которое и есть одно из главных проявлений особенной, неведомой Западу, "свободы". Однако вполне ясно (о чем и ведет речь Чаадаев), что без предельно жестокого государственного ограничения, даже подавления "странничества" (или, в чаадаевском понимании, "бродяжничества") страна, да и сам ее народ попросту р а с т в о р и л и с ь бы в тысячеверстных просторах...

Пушкин, мировосприятие которого, как и чаадаевское, сложилось до раскола русской мысли на славянофильство и западничество, так изложил свою беседу с представителем западной демократии – англичанином Кальвилем Фрэнклендом (1797–1876), прожившим около года (1830–1831) в России:

"Я обратился к нему с вопросом: что может быть несчастнее русского крестьянина?

Англичанин. Английский крестьянин.

Я. Как? Свободный англичанин, по вашему мнению, несчастнее русского раба?..

Он. Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своему крестьянину доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу. И это называете вы рабством? Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простору действовать"[24].

Разумеется, можно спорить о степени свободы русского и английского крестьянина (кстати, в Англии "бродяжничество" было решительнейшим образом пресечено утвержденным парламентом еще в конце XV в. законом, согласно которому оно каралось виселицей на обочине дороги). Но суть дела не в "степени" свободы, а в самом созданном веками характере народа.

Уяснение всех "факторов", создавших именно такой характер, потребовало бы нелегкого и объемистого исследования. Но более или менее ясно, что существеннейшую роль играло само российское п р о с т р а н с т в о (уже при Ярославе Мудром Русь по своей территории превосходила всю Западную Европу в целом), а также климат, допускавший полноценное занятие сельскохозяйственными работами в продолжение всего лишь 4–5, максимум (в самых южных районах) 6 месяцев, между тем как в странах Запада сельскохозяйственный сезон длился 8–10 месяцев. Краткость периода основной деятельности (она длилась, в сущности, менее трети года – от "Ирины Рассадницы", 5 мая по старому стилю, до "третьего Спаса" –

16 августа, "дожинки") способствовала "бродяжничеству" (в самом широком смысле слова) русского народа, а с другой стороны, порождала привычку к недолгому, но крайнему напряжению сил.

Обо всем этом, между прочим, писал в 1970-х годах широко известный американский "русовед" (и в то же время – явный "русофоб") Ричард Пайпс[25], но, признавая "закономерность" и даже неизбежность кардинальных отличий российского бытия от западного, он – как это ни противоречит логике – тут же самым резким образом "обличает" Россию за эти ее отличия от Запада...

Итак, отмечены "обстоятельства" (вернее, их часть), определившие склад русского народа, который с особенной силой обнаруживался во всеохватывающих "бунтах", разражавшихся при тех или иных существенных ослаблениях государственной власти. Так было и в Смутное время начала XVII в., когда (помимо прочего) с пресечением династии Рюриковичей власть утратила "легитимность"; и в пору Пугачевщины, главную причину которой русская историография (прежде всего Ключевский[26]) усматривает в "смуте" внутри самого государства, порожденной действиями дворянской олигархии, убившей Петра III и посадившей на престол Екатерину II, которая не сразу смогла восстановить твердую власть; и, конечно, в 1917 г.

Вообще авторитарная власть – в отличие от демократической – в любой момент может стать объектом народного возмущения и даже бунта. Об этом, между прочим, совершенно точно сказал в своем цитированном выше дневнике Морис Палеолог: "...демократия... не нарушая своих принципов... может сочетать в себе *все виды гнета* (здесь и далее курсив мой. – *В.К.*) политического, религиозного, социального. Но, при демократическом строе, деспотизм становится *неуловимым*, так как он распыляется по различным учреждениям, он не воплощается ни в каком одном лице, он вездесущ, и в то же время его нет нигде: оттого он, как пар, наполняющий пространство, невидим, но удушлив, он как бы сливается с национальным климатом. Он нас раздражает, от него страдают, на него жалуются, но не на кого обрушиться. Люди обыкновенно *привыкают к этому злу* и подчиняются. Нельзя же сильно ненавидеть то, чего не видишь.

При самодержавии же, – противопоставляет Палеолог, – наоборот, деспотизм проявляется в самом, так сказать, сгущенном, массивном, самом конкретном виде. Деспотизм тут воплощается в одном человеке и *вызывает величайшую* ненависть"[27].

Суждения Палеолога находят полное подтверждение в таком, например, способном поразить соотношении исторических фактов. При самом жестоком царе Иване IV, как точно установлено новейшими исследованиями, в России было казнено от 3 до 4 тысяч человек[28], а при короле Генрихе VIII, правившем в Англии (1509–1547) накануне правления Ивана IV, только за "бродяжничество" было повешено 72 тысячи согнанных с земли в ходе так называемых "огораживаний" крестьян[29].

И второе сопоставление: как всем известно, в 1826 г. в России были повешены пять декабристов, а позднее, в 1848-м, во Франции были расстреляны за бунт против закрытия "национальных мастерских" 11 тысяч (!) из потерявших средства к существованию и потому восставших работников[30].

Однако казни, совершавшиеся в России, вызывали и вызывают неизмеримо большее возмущение, ибо предстают как "личный" произвол Ивана IV и Николая I, а не как "безличные" проявления действия закона: английские "бродяги"

нарушали принятый парламентом закон (а как известно с времен Рима, суров закон, но закон...); точно так же и "национальные мастерские" во Франции были ликвидированы по решению избранного народом парламента...

В свете этих фактов размышления Палеолога о различии демократического и авторитарного строя становятся, так сказать, ясными до конца.

Обсуждение вроде бы далеко ушло от проблемы интеллигенции, но в действительности ее следует ставить и решать именно в таком "всеохватывающем" плане. Без особого упрощения можно утверждать, что интеллигенция в России играет роль, аналогичную роли "демократических" институтов и учреждений в странах Запада, стремясь быть "посредницей" между народом и государством.

Это, помимо прочего, явствует из того бесспорного факта, что основные деятели российской интеллигенции усматривали конечную цель своих усилий именно в создании полноправного органа "представительной" власти, причем такое стремление в равной мере присуще и западническим, и славянофильским деятелям, хотя первые звали к парламенту западного типа, а вторые – к "собору", основы которого они находили в Древней Руси, что, впрочем, было, в сущности, иллюзией; так, виднейший современный исследователь древнего Новгорода, В.Л. Янин, показал, что считающееся истинным воплощением всенародной воли в е ч е в действительности представляло собой заседание (на вече именно сидели) боярско-купеческих верхов города, т.е. было, строго говоря, выражением о л и г а р х и и, а не демократии в собственном смысле слова[31].

В общем виде все это отчетливо понимал уже упоминавшийся основоположник русской мысли XIX в. Чаадаев. Он писал, что присущий России "ход событий... был лишь необходимым последствием порядка вещей, зависящего от самой природы социальной среды, в коей он осуществлялся, или от нравственного склада народа... Раскройте первые страницы нашей истории, размышляйте над ними... и вы увидите, что в формах, в разнообразно сочетающихся условиях нашего национального существования и с самых первых его лет все предвещает это неизбежное развитие общества. Вы увидите, что уже с самой колыбели оно несет в себе зародыш всего того, что возмущает ныне *поверхностные умы* (курсив мой. – *В.К.*), вылившиеся в формы, свойственные чуждому миру...

Среди всего этого, – заключает Чаадаев, – вы можете усмотреть и выборное начало, слабое, неопределенное, бессильное... Это выборное начало, как конец, столь ничтожно, что наша история упоминает о нем как будто лишь для того, чтобы показать его ничтожность..."[32] (кстати сказать, это свое умозаключение, как явствует из контекста, Чаадаев противопоставлял и с л а в я н о ф и л ь с к о й, и з а п а д н и ч е с к о й точкам зрения).

Итак, Россия и ее история могут кому-либо нравиться или не нравиться, но Чаадаев убежден в "необходимости", "неизбежности" именно такого "порядка вещей" в своей стране и утверждает, в частности, что только "поверхностные умы", заглянувшие в "чуждый мир", "возмущает" этот порядок вещей. Между прочим, Чаадаев высказывал в ту же пору предположение, согласно которому в будущем наука, быть может, разовьется до такой степени, "когда она в области социальных идей оперирует так же беспристрастно и безлично, как она это делает в сфере чистого мышления"; при этом условии "она действительно может влиять на народ"[33].

Конечно, это только гипотеза, да и даже если бы она стала реальностью, все равно "в области социальных идей" едва ли бы полностью возобладало "беспристрастное" и "безличное" познание, ибо в этой "области" идет непрерывная идеологическая борьба.

И, как уже говорилось, одни видят в интеллигенции единственное позитивное явление России, другие – чуть ли не самое негативное. И тех, и других можно, воспользовавшись чаадаевским определением, отнести к "поверхностным умам", но это "качество" нередко обусловлено не отсутствием познавательных способностей, а подменой п о з н а н и я политико-идеологическими о ц е н к а м и .

Разумеется, вполне уместно по-разному оценивать те или иные настроения и волеизъявления интеллигенции; но в целом интеллигенция – н е о б х о д и м а я "посредница" между именно тем н а р о д о м и именно тем г о с у д а р с т в о м, которые – опять-таки с необходимостью – существуют в России.

К сожалению, приходится признать, что весьма широко распространен "оценочный" подход и к этим феноменам, и даже к России в целом. Есть немало авторов и ораторов, которые без колебаний готовы объявить и весь исторический путь России, и тем более какие-либо эпохи ее истории (скажем, "допетровскую" или, напротив, "послепетровскую") "плохими", "неправильными", "ошибочными" и т.п. Перед нами, если вдуматься, совершенно нелепая претензия индивидов, которые в конечном счете убеждены, что если бы бытие великой страны совершалось в соответствии с их "идеями", то Россия предстала бы как нечто принципиально более "позитивное", нежели в действительности.

Кстати сказать, сама постановка вопроса об "ошибочности" пути России в сущности столь же "легкомысленна", как и объявление "ошибкой" (а индивиды с подобными претензиями имеются) истории человечества в целом и, далее, истории самой Вселенной... Но и "отрицание" интеллигенции, которая явно н е м о г л а н е возникнуть в России, оказывается именно в ряду этого рода претензий...

По поводу вышеизложенного вполне вероятно возражение следующего характера: уместно ли говорить об интеллигенции вообще, т.е. как о более или менее е д и н о й общественной силе? Правомерно ли включать в интеллигенцию во многих отношениях совершенно различные и подчас резко противостоящие друг другу группы и объединения людей?

Ответ на подобные вопросы дает, как мне представляется, именно тезис о "посреднической" роли интеллигенции. Правда, одна часть интеллигенции, так сказать, апеллирует прежде всего к народу (вплоть до призывов его к восстанию), а другая, которую нередко называют "консервативной", – главным образом к государству, стремясь побудить его к изменению его "программы" или же "методов" ее реализации, и в частности предупреждая о вероятности "бессмысленного и беспощадного" русского бунта.

В высшей степени характерно, что на р а н н и х этапах развития интеллигенции эти два ее устремления совмещаются, выступают в единстве. Так, Александр Радищев и воспевает казнь деспотического властителя:

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит...

Ликуйте склепанны народы;
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя...[34], –

и одновременно предупреждает власть: "Я приметил из многочисленных примеров, что Русской народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость... Не ведаете ли... коликая нам предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности..."[35].

Позднее интеллигенция в этом отношении "раздваивается" (подчас даже "терминологически", например на "народников" и "государственников"), но так или иначе представляет собой все же определенное единство, пребывающее между народом и государством (тем самым очерчиваются границы, рамки этого единства). Уже не раз цитированный Чаадаев писал по поводу недовольства людей своего круга (т.е. в конечном счете интеллигенции) государственными притеснениями: "Правительство делает свое дело, только и всего, давайте делать свое..."[36].

И существенное единство интеллигенции – при всех противоречиях внутри нее – заключается в том, что она "делает свое дело". Как уже сказано, представители интеллигенции, полностью переходившие на сторону государства, в сущности, переставали принадлежать к ней, превращаясь в чиновников различного ранга, хотя часть таких людей все же настоятельно стремилась продолжать служить делу интеллигенции.

Если внимательно и (насколько это возможно) беспристрастно вглядеться в те высказывания об интеллигенции, в которых ее (как уже говорилось, с совершенно разных позиций) проклинают, выяснится, что речь-то идет, по сути дела, о "крайних" течениях в ней, каковые либо побуждают народ к бунту, либо, напротив, требуют – как веховцы – полного примирения с диктатом авторитарного государства, т.е. о течениях, пренебрегающих основной миссией интеллигенции, стремящейся к "равновесию" народа и государства.

Что же касается "превознесения" интеллигенции, абсолютизации ее роли, это опять-таки своего рода "крайность". Так, лидер кадетов Милюков (в высшей степени склонный к абсолютизации интеллигенции) в ноябре 1916 г. объявил, что российская власть представляет собой агентуру Германии (хотя, по его позднейшему признанию, не был в этом "уверен"[37]), а в мае 1918 г., напротив, попытался призвать германскую армию захватить Петербург и Москву, чтобы свергнуть новую (советскую) власть. В ответ на суждение своего сподвижника В.А. Оболенского: "народ вам этого не простит", – Милюков "холодно" возразил: "Бывают исторические моменты, когда с народом не приходится считаться"[38].

Это убеждение в своем праве "не считаться" ни с государством, ни с народом свойственно определенной части интеллигенции, которую приходится признать в своем роде "экстремистской"; правда, тот же Милюков не похож на экстремиста, но в "экстремальной" ситуации оказался способным на столь крайние волеизъявления. Милюковский экстремизм вызвал "категорическое осуждение" кадетского ЦК, и столь чтимый Павел Николаевич вынужден был оставить пост председателя этого ЦК, который занимал в течение 11 лет (его место занял более "умеренный" князь Павел Долгоруков)[39].

Вместе с тем подобного рода факты свидетельствуют о главном: о "местопребывании" интеллигенции м е ж д у народом и государством; нарушение этого

"статуса" дискредитировало даже такого кумира интеллигенции, как Милюков.

И в основе своей российская интеллигенция так или иначе осуществляла свое "назначение" и до 1917 г., и после него, – пусть и имеется масса примеров "экстремизма" и "предательства".

Вполне закономерно, что в наши дни, когда, как многие еще и сегодня полагают, что в России создается демократический строй, формируется "правовое государство" в западном духе, нередко слышатся голоса о неизбежном о т м и р а н и и интеллигенции. Вопрос только в том, возможна ли демократия западного типа в России? Ведь для ее осуществления необходимо не только создать демократические институты и процедуры, но и п р е о б р а з о в а т ь сам н а р о д страны...

В заключение позволю себе еще раз процитировать Чаадаева (это особенно уместно, поскольку его великое наследие подверглось грубой фальсификации и вообще остается почти неосвоенным): "Идея законности, идея права для русского народа – *бессмыслица* (выделено Чаадаевым. – *В.К.*)... Никакая сила в мире не заставит нас выйти из того круга идей, на котором построена вся наша история, который... составляет всю поэзию нашего существования"[40], в том числе, добавлю от себя, поэзию существования интеллигенции, воссозданную во всей ее полноте русской литературой и искусством...

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Малая Советская Энциклопедия. М., 1930. Т. 3. С. 475.

[2] Большая Советская Энциклопедия. М., 1972. Т. 10. С. 311. Не исключено, что в литературное произведение это слово первым ввел Боборыкин, но в устной речи оно, по всей вероятности, зазвучало раньше (оно, кстати, зафиксировано уже "Толковым словарем живого великорусского языка" В.И. Даля).

[3] *Волконский С.Г.* Записки. СПб., 1902. С. 135–136.

[4] См.: Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. 2-е изд. М., 1909. С. 162–163.

[5] Там же. С. 164.

[6] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 17. С. 208.

[7] *Капустин М.* "Задворки мировой цивилизации" и поиск нового курса // Независимая газета. 1997. 6 дек. С. 5.

[8] См.: *Кива А.* Затея в духе старых добрых времен; *Журавлев Н.* Почему я не интеллигент РФ // НГ – Сценарии. Приложение к "Независимой газете". 1997. Декабрь. С. 4, 5.

[9] Вехи... С. 163.

[10] См. об этом: Лит. наследство. М., 1950. Т. 56: В.Г. Белинский. С. 513–605.

[11] *Розанов В.В.* О писательстве и писателях. М., 1995. С. 598–599. В последней фразе – ссылка на "Дневник писателя" Достоевского.

[12] Там же. С. 502–503.

[13] Там же. С. 556–557.

[14] По-видимому, от английского слова *paradigm* (восходящего к древнегреческому) 'образец'.

[15] *Бердяев Н.* Судьба России: Опыты по психологии войны и национальности. М., 1918. С. 6–7, 12–14.

[16] *Палеолог М.* Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 22. (Репринт издания 1923 г.)

[17] Там же. С. 330–332.

[18] Там же. С. 56–57.

[19] Там же. С. 430, 449.

[20] *Бердяев Н.А.* Самопознание: (Опыт философской автобиографии). М., 1991. С. 253, 285.

[21] *Бердяев Н.А.* Душа России // Бердяев Н.А. Судьба России... С. 7.

[22] См. обо всем этом: *Кожинов В.В.* Пушкин и Чаадаев: К истории русского самосознания // Пушкин и современная культура. М., 1996. С. 138–161; *Он же.* Судьба России: вчера, сегодня, завтра. М., 1997. С. 334–365.

[23] *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. и избр. письма. М., 1991. Т. 2. С. 164–165.

[24] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. М., 1949. Т. 11. С. 231–232.

[25] *Пайпс Р.* Россия при старом режиме. М., 1993. С. 12–28.
[26] *Ключевский В.О.* Соч. М., 1958. Т. 5. С. 180–181.
[27] *Палеолог М.* Указ. соч. С. 145–146.
[28] *Скрынников Р.Г.* Иван Грозный. М., 1975. С. 191; см. также: *Альшиц Д.Н.* Начало самодержавия в России: Государство Ивана Грозного. Л., 1988. С. 147.
[29] *Осиновский И.Н.* Томас Мор. М., 1974. С. 62.
[30] Новая история (первый период). М., 1972. С. 424.
[31] *Янин В. Л.* Социально-политическая структура Новгорода в свете археологических исследований // Новгородский исторический сборник 1 (11). Л., 1982. С. 93, 94.
[32] *Чаадаев П.Я.* Указ. соч. С. 163, 164.
[33] Там же. С. 192.
[34] *Радищев А.* Путешествие из Петербурга в Москву. СПб., 1790. С. 362–363. (Репринт 1935 г.)
[35] Там же. С. 128, 260.
[36] *Чаадаев П.Я.* Указ соч. С. 96.
[37] *Милюков П.Н.* Воспоминания. М., 1991. С. 282.
[38] Цит. по: *Думова Н.Г.* Кадетская контрреволюция и ее разгром (октябрь 1917–1920 гг.). М., 1982. С. 110.
[39] Там же. С. 117.
[40] *Чаадаев П.Я.* Указ. соч. С. 494.

II

А.И. Солженицын
ОБРАЗОВАНЩИНА[1]

1

Роковые особенности русского предреволюционного образованного слоя были основательно рассмотрены в "Вехах" – и возмущенно отвергнуты всею интеллигенцией, всеми партийными направлениями от кадетов до большевиков. Пророческая глубина "Вех" не нашла (и авторы знали, что не найдут) сочувствия читающей России, не повлияла на развитие русской ситуации, не предупредила гибельных событий. Вскоре и название книги, эксплуатированное другою группою авторов ("Смена вех") узко политических интересов и невысокого уровня, стало смешиваться, тускнеть и вовсе исчезать из памяти новых русских образованных поколений, тем более – сама книга из казенных советских библиотек. Но и за 60 лет не померкли ее свидетельства: "Вехи" и сегодня кажутся нам как бы присланными из будущего. И только то радует, что через 60 лет, кажется, утолщается в России слой, способный эту книгу поддержать.

Сегодня мы читаем ее с двойственным ощущением: нам указываются язвы как будто не только минувшей исторической поры, но во многом – и сегодняшние наши. И потому всякий разговор об интеллигенции сегодняшней (по трудности термина "интеллигенция" пока, для первой главы, понимая ее: "вся масса тех, кто так себя называет", интеллигент – "всякий, кто требует считать себя таковым") почти нельзя провести, не сравнивая нынешних качеств с суждениями "Вех". Историческая оглядка всегда дает и понимание лучшее.

Однако, нисколько не гонясь сохранить тут цельность веховского рассмотрения, мы позволим себе, со служебною целью сегодняшнего разбора, суммировать и перегруппировать суждения "Вех" в такие четыре класса:

а) *Недостатки той прошлой интеллигенции*, важные для русской истории, но сегодня угасшие, или слабо продолженные, или диаметрально обернутые.

Кружковая искусственная выделенность из общенациональной жизни. (Сейчас – значительная сращенность, через служебное положение.) Принципиальная напряженная противопоставленность государству. (Сейчас – только в тайных чувствах и

Статья из самиздатского сборника "Из-под глыб", впервые опубликованная по-русски в Париже в издательстве YMCA-press в 1974 г. В 1975 г. сборник был издан во Франции, в США, Англии и Западной Германии. Впервые в России вышел в 1990 г. в издательстве "Из глубин".

© А.И. Солженицын, 2000

в узком кругу отделение своих интересов от государственных, радость от всякой государственной неудачи, пассивное сочувствие всякому сопротивлению, своя же на деле – верная государственная служба.) Моральная трусость отдельных лиц перед мнением "общественности", недерзновенность индивидуальной мысли. (Ныне далеко оттеснена панической трусостью перед волей государства.) Любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному материальному благу парализовала в интеллигенции любовь и интерес к истине; "соблазн Великого Инквизитора": да сгинет истина, если от этого люди станут счастливее. (Теперь таких широких забот вовсе нет. Теперь: да сгинет истина, если этой ценой сохранюсь я и моя семья.) Гипноз общей интеллигентской веры, идейная нетерпимость ко всякой другой, ненависть как страстный этический импульс. (Ушла вся эта страстная наполненность.) Фанатизм, глухой к голосу жизни. (Ныне – прислушивание и подлаживание к практической обстановке.) Нет слова более непопулярного в интеллигентской среде, чем "смирение". (Сейчас подчинились, и до раболепства.) Мечтательность, прекраснодушие, недостаточное чувство действительности. (Теперь – трезвое, утилитарное понимание ее.) Нигилизм относительно труда. (Изжит.) Негодность к практической работе. (Годность.) Объединяющий всех напряженный атеизм, некритически принимающий, что наука компетентна решить и вопросы религии, притом – окончательно и, конечно, отрицательно; догматы идолопоклонства перед человеком и человечеством; религия заменена верой в научный прогресс. (Спала напряженность атеизма, но он все так же разлит по массе образованного слоя – уже традиционный, вялый, однако с безусловным предпочтением научного прогресса и "человек выше всего".) Инертность мысли; слабость самоценной умственной жизни, даже ненависть к самоценным духовным запросам. (Напротив, за отход от общественной страсти, веры и действия иные образованные люди на досуге и в замкнутой скорлупе, кружке, вознаграждают себя довольно интенсивной умственной деятельностью, но обычно без всякого приложения наружу, иногда – анонимным тайным выходом в Самиздат.)

"Вехи" интеллигенцию преимущественно критиковали, перечисляли ее пороки и недостатки, опасные для русского развития. Отдельного рассмотрения достоинств интеллигенции там нет. Мы же сегодня, углом сопоставительного зрения не упуская качеств нынешнего образованного слоя, обнаружим, как, меж перечислением недостатков, авторы "Вех" упоминают такие черты, которые сегодня нами не могут быть восприняты иначе как:

б) *Достоинства предреволюционной интеллигенции.*

Всеобщий поиск целостного миросозерцания, жажда веры (хотя и земной), стремление подчинить свою жизнь этой вере. (Ничего сравнимого сегодня; усталый цинизм.) Социальное покаяние, чувство виновности перед народом. (Нынче распространено напротив: что народ виновен перед интеллигенцией и не кается.) Нравственные оценки и мотивы занимают в душе русского интеллигента исключительное место; думать о своей личности – эгоизм, личные интересы и существование должны быть безусловно подчинены общественному служению; пуританизм, личный аскетизм, полное бескорыстие, даже ненависть к личному богатству, боязнь его как бремени и соблазна. (Всё – не о нас, всё наоборот!) Фанатическая готовность к самопожертвованию, даже активный поиск жертвы; хотя путь такой проходят единицы, но для всех он – обязательный, единственно достойный идеал. (Узнать невозможно, это – не мы! Только слово общее "интеллигенция" осталось по привычке.)

Не низка ж была русская интеллигенция, если "Вехи" применили к ней критику, столь высокую по требованиям. Мы еще более поразимся этому по группе черт, выставленных "Вехами" как:

в) *Тогдашние недостатки*, по сегодняшней нашей переполюсовке *чуть ли не достоинства.*

Всеобщее равенство как цель, для чего готовность принизить высшие потребности одиночек. Психология героического экстаза, укрепленная государственными преследованиями; партии популярны по степени своего бесстрашия. (Нынешние преследования жесточе, систематичней и вызывают подавленность, не экстаз.) Самочувствие мученичества и исповедничества; почти стремление к смерти. (Теперь – к сохранности.) Героический интеллигент не довольствуется ролью скромного работника, его мечта – быть спасителем человечества или по крайней мере – русского народа. Экзальтированность, иррациональная приподнятость настроения, опьянение борьбой. Убеждение, что нет другого пути, кроме социальной борьбы и разрушения существующих общественных форм. (Ничего сходного! Нет другого пути, кроме подчинения, терпения, ожидания милости.)

Но – не все духовное наследство растеряли мы. Узнаём и себя.

г) *Недостатки, унаследованные посегодня.*

Нет сочувственного интереса к отечественной истории, чувства кровной связи с ней. Недостаток чувства исторической действительности. Поэтому интеллигенция живет в ожидании социального чуда (тогда – много и делали для него, теперь – укрепляя, чтобы чуда не было, и... ожидая его!). Все зло – от внешнего неустройства, и потому требуются только внешние реформы. За все происходящее отвечает самодержавие, с каждого же интеллигента снята всякая личная ответственность и личная вина. Преувеличенное чувство своих прав. Претензия, поза, ханжество постоянной "принципиальности" – прямолинейных отвлеченных суждений. Надменное противопоставление себя – "обывателям". Духовное высокомерие. Религия самообожествления, интеллигенция видит в себе Провидение для своей страны.

Всё так совпадает, что и не требует комментариев.

Добавим каплю из Достоевского ("Дневник писателя"):

Малодушие. Поспешность пессимистических заключений.

Так еще много бы оставалось в сегодняшней интеллигенции от прежней – если бы сама *интеллигенция* еще оставалась быть...

2

Интеллигенция! Каков точно ее объем, где ее границы? Одно из излюбленнейших понятий в русских спорах, а употребляется весьма по-разному. При нечеткости термина многое обесценивается в выводах. Авторы "Вех" определяли интеллигенцию не по степени и не по роду образованности, а по идеологии – как некий новый *орден*, безрелигиозно-гуманистический. Они очевидно не относили к интеллигенции инженеров и ученых математического и технического циклов. И интеллигенцию военную. И духовенство. Впрочем, и сама интеллигенция того времени, *собственно интеллигенция* (гуманитарная, общественная и революционная), тоже к себе не относила всех их. Более того, в "Вехах" подразумевается, а у последователей "Вех" укореняется, что крупнейшие русские писатели и философы – Достоевский, Толстой, Вл. Соловьев – тоже не принадлежали к интеллигенции! Для современного читателя это звучит диковато, а между тем в свое время состояло так, и расще-

лина была достаточно глубока. В Гоголе ценили обличение государственного строя и правящих классов. Но, как только он приступил к наиболее дорогим для себя духовным поискам, он был публицистически исхлестан и отрешен от передовой общественности. В Толстом ценили те же разоблачения, еще – вражду к церкви, к высшей философии и творчеству. Но его настойчивая мораль, призывы к опрощению, ко всеобщей доброте воспринимались снисходительно. "Реакционный" Достоевский был и вовсе интеллигенцией ненавидим, был бы вообще наглухо забит и забыт в России и не цитировался бы сегодня на каждом шагу, если бы в XX веке внезапно на уважаемом Западе не вынырнула его громовая мировая слава.

А между тем все не попавшие в собственно интеллигенцию – куда же должны были быть включены? А у них были свои характерные черты, иногда далеко не совпадавшие с теми, какие подытожены в "Вехах". Например, к интеллигенции технической относится лишь малая часть характеристик из "Вех". Не было в ней отделенности от национальной жизни, ни противопоставленности государству, ни фанатизма, ни революционизма, ни ведущей ненависти, ни слабого чувства действительности и т.д. и т.д.

Если принять определение интеллигенции этимологическое, от корня (*intelligere*: понимать, знать, мыслить, иметь понятие о чем-либо), то, очевидно, оно охватило бы во многом иной класс людей, чем те, кто в России рубежа двух веков присвоил себе это звание и в этом качестве рассмотрен в "Вехах".

Г. Федотов остроумно предлагал считать интеллигенцией специфическую группу, "объединяемую идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей".

В. Даль определял интеллигенцию как "образованную, умственно развитую часть жителей", но вдумчиво отмечал, что "для *нравственного образования* у нас нет слова" – для того просвещения, которое " образует и ум, и *сердце*".

Были попытки строить определение интеллигенции на самодвижущей творческой силе, даже вопреки внешним обстоятельствам; на неподражательности образа мысли; на самостоятельной душевной жизни. Во всех этих поисках высшая затрудненность не в формулировке определения и не в характеристике реально существующей общественной группы, а в разности желаний: кого мы *хотели бы* видеть под именем интеллигенции.

Бердяев позже предлагал определение, альтернативное тому, какое рассмотрено в "Вехах": интеллигенция как совокупность духовно избранных людей страны. То есть духовная элита, а не социальный слой.

После революции 05–07 годов начался тихий процесс поляризации интеллигенции: поворота интересов студенческой молодежи и медленного выделения еще очень тонкого слоя с повышенным вниманием ко внутренней нравственной жизни человека, а не ко внешним общественным преобразованиям. Так что авторы "Вех" не вовсе были в тогдашней России одинокими. Однако этому неслышному хрупкому процессу выделения нового типа интеллигенции (вслед за тем расщепился бы и уточнился сам термин) не суждено было в России произойти: его смешала и раздавила первая мировая война, затем стремительный ход революции. Чаще многих других произносилось в русском образованном классе слово "интеллигенция", – но так, за событиями, и не успело получить обстоятельно-точного смысла.

А дальше – условий и времени было еще меньше. 1917 год был идейным крахом "революционно-гуманистической" интеллигенции, как она очерчивала сама себя. Впервые ей пришлось от одиночного террора, от кипливой кружковщины,

от партийного начетничества и необузданной общественной критики правительства перейти к реальным государственным действиям. И, в полном соответствии с печальными прогнозами авторов "Вех" (еще отдельно у С. Булгакова: "интеллигенция в союзе с татарщиной... погубит Россию"), интеллигенция оказалась не способна к этим действиям, сробела, запуталась, ее партийные вожди легко отрекались от власти и руководства, которые издали казались им такими желанными, – и власть, как обжигающий шар, отталкиваемая от рук к рукам, докатилась до тех, что ловили ее и были кожею приготовлены к ее накалу (впрочем, тоже интеллигентские руки, но особенные). Интеллигенция сумела раскачать Россию до космического взрыва, да не сумела управить ее обломками. (Потом, озираясь из эмиграции, сформулировала интеллигенция оправдание себе: оказался "народ – не такой", "народ обманул ожидания интеллигенции". Так в этом и состоял диагноз "Вех", что, обожествляя народ, интеллигенция не знала его, была от него безнадежно отобщена! Однако незнанье – не оправданье. Не зная ни народа, ни собственных государственных сил, надо было десятижды остеречься непроверенно кликать его и себя в пустоту.)

И как та кочерга из присказки, в темной избе неосторожно наступленная ногою, с семикратной силой ударила олуха по лбу, так революция расправилась с пробудившей ее русской интеллигенцией. После царской бюрократии, полиции, дворянства и духовенства следующий уничтожительный удар успел по интеллигенции еще в революционные 1918–20 годы, и не только расстрелами и тюрьмами, но холодом, голодом, тяжелым трудом и насмешливым пренебрежением. Ко всему тому интеллигенция в своем героическом экстазе готова не была и – чего уж от самой себя никак не ожидала – в гражданскую войну потянулась частью под защиту бывшего царского генералитета, а затем и в эмиграцию, иные не первый уже раз, но теперь – вперемешку с той бюрократией, которую недавно сама подрывала бомбами.

Заграничное существование, в бытовом отношении много тяжче, чем в прежней ненавидимой России, однако, отпустило осколкам русской интеллигенции еще несколько десятилетий оправданий, объяснений и размышлений. Такой свободы не досталось большей части интеллигенции – той, что осталась в СССР. Уцелевшие от гражданской войны не имели простора мысли и высказывания, как они были избалованы раньше. Под угрозою ГПУ и безработицы они должны были к концу 20-х годов либо принять казенную идеологию в качестве своей задушевной, излюбленной, или погибнуть и рассеяться. То были жестокие годы испытания индивидуальной и массовой стойкости духа, испытания, постигшего не только интеллигенцию, но, например, и русскую церковь. И можно сказать, что церковь, к моменту революции весьма одряхлевшая и разложенная, быть может из первых виновниц русского падения, выдержала испытание 20-х годов гораздо достойнее: имела и она в своей среде предателей и приспособителей (обновленчество), но и массою выделила священников-мучеников, от преследований лишь утвердившихся в стойкости и под штыками погнанных в лагеря. Правда, советский режим был к церкви намного беспощаднее, а перед интеллигенцией приопахнул соблазны: соблазн *понять Великую Закономерность*, осознать пришедшую железную Необходимость как долгожданную Свободу – осознать *самим*, сегодня, толчками искреннего сердца, опережающими завтрашние пинки конвойных или зашеины общественных обвинителей, и не закиснуть в своей "интеллигентской гнилости", но утопить свое "я" в Закономерности, но заглотнуть горячего проле-

тарского ветра и шаткими своими ногами догонять уходящий в светлое будущее Передовой Класс. А для догнавших – второй соблазн: своим интеллектом вложиться в Небывалое Созидание, какого не видела мировая история. Еще бы не увлечься!.. Этим ретивым самоубеждением были физически спасены многие интеллигенты и даже, казалось, не сломлены духовно, ибо с полной искренностью, вполне добровольно отдавались новой вере. (И еще долго потом высились – в литературе, в искусстве, в гуманитарных науках – как заправдошние стволы, и только выветриванием лет узналось, что это стояла одна пустая кора, а сердцевины уже не было.) Кто-то шел в это "догонянье" Передового Класса с усмешкою над самим собой, лицемерно, уже поняв смысл событий, но просто спасаясь физически. Парадоксально, однако (и этот процесс повторяется сегодня на Западе), что большинство шло вполне искренно, загипнотизированно, охотно дав себя загипнотизировать. Процесс облегчался, увернялся захваченностью подрастающей интеллигентской молодежи: огненнокрылыми казались ей истины торжествующего марксизма – и целых два десятилетия, до второй мировой войны, несли нас те крылья. (Вспоминаю как анекдот: осенью 1941, уже пылала смертная война, я – в который раз и всё безуспешно – пытался вникнуть в мудрость "Капитала".)

В 20-е и 30-е годы усиленно менялся, расширялся и самый состав прежней интеллигенции, как она сама себя понимала и видела.

Первое естественное расширение было – на интеллигенцию техническую ("спецы"). Впрочем, как раз техническая, стоявшая на прочной деловой почве, реально связанная с национальной промышленностью и на совести не имевшая греха соучастия в революционных жестокостях, значит, и без нужды сплетать горячее оправдание Новому Строю и к нему льнуть, – техническая интеллигенция в 20-е годы оказала гораздо большую духовную стойкость, чем гуманитарная, не спешила принять Идеологию как единственно возможное мировоззрение, а по независимости своей работы и физически устояла притом.

Но были и другие формы расширения – и разложения! – прежнего состава интеллигенции, уверенно направляемые государственные процессы. Один – физическое прервание традиции интеллигентских семей: дети интеллигентов имели почти нулевые права на поступление в высшие учебные заведения (путь открывался лишь через личное подчинение и перерождение молодого человека: комсомол). Другой – спешное создание рабфаковской интеллигенции, при слабой научной подготовке, – "горячий" пролетарско-коммунистический поток. Третий – массовые аресты "вредителей". Этот удар пришелся больше всего по интеллигенции технической: разгромив меньшую часть ее, остальных смертельно напугать. Процессы шахтинский, Промпартии и несколько мелких в обстановке уже общей напуганности в стране успешно достигли своей цели. С начала 30-х годов техническая интеллигенция была приведена также к полной покорности, 30-е годы были успешной школой предательства уже и для нее: так же покорно голосовать на митингах за любые требуемые казни; при уничтожении одного брата другой брат послушно брал на себя хоть и руководство Академией наук; уже не стало такого военного заказа, который русские интеллигенты осмелились бы оценить как аморальный, не бросились бы поспешно-угодливо выполнять[2]. Удар пришелся не только по старой интеллигенции, но уже отчасти и по рабфаковской, он избирал по принципу непокорности и так все более пригибал оставшуюся массу. Четвертый процесс – "нормальные" советские пополнения интеллигенции – кто прошел все свое 14-летнее образование при советской власти и генетически был связан только с нею.

В 30-е же годы совершилось и новое, уже необъятное, расширение "интеллигенции": по государственному расчету и покорным общественным сознанием в нее были включены миллионы государственных служащих, а верней сказать: вся интеллигенция была зачислена в *служащих*, иначе и не говорилось и не писалось тогда, так заполнялись анкеты, так выдавались хлебные карточки. Всем строгим регламентом интеллигенция была вогнана в служебно-чиновный класс, и само слово "интеллигенция" было заброшено, упоминалось почти исключительно как бранное. (Даже свободные профессии через "творческие союзы" были доведены до служебного состояния.) С тех пор и пребывала интеллигенция в этом резко увеличенном объеме, искаженном смысле и умаленном сознании. Когда же, с конца войны, слово "интеллигенция" восстановилось отчасти в правах, то уж теперь и с захватом многомиллионного мещанства служащих, выполняющих любую канцелярскую или полуумственную работу.

Партийное и государственное руководство, правящий класс в довоенные годы не давали себя смешивать ни со "служащими" (они – "рабочими" оставались), ни тем более с какой-то прогнившей "интеллигенцией", они отчетливо отгораживались как "пролетарская" кость. Но после войны, а особенно в 50-е, еще более в 60-е годы, когда увяла и "пролетарская" терминология, все более изменяясь на "советскую", а с другой стороны и ведущие деятели интеллигенции все более допускались на руководящие посты, по технологическим потребностям всех видов управления, – правящий класс тоже допустил называть себя "интеллигенцией" (это отражено в сегодняшнем определении интеллигенции в БСЭ), и "интеллигенция" послушно приняла и это расширение.

Насколько чудовищно мнилось до революции назвать интеллигентом священника, настолько естественно теперь зовется интеллигентом партийный агитатор и политрук.

Так, никогда не получив четкого определения интеллигенции, мы как будто и перестали нуждаться в нем. Под этим словом понимается в нашей стране теперь *весь образованный слой*, все, кто получил образование выше семи классов школы.

По словарю Даля, *образовать* в отличие от *просвещать* означает: придать лишь наружный лоск.

Хотя и этот лоск у нас довольно третьего качества, в духе русского языка и верно по смыслу будет: сей образованный слой, всё то, что самозванно или опрометчиво зовется сейчас "интеллигенцией", называть *образованщиной*.

3

Так – произошло, и с историей уже не поспоришь: согнали нас в образованщину, утопили в ней (но и *мы дали* себя согнать, утопить). С историей не поспоришь, а в душе – протест, несогласие: не может быть, чтоб так и осталось! Воспоминанием ли прошлого, надеждой ли на будущее: *мы* – другие!..

Некто Алтаев (псевдоним, статья "Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура" в № 97 "Вестника РСХД"), признавая это численное умножение, растворение интеллигенции и смыкание ее с бюрократией, всё же ищет рычаг, которым бы отделить интеллигенцию от растворяющей массы. Он находит его в "родовом признаке" интеллигенции, якобы отличавшим ее и до революции и сейчас, так что можно признать его за "определение" интеллигенции: что это "уникальная категория лиц", не повторявшаяся никогда ни в одной стране, живущая в "сознании кол-

лективной отчужденности" от "своей земли, своего народа и своей государственной власти". Но, не говоря об искусственности такого определения (и не такой уж уникальности ситуации), можно возразить, что дореволюционная интеллигенция (в "веховском" определении) именно сознания отчужденности от своего *народа* не имела, напротив, уверена была в своем полновластии высказываться от его имени; а интеллигенция современная вовсе не отчуждена от современного *государства*: те, кто ощущают так – сами с собой или в узком кругу своих, зажато-тоскливо, обреченно, отданно, – не только *держат* государство всею своей повседневной интеллигентской деятельностью, но принимают и исполняют даже более страшное условие государства: участие *душой* в обязательной общей лжи. Куда ж дальше? Еще может быть можно остаться "отчужденным", отдаваясь только телом, только мозгом, только специальными познаньями, – но не душой же! Интеллигенция прежняя действительно была противопоставлена государству до открытого разрыва, до взрыва, так оно и случилось, – об интеллигенции нынешней сам же Алтаев в противоречие себе пишет, что "она не смела выступить при советской власти не только оттого, что ей не давали этого сделать, но и оттого в первую очередь, что ей *не с чем* было выступить. Коммунизм был ее собственным детищем... в том числе и идеи террора... В ее сознании не было принципов, существенно отличавшихся от принципов, реализованных коммунистическим режимом", интеллигенция сама "причастна ко злу, к преступлению, и это больше, чем что-либо другое, мешает ей поднять голову". (И облегчило войти в систему лжи.) Хотя и в несколько неожиданной форме, интеллигенция получила по сути то самое, чего добивалась многими десятилетиями, – и без боя покорилась. И только ту утешку посасывала втихомолку, что "идеи революции были хороши, да извращены". И на каждом историческом изломе тешила себя надеждой, что режим вот выздоравливает, вот изменится к лучшему и теперь-то, наконец, сотрудничество с властью получает полное оправдание (блестяще отграненные у Алтаева *шесть соблазнов* русской интеллигенции – революционный, сменовеховский, социалистический, патриотический, оттепельный и технократический, в их последовательном появлении и затем сосуществовании во всякий момент современности).

Покорились – до полной приниженности, до духовного самоуничтожения, и что ж, как не кличка *образованщины*, по справедливости остается нам? Тоскливое чувство отчужденности от государства (годов лишь с 40-х), своего невольничьего состояния в чужих лапах – это не признак родовой, непрерывный, но зарождение нового протеста, зарождение раскаяния. И большинством же интеллигенции вполне сознается теперь – кем тревожно, кем равнодушно, кем высокомерно – отчуждение от нынешнего *народа*.

О том, как не размыться в образованщине, как отграничиться от нее и спасти понятие интеллигенции, много пишет и Г. Померанц (не псевдоним, лицо подлинное, востоковед, имеющий в Самиздате целый том философских эссе и публицистических статей): "самая здоровая часть современного общества", "другого такого прогрессивного слоя не найти"[3]. Но и он остается в смущении перед морем образованщины: "Понятие интеллигенции очень трудно определить. Интеллигенция в самой жизни еще не устоялась". (? За 130 лет от Белинского и Грановского не устоялась? нет, после революционного потрясения.) Ему приходится выделять "лучшую часть интеллигенции", это "даже не прослойка, а кучка людей", "собственно интеллигентно лишь маленькое ядро интеллигенции", "узкий круг людей, способных самостоятельно открывать вновь святыни, ценности культуры", даже:

"интеллигентность – это процесс"... Он предлагает вообще отказаться от очерчивания контура, границ, пределов интеллигенции, а представить себе как бы поле (в смысле физики): центр излучения (самая малая кучка) – затем "слой одушевленной интеллигенции" – дальше "неодушевленная интеллигенция" (?), которая, однако, "развитее мещанства". (В старых вариантах той же самиздатской статьи Померанц делил интеллигенцию на "порядочную" и "непорядочную" с таким странным определением: "порядочные люди гадят ближнему лишь по необходимости, без удовольствия", а непорядочные, мол, с удовольствием, и в этом их различие!)

Правда, в защиту этого многомиллионного класса, на границе "неодушевленности" и "мещанства", Померанц находит весьма сочувственные слова: о тяжести работы школьных педагогов, врачей общей медицинской сети и бухгалтеров – этих "грузчиков умственного труда". Но, оказывается, эта его настойчивая защита есть скорее нападение на "народ": доказать, что искать ошибки в платежной ведомости тяжелее, чем колхознице работать в задушливом птичнике.

Что искаженный труд и искалеченные люди – верно. Я и сам, достаточно поработав школьным преподавателем, могу горячо разделить эти слова и еще добавить сюда много разрядов: техников-строителей, сельхозтехников, агрономов... Школьные учителя настолько задерганные, заспешенные, униженные люди, да еще и в бытовой нужде, что не оставлено им времени, простора и свободы формулировать собственное мнение о чем бы то ни было, даже находить и поглощать неповрежденную духовную пищу. И не от природы и не от слабости образования вся эта бедствующая провинциальная масса так проигрывает в "одушевленности" по сравнению с привилегированной столично-научной, а именно от нужды и бесправия.

Но оттого нисколько не меняется безнадежная картина расплывшейся образованщины, куда стандартным входом служит самое среднее образование.

4

Если обвиняют нынешний рабочий класс, что он чрезмерно законопослушен, безразличен к духовной жизни, утонул в мещанской идеологии, весь ушел в материальные заботы, получение квартир, покупку безвкусной мебели (уж какую продают), в карты, домино, телевизоры и пьянку, – то на много ли выше поднялась образованщина, даже и столичная? Более дорогая мебель, концерты более высокого уровня и коньяк вместо водки? А хоккей по телевизору – тот же самый. Если на периферии образованщины колотьба о заработках есть средство выжить, то в сияющем центре ее (шестнадцать столиц и несколько закрытых городков) выглядит отвратительно подчинение любых идей и убеждений – корыстной погоне за лучшими и бóльшими ставками, званиями, должностями, квартирами, дачами, автомобилями (Померанц: "сервис – это компенсация за потерянные нервы"), а еще более – заграничными командировками. (Вот поразилась бы дореволюционная интеллигенция! Это же надо объяснить: впечатления, развлечения, красивая жизнь, валютная оплата, покупка цветных тряпок... Думаю, самый захудалый дореволюционный интеллигент по этой причине не подал бы руки самому блестящему сегодняшнему столичному образованцу.) Но более всего характеризуется интеллект центровой образованщины ее жаждой наград, премий и званий, несравненных с теми, что дают рабочему классу и провинциальной образованщине, – и суммы премий выше и какая звучность: "народный художник (артист и т.д.)... заслуженный деятель... лауреат..."! Для всего того не стыдно вытянуться в струнчайшую безукоризнен-

ность, прервать все порицательные знакомства, выполнять все пожелания начальства, осудить письменно или с трибуны, или неподанием руки любого коллегу по указанию парткома.

Если это всё – "интеллигенция", то что же тогда "мещанство"?!.

Люди, чье имя мы недавно прочитывали с киноэкранов и которые уж конечно ходили в интеллигентах, недавно, уезжая из этой страны навсегда, не стеснялись разбирать екатерининские секретеры по доскам (вывоз древностей запрещен), вперемежку с простыми досками сколачивали их в нелепую "мебель" и вывозили так. И язык поворачивается выговорить это слово – "интеллигенция"?.. Только таможенный запрет еще удерживает в стране иконы древнее XVII века. А из более новых целые выставки устраиваются ныне в Европе – и не только государство продавало их туда...

Всякий живущий в нашей стране платит подать в поддержку обязательной идеологической лжи. Но у рабочего класса и тем более у крестьянства эта подать минимальна, особенно после упразднения ежегодных вымученных займов (душевредных и мучительных именно своей ложной добровольностью, деньги-то можно было отбирать в любой форме), осталось – редкое голосование на общем собрании, где не так уж тщательно проверяют отсутствующих. С другой стороны, государственные управители и идеологические внедрители иные искренне верят своей Идеологии, многие отдались ей по многолетней инерции, по недостатку знаний, по психологической особенности человека иметь мировоззрение, соответствующее его основной деятельности.

Но – центровая образованщина? Отлично видеть жалкость и дряблость партийной лжи, меж своими смеяться над нею – и тут же цинично, в "гневных" протестах и статьях, звучно и витиевато повторять ту же ложь, еще развивая и укрепляя ее средствами своей элоквенции и стиля! На ком же узнано, с кого ж и списано Оруэллом *двоемыслие*, как не с советской интеллигенции 30-х и 40-х годов? Это двоемыслие с тех пор лишь отработалось, стало устойчивым жизненным приемом.

О, мы жаждем *свободы*, мы заклеймим (шепотом) всякого, кто усумнился бы в желанности и необходимости полнейшей свободы в нашей стране! (Пожалуй, так: не для всех, но для центровой образованщины непременно. Померанц в письме XXIII съезду партии предлагает ассоциацию "интеллигентного ядра", обладающую независимой прессой, теоретический центр, дающий советы административно-партийному.) Однако этой свободы мы ждем как внезапного чуда, которое без наших усилий вдруг выпадет нам, сами же ничего не делаем для завоевания той свободы. Уж где там прежние традиции – поддержать политических, накормить беглеца, приютить беспаспортного, бездомного (можно службу казенную потерять), – центровая образованщина повседневно добросовестно, а иногда и талантливо трудится для укрепления общей тюрьмы. И этого она не разрешит поставить себе в вину! – приготовлены, обдуманы, отточены многоязыкие оправдания. Подножка сослуживцу, ложь в газетном заявлении находчиво оправдываются совершившим, охотно принимаются хором окружающих: если б я (он) этого не сделал, то меня (его) бы сняли с этого поста и назначили бы худшего! Так для того, чтоб удерживать позиции *добра* к облегчению всех, – естественно, каждый день приходится причинять зло некоторым ("порядочные люди гадят ближним лишь по необходимости"). Но эти некоторые – сами виноваты: зачем так резко-неосторожно выставили себя перед начальством, не думая о *коллективе*? или зачем скрыли свою анкету перед отделом кадров – и вот *подвели под удар* весь коллектив?.. Челнов (Вестник РСХД,

№ 97) остроумно называет позицию интеллигенции кривостоянием, "при котором прямизна кажется нелепой позой".

Но главный оправдательный аргумент – д е т и! Перед этим аргументом смолкают все: кто ж имеет право пожертвовать материальным благополучием своих детей для *отвлеченного* принципа правды?!. Что моральное здоровье детей дороже их служебного устройства, – и в голову не приходит родителям, самим обедненным на то. Резонно вырасти такими и детям: прагматики уже со школьной скамьи, первокурсники уже покорны лжи политучеб, уже разумно взвешивают, как наивыгоднейше вступить на состязательное поприще наук. Поколение, не испытавшее настоящих гонений, но как оно осторожно! А те немногие юноши – надежда России, кто оборачивается лицом к правде, – обычно проклинаются и даже преследуются своими разъяренными состоятельными родителями.

И не оправдаешь центровую образованщину, как прежних крестьян, тем, что они раздроблены по волостям, ничего не знают о событиях общих, давимы локально. Интеллигенция во все советские годы достаточно была информирована, знала, что делается в мире, *могла* знать, что делается в стране, но – отворачивалась, но дрябло сдавалась в каждом учреждении и кабинете, не заботясь о деле общем. Конечно, от десятилетия к десятилетию сжимали невиданно (западным людям и не вообразить, пока до них не докатилось). Людей динамичной инициативы, отзывных на все виды общественной и личной помощи, самодеятельности, – подавляли гнетом и страхом, да и саму общественную помощь загаживали казенной лицемерной имитацией. И в конце концов поставили так, что как будто третьего нет: в травле товарища по работе никто не смеет остаться нейтральным – едва уклонясь, он тут же становится травимым и сам. И всё же у людей остается выход и в этом положении: что ж, быть травимым и самому! что ж, пусть мои дети на ко́рочке вырастут, да честными! Была б интеллигенция т а к а я – она была бы непобедима.

А есть еще особый разряд – людей именитых, так недосягаемо, так прочно поставивших имя своё, предохранительно окутанное всесоюзной, а то и мировой известностью, что, во всяком случае в послесталинскую эпоху, их уже не может постичь полицейский удар, это ясно всем напрозор, и вблизи, и издали; и нуждою тоже их не накажешь – накоплено. *Они-то* – могли бы снова возвысить честь и независимость русской интеллигенции? выступить в защиту гонимых, в защиту свободы, против удушающих несправедливостей, против убогой навязываемой лжи? Двести таких человек (а их и полтысячи можно насчитать) своим появлением и спаянным стоянием очистили бы общественный воздух в нашей стране, едва не переменили бы всю жизнь! В предреволюционной интеллигенции так и действовали тысячи, не ожидая защитной известности. В нашей образованщине – насчитаем ли полный десяток? Остальные – такой *потребности* не имеют! (Даже если у кого и отец расстрелян – ничего, съедено.) Как же назвать и зримую верхушку нашу – выше образованщины?

В сталинское время за отказ подписать газетную кляузу, заклинание, требование смерти и тюрьмы своему товарищу действительно могла грозить и смерть, и тюрьма. Но сегодня – какая угроза сегодня склоняет седовласых и знаменитых брать перо и, угодливо спросивши – "где?", подписывать не ими составленную грязную чушь против Сахарова? Только личное ничтожество. Какая сила заставляет великого композитора XX века стать жалкой марионеткой третьестепенных чиновников из министерства культуры и по их воле подписывать любую презренную бумажку, защищая кого прикажут за границей, травя кого прикажут у нас?

(Сокоснулся композитор безо всяких перегородок, душа с душою, с темной гибельной душою XX века. Он ли ее, нет, она его захватила с такой пронзающей достоверностью, что когда – если! – наступит у человечества более светлый век, услышат наши потомки через музыку Шостаковича, как мы были уже в когтях дьявола, в его полном обладании, – и когти эти, и адское его дыхание казались нам красивыми.)

Бывало ли столь жалкое поведение среди великих русских ученых прошлого? среди великих русских художников? Традиция их сломлена, мы – образованщина.

Тройной стыд, что уже не страх перед преследованием, но извилистые расчеты тщеславия, корысти, благополучия, спокойствия заставляют так сгибаться "московские звезды" образованщины и средний слой "остепененных". Права Лидия Чуковская: *кого-то* от интеллигенции пришла пора отчислить. Если не *этих* всех – то окончательно потерян смысл слова.

О, появились бесстрашные! – выступить в защиту сносимого старого здания (только не храма) и даже целого Байкала. Спасибо и на том, конечно. В нашем сегодняшнем сборнике[4] предполагалось участие одного незаурядного человека, достигшего между тем всех чинов и званий. В частных беседах стонет его сердце – о безвозвратности гибели русского народа. От корней знает нашу историю и культуру. И – отказался: *к чему это? ни к чему не приведет...* Обычная достойная отговорка образованщины.

Чего заслуживаем. На каком дне прозябаем.

Когда сверху дергали веревку, что можно посмелей (1956, 1962), мы малость разминали затекшую спину. Когда дергали "цыц!" (1957, 1963), мы сникали тут же. Был момент и самопроизвольный: 1967–68, Самиздат пошел как половодье, множились имена, новые имена в протестах, казалось – еще немножко, еще чуть-чуть – и начнем дышать. И – много ли понадобилось на подавление? Полсотни самых дерзких лишили работы по специальности. Нескольких исключили из партии, нескольких из союзов да семь дюжин "подписантов" *вызвали на собеседование* в партком. И бледные и потерянные возвращались с "собеседований".

И самое важное открытие свое, условие своего дыхания, возрождения и мысли – Самиздат – образованщина поспешно обронила в бегстве. Давно ли гнались образованцы за новинками Самиздата, выпрашивали перепечатать, начинали собирать самиздатские библиотеки? отправляли в провинцию?.. Но вот стали сжигать эти библиотеки, содержать в девственности пишущие машинки, разве иногда в темном коридоре перехватывать запретный листок, пробегать с пятого на десятое и тут же возвращать обожженными руками.

Да, в тех преследованиях прояснело, проступило несомненное *интеллигентное ядро*: кто продолжал собою рисковать и жертвовать – открыто или в неслышном сокрытии хранил опасные материалы, бесстрашно помогал посаженным или сам поплатился свободой.

Но и другое "ядро" открылось, кто обнаружил иную мудрость: из этой страны – бежать! Спасая ли свою неповторимую индивидуальность ("т а м буду спокойно развивать русскую культуру"). Затем – спасая тех, кто остается ("т а м будем лучше защищать ваши права здесь"). Наконец же – и детей своих, более ценных, чем дети остальных соотечественников.

Такое открылось "ядро русской интеллигенции", которое может существовать и без России...

5

Да всё бы простилось нам, вызывало бы только сочувствие – и наша зажатая униженность, и наше служение лжи, если бы мы смиренно признались в своей некрепости, в своей привязанности к благополучию, в своей духовной неготовности к этим слишком крутым испытаниям: мы – жертвы истории, произошедшей до нас, мы уже родились – в ней, и хлебнули ее довольно, и вот барахтаемся, не знаем, как выбиться.

Но нет! В этом положении мы выискиваем изворотливые доводы ошеломительной высоты, почему должны мы "осознать себя духовно, не бросая своего НИИ" (Померанц), – как будто "осознать себя духовно" есть задача уютного размышления, а не строгого искуса, а не беспощадного испытания. Мы нисколько не отреклись от заносчивости. Мы настаиваем на высоком наследном звании интеллигентов, на праве быть высшими судьями всего духовного, происходящего в стране и человечестве: давать общественным теориям, течениям, движениям, направлениям истории и деятельности активных лиц безапелляционные оценки из безопасной норы. Еще в вестибюле НИИ, беря пальто, мы вырастаем на голову, а уж за чайными столами вечером произносится вершинная оценка: что из поступков и кому из деятелей "простит" или "не простит интеллигенция".

Наблюдая жалкое реальное поведение центровой образованщины на советской службе, невозможно поверить, на каком историческом пьедестале эта образованщина видит себя: каждый – сам себя, друзей и сослуживцев. Всё большее сужение профессиональных знаний, дающее возможность и в доктора наук проходить полуневеждам, нисколько не смущает образованца.

Настолько властно надо всеми образованными людьми это высокое мнение образованщины о себе, что даже упорный обличитель ее Алтаев в промежутке между обличениями традиционно склоняется: "сегодня (наша) интеллигенция явно держит в своих руках судьбы России, а с нею и всего мира"!.. Горький смех... По пройденному русскому опыту перед растерянным сегодняшним Западом – м о г л а б ы держать! – да руки слабы, да сердце перебивается...

В 1969 году этот напор самодовольства научно-технической образованщины прорвался в Самиздат статьей Семёна Телегина (разумеется, псевдоним) "Как быть?". Тон – бодрого напористого всезнайки, быстрого на побочные ассоциации, с довольно развязным и невысоким остроумием, вроде "руссиш культуриш", то пренебрежением к этому населению, с которым приходится делить один участок суши ("человеческий свинарник"), то – пафосными зачинами: "А задумывались ли вы, читатель?". "Творческое начало, источник этики и гуманизма", автор выводит от обезьян, лучшим выходом для разочарованных считает "трибуны стадиона", худшим – "в сектанты".

Но не так важен сам автор, как единомыслящий круг его, который он аттестует отчетливо: "прогрессивные интеллигенты" (состоящие в партии, ибо сиживают на партсобраниях и руководят "отдельными участками работы"), "мы – цвет мыслящей России", кто "создает свой круг воззрений, в котором можно жить, не путаясь в противоречиях". "Представьте себе класс высокообразованных людей, вооруженных идеями современной науки, умелых, самостоятельных, бесстрашно мыслящих, вообще привыкших и любящих думать, а *не*... пахать землю".

Не скрывает Телегин и таких особенностей своего круга: "Мы – люди, привыкшие думать одно, говорить другое, а делать третье... Тотальная демобилизация мо-

рали коснулась и нас". Речь идет о *троедушии*, о тройной морали – "для себя, для общества, для государства". Но является ли это пороком? Веселый Телегин считает: "в этом наша победа"! Как так? А: власти хотели бы, чтобы мы и *думали* так же подчиненно, как говорим вслух и работаем, а мы *думаем* – бесстрашно! "мы отстояли свою *внутреннюю свободу*"! (Изумишься: если шиш, показываемый тайно в кармане, есть внутренняя свобода, – что же тогда внутреннее рабство? Мы бы все-таки назвали внутренней свободой способность и мыслить *и действовать*, не завися от внешних пут, а внешней свободой – когда тех пут вовсе нет.)

Именно в статье Телегина "цвет мыслящей России" адекватно и очень откровенно выразил себя. Обогатительно для нас познакомиться с этими взглядами.

"Под режимом угнетения" будто бы выросла "новая культура", "система отношений и система мышления", это "колосс на двух ногах – искусства и науки". В области искусства? – гитаристы-песенники и независимая самиздатская литература. В области науки? – "могучая методология физики", а из нее – "целая жизненная философия", вот уже "десятки отраслевых и локальных подкультур пускают побеги в чертежных залах КБ, в коридорах НИИ, в холлах институтов Академии наук". "Здесь простор творцам, и они есть". "Науку не обуздать никаким властям" (гм-гм...). И вот: можно будет "методологию физики приложить к тонкостям морали" (упаси нас Бог...), "на этой подпольной культуре взойдет, как на дрожжах, племя новых цельных людей, гигантов, которым будут смешны наши страхи".

И дальше – смелый план, как эту культуру использовать для нашего спасения. Дело в том, что "открыто выступать против условий, в которых мы живем... не всегда лучший способ". "Зло злом не исправишь", не помогут и не нужны "ни тайные заговоры, ни новые партии", нельзя призывать к революции.

С последним выводом мы искренне согласны, хотя в обосновании его автор грешит: падение самодержавия приписывает исключительно тому, что общество отвергло казенную идею, а никакой революционной деятельности. Это – не так, тут параллели не натянешь: и революционная деятельность была самая настоящая, и самодержавие не оборонялось в сотую долю так свирепо, и интеллигенция была жертвенна. Но с практическим выводом мы согласны: откинем мысль о революции, "не будем строить планов создания новой массовой партии ленинского типа".

А – что же? Вот: "на первых порах больших жертв не предвидится" (очень успокоительно для образованщины). 1-й этап: "неприятие культуры угнетателей" и свое "культурное строительство" (ну, читать Самиздат и высоко понимать в курилках НИИ). 2-й этап: прилагать "усилия по распространению этой культуры среди народа", даже "активно нести эту культуру в народ" (методологию физики? гитарные песни?), "внести в народ понимание того, до чего мы сами дошли", для чего искать "обходные способы". Такой путь "потребует в первую очередь не отваги (в который раз этот бальзам на душу!), а дара убеждать, прояснять, умения долго и успешно возбуждать внимание народа, не привлекая внимания властей", "России нужны не только трибуны и подвижники, но и... ехидные критики, искусные миссионеры новой культуры". "Находим же мы с народом общий язык, говоря о футболе и рыбалке, – надо искать конкретные формы хождения в народ". "И неужели мы, владея мировоззрением... (и т.д.) ... не справимся с задачей, которую успешно решают полуграмотные проповедники религии?!" (Увы, увы, не в грамотности дело, на том и выдает себя заносчивая и подслепая образованщина, а – в душевной силе.)

Мы так щедро цитируем, потому что: не одного Телегина уже, а – всех самоуверенных идеологов центровой образованщины. Кого из них ни послушаем мы, одно это и слышим: осторожное просветительство! Статья Челнова (Вестник, № 97) точно, как и у Телегина, не сговариваясь, озаглавлена: "Как быть?". Ответ: "создавать тайные христианские братства", расчет на тысячелетнее ж улучшение нравов. Л. Венцов (Вестник, № 99): "Думать!" – то же, не сговариваясь, телегинское лекарство. На короткое время заплодились в Самиздате журналы и журналы – "Луч свободы", "Сеятель", "Свободная мысль", "Демократ" – все строго конспиративны, конечно, и у всех совет один: только не открывать своего лица, только не нарушать конспирации, а медленно распространять среди народа верное понимание... К а к же? всё та же тысячелетняя пастораль, которую сто раз обгонят события ракетного века. Помни́лось, это так легко: в норке рассуждать, рассуждения отдавать в Самиздат, а там – с а м о пойдет!

Да не пойдет.

В теплых светлых благоустроенных помещениях НИИ ученые-"то́чники" и техники, сурово осуждая братьев-гуманитариев за "прислуживание режиму", привыкли прощать себе свою безобидную служебную деятельность, а она никак не менее страшна, и не менее сурово за нее спросится историей. А наука, потеряли б мы завтра половину НИИ, самых важных и секретных, – пресеклась бы наука? Нет, империализм. "Создание антитоталитарной культуры может привести и к свободе вещественной", – уверяет Телегин, – да к а к же это себе вообразить? Полный рабочий день ученые (с тех пор как наука стала промышленностью – по сути квалифицированные промышленные рабочие) выдают *вещественную* если не "культуру", то цивилизацию (а больше – вооружение), именно вещественно укрепляют ложь, и везде голосуют, и соглашаются, и повторяют, как велено, – и как же такая культура спасет всех нас?

За минувшие от статьи Телегина годы много было общественных поводов, чтобы *племя гигантов* хоть бы плечами повело, хоть бы дохнуло разик, – нет! Подписывали, что требовалось, против Дубчека, против Сахарова, против кого прикажут, и, держа шиши в карманах, торопились в курилки развивать "отраслевую подкультуру" и ковать "могучую методологию".

А может быть и психиатры института Сербского той же "тройной моралью" живут и гордятся своею "внутренней свободой"? И прокуроры иные, и высокие судьи? – среди них ведь есть люди отточенного интеллекта (например, Л.Н. Смирнов), никак не ниже телегинских гигантов.

Тем и обманчива, в том и путана эта самодовольная декларация, что она очень близко проходит от истины, и это веет читателю на сердце, а в опасной точке круто сворачивает вбок. "Ohne uns!" – восклицает Телегин. Верно. "Не принимать культуру угнетателей!" – верно. Но: когда? где? и в чем не принимать? Не в гардеробной после собрания, а *на* собрании – не повторять, чего не думаешь, не голосовать против воли! И в *том* кабинете – не подписывать, чего не составил по совести сам. Какую там "культуру" отвергать? Никто и не навязывает "культуры", навязывают л о ж ь – и всего-то лжи нельзя принять, но – тотчас, в тот момент и в том месте, где ее предлагают, а не возмущаться вечером дома за чайным столом. Отвергнуть ложь – *тотчас*, и не думать о последствиях для своей зарплаты, семьи и досуга развивать "новую культуру". Отвергнуть – и не заботиться, повторят ли твой шаг другие, и не оглядываться, как это распространится на весь народ.

И потому, что ответ так ясен, стянут к такой простоте и прямоте, – от него всем блеском красноречия увиливает анонимный идеолог высокомерного, мелкого и бесплодного племени гигантов[5].

А кто не способен идти на риск – избавьте нас пока в нашей грязи, в нашей низости от ваших остроумных рассуждений, обличений и указаний, откуда наши русские пороки.

6

И как же при этом центровая образованщина понимает свое место в стране, по отношению к своему народу? Ошибется, кто предположит, что она раскаивается в своей роли прислужницы. Даже Померанц, представляющий совсем другой круг столичной образованщины – непристроенной, неруководящей, беспартийной, гуманитарной, не забудет восхвалить "ленинскую культурную революцию" (разрушала старые формы производства, очень ценно!), защитить образ правления 1917–22 годов ("временная диктатура в рамках демократии"). И: "деспотического отношения со стороны победивших революционеров обыватель, разумеется, вполне заслуживает. Его трусость, его раболепие воспитывают деспотов". Е г о раболепие, не н а ш е!.. А *чем* же центровая образованщина ведет себя достойней так называемого "обывателя"?

Даже предположения о какой бы то ни было *вине* перед народом за прошлое или за нынешнее, чем так мучилась предреволюционная интеллигенция, не возникает ни у кого из певцов образованщины, ни у порицателей ее. Тут они все едины, и Алтаев: "Народу самому неплохо было бы ощутить свою вину перед интеллигенцией".

В сравнении себя с народом центровая образованщина все выводы делает в свою пользу. Померанц: "Интеллигенция есть мера общественных сил – прогрессивных, реакционных. Противопоставленный интеллигенции, *весь народ сливается в реакционную массу*" (выделено мною. – *А.С.*). "Это – та часть образованного слоя общества, в которой совершается духовное развитие, в которой рушатся старые ценности и возникают новые, в которой делается очередной шаг от зверя к Богу... Интеллигенция это и есть то, что интеллигенция искала в других – в народе, в пролетариате и т.д.: фермент, двигающий историю". Более того: "Любовь к народу гораздо опаснее (чем любовь к животным): никакого порога, мешающего стать на четвереньки, здесь нет". Да просто: "Здесь... *складывается хребет нового народа*", "новое что-то заменит народ", "люди творческого умственного труда становятся избранным народом XX века"!!!

То же у Телегина, то же и Горский (еще один псевдоним, Вестник, № 97): "Путь к высшим ценностям лежит в стороне от слияния с народом". На 180 градусов от того, как думали их глупые интеллигентные предшественники.

Заберем себе и религию. Померанц: "Крестьяне не совершенны в религии", то есть без философской высоты: "можете назвать это Богом, Абсолютом, Пустотой... я не привязан ни к одному из этих слов", а просто сердечная преданность вере, ее заветам и даже обрядам, фи, – крестьяне не совершенны в вере, "так же, как и в агрономии". (По крестьянской агрономии и хлебушек был, и почва не гибла, а по науке вот скоро мы без почвы. Да, бишь, против *почвенников* и вся дискуссия Померанца, его идеал "люди воздуха, потерявшие все корни в обыденном бытии".) Зато "нынешние интеллигенты ищут Бога. Религия перестала быть приметой на-

рода. Она стала приметой элиты". То же и Горский: "Смешивать возвращение в церковь и хождение в народ – опасный предрассудок".

Один пишет в московском Самиздате, другие – в парижском журнале, друг друга, вероятно, не знают, а какое единство! – иголки не пробьешь. Значит, не придумка одиночек, а *направление*.

А что же порекомендуем народу? Вообще ничего. Никакого *народа нет*, в этом снова все они сходятся: "Культура, как змея, просто сбрасывает кожу, и *старая кожа, народ*, лежит, потеряв свою жизнь, в пыли". "Для человечества патриархальные добродетели безнадежно потеряны", "мужик не может возродиться иначе как оперный". "Мы не окружены народом. Крестьянства в развитых странах становится слишком мало, чтобы окружить нас", "крестьянские нации суть голодные нации, а нации, в которых крестьянство исчезло, – это нации, в которых исчез голод". (Это пока мы еще не уперлись в технологический тупик.)

Но если идеологи образованщины так понимают общее положение народов, то как тогда – национальные судьбы? Обдумано и это. Померанц: "Нации – локальные культуры и постепенно исчезнут". А "место интеллигенции – всегда на полдороге... Духовно все современные интеллигенты принадлежат диаспоре. Мы всюду не совсем чужие. Мы всюду не совсем свои".

В таком интернационализме-космополитизме было воспитано все наше поколение. И (если отвлечься – если *можно* отвлечься! – от национальной *практики* 20-х годов) в нем есть большая духовная высота и красота, и, может быть, когда-нибудь человечеству уготовано на эту высоту подняться. Такой взгляд достаточно владеет сейчас и европейским обществом. В ФРГ это приводит к настроению не очень-то заботиться об объединении Германии, ничего мистически необходимого в немецком национальном единстве, мол, нет. В Великобритании, еще с иллюзорной хваткой ее за мифическое Британское содружество и при чутком возмущении общества против малейших расовых утеснений, это привело к тому, что страна наводнилась азиатами и вест-индцами, совершенно равнодушными к английской земле, культуре, традициям и только ищущими пристроиться к уже готовому высокому стандарту жизни. Так ли уж это хорошо? Не нам издали судить. Но век наш вопреки прорицаниям, порицаниям и заклинаниям оказался повсюдным сплошным веком оживления наций, их самосознания, собирания. И чудодейственное рождение и укрепление Израиля после двухтысячелетнего рассеяния – только самый яркий из множества примеров.

Наши авторы как будто должны бы это знать, но в рассуждениях о России игнорируют. Горский раздражен против "бессознательного патриотизма", против "инстинктивной зависимости от природных и родовых стихий", он запрещает нам безотчетно иррационально *просто любить* ту страну, где мы родились, но требует от каждого возвыситься до "акта духовного самоопределения" и лишь таким способом выбрать себе родину. Среди признаков, объединяющих нацию, *он не называет родного языка!* (уступая даже такому теоретику, как... Сталин), ни – *ощущения истории* этой страны. Лишь на подсобном месте признает "этническую и территориальную общность", а видит единство нации в религии (это верно, но религия может быть шире нации) и опять – в неопределенной "культуре" (не той ли, что у Померанца "переползает как змея"?). Настаивает, что существование наций противоречит Пятидесятнице. (А мы то думали, что, сходя на апостолов языками многими, Дух Святой и подтвердил разнообразие человечества в нациях, – как оно и живет с тех пор.) С раздражением заклинает, что для России "центральной твор-

ческой идеей" должно стать не "национальное возрождение" (это *им* в кавычки взято, и нам запрещено такое глупое понятие), а "борьба за Свободу и духовные ценности". А мы по невежеству и противопоставления здесь не понимаем: как же иначе может духовно растерзанная Россия вернуть себе духовные ценности, если не через национальное возрождение? До сих пор вся человеческая история протекала в форме племенных и национальных историй, и любое крупное историческое движение начиналось в национальных рамках, а ни одно – на языке эсперанто. Нация, как и семья, есть природная непридуманная ассоциация людей с врожденной взаимной расположенностью членов, – и нет оснований такие ассоциации проклинать или призывать к исчезновению сегодня. А в дальнем будущем видно будет, не нам.

К тому ж, конечно, и Померанц. Уверяет он нас, что "с позиции народности все кошки серы... Бороться с отечественными порядками, стоя целиком на отечественной почве, так же просто, как вытащить себя из болота". И опять мы по тупости не понимаем: а с *какой же* почвы можно бороться с *отечественными* пороками? – с интернациональной? Эту борьбу – латышскими штыками и мадьярскими пистолетами – мы уже испытали своими ребрами и затылками, спасибо! Надо исправлять себя именно *самим*, а не кликать других мудрых себе в исправители.

Скажут: да что я прицепился к этим двум, Померанцу да Горскому, даже полутора (аноним за половину), с Алтаевым два, с Телегиным два с половиной?

А потому что – *направление*, все – теоретики и, видно, выставятся еще не раз. Так на всякий будущий случай и поставим эти зарубки. Летом 1972 года, когда пылали русские леса по советскому бесхозяйству (у *наших* заботы были на Ближнем Востоке, в Латинской Америке), – бодрячок, весельчак и атеист Семён Телегин выпустил в Самиздат листовку, где впервые поднялся в свой гигантский рост и указал: это, мол, тебе, Россия, небесная кара за твои злодейства! Прорвало.

Ка́к на национальную проблему смотрит центровая образованщина – для того пройдитесь по знатным образованским семьям, кто держит породистых собак, и спросите, как они собак кличут. Узнаете (да с повторами): Фома, Кузьма, Потап, Макар, Тимофей... И никому уха не режет, и никому не стыдно. Ведь мужики – только "оперные", *народа* не осталось, отчего ж крестьянскими, хрестьянскими именами и не покликать?

О, как по этому ломкому хребту пройти и в обиду по напраслине своих не давши, и порока своего горше чужого не спуская?..

7

Однако картина народа, нарисованная Померанцем, увы, во многом и справедлива. Подобно тому как мы сейчас, вероятно, смертельно огорчаем его, что интеллигенции в нашей стране не осталось, а все расплылось в образованщине, – так и он смертельно ранит нас утверждением, что и *народа* тоже больше не осталось.

"Народа больше нет. Есть масса, сохраняющая смутную память, что когда-то она была народом и несла в себе Бога, а сейчас совершенно пустая". "Народа в смысле народа-богоносца, источника духовных ценностей, вообще нет. Есть неврастенические интеллигенты – и масса". "Что поют колхозники? Какие-то остатки крестьянского наследства" да вбитое "в школе, в армии и по радио". "Где он, этот народ? Настоящий, народный, пляшущий народные пляски, сказывающий народные сказки, плетущий народные кружева? В нашей стране остались только следы

народа, как следы снега весной... Народа как великой исторической силы, станового хребта культуры, как источника вдохновения для Пушкина и Гёте – больше нет". "То, что у нас обычно называют народом, совсем не народ, а мещанство".

Мрак и тоска. А – близко к тому.

И действительно, как было народу остаться? Накладывались в одну сторону и погоняли друг друга два процесса. Один – всеобщий (но в России еще бы долго он придержался, и, может, могли б мы его миновать) – процесс, как модно называть, *массовизации* (мерзкое слово, но и процесс не лучше), связанный с новой западной технологией, осточертелым ростом городов, всеобщими стандартными средствами информации и воспитания. Второй – наш особый, советский, направленный стереть исконное лицо России и натереть искусственное другое, этот действовал еще решительней и необратимей.

Как же остаться было народу? Были насильственно выкинуты из избы иконы и послушание старшим, печка хлебов и прялки. Потом миллионы изб, самых благоустроенных, вовсе опустошены, развалены или взяты под дурной догляд, и 5 миллионов трудоохотливых здравых семей вместе с грудными детьми посланы умирать в зимней дороге или по прибытии в тундру. (И наша *интеллигенция* не дрогнула, не вскрикнула, а *передовая* часть ее даже и сама выгоняла. Вот тогда она и кончила быть, интеллигенция, в 1930-м, и за тот ли миг должен народ просить у нее прощения?) Остальные избы и дворы разорять уже было хлопот меньше. Отняли землю, делавшую крестьянина крестьянином, обезличили ее, как не бывало и в крепостное право, обезынтересили всё, чем мужик работал и жил, одних погнали на Магнитогорски, других – целое поколение так и погибших баб – заставили кормить махину государства до войны, всю великую войну и после войны. Все внешние интернациональные успехи нашей страны и расцвет сегодняшних тысяч НИИ были достигнуты разгромом русской деревни, русского обычая. Взамен притянули в избы и в уродливые многоэтажные коробки городских окраин – репродукторы, пуще того: поставили их на всех центральных столбах (по всему лику России и сегодня это бубнит от шести утра до двенадцати ночи, высший признак *культуры*, и пойди заткни – будет антисоветский акт). И те репродукторы докончили работу: они выбили из голов всё индивидуальное и всё фольклорное, натолкали штампованного, растоптали и замусорили русский язык, нагудели бездарных пустых песен (сочиняла их интеллигенция). Добили последние сельские церкви, растоптали и загадили кладбища, с комсомольской горячностью извели лошадь, изгадили, изрезали тракторами и пятитонками вековые дороги, мягко вписанные в пейзаж. Где ж и кому осталось плясать и плести кружева?.. Еще наслали лакомством для сельской юности серятину глупеньких фильмов (интеллигент: "надо выпустить, будут большие *тиражные*"), да то же затолкано и в школьные учебники, да то же и в книгах повзрослей (а к т о писал их, не знаете?), – чтоб и новая свежесть не выросла там, где вырублен старый лес. Как танками изгладили всю историческую народную память (Александру Невскому без креста подняться дали, но чему поближе – нет), – и как же народу было сохраниться?

Так вот, на этом пепелище, сидя в золе, разберемся.

Народа – нет? И тогда, верно: уже не может быть национального возрождения??. И что ж за надрыв! – ведь как раз замаячило: от краха всеобщего технического прогресса, по смыслу перехода к стабильной экономике, будет повсюду восстанавливаться первичная связь большинства жителей с землею, простейшими материалами, инструментами и физическим трудом (как инстинктивно ищут для себя

уже сегодня многие пресыщенные горожане). Так неизбежно восстановится во всех, и передовых, странах некий наследник многочисленного крестьянства, наполнитель народного пространства, сельскохозяйственный и ремесленный (разумеется, с новой, но рассредоточенной техникой) класс. А у нас – мужик "оперный" и уже не вернется?..

Но интеллигенции – тоже нет? Образованщина – древо мертвое для развития? Подменены в с е классы – и как же развиваться?

Однако – кто-то же есть? И как людям запретить будущее? Разве л ю д я м можно не жить дальше? Мы слышим их устало-теплые голоса, иногда и лиц не разглядев, где-нибудь в полутьме пройдя мимо; слышим их естественные заботы, выраженные русской речью, иногда еще очень свежей; видим их живые готовные лица и улыбки их; испытываем на себе их добрые поступки, иногда для нас внезапные; наблюдаем самоотверженные детные семьи, претерпевающие все ущербы, только бы душу не погубить, – и как же им всем запретить будущее?

Поспешен вывод, что больше нет народа. Да, разбежалась деревня, а оставшаяся приглушена, да, на городских окраинах – стук домино (достижение всеобщей грамотности) и разбитые бутылки, ни нарядов, ни хороводов, и язык испорчен, а уж тем более искажены и ложно направлены мысли и старания, – но почему даже от этих разбитых бутылок, даже от бумажного мусора, перевеваемого ветром по городским дворам, не охватывает такое отчаяние, как от служебного лицемерия образованщины? Потому что *народ* в массе своей н е у ч а с т в у е т в к а з е н н о й л ж и, и это сегодня – главный признак его, позволяющий надеяться, что он не совершенно пуст от Бога, как упрекают его. Или, во всяком случае, сохранил невыжженное, невытоптанное в сердце место.

Поспешен и вывод, что нет интеллигенции. Каждый из нас лично знает хотя бы несколько людей, твердо поднявшихся и над этой ложью и над хлопотливой суетой образованщины. И я вполне согласен с теми, кто хочет видеть, верить, что уже видит некое *интеллигентное ядро* – нашу надежду на духовное обновление. Только по другим бы признакам я узнавал и отграничивал это ядро: не по достигнутым научным званиям, не по числу выпущенных книг, не по высоте образованности "привыкших и любящих думать, а не пахать землю", не по научности методологии, легко создающей "отраслевые подкультуры", не по отчужденности от государства и от народа, не по принадлежности к духовной диаспоре ("всюду не совсем свои"). Но – по чистоте устремлений, по душевной самоотверженности – во имя правды и прежде всего – для э т о й страны, где живешь. Ядро, воспитанное не столько в библиотеках, сколько в душевных испытаниях. Не то ядро, которое желает считаться ядром, не поступясь удобствами жизни центровой образованщины. Мечтал Достоевский в 1887 году, чтобы появилась в России "молодежь скромная и доблестная". Но *тогда* появлялись "бесы" – и мы видим, куда мы пришли. Однако свидетельствую, что сам я в последние годы своими глазами видел, своими ушами слышал эту скромную и доблестную молодежь, – она и держала меня как невидимая пленка над кажущейся пустотой, в воздухе, не давая упасть. Не все они сегодня остаются на свободе, не все сохранят ее завтра. И далеко не все известны нашему глазу и уху: как ручейки весенние, где-то сочатся под толстым серым плотным снегом.

Это порочность метода: вести рассуждение в "социальных слоях", никак иначе. В социальных слоях получается безнадежность (как у Амальрика и получилось). Интеллигенция-образованщина как огромный социальный слой закончила свое развитие в теплом болоте и уже не может стать воздухоплавательной. Но это и в

прежние, лучшие времена интеллигенции было неверно: зачислять в интеллигенцию целыми семьями, родами, кружками, слоями. В частности, могли быть и сплошь интеллигентная семья, и род, и кружок, и слой, а все же по смыслу слова интеллигентом человек становится индивидуально. Если это и был слой, то – психический, а не социальный, и, значит, вход и выход всегда оставались в пределах индивидуального поведения, а не рода работы и социального положения.

И слой, и народ, и масса, и образованщина – состоят из людей, а для людей никак не может быть закрыто будущее: люди определяют свое будущее сами, и на любой точке искривленного и ниспадшего пути не бывает поздно повернуть к доброму и лучшему.

Будущее – неистребимо, и оно в наших руках. Если мы будем делать правильные выборы.

Вот и в сочинениях Померанца среди многих противоречивых высказываний выныривают то там, то сям поразительно верные, а если сплотить их, увидим, что и с разных сторон можно подойти к сходному решению. "Нынешняя масса – это аморфное состояние между двумя кристаллическими структурами... Она может оструктуриться, если появится стержень, веточка, пусть хрупкая, вокруг которой начнут нарастать кристаллы". С этим – не поспоришь.

Однако, упорно преданный интеллигентским идеалам, Померанц отводит эту роль стержня-веточки – только интеллигенции. По трудной доступности Самиздата надо цитировать обширно: "Масса может заново кристаллизоваться в нечто народоподобное только вокруг новой интеллигенции". "Рассчитываю на интеллигенцию вовсе не потому, что она хороша... Умственное развитие само по себе только увеличивает способность ко злу... Мой избранный народ плох, я это знаю... но остальные еще хуже". Правда, "прежде, чем посолить, надо снова стать солью", а интеллигенция перестала быть ею. Ах, "если бы у нас хватило характера отдать все свои лавровые венки, все степени и звания... Не предавать, не подвывать... Предпочесть чистую совесть чистому подъезду и приготовиться обходиться честным куском хлеба без икры". Но: "Я просто верю, что интеллигенция может измениться и потянуть за собою других" ...

Здесь мы ясно слышим, что интеллигенцию Померанц выделяет и отграничивает по *умственному развитию*, лишь ж е л а е т ей – иметь и нравственные качества.

Да не в том ли заложена наша старая потеря, погубившая всех нас, – что интеллигенция отвергла религиозную нравственность, избрав себе атеистический гуманизм, легко оправдавший и торопливые ревтрибуналы и бессудные подвалы ЧК? Не в том ли и начиналось возрождение "интеллигентного ядра" в 10-е годы, что оно искало вернуться в религиозную нравственность – да застукали пулеметы? И то ядро, которое сегодня мы уже, кажется, начинаем различать, – оно не повторяет ли прерванного революцией, оно не есть ли по сути "младовеховское"? Нравственное учение о личности считает оно ключом к общественным проблемам. По такому ядру тосковал и Бердяев: "Церковная интеллигенция, которая соединяла бы подлинное христианство с просвещенным и ясным пониманием культурных и исторических задач страны". И С. Булгаков: "Образованный класс с русской душой, просвещенным разумом, твердой волею".

Это ядро не только не уплотнено, как надо быть ядру, оно даже не собрано, оно рассеяно, взаимонеузнанно: его частицы многие не видели, не знают, не предполагают друг о друге. И не интеллигентность их роднит – но жажда правды, но жажда

очиститься душою и такое же очищенное светлое место содержать вокруг себя каждого. Потому и "неграмотные сектанты" и какая-нибудь неведомая нам колхозная доярка тоже состоят в этом ядре добра, объединяемые общим направлением к чистой жизни. А какой-нибудь просвещенный академик или художник вектором стяжательства и жизненного благоразумия направлен как раз наоборот – назад, в привычную багровую тьму этого полувека.

Сколько это – "стержень-веточка" для "кристаллизации" целого народа? Это – десятки тысяч людей. Это опять-таки потенциальный *слой* – но не перелиться ему в будущее просторной беспрепятственной волною. Так безопасно и весело, как обещают нам, не бросая НИИ, по уик-эндам и на досуге, не составить "хребта нового народа". Нет – это придется совершать в будни, на главном направлении нашего бытия, на самом опасном участке, да еще и каждому в леденящем одиночестве.

Обществу столь порочному, столь загрязненному, в стольких преступлениях полувека соучастному – ложью, холопством радостным или изневольным, ретивой помощью или трусливой скованностью, – такому обществу нельзя оздоровиться, нельзя очиститься иначе как пройдя через душевный фильтр. А фильтр этот – ужасный, частый, мелкий, имеет дырочки, как игольные ушки, – на одного. Проход в духовное будущее открыт только поодиночно, через продавливание.

Через сознательную добровольную жертву.

Меняются времена – меняются масштабы. 100 лет назад у русских интеллигентов считалось жертвой пойти на смертную казнь. Сейчас представляется жертвой – рискнуть получить административное взыскание. И по приниженности запуганных характеров это не легче, действительно.

Даже при самых благоприятных обстоятельствах (одновременная множественность жертвенного порыва) придется потерять не музейную икру, как предупреждает Померанц, но – апельсины, но – сливочное масло, торговля которыми так налажена в научных центрах. Ликовали злорадные критики, что в "Круге первом" я обнажил "низкий уровень любви в народе" пословицею "для щей люди женятся, для мяса замуж идут", а мы, мол, любим и женимся только на уровне Ромео! Но пословиц русских много, для разных оттенков и ситуаций. Есть и такая:

Хлеб да вода – молодецкая еда.

Вот на э т а к о й еде предстоит нам показать уровень своей любви к этой стране и ее белым березкам. А любить их глазами – мало. Понадобится осваивать жестокий Северо-Восток – и придется ехать нашим излюбленным образованским детям, а не ждать, чтобы *мещанство* ехало вперед. И все умные советы анонимных авторов – конспирация, конспирация, "только не вылазки в одиночку", тысячелетнее просвещение да развитие тайком культуры – вздор. Из нашей нынешней презренной аморфности никакого прохода в будущее не оставлено нам, кроме открытой личной и преимущественно публичной (пример показать) жертвы. "Вновь открывать святыни и ценности культуры" придется не эрудицией, не научным профилем, а *образом душевного поведения*, кладя свое благополучие, а в худых оборотах – и жизнь. И когда окажется, что образовательный ценз и число печатных научных работ тут совсем ни к чему, – с удивлением мы почувствуем рядом с собою так презираемых "полуграмотных проповедников религии".

Слово "интеллигенция", давно извращенное и расплывшееся, лучше признаем пока умершим. Без замены интеллигенции Россия, конечно, не обойдется, но не от "понимать, знать", а от чего-то *духовного* будет образовано то новое слово. Пер-

вое малое меньшинство, которое пойдет продавливаться через сжимающий фильтр, само и найдет себе новое определение – еще в фильтре или уже по другую сторону его, узнавая себя и друг друга. Там узнается, родится в ходе их действия. Или оставшееся большинство назовет их без выдумок просто праведниками (в отличие от "правдистов"). Не ошибемся, назвав их пока жертвенною элитой. Тут слово "элита" не вызовет зависти ничьей, уж очень беззавистный в нее отбор, никто не обжалует, почему его не включили: включайся, ради Бога! Иди, продавливайся!

Из прошедших (и в пути погибших) одиночек составится эта элита, кристаллизующая народ.

Станет фильтр для каждой следующей частицы все просторней и легче – и все больше частиц пойдет через него, чтобы по ту сторону из достойных одиночек сложился бы, воссоздался бы и достойный *народ* (это свое понимание народа я уж высказывал). Чтобы построилось общество, первой характеристикой которого будет не коэффициент товарного производства, не уровень изобилия, но чистота общественных отношений.

А другого пути я решительно не вижу для России.

И остается описать только устройство и действие фильтра.

8

Со стороны над нами посмеиваются: какой робкий и какой скромный шаг воспринимается нами как *жертва*. По всему миру студенты захватывают университеты, выходят на улицы, даже свергают правительства, а смирнее наших студентов в мире нет: сказано – политучеба, пальто с вешалки не выдавать, и никто не уйдет. В 1962 весь Новочеркасск бушевал, но в общежитии Политехнического института заперли дверь на замок – и никто не выпрыгнул из окна! Или: голодные индусы освободились из-под Англии безнасильным непротивлением, гражданским неповиновением, – но и на такую отчаянную смелость мы не способны – ни рабочий класс, ни образованщина, мы Сталиным-батюшкой напуганы на три поколенья вперед: как же можно *не выполнить* какого-нибудь распоряжения власти? Это уж – самогубительство последнее.

И если написать крупными буквами, в чем состоит наш экзамен на человека:

НЕ ЛГАТЬ! НЕ УЧАСТВОВАТЬ ВО ЛЖИ!
НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛОЖЬ!

– то будут смеяться над нами не то что европейцы, но арабские студенты, но цейлонские рикши: всего-то столько от русских требуется? И это – жертва, смелый шаг? а не просто признак честного человека, не жулика?

Но пусть смеются грибы другого кузова, а кто в нашем давится, тот знает: это действительно очень смелый шаг. Потому что каждодневная ложь у нас – не прихоть развратных натур, а форма существования, условие повседневного благополучия всякого человека. Ложь у нас включена в государственную систему как важнейшая сцепка ее, миллиарды скрепляющихся крючочков, на каждого приходится десяток не один.

Именно поэтому нам так гнетуще жить. Но именно поэтому нам так естественно и распрямиться! Когда давят безо лжи – для освобождения нужны меры политические. Когда же запустили в нас когти лжи – это уже не политика! это – вторжение в нравственный мир человека, и распрямленье наше – *отказаться лгать* – тоже не есть политика, но возврат своего человеческого достоинства.

Что есть жертва? – годами отказываться от истинного дыхания, заглатывать смрад? Или – начать дышать, как и отпущено земному человеку? Какой циник возьмется вслух возразить против такой линии поведения: *неучастие во лжи*?

О, возразят конечно тут же, и находчиво: а что́ есть ложь? А кто это установит точно, где кончается ложь, где начинается правда? А в каждой исторически конкретной диалектической обстановке и т.д., как уже и изворачиваются лгуны полвека.

А ответ самый простой: как видишь *ты сам*, как говорит тебе твоя совесть. И надолго будет довольно этого. В зависимости от кругозора, жизненного опыта, образования, каждый видит, понимает границу общественно-государственной лжи по-своему: один – еще очень далеко от себя, другой – веревкой, уже перетирающей шею. И там, где, по честности, видишь эту границу *ты, – там* и не подчиняйся лжи. От *той* части лжи отстранись, которую видишь несомненно, явно. А если искренне не видишь лжи нигде – и продолжай спокойно жить, как прежде.

Что значит – не лгать? Это еще не значит – вслух и громко проповедывать правду (страшно!). Это не значит даже – вполголоса бормотать то, что думаешь. Это значит только: *не говорить того, чего не думаешь*, но уж: ни шепотом, ни голосом, ни поднятием руки, ни опусканием шара, ни поддельной улыбкой, ни присутствием, ни вставанием, ни аплодисментами.

Области работы, области жизни – разные у всех. Работникам гуманитарных областей и всем учащимся лгать и участвовать во лжи приходится гуще и невылазнее, ложь наставлена заборами и заборами. В науках технических ее можно ловчей сторониться, но все равно: каждый день не миновать такой двери, такого собрания, такой подписки, такого обязательства, которое есть трусливое подчинение лжи. Ложь окружает нас и на работе, и в пути, и на досуге, во всем, что видим мы, слышим и читаем.

И как разнообразны формы лжи, так разнообразны и формы отклонения от нее. Тот, кто соберет свое сердце на стойкость и откроет глаза на щупальцы лжи, – тот в каждом месте, всякий день и час сообразит, как нужно поступить.

Ян Палах – сжег себя. Это – чрезвычайная жертва. Если б она была не одиночной – она бы сдвинула Чехословакию. Одиночная – только войдет в века. Но так много – не надо от каждого человека, от тебя, от меня. Не придется идти и под огнеметы, разгоняющие демонстрации. А всего только – дышать. А всего только – не лгать.

И никому не придется быть первым – потому что "первых" уже многие сотни есть, мы только по их тихости их не замечаем. (А кто за веру терпит – тем более, да им-то прилично работать и уборщицами, и сторожами.) Из самого ядра интеллигенции я могу назвать не один десяток, кто уже давно так живет – годами! И – жив. И – семья не вымерла. И – крыша над головой. И – что-то на столе.

Да, страшно! Дырочки фильтра в начале такие узкие, такие узкие – разве человеку с обширными запросами втиснуться в такую узость? Но обнадежу: это лишь при входе, в самом начале. А потом они быстро, близко свободнеют, и уже перестают тебя так сжимать, а потом и вовсе покидают сжатием. Да, конечно! Это будет стоить оборванных диссертаций, снятых степеней, понижений, увольнений, исключений, даже иногда и выселений. Но в огонь – не бросят. И не раздавят танком. И – крыша будет, и будет еда.

Этот путь – самый безопасный, самый доступный изо всех возможных наших путей, любому среднему человеку. Но он – и самый эффективный! Именно только мы, знающие нашу систему, можем вообразить, что́ случится, когда этому пути последуют тысячи и десятки тысяч, – как очистится и преобразится наша страна без выстрелов и без крови.

Но этот путь – и самый нравственный: мы начинаем освобождение и очищение со *своей души*. Еще прежде, чем мы очистим страну, – мы очистимся сами. И это – единственно правильный исторический порядок, ибо зачем очищать воздух страны, если сами остаемся грязными?

Возразят: но как жаль молодежь! Ведь если на экзамене по общественной науке не проговоришь обязательной лжи, – двойка, отчисление из института, и перебито образование и жизнь.

В одной из следующих статей нашего сборника[6] обсуждается, так ли правильно понимаем мы и осуществляем лучшие пути в науке. Но и без того: потеря в образовании – не главная потеря в жизни. Потери в душе, порча души, на которую мы беззаботно соглашаемся с юных лет, – непоправимее.

Жаль молодежь? Но и: чье же будущее, как не их? Из кого ж мы и ждем жертвенную элиту? Для кого ж мы и томимся этим будущим? Мы-то стары. Если они сами себе не построят честного общества, то и не увидят его никогда.

Январь 1974

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Публикуется по изданию: *Солженицын А.И.* Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное изд-во, 1995.

[2] Эта угарная преданность государственным заказам очень нестеснительно выражена в недавней самиздатской публикации "Туполевская шарага", она не миновала и крупнейших фигур.

[3] Все цитаты из Померанца здесь и ниже – главным образом из статей "Человек ниоткуда" и "Квадрильон".

[4] См. сноску на с. 125. – *Ред.*

[5] В Самиздате – текучи редакции. И позже Телегин изменил конец. Появилось: "первые вёрсты – бойкот, неучастие, игнорирование". Игнорирование – это обычный шиш, а вот *неучастие* – где же?..

[6] См. сноску на с. 125. – *Ред.*

К.Б. Соколов

МИФЫ ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ*

Самый любопытный миф гуманитарных наук интеллигенция создала о самой себе. Точно так же как первобытные племена создавали мифы о себе как о потомках горных орлов или гордых хищников – сильных, справедливых и неустрашимых, – интеллигенция сочинила миф о себе самой – доброй, умной, честной и принципиальной. Так, например, в свое время один из интеллигентов, Г. Успенский, выдвинул следующее определение интеллигента: "Интеллигенция среди всяких положений, званий и состояний исполняет всегда одну и ту же задачу. *Она всегда – свет*,

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 98-01-00154.

© К.Б. Соколов, 2000

(курсив наш. – *К.С.*) и только то, что светит, или тот, кто светит, и будет исполнять интеллигентное дело, интеллигентную задачу"[1].

В наши дни эта мифотворческая традиция была продолжена. Так, к примеру, известный писатель Д. Гранин пишет следующее: "Наша интеллигенция столичная, провинциальная в особенности, поколение за поколением, несмотря ни на что, *сохраняла нравственные понятия и чести, и милосердия, и добросовестного труда, и порядочности, и, наконец, честности.* Духовные ее заслуги перед историей бесспорны... *Никто из них никогда не служил опорой власти.* Менялась политика, менялись правители, но интеллигенция всегда знала, за что ей бороться"[2].

Д.С. Лихачев предложил и некую формулу, дефиницию интеллигентности: "...интеллигенты – это не просто люди, занятые умственным трудом, имеющие знáния или даже просто высшее образование, а воспитанные на основе своих знаний классической культуры, *исполненные духа терпимости к чужим ценностям, уважения к другим.* Это люди *мягкие и ответственные за свои поступки,* что иногда принимается за нерешительность. Интеллигента можно узнать по *отсутствию в нем агрессивности, подозрительности, комплекса собственной неполноценности, по мягкости поведения*"[3].

Н.Я. Эйдельман также предложил интересное рассуждение на эту тему: "За несколько поколений (да, увы, за счет эксплуатации крепостных) выработался тип относительно *свободного, сознательно идейного, активного ителлигента*: именно эти люди выиграли 1812 год, украсили Петербург, сделали замечательные научные открытия, заложили основы великой литературы..."[4].

Уже из приведенных определений явствует, что налицо типичный миф, ибо подобных "ангелов во плоти" никогда не существовало. А если и существовали, то в виде одиночек, представлявших скорее исключение из общего правила.

Однако миф этот разделяется и поддерживается некоторыми зарубежными исследователями. Один из них, Р. Пайпс, утверждает, что "интеллигент – это тот, кто не поглощен целиком и полностью своим собственным благополучием, а хотя в равной, но предпочтительно и в большей степени *печется о процветании всего общества* и готов в меру своих сил потрудиться на его благо"[5].

Этот миф неявно оказал огромное влияние на многие аспекты гуманитарных наук, и поэтому имеет смысл рассмотреть его первым.

ЧТО ТАКОЕ СЛОН, ИЛИ СТО ОПРЕДЕЛЕНИЙ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ

Известна притча о том, как несколько слепых пытались определить, что такое слон. Один ухватился за хобот, другой за ногу, третий за бивни. Первый сказал, что слон – это что-то гибкое, вроде змеи, второй – что-то круглое, вроде столба, а третий – твердое, вроде камня.

Именно это происходит всякий раз, когда пытаются понять, что же такое, собственно, "интеллигенция". Как образно и точно выразился современный философ, «словом "интеллигенция" сейчас называют слишком много разных явлений. С точки зрения нынешней русской кухни, использующей интеллигенцию как начинку для своих кулебяк, интеллигенция – это фарш, который можно любым способом сварить на пару, изжарить, обвалять в тесте, испечь и, наконец, с перепою жрать

сырьем, с кровью, в собственном соку. Но, даже отвлекаясь от этого нарушения законности, понятие интеллигенции очень трудно определить»[6].

Действительно, ныне существует огромное количество представлений о том, что такое "интеллигенция"[7]. Очень условно их все можно свести в три группы.

П е р в а я группа определений ("статистическая"): интеллигенты – это люди с дипломом о высшем образовании[8]. В словаре русского языка так прямо и сказано: интеллигенты – "работники умственного труда, обладающие образованием и специальными знаниями в различных областях науки, техники и культуры"[9]. Это довольно распространенное сегодня представление[10]. Оно очень удобно для подсчета числа интеллигентов по наличию дипломов, но ничего не дает для объяснения самого феномена. Его отвергают очень многие исследователи[11], ибо оно растворяет интеллигенцию в массе конторских служащих (секретарей-референтов) и рабочих-интеллигентов (с дипломом у станка)[12]. Согласно такому определению и председатель КГБ Ю.В. Андропов, и академик А.Д. Сахаров оба являются представителями "советской интеллигенции"[13].

В т о р а я группа определений, пожалуй, самая распространенная ныне. Она создает образ некоего интеллектуального "рыцаря без страха и упрека" в сияющих доспехах ума, чести и совести. Согласно этому определению интеллигент умен, благороден и готов в любых обстоятельствах отстаивать свои принципы[14].

Можно легко проследить, как уже в конце XIX – начале XX в. целенаправленно формируется такое понятие "хорошего человека", которое сначала объединяется с понятием "светского" (дворянин-аристократ), а вскоре начинает тесно сопрягаться с понятием "культурный", а затем и "интеллигентный" человек. Вот эти понятия "светского", "культурного", "интеллигентного" человека формируют со временем некий образец, предназначенный для всех социальных слоев[15]. Здесь "интеллигент" предстает как благородный, умный человек, неспособный совершать зло, стремящийся к добру, просвещению народа, к открытию нового. Одним словом, это некий идеальный человек.

Данное определение, со временем действительно укоренившееся в обыденном сознании, активно поддерживается самими "интеллигентами"[16]. Даже в словаре русского языка слово *интеллигентный* означает "образованный, культурный, свойственный интеллигенту"[17]. Здесь же рядом дано определение слова *интеллектуальный* – "умственный, духовный, с высоко развитым интеллектом".

«Когда человек говорит "я интеллигент", – замечает филолог, – он, по сути дела, утверждает примерно следующее: "я – избранный человек, относящийся к элите общества, я думаю головой, потому что я умный, образованный, я тонко организованная личность" и т.д. и т.п.»[18].

Отметим, что и в среде интеллигенции подобное определение иногда встречало сопротивление. Так, например, известный историк и культуролог П.Н. Милюков в свое время сформулировал определение "некультурного интеллигента". "...При очень высоком типе психики, – писал он, – интеллигенция может представлять сравнительно низкий тип культурности. И наоборот, с низким типом интеллигентности может сочетаться высокий тип культурности, как это постоянно можно встретить в средних классах Западной Европы, особенно Франции и Англии"[19].

Т р е т ь я группа определений, стремясь противопоставить интеллигенцию власти, формирует образ некоего "вечного диссидента" – леворадикального революционера-бунтаря, отрицающего государство, религию и нацию. Он вечно высту-

пает против правительства, но зато беззаветно любит свой народ и готов ради него пожертвовать жизнью. Это в основном "веховское" определение[20]. Заметим сразу, что оно в принципе предполагает возможность ликвидации интеллигенции в том случае, если, скажем, Интерпол сегодня наладит антитеррористические службы по всему миру и покончит со всеми левоинтеллигентскими группами вроде французской "Аксьон директ" или итальянской "Бригате росса".

Согласно более "мягкому" варианту этого определения интеллигентами являются так называемые революционные демократы, особенно литераторы типа Чернышевского и Белинского. Но и среди приверженцев этого определения есть существенные расхождения. "...От того, как мы датируем генезис русской интеллигенции, – пишет современный историк-культуролог, – зависит наше понимание того, что такое интеллигенция..."[21]. Действительно, скажем, для Ленина интеллигенция началась с Белинского и Герцена[22]. И Ленин, и "веховцы" сходились в том, что интеллигенция – это радикально настроенные последователи Белинского, Добролюбова, Чернышевского. Так, Н. Бердяев в "Вехах" писал: "Белинский, один из отцов русской интеллигенции..."[23]; С. Булгаков подхватывал: "...отец русской интеллигенции Белинский"[24]; П. Струве поправлял и уточнял: "...первым русским интеллигентом был Бакунин..."[25]. Но пройдет совсем немного времени – и тот же Бердяев напишет: "Первым русским интеллигентом был Радищев..."[26].

Однако и радикал-революционер – далеко не единственная ипостась "интеллигента-диссидента". К их числу некоторые авторы причисляли... первого русского императора. Так, Д. Мережковский настаивал, что "первый русский интеллигент – Петр"[27]. Из "веховцев" эту мысль разделял М. Гершензон: "Наша интеллигенция справедливо ведет свою родословную от петровской реформы"[28]. Да и более поздний исследователь, Г.П. Федотов, связывал появление русской интеллигенции с реформами Петра: "...Интеллигенция рождается с Петром... Интеллигенция – детище Петрово..."[29].

А современный исследователь Г. Андреев настаивает на том, что "именно в век Екатерины возникло такое явление, как русская европейская интеллигенция, которая с самого начала своего существования встала в оппозицию к власти, к трону"[30].

Кроме указанных выше трех основных групп, существует и множество иных определений интеллигенции. Например, что интеллигенты – это авангард общества, группы инноваторов, изобретателей нового; что это – духовная элита, профессионально рефлектирующие интеллектуалы и т.п. Но такие определения обычно использует относительно небольшое число ученых.

Самое интересное во всем этом то, что любая попытка практически применить какой-либо из названных критериев к реальной жизни сразу же порождает множество противоречий и парадоксов. Главный состоит в том, что среди интеллигенции есть абсолютно полярные течения. Скажем, одно из них постоянно звало к насилию во что бы то ни стало ("К топору зовите Русь!"), другая, напротив, испытывала непреодолимое отвращение к грязи и крови (Лев Толстой и толстовцы). Одна часть постоянно решала проблемы "больной совести", но эти же проблемы решительно отвергались другой – деятельной, практически настроенной частью интеллигенции. Одна часть порождала глубоко религиозный тип, ищущий обновления и очищения традиционной веры, другая – не менее убежденных атеистов, стремящихся разрушить веру и утвердить на месте ее научную теорию[31]. Часть интеллигенции всегда была явно космополитична, другая часть являлась главным идеологом национализма.

Тем, кто утверждал, что интеллигенции свойственны интернационализм и национальная терпимость, возражал еще В. Жаботинский: "Возьмите только список выдающихся людей, которые терпеть не могли евреев: кого вы там только не найдете! – писал он. – ...Пушкин, Гоголь, Шевченко, Достоевский, Тургенев... Это даже не десятая доля полного списка"[32].

Кстати о национализме. Многие из "властителей душ" нередко были откровенными националистами и ксенофобами. Так, Достоевский, создавший гуманистическую картину мира, в которой "слеза ребенка" перевешивает все блага мира, проглядел "бесов национализма", которые используют его идеи в целях, не менее опасных для человечества. Его независимые критики не раз указывали на те черты "политики" Достоевского, о которых наши "создатели классиков" хотели бы забыть. Вот эти черты. Панславизм, теоретически основанный на представлении о России как "духовной защитнице православия", что практически делало Достоевского яростным сторонником войны с Турцией за овладение Константинополем и порою заставляло "говорить о благах войны в терминах, напоминающих скорее этику национал-социализма, чем христианскую любовь". Отношение к иностранцам и инородцам, пропитанное "ксенофобией и этнической ненавистью". "Глубокая ненависть ко всем западным формам общества и правления". Русский мессианский национализм, т.е. "определение русского народа как единственного обладателя религиозной истины". И наконец, "поддержка деспотизма". Все эти свойства и сегодня позволяют сторонникам "возврата к автократическому русскому прошлому" опираться на политическую философию Достоевского[33].

Уместно также вспомнить, что Белинский терпеть не мог поляков, а про черногорцев говорил, что их "надо вырезать всех до последнего"[34].

И этот национализм проявлялся у многих интеллигентов, несмотря на то что в самой их среде были представители самых разных национальностей. Так, Гоголь был украинцем, Пушкин – "из арапов", Фонвизин – немцем, Жуковский – турком, Багратион – грузином, Лорис-Меликов, Вахтангов, Хачатурян – армянами, Куприн – татарином, братья Рубинштейны, Левитан и Пастернак – евреями, а добрая треть генералитета и чиновничества была из немцев[35].

Но интеллигенция – это ведь не только Пушкин и Гоголь, Шевченко, Достоевский и Тургенев. Это еще и "интернационал Бакунина, гимны топору, прокламации, требующие 3 000 000 голов, идеализация разиновщины и пугачевщины, ужасное дегенеративное лицо Каракозова, зловещий Нечаев, у которого Ленин – бессознательно, быть может, – учился организационному и тактическому имморализму"[36]. С другой стороны, "кто может вычеркнуть либеральное течение из истории русской интеллигенции?" – резонно замечал П.Н. Милюков[37].

В одно и то же время в составе интеллигенции были люди, исповедующие утилитаризм и нигилизм, либерализм, западничество, славянофильство, марксизм и др. По своим политическим пристрастиям она делилась на охранительную, консервативную, либеральную, леворадикальную и иную интеллигенцию; она включала в себя радикалов, консерваторов, умеренных, черносотенцев, социалистов, монархистов, бундовцев, старообрядцев. По профессиональным признакам она делилась на художественную, научную, техническую, военную и духовную интеллигенцию и т.д. И каждая из них представляла собой отдельную, довольно своеобразную субкультуру. Скажем, дореволюционная научно-техническая интеллигенция во многих важных отношениях серьезно отличалась от гуманитарной. Если последняя "ходила в народ" и боролась с самодержавием, то дореволюционные инженеры бы-

ли в основном прагматиками и за некоторыми редкими исключениями (Л.Б. Красин) в революционных движениях практически не принимали участия. К тому же «каждое поколение интеллигенции определяло себя по-своему, отрекаясь от своих предков и начиная – на десять лет – новую эру. За идеалистами – "реалисты", за "реалистами" – "критически мыслящие личности" – "народники", за народниками – марксисты – это лишь один основной ряд братоубийственных могил», – писал Г.П. Федотов[38]. "Личностное мышление интеллигента, – заметил Г. Померанц, – несет в себе одновременно возможность Христа и Антихриста"[39].

Естественно, что к интеллигенции всегда причисляли одновременно столь разных людей, как Сергий Радонежский и Симеон Гордый, Новиков и Радищев, Чаадаев и славянофилы, Гоголь, Тютчев, Достоевский, Лев Толстой, Константин Леонтьев, Вл. Соловьев, В.В. Розанов, Мережковский, декаденты и философы.

Авторы подобных определений, следуя каждый собственной логике, приходят к совершенно неожиданным выводам. Так, П.Б. Струве в "Вехах", развивая свое определение, пришел к выводу, что Радищев и Чаадаев – вовсе никакие не интеллигенты, поскольку они, дескать, "Богом упоенные люди". Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов – также, по его мнению, "не носят интеллигентского лика... Владимир Соловьев вовсе не интеллигент", а "первым русским интеллигентом был... Бакунин"[40].

Любопытно и другое: подобные определения предусматривают фактическое исчезновение интеллигенции к настоящему времени, чем постоянно пугают своих читателей сами же современные интеллигенты[41]. Так полагал современный историк М. Геллер, который утверждал, что в конце XX в. интеллигенция "сходит со сцены одновременно с закатом идеологии"[42]. "Безвозвратно уходит со сцены славная русская интеллигенция", – переживает писатель Д. Гранин[43].

Все это смешение понятий происходит, как мне кажется, потому, что в мифологии вообще нельзя ничего определять сколько-нибудь точно, иначе миф исчезает и проступает не всегда приятная суть явления. Вот почему гуманитарная наука до головокружения запутывает дело, когда речь идет об устоявшихся мифологемах. «В значении слова "интеллигенция", – утверждает филолог В.С. Елистратов, – есть то, что можно назвать семантическим беспределом (разрядка наша. – *К.С.*). Значение этого слова вмещает в себя все, что угодно, лишь бы это было загадочно, оригинально, приятно и не так, как в других культурах.

Интеллигенция – воинственный орден. Интеллигенция – это каста жертвенников. Данко с Матросовым. Интеллигент – это тот, у кого за все болит душа. Душевнобольной Хармс и протопоп Аввакум – в равной мере интеллигенты. Нечаев – интеллигент. Обломов – тоже интеллигент. Даже Иисус Христос интеллигент, правда первый, и на том спасибо. Чтобы быть русским интеллигентом, надо быть евреем.

Очень красиво, парадоксально! Интеллигент – вечный странник, типа цыгана. Тоже красиво. Чего только на эту тему не сказано! Но в любом высказывании о сути интеллигенции всегда есть одна мысль: интеллигенция – лучшая часть России»[44].

Далеко не у одного только филолога названный "семантический беспредел" вызывает подобные эмоции. Несколько лет назад один из наиболее дотошных авторов попытался всерьез разобраться в этом явлении и результаты своих разысканий опубликовал в статье под названием "Интеллигент – это кто?". Приведем его выводы: «...Еще никто никогда не сумел сформулировать, что же такое – "интеллигенция". Толкований масса, но все какие-то туманные, неопределенные. В итоге

выходит, что это нечто доброе, порядочное, гуманное, человечное (не обязательно с высшим образованием!), но этакое совестливое, высоконравственное и даже где-то возвышенное. Интеллигент – властитель дум, утешитель, учитель, вдохновитель (тут уж рукой подать до "организатора"). И одновременно – вечный оппозиционер правительству, которое никогда не понимает, бестолковое и высокомерное, истинных чаяний народа... Подразумевается, что интеллигент – человек непременно *хороший*. Что окончательно запутывает дело. Что же получается? Николай Гаврилыч Чернышевский, звавший Русь к топору, – интеллигент? Александр Ульянов, Кибальчич, на досуге рисовавший в камере смертников космические корабли будущего, Софья Перовская – тоже интеллигенты? Считается, что Ульянов-Ленин, организатор государственного переворота, тоже интеллигент. Приехали. Ерунда получается»[45].

В заключение представляется уместным привести еще одно определение интеллигенции. Его совсем недавно сформулировал один интеллигент из Бельмонта (США): «Интеллигенция, – утверждает автор, – это в прямом смысле (разрядка наша. – *К.С.*) орган и инструмент общественного сознания ("мозг нации", в противоположность известной позиции В.И. Ленина), и ее основная роль заключается в формировании общественного сознания путем явного выражения протекающих в нем процессов и выдвижения идей усваиваемых (или, возможно, отвергаемых) затем общественным сознанием... Поэтому российская интеллигенция надолго останется инструментом формирования общественного сознания, а не просто поставщиком "интеллектуального товара"»[46].

Здесь на ум приходит известный античный анекдот: когда Платон определил человека как двуногое бесперое существо, Диоген ощипал цыпленка и бросил его к ногам Платона со словами: "Вот твой человек". Действительно, если интеллигенция – "мозг нации", то вся "остальная нация" – чиновники, предприниматели, служащие, рабочие, фермеры, офицеры, солдаты и все другие – это (по определению) просто "безмозглая масса". Кроме того, всегда было принято считать, что интеллигенты получают жалованье за то, что они производят что-то вполне определенное – книги, фильмы, картины, медицинские услуги, проекты, расчеты и т.д. А тут оказывается, что интеллигент – это человек, который не только не собирается работать физически, но и в сфере умственного труда не хочет делать ничего определенного. Ну прямо люмпен какой-то, заменяющий труд "выражением процессов" и "выдвижением" идей. Добро бы речь шла о гениальном поэте или чудаке-философе, живущем в бочке. Так нет ведь, речь идет о всей интеллигенции.

Закончим на этом наш краткий обзор определений.

В общем, уже очевидно, что ни одно из известных определений интеллигенции не в состоянии охватить и объяснить весь феномен в целом. И, наверное, это естественно. "Чем богаче подлежащий определению предмет, то есть, чем больше различных сторон он предоставляет рассмотрению, тем более различными оказываются даваемые ему дефиниции", – замечал Гегель.

Но коль скоро существует так много различных определений интеллигенции и все они не вполне удовлетворительно описывают реальность, я, видимо, вправе предложить еще одно, относительно новое определение, которое, будучи достаточно непротиворечивым, способно объяснить гораздо больше важных фактов, чем уже известные определения. В основе этого определения лежит гипотеза о том, что основным делом интеллигенции в этом мире является формирование, сохранение и изменение "картины мира". Но сначала несколько слов о том, что это такое.

КАРТИНА МИРА КАК ОБЪЕКТ ТРУДА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Достаточно подробно феномен картины мира охарактеризован в нашей книге "Субкультуры и этносы в художественной жизни" (СПб., 1996). Поэтому здесь я ограничусь лишь несколькими краткими замечаниями.

Картиной мира будем называть далее комплексное образное представление человека об окружающей действительности и своем месте в ней; точнее – это система представлений о мире в целом, о месте человека в нем, о взаимоотношениях человека с окружающей действительностью.

Картина мира является главным средством восприятия окружающего и ориентации человека в этой жизни. Именно она порождает любые убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации и духовные ориентиры. Любое существенное изменение картины мира автоматически влечет за собой изменение в системе указанных элементов. (Отмечу, что столь популярные сегодня термины "ментальность" и "парадигма" суть в сущности лишь различные модификации понятия "картина мира".)

Картины мира у разных людей могут очень сильно различаться, и это является причиной очень серьезных различий в их поведении. У одних они светлые, у других – мрачные; у одних в картине мира преобладает прошлое, у других – будущее; у одних она насыщена человеческими отношениями, у других – основное место отведено природе; одни картины мира сложны, объемны и красочны, другие – просты, плоски и бесцветны и т.д.

Вот несколько простых примеров. Если у людей одна картина мира (как, скажем, у толпы зевак или очереди за хлебом), их можно разогнать простой угрозой применения насилия, а если другая (как, например, у правоверных мусульман, верящих, что павшие за веру попадают прямо к Аллаху) – их можно только убить, но не запугать.

Люди с одной картиной мира (как у комсомольской молодежи в годы первых пятилеток) могут добровольно работать сутками на холоде и без пищи, а люди с другой картиной мира (скажем, "воры в законе") могут годами "доходить" в штрафных изоляторах без тепла и еды, но работать не станут даже под угрозой смерти.

Все это означает, что для выживания и судеб и отдельного человека, и общества в целом главное значение имеет картина мира, а остальное вторично. При этом (и это, пожалуй, наиболее важное) картина мира – самый эффективный, надежный и удобный инструмент управления людьми: обществом, большими и малыми социальными группами.

Но откуда же берутся, как сохраняются и изменяются эти картины мира?

Безусловно, картина мира начинает складываться у человека с самого рождения. Благодаря воспитательным воздействиям родителей, близких, друзей она наполняется смысловым содержанием. Но и далее, практически на всех возрастных этапах, картина мира человека остается относительно пластичной и в случае адекватного воздействия на нее сохраняет способность изменяться, иногда весьма значительно. И вот здесь вступают в действие такие мощные инструменты формирования картины мира, как религия, наука, искусство и их "носители" – образование и массовые коммуникации. Все вместе они образуют могучий комплекс, формирующий картину мира каждого отдельного человека и целых групп.

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КАРТИНЫ МИРА

Каждый инструмент формирования мира в настоящее время институционализировался, занял свою прочную нишу в социальной жизни и представляет собой серьезную силу, с которой вынуждены считаться все, кто претендует на участие в ней.

Научный компонент картины мира формируется в сфере исследовательских институтов и университетов и транслируется через систему образования и популяризации. Религиозный компонент имеет догматический характер, транслируется через систему общин и церквей и – в зависимости от взаимоотношений с государством – через образовательную систему. И наконец, искусство создается отдельными художниками, но транслируется через разветвленную сеть учреждений культуры – театры, кинотеатры, музеи, клубы, библиотеки. И все компоненты картины мира, сформировавшись в своей институциональной среде, транслируются по мощнейшим современным каналам прессы, радио, телевидения, сети Интернет, аудио- и видеозаписей.

РЕЛИГИЯ

В далекие времена, когда еще не существовало ни профессионального искусства, ни современной системы образования, ни тем более развитых каналов массовой коммуникации, основным средством формирования картины мира служили религия и ее основной институт – церковь. Она оказывала мощное влияние на формирование картины мира через проповеди, ритуалы, архитектуру, живопись, музыку, скульптуру, декоративно-прикладное искусство (облачение и утварь), своеобразные театрализованные обрядовые действа. Но картину мира формировали не вещи как таковые, вернее, не только они. Этим занимались некие "специальные" люди – духовенство. Как писал В.О. Ключевский, "в составе русского общества было целое сословие, которое много веков уже служило орудием могущественного иноземного влияния – это духовенство, которое церковными средствами проводило в русское общество восточную греческую культуру. Это сословие, служа церкви, оказало немаловажное действие, неоцененные услуги русскому просвещению и общежитию, выработало соображенные с задачами церкви приемы действия на умы и нравы, *воспитывало народ в известных интересах и понятиях*"[47].

Конечно, не все духовные лица были достаточно образованны, не все хорошо разбирались в догматике и теологии. Но этого от них и не требовалось. Важно, что они профессионально занимались формированием и сохранением картины мира своих прихожан и служили главными и универсальными экспертами по всем вопросам души и ее отношений с Богом. Именно исполнение подобных функций позволяет считать этих воспитателей народа интеллигенцией.

НАУКА

Важно отметить, что в своей жизнедеятельности человек, как и социум в целом, пользуется и научной, и так называемой наивной (имплицитной) картиной мира. Если научная картина мира представляет собой свод утвердившихся в науке знаний о человеке, природе и обществе, то предметом "наивной" картины мира является подвижная система связанных между собой образов и представлений о мире и

человеке, различных для разных субкультур и страт, определяющая их поведение. Их различия проявляются в первую очередь в том, что "наивная" картина мира стремится к целостности, а научная – к полноте и точности знания. "Наивная" картина мира должна быть целостной в каждый данный момент, иначе она не сможет служить основой для адаптации к среде.

Естественно, что обе эти картины тесно связаны, поскольку научная картина мира становится достоянием многих пытливых и любознательных членов общества и тем самым включается в "наивную" картину мира[48].

Ученые, открывающие законы и закономерности, раскрывающие сущности и тенденции, формируют, строго говоря, лишь научную картину мира. Но профессора и учителя, передающие результаты их труда студентам и школьникам, ученые-специалисты, выступающие экспертами по важнейшим вопросам государственного развития, постоянно вторгаются в "наивную" картину мира и перестраивают ее в соответствии с определенными нуждами государства. И это позволяет считать "научных людей" интеллигентами.

ИСКУССТВО

Обращаясь к литературе, музыке, изобразительному или пластическому искусству, люди как бы выходят за пределы своей обыденной жизни и получают возможность эффективно достраивать, бесконечно совершенствовать и "раскрашивать" свою собственную картину мира. С другой стороны, идеи и чувства, выраженные в художественной форме, обладают более мощной силой внушения и "заражения", а потому усваиваются на уровне обыденного сознания гораздо легче образов-образцов, создаваемых, например, научной гипотезой, теорией или политическим лозунгом.

Естественно, что большинству творцов произведений искусства и в голову не приходит мысль о том, что они способны решительно повлиять на картину мира современников или грядущих поколений. Но когда их произведения созданы, их так или иначе предстоит транслировать современникам по вполне определенным каналам (книготорговля, библиотеки, кинопрокат, выставки и галереи). И вот здесь-то в дело вмешивается интеллигенция. Художественные критики, искусствоведы, историки искусств, наконец, цензоры формируют восприятие публики, постоянно "объясняя" ей, что хорошо, а что плохо в искусстве. Другие "интеллигенты" в министерствах, комитетах и комиссиях по культуре активно поддерживают одни произведения искусства, одних художников, одни художественные школы и течения и не поддерживают или даже отрицают другие. Они же "назначают" классиков: формируя школьные и университетские программы и включая (либо исключая) в них тех или иных художников, принимая решения об уровне "увековечения" их имен (юбилей, мемориальная доска, бюст, памятник и т.д.).

Тем самым соответствующие "интеллигенты" вне зависимости от своих желаний, осознанно или нет формируют у людей художественную картину мира. Как писал славянофил И.С. Аксаков, любой власти для формирования вполне определенной картины мира профессиональные деятели искусства крайне необходимы. Во-первых, ей "нужен п о э т (здесь и далее разрядка наша. – *К.С.*) для прославления подвигов"; во-вторых, "с к у л ь п т о р для изваяния статуй великих государственных деятелей"; в-третьих, "нужен п и с а т е л ь с добрым слогом, что-

бы мог сочинить на нужные государственные случаи, торжества и другие потребы приветственную речь, похвальное слово, гисторию событий"; в-четвертых, "нужен актер для увеселения двора и публики (которую также приходилось создавать вновь, ее ведь не было, – она также у нас происхождения официального!)... необходимы комедии, балеты, необходимо веселье, как одно из условий государственной гигиены... И вот являются и поэты, и скульпторы, и живописцы, и писатели, и актеры, и балетмейстеры, и ученые, и веселые люди, и все поступают на службу, расписываются по классам и рангам, содержатся на счет государства и отдают отчет правительству в своей художнической, ученой, литературной или увеселительной деятельности"[49].

В свое время интеллигент Аксаков был до глубины души поражен "настойчивыми, энергическими усилиями государства: создать во что бы то ни стало штатс-просвещение, штатс-науку, штатс-искусство, штатс-журналистику, штатс-поэзию, штатс-литературу, штатс-галантерейность, штатс-нравы, штатс-нравственность... Государство не щадило расходов на *воспитание общества – в направлении и в духе соответствовавших государственным целям*... (курсив наш. – *К.С.*).

От кабаков и увеселительных домов до академий наук и разных храмов музам – все это содержалось на казенные деньги, на казенный счет, казною, *ради государственной надобности*"[50].

ОБРАЗОВАНИЕ

К середине XX в. возникла мощная всеохватывающая светская система образования. Под прямым влиянием государства идеал всеобщей грамотности и право на образование заняли одно из самых видных мест в системе современных ценностей[51]. В современном мире никакая общенациональная культура не может существовать без некоего специального механизма, охватывающего все население, – без национальной образовательной системы с многочисленным штатом профессиональных педагогов и развитой инфраструктурой. Только современное национальное государство способно создать, содержать и защищать эту огромную дорогостоящую пирамиду[52]. Никакая система образования не в состоянии существовать без интеллигенции – педагогов, целенаправленно формирующих (или по меньшей мере корректирующих) у своих учеников вполне определенную картину мира, заданную учебными программами, которые, в свою очередь, санкционированы государством.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В современном мире важнейшим каналом формирования научной, религиозной и художественной картин мира являются средства массовой информации. Их воздействие резко усиливает мощь науки, искусства, религии и системы образования, и вместе они играют ключевую роль в создании и поддержании национальной картины мира. Но для того, чтобы эффективно использовать этот канал коммуникаций для своих целей, государство создает и совершенствует соответствующую систему контроля – грубого или весьма тонкого.

С появлением телевидения проблема становится еще серьезнее, ибо телевидение представляет новости и передает сообщения в более сильных выражениях, в более убеждающей манере, нежели газеты и журналы. Власть телевидения

продолжает расти. Все проблемы, возникающие в обществе, почти немедленно доносятся до народа, и, как может показаться, совершенно беспристрастно, поскольку зритель полагает, что он видит происходящее своими собственными глазами. Эта проблема существует в государствах любого типа – от наиболее тоталитарных до самых демократических, где на выработку картины мира влияют убеждения владельцев газет, их редакторов и самих журналистов – интеллигенции.

ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Все перечисленные средства и каналы формируют картину мира и ее важнейшую составляющую – так называемую историческую память. «*Исторической памятью*, – писал один из исследователей этого феномена, – я называю таинственную способность, потенциально присущую каждому человеку, переживать историю как свою собственную духовную биографию. Эта способность реализуется в двуедином акте опознания истории в себе и себя в истории. Как способность духовная, историческая память активна, то есть не безразлична к своему предметному содержанию. Именно поэтому для нас не бессмысленны такие понятия, как "грех отцов", ощущаемый нами как собственный и т.п. ... Лишить человека исторической памяти – значит лишить его культуры (в смысле качественности бытия), лишить его духовной самоопределенности, то есть убить в нем личность»[53].

"...На низших ступенях исторической жизни социальной памяти вообще не существует, – указывает П.Н. Милюков. – Социальная память в начальном периоде существования оказывается прерывистой и случайной по содержанию. Чтобы сделать ее постоянной и ее содержание организованным, необходимо создать мыслящий и чувствующий аппарат нации, который называется *интеллигенцией*... Только с этого момента могут явиться и жить в предании элементы живой национальной традиции, передаваемой из поколения в поколение сознательным общественным воспитанием"[54].

Формируя историческую память своих сограждан, социальная система тем самым коренным образом изменяет картину мира. Если "обрезать" память человека, скажем, до вчерашнего дня, что останется от его картины мира? Герой Д. Оруэлла с ужасом спрашивал подругу: "Разве ты не понимаешь, что все прошлое, начиная со вчерашнего дня, фактически уничтожено?[55]. Но ведь "личная память" каждого человека "обрезана", так сказать, физиологически – самим моментом его рождения. И все, что было до этого, он узнает от других. То, какую историческую память он обретет, зависит прежде всего от того, какую версию прошедшего приготовила для него социальная система. И все эти манипуляции осуществляет специальный корпус "интеллигентов-экспертов" – официальных историков, философов, социологов, публицистов. Манипулируя содержанием исторической памяти, социальная система легко может превратить человека в полного идиота. Вспомним, что вся трагедия в философском романе Оруэлла "1984" строится именно как трагедия памяти! Чудовищный аппарат тоталитарной системы основан на принципе постоянного и неуклонного истребления памяти: "Все расплывалось в тумане. Прошлое было подчищено, о подчистках забыли, и ложь стала правдой... Все документы уничтожены или подделаны, все книги и картины переписаны, все памятники, улицы и здания переименованы, все даты изменены"[56]. Это главная цель системы, способ ее существования. Систéма сильна постольку, поскольку она умеет заставить

людей забыть о прошлом, о прошлом страны и о совсем ближайшем прошлом (вплоть до вчерашних цен на шоколадку). Система в известном смысле творит чудеса, "делая бывшее – небывшим". Но ведь все это она может делать *только руками интеллигенции и только через нее.*

К тому же когда интеллигенция пишет историю, она, грубо говоря, делает это "небескорыстно". В ходе этого процесса она одновременно мифологизирует собственную субкультуру, транслируя миф о себе всем остальным субкультурам общества. Как пишет лингвист и историк В.С. Елистратов, "поэтизация быта той или иной касты – дело обычное для всех каст... Но надо сознаться, что пальма первенства в поэтико-ностальгической саморекламе принадлежит все-таки дворянам и интеллигенции серебряного века. Быт усадьбы и быт богемы – вот тема тысяч и тысяч текстов. Здесь мы знаем все: в какой ротонде была какая-нибудь княжна Раевская во столько-то часов такого-то числа тысяча восемьсот такого-то года, каков был цвет персидского ковра, на котором впервые Брюсов поцеловал свою Ренату, сколько стопок водки обычно пила Ахматова, как шелестела манишка юного Набокова – мы знаем всё"[57].

И это естественно, поскольку только интеллигенция умеет целенаправленно формировать и транслировать ту или иную картину мира. Ведь для того чтобы оставить о себе, о своей картине мира хоть какую-то память, надо уметь рефлектировать, т.е. уметь ее осознавать. Во-вторых, чтобы описать эту картину мира, надо по меньшей уметь писать, и писать хорошо. И, в-третьих, чтобы передать ее другим поколениям, надо это описание уметь сохранить в веках – в архивах, книгохранилищах, музеях.

Ничего подобного другие субкультуры никогда не умели. Это всегда делали только "эксперты-интеллигенты" – историки и идеологи. Тем самым они получили *монополию на историческую память.* Сегодня все уже к этому настолько привыкли, что вся наша "написанная" история (т.е. та часть общей картины мира, которая изображает прошлое) очень сильно деформирована: она как бы резко сдвинута в одну сторону – в сторону людей, которые умели хорошо писать, хорошо сохранять после своей смерти все написанное и через созданную ими же систему образования регулярно транслировать ее потомкам.

И вполне естественно, что, формируя общенациональную картину мира, *интеллигенция ставила себя в центр человечества*: ее собственная история изображалась в качестве истории всего российского народа, а ее культура – в качестве общенациональной культуры. Одним из немногих обратил внимание на этот в общем-то очевидный факт известный русский философ Г. Федотов, утверждавший что «под именем истории "русской литературы", "русской общественной мысли", "русского самосознания" много десятилетий разрабатывалась история русской интеллигенции...»[58]. Большинство современных исследователей "не видит" этого обстоятельства, отождествляя интеллигенцию и культуру народа. "Не подлежит никакому сомнению, – пишет современный историк культуры, – что история русской культуры неразрывно связана с историей русской интеллигенции, которая выступала одновременно и ее носителем, и творцом, и теоретиком, и критиком, и еще много чем, – фактически сама являлась средоточием, воплощением и смыслом русской культуры"[59].

Надо поэтому ясно отдавать себе отчет, что все мы сегодня видим прошлое только глазами интеллигентов. Все же другие люди – мещане, низшее купечество и сельское духовенство, чиновничество, крестьяне, рабочие, солдаты (а имен-

но они составляли подавляющее большинство народа – до 97% в начале века) – никогда не умели этого делать, и потому их картины мира остались для нас за семью печатями. Если говорить серьезно, то об их ментальности мы просто ничего не знаем.

Еще Лев Толстой сокрушался на страницах "Войны и мира" по поводу того, что купцы редко пишут книги по истории, хотя они могли бы сообщить немало ценного о практической подоплеки жизни человечества. Вместо них миссию составления и комментирования анналов прибрали к рукам кабинетные и придворные литераторы. Они склонны помещать в центр событий монархов, политиков, их "любимцев и любовниц", а также собственное сословие[60]. И действительно, возьмите в руки любую "историю России" – что там? Это либо история власти, т.е. правителей и их деяний, либо история интеллигенции. Если пишут историю страны – это история царей и восстаний; если пишут историю культуры – это история интеллигенции, ее внутренних конфликтов и ее отношений с властью.

Особенно не повезло "срединному слою", самому многочисленному, находящемуся между "интеллигенцией" и "неграмотными". Так, В. Розанов отметил, что «дореволюционная история литературы занималась творчеством верхних слоев общества, фольклористы, наоборот, интересовались только творчеством неграмотных масс. Но между этими двумя слоями общества есть промежуточный: творчество людей, обученных "на медные деньги", грамотных, но не стоящих на уровне современной культуры»[61].

В результате, вся та "идеологическая борьба", о которой идет речь в многочисленных книгах по истории России, была не чем иным, как чисто интеллигентским занятием. Да и сегодня большинство исследователей идет проторенными путями и, как правило, не осознавая этого, пишет историю узкого круга элитарной интеллигенции. Это, конечно, удобно потому, что только эта интеллигенция и оставила необходимые письменные источники, а при отсутствии живых свидетелей эти источники – самое простое средство изучать историю как бы "всей страны". Но при этом не замечают (или не хотят замечать), что преобладающая-то часть крестьянской, чиновничьей, мещанской России жила совершенно другими заботами и имела совсем другие представления о жизни и ее проблемах.

"ИНТЕЛЛИГЕНТЫ – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ"

Итак, для выживания и судеб как отдельного человека, так и общества в целом картина мира и заключенная в ней историческая память всегда имели решающее значение. Вот почему для формирования, сохранения, развития и передачи картины мира другим поколениям человечество еще в глубокой древности создало специальный механизм, разделившись для этого на две неравные части. Одна из них – небольшая группа людей (назовем их "интеллигенты-эксперты") стала "хранителями" картины мира, а все остальные остались лишь ее "носителями".

На самых ранних этапах истории роль экспертов – хранителей картины мира играли разного рода жрецы, шаманы и волхвы, затем – духовенство и летописцы. Так, Г.П. Федотов полагал, что «первые "интеллигенты" на Руси, при всей условности их отнесения к интеллигенции, – православные священники, монахи и книжники киевского и московского периодов древнерусской культуры...»

Но в те стародавние времена их "работа" была еще относительно простой. Общество было слабо дифференцировано, а разделяемая его членами картина

мира была относительно единообразна. Поэтому особой конкуренции между различными экспертами-жрецами не было; каждая область их экспертизы отделялась от другой в силу простого разделения труда. Скажем, эксперт, специализировавшийся "на образах внешнего врага и борьбе с ним", абсолютно не претендовал на роль эксперта "по образам дичи и охоты на нее", а потому у таких двух экспертов не было никаких оснований конкурировать. Однако шли века, общество усложнялось и дифференцировалось, и вслед за этим происходила дифференциация картины мира. Одни ее образы и фрагменты оставались доступными для всех, другие – лишь для строго определенных людей. То, чего нет в картине мира простого рабочего, есть сегодня у главного конструктора; то, чего не может быть в картине мира крестьянина, есть у чиновника; образы, отсутствующие у больного, предельно четкие и ясные у врача; образы "античного искусства", отсутствующие у широкой публики, хорошо развиты у представителей художественной критики и т.д.

В то же время сходные картины мира возникали у людей, объединенных по самым разным признакам – по возрасту, профессии, религиозным предпочтениям, эстетическому вкусу и т.д. Назовем такие сообщества носителей сходных картин мира субкультурами.

С возникновением субкультур возникло и множество разнообразных вариантов видения общества в целом. Каждая из картин мира показывала ее обладателю все окружающее под особым углом зрения: профессиональный нищий видел общество и мир иначе, чем преуспевающий юрист; поэт – иначе, чем бизнесмен; иудаист – иначе, чем протестант, и т.д. Подобная дифференциация непрерывно нарастала, и постепенно обозначилась опасность того, что каждый человек начнет по-своему воспринимать мир и тогда станут неизбежными раздирающие общество конфликты.

Как бы отвечая на эту опасность, общество резко повысило роль "интеллигентов-экспертов" в принятии наиболее важных для него решений. Они стали все больше специализироваться, монополизировать право суждения о предмете своей экспертизы и, главное, в связи с этим претендовать на особый статус. Теперь они выступали уже не просто как эксперты-советники относительно той или иной области картины мира, но требовали всей полноты полномочий относительно этой области. В результате этого процесса они стали "универсальными экспертами" в смысле притязаний на самое лучшее понимание всех фрагментов картины мира, носителями которых были все остальные люди[62]. Вот эти-то "интеллигенты-эксперты" и были первыми "настоящими интеллигентами".

Со временем возникли и оформились специальные процедуры, с помощью которых эксперты передают сформированную ими картину мира другим людям, – проповеди, консультации, лекции, речи, статьи. За всеми основными образами единой картины мира общества были закреплены вполне определенные группы "экспертов-хранителей". Благодаря им эти образы получили возможность сохраняться даже в тех случаях, когда все их носители вымирали, и для большинства обычных людей они утрачивали свое первичное значение (например, образ всемогущей королевы Великобритании или российской империи как "великой державы"). Многие образы и фрагменты картины мира сохранились до наших дней и дошли до нас не потому, что они функциональны, а лишь потому, что их принято считать "правильными" в рамках официальной картины мира, поддерживаемой с помощью "универсальных экспертов".

Но дифференциация "интеллигентов-экспертов" и разделение ими сфер влияния имели самые различные следствия. Так, можно, в частности, предположить, что разорванность и мозаичность картины мира современного человека – прямое следствие непрерывной дифференциации и борьбы групп "интеллигентов-экспертов". Поскольку количество этих групп постоянно увеличивается, то растет и число разнообразных фрагментов картины мира, которые они контролируют. А поскольку "интеллигенты-эксперты" не всегда согласовывают между собой характер "своих" фрагментов, то под их влиянием у простого человека и возникает крайне противоречивая картина мира.

Так или иначе, но со временем за "универсальными экспертами" было официально признано право на "самое лучшее" понимание этих образов. По профессиональным признакам они разделились на интеллигенцию художественную, научную, техническую, военную, духовную и др. С целью укрепления и повышения своего статуса они создали и постоянно поддерживают миф о себе как о наиболее загадочной и непонятной для непосвященных, но самой умной, благородной, неподкупной и радеющей о народе группе населения. Более того, они сами стали называть себя "духовная элита"[63].

С этой же целью "интеллигенты-эксперты" сделались практически недоступными для непосвященных. Часть из них образовала эзотерические анклавы, герметически закрытые для посторонних, например придворные поэты, столичные художественные критики, высшие священнослужители, политическая элита. Такие эксперты стали требовать для себя определенных привилегий и знаков признания со стороны общества. Но, чтобы их получить, надо было убедить всех, с одной стороны, в собственной необходимости, а с другой – в принципиальной непостижимости своих знаний для "простых людей". С этой целью использовались самые разные механизмы устрашения и пропаганды: мистификация, запугивание и манипуляция престижными символами. Так, например, основную массу населения запугивали тем, что если не следовать советам врачей, то это приведет к смерти; если не обращаться к юристу, то можно попасть за решетку; если не посещать церковь – можно попасть в ад; если не "приобщаться" к искусству – станешь "культурно отсталым" и "духовно оскудеешь" и т.д. Веками для создания "тайны и авторитета" применялись диковинные костюмы: мантия судьи и академика, раззолоченный военный мундир, белый медицинский халат, парчовый стихарь священника. Использовался непонятный профессиональный язык; возникли торжественные процедуры награждения и посвящения, интригующий и загадочный образ жизни. И весь этот маскарад нужен был лишь для того, чтобы профаны оставались профанами, эксперты – экспертами и чтобы все при этом были довольны. Так создавался и укреплялся один из самых популярных мифов современной гуманитарной науки – миф об интеллигенции.

ШИРОКОЕ И УЗКОЕ ПОНЯТИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Таким образом, "интеллигенты-эксперты", они же "духовная элита", – это вполне определенная социокультурная группа, профессионально занятая формированием, сохранением и развитием общенациональной картины мира и претендующая на решающее право голоса во всех вопросах, так или иначе связанных с выполнением этих функций. Это – "властители дум", "отцы народа": философы, журналисты, писатели, священники и т.п.

Современная социальная роль "интеллигентов-экспертов" состоит в выработке идеологических схем и концепций, способных сформировать так называемую общенациональную картину мира, которую затем государство представляет всему населению через СМИ и систему образования как ядро общенациональной культуры. С этой целью интеллигенция непрерывно занята конструированием разного рода схем и концепций, теорий и религий, способных так или иначе повлиять на состояние существующей картины мира.

Эта функция интеллигенции стала очевидной довольно давно. Еще П.Н. Милюков писал о привычном для интеллигенции стремлении "управлять общественным мнением и политической деятельностью" и "осчастливить человечество придуманными системами..."[64]. «Интеллигенция, не только наша, но и всякая другая, стремится к созданию цельного, продуманного мировоззрения, ей принадлежит творчество "-измов"...» – отмечал историк. Сходным образом определяют функции интеллигенции и некоторые современные западные социологи, понимающие под интеллигентами "поставщиков идеологий" (Р. Арон)[65]. К этому определению близки и современные отечественные исследователи. Как пишет К. Касьянова, "интеллигент – это человек, имеющий концепцию культуры того общества, в котором он живет"[66].

Подчеркну особо, что речь не идет о простых исполнителях с дипломом о высшем образовании – рядовых врачах, учителях, священниках, журналистах-репортерах, мелких чиновниках и инженерах. Они, конечно, тоже могут принимать участие в формировании картины мира общества, но лишь косвенно – в качестве некоей питательной среды для "интеллигентов-экспертов", создавая для них и их деятельности определенную атмосферу. Скажем, научно-техническая интеллигенция – это не только известные академики – Королев, Флеров, Арцимович, номенклатура, жившая особой жизнью. С ними, и только с ними считалась и заигрывала партийная номенклатура. Огромная же масса рядовых заводских инженеров и техников оставалась "за бортом" принятия любых значимых решений. "Приходится исключить из интеллигенции всю огромную массу учителей, телеграфистов, ветеринаров (хотя они с гордостью притязают на это имя)..." – утверждал Г.П. Федотов[67]. Более того, далеко не всех "творцов", художников можно считать "интеллигентами-экспертами". Поэт, художник, писатель – если он "всего только" поэт или писатель, только "божья дудка", как, скажем, С. Есенин, то он, конечно же, не "универсальный эксперт". Последним он становится только тогда, когда, как, например, Пушкин, Достоевский или Толстой, начинает активно формировать мировоззрение окружающих, создавая художественные произведения, перевертывающие привычные представления, участвовать в общественной и политической жизни, писать публицистические и теоретические статьи, пытаясь осмыслить и н а в я з а т ь окружающим собственную картину мира.

Как писал историк России Р. Пайпс, у термина "интеллигенция" «по крайней мере два значения, одно широкое и другое – узкое. В широком – и более старом своем смысле – он относится к той части образованного класса, которая занимает видное общественное положение и нимало не напоминает тех, кого французы зовут les notables (городской врач, учитель и "вся интеллигенция" – тургеневская "Странная история"). Такая широкая дефиниция постепенно вышла из употребления, но была воскрешена после 1917 г. коммунистическим режимом... В силу такого определения председатель КГБ и академик Сахаров оба являются представителями "советской интеллигенции"...»[68]. Такой подход «...рассматривает "интелли-

генцию" как профессиональную категорию, обозначающую тех, кого на Западе назвали бы "белыми воротничками"»[69]. Но есть и второй, более узкий круг "интеллигентов-экспертов", о котором сказано выше.

Образно говоря, всю интеллигенцию можно представить в широком и узком смысле как два концентрических круга – один внутри другого. Первый, самый широкий круг, – "среда, порождающая интеллигенцию" (назовем ее чисто условно "интеллигенты-исполнители"). Он включает всех интеллигентов – тех, кто независимо от уровня образования и участия в принятии решений, сам причисляет себя к этой субкультуре. Второй – численно небольшой, расположенный в центре первого, – составляет его ядро: только "интеллигенты-эксперты", участвующие в принятии важных для общества решений и формирующие для него национальную картину мира.

Два круга взяты здесь для наглядности. На самом деле интеллигенция представляет собой некую систему постепенно расширяющихся от "ядра" концентрических кругов, в центре которых расположены "интеллигенты-эксперты", а на периферии – "телеграфисты и ветеринары". Так, приближенные сотрудники Петра I, товарищи по школе при дворе Елизаветы, оппозиционеры-масоны и радикалы екатерининского времени, потом военные заговорщики, читатели и поклонники Белинского, единомышленники Чернышевского, учащаяся молодежь, "третий элемент", профессиональные "союзы", политические партии – все это постепенно расширяющиеся концентрические круги, формировавшие свои варианты национальной картины мира[70].

Подобную модель интеллигенции первым предложил П.Н. Милюков. В ней отношение "интеллигенции" и "образованного класса" было представлено в виде двух взаимодействующих концентрических кругов. «Интеллигенция, – писал он, – тесный внутренний круг: ей принадлежит инициатива и творчество. Большой круг "образованного слоя" является средой непосредственного воздействия интеллигенции. С расширением круга влияния изменяются и размер, и характер интеллигентского воздействия. Начавшись с индивидуального, личного, кружкового, эмоционального и непосредственного, влияние это становится литературным, коллективным, рациональным и научным. Ни центральное ядро интеллигенции, ни образованную среду, конечно, нет надобности представлять едиными...»[71]. Так, например, сотни и тысячи никому неизвестных литераторов и художников своей жизнью и творчеством создают необходимую питательную атмосферу для крупных талантов и гениев литературы и живописи – не более, но и не менее.

Именно из этого большого концентрического круга чаще всего и выходят "интеллигенты-эксперты", которые затем становятся монополистами в той или иной области общенациональной картины мира. И, возможно, из этой "порождающей среды" выходят первоначальные, "сырые" идеи относительно развития картины мира, которые потом, после определенной корректировки, шлифовки и развития, становятся ее общепризнанными фрагментами.

В эпохи крутых перемен национальная картина мира подвергается эрозии, разрушению, возникает острая потребность в ее укреплении. Тогда, в эпоху большой культурной ломки, значительная часть "рядовых интеллигентов" – специалистов умственного труда переходит в ряды "интеллигентов-экспертов". Последние разбиваются на конфликтующие группы, выдвигающие свои варианты картины мира.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАРТИНЫ МИРА: КАРНАВАЛИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ

Механизмы формирования определенной картины мира сегодня практически не изучены. Тем не менее отдельные аспекты работы этих механизмов относительно ясны.

Один из них – это своеобразная "игра" с фрагментами исторической памяти и образами картины мира, которую описал отечественный философ-диссидент В.Ф. Кормер: "И вот по кухням маленьких (отдельных, а не коммунальных) квартирок на окраинах Москвы, в Бирюлеве да в Медведкове, сидят и спорят до хрипоты теперешние русские интеллигенты: откуда есть пошла русская земля? Зачем пошла туда, не пошла сюда? Как это могло получиться? Точки бифуркации. Цель истории. Щель истории. Камни преткновения. Кто виноват? Татары? Иван Грозный? Петр? Николай II? Интеллигенция? Евреи? Большевики? Сталин? Хрущев?"[72].

Этот портрет "интеллигенции за работой" дополнил и Б. Хазанов: "...В немноголюдных, но достаточно многочисленных интеллигентских кружках, сосредоточенных в крупных городах советской империи либо перебравшихся за рубеж... идет невидимая внешнему миру творческая работа..."[73]. "Любимое времяпрепровождение – сидение в тесном кругу друзей до поздней ночи за стаканом остывшего чая или рюмкой водки, в густом папиросном дыму, – и бесконечные словопрения...

О чем здесь говорят, волнуются, кричат до хрипоты? Все о том же. Уходят годы и сменяются поколения, но темы не меняются. Россия и Запад, наука и вера, история, Бог, народ"[74].

Картину следующим образом дорисовала К. Касьянова: «Собираясь в кружках и салонах, обсуждая и дискуссируя различные вопросы, вырабатывая в связи с этим целый веер различных теорий и концепций, разбиваясь по различным "направлениям" и "движениям", интеллигенты обобщают и формулируют какие-то варианты сословных и локальных моральных принципов и максим, упорядочивают их, выстраивают в систему, обосновывают, пропагандируют, наконец, требуют проведения в жизнь... И от того, насколько им удастся основательно и полно проделать эту работу, зависит не только неповторимое лицо будущей нации, но, в каком-то смысле, и сама ее судьба»[75]. "...Будущая нация, – резюмирует она, – должна воспринять вырабатываемые интеллигентами идеи и принципы как выражение собственных представлений и убеждений"[76].

Суть этой невидимой миру работы состоит в так называемой карнавализации сознания "универсального эксперта". «...Культура насыщена диалогом, – писал об этом психологическом механизме формирования картины мира В.Ф. Кормер, – диалог пронизал все ее поры... набору возможностей соответствуют... свои системы образов, живых картин... причем в силу одновременности – они даны сознанию одновременно – образы, относящиеся к одной возможности, могут, по-видимому, возбуждать ассоциативный ряд в сфере другой возможности. Образы, стало быть, будут переплетаться, скрещиваться, элементы одного ряда будут сочетаться с элементами другого, производя что-то вроде мифологических чудищ – сирен, химер, кентавров, людей с песьими головами и т.п. ... Вполне допустимо представить себе здесь и возникновение эстетического момента, а вместе с ним игровой ситуации, когда вдруг пробудившееся при удачном раскладе воображение примется рьяно комбинировать, перетасовывать, подгонять друг к другу разнород-

ные элементы, получая удовольствие от их парадоксальных, гротескных сочетаний. В такой игре "верх" смешивается с "низом", "правое" с "левым", утверждение с отрицанием, время течет вспять, лицо окажется на месте зада, нос или что другое пойдут разгуливать по улицам в сюртуках и шляпах...

Таков эффект, который и возникает при *игре с исторической памятью*, с возможностями, предоставляемыми диалогом. Поскольку сознание в такой игре уже не просто раздваивается, а еще и "забавляется" (сочетая разнородные возможности), "веселится", поскольку здесь присутствует, как мы сказали, эстетический момент, мы назовем этот эффект "карнавализацией сознания"»[77].

Несколько иначе описывал эту игру сознания Б. Хазанов: "Русский интеллигент... мыслит широкими категориями... Объекты действительности в его уме превращаются в яркие, почти художественные образы, сам того не замечая, он тяготеет к гиперболизации и упрощениям... Западные учения и теории усваиваются на лету в виде суммы конечных выводов, мгновенно и решительно принимаются на веру либо столь же безапелляционно отвергаются. История становится историософией, философия превращается в философствование"[78].

Механизмы выработки картины мира отдаленно напоминают некую мясорубку, в которой вместо "фарша" используются разного рода чужие идеи, теории и концепции. Этим, возможно, и объясняется то обстоятельство, что интеллигенты России были последовательно увлечены Гегелем, Шеллингом, Сен-Симоном, Фурье, Фейербахом, Марксом, причем так самозабвенно, как никто и никогда не был увлечен ими на родине этих философов. В разные периоды в умах русских интеллигентов непрерывно менялись различные быстропреходящие кумиры: "Шеллинг и Кант, Ницше и Маркс, эротика и народовольчество, порнография и богоискательство. Все это, – по образному выражению И. Солоневича, – выло, прыгало, кривлялось на всех перекрестках русской интеллигентской действительности"[79].

В последующие десятилетия русские интеллигенты следовали за метаморфозами европейского социализма, последовательно делая своими кумирами Фурье, Прудона, Маркса, революционного анархо-синдикалиста Ж. Сореля и В. Ленина. Это обстоятельство, в свою очередь, и определяет одну из характерных черт известной части интеллигенции, которую иногда называют "оторванностью от жизни", "витанием в облаках". Конечно, механизм "карнавализации сознания" абсолютно необходим "интеллигенту-эксперту" для выработки новой картины мира. Он абсолютно необходим и художнику, поэту, писателю, создателю пьес и кинокартин – для конструирования разнообразных художественных миров, но он может оказаться пагубным для создания адекватных среде образов. Г. Померанц справедливо заметил, что "идеи, плодотворные в искусстве... могут оставаться неплодотворными и опасными в общественной практике. Взлеты и падения по ту сторону здравого смысла привлекают и захватывают в духовной жизни (и в литературе, идущей по следам этой жизни)"[80], но в общественной практике они нередко ведут к катастрофам.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И НАРОД

Хотя "интеллигенты-эксперты" для поддержания или развития "курируемых" ими фрагментов картины мира придумывают изощренные теории, основная масса людей во все времена оставалась равнодушной к ним. Так, изысканное богословие духовной элиты в России благополучно сосуществовало с "бытовым православи-

ем" народа, круто замешанном на языческих суевериях, а основную массу "потребителей" искусства никогда не интересовали мудреные эстетические теории.

Это во многом объясняется тем, что не только картины мира, но и вытекающие из них интересы "интеллигентов-экспертов" и народа во многом различаются. Если для большинства интеллигентов очень важна свобода говорить и писать все, что им хочется, то для простого народа это право практически не представляет интереса. Его волнует совсем другое, примерно то, что некогда король Франции Генрих IV обещал своим крестьянам – курицу на обед в каждой крестьянской семье. Именно поэтому интеллигенция всегда третировала народ, называя его "мещанством", имея в виду не столько сословие, сколько образ жизни. Одновременно она нередко занималась "просветительством", стремясь "возвысить" народ до себя и навязать всем остальным субкультурам общества собственную картину мира, сделать из каждого человека свое упрощенное подобие – нечто вроде "маленького несовершенного интеллигента". Интеллигенция полагала, что крестьяне и мещане плохи из-за своей "необразованности и невоспитанности", а хороши станут лишь тогда, когда усвоят нормы и интересы интеллигентской субкультуры, станут грамотными и образованными, "ну почти как интеллигенты". Вот тогда-то у народа и интеллигента появятся наконец общие интересы; тогда они наконец захотят того же: бесцензурной печати, свободы творчества, и все вместе станут за это бороться. А интересы самого народа ("курица в супе") будут удовлетворены некими побочными следствиями, проистекающими из свободы печати.

"...Народ не чувствует в нас людей, не понимает и ненавидит нас... – писал М.О. Гершензон. – Мы даже не догадывались об этом. Мы были твердо уверены, что народ разнится от нас только степенью образованности и что, если бы не препятствия, которые ставит власть, мы бы давно уже перелили в него наше знание и стали бы единой плотью с ним. Что народная душа к а ч е с т в е н н о другая – это нам и на ум не приходило... Народную психику представляли себе в виде голого сознания, только несведущего и мало развитого.

Интеллигенция... выбивалась из сил, чтобы просветить народ, она засыпала его миллионами экземпляров популярно-научных книжек, учреждала для него библиотеки и читальни, издавала для него дешевые журналы..."[81].

Вся эта деятельность называлась "просветительство". А оно, как точно заметил В.Ф. Кормер, "обычно рядится в одежды бескорыстной заботы о ближнем. Некто, обладающий избытком знаний, якобы великодушно делится ими со своими ближними, со своими малыми братьями, одаряет их. Но бескорыстие это лишь кажущееся. Всякое просветительство теснейшим образом связано с идеями об исправлении нравов. Даже более того: с идеями о спасении посредством исправления нравов"[82]. Причем просвещаемый должен усвоить вполне определенную картину мира, отстаиваемую вполне определенной группой "интеллигентов-экспертов".

По мнению интеллигенции, те немногие, кому удается навязать эту картину мира, – "настоящий народ", достойный всяческого уважения, восхищения и, может быть, даже преклонения. Те же, кто ее не принимает, – "мещанство". Причем «между "интеллигенцией" и "мещанством" теоретики интеллигенции большей частью подчеркивают полную противоположность»[83]. Интеллигенция безусловно отрицает мещанство; мещанство безусловно исключает интеллигенцию. Поэтому интеллигенция колеблется между презрением к невежественному народу ("мещанам") и обожествлением его – начиная с русской концепции народа-богоносца и кончая ки-

тайским лозунгом: "Учиться у рабочих, крестьян, солдат". Так, например, Достоевский устами своего alter ego Шатова объявил русский народ "народом-богоносцем". Завороженная этой наркотической идеей, радикальная часть оппозиционной интеллигенции стала напоминать монашеский орден, секту самоубийц. Проповедь Шатова представляла собой ответ "бесам". Но ведь и сами "бесы" – террористы 70-х годов – громогласно заявляли, что их зловещие подвиги служат только делу освобождения народа[84].

Со своей стороны народ платит интеллигенции недоверием, ибо никогда не умел всерьез отличать интеллигенцию от власти[85].

Со временем отношения между интеллигенцией и народом превратились в бесконечную войну. Интеллигенция, постоянно устраивавшая революции, как правило, использовала террор, чтобы навязать народу свою картину мира. Народ же время от времени отвечал интеллигенции погромами, как это было во времена холерных бунтов. А в начале XX в. "жиды" и "студенты" сблизились в сознании охотнорядцев и стали символизировать "интеллигентов"[86].

Таким образом, народ и интеллигенция в отношениях друг с другом попеременно играют роль палача и жертвы[87]. Г. Померанц писал об этом: «...Орудие революционной интеллигенции – террор; орудие взбаламученной массы – погром. Жертвы погрома становятся яростными сторонниками революционной диктатуры, а жертвы террора в следующем действии – яростными погромщиками... Например, Сталин использовал еврейские кадры для коллективизации, а выходцев из деревни для "борьбы с космополитами"»[88].

Итак, "интеллигенты-эксперты" действительно стали некоей совершенно особой, маргинальной группой, расположенной между властью и народом, но, конечно же, намного ближе к власти. "К а к о в ы м ы е с т ь, – писал М.О. Гершензон, – нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, – бояться его мы должны пуще всех казней, власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной"[89].

Народ – это объект воздействия интеллигенции: ему она должна навязывать сформированную ею картину мира. Для характеристики численного соотношения между "образованной частью общества" и народом нелишне напомнить, что еще в 1895 г., в начале последнего царствования, четыре пятых населения России были неграмотны. В деревне жило около 85% населения. В девяти русских университетах обучались всего 25 тысяч студентов[90]. Как утверждал А. Блок: "...Есть действительно не только два понятия, но две реальности: народ и интеллигенция; полтораста миллионов, с одной стороны, и несколько сот тысяч – с другой; люди, взаимно друг друга не понимающие в основном"[91].

И тем не менее эта микроскопически малая часть общества – "интеллигенция" – постоянно работала над формированием национальной картины мира и распространением ее на весь народ.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: РУССКОЕ ЛИ ЭТО ЯВЛЕНИЕ?

Одной из наиболее важных составляющих мифа об интеллигенции является утверждение, что она чисто русское явление и ничего похожего за рубежом не может быть. Как писал Г.П. Федотов: «...говоря о русской интеллигенции, мы имеем дело с *единственным, неповторимым* явлением истории. Неповторима не

только "русская", но и вообще интеллигенция"»[92]. А современный историк культуры И.В. Кондаков утверждает: «Своеобразие русской интеллигенции как феномена национальной русской культуры, *не имеющего аналогов* среди "интеллектуалов" Западной Европы... является сегодня общепризнанным (как известно, во всех словарях мира слово *интеллигенция* в близком нам смысле употребляется с пометкой: "рус." – как специфическое образование русской истории, национальной общественной жизни)»[93].

Эти утверждения повторяются постоянно, хотя их несоответствие действительности буквально бросается в глаза. Причем настолько, что даже сам Г.П. Федотов опроверг собственное утверждение в другом месте: "Некоторое подобие русской интеллигенции мы встречаем в наши дни в странах пробуждающегося Востока: в Индии, в Турции, в Китае"[94], т.е. там, где народы собираются "догонять" европейскую цивилизацию. Не случайно именно интеллигенция стоит во главе всякого рода национальных и националистических движений и создает для них концептуальную основу. Как справедливо заметил П.Н. Милюков, «появление интеллигенции есть необходимое предварительное условие для возникновения национального самосознания. "Национализм" есть продукт интеллигентского творчества»[95].

П.Н. Милюков с некоторым удивлением обнаружил, что "интеллигенция вовсе не есть явление специфически русское"[96]. А в наши дни Г. Померанц убедительно показал, что интеллигенция возникает в целом ряде стран со сходными особенностями развития. Он писал: «...интеллигенция... складывается в странах, где сравнительно быстро принялась европейская образованность и возник европейски образованный слой, а социальная "почва", социальная структура развивалась медленнее, хотя иногда по-своему и очень быстро; существенно, однако, что эта "почва" надолго сохраняла азиатские черты»[97].

Оставим Восток и обратимся к Европе. Относительно нее итальянский исследователь В. Страда высказался еще более определенно: "*Русская интеллигенция*, при всех ее особенностях, не есть что-то уникальное, а *часть* сложного исторического явления – *европейской интеллигенции* нового времени"[98]. Он полагает, что последняя появилась во Франции в эпоху Просвещения. Французскому Просвещению (Lumières) отводилась решающая роль в формировании современного типа интеллектуала, в том числе и русского. Хотя в создании последнего немалую роль сыграли также Просвещение английское (Enlightenment) и немецкое (Aufklarung). Русское же Просвещение – колыбель петербургской и московской интеллигенции – плод французского, немецкого и английского Просвещения[99].

В 1842 г. К. Маркс противопоставлял эгоистическим сословным группировкам Пруссии "интеллигенцию" и ее "интеллигентность" как принцип: "...Интеллигентность... не есть ищущий удовлетворения эгоистический интерес, это – всеобщий интерес"; "Об интеллигентности речь может идти не как о части, входящей в состав целого, а как об организующем начале"; он говорил об интеллигенции как о группе, "для которой высшая потребность заключается в том, чтобы претворить в жизнь самую сущность государства, рассматриваемого притом как ее собственное деяние..."[100].

А П.Н. Милюков отмечал, что появление во Франции "особого класса, стоящего вне сословий и занятого профессиональным интеллигентским трудом, ведет к образованию интеллигентского пролетариата..."[101]. Есть, по его убеждению, интеллигенция и в Англии, причем она стоит "особенно близко по самому характеру

идеологии к русской интеллигенции"[102]. Что же касается Германии, то в ней еще в 30-х – начале 40-х годов XIX в. учащейся молодежью было создано типично интеллигентское движение "Молодая Германия", состоявшее из журналистов и литераторов[103].

Добавлю к этому, что бывали такие эпохи, как 40–50-е годы, когда субкультура интеллигентов, объединяясь в кружках политической эмиграции в Европе, вообще становилась интернациональной. Проводя эти параллели, я вовсе не хочу сказать, что русская интеллигенция не имела специфических особенностей. Напротив, многие из них просто бросаются в глаза. Так, важнейшая особенность России – поразительная неустойчивость ее национальной картины мира, постоянно подвергавшейся деформирующему воздействию иных картин мира, принадлежавших самым разным этносам: варягам, хазарам, финнам, византийцам, затем татарам, немцам и французам. Поэтому, чтобы сохранить ядро национальной культуры, Россия была вынуждена особенно усиливать и развивать у себя особый, специальный "класс жрецов", которые должны были не только развивать национальную картину мира, но в то же время охранять ее от экспансии других, более зрелых и оформившихся культур.

В странах же Западной Европы национальная картина мира развивалась относительно самостоятельно. Европейская идеология, имевшая своими корнями греческую культуру, римское право и христианство, стала не только вполне самостоятельной, но и агрессивной и, претендуя на звание "центра мировой цивилизации", с помощью креста и меча все чаще пыталась навязывать свою культуру всему миру. Поэтому там не было столь острой нужды в развитии специального "класса жрецов", охраняющих национальные картины мира, и в придании ему особого статуса. Гораздо более важную роль в Европе играл средний класс, выдвигавший из своей среды купцов, юристов, управляющих и т.п. Можно, таким образом, предположить, что именно это обстоятельство – крайняя неустойчивость картины мира и нужда в особой ее охране "интеллигентами-жрецами" – резко усилило роль и ответственность интеллигенции в России.

В то же время не следует и преувеличивать эти различия, ибо легко показать, что многие приписываемые ей черты отнюдь не составляют своеобразие русской интеллигенции. Конечно же, она специфична. Но ровно настолько, насколько специфична интеллигенция Японии, Соединенных Штатов и Индии.

К примеру, немало говорилось о том, что специфика существования интеллигенции в России состояла в том, что "ни в одной стране мира" народ (т.е. крестьянство) и верхушка (т.е. дворянство) не были столь сильно оторваны друг от друга в культурном отношении. Не случайно известная часть российских интеллигентов декларировала своей целью ликвидацию этого разрыва с тем, чтобы либо самой "опроститься", вернувшись к народу, либо поднять с помощью просветительства народ до уровня интеллигенции.

Но ведь и в других странах этот разрыв был довольно большим. Возьмите французскую культуру того же периода (конца XVIII в.), где только высокообразованная парижская аристократия была знакома с достижениями науки, занималась литературой и изящными искусствами. В то же время провинциальные дворяне Гаскони, Прованса, Шампани и Бургундии не всегда знали грамоту. Возьмите Германию того времени, и там найдете точно ту же многослойность.

А если посмотреть на Америку периода гражданской войны, так и там, похоже, было то же самое. Американская культура, которая в еще большей степени,

чем русская, представляла собой "смешение и сплав" европейских традиций, точно так же оставалась достоянием узких слоев. Я уже не говорю о недоступности этой американской культуры для выходцев из неевропейских, особенно азиатских, этносов; но даже для демократических масс среднего Запада эта культура была довольно чуждой.

КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ "УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ": АПЕЛЛЯЦИЯ К ВЛАСТИ

Возникновение постоянного штата "интеллигентов-экспертов" – хранителей картины мира ознаменовалось началом целой серии конфликтов между различными их группами. Конфликты возникали из-за того, что время от времени одну часть экспертов начинали раздражать чрезмерные претензии других экспертов и получаемые ими социальные привилегии. Особо сильное возмущение при этом вызывали утверждения привилегированных экспертов, что они лучше всех других знают те или иные стороны картины мира. Возникавший при этом "бунт профанов" нередко приводил к появлению совершенно новых элементов картины мира и соответственно новых экспертов, охраняющих эти новые образы и фрагменты.

Однако возможна и другая, столь же важная, причина конфликта между соперничающими группами экспертов. До тех пор, пока поддерживаемые ими фрагменты картины мира непосредственно соотносились с реальностью, соперничество экспертов могло разрешаться средствами практической проверки. Возьмем для примера конкурирующие образы идеального охотника на оленей (или идеального воина). Здесь решить спор двух экспертов довольно легко: достаточно проверить, чьи советы ведут к убиению большего числа оленей (или врагов).

Но такая возможность напрочь отсутствует при решении вопроса о сравнительной эффективности предлагаемых двумя экспертами образов Вселенной. "Интеллигенты-эксперты", которые их предлагают, должны заменить практическую проверку абстрактной аргументацией. Однако она вряд ли способна убедить всех: то, что убедительно для одного, вызывает сильные сомнения у другого. И здесь все начинает зависеть от социальной поддержки той или иной версии. И стоит только той или иной точке зрения спорящих экспертов получить поддержку аудитории, как на исход спора сразу же начинают мощно влиять социальные интересы. Так было, например, с западничеством и славянофильством – двумя взаимоисключающими картинами мира.

Если две подобные группы экспертов будет дискутировать, скажем, о необходимости свободы (или ее вреде) для рабов (крепостных крестьян), то различные субкультуры – дворян-помещиков, чиновников, купцов и др. – могут обнаружить в конкурирующих картинах мира близкие им образы и со временем станут их "носителями". Одна картина мира будет импонировать элитарным субкультурам, вторая – низшим субкультурам общества. Причины, вызывающие это разделение, могут не иметь никакого отношения ни к истине, ни к мотивам, вдохновлявшим авторов этих картин мира. Да и сами критерии "истинности" той или иной картины мира теперь становятся чисто внешними: "истинность" "доказывается" не ее внутренними качествами, а совместимостью с социальными интересами той субкультуры, которая стала ее "носителем". Вполне естественно, что на определенном этапе дис-

куссии конкурирующие группы экспертов начинают апеллировать к "своим" группам "носителей" картин мира, и с этого момента последующая судьба спора полностью зависит от исхода социального конфликта между "группами поддержки". На этой стадии конфликта в ход идут все мыслимые способы борьбы, а "искренность" или "честность" соперничающих экспертов и их сторонников уже не играют никакой роли.

Вот как описывает П.Н. Милюков происходящую в этом случае борьбу групп "интеллигентов-экспертов": "...Практикуется искусственный подбор фактов, их искусственная перспектива и освещение, бесцеремонное подсовывание противнику мотивов, которые способны представить его дело и его личные побуждения в дурном свете, запугивание ужасными последствиями его политики, приписывание его взглядам как основной причине и источнику всех явлений, вызывающих безусловное общественное осуждение; прямое измышление фактов, никогда не имевших места в действительности, но способных уничтожить врага или поднять бодрость в союзнике: сюда относится и искусственное создание подходящих для использования фактов (провокация); наконец, изображение себя в роли защитника прав и справедливости, на которых дерзко нападает противник..."[104].

Во всех странах, во все эпохи группы "интеллигентов-экспертов" наперебой предлагали власти свои варианты национальных картин мира. Они всегда спорили между собой, чья картина мира лучше, и эти споры иногда переходили в яростную перебранку. Так, знаменитый Ломоносов – "универсальный эксперт" времен Екатерины II, писавший для нее восторженные оды, – столь же энергично сочинял доносы на своих коллег. Одного из них, историка Миллера (благодаря которому были спасены труды Татищева), усомнившегося в пребывании в России апостола Андрея, он обвинил в "оскорблении Петру, учредившему орден Андрея Первозванного". В результате доноса диссертация Миллера была запрещена и печатные экземпляры ее уничтожены[105]. На другого известного историка, Шлецера, он написал донос, обвинив его в политической неблагонадежности, и заключил его словами: "Из сего заключить можно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная к ним скотина"; в результате ученый был подвергнут обыску и те рукописи, которые он не успел припрятать, были изъяты[106].

А вот более современный пример. В середине и конце 80-х годов в разгар перестройки, когда можно было уже о многом говорить, но еще почти ничего не разрешено было делать, представители "демократической" и "националистической" прессы развернули страстную дискуссию друг с другом. Трудно представить себе, что, скажем, российские "националисты" и "демократы" всерьез рассчитывали перевоспитать своих оппонентов. Каждая из сторон занималась гораздо более важным делом – она объясняла власти, какую картину мира ей следует принять в качестве официальной. При этом "масонские заговоры" в "демократической" среде обличали вчерашние партийные функционеры средней руки, ощущавшие, что наступают иные времена, в которых они могут и не пригодиться власти. "Плохие писатели, знающие, что их время уходит и что скоро понадобятся совсем другие плохие писатели"[107]. Главным чувством, объединявшим эту часть "интеллигентов-экспертов", было горькое предчувствие, что ожидается большое перераспределение разнообразных благ и что блага эти могут пройти мимо. Возможность оттеснить от привлекательных должностей большое количество конкурентов, используя националистическую картину мира, многим казалась соблазнительной[108].

И так было практически всегда. Не случайно в самом факте выпуска сборника "Вехи" П.Н. Милюков сразу же распознал очередной залп одной из конкурирующих групп "интеллигентов-экспертов". Он писал: "Они осуждают одно интеллигентское течение мысли во имя другого, тоже интеллигентского..." "Вехи" он назвал "сведением счетов между двумя соседними поколениями русской интеллигенции"[109]. Авторы "Вех", писал он, "суть интеллигенты нового поколения, поднявшие бунт против старых вождей и старых богов русской интеллигенции"[110].

В своем противоборстве одна часть интеллигенции всегда называла другую, противостоящую ей часть "ненастоящей" или "плохой" интеллигенцией. Н. Бердяев даже выдумал для нее особое название – "интеллигентщина"[111]. А. Солженицын придумал еще более презрительный термин – "образованщина". Согласно классическому определению интеллигента Ленина, она "гнилая". По мнению Булгакова и Франка, "плохая" интеллигенция имеет "духовное родство с грабителями, корыстными убийцами, хулиганами и разнузданными любителями полового разврата"[112].

Если словесная дуэль не дает перевеса ни одной из сторон, то при равновесии сил спорящие стороны склонны прибегать к различного рода силовым подкреплениям абстрактных аргументов – скажем, уговаривают власти использовать возможности государства для навязывания собственных образов картины мира своим соперникам. И в принципе из истории известно, что те или иные образы реальности могут поддерживаться с помощью тайной полиции. По мере усложнения картины мира и роста числа конфликтов эксперты все чаще уговаривали власть использовать силу для навязывания "правильных" (с их точки зрения) образов картины мира своим соперникам. Если это удавалось, конкурирующие картины мира устранялись: либо преследовали и физически ликвидировали их носителей, либо они включались в официальную картину мира.

Скажем, в России в одни периоды побеждали вполне определенные группы "интеллигентов-экспертов", и тогда на щите был вариант с "православием, самодержавием и народностью" и наверху (т.е. близкими к власти) оказывались его авторы. В другие времена брал верх вариант "весь мир до основанья мы разрушим...", и тогда места в правительстве и вокруг него занимали совсем другие "эксперты-интеллигенты". Далее события всегда развивались по одному и тому же сценарию: победившие интеллигенты начинали угнетать побежденных, о чем в конце прошлого века в сердцах высказался А.П. Чехов: "Я не верю в нашу интеллигенцию... ее притеснители выходят из ее же недр".

Вот почему, когда авторы "Вех" изо всех сил пытались доказать, что интеллигенты – это революционеры-радикалы-анархисты, всегда боровшиеся с государством, они старательно делали вид будто никогда не существовало их антиподов – интеллигентов-государственников. Но именно эти "интеллигенты" первыми пытались ввести в России господствовавшую тогда в Европе теорию государственного права. Конечно, и среди них были разные группы, боровшиеся между собой: при Екатерине II это были сторонники двух взглядов на государственность – исторического и правового. Последние стремились к формальному ограничению самодержавия и к безусловному господству закона. Уже в этом поколении интеллигенции были представлены и еще две боровшиеся друг с другом группы интеллигентов – идеалисты и утилитаристы. Да и во времена царствования Александра I, когда шла борьба за реформы, александровские интеллигенты-"либералисты" отнюдь не были противниками государства – ни конституционные монархисты, ни их ярые противники, республиканцы.

В этой постоянной борьбе, идущей с переменным успехом, в этом вечном круговороте и заключаются причины того, что конкретный состав "интеллигентов-экспертов" исторически чрезвычайно изменчив. Причем одни "интеллигенты-эксперты" могут относительно легко переходить из одной группы в другую. Так, в среде интеллигентов-революционеров было множество агентов-провокаторов, ничем не отличавшихся от своих товарищей. "Партия террористов, – писал Г.П. Федотов, – уже со всякой начинкой. Среди нее уже работают провокаторы. Один из предателей после 1 марта всходит с героями на эшафот. Не гнушаются ложью и принимают сотрудников из III отделения". Часто интеллигенты-революционеры полностью меняют амплуа: «В 70–80-е годы "маликовцы", Н.В. Чайковский, Фрей... В 80-е годы толстовцы. Другие, "ренегаты", среди них загадочный Лев Тихомиров, редактор "Народной воли", кончают православием»[113].

Наиболее характерной в этом смысле может служить судьба В.И. Кельсиева – революционера-эмигранта, сотрудника "Колокола" А.И. Герцена и Н.П. Огарева. В 1867 г. он неожиданно вернулся в Россию и заявил о разрыве со своей прошлой деятельностью. В Кишиневской тюрьме он написал "Исповедь" и послал ее шефу жандармов графу П.А. Шувалову, после чего был помилован[114]. «Судьба его выходит совершенно из ряду вон, – писал Н.К. Михайловский, – человек... вел самую деятельную революционную агитацию, всю свою душу клал в это дело, замешан во множестве политических дел, счастливо пробрался в Россию с фальшивым паспортом, также счастливо ушел из нее, получил неслыханный у нас титул "неосужденного государственного преступника"... и в конце концов воротился в Россию, получил помилование и обратился в русского литератора»[115].

В этой двойственности интеллигенции кроются причины того, почему интеллигенция, нередко начиная борьбу под знаменем свободы, часто приходит к диктатуре. В этом же разгадка и того, почему почти все диктаторы – это неудавшиеся творцы: бездарные актеры (Нерон), художники (Гитлер), писатели (Геббельс и Насер писали романы), поэты (Сталин и Мао). Нерон слагал стихи, играл на кифаре, пел в трагедийных спектаклях, выступал на музыкальных состязаниях в Греции[116]. Мао Цзе-дун писал элегические стихи, изображая себя "одиноким монахом, бредущим по миру с дырявым зонтом":

Одинокий стою я холодной осенью
И смотрю на реку, текущую прямо на север...

И в России немало власть имущих были неудавшимися художниками. Приведем только один пример. Председатель Комитета министров Валуев был завзятым романистом: в 80-е годы прошлого века он написал сразу несколько романов.

Как только власть принимает сторону одной из борющихся групп "интеллигентов-экспертов" с ее картиной мира, конкурирующие картины мира тут же ликвидируются властью-государством. Способы могут при этом применяться разные: либо уничтожаются физически их носители ("тот, кто не чтит богов, должен умереть"), либо они поглощаются официальной картиной мира (скажем, "интеллигенты-эксперты" могут доказать, что конкурирующие боги – это всего лишь одна из разновидностей официальных богов или что они так или иначе подразумеваются официальной картиной мира). В последнем случае конкурирующая картина мира ликвидируется путем "поглощения" ее официальной, которая при этом обогащается и дифференцируется. Конкурирующая картина мира может быть нейтрализована и третьим способом: ее просто изолируют внутри общества и тем самым делают

безвредной. Например, устанавливается такой запрет: ни один член группы завоевателей не должен поклоняться определенным богам, однако покоренным или низшим слоям разрешено это делать. По отношению к иностранцам – носителям иной картины мира может применяться изоляция (вспомним Кукуй или Немецкую слободу в Москве). Наиболее ярким примером было установление для евреев черты оседлости, хотя похожие ситуации возникали и там, где христиане были вынуждены жить бок о бок с мусульманами. Вводимая изоляция защищала православную картину мира от влияния картин мира евреев и мусульман. И до тех пор, пока конкурирующие ("чужие") картины мира удавалось изолировать, отношения с их носителями-чужаками могли быть вполне терпимыми.

Наглядные примеры всех перечисленных способов устранения конкурирующих картин мира продемонстрировало средневековое христианство. Так, открытая ересь уничтожалась физически, будь ее носителем индивид (скажем, ведьма) или коллектив (вроде общины альбигойцев). Борьба с ведьмами была объявлена чем-то вроде гражданского долга каждого истинного христианина. При этом в борьбе с ведьмами тон задавали отнюдь не какие-то там невежественные мракобесы, а именно высокообразованные "интеллигенты-эксперты" – юристы и государственные чиновники, искушенные в тонкостях законодательства и юриспруденции. Современный историк Г. Праузе пишет: «Это были ученые, университетские профессора, философы, юристы, то есть представители именно тех кругов общества, которые многие годы сопротивлялись темным домогательствам церкви, а теперь вдруг обратились в "истинную веру" и с жаром принялись искать и обличать ведьм». Даже знаменитый врач Парацельс и многие религиозные реформаторы, включая Мартина Лютера, поощряли охоту на ведьм и включались в нее, утверждая, что к ведьмам не может быть милосердия, ведь волшебство и заклинания – чертовщина[117].

В то же время сама церковь, как монопольный охранитель христианской картины мира, была относительно гибкой и часто включала в нее элементы многообразных народных верований, если они не слишком уж противоречили христианскому мировоззрению. Жрецы христианской картины мира не больно-то и пугались, если крестьяне крестили какого-нибудь своего языческого божка и делали его христианским святым (например, Велес – Влас), продолжали рассказывать древние истории (апокрифы) и отмечать связанные с ними языческие празднества (масленицу, день Ивана Купалы и т.п.).

Мало кто вспоминает, что в борьбе с научными открытиями тон задавала не церковь, а сами "интеллигенты-эксперты", боровшиеся за признание "своей" картины мира. Так, хотя в своей энциклике 1979 г. папа Иоанн Павел II отметил, что Галилей сильно пострадал от церкви, надо признать, что его самыми злейшими врагами были отнюдь не монахи, а коллеги – университетские профессора. Именно из-за боязни послужить мишенью для насмешек Галилей лишь после 50 лет отважился поддержать идеи Коперника. Когда он открыл спутники Юпитера, его коллеги-физики напрочь отказались признать это и взглянуть в телескоп, руководствуясь принципом: "этого не может быть, потому что не может быть никогда". Вообще для большинства ученых XVII в. эксперименты и наблюдения над живой природой представлялись излишней потерей времени[118]. Да и сам Галилей настойчиво оспаривал открытие Кеплера об эллипсоидной (а не круговой) форме траекторий движения планет[119]. Пастер, как известно, не был специалистом в медицине, и это дало его коллегам-ученым прекрасную возможность отвергать его идеи под предлогом его недостаточной медицинской подготовки.

Иногда борьба "интеллигентов-экспертов" принимает затяжной характер и заканчивается лишь с их смертью. Но чаще всего какая-то их часть со своим вариантом картины мира побеждает, ситуация стабилизируется, и победившие эксперты рассаживаются в еще не остывших креслах, занимая господствующие позиции в науке, искусстве, религии и политике. Проигравшие уступают, стушевываются и на время или навсегда покорно становятся "интеллигентами-исполнителями" – рядовыми специалистами, функционерами, "инженерами человеческих душ". Так было, например, с "земскими интеллигентами". "Вытесненные из политической борьбы, – писал Г.П. Федотов, – они уходят в будничную культурную работу. Это прекрасные статистики, строители шоссейных дорог, школ и больниц"[120].

Победивших "интеллигентов-экспертов" общество окружает снобистским почитанием, развешивает в официальных учреждениях их портреты, а "рядовым интеллигентам" оставляет маленькую зарплату и полное забвение.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

Но побежденные "интеллигенты-эксперты" редко сдаются на милость победителей. Когда власть выбирает (или, скажем, история приводит к власти) ту или иную группу "интеллигентов-экспертов", одна часть побежденных меняет точку зрения и переходит на их сторону, другая сохраняет нейтралитет (дружественный или нет) или уезжает в эмиграцию, но остальные тут же уходят в оппозицию и начинают готовить контрпереворот. Так, например, после революции 1917 г. русская интеллигенция сразе же разделилась на две части: одна, отрезвленная опытом революции, продолжала в изгнании сохранять прежнюю картину мира; другая, советская, оказалась в основной массе на стороне власти, хотя затем также разделилась на официозов и диссидентов, стремящихся к смене режима[121].

Цель ушедшей в оппозицию интеллигенции обычно состоит в том, чтобы продолжить борьбу и в очередной раз заменить господствующую картину мира своей собственной; так было и с радикальной левой интеллигенцией до революции, так было и с диссидентской интеллигенцией в Советском Союзе, так было практически всегда во всем мире. Вот почему организатором почти всех революций в истории была интеллигенция. Речь идет о революции французских жирондистов и якобинцев 1791 г. и всех других политических революциях – российской, английской и американской. То же самое относится и к неудавшемуся перевороту декабристов (1825), и к революции русских социал-демократов (1905), либералов (февраль 1917 г.) и большевиков (октябрь 1917 г.), а также немецких и итальянских фашистов (1922 и 1934 гг.). Практически все эти революции были осуществлены "интеллигентами-экспертами" при поддержке "интеллигентов-исполнителей".

Так, в Великой французской революции ядро революционеров, в том числе крайних – якобинцев, составили интеллигенты. Историк О. Минье писал, что круг тех, кто определял события 1791 г., "был ограничен людьми просвещенными", которые таким образом "контролировали все силы и всю власть в государстве", поскольку были "в тот период единственными, кто мог контролировать их, потому лишь, что обладали необходимым для этого умом"[122].

Как известно, в организации кровавого террора во Франции были повинны якобинцы, особенно их крайнее крыло. Французский историк Т. Карлейль так характеризовал крайних якобинцев: они "в большинстве были юристами, служащими

и людьми свободных профессий...". Историк называет их поименно: это – «... журналисты Горса, Карра, Мерсье, Луве, автор "Фобласа", Клоотс, спикер человечества; Колло д'Эрбуа, актер, безумствующий на сцене; Фабр д'Эглантин, памфлетист-теоретик... Адвокат Каррье из Орильяка, бывший священник Лебон из Арраса... Ромм... бывший профессор математики... Молодой Сен-Жюст... автор нескольких книг... Есть и... художники: толстый Давид с раздутой щекой...»[123].

Террор французских революционных интеллигентов в свое время потряс весь мир, сильно поколебав веру в гуманизм. Карлейль рассказывает, что когда адвокат Каррье из Орильяка «достиг Нанта... его гильотина и "рота Марата" в вязаных колпаках работают без отдыха, гильотинируют маленьких детей и стариков. Лион фактически обречен на разрушение... Революционный трибунал и военная комиссия, находящиеся там, гильотинируют, расстреливают, делают все, что могут: в канавах площади Терро течет кровь; Рона несет обезглавленные трупы... 12 тысяч каменщиков вытребованы из окрестностей, чтобы срыть Тулон с лица земли... 90 священников были утоплены депутатом Каррье в Луаре... Женщин и мужчин связывают вместе за руки и за ноги и бросают в реку»[124].

Таким образом, интеллигенты-большевики в России в 1917-м и интеллигенты-нацисты в Германии в 1934-м всего только повторяли пройденное интеллигентами французскими в 1794-м.

Сваливание вины за фашистский эпизод в жизни Германии на кого угодно – нерассуждающих военных-солдафонов, циничных капиталистов, заговорщиков-коммунистов и бюргеров-антисемитов – все это часть привычного мифотворчества "интеллигентов-экспертов", отрицающих свою вину в создании идеологии нацизма.

В России также "главными революционерами" были отнюдь не рабочие. Октябрьская революция 1917 г. и революция 1905 г. были революциями интеллигентов, хотя их и пытались представить как "рабоче-крестьянские". "Русская революция была интеллигентской, – справедливо заметил С. Булгаков. – Духовное руководительство в ней принадлежало нашей интеллигенции с ее мировоззрением, навыками, вкусами, социальными замашками..."[125].

Да и ранее, начиная с 40-х годов прошлого века – с собраний кружка, который посещал Достоевский, – все легальные и нелегальные оппозиционные и революционные группы были группами интеллигентов. Даже партия социал-демократов, называвшая себя "рабочей" (Российская социал-демократическая р а б о ч а я партия), состояла по большей части из интеллигенции[126].

И здесь уместно вспомнить, что знаменитый "бес" – убийца С.Г. Нечаев, которого Энгельс назвал "людоедом революции", – также был интеллигентом. Уже в 19 лет он сдал в Петербурге экзамен на звание учителя, преподавал в Сергиевском приходском училище Закон Божий и одновременно поступил вольнослушателем в Петербургский университет. Н. Бердяев потом утверждал, будто бы своим появлением в Женеве в 1868 г. Нечаев "напугал" всех. И вовсе не всех: эмигранты-интеллигенты приняли его как своего: "старики – соратники Герцена в Нечаева прямо влюбились – и Огарев, и в особенности Бакунин... Герцен с деньгами жался, потом все-таки дал"[127]. И после его смерти герценовский "Колокол" вышел уже под редакцией Нечаева.

Да что там говорить, если, по словам С.Н. Булгакова, "весь идейный багаж, все духовное оборудование, вместе с передовыми бойцами, застрельщиками, агитаторами, пропагандистами, был дан революции интеллигенцией"[128]. И речь идет отнюдь не только о профессиональных революционерах. К подготовке революции приложили руку и такие поэты, как Надсон, Брюсов, Блок. Поэму последнего

"Двенадцать" все мы учили в школе. Но мало кто знает такие его строчки из черновиков поры "генеральной репетиции":

Мы в петлях раскачнем тела,
Чтоб лопнули на шее жилы,
Чтоб кровь проклятая текла!..[129]

Даже более агрессивные "пролетарские" поэты эпохи РАППа не всегда позволяли себе столь откровенные призывы к насилию.

И современные революции также организуются интеллектуалами. Так, например, недавний революционный геноцид в Камбодже (Кампучии) был организован, обоснован и инициирован группой идеологов, носящей название "Ангка Лоу" ("Высшая организация"). Эта группа состояла из 20 интеллигентов-профессионалов, причем из восьми лидеров этой группы пятеро были учителями, один профессором в университете, один экономистом и один государственным чиновником. Все они учились во Франции в 50-е годы, где восприняли доктрины о "необходимом насилии"[130].

Закон постоянного разделения интеллигенции на две части – лояльную и революционную – в значительной мере объясняет известный историкам "парадокс": переход части интеллигенции на непримиримые позиции даже "тогда, когда власть меняется в лучшую сторону". К примеру, "до сих пор ставит в тупик исследователей" то обстоятельство, что после 1855 г. «радикализация интеллигенции совпала с правлением монарха, вошедшего в русскую историю под именем "царя-освободителя" и, собственно, вызвавшего своей деятельностью подлинную революцию сверху... Духовный поворот русской интеллигенции кажется загадкой. Ведь он произошел в мирной атмосфере, на фоне либерализации сверху, притом достаточно последовательной, чтобы затронуть самые основы существующего порядка. И вот в этот момент интеллигенция переходит на жесткие и непримиримые позиции»[131].

А между тем никакой "загадки" здесь нет. Просто перемены во власти "призвали" наверх "интеллигентов-экспертов" с одной картиной мира и отвергли других – носителей иной. Последние немедленно ушли в "жесткую" оппозицию и стали готовить новый переворот. Интеллигенты же, пришедшие "во власть", стали вытеснять из всех сфер сторонников иной картины мира. Так, например, Б. Чичерин, один из самых выдающихся правоведов дореволюционной России, сторонник реформ Александра II, резко осуждал ригоризм оппозиционной интеллигенции, укоряя ее в политической незрелости, и предупреждал против принятия ее требований, скажем, против "преждевременного" введения конституции в России. Также вели себя и некоторые другие сторонники обновления в самом правительственном аппарате, например Н. Милютин, принадлежавший к самому радикальному их крылу[132].

Так или иначе, но именно интеллигенция была идеологом, вдохновителем и организатором всех крупных революций в истории.

ФЕНОМЕН ДВОЙНОГО СОЗНАНИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Власть всегда выбирает удобный ей вариант картины мира и поддерживает ту часть "интеллигентов-экспертов", которая сформировала и поддерживает именно этот удобный вариант. И та часть "интеллигентов-экспертов", которая удостоилась этой чести, полностью переходит на сторону власти и становится ее главной опорой. В дореволюционной России интеллигенция всегда тянулась к власти, несмотря на массовые репрессии против другой, "побежденной" части интеллигентов.

"Группа интеллигенции, пришедшая к власти... в конце концов оказывается перед дилеммой: либо выпустить руль из рук, отойти от политической деятельности, либо стать такой, которой власть требует, т.е. превратиться в группу функционеров. Этот процесс может быть острым и плавным, быстрым и медленным, но избежать его, по-видимому, нельзя", – писал Г. Померанц[133].

Именно здесь кроются корни того любопытного феномена, который В.Ф. Кормер обозначил как «*феномен интеллигентского двойного сознания* – сознания, "обреченного" постоянно колебаться в выборе между двумя рядами ценностей: ценностей, которые признает за свои официальная идеология, и ценностей, которые этой идеологии не соответствуют или прямо ей противоречат...

Интеллигентское сознание обречено быть двойным, – писал философ-диссидент, – обречено метаться между двух рядов ценностей потому, прежде всего, что сами ценности официальной идеологии суть исторически производные от ценностей интеллигенции, какой она сложилась к началу XX века и какой, в известной мере, осталась по сей день»[134].

Действительно, "нельзя забыть в оценке русской интеллигенции, – писал Г.П. Федотов, – что она целое столетие делала общее дело с монархией. Выражаясь упрощенно, она целый век шла с царем против народа, прежде чем пойти против царя и народа (1825–1881) и, наконец, с народом против царя (1905–1917)"[135]. "То с царем, то против царя", "то с народом, то против народа" – это подмечено очень верно, если уточнить, что "с царем" и "с народом", как правило, были одни интеллигенты, а "против царя" – другие (хотя иногда все это вполне уживалось в одном и том же интеллигенте).

Так, например, сознание Пушкина было явно раздвоенным по отношению к царю, монархии и декабристам. Известно, к примеру, что император Николай спросил поэта, которого специально привезли из Михайловского в Кремль: "Что бы ты делал, если бы 14 декабря был в Петербурге?" Пушкин ответил (со слов А.Г. Хомутовой, которая слышала об этом от самого поэта): "Государь, все мои друзья были в заговоре, и я не мог не быть вместе с ними. Благодарение Богу, что меня в тот день в Петербурге не было". Ясно, что он был с ними только потому, что они его друзья, а не потому, что он с ними согласен. Он с ними уже не был согласен давно: к тому времени уже был написан "Борис Годунов". "С тех пор, как Пушкин написал эту трагедию, – утверждает известный пушкиновед, – он стал монархистом и понял, что такое Россия и что такое для России царь"[136].

Причем "рассуждение об общей пользе осталось любимейшим рассуждением русского интеллигента, – писал В.Ф. Кормер. – Им он успокаивает свою совесть, растревоженную очередным компромиссом...

Подлинная корыстная мотивация поступков идеально маскируется при этом, настоящие стремления быстро и накрепко забываются. Ситуация в точности совпадает с ситуацией при анализе сексуальных влечений. Возражения или попытка нарисовать истинную картину вызывают бурный протест, агрессивную реакцию, желание противоречить, обиду"[137].

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЛАСТЬ

История человечества показала, что реальная власть в обществе – это прежде всего власть над процессами формирования картины мира. Вот почему любая власть кровно заинтересована в унификации картины мира подвластного ей насе-

ления. Чрезмерное разнообразие картин мира практически лишает власть каких-либо возможностей управлять обществом. Естественно поэтому, что монополия на "хранение" и изменение общенациональной картины мира и сами ее хранители-эксперты обычно поддерживаются всей мощью государственной власти.

Власть не может обойтись без художника, а художник без власти, да и социальные функции у них очень близки.

Как очень верно заметил В. Михалкович, «основная задача и назначение власти – проводить в жизнь некоторую систему ценностей. В сущности, чем-то аналогичным занят и художник, однако желанные ценности он локализует в мире вымышленном, созданном фантазией. Сотворенный художником мир" фантазиен", даже если материал почерпнут из самой непосредственной реальности. Однако он вступает в круг идей и мыслей художника, становится выражением этих идей и мыслей, а тем самым претерпевает метаморфозу, в результате которой теряется его непосредственность.

Власть кажется отличной от художника тем, что желанные ценности ей приходится локализовать не в мире вымышленном, а в действительном, налично данном. Однако, в сущности, различие между властью и художником в этом плане не столь уж велико. Власть всячески декорирует себя, организует шествия и манифестации, устраивает всевозможные действа и т.д. Подобными мероприятиями тоже создается, как и в художественном творчестве, "фантазийный" мир, где эмпирическая реальность вступает в круг идей и намерений власти и тем самым преображается. Метаморфоза состоит в том, что и сами властные структуры и подопечные их, будто восприняв свет, исходящий от высших ценностей, стремятся убедить в своей возвышенности, великолепии, избранничестве»[138].

Те свои "достижения", от которых она готова отказаться, интеллигенция в создаваемых ею мифах стремится приписать другим слоям и группам общества. Так, идеализацию тиранов, которой она занимается на протяжении всей своей истории, она приписывает "народу", который якобы обожествляет своих палачей и мучителей. Например, «и Аттила, и Чингиз-хан, и Тимур – жесточайшие истребители народов – сохранили в песнях и легендах те гордые прозвища, которыми наделили себя при жизни и которые охотно признавали их подданные ("Бич Божий", "Бич Неба", "Бич Аллаха"...).

И Сталин еще долго будет пребывать в памяти "все-таки великим", пусть даже страшным, но великим (или, как у поэта-писателя К. Симонова, "страшным и великим"), а Ивана IV, обезлюдившего страну, уважительно сохранит в памяти "Грозным"»[139]. Можно с источниками в руках, постранично и построчно доказать, что никакой не "народ", а именно "интеллигенты-эксперты" были авторами таких выражений, как "отец народа", "великий кормчий", "гений человечества", "вождь", "вождь-отец", так же как и эпитетов "великий", "величайший", "мудрейший", "непобедимый", "любимый", "горячо любимый".

Интеллигенция и власть нужны друг другу, писал В.Ф. Кормер, «разъединение интеллигенции и власти на протяжении всей нашей истории оставалось лишь скрытым, не доходя до явного разрыва... Нужно ли удивляться поэтому, что интеллигенты так легко становятся идеологами или верными помощниками идеологов?! Интеллигенция и не принимает власть и одновременно боится себе в этом признаться, боится довести свои чувства до сознания, сделать их отчетливыми. Ибо тогда ей пришлось бы вслух назвать себя саму как виновницу всех несчастий страны... пришлось бы ответить буквально за каждый шаг этой власти, как за свой соб-

ственный... Интеллигенция знает об этом, и у нее нечиста совесть. У нее разыгрывается настоящий "комплекс" по отношению к Власти. Страх не только пред жестоким наказанием, но еще сильнейший пред собственным признанием терзает ее. Она предпочла бы думать о Власти как о чем-то внешнем, как о напасти, пришедшей откуда-то со стороны...»[140].

Власть необходима интеллигенции: она является для нее важным источником моральных ценностей. Если интеллигент служит власти – он черпает силы в том, что служит обществу и жертвует для него иными своими талантами. Если интеллигент противостоит власти и критикует ее – он высокоморален, поскольку "все то, что делает власть, – аморально", следовательно, беспощадная ее критика – моральна. Поэтому чем более сатанинской, жестокой и беспощадной является власть, тем выше моральный авторитет интеллигенции. Власть, потеряв свой "сатанинский" облик, вынуждает интеллигенцию искать источники положительных моральных ценностей за пределами своего круга, да и сама остро нуждается в этих ценностях и призывает на помощь интеллигенцию[141].

Таким образом, отношения между интеллигенцией и властью сложны и противоречивы. "Интеллигенция не принимает Власти, отталкивается от нее, порою ненавидит, и, с другой стороны, меж ними симбиоз, она питает ее, холит и пестует; интеллигенция ждет крушения Власти, надеется, что это крушение рано или поздно случится, и, с другой стороны, сотрудничает тем временем с ней..."[142].

Отношения "интеллигентов-экспертов" с властью тем более тесны, что, с одной стороны, сама власть – это чаще всего бюрократия, т.е. та же вчерашняя интеллигенция, выходцы из нее, ставшие над ней. Еще М.О. Гершензон утверждал, что "...русская бюрократия есть в значительной мере плоть от плоти русской интеллигенции"[143]. Если российская бюрократия в своей значительной части была, по словам Г. Федотова, "инобытием" дворянства, то просвещенная бюрократия в годы николаевского царствования стала "инобытием" мыслящего меньшинства[144].

И в наше время в этом отношении ничего не изменилось. "Бюрократия, – утверждал уже в 60-х годах В.Ф. Кормер, – смыкается с интеллигенцией. Бюрократия, в отличие от прежнего дворянства, духовенства или купечества, не обладает ярко выраженной собственной культурой, собственной производящей способностью. *Ее производящая способность – это превращенная способность интеллигенции.* И в этом смысле можно сказать, что бюрократия – это поляризация не ставшая бюрократией интеллигенции..."[145].

Не случайно "интеллигенты-эксперты" часто связаны или дружбой, или родственными узами с властями предержащими. Так, например, И.С. Аксаков "был силен своими связями: жена его, бывшая фрейлина императрицы, бывшая воспитательница великой княжны Марии Александровны, и тесть его, Федор Иванович Тютчев, друг вице-канцлера, приятель многих влиятельных лиц, имели сильную поддержку при дворе"[146]. А кто иной как не "интеллигенты-эксперты" воспитывали российских императоров? Воспитателями будущих монархов были: Лагарп и М.Н. Муравьев – у Александра I, В.А. Жуковский и К.И. Арсеньев – у Александра II. В годы подготовки крестьянской реформы (1857) в преподаватели к наследнику был призван профессор Петербургского университета К.Д. Кавелин. По достижении наследником 16 лет попечителем к нему был назначен граф С.Г. Строганов, бывший попечитель Московского учебного округа.

С другой стороны, и оставшаяся вне власти интеллигенция всегда мечтает просвещать власть, пытаясь навязать и ей свою, вполне определенную картину мира.

Интеллигент, писал В. Кормер, "льстит себя надеждой просветить саму государственную власть, начальство! Он полагает, что там, наверху, и впрямь сидят и ждут его слова, чтобы прозреть, что им только этого не хватает. Он надеется облагородить их, потихоньку ввести в их обиход новые понятия, прежде всего о праве, о законе, о других возможных стилях управления"[147]. Но это вечная иллюзия интеллигенции, вечная ее утопия!

Так или иначе, но "интеллигенты-эксперты" всегда были рядом с властью, а те из них, кому это не удавалось, затевали борьбу между собой за "место под солнцем", и борьба эта не всегда была бескровной.

ДО РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.

Вообще говоря, "интеллигенты-эксперты" политически довольно неразборчивы и поддерживают практически любую власть, которая относится к ним благосклонно, лояльно и снисходительно: в этом случае они видят удобный шанс склонить ее на свою сторону и на худой конец просто усилить свои личные позиции.

Россия в этом смысле отнюдь не была исключением. Европейское Просвещение породило светского ученого, светского проповедника, светского учителя. В 1929 г. известный историк А. Дживелегов писал об их "сверхъестественной способности приспособляться", об их "гибкости, доходившей порой до морального безразличия". "Унижаясь перед королями, князьями, вельможами, попрошайничая у пап и прелатов, пресмыкаясь везде, где звенело золото, гуманисты вбивали в сознание имущих и командующих, а через них и всего общества, идею важности и великого значения интеллигентского труда"[148]. Точно такие же качества проявляли "эксперты-интеллигенты" и в средневековой России. Воспевая палачей и тиранов, они добивались для себя разного рода льгот, привилегий и преимуществ перед всеми другими слоями населения.

Как верно заметил А. Герцен, *"интеллигенция с древних времен стремилась быть полезной государству*. Труды представителей интеллектуальных кругов чаще всего выступали в форме челобитных царю"[149]. К примеру, "интеллигент-эксперт" середины XVI в. Ермолай Еразм в трактате, написанном для Ивана IV, предложил оригинальную программу переустройства управления страной. Характерно само название трактата – "Наставление в землемерии царям, если им угодно". Публицист дворянин И. Пересветов обосновал необходимость неограниченного самодержавия. В 1549 г. он передал Ивану IV свои труды, в которых обосновывались разного рода идеи. А ведь Иван Грозный, если отвлечься от сложных политологических рассуждений, был по сути настоящим палачом и изувером. Чтобы добиться полного послушания народа, он создал опричнину, а вместе с ней потребовались и моря крови, надругательство над крестьянами и горожанами во время похода 1570 г. на собственный город – Великий Новгород, казни бесчисленного множества бояр, злодейское умерщвление одной из самых ярких и достойных личностей эпохи, митрополита Филиппа Колычева, опытного и знающего дипломата Ивана Висковатого, двоюродного брата, Владимира Старицкого, военному таланту которого Россия была обязана главными победами. Тем не менее Ливонская война была проиграна. Россия была разорена непомерными налогами, многие ее земли обезлюдели и "лежали впусте".

Но "интеллигентам-экспертам" того времени удалось превратить черное в белое, а царя-изувера в "государя-батюшку"! Историк рассказывает об этом так:

«Оглушающая помпа светских и религиозных торжеств – обязательные компоненты идеологической обработки любого тоталитаризма – устраивалась по малейшему поводу, чтобы демонстрировать власть, богатство и силу государя. Вся мощь православной церкви, еще не потерявшей своего авторитета, была направлена на прославление богоизбранного и боговенчанного царя. Летописи времен Грозного читаешь со странным чувством: будто все это – переложения передовиц газеты "Правда" недавнего сталинского прошлого на язык XVI века»[150].

Вот как, к примеру, звучала речь одного из "интеллигентов-экспертов" эпохи Грозного – льстивого митрополита Макария (в изложении летописца): "И видев Владыка неотложную твою веру и чистоту и любовь нелицемерную и рассуждение благоразсудное и храбрость и мужество и целомудрие – не усумнелся еси пострадати до крове... по твоей вере и великым неизреченным трудом дарова тобе Бог милосердие свое..." Речь здесь идет о казанской победе, честь которой придворные летописцы поспешили приписать малодушному царю: во время решительного штурма царь не решился покинуть походную церковь до момента, когда Казань пала. Но под пером тогдашнего "интеллигента-эксперта" позорно-трусливое поведение царя превратилось в великий воинский подвиг.

Это было правило. Но были, конечно же, и исключения. И тогда среди "интеллигенции" находились одиночки-диссиденты, противостоящие тирану. Здесь прежде всего мы обязаны помнить и мужественного митрополита Филиппа Колычева, погибшего за правду, и первого "изменника-невозвращенца" князя Андрея Курбского.

Но все это, повторюсь, были исключения. В целом же "интеллигенция" той эпохи формировала вполне определенную картину мира: «Лицемерие, умение вывернуть наизнанку факт, искусство мифотворчества во времена Ивана Грозного многое определило на столетия вперед... Все это преподносилось как борьба против "изменных" бояр. И преподносилось настолько успешно, что в народной памяти царь Иван Грозный предстает чуть ли не защитником "черного люда", страдавшего от насилия бояр... Вся репрессивная мощь государства, идеология и религия были направлены на установление "сыновне-отеческого единства", монолита власти»[151].

С незапамятных времен "интеллигенты" поддерживали власть всеми имеющимися у них средствами. Как писал Н.А. Некрасов, "русская литература началась с хвалебных гимнов на разные торжественные случаи, и пиита обязан был держать всегда наготове свое официальное вдохновение..."[152].

В высказываниях и сочинениях первых российских "интеллигентов", таких, как, например, знаменитый Феофан Прокопович, читателю буквально навязывался такой образ: «государство – это все "общенародие", во главе которого стоит и упорно, не жалея себя, трудится сам император»[153]. "В Феофане, – писал Ю. Лотман, – Петр нашел понятливого исполнителя и истолкователя своих пожеланий и мыслей, не только услужливого, но и угодливого. Феофан умел угадывать и договаривать не только недосказанное, но и недодуманное Петром"[154]. "Возвеличение царской власти и доказательство ее беспредельности – вот любимая тема Феофана"[155].

Одним из ранних российских "интеллигентов-экспертов" следует считать и князя И.А. Хворостинина. Философ-атеист, писатель (автор повести "Словеса дней и царей и святителей Московских, еже есть в России..."), владелец одной из самых больших в Москве научных библиотек, он кому только ни служил – и Шуйскому, и

Лжедмитрию, и Годунову. Царь Михаил наградил князя "у стола" серебряным кубком и шубою ценой 160 рублей. И хотя при Шуйском его таки послали на покаяние в монастырь, но в начале 1613 г. он служил уже воеводой в Мценске, а в 1618 г. – в Переяславле Рязанском[156].

"Интеллигенты-эксперты" такого рода были крайне нужны власти. Главным ее социальным заказом было формирование картины мира, в которой образ монарха – установителя социальной гармонии и блюстителя общественного блага – соединялся с традиционными мессианскими образами, сформированными в концепции "Москва – третий Рим". В этой картине монарх превращался в демиурга, в творца нового царства, которое должно преобразить мир. Все то, что создается царем, и есть фундамент этого нового мира и вместе с тем – в соответствии с европейской мифологией государства – восстановление изначального благого порядка.

С этой целью "интеллигенты-эксперты" стали называть построенный Петром Петербург "Раем" и "Святой землей"[157]. С этой же целью А. Кантемир писал о созданном Петром "новом народе", а Ломоносов, обращаясь "якобы к шведам", говорил:

К себе вас та земля влечет,
В которой мед с млеком течет?
Нуж впредь; пройдите! нет и дива!
Веть вы почти уж так в Раю.
Коль блиско наша к вам столица![158]

В этой новой картине мира дотла разоренная Петром Россия выглядела как земля утерянного изначального блаженства, а Петр – как спаситель мира, восстанавливающий Рай на земле[159]. В Четвертой надписи к статуе Петра Ломоносов писал:

...Чудясь делам Его, превышшим смертных сил,
Не верили, что Он един от смертных был,
Но в жизнь Его уже за Бога почитали[160].

А в оде 1743 г. Ломоносов прямо называет Петра "Богом":

Он Бог, он Бог твой был, Россия,
Он члены взял в тебе плотския,
Сошед к тебе от горьних мест[161].

Феофан Прокопович без устали внушал согражданам, что "в Петре нашем, в котором мы первое видели великаго богатыря, потом же мудраго владетеля, видим уже и Апостола", что именно Петр создал в России "вся благая, к временной и вечной жизни полезная и нуждая"[162]. В трагедии "Владимир" Феофан проводил прозрачную параллель между новопросвещенным государством Владимира Святого и новым просвещением Петра Великого[163].

Таким образом, интеллигенты-мифотворцы сотворили миф о чудесном создании Петром новой России, а затем для поколения Ломоносова, Сумарокова и Голикова этот миф превратился в очевидную историческую истину.

А когда на трон взошла Екатерина II, "интеллигенты-эксперты" снова делали все для ее прославления. Так, в 1763 г. в Москве происходила ее коронация. К организации пышных торжеств, маскарада и уличного шествия "Торжествующая Минерва" были привлечены наиболее известные "интеллигенты" того времени – Сумароков, Херасков и Волков. Как писал Ю. Лотман, это была попытка "закрепить союз власти с влиятельной литературной группировкой. Однако все же отношения

в этом случае строились по старой схеме: двор заказывает – писатели выполняют заказ"[164]. Интеллигенты "обслуживали" не только императриц, но и их любовников; так, придворный поэт-одописец В.П. Петров писал хвалебные оды не только в честь Екатерины II, но и ее фаворитов – Г.Г. Орлова, Г.А. Потемкина. Он официально состоял при Потемкине в качестве воспевателя его подвигов и для того, во время его походов, всегда находился в обозе действующей армии.

Не надо забывать и о роли высшего духовенства в формировании национальной картины мира. Эта "церковная интеллигенция", выполняя непосредственный идеологический заказ самодержавия, удостаивалась правительственных наград наряду с боевыми генералами и заслуженными чиновниками. Так, еще Павел I ввел раздачу в награду орденов и лент духовным лицам. Псковский архиепископ Ириней так и изображен на портрете в Эрмитаже – с аксельбантами, полученными в награду от царя[165].

Как отмечал Н.А. Некрасов, более мелкие власти также использовали художественную интеллигенцию для создания собственного благоприятного образа в своей и особенно в чужой картине мира. "По примеру великих земли, – писал он, – и маленькие тузы или козырные хлапы имели своих пиитов и любили получать от них оды в день рождения, именин, бракосочетания, крестин дитяти, получения чина, награды и в подобных тому торжественных случаях их жизни; за то они позволяли пиите садиться на нижний конец стола обедать уже с собою, а не с слугами, как в обыкновенные дни, подпускали его к целованию своей руки, дарили его перстнем, табакеркою, деньгами, поили его допьяна и потом тешились над ним, заставляя его плясать. А пиита величал их своими благодетелями, меценатами, покровителями, отцами-командирами и "милостивцами"»[166].

В императорской России творческую интеллигенцию первых поколений составила плеяда сегодня уже неизвестных никому публицистов, переводчиков, сатириков, драматургов и поэтов, сплотившихся вокруг трона государя. И самодержца и творческую интеллигенцию сплачивало наличие относительно общей картины мира. Точно так же как их обожаемая императрица, интеллигенты екатерининской эпохи почитали Вольтера и Дидро, ожидали новых идей с Запада, ужасаясь и крепостничеству (за счет которого они сами жили), и засилью тирании (которой они почему-то не находили в "просвещенном абсолютизме" Екатерины). Причем среди них были, конечно, и искренние подвижники, и просветители-писатели – такие, как Фонвизин, Новиков, Ломоносов, Державин. Интеллигенты вели "священную борьбу" с народным невежеством, "тьмой" народной жизни. Но под этим всегда понималось формирование общей государственно-интеллигентской картины мира. Как писал Н. Эйдельман: "Просвещенные люди, *сознательно, убежденно помогающие власти*, – большая, хотя часто невидимая, сила; а она в XVIII в. существовала..."[167].

Всех их роднило глубокое преклонение перед империей, искренний восторг перед самодержавием. Другими словами, русская творческая интеллигенция не только была лояльна по отношению к монархии; целое столетие она была на стороне самодержавия и против народа. Так, Ломоносов продолжал прославление страны, в которой, как он сам прекрасно понимал, жизнь была ужасной[168]: "В Неве прольется меда сладость"; "Текут млеком и медом реки. Собой земля плоды растит"[169]; впоследствии эти фразы становятся одним из клише русской панегирической оды.

Так было и при Петре, собравшем кружок самоучек-интеллигентов, призванных помогать ему при насаждении новой государственности. Так было и при Елизавете, когда впервые появилось поколение молодежи, прошедшей "правильную"

школу. Так было и при Екатерине, когда картина мира, сформированная в высшей школе, начала насаждаться в высших слоях дворянства и среди "мещанства" главных городов[170]. Все наиболее крупные литераторы той эпохи – Тредиаковский, Сумароков, Ломоносов, Державин, Жуковский – были придворными поэтами, и все дружно восхваляли царя и его политику. Со своей стороны власти постоянно заботились о "своей" интеллигенции; например, Н.М. Карамзину была назначена государственная пенсия. И это не случайно: именно в лице историка и писателя Н. Карамзина идеал слияния народа и власти нашел своего теоретика. Ведь именно он выдвинул идею: "История народа принадлежит государю". И кто как не Карамзин, да еще, пожалуй, Надеждин, к стыду России, сделали из любовника царицы великого человека (см. оды Г. Державина "Водопад" и "Великому боярину Решемыслу" и статью Н.И. Надеждина "Светлейший князь Потемкин-Таврический, образователь Новороссийского края"). Так было и при Николае I, когда Греч, Булгарин со своей "Северной пчелой", а за ними и другие (Погодин после закрытия "Телеграфа") непосредственно сотрудничали с правительством. Н. Полевой откровенно заключил союз с правительством; представления его драматических пьес вызывали, по словам А. Герцена, "рукоплескания тайных агентов и чиновных лакеев"[171].

Н.И. Греч, например, писал такие фантастические доносы на журнал "Отечественные записки", что само руководство III отделения вынуждено было "отвергать их с презрением". (Герцен поражался этому удивительному факту: "Литератор, уничтоженный, замятый в грязь Дубельтом – во имя гуманности!.."[172].) Греч "работал" и на заграницу в качестве некоего "ведомства контрпропаганды". Когда вышла книга Адольфа Кюстина "Россия в 1839 г.", содержащая нелестные высказывания ее автора в адрес русского правительства и царя, Греч издал в 1843 г. за границей брошюрки на французском и немецком языках, направленные против Кюстина[173].

Ф.В. Булгарин был чиновником по особым поручениям при министерстве просвещения. Но это была только "крыша". На самом деле он верой и правдой служил тайной полиции: сначала русской – против французов, потом французской – против русских. А последняя служба в III отделении стала вполне закономерным итогом: Булгарину надо было замаливать грехи. Он писал в III отделение доносы на своих литературных противников.

Русский писатель, музыкальный критик князь В.Ф. Одоевский со своей стороны включился в войну власти с писательской эмиграцией, естественно на стороне первой. Он составил для правительства записку с планом литературной борьбы с изданиями Герцена, Огарева, Долгорукова и других эмигрантов: в ней предлагалось начать с опубликования их биографий, что должно было отвратить от них читающую публику[174].

М.Н. Катков редактировал полуофициальный орган – газету "Московские ведомости", в которой он по всякому поводу поносил петербургскую молодежь, доказывая моральное соучастие молодых людей, печатавших прокламации, в поджогах.

Главной идеологической задачей государства было укрепление самодержавных фрагментов в национальной картине мира, и для ее решения оно стремилось привлечь к делу лучшие интеллектуальные силы, в частности Пушкина. И Александр Сергеевич, вопреки сочиненным о нем мифам, не раз демонстрировал и лояльность трону, и записной патриотизм. Так, он написал несколько политически верноподданных стихотворений: "Герой" (1830), "Бородинская годовщина" (1831), "Клеветникам России" (1831). О последнем П. Вяземский писал, что "в России по-

эту, как вы, стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим... Будь у нас гласность печати, никогда... Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича"[175]. А разве не Пушкин писал:

Нет, я не льстец, когда Царю
Хвалу свободную слагаю,
Языком сердца говорю.

Известно и письмо Пушкина императору от июня 1826 г. с заверениями в лояльности по отношению к правительству. И, видимо, все это делалось совершенно искренне: ну как тут не вспомнить черновик пушкинского письма Чаадаеву (19 октября 1836 г.): "Правительство все еще единственный европеец в России. И сколь бы грубо или цинично оно ни было, от него зависело бы стать во сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания"[176]. "В VII томе сочинений А. Пушкина, – писал А. Герцен, – помещена его статья о Радищеве. Статья, не делающая особенной чести поэту. Он или перехитрил ее из цензурных видов, или в самом деле так думал – и тогда лучше было бы ее не печатать"[177].

А Н.В. Гоголь, получавший пособие от правительства, написал вполне раболепную брошюру "Выбранные места из переписки с друзьями". В ней он доказывал, что весь смысл российской истории – в царе[178]. Как с горечью заметил Герцен, «он начал... оправдывать крепостное право и в конце концов бросился к ногам представителя "благоволения и любви"»[179].

Н.А. Некрасов же написал верноподданническое стихотворение "Осипу Ивановичу Комиссарову", спасшему, по официальной версии, Александра II от выстрела Каракозова, и выступил со стихотворным приветствием известному палачу М.Н. Муравьеву ("Вешателю"), в котором восклицал: "Вся Россия бьет ему челом", и с пожеланиями, чтоб "он виновных не щадил!"[180]. При Екатерине II, Павле I и Александре I обязанности "директора музыки" выполнял белорусский дворянин-интеллигент О.А. Козловский, сочинивший, кроме прочего, полонез "Гром победы, раздавайся" (одно время он был национальным гимном).

Философ Г.П. Федотов имел, таким образом, все основания усомниться в мифе о демократизме и свободолюбии "интеллигентов-экспертов": «Да и только ли свободолюбию учат русские классики? – восклицал он. – Гоголь и Достоевский были апологетами самодержавия, Толстой – анархии, Пушкин примирился с монархией Николая... В дни Лермонтовского юбилея все писали о поэте "Валерика" и "Родины" как о русском патриоте, дравшемся на Кавказе за российское великодержавие»[181].

Вполне своеобразный взгляд на оппозиционность русской литературы предложил и Д. Мережковский: "Если кто-нибудь из русских писателей начинал бунтовать, то разве только для того, чтобы тотчас же покаяться и еще глубже смириться. Забунтовал Пушкин, написал оду Вольности и смирился – написал оду Николаю I, благословил казнь своих друзей, декабристов:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Забунтовал Гоголь – написал первую часть "Мертвых душ" и смирился – сжег вторую, благословил крепостное право. Забунтовал Достоевский, пошел на каторгу – и вернулся проповедником смирения. Забунтовал Л. Толстой, начал с анархи-

ческой синицы, собиравшейся море зажечь, и смирился – кончил непротивлением злу, проклятием русской революции"[182].

Естественно, что не только писатели и поэты "обслуживали" власть – это делали и другие "интеллигенты-эксперты", в частности университетская профессура. Так, Герцен назвал "доносом московских профессоров" "Историческую записку по поводу происходивших в сентябре и октябре 1861 года беспорядков между студентами..." на имя министра просвещения, составленную Б.Н. Чичериным, П.М. Леонтьевым, С.М. Соловьевым и др. "...Полицейские профессора, проповедующие философию рабства и пишущие доносы целой конференцией – явления совершенно новые", – с горечью замечал он[183].

Представители интеллигенции довольно часто занимали крупные государственные посты. Скажем, все наиболее известные историки XVIII в. были чиновниками, состоящими на службе у правительства. На государственную службу были приглашены такие "интеллигенты-эксперты", как граф М. Сперанский, представивший еще Александру I записку "О постепенном уничтожении рабства в России" в 1816 г.; граф Киселев, президент Академии наук (1818–1855). Николаевский министр просвещения граф С. Уваров пытался полностью подчинить просвещение интересам власти. Отсюда его предписание: "Каждый из профессоров должен употребить все силы, дабы сделаться достойным орудием правительства".

Один из самых жестоких чиновников, царский генерал-губернатор оренбургский и самарский В.А. Перовский – "злой гений раскольников", – был по всем признакам стопроцентным интеллигентом. Дядя А.К. Толстого, друг А.С. Пушкина, В.А. Даля, "человек из высшей интеллигентской элиты", по долгу службы самыми крайними мерами боролся с иноверцами и казаками. "И не вина казаков, – писал Н.Н. Покровский, – что утонченный мир прекрасной культуры, к которому принадлежал В.А. Перовский, был так далек от их историософии и оборачивался к ним именно этой экзекуционной стороной"[184].

Со своей стороны власть управляла "интеллигентами-экспертами" с помощью кнута и пряника. Скажем, начиная с Елизаветы, цари даровали лояльным актерам шпаги – символ чести и достоинства. Сохранились свидетельства, что Екатерина II дарила избранным артисткам, выходившим замуж, еще и подвенечные платья[185]. В 1832 г. Николай I учредил новый привилегированный класс личных и потомственных почетных граждан: при этом личное почетное гражданство отныне присваивалось лояльным художникам, получившим аттестат Академии. Следующий же царский указ, от 1902 г., предоставил право лояльным музыкантам – выпускникам консерватории занимать должности на государственной службе и, следовательно, получать дворянство.

И благодарная интеллигенция в меру своих сил укрепляла национальную картину мира образами Царя, Отечества, Родины, Народа и Церкви. Так, лирик Фет писал по случаю коронования Александра III: "Как солнце вешнее сияя, / в лучах недаром ты взошел / во дни живительного мая / на прародительский престол".

Власть поощряла тех художников, чье творчество было ориентировано на укрепление существующей общенациональной картины мира. В качестве примера можно назвать Н.В. Кукольника – поэта, драматурга и беллетриста, придерживавшегося государственно-патриотической тематики. Драма Кукольника "Рука всевышнего отечество спасла", одобренная царем, была с особой пышностью поставлена на сцене Александринского театра. Критик О.И. Сенковский, превознося "необыкновенный талант" Кукольника, называл его "юным нашим Гете", а также

сравнивал с Байроном. Его творчество поощрялось самим Николаем I. Сегодня не принято вспоминать, что М.И. Глинка, написавший оперу "Жизнь за царя", был долгое время близок с Кукольником, а в 1839–1841 гг. даже жил у него[186]. Примерно то же самое можно сказать и про Н.А. Полевого[187]. Самоуверенный и тщеславный Карл Брюллов пользовался особенным благоволением Николая I и получал самые важные правительственные заказы[188]. Художник В.А. Серов был принят при дворе, ему позировал Александр III.

Но что касается другой части интеллигенции – оппозиционной, создававшей неугодную власти картину мира, то с ней расправлялись всеми доступными средствами.

А. Пушкин писал, что хотя "Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шишковского (домашний палач Екатерины. – *К.С.*) в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами – и Фон-Физин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность"[189]. А.Н. Радищев был выслан в Сибирь и покончил жизнь самоубийством; В.В. Капнист подвергался цензурным гонениям; Н.И. Тургенев осужден на вечную каторгу по делу 14 декабря 1825 г., с 1892 г. – политэмигрант; К.Ф. Рылеев приговорен к смертной казни по делу 14 декабря 1825 г. и повешен; А.А. Бестужев приговорен к смертной казни по делу 14 декабря 1825 г. к 20 годам каторги, переведен рядовым на Кавказ, убит в стычке с горцами на мысе Адлер; В.К. Кюхельбекер приговорен к 20 годам каторжных работ, провел в заключении в крепостях с 1826 по 1835 г., умер на поселении в г. Тобольске; А.И. Одоевский осужден по делу 14 декабря 1825 г. на 12 лет каторги, переведен рядовым на Кавказ, умер от малярии; А.И. Полежаев отдан в солдаты за поэму "Сашка"; Е.А. Баратынский исключен из Пажеского корпуса за невольное соучастие в краже, вынужден был в течение 9 лет служить рядовым для восстановления своего честного имени; П.Я. Чаадаев объявлен сумасшедшим; Н.И. Огарев провел 10 месяцев в одиночном тюремном заключении, был сослан, с 1856 г. – в эмиграции; А.И. Герцен провел шесть лет в ссылке, с 1847 г. – эмигрант; Н.Г. Чернышевский провел в крепости, на каторге, в ссылке с 1862 по 1883 г.; Ф.М. Достоевский осужден по делу петрашевцев на 4 года каторги и службу рядовым; В.Г. Короленко в общей сложности провел 6 лет в тюрьме и ссылке[190].

Иногда интеллигенция сама себе задает загадку: почему это искусство и наука иногда расцветают в периоды жесточайшей диктатуры и, напротив, иногда не "цветут" в условиях относительной свободы?

Действительно, сколько угодно примеров, когда в России, в Европе или ином регионе на самые трагические в жизни страны периоды – времена межнациональных и религиозных войн, нетерпимости, зверств цензуры, политических преследований инакомыслящих – приходились годы расцвета литературы и искусства. Например, эпоха Николая I, не лучшего из российских государей, эпоха жесткая во многих отношениях, характеризуется, как известно, выдающимися достижениями в области науки, литературы, искусства. Ведь в эти годы писали Пушкин и Лермонтов, два наиболее ярких художника. В эти годы появились лучшие произведения Н.В. Гоголя. В царствование Николая I уже были известны или только начинали свою литературную деятельность многие крупнейшие русские писатели, прославившиеся уже в царствование его сына: Тургенев, Достоевский, Лев Толстой, Гончаров и мн. др. На первый взгляд странная это была эпоха: великая литература, за-

мечательное искусство, умные и утонченные интеллектуалы – и вполне заурядный государь, склонный к запретам и ограничениям в духовной сфере.

Авторы апологетической книги, выпущенной в 1912 г. к 300-летию дома Романовых, "Россия под скипетром Романовых" имели все основания утверждать, что в период царствования Николая I литература и искусство достигли небывалого расцвета. В его царствование "царили" Брюллов и Иванов. Композитор Львов написал, как отмечали современники, "вдохновенную музыку" для народного гимна "Боже, царя храни" на стихи поэта Жуковского. Глинка создал не менее вдохновенную музыку к опере "Жизнь за царя"...

Но никакой загадки тут нет. Интеллигенция всегда делала одно и то же дело при любых режимах и правлениях – формировала ту или иную картину мира. Только одна ее часть была в оппозиции и потому создавала одну картину, а вторая – служила власти и, следовательно, создавала несколько иную. А власть покровительствовала "своей" интеллигенции, стремилась перекупить или нейтрализовать "чужую". И расцветы и закаты культуры практически не зависят от степени демократичности режима и допустимой свободы творчества.

Действительно, если вернуться к Николаю I, то сам он был таким же "интеллигентом-экспертом". Ведь он был большим ценителем и знатоком живописи, любителем изящных и величественных построек, собирал картины, редкости, статуи как русских, так и иностранных мастеров, и "рядом с Зимним дворцом им же было сооружено прекрасное здание императорского Эрмитажа. В этом здании помещены замечательнейшие произведения русского и европейского искусства; оно открыто для обозрения всем желающим". Из других "сооружений императора" авторы упомянутой книги указывают на "всем известный своими громадными размерами, красотой и богатством Исаакиевский собор в Петербурге", возведенный на месте старого храма, построенного Петром Великим...

Неудивительно, что многие исследования лояльных "интеллигентов-экспертов" рассказывают об эпохе Николая I как чуть ли не об эпохе Ренессанса в российской культуре.

Не только "жесткий" Николай I, но и более либеральный Александр III осуществлял репрессии против интеллигентов: при нем сжигались тиражи книг Н.С. Лескова, запрещались сочинения В.С. Соловьева и Л.Н. Толстого, снимались с выставок картины Н.Н. Ге и И.Е. Репина[191].

Таким образом, поощрение лояльных и преследование нелояльных интеллигентов было постоянной культурной политикой самодержавия. Ответ "государственной интеллигенции" состоял в полной и беззаветной поддержке власти; ответный ход оппозиционной интеллигенции – в попытке или "распропагандировать", или свергнуть власть.

Так было в прежней России. Так продолжалось и после 1917 г.

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.

Оппозиционная часть интеллигенции была в ссоре с властью постоянно. Но и лояльная часть накануне Октябрьской революции "поссорилась" с бездарным царем по многим причинам, обсуждение которых выходит за рамки настоящей работы.

Неудивительно, что осенью 1917-го сразу же после переворота немалая часть интеллигенции поддержала большевиков. Можно сказать, цвет нации – Брюсов,

Вересаев, Тимирязев, Горький, Гиляровский, Маяковский, Пильняк, а в первое время даже Куприн и Шаляпин – с восторгом встретили "строительство нового мира" и восхищались энергией, умом, административными способностями и молодостью революционеров. Да и сами большевистские вожди, прежде всего Ленин, были типичными интеллигентами[192]. А некоторые из них в смысле образованности были на голову выше среднего современного доктора наук. Ведь среди них находились не только Ворошилов, Молотов и Буденный, но также и Луначарский, и Чичерин. А с ними работали Брюсов, Мейерхольд, Малевич, Шкловский, Лилина, Немирович-Данченко, Станиславский и др. Как писал известный историк М. Геллер, «большевикам удалось легко привлечь на свою сторону большую часть русской интеллигенции... Интеллигенция ненавидела самодержавие, которое после Николая I потеряло к ней интерес, и полюбила советскую власть, которая не переставала нежить и холить своих "мастеров культуры"»[193].

Конечно, среди интеллигенции были и Гумилев, и Бунин, и Бердяев, выступившие против переворота. Те же, кто не хотел или не был способен участвовать в создании новой картины мира, вынуждены были вскоре покинуть страну – Бунин, Бальмонт, Ходасевич, Андреев, Гиппиус, Куприн, Мережковский, Ремизов и Зайцев. Это относится и к большой группе философов, высланных из страны.

Но ведь были и А. Блок, поверивший большевикам, и В. Маяковский, пришедший в Смольный ("моя революция"), и М. Горький, явившийся из своей добровольной эмиграции на зов Сталина, и Б. Пастернак, воскликнувший: "Ты рядом, даль социализма!" А ведь еще были и А. Серафимович, Демьян Бедный, Д. Фурманов, А. Фадеев, А. Толстой, М. Шолохов, К. Федин и т.д., верой и правдой служившие советской власти, большевикам, и не только за страх, но и за совесть. А Д. Шостакович, а Вс. Мейерхольд, а С. Эйзенштейн – ну просто живое воплощение "двойного сознания" советской интеллигенции[194]. Например, Всеволод Мейерхольд – великий новатор русского театра – в первые годы советской власти пользовался буквально неограниченными правами на сцене и в кино. Он всегда мог рассчитывать на щедрые субсидии от Луначарского для осуществления своих амбициозных планов[195]. Часть интеллигенции потянулась к власти за поддержкой в борьбе против оппонентов и конкурентов. Так, в 20-х годах "группа режиссеров" – Эйзенштейн, Пудовкин, Козинцев, Трауберг и ряд их коллег – обратилась к партийному руководству страны с просьбой "проводить твердую идеологическую диктатуру... на участке кино"[196].

Но точно так же вели себя впоследствии и многие европейские интеллигенты, и русские эмигранты. В XX в. не было ни одного самого зловещего тирана и диктатора, которого не окружали бы помогающие ему "интеллигенты-эксперты". Требовалось только, чтобы и сам диктатор льстил им и предоставлял какие-то блага. Можно привести в качестве примера их бесчисленные славословия в адрес Гитлера, Муссолини, Кастро, Хо Ши Мина, да что там говорить – даже Пол Пота и Саддама Хусейна![197] Можно вспомнить для примера, как Д. Мережковский, получив от Муссолини разрешение задать ему несколько "не слишком трудных" вопросов о Данте, спрашивал диктатора о его планах всемирной борьбы с коммунизмом, о перспективах развития "Римской империи" и о соединении государства с церковью, имея в виду исключительно приложение этих вопросов к ситуации Советской России и возможной войне с нею[198].

Как верно заметил Г.А. Голицын, «некий миф, некое идеальное представление о "земле обетованной", наверное, неизбежная часть любой картины мира... Для

многих западных интеллектуалов после революции такой страной стала Россия, "страна победившего социализма", "республика трудящихся". Вероятно, этим обстоятельством и объясняется то, что даже наиболее выдающиеся представители интеллигенции становились вдруг поразительно слепыми и наивными. Скажем, замечательный писатель и поистине неподкупный критик социального мира Бернард Шоу, отправившись в 1930 году в поездку по социалистической России, прежде всего выбросил в окно поезда хлеб и масло – "кто же берет с собой продукты питания, отправляясь в рай"! И это в то время, когда миллионы людей умирали в России от голода.

А в 1938 году (год "Большого террора") известный писатель Андре Жид писал из России: "Никогда в жизни я не был окружен такой роскошью, всегда лучшее купе в поезде, лучший номер в гостинице, такая еда, что трудно представить себе. А что за прием! Какое внимание! Все приветствуют и аплодируют"»[199]. Создатель "Гойи" Л. Фейхтвангер, приехав в 1937 г. в СССР, безоговорочно принял сторону Сталина и старался изо всех сил доказать, что "первая в мире страна социализма день ото дня все крепче и сильнее, народ живет все лучше и лучше..."[200].

Пышные приемы, застолья, аплодисменты – все это действовало как усыпляющее совесть средство даже тех "интеллигентов-экспертов", которые были "до того" агрессивно и недоверчиво настроены по отношению к власти. До тех пор пока власти их превозносили, большинство из них смотрели на мир через розовые очки и переставали понимать тех, кому он не нравится. Писатели, журналисты, политики, обозреватели, которые во Франкфурте, Лондоне или Копенгагене возмущались несчастьями безработных или нищих, в Пекине почему-то наблюдали только счастливых людей. Либо воспринимали это так же, как восторженные писатели, посетившие Советский Союз в 30-х годах: "Грязь и мусор обычно действуют так угнетающе, но здесь, в России, это пролетарская романтика"[201]. По сравнению с сонмом этих очень даже "подкупных" творческих лиц подлинных интеллектуалов, которых действительно можно было бы назвать "совестью человечества" – таких, как, скажем, Джордж Оруэлл или Бертран Рассел, – было очень немного[202].

Сходные явления можно было наблюдать и в среде интеллигенции русского зарубежья. Его кратковременное единство нарушилось сразу после поражения Белого движения. Появились разного рода "сменовеховцы", "евразийцы", новоявленные социал-демократы, стремившиеся если и не к "замирению" с советской властью и большевиками, то по крайней мере к их признанию как исторической неизбежности, требующей культурных, нравственных и идейно-политических компромиссов. А в азиатской части диаспоры (Харбине) появился даже призрак национал-большевизма, основанного лидером сменовеховства Устряловым[203]. Все они оправдывали в глазах русской эмиграции советскую власть, социализм и большевизм сохранением Российской империи и сильной русской государственности[204].

"Просоветские" течения внутри русской эмиграции не только подрывали ее целостность, но и санкционировали – философски, политически, нравственно – большевизм и допускали возможность и чуть ли не правомерность контактов с коммунистической "провокатурой", включая прямое сотрудничество с советской агентурой. Достаточно вспомнить трагическую и в то же время заслуженную судьбу евразийца левого толка С.Я. Эфрона, мужа М.И. Цветаевой, по-своему довольно типичную для русского эмигранта[205]. Можно еще вспомнить, что ведь и сама М. Цветаева писала стихи к юбилею СССР, прославляла подвиг челюскинцев, а изгнанный из страны Н. Бердяев доказывал, что "истоки и смысл русского коммунизма" заложе-

ны в православии и самодержавии. Уместно вспомнить многочисленные оды в честь Сталина, написанные несомненно талантливыми и субъективно честными людьми[206]. Например, когда Арсения Тарковского долго не издавали, он написал стихи о Сталине, только наверху они не понравились[207]. А в 1937 г. – в год "большого террора" – даже О. Мандельштам написал две "оды" Сталину[208].

Со своей стороны власти использовали весьма жесткие средства против художников, вносивших "чрезмерное разнообразие" в насаждаемую партией единую картину мира. Так, в 1929 г. А.В. Луначарский на VII Всесоюзном съезде работников искусств заявил, что в случае необходимости "мы должны изолировать художника, как всякого другого специалиста, который оказывается нашим врагом"[209]. И ведь действительно "изолировали": по сегодняшним подсчетам, было арестовано около 2 тысяч литераторов и лишь 600 из них вышли из лагерей живыми[210].

Расправившись в 20-х годах с носителями альтернативной картины мира, большевики примерно к 1930 г. начинают интенсивно подкармливать верхушку уцелевней интеллигенции, и последняя, "трусливо закрывая глаза на правду, убеждала себя, что вскоре и вся страна заживет так же". К тому времени состав "интеллигентов-экспертов" претерпел серьезные изменения по сравнению с дореволюционным периодом. Уничтожение разного рода сословий – дворян, купцов, мещан, в значительной мере духовенства – привело к насыщению субкультуры интеллигенции выходцами из самых разных субкультур: "Потенциальные купцы и дворяне за неимением возможностей, за отсутствием адекватного поля для приложения своих талантов поневоле переходят в разряд интеллигентов. Люди с темпераментом коммивояжеров занимаются научной работой, несбывшиеся содержатели притонов выбиваются в академики, несостоявшиеся проповедники пишут статьи в академические журналы"[211].

Но главной приметой времени стало ожесточенное уничтожение одной части интеллигенции другой ее частью. Стоит только заглянуть в газеты полувековой давности, как сразу же возникнет подтверждение правоты Чехова, утверждавшего, что притеснители интеллигенции "выходят из ее же недр". Так, просматривая газетные материалы 37-го года, А.Д. Синявский с ужасом обнаружил, что практически все известные интеллигенты принимали участие в травле других интеллигентов. "Раздавить гадину" в лице очередных "врагов народа" призывали и Юрий Олеша, и Платонов, и Зощенко, и Паоло Яшвили, и Бабель... И все они выступали с гневными статьями. А рядом печатались коллективочки, где среди россыпи имен опять же и Зощенко, и Тынянов, и Паустовский, и Павел Антокольский, и Пастернак[212].

Когда в 1936 г. в "Правде" появилась статья "Сумбур вместо музыки", на одном из последовавших за этим обязательных одобрительных собраний выступил Юрий Олеша. Ему, Олеше, раньше очень нравилась музыка Шостаковича. Но теперь, после партийной оценки, эта музыка ему уже не может больше нравиться, потому что это означало бы несогласие с генеральной линией партии. "И поэтому я соглашаюсь и говорю, что и на этом отрезке искусства партия, как и во всем, права"[213].

В свое время я и сам просматривал "Правду" времен "больших чисток" и был не менее Синявского поражен массовым взаимным предательством интеллигентов. Опасаясь за самих себя или за свою карьеру, они самозабвенно травили друг друга в собственном Союзе писателей. Стоило в центральной прессе появиться статье, "разоблачающей" какого-либо писателя, или прийти директиве "сверху", как на "провинившегося" набрасывались его собратья по перу, "клеймя" и "осуждая" на

собраниях и в коллективных письмах. Этот ритуал автоматически отдавал жертву в руки органов госбезопасности. Например, в сентябре 1936 г. состоялось собрание редакции "Нового мира", где интеллигенты-литераторы "заклеймили вражеские действия" писателей Б. Пильняка, А. Селивановского и Г. Серебряковой[214]. В "Правде" 1937 г. появилась статья о романе писателя Б. Ясенского с такой оценкой: "Это фальшивое, двурушническое произведение"[215]. И ровно через месяц "на заседании партгруппы" на него набросились "братья-писатели" – Вс. Вишневский, Панферов и др. Они "осудили и заклеймили" двурушника. Другой писатель, Б. Иллеш, стал "клеймить" Ясенского, но, несмотря на это, был "осужден" заодно с ним[216]. На собрании Союза писателей 27 апреля 1937 г. В. Катаев и Ю. Либединский были активнее всех других, кто обвинял драматурга Афиногенова[217]. Но, пожалуй, всех своих коллег переплюнул Михаил Шолохов. Выступая на XVIII съезде ВКП(б), наш классик, впоследствии нобелевский лауреат, так проводил в последний путь репрессированных собратьев: "Эта мразь, все они не были ни людьми, ни писателями в подлинном смысле слова. Это были попросту паразиты, присосавшиеся к живому полнокровному телу советской литературы"[218].

В послевоенное время "кормление" лояльной и травля нелояльной интеллигенции продолжались. В 1946 г. Эйзенштейна "осудили" за фильм "Иван Грозный" (за то, что "он представил прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов"[219]). И. Эренбург, один из наиболее лояльных интеллигентов сталинской эпохи, писал, вспоминая послевоенное время: «Мне казалось, что после победы советского народа 30-е годы не могут повториться, а все напоминало прежнее: собирали писателей, кинорежиссеров, композиторов; выявляли "соучастников", каждый день список провинившихся пополнялся новыми именами; обвинили Пастернака и Шостаковича, Эйзенштейна и Пудовкина, Козинцева и Трауберга, Погодина и Сельвинского, Кирсанова и Гроссмана, Эйхенбаума и Берггольц, Л.И. Тимофеева и Межирова и Гладкова. Начала выходить газета "Культура и жизнь", многие статьи выглядели как обвинительные заключения»[220].

Естественно, что после смерти Сталина далеко не вся интеллигенция горевала. Для нее начиналась оттепель... "За тридцать с лишним лет она отвыкла работать, поглупела, была больше стадом, чем единством... – писал В.Ф. Кормер, – хрущевские культурные погромы окончательно придали интеллигенции тот вид, который она имеет сегодня".

Но и после того как прямой террор против художников был смягчен, цензурные рогатки, уголовные преследования оставались главной причиной эмиграции, в ходе которой В. Аксенов, И. Бродский, Г. Вишневская, Г. Владимов, А. Галич, Ю. Даниэль, Ю. Любимов, В. Некрасов, Э. Неизвестный, М. Ростропович, А. Синявский, А. Солженицын, А. Тарковский и мн. др. были лишены родины в основном по цензурным и политическим соображениям. По тем же причинам более 900 авторов, которые жили в бывшем Союзе или эмигрировали после 1955 г., были вынуждены публиковать свои произведения не в нашей стране, а в эмигрантской печати.

При этом интеллигенция не забывала делать свое основное дело – формировать вполне определенную картину мира. Хороший пример этой работы привел в свое время Г.А. Голицын, ссылаясь на развитие авиации в России в 20–30-х годах. «И американцы, и французы, и немцы тоже строили свою авиацию, – писал он. – Но делалось это по-буржуазному, т.е. достаточно буднично и прозаично, и не принимало тех экстатических форм, не наделялось тем сверхтехническим, трансцен-

дентным, почти религиозным смыслом, как это было у нас. "Выше всех, дальше всех, быстрее всех!", "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью"...» Подобные образы складывались в яркую, красочную картину небывалых, фантастических свершений, недоступных никаким другим государствам и народам. "Мощный советский мотор, мощная авиация, мощная страна – все это тогда как бы носилось в воздухе, этим мы жили, этим дышали", – рассказывает про 30-е годы известный конструктор авиамоторов А. Микулин. "По полюсу гордо шагает, меняет течение рек, высокие горы сдвигает советский простой человек". То же повторилось потом в завоевании космоса.

Создаваемая "экспертами-интеллигентами" картина мира усваивалась затем "интеллигентами-исполнителями", не говоря уже об остальных людях, и целиком управляла их сознанием и поведением. Один из ядерных физиков вспоминал: «Могло ли меня смущать, что в моей работе я столкнусь с необходимостью делать какие-то измерения... помогающие развивать военную технику, и в первую очередь атомное оружие? Нет. Мое поколение не мучили сомнения. Мы "знали", что мы – самые справедливые, самые лучшие. А потому мы имеем право быть сильнее всех. Историческая необходимость – вот что привело нашу страну к победе во время войны. Если на нас выпадет задача похоронить чужой враждебный нам мир, мы сделаем это без колебаний»[221].

Однако «некоторый минимум свободы, что дала интеллигенции Власть в эти годы, произвел благоприятное действие. Интеллигенция посвежела и несколько окрепла... Она осмелела до того, что стала порой подымать голос, отвергая предписываемые "нормы", стала фрондировать и в двух-трех случаях выступила открыто против власти...»[222]. В частности, десятки "интеллигентов" подписывали коллективные письма против намечавшейся в те годы "реабилитации" Сталина, и так называемых подписантов обычно ждали неприятности, иногда довольно серьезные.

В среде "экспертов-интеллигентов" появились одиночки, которые мужественно противостояли режиму, – Пастернак, Синявский и Даниэль, Сахаров, Солженицын и др. Однако ряды диссидентов гораздо чаще состояли в основном из "интеллигентов-исполнителей" – именно они создали так называемое Хельсинское движение в защиту прав человека и вышли на Красную площадь в августе 1968 г. с протестом против подавления "Пражской весны"[223]. Зато против Пастернака, Сахарова, Солженицына, Бродского выступало в прессе множество "экспертов-интеллигентов". Они выступали, ни разу не прочитав их произведения, выступали только потому, что подписавшиеся под разгромными статьями попадали в число "ведущих советских писателей и ученых". Письма "в поддержку режима" подписывали и самые "прогрессивные и либеральные": Трифонов и Катаев, Юткевич и даже Тарковский.

По существу весь прежний режим последних десятилетий так называемого застоя фактически держался именно на этой "духовной элите": не на фанатиках-коммунистах, которых в последние годы были единицы, и даже не на КГБ, не на стукачах, которых тогда вполне можно было игнорировать. «Устойчивых моральных принципов нет, – писал В.Ф. Кормер. – Нет различия добра и зла, все "относительно", по мнению русской интеллигенции. Хорошо зная свои слабости, сегодняшний русский интеллигент готов "понять и извинить" что угодно. Он оправдывает предательство, доносы, пасквильные статьи в газетах, написанные его знакомыми, ложь в публичных выступлениях. Громя на собраниях отступников, интеллигент возвращается домой и компенсирует себя, издеваясь в своих четырех стенах над теми, с

кем только что был заодно, но кто менее интеллигентен, на его взгляд. Сам он вступил в партию потому, что в "партии необходимо увеличить процент порядочных людей"»[224].

Но и зарубежная интеллигенция не оставалась в стороне от восхваления диктаторов. Известный писатель Грэм Грин со слезами умиления на глазах рассказывал о речи генерального секретаря компартии Советского Союза. Жан Поль Сартр был в восторге от Фиделя Кастро – ведь тот принял его с царскими почестями, не то что де Голль (и что было Сартру до того, что кубинцы при Фиделе стали одним из беднейших народов). Гонимый ныне фундаменталистами Ирана Салман Рушди написал гимн в честь диктаторов Никарагуа – ведь здесь его принимали куда с большими почестями, чем на родине, чем в Германии или Великобритании (а если в это время в Никарагуа уничтожали местное население – это не в счет)[225].

90-е ГОДЫ XX в.

По всей видимости, и в наши времена практически ничего не изменилось.

Парадоксально, но факт: довольно точный портрет современного "интеллигента-эксперта" дал философ-диссидент В.Ф. Кормер еще 30 лет назад: "Интеллигенция сегодня стремится к обеспеченности, к благополучию и не видит уже ничего плохого в сытой жизни. Наоборот, она страдает, когда ее спокойствие и размеренный порядок бытия нарушаются. Своя квартира, возможность роста по службе, диссертация – вот необходимый минимум, без которого сегодняшний интеллигент не мыслит себе своего существования. Он считает эти требования как нельзя более естественными. Идеалом для него является жизнь его американского или европейского коллеги, свободного, хорошо оплачиваемого специалиста, который вынужден, правда, работать значительно напряженней, чем работает интеллигент здесь, в России, но зато имеет собственный автомобиль, коттедж, семью из четырех детей, неработающую жену и может путешествовать по всему миру. Сегодняшний русский интеллигент тоже хочет путешествовать..."[226].

И это не ирония и никакое не преувеличение. Насколько точным был диагноз 30-летней давности, говорит сегодняшнее оправдание – объяснение причин одного из тех, кто "искал защиты под привилегированным крылом Союза кинематографистов": «...неустроенный быт, к тому же безнадежное состояние медицинского обслуживания, к тому же невозможность обеспечить семью летним отдыхом, к тому же отсутствие собственного угла для работы, к тому же невозможность купить машину за свои же деньги, записаться в кооператив или на дачный участок, съездить в турпоездку за границу – все эти обычные житейские проблемы не могли не способствовать желанию попасть в Союз. Ну, и что греха таить, привлекало и чувство приобщенности к особому кругу: кого манили фильмы, которые нигде как в Доме кино не увидишь, кого – биллиард, кого – ресторан с избранным обществом, кого – просто красная "корочка" Союза, производящая благотворное впечатление на постовых ГАИ. Не каждому перепадал полный набор подобных благ, кто-то оказывался более "равным", кто-то – менее, но что-то от Союза получал каждый. Впрочем, и сам за это "что-то" расплачивался»[227]. Очевидно, что речь шла не о потере жизни или свободы, а о гораздо более прозаических вещах.

Таким образом, неверно было бы говорить о том, что интеллигенция была подавлена или разгромлена в годы советской власти. Точно так же как и в минувшие

времена, преследовалась лишь та ее часть, которая отказывалась непосредственно сотрудничать с властью, участвовать в формировании новой картины мира. Другая же, лояльная ее часть своими "руками" создавала ту картину мира, которая затем силой навязывалась всему населению. И эта часть не только не подавлялась, но и возвеличивалась ("инженеры человеческих душ") и подкармливалась (Союзы писателей, художников и пр.).

Практически вся культура эпохи советской власти была создана "руками" интеллигенции. Если не считать нескольких диссидентов, поплатившихся годами свободы, жизнью и здоровьем, все остальные "интеллигенты-эксперты" более или менее ревностно участвовали в создании советской картины мира. И как только ситуация изменилась, подавляющее большинство мгновенно превратилось сначала в "прорабов перестройки", а затем в довольно радикальных демократов-западников и стала столь же усердно воздвигать совершенно другую картину мира, в которой целью развития общества стал противоположный "-изм".

Надо отчетливо понимать, как это понял философ В.Ф. Кормер еще три десятилетия назад, что "...советская идеология сама есть дело рук интеллигенции"[228]. "Коммунизм, – писал он, – был ее собственным детищем... В том числе и идеи террора, классового террора... В ее сознании не было принципов, существенно отличавшихся от принципов, реализованных режимом. Поэтому, *если вообразить, что в какой-то момент террор был бы снят и интеллигенция получила бы свободу волеизъявления, то вряд ли можно сомневаться, что это ее свободное движение быстро окончилось бы какой-либо новой формой тоталитаризма, установленной снова руками самой же интеллигенции, – например, шовинистического, национал-социалистического типа, к которому особенно склонна сегодняшняя русская интеллигенция...* (курсив наш. – *К.С.*)"[229].

Эти слова были написаны 30 лет назад, и сегодня можно только поразиться, насколько точны были и диагноз, и прогноз. С победой "свердловской демократии" в России история вновь повторилась. Несколько лет назад, когда расстреливали Белый дом, многие деятели литературы, искусства, культуры не просто промолчали – они даже поддержали этот расстрел. Когда произошла гайдаровская реформа, которая привела к тому, что сегодня более 30% населения оказалось за гранью нищеты, интеллигенция просто закрыла на это глаза. Как это похоже на начало 30-х годов, когда интеллигенция закрыла глаза на страшный голод и бедствия в деревне и промолчала[230]. И разве не то же самое произошло, когда в июле 1918 г. была убита вся царская семья? Ведь и тогда никто из златоустов, властителей дум, философов, поэтов "серебряного века" не вскричал, не завопил на всю Россию, хотя прежде взрывались и по менее значительному поводу.

Покойный писатель-диссидент А.Д. Синявский, расплатившийся лагерями за свое диссиденство, сокрушался о том, что «снова цвет российской интеллигенции встал на сторону власти. Сначала поддержал гайдаровский грабеж, а потом ельцинский расстрел Белого дома. Приговаривая при этом: "Молодец, Боря! Жми, Боря! Давай, давай, Боря, дави их всех, которые не с нами!"»[231]. А известный театральный режиссер Ю. Любимов, практически не зависящий от отечественной власти, выразился еще более определенно: "...все говорят о судьбе художника в изменившейся ситуации, а у меня нет ощущения каких-то принципиальных, глубинных изменений... Опять наша интеллигенция, которая привыкла служить, как собачка за сахар или даже за кость, обрела хозяина..."[232].

Правда, и теперь есть интеллигенты, отвергнутые властью или отвергающие власть и постепенно уходящие в оппозицию. Видимо, скоро опять появятся новые диссиденты, а затем кто-то неожиданно для всех выйдет утром на Сенатскую площадь. История повторяется...

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Сегодня, к началу XXI в., "интеллигенты-эксперты" установили фактическую монополию на суждения об "истинности" всех фрагментов национальной картины мира. Сегодня все человеческое общество представляет собой одну огромную экспертную систему со специальными экспертными комиссиями практически во всех наиболее важных областях. Так, вопросы жизни и смерти обвиняемых решают судьи, которые выступают в роли независимых экспертов. Вопросы признания людей нормальными или сумасшедшими решает заключение медицинских экспертов. Признание научных степеней или отвержение научных открытий зависит от групп ученых-экспертов. Присуждение премий и званий в области искусства – от жюри, состоящих из экспертов-искусствоведов. Все, что касается проблем отношения с Богом, разрешают церковные эксперты. Судьбу проектов, способных резко изменить жизнь человечества – типа космических программ или проекта поворота северных рек, – тоже решают специальные эксперты.

В той или иной степени на принятие решений влияют, конечно, и технократы, но их влияние – ничто по сравнению с влиянием "экспертов-интеллигентов". Действительно, можно, конечно, на чисто технической основе рассчитать строительство моста через реку, материалы, которые нужны для него, составить смету и т.п. Но только экспертным путем можно принять решение о том, нужен ли обществу этот мост или не нужен, а если нужен, то почему. И вообще, в каком смысле он полезен?

То же самое относится к любым решениям, касающимся общества в целом, отдельных его регионов или отдельных социальных групп. Такой экспертный метод принятия решений всегда существовал, был общепринят и является единственным способом "обоснования" тех или иных решений (единоличные решения тиранов и диктаторов в таком обосновании попросту не нуждались).

В той или иной степени монополия экспертов на "хранение" картины мира, на принятие важнейших решений поддерживается государственной властью. Опираясь на эту поддержку, используя всеохватывающую систему общего образования и средств массовой коммуникации, эксперты непрерывно навязывают единую общенациональную картину мира всем остальным людям.

Величайшее изобретение – телевизор – все больше заменяет реальную жизнь. Вместо людей он путешествует, беседует с разными людьми, играет с детьми, читает газеты и книги, гуляет по городу, разбирается в политике, ходит в театры и на концерты, в музеи и на демонстрации, а теперь и в церковь. "Возможность без усилий потреблять жизнь в виде полуфабриката доставляет огромное удовольствие. Научившись извлекать это удовольствие, люди, как подопытные крысы, жмут и жмут на эту заветную кнопку без конца". Возможности формирования любых произвольных картин мира здесь ничем не ограничены. Как образно пишет А. Боссарт, "человечество эпохи развитого телевидения на одной отдельно взятой Земле приобретает опосредованное мировоззрение"[233].

Еще одно информационное изобретение – персональный компьютер – уже начало успешное соперничество с телевизором. Легко показать, что так называемые компьютерные игры, как и вообще любые игры, представляют вполне определенную картину мира. Усиленные яркими зрительными образами, они предлагают либо создать определенное общество, либо убить определенных врагов, либо победить в определенном соревновании. Молодое поколение, особенно "выбирающее пепси", поголовно увлечено этими играми, отдавая им все свободное время; в них играют многие чиновники в офисах в свободное от работы время.

Новейшие исследования вооружают власть колоссальными возможностями неосознаваемого психологического воздействия. Необходимость использования новейших изобретений в этой области объясняется необходимостью воздействия на большие скопления людей: реклама, митинги, групповая психотерапия; на неуправляемые толпы – бунт в тюрьме, секты самоубийц или стихийное бедствие, когда из-за паники гибнут тысячи. Подобные разработки, утверждают некоторые эксперты, могли бы сохранить им жизнь.

И сегодня уже известны и практически применяются разнообразные способы формирования картины мира – методы "кодирования" личности, методы "семантической психокоррекции"[234], программа ВААЛ, измеряющая "бессознательную эмоциональную реакцию человека на слова", которая якобы используется администрацией президента с 1993 г.[235], и т.п.

Сегодня эти функции "экспертов-интеллигентов" усилены необходимостью создавать такой благоприятный "имидж" того или иного представителя власти, чтобы население "выбирало" его добровольно. Сегодня для этого интеллигенция придумала десятки технических средств массовой обработки мозгов. «Раньше этих средств было меньше или вовсе не было, но без рекламы, без постоянного подогрева "народного мнения" не состоялась ни одна диктатура. Функцию официозной пропаганды успешно выполняли слухи, лживые и хвалебные россказни, распускаемые клевретами, почитателями, сплетниками, подкупленными писаками, бродячими трубадурами, торговцами, странниками, преданными священнослужителями и дипломатами»[236].

Сегодня интеллигенция создала целую науку, целый арсенал приемов того, как из любого бессовестного, продажного, циничного политика сделать привлекательного, доброго, умного, высоконравственного "слугу народа". Сегодня стало очевидно, что "игнорировать существование мощной индустрии воздействия на общественное мнение становится по-настоящему опасно. Без хорошо оплаченных аналитиков, консультантов, организаторов специальных кампаний не только невозможно выиграть выборы в России, но также удержать власть, сформулировать и транслировать бюрократии интересы финансово-промышленных групп".

Интересно при этом, что, "признавая необходимость манипулирования общественным мнением и раздвигая пределы манипулирования", ни один из "интеллигентов-экспертов" "никогда не признается, что он занимается предосудительным делом. На случай таких упреков изобретена очень убедительная теория, согласно которой современное цивилизованное общество похоже на казино. Вокруг стола толпятся зеваки, за карточный стол садятся элиты, выигрывают самые умелые и обеспеченные – они же самые прогрессивные. Что же касается интеллигенции, интеллектуально обеспечивающей электоральную модель олигархического государства, то она как бы выводит не очень образованные нижние классы и не сильно проникшиеся моралью и культурой высшие слои из зоны прямых варварских

столкновений, тем самым выполняя историческую гуманитарную миссию. Роль крупье"[237].

В этом очередном мифе, создаваемом интеллигенцией, неясно лишь одно, но самое главное: с какой целью ведется вся игра вообще?

На самом деле феномен "имиджмейкерства", придуманный интеллигенцией, – это очередная термоядерная бомба, очередная хищная вещь века. Однажды возникнув, она начинает жить собственной жизнью. Создав ее для каких-то временных, конъюнктурных целей, интеллигенция затем не знает, как от нее избавиться. В этих обстоятельствах культивирование мифа о "доброй, умной, честной и принципиальной интеллигенции" чрезвычайно опасно. Ибо "эксперты-интеллигенты" в принципе могут служить любой власти и в этом качестве представлять собой либо зло, либо благо. И неважно, какими средствами они при этом пользуются – наукой, искусством или религией, – все равно они заняты формированием или изменением картины мира общества в целом или отдельных групп людей.

Из этого следует, что не имеет никакого смысла в чем-либо "осуждать" или "хвалить" "экспертов-интеллигентов", не говоря уже о том, чтобы рассматривать их как некое благо или, напротив, зло, от которого надо избавляться. Я сам причисляю себя к интеллигенции и убежден, что мир устроен таким образом, что без интеллигенции он просто рухнул бы, ибо человечество не знает никакого другого столь же апробированного и эффективного механизма выработки общей картины мира и принятия значимых решений, как создание сословия "экспертов-интеллигентов". "Осуждать" или "хвалить" интеллигенцию столь же глупо и нелепо, как выступать против власти вообще. Очевидно, что без власти общество вообще не способно существовать, просто не надо ее мифологизировать. Как показывает история, мифологизация социальных институтов может быть смертельно опасной.

И у таких важнейших институтов, как "демократия", "рынок" и др., также есть масса весьма неприятных следствий. Но поскольку сегодня в принципе отсутствуют иные столь же эффективные механизмы управления поведением людей, и демократия, и рынок остаются на сегодняшний день единственной надеждой человека на лучшее будущее.

То же самое относится и к интеллигенции – "универсальным экспертам", без которых наш нынешний мир просто не смог бы нормально функционировать.

Важно лишь не создавать о них мифы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Успенский Г.И.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1956. Т. 5. С. 237.

[2] *Гранин Д.* Русский интеллигент уходит // Известия. 1977. 5 нояб., № 211. С. 6.

[3] *Лихачев Д.С.* Агрессивность "бездуховности" // Лит. газета. 1990. 3 мая. С. 5.

[4] *Эйдельман Н.Я.* Почему я не пессимист: заметки об интеллигентности // Моск. новости. 1987. № 47. С. 16.

[5] *Пайпс Р.* Россия при старом режиме. М., 1993. С. 330.

[6] *Померанц Г.* Человек ниоткуда // Померанц Г. Выход из транса. М., 1995. С. 119.

[7] Считается, что впервые термин "интеллигенция" ввел в оборот писатель П.Д. Боборыкин в 60-е годы XIX в. На самом же деле впервые слово "интеллигенция" в русской литературе употребил И.С. Аксаков в статье "Отчужденность интеллигенции от народной стихии", опубликованной в газете "День" 21 октября 1861 г.

[8] Краткий словарь по социологии. М., 1989. С. 92; Социология: Словарь-справочник. М., 1990. Т. 1. С. 51; Социальное развитие советской интеллигенции. М., 1986. С. 15–19; *Севастьянов А.* Двести лет из ис-

тории русской интеллигенции: попытки социологического анализа // Наука и жизнь. 1991. № 3. С. 107; Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 501.

[9] *Ожегов С.И.* Словарь русского языка. М., 1978. С. 231.

[10] Н.А. Бердяев утверждал, что к интеллигенции "могли принадлежать люди, не занимающиеся интеллектуальным трудом и вообще не особенно интеллектуальные" (*Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 17).

[11] Так, Б. Хазанов писал: "Интеллигентов немного – во много раз меньше, чем просто людей с высшим образованием" (*Хазанов Б.* История безответной любви // Знание – сила. 1991. № 5. С. 77).

[12] Против этого определения энергично протестовал Г.П. Федотов: «...интеллигенция – категория *не профессиональная* (курсив наш. – *К.С.*). Это не "люди умственного труда" (intellectuals)» (*Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции // Федотов Г.П. Судьба и грехи России: В 2 т. СПб., 1991. Т. 1. С. 68).

[13] *Пайпс Р.* Указ. соч. С. 328–329.

[14] Не могу не отметить парадокс: опровержение "рыцарского" определения убедительнее всего прозвучало из уст самого воплощенного идеала – А.П. Чехова (в письме к И.И. Орлову 1899 г.): "Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю, даже когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр".

[15] Во второй трети XX в. этот тезис вполне определенно опроверг В.Ф. Кормер. «Термин "интеллигентный человек" – это вовсе не синоним "честного человека", – писал он в 1969 г. – Интеллигентному человеку, правда, присуща некоторая тонкость чувств, известная мягкость, но сказать, что он в принципе не может терпеть лжи, что он всегда оппозиционен злу, было бы преувеличением. Интеллигенция слишком часто заблуждается на этот счет. Необходимо поэтому все время подчеркивать, что интеллигенция формируется совсем не по принципу порядочности или отвержения неправды, она формируется на идеях особого мировосприятия, в котором первенствуют специфические воззрения...» (*Кормер В.Ф.* Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура // Вопр. философии. 1989. № 9. С. 68).

[16] Авторы книги "Интеллигенция и власть" писали: "И чиновник, и профессор могут быть отнесены к интеллигенции лишь в том случае, если в их деятельности есть такие условия, как постоянная жажда говорить истину, наличие мужества для провозглашения истины в любых обстоятельствах, готовность подвергать беспощадной критике все существующее" (*Бербакова К.Г., Мансуров В.А.* Интеллигенция и власть. М., 1991. С. 112); см. также: *Смоляков Л.Я.* Социалистическая интеллигенция. Киев, 1986. С. 56.

[17] *Ожегов С.И.* Указ. соч. С. 231.

[18] *Елистратов В.С.* Евразийский Рим, или Апология московского мещанства // Елистратов В.С. Язык старой Москвы. М., 1997. С. 696.

[19] *Милюков П.Н.* Интеллигенция и историческая традиция // Вопр. философии. 1991. № 1. С. 109.

[20] Кстати, в "Вехах" содержатся десятки определений и характеристик интеллигенции. Я выписал их и составил из них портрет среднего интеллигента. Что же он собой представляет? (цит. по: Вехи: Из глубины. М., 1991).

С.Н. Булгаков перечисляет следующие черты: барство, некультурность, непривычка к труду (с. 35–36); пуританизм, аскетизм (с. 36–37); чувство виновности перед народом (с. 37–38); атеизм (с. 38); героизм (с. 44); молодость (с. 50); космополитизм (с. 65).

М.О. Гершензон называет также радикализм, фанатическую нетерпимость (с. 86) и резонерство (с. 84); неряшливость, неаккуратность в личной жизни, недобросовестность в работе и общественных делах, склонность к деспотизму, отсутствие уважения к чужой личности (с. 82).

А.С. Изгоев: нелюбовь к своему делу и незнание его (с. 118–119).

Б.А. Кистяковский: неуважение к праву (с. 125).

П.Б. Струве: отщепенство от государства и враждебность к нему (с. 152–153).

[21] *Кондаков И.В.* Введение в историю русской культуры. М., 1997. С. 443.

[22] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 19. С. 94.

[23] Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. М., 1990. С. 8.

[24] Там же. С. 60.

[25] Там же. С. 138.

[26] *Бердяев Н.А.* Указ. соч. С. 19.

[27] *Мережковский Д.С.* В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М., 1991. С. 368–369.

[28] Вехи... С. 82.

[29] *Федотов Г.П.* Судьба и грехи России. Т. 1. С. 79.

[30] Рус. мысль. Париж. 1996. 7–13 нояб., № 4148. С. 10.

[31] *Померанц Г.* Долгая дорога истории // Померанц Г. Выход из транса. С. 263–264.

[32] *Жаботинский (Зеев)*. Избранное. Иерусалим; Санкт-Петербург, 1992. С. 108.
[33] *Мэтлок Дж.-Ф.* Литература и политика: Федор Достоевский // Вопр. литературы. 1989. № 7. С. 40–53, 58.
[34] *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 270.
[35] *Ульянов Н.* Русское и великорусское // Русская идея: В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 351.
[36] *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции. С. 88.
[37] *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 137.
[38] *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции. С. 68.
[39] *Померанц Г.* Человек ниоткуда. С. 121.
[40] Вехи... С. 156.
[41] См., например, наиболее характерную для этой точки зрения статью Д. Гранина "Русский интеллигент уходит".
[42] *Геллер М.* Родовые схватки // Рус. мысль. Париж. 1996. 7–13 нояб., № 4148. С. 7.
[43] *Гранин Д.* Указ. соч.
[44] *Елистратов В.С.* Указ. соч. С. 695–696.
[45] *Иванов А.* Интеллигент – это кто? // Книжное обозрение. 1992. 13 мар., № 11.
[46] *Розоноер Л.* Истина посередине? Нет, в другой плоскости! // Рус. мысль. Париж. 1997. 18–24 дек., № 4202.
[47] *Ключевский В.О.* Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 20.
[48] *Ениколопов С.Н.* Три образующие картины мира // Модели мира. М., 1997. С. 36.
[49] *Аксаков И.* Как началось и шло развитие русского общества // Полн. собр. соч.: В 7 т. М., 1987. Т. 6. С. 241–242.
[50] Там же. С. 245–246.
[51] *Ахиезер А.С.* Россия: критика исторического опыта. М., 1991. Т. 1. С. 74.
[52] Там же. С. 86.
[53] Цит. по: *Кормер В.Ф.* О карнавализации как генезисе "двойного сознания" // Вопр. философии. 1991. № 1. С. 167–168.
[54] *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 146.
[55] *Оруэлл Д.* 1984 // Соч.: В 2 т. Пермь, 1992. Т. 1. С. 119.
[56] Там же. С. 60.
[57] *Елистратов В.С.* Указ. соч. С. 693.
[58] *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции. С. 67.
[59] *Кондаков И.В.* Указ. соч. С. 442.
[60] *Калашников В.* Кто вычислит российский интерес? // Рус. мысль. 1997. 18–24 сент., № 4189. С. 8.
[61] *Розанов В.В.* Литературные репутации. М., 1991. С. 81.
[62] *Бергман П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М., 1995. С. 191–200.
[63] *Ашин Г.К.* Современные теории элиты. М., 1985.
[64] *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 86.
[65] Цит. по: *Латынина Ю.* Уроки "Вех" // Вехи... С. 86.
[66] *Касьянова К.* О русском национальном характере. М., 1994. С. 20.
[67] *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции. С. 68.
[68] *Пайпс Р.* Указ. соч. С. 328–329.
[69] Там же.
[70] *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 107.
[71] Там же. С. 108–109.
[72] *Кормер В.Ф.* О карнавализации как генезисе "двойного сознания". С. 173. В послесловии к статье "От редакции" отмечается, что, "обращаясь к проблеме русской интеллигенции, Кормер попытался на сей раз увидеть ее культурологически, показать ее неоднородность, предложив для этого оригинальную типологию. От мрачных инвектив в адрес интеллигенции, столь характерных для занимавшегося исторической проблематикой андеграунда, автор отказывается, противопоставляя им понимание истории как проблему русской культуры, показывая, что все уничижения или восхваления тех или иных личностей объясняются характерным русским спором с историей. По отношению к истории он выстраивает типологию русской интеллигенции... Все проблемы прошлого, по его мнению, отыгрываются в сегодняшнем настоящем. Таким образом, двойственность русской интеллигенции, ее амбивалентность, приятие одновременно разноэтажных ценностей Кормер определяет как карнава-

лизацию сознания, позволяющую выжить в трудных условиях, ибо в момент кризиса (социального, духовного) человек и мобилизует все резервы психики" (с. 185).

[73] *Хазанов Б.* Указ. соч.

[74] Там же. С. 70.

[75] *Касьянова К.* Указ. соч. С. 22.

[76] Там же. С. 23.

[77] *Кормер В.Ф.* О карнавализации как генезисе "двойного сознания". С. 179–180.

[78] *Хазанов Б.* Указ. соч.

[79] *Солоневич И.* Дух народа // Русская идея: В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 307.

[80] *Померанц Г.* Долгая дорога истории. С. 253.

[81] *Гершензон М.О.* Творческое самосознание // Вехи: Из глубины. М., 1991. С. 86–87.

[82] *Кормер В.Ф.* Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. С. 76.

[83] См., например: *Иванов-Разумник* (Иванов Р.В.). История русской общественной мысли: В 2 т. СПб., 1908.

[84] *Хазанов Б.* Указ. соч. С. 75.

[85] *Померанц Г.* Долгая дорога истории.

[86] Там же. С. 267.

[87] Там же.

[88] Там же.

[89] *Гершензон М.О.* Указ. соч. С. 87.

[90] *Хазанов Б.* Указ. соч.

[91] Цит. по: *Блок А.А.* Соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 5. С. 323. (Приводимая здесь Блоком цитата – слова о. Антония из "Исповеди" Горького.)

[92] *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции. С. 67.

[93] *Кондаков И.В.* Указ. соч. С. 442.

[94] *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции. С. 79.

[95] *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 139.

[96] Там же. С. 107–108.

[97] *Померанц Г.* Долгая дорога истории. С. 262.

[98] *Страда В.* Интеллигенция как зеркало европейской революции // Рус. мысль. Париж. 1997. 18–24 сент., № 4189. С. 11.

[99] Там же.

[100] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 40. С. 287–290.

[101] *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 149.

[102] Там же.

[103] Там же.

[104] Там же. С. 151.

[105] *Коялович М.А.* История русского самосознания. Минск, 1997. С. 147.

[106] Там же. С. 158–159.

[107] *Карсанова Е.* Неприкаянные // Моск. новости. 1997. 14–21 сент., № 37. С. 10.

[108] Там же.

[109] *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 112.

[110] Там же. С. 114.

[111] «Говорю об интеллигенции в традиционно-русском смысле этого слова, о нашей кружковой интеллигенции, искусственно выделяемой из общенациональной жизни. Этот своеобразный мир, живший до сих пор замкнутой жизнью под двойным давлением, давлением казенщины внешней – реакционной власти и казенщины внутренней – инертности мысли и консервативности чувств, не без основания называют "интеллигенщиной" в отличие от интеллигенции в широком смысле этого слова» (*Бердяев Н.А.* Философская истина и интеллигентская правда // Вехи... С. 11).

[112] Цит. по: *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 116.

[113] *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции. С. 92.

[114] Литературное наследство. М., 1941. Т. 41–42.

[115] *Михайловский Н.К.* Литературная критика и воспоминания. М., 1995. С. 560–561.

[116] *Светоний Гай Транквилл.* Жизнь двенадцати цезарей. М., 1988. С. 222.

[117] *Кремер В., Тренклер Г.* Лексикон популярных заблуждений. М., 1997. С. 55–56.

[118] Там же. С. 75–76.

[119] *Петухов В.В.* Воображение и познание // Модели мира. М., 1997. С. 30.

[120] *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции. С. 94.
[121] *Страда В.* Указ. соч.
[122] Цит. по: *Хосбаум Э.* Эхо "Марсельезы". М., 1991. С. 43.
[123] *Карлейль Т.* Французская революция. История. М., 1991. С. 394.
[124] Там же. С. 487–491.
[125] *Булгаков С.Н.* Героизм и подвижничество // Вехи... С. 32–33.
[126] *Хазанов Б.* Указ. соч.
[127] *Давыдов Ю.* Неслучайный Нечаев // Общая газета. 1997. 25 сент. – 5 окт., № 38 (217).
[128] *Булгаков С.Н.* Указ. соч. С. 32–33.
[129] *Давыдов Ю.* Указ. соч.
[130] *Джонсон П.* Современность: мир с 20-х по 90-е годы. М., 1992. Т. 2. С. 261–262.
[131] *Люкс Л.* Интеллигенция и революция: Летопись триумфального поражения // Вопр. философии. 1991. № 1.
[132] Там же.
[133] *Померанц Г.* Долгая дорога истории. С. 266.
[134] *Кормер В.Ф.* О карнавализации как генезисе "двойного сознания". С. 166.
[135] *Федотов Г.П.* Указ. соч.
[136] *Непомнящий В.* Феномен Пушкина // Рус. мысль. 1997. 27 нояб. – 3 дек., № 4199. С. 11. Отметим, что другая версия ответа ("Встал бы в ряды мятежников") дошла до нас только благодаря М. Корфу, однокашнику поэта, который терпеть его не мог еще с лицейских времен (Там же).
[137] *Кормер В.Ф.* Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. С. 75.
[138] *Михалкович В.* Власть как художник // Художник и власть. М., 1992. С. 88–89.
[139] *Кушнирович М.* Вот потому-то они и становятся тиранами // Художник и власть. С. 53–54, 60.
[140] *Кормер В.Ф.* Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. С. 71–72.
[141] *Арапов М.В.* А уяснится предмет – без труда и слова подберутся // Человек. 1997. № 4. С. 54.
[142] *Кормер В.Ф.* Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. С. 75.
[143] *Гершензон М.О.* Указ. соч. С. 67.
[144] Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: В 21 т. М., 1996. Т. 1. С. 246.
[145] *Кормер В.Ф.* Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. С. 70.
[146] *Долгоруков П.* Петербургские очерки: Памфлеты эмигранта. М., 1992. С. 300.
[147] *Кормер В.Ф.* Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. С. 76.
[148] *Дживелегов А.* Очерки итальянского Возрождения. М., 1929.
[149] *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции. С. 82.
[150] *Хорошкевич А.* Казнил и жаловал... // Моск. новости. 1997. 26 янв. – 2 февр., № 3.
[151] Там же.
[152] *Некрасов Н.А.* Петербургские углы: (Из записок одного молодого человека) // Физиология Петербурга. М., 1991. С. 105 (см. также: *Некрасов Н.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л.: Наука, 1983. Т. 7. С. 347).
[153] *Лотман Ю.М.* Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994. С. 236.
[154] Там же. С. 352.
[155] Там же. С. 355.
[156] *Жемайтис С.* Хорошо забытое новое // Знание – сила. 1986. № 4. С. 34.
[157] См.: *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Отзвуки концепции "Москва – третий Рим" в идеологии Петра I // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 240.
[158] *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 34.
[159] *Живов В.М.* Государственный миф в эпоху Просвещения и его разрушение в России конца XVIII века // Из истории русской культуры. С. 664.
[160] *Ломоносов М.В.* Указ. соч. С. 285–286.
[161] Там же. С. 109.
[162] Феофана Прокоповича архиепископа Великаго Новаграда и Великих Лук речи поучительные, похвальные и поздравительные: В 3 ч. СПб., 1763. Ч. 2. С. 157.
[163] *Лотман Ю.М.* Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века // Из истории русской культуры... С. 86.
[164] Там же. С. 103.
[165] Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация. С. 154.
[166] *Некрасов Н.А.* Указ. соч. С. 348.
[167] *Эйдельман Н.* Грань веков // В борьбе за власть. М., 1988. С. 297.

[168] *Ломоносов М.В.* О сохранении и размножении российского народа // Жажда познания: История Отечества. Век XVIII. М., 1986. С. 418–420.
[169] *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч. Т. 1. С. 54.
[170] *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 106–107.
[171] *Герцен А.И.* Письма издалека // Герцен А.И. Избранные литературно-критические статьи и заметки. М., 1981. С. 162.
[172] Там же.
[173] *Герцен А.И.* Новая фаза русской литературы // Герцен А.И. Избранные литературно-критические статьи и заметки. С. 413.
[174] *Долгоруков П.* Петербургские очерки: Памфлеты эмигранта. М., 1992. С. 479.
[175] *Вяземский П.* Записные книжки. М., 1992. С. 155.
[176] Цит. по: *Эйдельман Н.* Революция сверху в России: (Заметки историка) // Наука и жизнь. 1988. № 11.
[177] *Герцен А.* О развитии революционных идей в России // Герцен А.И. Письма издалека... С. 226.
[178] *Ахиезер А.С.* Указ. соч.
[179] *Герцен А.И.* Письма издалека... С. 176.
[180] Там же. С. 369–370.
[181] *Федотов Г.* Россия и свобода // Русская идея... С. 202–203.
[182] *Мережковский Дм.* Поэт сверхчеловечества // Рус. мысль. 1909. № 3.
[183] *Герцен А.* О развитии революционных идей в России. С. 295.
[184] *Дейч М.* Попытка объясниться. Интеллигенция и церковь – претензии, накапливавшиеся столетиями // Независимая газета. 1996. 21 авг. С. 5.
[185] *Кривцун О.А.* Художник в истории русской культуры: эволюция статуса // Человек. 1995. № 1.
[186] *Панаев И.И.* Литературные воспоминания. М., 1988. С. 375.
[187] *Коялович М.О.* История русского самосознания. СПб., 1884. С. 265–266.
[188] Россия: Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1898. С. 666.
[189] *Пушкин А.* Заметки по русской истории XVIII века // Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. 11. С. 16–17.
[190] Русская идея... С. 633.
[191] *Полунов А.Ю.* Романовы: между историей и идеологией // Исторические исследования в России: тенденции последних лет. М., 1996.
[192] Многие зарубежные историки прямо называют В.И. Ленина "интеллигентом" (см.: *Джонсон П.* Современность: мир с двадцатых по девяностые: В 2 ч. М., 1995. Ч. 2. С. 261; Мумия Ленина // Рус. мысль. Париж. 1997. 11–17 дек., № 4201. С. 7).
[193] *Геллер М.* Указ. соч. С. 7.
[194] *Кондаков И.В.* Указ. соч. С. 450.
[195] Известия. 1920. 27 окт., № 240. С. 2.
[196] Документ идеологической борьбы // Искусство кино. 1964. № 4. С. 14.
[197] *Кремер В., Тренклер Г.* Указ. соч. С. 128–129.
[198] *Кондаков И.В.* Указ. соч. С. 421.
[199] *Кремер В., Тренклер Г.* Указ. соч. С. 128–129.
[200] *Жид А.* Возвращение из СССР; *Фейхтвангер Л.* Москва 1937. М., 1990. С. 47.
[201] *Кремер В., Тренклер Г.* Указ. соч. С. 128–129.
[202] Там же.
[203] См. подробнее: *Агурский М.* У истоков национал-большевизма // Минувшее: Исторический альманах. М., 1991. Вып. 4; *Он же.* Идеология национал-большевизма. Париж, 1980. С. 428.
[204] *Кондаков И.В.* Указ. соч. С. 422.
[205] Там же. С. 430.
[206] *Кремер В., Тренклер Г.* Указ. соч. С. 128–129.
[207] *Шенкман Я.* Святые имена Семена Липкина // Моск. новости. 1997. 14–21 сент., № 37. С. 21.
[208] См.: *Мандельштам О.* Соч. М., 1990. Т. 1. С. 311, 433–435.
[209] Лит. наследство. М., 1970. Т. 82: А.В. Луначарский. Неизданные материалы. С. 22.
[210] *Свинцов В.И.* Правда "черная" и "белая" // Вопр. философии. 1989. № 9. С. 167.
[211] *Кормер В.Ф.* Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. С. 70.
[212] *Синявский А.Д.* Интеллигенция продается. Это уже было: (Из последнего публичного выступления А.Д. Синявского в России) ("Мемориал", май 1966 г.) // Общая газета. 1997. 27 февр. – 5 мар., № 8 (187). С. 2.
[213] *Алигер М.* [...] // Знамя. 1987. № 10. С. 104.
[214] Новый мир. 1936. № 9.

[215] Правда. 1937. 26 мая.
[216] Правда. 1937. 27 апр.
[217] Там же.
[218] XVIII съезд ВКП(б). 1939 г. Стенографический отчет. С. 474.
[219] Постановление ЦК ВКП(б) 1946 г. о кинофильме "Большая жизнь".
[220] *Эренбург И.* Люди, годы, жизнь // Новый мир. 1965. № 1. С. 123.
[221] *Поликанов С.* Разрыв: Записки атомного физика. Пермь, 1991. С. 165.
[222] *Кормер В.Ф.* Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. С. 77–78.
[223] Среди вышедших на Красную площадь был и один рабочий – Вадим Делоне.
[224] *Кормер В.Ф.* Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. С. 74.
[225] *Кремер В., Тренклер Г.* Указ. соч. С. 128–129.
[226] *Кормер В.Ф.* Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. С. 66.
[227] *Липков С.* Испытание пряником // Художник и власть. М., 1992. С. 239–240.
[228] *Кормер В.Ф.* Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. С. 71.
[229] Там же.
[230] *Синявский А.Д.* Указ. соч. С. 2.
[231] Там же.
[232] *Любимов Ю.* К стаду примыкать не намерен // Моск. новости. 1997. 14–21 сент., № 37.
[233] *Боссарт А.* Возможность без усилий потреблять жизнь... // Новая газета. 1997. 27 окт. – 2 нояб.
[234] В двух шагах от управления разумом // Моск. новости. 1994. 20–27 мар., № 12.
[235] *Нехорошева Ю.* У слова есть вкус, цвет и даже запах // Новая газета. 1997. 7–13 июля, № 27.
[236] *Кушнирович М.* Указ. соч. С. 59.
[237] *Хорошкевич А.* Казнил и жаловал... // Моск. новости. 1997. 26 янв. – 2 февр., № 3.

Б.Ф. Егоров

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА

"Интеллигент" по сравнению с "интеллектуалом" – более глубокое и более узкое понятие. Считаю, что главных отличительных признаков интеллигенции два: превосходство духовных начал и интересов над материальными и превосходство альтруизма над эгоизмом. Важно подчеркнуть, что речь идет о психологическом облике, а не о социальном положении и образовательном цензе. Малограмотная крестьянка, для которой очень важны церковное пение и красота природы, имеет большее право на интеллигентность, чем иной профессор. Чрезмерно занятые собой Чарли Чаплин или граф Алексей Толстой (советский писатель) лишь частично могут быть названы интеллигентами.

Все другие интеллигентские черты (терпимость, умение слушать собеседника, творческие потенции, самоответственность, самоограничение и т.д.) вытекают из двух главных критериев.

А противоположную категорию людей, т.е. с приоритетами материальности и эгоизма, можно назвать мещанством – опять же в психологическом, а не в социальном смысле. Здесь намечены крайние антиномии, реально имеется очень много промежуточных и смешанных типов. Для жизни общества нужны обе группы людей; например, сельское хозяйство не может благополучно развиваться без зажи-

© Б.Ф. Егоров, 2000

точных крестьян ("кулаков"), скажем целиком подпадающих в большинстве случаев под мещанские критерии.

Есть весомые человеческие черты, которые не принадлежат отдельно интеллигенту или мещанину, например желание и умение командовать или желание и умение выполнять команды (не путать командирство с лидерством: не всякий командир – лидер и не всякий лидер – командир; лидер – добровольно выдвигаемый коллективом человек, который без всяких приказов может влиять на других авторитетом, советами и т.д.).

Антипод командирства – человек, ненавидящий жанр приказаний, неважно – себе от других или другим от себя. Конечно, таких ненавистников больше среди интеллигентов, но есть такие и в мещанстве. И наоборот, командирство – не обязательно удел мещан: например, встречаются иногда интеллигентные офицеры и штатские руководители, которые никак не могут обойтись без приказаний. Вообще-то говоря, мир управленцев, финансистов, военных настолько тесно связан с внешними по отношению к человеку объективными законами бытия, что он оставляет мало места для личного сущностного и нравственного выбора, а именно на последнем строятся интеллигентность и мещанство. Однако мещанство нуждается в меньшем выборе, поэтому управленцы, финансисты, военные ему ближе. А если деятельность представителей последних категорий наполнена творчеством, то они, конечно, ближе к интеллигентам.

Жизнь интеллигента нового времени сложна и беспокойна, обилие учитываемых факторов затрудняет творчество и выбор. Но иное неинтересно, да и невозможно. Интеллигент воспринимает и создает сложную культуру. Мещанин, наоборот, предпочитает упрощение и удобство. А так как XX в. показал чрезвычайно интенсивное развитие мещанства во всем мире (в России процесс еще был ускорен грандиозными покосами – уничтожением интеллигенции), то культура все более и более становится продуктом мещанства. Она упрощается и облегчается.

Уже с самого детства это заметно. Ребенок стал получать все больше и больше "готовой" продукции: почти нет сейчас в быту игрушек-самоделок; прежние "конструкторы" и другие наборы, требующие творческого труда, начинают вытесняться электронными игрушками, где надо только кнопки нажимать. Исчезают коллективные игры на свежем воздухе, их заменили индивидуальные компьютерные игры, не требующие физической подготовки и напряжения. Стали исчезать музыкальные инструменты и дилетантское пение; женщина во время домашней работы не будет мурлыкать песенки – себе и детям, она скорее всего включит магнитофон или телевизор. Читают ныне очень мало, главным образом развлекательную литературу, да и то она все более вытесняется телевизором. А чтобы школьник или студент не тратил усилия на чтение классиков, теперь к его услугам печатные шпаргалки, краткое содержание сюжетов всех программных произведений.

Процесс "облегчения" начинался в XIX в. Романы Ф. Булгарина были более популярны, чем пушкинские. Но наши великие писатели, от Пушкина до Чехова, как правило, создавали не только глубокие образы, но и живое, занимательное повествование, поэтому Толстой и Достоевский были интересны и широким мещанским массам (конечно, понимались они весьма упрощенно), а, скажем, не очень занимательный Щедрин оставался писателем лишь для интеллигенции. XX в. многократно усилил эту тенденцию: популярно лишь занимательное и облегченное. Сальвадор Дали несравненно популярнее Пикассо, Чарли Чаплин – выдающихся французских режиссеров и т.д.

Цензурная свобода в России последних лет сильно удобрила занимательность и облегченность "чернухой" и "порнухой", хотя, кажется, народ уже начинает пресыщаться такими добавками, тем более что реальная жизнь и так обильно предоставляет человеку низменные и криминальные сюжеты и темы, их хватает и без искусственных добавок (недавний анекдот: наемный убийца приходит в туристскую фирму и просит организовать ему поездку, которая отвлекла бы его от повседневных забот; фирмачи предлагают ему сафари по Африке: на джипе с ружьем стрелять диких животных и т.д.; следует ярость посетителя...).

Русская литература, да и искусство в целом в XIX в. научились изображать наиболее характерное, наиболее массово-типичное в реальной жизни. А так как в ней, в силу разных причин, преобладали негативные явления, то литература и искусство были насыщены темными пятнами: отрицательное преобладало и в характере персонажей, и в окружающей их обстановке. Правда, великие писатели, опять же от Пушкина до Чехова, стремились найти положительные черты в людях и отразить их в своих произведениях, но реалистический характер человека в искусстве XIX в. настолько непрост, что позитивные черты его сложно дробились и перемешивались с другими чертами и не могли быть "образцами" для широкого читателя. Образцы, наверное, всегда нужны людям, но мещанство при этом тяготело к простым, целостным, монолитным кумирам. И невозможно представить, чтобы пушкинская Татьяна Ларина, толстовский Пьер Безухов, князь Мышкин в "Идиоте" Достоевского нашли подражателей в жизни.

Только цельные и мужественные характеры вроде тургеневского Базарова или героев романа Чернышевского "Что делать?" оказывали значительное воспитательное воздействие, особенно на романтическую молодежь. Здесь полная аналогия с западными литературами: увлекали герои Гюго и Дюма, а не Бальзака и Флобера.

XX в. внес в жизнь столько грязи и крови, столько отвратительно безнравственных черт и ситуаций, что сам воздух как бы насыщен негативностью. Искусственные, примитивные положительные герои советского "социалистического реализма" почти не влияли на умы и души читателей, даже мещанских, и не могли противостоять могучим негативным героям (клин клином вышибают: талантливые писатели для такого противостояния вводили могучих же отрицательных персонажей, способных наказывать зло – Ильф и Петров создали образ заведомо безнравственного, но умного и находчивого проходимца Остапа Бендера, а М. Булгаков – даже дьявольские образы; Бендер и Воланд, каждый по-своему, получили от авторов свободу выбора и действий в отнюдь не свободной советской действительности; Булгакову в сталинское время ни при каких обстоятельствах не снилась бы публикация романа, Ильфу и Петрову удалось с трудом напечатать дилогию романов, но дорогой ценой, за счет довольно безнравственной сатиры – биение лежачего! – на дворянство и духовенство.

Лишь войны, в которых реально проявлялись мужество, находчивость, свобода выбора, порождали жизненно более реальных и правдивых героев. Их художественные образы уже могли относительно серьезно воздействовать на читателей. Но для массового воздействия нужны были романтическое упрощение и монолитная положительность, как у героев Чернышевского (радикальная молодежь воспринимала тургеневского Базарова с таким упрощением).

Сейчас, после всех анекдотов о Василии Ивановиче и Петьке, трудно представить себе, какое грандиозное воздействие на советскую молодежь 1930-х годов ока-

зывал фильм братьев Васильевых "Чапаев". Даже слабый талантом Н. Островский с помощью московских литературных редакторов сочинил героический образ Павла Корчагина (роман "Как закалялась сталь"), сыгравший свою воспитательную роль в предвоенное и военное время. А к концу Отечественной войны 1941–1945 гг. стал популярен куда более талантливо изображенный солдат советской армии Василий Теркин (герой поэмы А. Твардовского).

Художественное мастерство Васильевых и Твардовского не оставляло равнодушной и интеллигентную молодежь, зараженную тогда патриотическими настроениями (защита советской родины от врагов). А облегченное мещанское сознание желает не просто положительных персонажей, но еще и сказочную среду, где герои, пройдя сквозь жуткие коллизии, испытания, потери, заканчивают сюжет благополучным концом, "хэппи-эндом" (Е.Л. Шварц это хорошо понимал и в своих сказочных пьесах тонко совместил серьезный "интеллигентский" сюжет с чуть заметной пародией на банальную сказку; впрочем, драматург признавался, что ему в самом деле нравились сказочные благополучные концы).

Без понимания "сказочной" тяги мещанской массы невозможно объяснить небывалый успех, какой сейчас имеют разные "Санта Барбары" и иные многомесячные продолжающиеся зарубежные телесериалы. Впрочем, мы тоже не отстали, создав даже более психологически тонкий советский телесериал Т. Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", где выведен наш шпион-разведчик, победно действующий среди властителей фашистского рейха, знаменитый Штирлиц, талантливый образ, один из самых популярных художественных персонажей, тоже ставший объектом "ласковых" к нему анекдотов. Интеллигент принимает, с соответствующими коррективами, талантливую сказку, но ему этого мало, он имеет другие, не сказочные художественные приоритеты.

Массовые мещанские предпочтения, затопившие культуру, вызвали у многих ученых и публицистов пессимистические представления вообще о конце интеллигентской эпохи, о закате и гибели русской интеллигенции. Дескать, питательная почва, растившая интеллигенцию, – русская культура XIX в., а все пертурбации нашего столетия последовательно уничтожали и эту почву, и интеллигенцию (увы, у истоков теории о ее закате стоял наш поэтический гений: Александр Блок воспринял революционные взрывы 1917 г. как "музыкальную" стихию, сметающую с исторического поприща и интеллигентов, и мещан и создающую человека-артиста; см. статьи А. Блока 1918–1919 гг. "Интеллигенция и революция", "Искусство и революция", "Крушение гуманизма"; горько, трагично было последующее разочарование Блока в "музыкальности" большевиков).

Появились также теории, "урезающие" и дореволюционные интеллигентские слои: якобы понятие интеллигентности надо предоставить западникам, перенести его на их характеры и менталитеты, пусть интеллигентами называются Белинский, Герцен, Грановский, далекие от народа, от "русскости", от православной церкви, т.е. люди, ведшие Россию к хаосу и революциям, а религиозные мыслители и деятели, верующие христиане, идеологи славянофильства – никакие не интеллигенты, они решительные противники интеллигентов-западников и т.д. Наиболее откровенно и прозрачно такую точку зрения высказал в своем докладе "Заветы А.С. Хомякова" один из выступавших на Вторых Хомяковских чтениях в Туле 13 мая 1996 г. Но подобные взгляды попадаются и на страницах печатных органов. В таких рассуждениях проявляется абсолютная методологическая беспомощность и мешанина представлений.

Во-первых, далеко не все западники призывали к революции, среди них было очень много либералов (Грановский, Боткин, Анненков и т.д.), но даже радикалы вроде Белинского и Герцена, обожженные крайностями и последствиями западноевропейских переворотов, часто сближались с либералами в отрицательном отношении к революции. Вообще западник эпохи Грановского и Герцена скорее связан с понятиями либерализма и терпимости к "чужому", чем с разными радикальными идеями.

Другое дело – революционная интеллигенция второй половины XIX – начала XX в. Эти люди в самом деле непоколебимо верили в необходимость насильственного переворота и уничтожения всех структур самодержавного строя. Они, конечно, по всем главным параметрам были интеллигентами, но трагически заблуждались в оправдании насилия: ведь опыт всемирной истории показывает, что бескорыстные и самоотверженные революционеры в случае своей победы над прогнившим общественно-политическим строем вынуждены создавать, ради подавления реставрационных попыток, достаточно деспотический режим, и тем самым они невольно готовят свою собственную гибель, ибо безнравственные тираны и циники, всегда примазывавшиеся к побеждающим и уже победившим революционерам первого поколения, в условиях деспотического бесправия нагло и ловко вытесняют интеллигентов и овладевают властью. История, однако, никогда никого не учит.

Во-вторых, нелепо отлучать от интеллигенции религиозных мыслителей и вождей славянофильства. Это можно проповедовать, лишь питая глубокую ненависть к интеллигенции; при советской власти "мещанистые" идеологи, пользуясь партийной властью, доказывали классовое первенство рабочих и крестьян, обозначая интеллигенцию как полусомнительную прослойку второго сорта; а теперь подобные идеологи, проповедуя национализм и издеваясь над "чужими" западниками, вешают им, как позорную медаль, дают как уничижительное прозвище имя интеллигентов. Характерно, что такими идеологами, казалось бы противоположных направлений, часто оказываются одни и те же люди: идеология и там, и там шкурная, важно было пристроиться к главенствующему течению и самим достичь командных высот. При большевиках важно было прославлять революционных рабочих, при нынешней власти – антиреволюционное православие, а интеллигенцию можно ненавидеть при обоих режимах.

Быстрая перекраска и смена вех на противоположные присуща многим отечественным "руководящим" деятелям благодаря быстрым сменам режимов. На моей памяти есть ярчайший пример такого рода. Мое предвоенное детство (30-е годы) прошло в городе Старом Осколе. Был у нас активнейший вожак, секретарь школьной комсомольской организации, первый докладчик на всех собраниях и т.д. Но когда в 1942 г. в город пришли немцы и какое-то время при них функционировала мужская гимназия, то наш волевой большевик немедленно стал антисоветчиком; на первой же "экскурсии", проведенной в церкви священником, преподавателем Закона Божия, бывший атеист целовал иконы, засыпал батюшку вопросами, не хотел уходить из храма... После освобождения города Советской армией этот тип куда-то исчез, но я бы не удивился, увидев его опять комсомольским или партийным руководителем.

А известные православные деятели и вожди славянофильства, конечно, были интеллигентами. Нет нужды говорить об их духовной глубине, пренебрежении материальными благами, бескорыстном служении людям – это явления очевидные, лежащие на поверхности. Остановлюсь, однако, на якобы второстепенном призна-

ке – терпимости к другому и к чужому, он очень показателен для определения интеллигентности людей верующих. Ведь мы знаем жестокую нетерпимость, на протяжении многих столетий, католической церкви – история инквизиции тяжелым клеймом лежит на совести католиков. Да и православная церковь осуществляла немало насильственных акций по отношению к инаковерующим и инакомыслящим именем Христа (вспомним угрозы протопопа Аввакума по адресу никонианцев: "Дайте только срок, собаки, не уйдете от меня, надеюсь на Христа; яко будете у меня в руках – выдавлю я из вас сок...").

В этом смысле вся история русской православной церкви XIX – начала XX в. проходила под знаком борьбы ее выдающихся деятелей за терпимость и внимание к другому и чужому, борьбы с чиновничьим Синодом и со многими консервативными церковными иерархами. Приведу несколько примеров.

Во время Восточной (Крымской) войны 1853–1856 гг. распространились слухи, что русские старообрядцы, бежавшие от притеснений царского правительства и официальной церкви за Дунай и поселившиеся в землях, принадлежащих тогда Османской империи и частично занятых во время военных действий русской армией, якобы предательски помогают турецким войскам. Николай I, в течение всего своего царствования проводивший репрессивную политику по отношению к староверам, потребовал суровых кар. Профессору Московской духовной академии Н.П. Гилярову-Платонову, специалисту по ересям и расколам, поручили составить записку о современном состоянии старообрядчества. Но ученый вместо ожидавшихся разоблачений представил труд с подробными историческими экскурсами и в выводах предлагал не ужесточение, а, наоборот, смягчение мер. Гуманное отношение Гилярова-Платонова к гонимым стоило ему профессорской кафедры: по настоянию митрополита Московского Филарета он был уволен из академии.

Другой гуманист в стенах Московской духовной академии, А.М. Иванцов-Платонов, не понравился Филарету еще в самом начале своей ученой карьеры, на защите магистерской диссертации "О православии"; молодой специалист не был оставлен в Московской епархии; его, однако, с удовольствием пригрела Петербургская духовная академия. В многочисленных научных и публицистических статьях 1860–1870-х годов Иванцов-Платонов ратовал за внимание к современной науке, к общественным запросам. Одна из его центральных идей – призыв изучать достижения западных христианских ученых, католиков и протестантов. В статье "О преподавании богословских наук в русских университетах" (1862) он предлагает посылать молодых русских богословов на стажировку в западные христианские научные центры – и вообще постоянно проповедует необходимость сближения всех христианских церквей.

А терпимость еще одного выдающегося богослова XIX в., архимандрита Феодора (Бухарева) вообще не имеет никаких аналогов. Легендарна, анекдотична его бытовая неприхотливость, тем более легендарна его терпимость к "чужим" мнениям, что особенно наглядно проявлялось во время службы в Петербургской духовной цензуре (1858–1860). Радикальный Н.А. Добролюбов поражался, как этот духовный цензор пропускает в печать совершенно "нецензурные" публицистические пассажи; с другой стороны, архимандрит Феодор благородно разрешал дикие нападки на самого себя, непрерывно сыпавшиеся на него со страниц "Домашней беседы", издававшейся полусумасшедшим консервативным фанатиком В.И. Аскоченским. Конечно, с точки зрения здравого смысла не следовало потакать хамским и разбойным наскокам мракобеса на честнейшего и бескорыстней-

шего мыслителя, но архимандрит Феодор был цельной натурой, и его альтруизм не знал пределов.

Много можно говорить и о толерантности вождей славянофильства, хотя там не все было просто, иногда они грешили идеологическим фанатизмом. Но на бытовом уровне терпимость проявлялась в самых различных сферах, иногда даже вопреки обычаям и целесообразности. Приведу такой колоритный пример из офицерской жизни А.С. Хомякова. Во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. ему пришлось участвовать в конных сражениях, и он как христианин не мог убивать убегающего противника. Да и в областях идеологии можно приводить примеры хомяковской терпимости. Взять хотя бы его твердое убеждение, что каждый народ имеет право на свободу и на выбор своего правления, что каждый народ должен иметь право говорить на своем родном языке (речь шла о церковных проповедях на украинском языке – тогда ведь украинский язык официально был под запретом).

Нет, нельзя отлучать наших духовных светочей от интеллигенции. И нелепо плакать о ее гибели (иногда, правда, это не плач, а чуть ли не радость: уходит в небытие ненавистное сословие!). Наверное, всякого рода могильщики не знают о настоящем возрождении научного книгоиздательства, не читают современную научную литературу и относительно массовую художественную продукцию с солидным научным аппаратом (серии "Литературные памятники", "Библиотека поэта" и т.п.), а ведь в каждом номере газеты "Книжное обозрение" печатается изрядный список "Интеллектуальные бестселлеры". Явно не бывают эти плакальщики и в нынешних гуманитарных вузах и на факультетах. Достаточно прочитать лекцию, пообщаться со студентами и аспирантами на конференциях, чтобы увидеть и услышать: духовность, творчество, бескорыстие отнюдь не пропали.

Не надо, однако, обольщаться и впадать в гигантоманию или утопию. Мировой опыт показывает, что интеллигенция – не массовое явление. Наверное, людей нетворческих, бездуховных, корыстных – больше. Запад это показал давно, Восток к этому подходит, Россия – не исключение. Интеллигенция – островок, пусть и большой, в мещанском море, и надо думать не о завоевании всего мира, прессы и т.д., а об устраивании своего острова. Надо добывать своим творчеством средства к существованию (альтруизм не означает безденежья и бедности!), развивать настоящую культуру и в меру сил и возможностей влиять на политику и экономику родной страны и зарубежья.

Мещанское море, ревнивое и завистливое, знает или по крайней мере чувствует значительность этого острова, постоянно косится на него, постоянно заимствует открытия в науке и искусстве. Поэтому следует терпимо приучать его к диалогу и словом и делом показывать, что духовность, творчество, терпимость, доброта, честность – не только чрезвычайно "симпатичные", но еще и полезные людям качества. Известный генетик В.П. Эфроимсон сначала в статье "Родословная альтруизма" (Новый мир. 1971. № 10), а затем более подробно в книге "Генетика этики и эстетики" (СПб., 1995) рассмотрел историю человечества как историю выживания и большей жизненной стойкости тех племен и народов, где была забота о детях и стариках (старики как носители памяти, знаний), где была упорядоченность браков, – иными словами, тех человеческих коллективов, где были высоки этические нормы.

Если к нравственным категориям прибавить еще духовные и умственные, то окажется, что интеллигентность не только приятна, но и полезна миру. А то, что ум, творчество, духовность не менее полезны, чем доброта и честность, ясно без доказательств.

Т.Б. Романовская

ОЗАРЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ: РУССКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ КАК ВИЗИОНЕР И КАК ПРОФЕССИОНАЛ*

Предлагается рассматривать как одну из характерных особенностей русской интеллигенции следующую специфику интеллигентского дискурса, а именно отсутствие специального интереса к проблемам обоснования делаемых утверждений и высказываний. Именно по этой безосновности высказываний и можно узнать среднего русского интеллигента как такового, когда чистота помыслов и личное бескорыстие как бы постоянно неявно гарантируют и истинность содержания декларируемого, да так, что требование каких бы то ни было дополнительных подтверждений истинности сказанного могло уже трактоваться как сомнение в личности утверждающего.

Если перейти из области межличностных коммуникаций, например, в область права, то легко заметить, что выделение этой специфики способа высказывания и, как можно предположить, мышления вполне соотносится, например, с отмеченным Б.А. Кистяковским[1] пренебрежением интеллигента государственными гарантиями в пользу свободного договора, которое демонстрировали и славянофилы (К. Аксаков), и западники (А. Герцен), как соотносится оно с общим пренебрежением интеллигенции к правопорядку как чему-то формальному и уже в силу этого второстепенному.

При этом никак нельзя рассматривать такую особенность умствования русской интеллигенции только как недостаток. Отсутствие акцента на обоснованиях означало снятие ограничений на фантазию, придавало большую эвристическую ценность такому способу рассуждений. Можно сравнить отношение к обоснованиям русской интеллигенции и отношение к ним западных интеллектуалов с отношением к обоснованиям в математике XVIII в. и первой половины XIX в. XVIII в. был веком необычайно плодотворных открытий и результатов в математической науке, пусть зачастую и без их правильных обоснований. В то время как первая половина XIX в. результатами была беднее, зато строгость их обоснований уже близка к современной.

Объяснение подобному положению вещей, очевидно, нужно искать в исторических особенностях возникновения и формирования общности, определенной как русская интеллигенция, но уже сейчас очевидно, что относительные трудности развития русской науки или русской философии, например по сравнению с русской литературой, явно связаны с этой особенностью интеллигентского дискурса и мышления.

Если отказаться от определения интеллигенции через профессиональную принадлежность и не делать акцента на творческом характере ее деятельности, поскольку и в том и в другом случае мы получим множество людей, не укладываю-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 96-03-04241.

© Т.Б. Романовская, 2000

щихся в смысл понятия и перекрывающих его, то, наверное, лучше всего сослаться на дефиницию П. Сорокина, тем более что она отчасти отвечает и на предыдущий вопрос: "Русская интеллигенция как особая культурная категория есть порождение взаимодействия западного социализма с особенными условиями нашего культурного, экономического и социального развития"[2]. Приняв в качестве определения интеллигенции понятие культурной категории и наделив русскую интеллигенцию предложенной выше отличительной чертой, заметим, что с этой ее особенностью вполне сочетается характеризующая именно русскую интеллигенцию и повсеместно отличающая ее от западных интеллектуалов ее постоянная интеллектуальная если не вовлеченность в мировые проблемы, т.е. проблемы, соотносящиеся только с миром как таковым и более того – с миром как таковым в масштабах не менее как вечности, то, уж во всяком случае, постоянное обсуждение этих проблем. Эта озабоченность всеобщим зачастую – и можно даже сказать как правило – возникала за счет пренебрежения и игнорирования частного, а отсюда возникали коллизии и конфликты, позволяющие пролить некоторый дополнительный свет на судьбы как самой интеллигенции, так и ее исторической родины – России.

Такое выделение интересов русской интеллигенции может показаться противоречащим ее другой и не менее существенной ипостаси – интересу к русской общественной жизни, беспокойству о страданиях народных. Она, как может показаться, противоречит очевидной утилитарности большей части русской интеллигенции в подходе к явлениям духовной жизни, оценке, например, научных достижений и ценности науки только с точки зрения ее практической ценности.

Однако противоречие это только кажущееся, если посмотреть на самое проблематику с точки зрения требований доказательности и обоснованности делаемых утверждений, а именно: и тот и другой способы рассуждения к доказательности, к построению обоснованных утверждений никаких требований не предъявляют.

Поясним сказанное выше: обращение только к глобальным, "вечным" вопросам в рамках не формализуемого и никак профессионально не обозначенного дискурса по самой своей природе предполагает свободный полет мысли, не ограниченный никакими частными понятиями, никакими специфическими требованиями. Склонность к умствованию как таковая, пристрастие к безосновным спекуляциям, вся эта общая озабоченность судьбами человечества, объяснялись зачастую чисто психологическими причинами, как, например, некоторым смутным беспокойством по поводу случайности своего существования, усугубляемым типичной для интеллигента вечной оппозицией власти в системе, как правило, даже не антирелигиозного, а просто безрелигиозного мышления. Здесь можно видеть результаты запоздалой ассимиляции внутри страны идей Просвещения, но анализ того, почему сложилось именно такое отношение к проблемам обоснования, выходит за рамки и возможности данной статьи. Важнее отметить следующее: хотя при обращении к мировым проблемам на профессиональном языке, будь то язык философов, или язык теологов, или язык историков, вопросам обоснования отводилось определенное место, но и внутри профессий отмечалось относительное пренебрежение к этим вопросам по сравнению с аналогичной позицией на Западе.

Два свидетельства из разных эпох показывают разброс мнений по этому вопросу в отношении к одной и той же области знания – философии. В.Г. Белинский декларирует подчеркнутый отказ от какого бы то ни было обоснования, объявляя, что поэт и философ говорят одно и то же. А затем, спустя почти полвека, следует грустная констатация Г. Шпета: "У нас культура слова, а не мысли, когда слово

должно правдиво звучать, лелеять слух, ублажать душу, когда главное – убедить в своей правоте, а не доказать ее"[3].

И именно по этой границе – поиску обоснований высказываемых позиций профессионалами в противовес их декларации, пусть и глубоко эмоциональной, как характерной особенности интеллигентского дискурса, – и предлагается далее вести разделение. При этом проблема доказательности получаемых обоснований не будет нами здесь рассматриваться, поскольку она требует специального логико-семантического анализа, выходящего за рамки обсуждаемой темы, поэтому будем в дальнейшем только констатировать наличие или отсутствие интереса к проблеме обоснования и принципиальной возможности его получения. Заметим, что декларируемая интеллигенцией любовь к народу и озабоченность его судьбой по степени безосновности ближе всего в большинстве случаев именно "всеохватной" и общечеловеческой любви и озабоченности мировыми проблемами. Действительно, среди многообразия определений понятия интеллигенции одно остается неизменным – приверженность, привязанность интеллигенции к определенной идеологии. Но ведь именно через идеологию и проявляется, и выражается подобная любовь, которая становится как бы вдвойне безосновной и как любовь, т.е. эмоция нерационализируемая, и как идеология, т.е. нечто являющееся объектом убеждений, веры, а никак не доказательств и обоснований. Для дополнительного обоснования последнего утверждения сошлемся на замечание современного логика В. Финна, обратившего внимание на то, что различие между идеей и понятием состоит в отсутствии денотата, т.е. обозначаемого, у первой. Очевидно, что подобное разделение не исключает наличия метафизических понятий, поскольку природа возможных денотатов никак не сводится к набору имманентных сущностей. Но только внутри систем понятий и можно строить некие обоснования.

Остается проблема утилитарности подхода русской интеллигенции к явлениям духовной жизни, которая может трактоваться как проблема "технизации" науки, равно и как "технизация" культуры, морали и т.п. Но подобная утилитарность означала, как это, например, явно формулировали Н.Г. Чернышевский и Д. Писарев, и обращение к здравому смыслу вместо "формалистических штучек", что в силу неопределенности понятия "здравый смысл" и означало отсутствие доказательств. Иначе говоря, наука, которая ценится только за свою пользу, – это наука прикладная, статус же фундаментальной науки среди русской интеллигенции был очень низок. Но именно фундаментальная наука и содержала в себе как необходимое условие ее существования эту проблему обоснования.

Утилитарность была связана с безосновностью некими глубинными связями. В приводившемся выше замечании Белинского он скорее выступает как мечтатель, нежели как утилитарист, но Г. Шпет, посвятивший ему этюд "К вопросу о гегельянстве Белинского", где он вполне доброжелательно оценивает Белинского как "проводника философии к читателю через вторые руки" и "как писателя", обращает внимание как раз на практическое, прагматическое использование Гегеля. Проблемы Гегеля, замечает Шпет, – это для Белинского проблемы конкретные: "проблемы государства и народности, личности и морали, эстетики и поэтики. Нечего ждать здесь какой-либо системы или ее подобия в теоретическом развитии соответствующих проблем. Иначе Белинский был бы философом. Это только декларируемые высказывания, худо ли, хорошо ли передающие мысли Гегеля, а затем применительные выводы из этих высказываний"[4]. Литератор Белинский имел как бы другую профессиональную область, где обоснования и были бы свидетельством

его профессии, но в философии он не профессионал, что бы ни утверждали последующие исследователи; следовательно, философских обоснований у него и нет.

Здесь надо отметить возникшую некую амбивалентность в понятии обоснования и его соотношения с профессиональным статусом. Действительно, происходит как бы наложение двух понятий: дискурс, не ограниченный профессиональными рамками, и внутрипрофессиональный дискурс. К чему в интерпретации русской интеллигенции относится отказ от обоснования? Прежде всего это относится, разумеется, к рассуждениям на так называемые общие темы, однако тенденция сохраняется во многом и для дискурса внутри профессии. Этим можно объяснить ламентации Г. Шпета или математика Н.Н. Лузина. В письме к П. Флоренскому он пишет: "У нас в России нет правильной научной жизни, почти нет математики как науки, а не как объекта преподавания, поэтому так много всякой научной самодеятельности"[5].

Самодеятельность – это непрофессионализм, любительщина. И здесь обратим внимание на другой аспект интереса к общему делу. Его оборотная сторона – зачастую средний или низкий профессионализм внутри своего дела. Сошлемся на литературный пример – активную деятельную любовь доктора Астрова к лесам, но ведь она сопровождается по меньшей мере отсутствием любви к своему собственному делу, к своей профессии, к профессиональной основе своей жизни. Она сопровождается вновь безосновностью.

Частный интерес к своей профессии уступает место постоянной заботе об общественных интересах, чем и может объясняться относительное по сравнению с западными коллегами безразличие студенческой молодежи к овладению профессией, о котором писал в "Вехах" А.С. Изгоев[6].

Но здесь безосновность имеет уже другую природу – это отсутствие основания, укорененности в обычной человеческой жизни, презираемой как низменный быт, как бескрылая повседневность, в то время как именно укорененность в обыденной жизни столь свойственна приземленному мещанству – прямой противоположности интеллигенции. Но если отказаться от односторонней привычки смотреть на все лишь с точки зрения интеллигента и посмотреть, скажем, на многочисленную интеллигенцию первых послереволюционных лет глазами этого самого "человека укорененного", но не вымышленного порождения интеллигентской фантазии, а реального персонажа истории, то позиция интеллигенции уже не будет казаться оправданной высшими соображениями. Такую возможность дает опубликованный "Дневник москвича Н.Н. Окунева"[7]. Московский агент пароходства, сын мелкого торговца и внук крестьянина ведет дневник с 1917 по 1924 г. и наряду с событиями своей частной жизни цитирует в нем газетные статьи, указы и речи своих современников. И самый разительный контраст в этой книге – это разрыв между основательной, "плотной" и вполне осмысленной каждодневной жизнью умного, наблюдательного мещанина и фантасмогоричной, призрачной деятельностью захватившей власть над этой жизнью, но от этого ничуть не ставшей более реальной и основательной интеллигенции от Милюкова до Ленина.

Как уже было отмечено ранее, относительное пренебрежение формальными проблемами обоснования как бы освобождало место и для смелых научных спекуляций, многие из которых не просто опережали конкретные научные открытия своего времени, а обозначали возникновение принципиально нового взгляда на науку как таковую в ее соотношении с миром. Поэтому утверждения об утилитарности подхода русской интеллигенции к науке одновременно и соответствуют дей-

ствительности, и не описывают его полностью. Они оставляют вне поля зрения такую особенность русской науки, как построение глобальных теорий, многие положения которых продолжают еще обосновываться десятилетия спустя после их первой формулировки. К таковым относится прежде всего идея ноосферы В.И. Вернадского, одно из конкретных воплощений которой – возникновение современных экологических теорий. Под влиянием идей Н. Федорова начинает обдумывать идею межпланетных путешествий К.Э. Циолковский, и от увлечения поэзией, философией и психологией приходит к созданию первой за двадцать три века неаристотелевой логики Н.А. Васильев, земляк создателя "воображаемой геометрии", т.е. первой неэвклидовой геометрии Н.И. Лобачевского. При этом и та и другая работы создали не только новое направление исследований, но и новые способы видения и мышления.

Наконец, подобная свобода в обращении с обоснованиями порождает не до конца истолкованные сегодня числовые соотношения В. Хлебникова, геометрические откровения П.Флоренского или апокалиптические видения А. Белого.

Слабые стороны русской интеллигенции при ближайшем рассмотрении не очень отличаются от ее сильных сторон.

И последнее замечание. Безосновность как специфику интеллигентского мышления и связанную с ней свободу спекуляций важно отделить в историко-научном и философском плане от характерной для русской науки энциклопедичности и профессиональной универсальности большинства крупных ее представителей, которые внутри науки действуют только как профессионалы. Эта энциклопедичность является другим побочным результатом универсализма мышления русского интеллигента в его стремлении охватить мыслью как можно больше.

У русских ученых-профессионалов это стремление приводило к крупным научным достижениям в отдаленных от их профессий областях.

Один из самых выдающихся химиков, Д.И. Менделеев, занимался не только практической химией, но и вполне профессионально сельским хозяйством и селекцией, был известен как демограф, а также своими экономическими и инженерными работами. Уже упоминавшийся В.И. Вернадский был историком, геологом, биохимиком и занимался политической деятельностью.

Такая специфика русской науки была уникальна для своего времени, и это еще раз говорит о том, что обоснование подразумевает ограничение, что связывает такой существенный компонент науки, как воображение, тогда как забота о всеобщем благе является мощным стимулом к его полету. Но не связанное жесткими рамками профессионализма воображение приводило к созданию химер и утопий, которые легко и безболезненно доказывали свою нежизнеспособность, к сожалению, только в границах науки.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Кистяковский Б.А.* Вехи: Из глубин. М., 1991. С. 122–149.
[2] Цит. по: *Корупаев А.Б.* Очерки теории интеллигенции. М., 1995. Ч. 1.
[3] *Шпет Г.* К вопросу о гегельянстве Белинского // Вопр. философии. 1991. № 7. С. 144.
[4] Там же.
[5] Историко-математические исследования. М.: Наука, 1989. С. 14.
[6] *Изгоев А.С.* Об интеллигентной молодежи: (Заметки о ее быте и настроениях) // Вехи: Из глубин. С. 97–121.
[7] *Окунев Н.Н.* Дневник москвича. Париж: IMCA-press, 1990.

Т.К. Шах-Азизова

НЕМНОГО О ГАМЛЕТИЗМЕ

Гамлетизм – одно из свойств русской интеллигенции, присущее, разумеется, не каждому интеллигенту, а часто – и не интеллигенту вовсе, но – коренное. Свойство это, видимо, заложено в генах и нации, и интеллигенции как таковой. Перевес мысли над действием, "внутреннего" над "внешним", рефлексия – эти черты Принца Датского суть и ее, интеллигенции, родовые черты.

Особо важна рефлексия – психологический тормоз, создающий дистанцию между словом и делом. Механизм ее был вскрыт Гамлетом с предельной самокритичностью:

Так трусами нас делает раздумье,
И так решимости природный цвет
Хиреет под налетом мысли бледным,
И начинанья, взнесшиеся мощно,
Сворачивая в сторону свой ход,
Теряют имя действия[1].

Рефлексия обычно воспринимается с отрицательным знаком. Сомнение, нерешительность, неготовность к поступку, раздвоенность кажутся симптомом ущербности. Так оно и бывает, когда ситуация требует действия, а мы медлим и в результате опаздываем, что-то теряем или даже губим. Иначе говоря, когда промедление смерти подобно.

Бывает, однако, и другое: когда промедление – благо, а сгоряча можно лишь дров наломать. Шекспир не зря оттенил нерешительность Гамлета порывами нерассуждающего Лаэрта, вовсе не склонного – неспособного даже – сомневаться и медлить. Тем самым он не дал нам возможности однозначных оценок, скорого суда, безоглядных решений. Все непросто, все требует конкретности. Гамлет мог сколько угодно иронизировать над собой, а мы – над его наследниками в мировой истории и культуре. В иные эпохи приходится признать правоту рефлексии, и право на нее, и ее самоценность.

Последнее умел оценить Достоевский, при всей его критической настроенности по отношению к тому, что мы сейчас называем российским менталитетом. Критика – критикой, а масштаб явления остается. Иначе Достоевский не назвал бы, например, Герцена "великолепным рефлектёром", дав рефлексии такую характеристику: "Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нем (в Герцене. – *Т.Ш.*) развита в высшей степени"[2].

Достоевский был постоянно внимателен к гамлетизму, не всегда называя его, но отмечая те или иные его признаки, касаясь писателей, и героев, и их жизненных прототипов, "современных Гамлетов и гамлетиков" – и отдавая предпочтение первым. В их ряду – и Герцен, и Аполлон Григорьев – "настоящий Гамлет", "один из русских Гамлетов нашего времени", менее других наделенный раздвоенностью и рефлексией; и "лишние люди", и странные люди российской фантастики. Исследуя

© Т.К. Шах-Азизова, 2000

онегинско-печоринский тип, Достоевский заметил: "...все та же жажда истины и деятельности и все то же вечное роковое *нечего делать!*". Говоря о тургеневских "Призраках", увидел в их героях "реальное" – "*тоску развитого и сознающего существа, живущего в наше время...*"[3].

Тоска, рефлексия, "нечего делать" – портрет гамлетизирующего россиянина складывался мозаично, и исторически, и в каждый данный момент. При этом некие типологические черты его можно проследить по всей русской литературе, как, например, эту: "Горе от ума", "Горе уму". От Грибоедова – к Чехову, с его формулой-фразой в записной книжке: "Чем культурнее, тем несчастнее". И как аккомпанемент к этому более подробно и несколько о другом: "[Боже мой, как все эти люди страдают от умствования, как они встревожены покоем и наслаждением, которое дает им жизнь...]"[4]. Взгляд изнутри, понимающий и сочувственный, хотя и не без иронии; взгляд на Гамлетов, пусть в прозаическом их варианте.

Взгляд на "гамлетиков" будет другим – насмешливым, отчужденным, как на дурную копию высокого образца. "Гамлетики" роились вокруг него, облепляли и опошляли, и часть предназначенной им досады переносилась порой на самого Датского Принца. Все здесь было карикатурно и мелко – и повод для рефлексии, и уровень ее, и сама личность. Довольно долго материал предоставляла, например, гоголевская "Женитьба". Еще Ап. Григорьев подметил у Подколесина черты гамлетизма: "...колоссальный лик Гамлета сводится в сферы обыкновенной, повседневной жизни, ибо... безволие Подколесина родственно безволию Гамлета и прыжок его в окно – такой же акт отчаяния, бессилия, как убийство короля мечтательным датским принцем"[5].

Исходя из этой посылки, можно было, однако, трактовать "Женитьбу" как простейший водевиль, фарс и как сюжет экзистенциального плана. Обычно предпочитали первое, но странное дело – сценическая история пьесы была небогатой. Подколесин как одномерная фарсовая фигура оказывался неинтересен; "совершенно невероятное событие" выглядело пустяком.

Так было до той поры, пока Анатолий Эфрос в театре на Малой Бронной в своем знаменитом спектакле середины 70-х не подошел к пьесе иначе: «Не надо "оводевиливать" "Женитьбу", надо ее "ОШИНЕЛИТЬ"!»[6]. Он нашел у смешных героев внутренний мир, дал каждому право на мечту и на драму, наделил Подколесина нешуточным гамлетизмом – вернее, извлек то, что таилось невостребованным. И "Женитьба", оставаясь комедией, обрела объем, сложность, а Подколесин у Николая Волкова соотносился и с давним своим шекспировским прототипом, и с каждым из нас в определенные моменты жизни.

Пройдет 20 лет, и этот опыт будет продолжен. В "Женитьбе", поставленной Сергеем Арцибашевым в театре "На Покровке", снова искали в комедии драму, в игре – серьез, а Подколесин у Игоря Костолевского вновь явил пример странного российского гамлетизма...

Этот, по театральной терминологии, "апарт", означающий реплику в сторону (в сторону от партнера, от темы – в публику, в зал), должен лишь обозначить сложность – сложность явлений, опасность резких оценок, "текучесть" самого гамлетизма. Он может существовать со знаком "плюс" или "минус", в свете иронии или драмы; он может вводить в заблуждение видимой простотой или высотой, а также "перетекать" с одного уровня на другой. Потому что гамлетизм есть в равной мере проблема и сам по себе и проблема нашего восприятия, а история отношений к нему полна противоречий и парадоксов.

Таким парадоксом стало отношение к нему Тургенева, в своем литературном творчестве давшего не один вариант вечного типа, разгадавшего его изнутри, в публицистике же однажды, но резко дистанцировавшегося от него. Речь идет о статье 1860 г. "Гамлет и Дон Кихот", где Тургенев представил "две коренные, противоположные особенности человеческой природы"[7], отдав явное предпочтение одной из них.

Гамлету здесь противостоит Дон Кихот, выражающий "веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыблемое, в истину, одним словом, в истину, находящуюся *вне* отдельного человека, не легко ему дающуюся, требующую служения и жертв...". Дон Кихот – альтруист: "Он весь живет ⟨...⟩ для других ⟨...⟩ В нем нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь самопожертвование ⟨...⟩ он верит, верит крепко и без оглядки. ⟨...⟩ Дон Кихот энтузиаст, служитель идеи и потому обвеян ее сиянием"[8]. Это – нескрываемо любимый герой.

Гамлета же "любить ⟨...⟩ почти невозможно", и не только потому, что "он никого сам не любит", но также из-за направленности его ума: "Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверье"[9].

При этом Гамлета не уничижают, масштаб личности сохранен, трагизм судьбы и финала – также, но любви нет. Желая, видимо, сгладить собственную (и столь не свойственную ему) категоричность, Тургенев признает взаимодействие двух типов: "... вся эта жизнь есть не что иное, как вечное примирение и вечная борьба двух непрестанно разъединенных и непрестанно сливающихся начал"[10]. Категоричность имеет свои причины – в полемике; кроме того, чтобы четко определить какое-либо явление, его доводят порой до крайности и противопоставляют другому. Так Тургенев определял границы и особенности гамлетизма и донкихотства, а заодно свое отношение к ним. Но помимо личных и временны́х причин здесь были иные – общие, коренящиеся в каждом из вечных типов, в их назначении и соотношении.

Давно замечено, что "Гамлет" и "Дон Кихот" появились почти одновременно, словно какая-то тайная сила вызвала их к жизни разом. Словно авторы проводили параллельный эксперимент, решая, как поведут себя в условиях переломной эпохи романтик и реалист, импульсивно-действенная натура и носитель критического разума, "рефлектёр". При этом за различиями героев не всегда замечали их связь: и глобальный, внеличный характер стоявших перед каждым проблем (то "вправить сустав" веку, то покарать всемирное зло), и условный характер безумия (по воле то автора, то самого героя), и одиночество, обреченность.

Различия – резкие, острые – побеждали, хотя не настолько, чтобы создавать непременную ситуацию выбора и альтернативы наподобие тургеневской – Достоевский, например, любил и Гамлета, и Дон Кихота. Артист вполне может соединить в себе – в своей творческой личности и судьбе – черты обоих типов. Так, Иннокентий Смоктуновский, первый Гамлет нашего кино, стал там же и современным воплощением донкихотства, сыграв Деточкина в фильме "Берегись автомобиля". Но артист, конечно, может и выбирать, следуя диктату времени, собственным склонностям, условиям жанра.

Дон Кихота мы любим, смеясь; к Гамлету чаще относимся с пиететом и на дистанции. Во многом это связано с тем, что Дон Кихот – герой комедии, Гамлет – драмы. Ведь комизм, пользуясь нынешним неакадемическим термином, "утепляет" образ, создает к нему интимно-личное отношение. "...Над кем посмеялся, тому уже простил, того даже полюбить готов", – заметил Тургенев[11]. Достоевский – о том

же, но конкретнее: "Чем сделать лицо героя симпатичным читателям? Если Дон Кихот и Пиквик, как добродетельные лица, симпатичны читателю и удались, так это тем, что они смешны"[12]. (Сказано в связи с "Идиотом", где образ "положительно прекрасного человека" был согрет за счет комедийных тонов.)

В Гамлете этого нет, он к интимности и к улыбке не располагает. Кажется, и не было таких трактовок; могли принимать или не принимать, приближать или отдалять от себя, но, как правило, концептуально, на проблемной основе. Дон Кихота воспринимают более непосредственно, органично, на уровне "интуиции и чувства", если использовать выражение Станиславского. Его простодушная цельность исключает ту множественность и полярность трактовок, которые связаны с Гамлетом.

Гамлет и гамлетизм амбивалентны. Множественность заложена в них самих. В одной ситуации гамлетизм будет кстати, в другой – обернется диссонансом, неуместностью или даже бедой. На него могут смотреть всерьез или с насмешкой, укрупняя или умаляя в масштабе, словно поворачивая бинокль то одной, то другой стороной. В одну эпоху рефлексия прозвучит трагично и высоко, в другую – уныло и монотонно, а носитель ее из значительной, крупной фигуры превратится в то, что чеховский Фирс называл "недотепой"; Гамлет сократится до "гамлетика". Постоянная смена оптики делает этот образ мерцающим, неуловимым, так же как отношение к нему.

Интеллигенция тоже амбивалентна по природе своей, особенно если сливается с гамлетизмом. И отношение к ней тоже бывает переменчивым и мерцающим как в исторической протяженности, так и на коротком отрезке истории, даже – в практике одного человека. И здесь, после парадокса тургеневского, возникает уже парадокс Чехова.

Чехов, ставший в XX в. синонимом интеллигента, порой разражался против российской интеллигенции такими яростными или саркастическими филиппиками, которым позавидовал бы Горький. Их стоит вспомнить, одну за другой, потому что они давно взяты на вооружение теми, кто интеллигенцию скопом в чем-либо обвиняет – и берет в союзники Чехова.

В конце 1880-х годов Чехов пишет о "слизняках и мокрицах, которых мы называем интеллигентами": "Вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная интеллигенция... которая не патриотична, уныла, бесцветна... которая брюзжит и охотно отрицает всё, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать..."[13].

Казалось бы, сказано по молодости, по случаю, в запале – так этот тон не вяжется с Чеховым. Но через 10 лет, в конце 1890-х, он, уже мудрый и зрелый, напишет хлеще: "Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр"[14].

Будь сказано только это, черта была бы подведена, тема закрыта – так жестки эти афористичные формулировки, не дающие возможности для отступлений и оговорок. Но тему не дал закрыть сам Чехов. В другой ситуации, в связи с работой "врачей и вообще культурных людей" во время холерной эпидемии начала 90-х, было сказано другое, иначе: "Интеллигенция работает шибко, не щадя ни живота, ни денег; я вижу ее каждый день и умиляюсь, и когда при этом вспоминаю, как Житель и Буренин выливали свои желчные кислоты на эту интеллигенцию, мне делается немножко душно"[15].

Но как итог в записной книжке Чехова осталось общее, вне конкретных поводов и злобы дня, суждение: "Сила и спасение народа в его интеллигенции, в той, к[ото]рая честно мыслит, чувствует и умеет работать"[16].

Чехов, "живая диалектика" русской мысли, оставил не только эти противоречивые наброски, вошедшие в мозаически сложный портрет русской интеллигенции. В прозе своей и в пьесах, от первой и до последней, он дал многие варианты интеллигентского гамлетизма[17], варьируя свое отношение к нему в зависимости от того, кто перед ним: Иванов, отмахивающийся от сравнения с Гамлетом, не чувствующий в себе генетических признаков типа, или герой фельетона "В Москве", сам себя и без всяких на то оснований именующий "московским Гамлетом".

Он дал, наконец, и особый вариант героя, соединившего в себе черты Гамлета и Дон Кихота, – попросту чудака. Чудаков в России и в русской литературе всегда хватало, от Чацкого с его вызовом ("Я странен, а не странен кто ж?") – до чеховского доктора Астрова, подытожившего в конце века: "...нормальное состояние человека – это быть чудаком".

Странные люди, живущие по своим особым законам, как правило, непрактичны, не умеют приспосабливаться и притворяться. Советы окружающих Платонову или Иванову быть "как все" – безнадежны. Ярость Лопахина, пытающегося побудить хозяев гибнущего вишневого сада к действию, – тоже. В доме Прозоровых будут философствовать и мечтать, когда фактически рушится их мир, но не перейдут от слов к делу – не дано. Автор смотрит на них и с иронией, и с досадой, но не отчужденно – как на близких, своих, родных. И как знать, может быть, именно эта ирония и рождает тепло; недаром же Чехов настаивал, что пьесы его – комедии...

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Шекспир У.* Гамлет // Полн. собр. соч.: В 8 т. М.: Искусство, 1960. Т. 6. С. 71.
[2] Ф.М. Достоевский об искусстве. М.: Искусство, 1973. С. 188.
[3] Там же. С. 102, 397.
[4] *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. / Сочинения. М.: Наука, 1980. Т. 17. С. 157, 215.
[5] См.: Шекспир и русская культура. М.: Наука, 1965. С. 446.
[6] *Эфрос А.* Репетиция – любовь моя. М.: Искусство, 1975. С. 267.
[7] *Тургенев И.С.* Собр. соч.: В 12 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 11. С. 169.
[8] Там же. С. 170, 171.
[9] Там же. С. 173, 172.
[10] Там же. С. 180.
[11] Там же. С. 173
[12] Ф.М. Достоевский об искусстве. С. 456.
[13] *Чехов А.П.* Указ. соч. / Письма. Т. 3. С. 308–309.
[14] Там же. Т. 8. С. 101.
[15] Там же. Т. 5. С. 104.
[16] Там же / Сочинения. Т. 17. С. 162.
[17] Глубокие наблюдения над "массовым гамлетизмом" чеховских героев высказал Н.Я. Берковский в статье "Чехов: от рассказов и повестей к драматургии" (см.: Литература и театр. М.: Искусство, 1969). На примере раннего творчества Чехова см. о том же: *Шах-Азизова Т.К.* Русский Гамлет: "Иванов" и его время // Чехов и его время. М.: Наука, 1977.

И.Л. Вишневская

"ЛЕВОЕ ЗАПРЕТИТЕЛЬСТВО" И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Особую нравственную категорию – "левое запретительство" – хотелось бы ввести в научный обиход в связи с самим понятием. Приходится констатировать, что стремление к идеологической опеке, к бесконечным распрям в самой художественной среде не есть нечто порожденное Октябрьской революцией, но существовало как бы в самом менталитете русской действительности и до революции, и после нее в течение более 70 лет, и сегодня, когда мы говорим уже о демократическом образе жизни страны.

Запреты цензуры, диктаты государства – все это крайне трагично для жизни искусства и литературы, но хоть как-то понятно: государство требует идеологического подчинения своим вкусам, своим формам правления. Но когда в роли "запретителей", диктаторов, "гонителей" того или иного направления в художестве выступают сами художники, сама творческая интеллигенция, необходимо говорить об особой российской ситуации, в которой творческая интеллигенция во все века не только созидала духовные ценности, но и топтала иные духовные богатства, созданные не по устоявшимся традициям, но по декларированным политическим лозунгам. Собственно, российская культура никогда не была на свободе, всегда была зависима и если когда-либо избегала власти цензуры, то никогда не избегала "запретительского" идеологического вмешательства в художественный процесс самой интеллигенции. Почему же?

Почему критик Белинский мог учить, о чем и как надо писать в России, автора "Ревизора" и "Мертвых душ" – гениального Гоголя? Уводить в тень великого актера России Каратыгина лишь потому что он не был плебеем? Почему политик Ленин имел право "разделять" надвое творчество Толстого, сообщив в знаменитой, надолго остановившей научный прогресс статье "Толстой как зеркало русской революции", что как реалист и критик царизма – Толстой велик, а как философ, проповедующий евангельские истины, не нужен новому читателю? Почему критик Чернышевский мог диктовать великому Островскому, какие пьесы надо выкинуть из его Театра, так как они изменили обличению самодержавия, стали прославлять православие и народность? Почему писатель Горький мог глумиться над гением Достоевским за то, что он призывал к покаянию и милосердию, тогда как отказ от любого утешения и есть якобы норма литературы в богоборческой России?

Почему политические приговоры вместо эстетического разговора планомерно вычеркивали из русской культуры одного за другим прекрасных ее художников, если не сразу брались они за социальное обличительство? С каждым новым социальным общественным строем именно и, я думаю, только в России предаются забвению, остракизму вечные культурные ценности и вместо горделивой собирательной работы постоянно идет работа, что-то отсекающая, что-то запрещающая.

© И.Л. Вишневская, 2000

И самое страшное, что соединяются здесь усилия государства и интеллигенции. Правящая идеология и главенствующее либеральное направление одинаково довлеют над художниками и художеством. И поражает в этих отказах интеллигенции от своей истории, в этих ее преследованиях "инакомыслящего" искусства какая-то фанатическая исступленность – ни тени сожалений, ни проблеска сомнений, чуть ли не садистская радость сквозит в этом "левом", смыкающимся с "правым", запретительстве. Ради мгновенных политических тенденций подчас рушатся вековые традиции. А разве памятники тем, кого отменило данное время, не являются все-таки историей, историей любви и ошибок; не может же остаться совсем гладкой земля, лишенная всех и всяческих примет былых восторгов и нынешних негодований.

Не вчера и не сегодня завязалась эта странная жажда разделения на "чистое" и "нечистое" духовное содержание общества. Примеров здесь бесконечное множество. Остановлюсь на одном, наиболее заметном, бьющем в глаза, – знаменитом "Письме Белинского к Гоголю", не только не вызвавшего осуждения потомков, но, напротив, вошедшего во все хрестоматии, ставшего "критической классикой".

О чем же писал Белинский Гоголю, человек – проповеднику, прорицателю, провидцу, оставившему нам кроме всего прочего еще и эту космически дерзкую мысль: "Гений – богач страшный, перед которым ничто весь мир и все сокровища".

Гоголь первым в русской литературе подошел к совершенно новому истолкованию сатиры не только как к обличению пороков, но как к великой возможности, смеясь, заглянуть в души людей, ужаснувшись, воззвать к состраданию и, плача, умолять о самосовершенствовании.

"Грозное очищение" – так характеризует Гоголь работу, предпринимаемую сатириком. "Душевный город" писателя, раскрытый в поэмах и комедиях, соприкасается с внутренним миром читателей и зрителей, охваченных очистительным огнем искусства. «Лирическая поэзия, – писал Гоголь, – прошла разные этапы, было в ней шиллеровское "очарование", лермонтовское "безочарованье", байроновское "разочарование"».

Гоголевская сатира соединила в себе все эти как бы несоединимые поэтические элементы – страстное разочарование в общественном устройстве породило в нем столь же страстное "очарованье" духовными возможностями человека. Разочарование под руку с очарованием – быть может, именно так можно выразить знаменитую гоголевскую формулу сатиры "смех сквозь слезы". Слезы эти, в судорожном сатирическом смехе, услышали Пушкин, Толстой, Достоевский, знавшие цену слезам Моцарта и Сальери, Каренина и отца Сергия, Мити и Ивана Карамазовых.

Письмо Белинского, упрекавшего Гоголя за отход от социальности, прошло мимо всего необычного, нового, что высказал Гоголь в своей абсолютно новаторской, сложнейшей книге "Выбранные места из переписки с друзьями", продолжающей внутренний лирический подтекст "Ревизора" и "Мертвых душ". Гоголь и Белинский не слышат друг друга, одинаково страстно любя Россию. Но один видит ее в движении к вечности, другой – только в системе нынешних политических задач.

Белинский перечисляет в своем Письме действительно важнейшие проблемы, которые "теперь" – в его время – стоят перед Россией, но далеко не исчерпывают все, что должна высказать великая литература.

Для Белинского было "теперь", для Гоголя не было "теперь", для него существовала вечность. И какое время устоит перед "Мертвыми душами", где осуждены сразу все пороки человечества через божественую мысль – о возможности смехом и слезами воззвать к душам живым, оживить души мертвые, а не до конца убить еще и живые.

Письмо Белинского не только нанесло тяжкую духовную рану Гоголю, оно повлияло и на посмертную репутацию писателя, который якобы был велик лишь в первую половину своей творческой жизни, а под конец, уступив влиянию церкви, ушел в дебри мистики и поповщины. Отныне и навсегда, вплоть до наших дней, в школах и вузах, в учебниках и хрестоматиях Гоголь предстает оскопленным, разъятым на части, возвеличенным и низвергнутым, гением и мракобесом, "критическим реалистом" и "проповедником кнута и невежества".

Однако почему же могло происходить все это, изменяя лишь хронологию, но сохраняя одну и ту же действующую величину: тягу к разделению, к отделению, к отторжению частей из целостного организма культуры. Отчего заглавие одной из ленинских статей – "От какого наследства мы отказываемся?" – сделалось как бы символическим, законообразующим и ретроспективно, и футурологически. Ретроспективно оно вело к русской политической мысли России дооктябрьской, постоянно отказывавшейся от какого-либо культурного наследия. Футурологически оно уходило уже к нашим, "перестроечным" временам, по-прежнему безжалостно отказывающимся от своего наследственного духовного имущества.

Причин здесь, и самых разнообразных, – множество.

Попробую определить лишь некоторые из них, часть из которых имеет не только академическое значение, но до сих пор остается камнем преткновения для нового мышления России конца XX в.

Нескончаемое количество раз повторена мысль о том, что русская литература занимает совершенно особое, ни с чем не сравнимое положение среди других общественных институтов страны. Соображение это, ставшее горделиво-хрестоматийным, состоит в том, что русская литература всегда была больше, чем только литература, единственным пристанищем справедливости, средоточием проклятых "социальных" вопросов, давших и уникальные названия ее произведениям – "Кто виноват?", "Что делать?", "Отцы и дети" и т.д. У Шиллера и Гёте, постоянно повторяют в курсах по литературе, не спрашивают советов, как жить в современной действительности. Но, напротив, всегдашними нашими советчиками остаются якобы Гоголь, Достоевский, Толстой.

Однако при всем кажущемся благородстве подобных суждений здесь, думаю я, необходима самая решительная полемика. Придание литературе гиперболизированной идеологической роли – вовсе не ее достоинство, но беда, вызванная реалиями российской действительности. Искривления общественно-социальные искривляли и художественное творчество. Будущий классовый подход уже угадывался в подходе социологическом.

Русские искусство и литература всегда были как бы "офлажены" социальными требованиями. Всякое отступление от них каралось нещадно. О свободе творчества, кстати сказать, нет даже никаких упоминаний в русской литературе XIX в.

И когда начинает действовать "левое запретительство", т.е. напор либеральных демократических сил, требующих уничтожения тех или иных явлений культуры, необходимо всерьез задуматься. Осуществляя демократические задачи, высту-

пая "слева", оберегая ростки революционности, либеральные круги России применяли те же насильственные методы, что и крыло "правое", не допускали никакого инакомыслия, полагали себя истиной в последней инстанции.

"Правое" и "левое запретительство" постепенно смыкались, хотя и шли под разными знаменами, искали разных результатов.

И кто знает, что было бы легче Гоголю: претерпеть какое-либо цензурное вмешательство в текст "Ревизора" или получить Письмо от Белинского, объявляющего его врагом народной России?

"Левое запретительство", не ведающее ни плюрализма, ни альтернативы, постепено становилось как бы содержанием демократии – на самом-то деле категории широкого и полного свободомыслия, свободотворчества. Это особенно необходимо увидеть, потому что мы столкнемся с подобными явлениями уже и в наши дни развития гласности, бесцензурного существования искусства.

Отступила цензура, сдал официоз, исчезла идеологическая опека. Однако на их место тут же, словно повторяя старые демократические способы борьбы с инакомыслием, активно выступило то же "левое запретительство".

И вновь под угрозой свобода творчества, и вновь враждующие лагеря, и вновь требования "не печатать", "не подавать руки", "исключить из культурного процесса". Опаснейшая тенденция, уже не раз приводившая к обеднению культуры, уже не раз сближавшая искусство с зеркалом, отражающим только эти, нужные сейчас, стороны действительности и никакие другие.

И когда ни посмотришь на русскую землю, хоть бы из самого космоса, всегда увидишь в ней не национальное согласие, но как раз яростное несогласие – несогласие церковное, несогласие пугачевщины, несогласие декабризма, несогласие славянофильства и западничества, несогласие большевизма, несогласие оппозиций, несогласие красного, несогласие белого, несогласие конституций, несогласие демократии, несогласие бизнеса и так до бесконечности.

И что поучительно: русские несогласия постоянно возникают между своими. По обе стороны всех этих баррикад – русские; зерно несогласия попадает все в одну и ту же многострадальную российскую почву.

Вина за многие и многие беды "левого запретительства", за саму политическую ситуацию в России, сложившуюся и к Октябрю, и много позднее, лежит и на русской интеллигенции, ставшей затем искупительной жертвой нового режима.

Поставленная в обстоятельства непрерывной либеральной борьбы, окруженная кошмарами крепостного права, русская интеллигенция, естественно, собиралась под знамена демократического прогресса. Но именно эта же уникальная российская ситуация постепенно привела интеллигенцию к подмене духовных ценностей ценностями политическими, к прямому участию в подготовке и приближению "большевизации" России. Все прекраснодушные мелодекламации – в стиле чеховского Вершинина из "Трех сестер": "Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь, и если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней..." Все эти описания студенческих сходок, например из тургеневского "Рудина", когда летит время, горят головы, звучат пылкие слова об очистительной буре, точно передают либеральные настроения интеллигенции, вечно готовящейся к чему-то и вечно пугающейся этого "чего-то".

Но "додекламировавшись", доспорившись до Октябрьской революции, она, эта интеллигенция, сама ужаснулась содеянному, словно увидела перед собой лик Медузы, ею же самой вызванный из мифологического бытия. Интеллигенция, оказывается, ждала не того. Но чего же? И опять "Кто виноват?", и опять "Что делать?" И каким позднепророческим показалось название одной из пьес Н. Эрдмана – "Самоубийца". Именно самоубийцами выглядели теперь русские интеллигенты, познавшие и гражданские распри, и насильственную эмиграцию, и лабиринты ГУЛАГа. И только Пушкин, поистине знавший свободу творчества, сумел сказать России наряду с такими великими истинами, как "гений и злодейство – две вещи несовместные", "да, жалок тот, в ком совесть нечиста", еще и это: "Не дай мне Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный".

III

Н.И. Балашов

РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В ЕЕ КЛАССИЧЕСКОМ ВИДЕ КАК ВАЖНЫЙ СУБЪЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИВОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ XIX–XX вв.[1*]

Между латинским понятием "intelligentia" и русским словом XIX–XX вв. *интеллигенция* есть большая разница. Работники умственного труда, способные к обобщенной, деятельной и, если нужно, к абстрактной мысли, появляются в глубокой древности и приобретают устойчивые черты, во всяком случае в Древней Греции[2] и в Риме. Латинское слово "интеллигенция", когда оно выделяется из понятия "интеллект" (греч. "нус"), обозначало не деятелей, а в первую очередь те высшие познавательные способности, которые после Канта удобнее всего называть "рассудком" (der Verstand), "разумом" (die Vernunft), а также "способностью суждения" (die Urteilskraft). Эта последняя точнее определяется по-французски понятием "воображение как царица познавательных способностей" ("l'imagination reine des facultes" – по выражению Бодлера), но тоже не распространяется на какую-либо группу людей.

Новое слово *интеллигенция* появилось в России XIX в. в пушкинскую эпоху и вошло в мировой обиход как р у с и з м (как ныне *sputnik*), не в виде реконструкции латинского, а как фонетическая запись русского слова "intelligentsia" (вместо ожидаемых *intelligentia* или мн. числа существительного типа английского *the intellectuals*).

До недавнего времени русское слово *интеллигенция* обычно считалось введенным П.Д. Боборыкиным в 1860-е годы с оттенком "разночинные интеллектуалы" и с некоторой синонимичностью с другим нововведением в русском языке – словом *нигилисты*.

В 1996 г. С.О. Шмидт разрешил вопрос, когда в русском языке (при современном состоянии осведомленности) можно зафиксировать слово (и понятие) *интеллигенция*[3]. Он обнаружил это слово в дневниковой записи В.А. Жуковского от

---

* Вступительное слово на конференции "Роль русской интеллигенции в формировании картины мира", проведенной Научным советом по истории мировой культуры РАН совместно с Государственным институтом искусствознания в январе 1996 г.

© Н.И. Балашов, 2000

2 февраля 1836 г., т.е. потребовалось почти 40 лет, чтобы обратили внимание на терминологическую важность этой записи. Ведь текст был помещен в 4-м томе (с. 671) переиздания Собрания сочинений Жуковского в 4-х томах (М., 1960 год!).

Как отметил уже С.О. Шмидт, Жуковский употреблял слово таким образом, что оно ассоциировалось у поэта "...с европейской образованностью" и, что особенно важно, "с нравственным поведением".

У Жуковского конкретно речь идет о возмутительном случае, когда сразу после пожара с сотнями жертв у Адмиралтейства, недалеко, почти рядом, на Невском, в тот же день состоялся веселый бал в доме В.В. Энгельгардта. Бал превратился чуть ли не в беснование, где участвовали многие петербургские дворяне, "которые у нас представляют, – пишет иронично Жуковский, – всю русскую интеллигенцию" – и где "никому не пришло в голову (*есть исключения*) (курсив наш. – *Н.Б.*), что случившееся несчастье есть общее..."[4].

Иными словами, Жуковский в 1836 г., спустя четверть века после открытия Царскосельского лицея, еще осознает слово *интеллигенция* не как специфически русское явление, а в данном случае даже с ироническим и уничижительным оттенком, упоминая "личности", например дочь историка С.Н. Карамзину, плясавшую на балу и насмехавшуюся над угрызениями совести самого Василия Андреевича.

В принципе понятие "интеллигенция" (еще более раннее употребление слова может быть отыскано с помощью компьютера) в отчетливо положительном смысле было понятием пушкинского периода. Это слово внутренне противоречиво: оно связано с национальным подъемом времени антинаполеоновских (т.е. будто антифранцузских) войн, но связано противоречиво как явление не националистическое, а антинационалистическое. Эхо такого понимания отзывается и лет через 60 в мыслях Версилова в предпоследнем романе Достоевского "Подросток": русские выступают более европейцами, чем сами европейцы.

Из всех воспитанников Лицея такое универсальное понимание сконцентрировано у Пушкина и соединено с понятием свободы мысли и свободы вообще. За два года до дневниковой записи Жуковского, примерно в начале 1834 г., Пушкин, раздумывая "вослед Радищеву", писал: "Что составляет величие человека, ежели не мысль?". Даже в тексте, посвященном Радищеву, писателю крамольному, т.е. в тексте, в котором приходилось учитывать угрозу особо суровой цензуры, Пушкин хотел продолжить прямо радищевскую традицию: "Да будет же мысль свободна..."[5].

У Жуковского зародыш этого будущего мирового, уважительного значения русского слова *интеллигенция* сосредоточен в помещенном в скобках (при общей негативной характеристике) многозначительном замечании: "...есть исключения". К этим двум словам Жуковского надо прислушаться. Ведь среди таких "исключений" бывал и посетитель дома Энгельгардта – сам Пушкин.

Отрицательным у части русской дворянской интеллигенции начала XIX в. была причастность к придворной черни. Это было, увы, если и не редким, но все же маргинальным явлением, а чаще – просто пропагандистской выдумкой против интеллигенции, первой из тех, которые докатились до определений вроде "гнилая интеллигенция".

На интеллигенцию натравливала не только охранка, обвинявшая во всех бедах России "жидов, студентов и интеллигентов", но и некоторые революционеры, которые не могли добиться от интеллигенции слепого одобрения крайних, кровавых

и в конечном счете исторически "бессмысленных и беспощадных" мер, а сами не терпели никакой свободы мысли вообще.

Для мирового развития особенности русской интеллигенции важны как пример создания особого типа не просто интеллектуала, но интеллигента со своей картиной культуры мира (конечно, когда это классическая интеллигенция, а не "образованщина", как говорит Солженицын, или "недообразованщина", даже "необразованщина", как порой следует сказать).

Среди этих славных особенностей – прежде всего тяга к универсальности, едва ли не при любой специализации русского интеллигента, которая до сих пор нередко поражает заграничных коллег.

Затем – это "двуполушарность", живое, возобновляемое традицией стремление к сочетанию точных знаний, многосистемного интереса к рассудочному мышлению и технической практике с гуманным эмоционально-художественным подходом.

Это заметно уже в ломоносовских "технических" стихотворениях (например, о стекле и минералах), а в XX в. и в параллелизме, можно сказать в некотором роде в единосущном подходе к природному и человеческому. У В.И. Вернадского – в выдвижении ученым понятия ноосферы наряду с атмо-, страто- и другими физическими сферами.

Отсюда же и тесное переплетение художественно-литературного с философским, с особой силой проявившееся в конце XIX – начале XX столетия и ставшее доступным нашему современному исследовательскому анализу только со второй половины 1980-х годов.

Конечно, среди важнейших характерных черт русской интеллигенции, в которой ярко выражен дух "всемирной отзывчивости", надо назвать осуждение как националистов, так и лжеинтернационалистов-пораженцев, ставившее их на одну ступень с теми пораженцами-мазохистами, которые свалили все вины даже в самозащите от кайзеровской империи на свою истерзанную отчизну:

С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях.

Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? ⟨...⟩

М. Волошин. Мир. 23 ноября 1917 г.

Подлинным даром "всемирной отзывчивости" (слова Достоевского) был в высочайшей степени наделен Пушкин. С этой всемирной отзывчивостью связан беспримерно быстрый и необходимый самой Западной Европе (а быть может, и Востоку, и Америке) возврат России в Европу на рубеже XVIII в. "В о з в р а т " – потому что культура Руси в зародыше прямо восходила к греко-византийскому источнику, т.е. к более древнему, чем римский ареал западноевропейских структур.

Но Русь отставала, она была оттеснена возложенной на нее историей тяжкой миссией столетиями держать щит, охранявший Западную Европу, а та, увы, как и в 1990-е годы, из сиюминутных интересов забивала Руси окна не только в Константи-

нополь, но и к Южным и Восточным славянам, и к Закавказью. Окно между Западом и Востоком прорубил Петр, а частично расчистила Екатерина гением Суворова и несгибаемостью его войск.

Оказавшись на рубеже между Западом и Востоком, предтечи русской интеллигенции и народ хранили восточнославянскую самобытность и многие черты культуры тех азиатских ареалов, с которыми Русь была в более тесном, то мирном, то трагическом соприкосновении.

При этом не взгляд со стороны, а именно "всемирная отзывчивость" возникала оттого, что становление из небольших княжеств огромной страны проходило совсем не путем завоевания заокеанских, принципиально чуждых земель. При всех противоречиях, разных при Московских князьях, Петре, Екатерине, императорах XIX–XX вв., при Советах, присоединение к России приносило (конечно, за нередкими исключениями, такими, как Польша в ее этнических границах) не только многие культурные преимущества – связь с мировой культурой – входившим в нее странам, но и безопасность от агрессивных соседей (например, для Грузии и Армении). Это же в какой-то мере касается ставших свободными от Порты и независимых Дунайских княжеств (ныне – Румынии и Молдавии), а также Болгарии и Сербии. Совсем удивительно, что во всегда нелегкой, жестокой истории завоеваний бывало и так, что единение с Россией приносило материальные выгоды не столько "метрополии", а скорее присоединившимся народам. К этому надо добавить значительное интеллектуальное влияние на культуры многих из этих народов.

Конечно, если не всемирная, то широкая отзывчивость была свойственна в той или иной мере не только Гомеру, симпатии которого нередко были на стороне троянца Гектора, а не эллина Ахилла. Нечто подобное было свойственно и эллинистическим деятелям, и Горацию, и Лас Касасу, и Лопе де Веге, и Сервантесу, и Шекспиру, и Свифту, и Гёте. Но ни одному из этих гениев не пришло бы в голову, подводя в нескольких строках итоги своей поэтической деятельности, выразить нечто аналогичное гордой уверенности, что его назовет и финн, и, скажем, тогда дикий тунгус, и друг степей – калмык.

В кровь и плоть русского интеллигента в конце концов входили г р а ж д а н с т в е н н о с т ь и д о л г ч е с т и, порождаемые отчасти необходимостью сопротивления преобладающим самодержавным и тоталитарным режимам. Для воспитания такой гражданственности и такого долга чести надо было понять и стараться преодолеть вызванные веками господства тех же режимов пережиточные навыки самого народа: покорность или уж стойкое недоверие ко всем, одетым в городское платье, – интеллигентам, земцам, врачам, путейцам, взгляд на них, в конечном счете, как на чиновников, на бар (мы слышали такой пример из частного разговора с бывшим земским врачом, посланным в 1910-х годах на вспышку холеры, – крестьяне винили самого врача: "Знаем, кто телеграмма давал, кто болесть привез...").

На самом деле в русской интеллигенции, особенно в XIX в., процветала народническая ностальгия, поразившая мир после открытия Западом русского романа. Народность – один из важнейших компонентов, составляющих силу русской интеллигенции. Но, к сожалению, народность порождала и ту вредившую интеллигенции оплошную простонародность, которая вела к крайностям "правого" и "левого" толка и могла использоваться монархией на пути к безнадежно темному деспотизму, а

самой русской революционности, после того как распространились позитивизм и практицизм, придавала, особенно в случае успеха, черты неслыханно беспощадного бунтарства.

Интеллигенции в России приходилось бороться против восходившего к восточносредневековому обожествлению одной личности – "батюшки-царя" или "любимого вождя". На другом уровне приходилось бороться против заслонения в общественном мнении одним крупным военачальником других, например учиться умению ставить, как перед Казанским собором, рядом с памятником Кутузову памятник Барклаю де Толли.

Пушкин недаром воспел в стихотворении "Полководец" Барклая. Именно он разработал еще за пять лет до 1812 г., непосредственно после поражения русских войск под Прейсиш-Эйлау в 1807 г., почти в подробностях весь великий план Отечественной войны и доказал заносчиво-упрямому и ненадежному в своем слове Александру I необходимость соответствующей подготовки[6]. Или учиться не подменять одним славным военачальником всех: Жуковым других спасителей Отечества – Рокоссовского, подлинного Маршала Победы, с больших букв, полководца, которого перебрасывали с одного катастрофического фронта на другой (и особые качества которого признавал и преследовавший его "верховный главнокомандующий"); Толбухина, мастера невероятно стремительных прорывов; Шапошникова, сыгравшего, видимо, решающую роль в срыве идеи сдачи Москвы фашистам; Конева, Черняховского и других полководцев, не говоря уж о тенденции заслонить героизм своих же братьев-солдат царем или формальным военачальником.

В отличие от Запада на Руси (со времен, запечатленных в "Слове о полку Игореве"), истязаемой иноземными завоеваниями, царским сокрушением своих же городов, вотчинно-своевольным характером самовластия, многократно прерывались исторические и культурные традиции.

Ослабевала даже непрерывность творческой мысли духовенства, которой невероятно трудно было уйти вперед после великих соборных Отцов церкви IV в. Конечно, в стихии разгромов монастыри оставались очагами культуры, объединявшими сознание народа летописанием. То поднимались, то после разрушений восставали из пепла церковное и крепостное зодчество, иконопись и духовная фресковая живопись, строительство однокупольных и пятиглавых храмов. "Троица" Рублева выдает у древнерусских мастеров высокоинтеллигентное сознание; то же, что о Рублеве, можно сказать о Дионисии, о неизвестном строителе храма Вознесения в Коломенском, с шатром которого в мире может быть сопоставлен лишь флорентийский крутой купол Брунеллески; то же можно сказать о плывущем, как парусник, пятиглавом соборе Смоленской Божией Матери Новодевичьего монастыря. Схожие черты видны у зодчего конца XVI в. Федора Коня, создателя Белого города в Москве и таких крепостных стен Смоленска, в которых утилитарное свойство – оборонительная несокрушимость – едва ли не уравновешивалась эстетическим величием "возвышенного", "высокого" – "des Erhabenes".

После потрясений и оздоровлений XVII в. возникновение и более или менее непрерывное развитие русской интеллигенции начинается со времен реформ Петра Великого. Конечно, то, что Петр был императором, затрудняло завершенность его

"интеллигентности". Но зато "интеллигентность" императора – сочетание у Петра технического, строительного, мореходного, военного гения с заслугами в изучении, распространении и даже развитии "гуманиорных" наук – помогла рядом важных мер, вплоть до создания Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге, положить твердое начало формированию картины мира русской интеллигенцией: родившийся и мужавший при Петре Михайло Ломоносов сумел открыть как ученый, как новый Галилей, и увидеть как художник, как новый Боттичелли, атмосферу Венеры в сиянии ее красоты.

Вообще, наиболее ярким воплощением тенденций новорожденной классической интеллигенции, ее универсальности, многих из тех черт восприятия мира, о которых говорилось выше, стал именно Ломоносов, хотя его, великого и разностороннего ученого, поэта и теоретика поэзии, связывали разные (унижавшие его) официальные обязанности. Уже почувствовалась та мертвящая рука, которая бессовестно произвела вернувшегося после второй Болдинской осени гения в низшее придворное звание камер-юнкера...

Литературно-публицистическое, научное, научно-военное, историческое, собственно поэтическое развитие, поддерживаемое А.Н. Радищевым, П.Н. Паниным, П.А. Румянцевым-Задунайским, Г.Р. Державиным, Н.И. Новиковым, П.И. Жемчуговой, И.А. Крыловым, Н.М. Карамзиным, и привело наконец к явлению А.С. Пушкина.

До пушкинской эпохи включительно русская интеллигенция, хотя в нее входили отдельные люди незнатного происхождения, даже из крепостных, например великий зодчий А.Н. Воронихин, была преимущественно дворянской, нередко военной интеллигенцией.

Одним из важнейших центров формирования интеллигенции в начале XIX в. был, как мы говорили, Царскосельский лицей.

Восклицание Жуковского в дневнике 1836 г. показывает, что понятие интеллигенции в его необезображенном виде поэт понимал весьма положительно, как нечто, чем можно гордиться и что позволяет видеть и познавать мир во всем его многообразии. Из текстов Пушкина видно, что Жуковскому не надо было делать никаких поясняющих оговорок, ибо понятие в то время было достаточно распространено.

Настоящие интеллигенты выходили не из тех дворян, что торговали "мертвыми душами", а чаще из той части дворян, нередко древнего рода, которые обеднели и были "задвинуты" государством и петербургским двором. А на второй план, еще до николаевской расправы с декабристами, можно было "задвинуть" кого угодно, вплоть до гения побед, универсальнейшего и образованнейшего Суворова. "Мягко" его задвигали то Г.А. Потемкин, то сама Екатерина, то совсем по-глупому и подло Павел. Он преследовал полководца и мыслителя даже за гробом, велев высечь на памятнике уничижительную надпись, чтó Державин, напротив, обратил с монументальным лаконизмом в высшую похвалу: "Здесь лежит Суворов".

В пришедшие в упадок старые дворянские роды Пушкин зачислял многих своих, особенно поздних, героев и самого себя.

Ввиду разобщенности и слабости политического осознания русской буржуазии (поэт по-русски даже слова такого – буржуазия – не употреблял) Пушкин сопоставлял с прославившимся во время революции 1789 г. французским "третьим сословием" (tiers état) обездоленных русских дворян, называя именно их "третьим состоянием".

Когда после 1826–1830 гг. поэт увидел тщетность надежд на "воспитание" Николая I, он, чувствуя сжатую в себе русскую силу, стал пугать двор не только "Историей Пугачева", не только загадкой "Медного всадника" ("С Божией стихией царям не совладать..."), но и устрашающей мятежностью дворянского "третьего состояния". Например, в беседе с великим князем Михаилом Павловичем, братом Николая, Пушкин говорил в среду 19 ноября 1834 г.: «Эдакой страшной стихии мятежей (обратим внимание, что пока венценосный цензор Николай долго, без толку "мусолил" "Медного всадника", Пушкин, будто насмехаясь, пугает его брата "стихией мятежей". – *Н.Б.*) нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, кажется, много..."[7].

Этих слов Пушкина двор не забыл и через 30 лет после его гибели...[8]

Само общественное положение дворянского "третьего состояния" способствовало развитию у него классической универсальной русской интеллигентности. В дворянскую интеллигенцию не входили ни развращенная знать, ни всякого рода Ноздревы или Собакевичи, с которыми вел сделки Чичиков.

По первому и второму тому "Былого и дум" Герцена видно, как в 1830–1840-е годы, несмотря на все препятствия, чинимые интеллигенции в николаевские времена, в Московском университете исподволь происходило формирование послелицейской интеллигенции – процесс, постепенно вовлекавший в ее ряды все больше разночинцев.

Очень существенным для понимания дальнейшего пути русской интеллигенции пушкинского "третьего состояния" было весьма присущее ей ч у в с т в о ч е с т и, так или иначе затем воспринятое разночинной интеллигенцией.

И сейчас не своевременно ли задуматься, а не пришли ли вновь те времена, когда "образованцу", т.е. лжеинтеллигенту недостойного поведения, не говоря уж о взяточнике или доносчике, его коллеги не подавали руки?

В известных качествах русская разночинная интеллигенция хранила традиции пушкинской, преимущественно дворянской.

Само вступление в число людей, признаваемых интеллигентами, было нелегким. У более новой интеллигенции не было обеспеченного "онегинского" досуга, возможности длительных путешествий или службы в горах и у южных морей, освободительных походов в Западную Европу вроде похода 1813 г., потенциально способствовавших развитию кругозора и универсалистских взглядов. Приходилось зарабатывать деньги на жизнь своим интеллигентским трудом.

Дворянское "третье состояние" было слишком заметным для николаевских властей, зато ко времени выхода на историческую сцену русской разночинной интеллигенции разросся аппарат слежки и принуждения.

Разночинцам было сложнее выбиваться в люди, получать профессиональное и общее образование, преодолевать гнетущий страх, который придавливал к земле, мешал видеть картину мира Акакиям Акакиевичам и героям Сухово-Кобылина. Хотя Акакий Акакиевич не мог бы стать интеллигентом, Гоголь несколькими штрихами все же намекает, особенно к концу повести, на возможность освобождения духа своего забитого героя.

Такая возможность отчасти – лишь отчасти, – но все-таки реализуется у скромного, но гордого и доблестного капитана Копейкина.

И талантливого человека николаевских времен вело к гибели всякое неподчинение, пусть даже не политическое. Интеллигентом не смог стать и обрусевший немец скромного происхождения Германн – человек нужный государству, владевший тремя языками, сумевший закончить военно-инженерное училище (не очень-то открытое для простых горожан). Оно дало ему твердые познания в технике, а отчасти в истории культуры – точное представление о фирмах часов XVIII в., способность определить портреты в комнатах графини как произведения кисти французской художницы конца XVIII в. Виже-Лебрен[9]. К тому же такое училище обеспечивало офицерский чин, потомственное дворянство и небольшое жалованье. Но Германн при первой же попытке доставить себе настоящие "покой и независимость" (вспомним, что это разновидность известной мечты самого Пушкина – "покой и воля"), несмотря на свою энергию, а отчасти, может быть, и вследствие своего воображения и этой энергии, гибнет в расцвете сил, так и не развив таившиеся в нем качества.

Собственно разночинная интеллигенция XIX в. тоже была прежде всего классической русской интеллигенцией. Она наследовала гражданственность еще более, чем универсальность.

Споры как бы сосредоточивались вокруг некрасовской формулы: "Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан". Однако интонация некрасовского стиха, как и жизненный опыт автора, указывала, что ничего плохого не случится, если гражданин станет также и поэтом.

Именно русская разночинная гражданская народная интеллигенция потрясла мысль и воображение по западную сторону российских границ. Обученному обывателю было непонятно, что еще нужно скромному, но обеспеченному профессионалу, которому регулярно платят жалованье, имеющему работу, нередко хорошую казенную квартиру и пользующемуся известным уважением в порядочном обществе. Многие на Западе не понимали, откуда у профессионала, знающего свое дело и работающего в своей области, бурные стремления (если он уже не может, хоть в переносном смысле, быть поэтом) стать еще и активным гражданином, как теперь говорят, стать больше, чем поэтом. Причем последнее – обязательно. Теперь интеллигенту вменялось в обязанность служить народу, "идти в народ". А если удастся взбунтовать народ, то призвать его к беспощадному бунту – "В топоры!".

Движение захватывало не только явных нигилистов, но и более широкие круги молодежи. Даже многие из барышень увлекались новыми идеалами, стриглись, эмансипировались, курили (по тем временам для женщин курение было подобно приему крепких наркотиков в наше время), добивались знаний, достаточных для преподавания деревенским детям, становились сестрами милосердия, акушерками, т.е. тоже "шли в народ".

Эти (в глазах Западной Европы странные) в е л и к и е люди, люди благородные, поражали мир. Человек, который вчера оставался бы "ветхим", приниженным Акакием Акакиевичем, теперь, живи Германн лет на 25 позже, мог психологически и практически стараться стать "новым человеком" – гражданином (в смысле "le Citoyen" революции 1789 г.).

Если Германн действительно, как казалось некоторым из окружающих его людей, был хоть внешне похож на Наполеона (а не на Пестеля ли?), то едва ли он надеялся стать императором; не скорее ли, как тот артиллерийский офицер, –

стать революционным генералом, а в случае невероятной удачи – первым консулом будущей Российской республики и вести мир в движении к некоему социальному идеалу.

Новым типом, – сочувствовали ему или нет, – увлекались: он стал, начиная с тургеневского Базарова в литературе и Добролюбова в жизни, центром дискуссий; Базаров возмущал консерваторов, а тем, кто считал себе передовым интеллигентом – нигилистом, анархистом, был еще более чужд, казался пародией, карикатурой.

Запад немел: из России, казалось дремавшей еще полтораста лет тому назад, дули такие бурные ветры, поступали импульсы, менявшие, обновлявшие привычную на Западе картину мира, соструганивавшие с нее черты мещанства. Старая картина мира преображалась на глазах: теперь уж не то что классицизм, даже не то что романтизм, но и реализм устаревал, если он не был исполнен надрывной, но реальной любви к человеку. Сходу частично "устаревал" даже Флобер, высвечивалась надутая сентиментальность романов Жорж Занд и Гюго, хотелось мерещившихся вдали драм Чехова.

"Выдерживали" испытание временем писатели Теккерей, Диккенс, Бальзак, Золя, печатавшийся, как правило, одновременно в России и во Франции, такие литераторы, как ныне полузабытый Ф.М. Решетников. "Выдерживали" философы позитивизма – О. Конт, И. Тэн, Дж.С. Милль, Г. Спенсер, Я. Молешот, а в России – В.В. Лесевич, Д.И. Писарев.

Близок был час, когда из-за горизонта поднимется мало кем оцененный, кроме Гёте, Мериме, Пушкина и Толстого, – Стендаль, а дальше – ни для кого до конца неуязвимый сам Лев Толстой.

В России начиналась борьба между воспитанными на Пушкине людьми дальнеперспективного видения (к которым относились великие классики второй половины XIX в. от Тургенева до Лескова, Чехова, ученые академической и университетской школы) и разночинцами-позитивистами.

Разночинное народничество хоть и ушло от картины мира западных деятелей науки, техники, искусства, но не имело иммунитета от приземленности позитивизма.

А позитивизм, способствовавший неслыханному развитию техники, не обеспечивал душевной связи разночинцев с народом. Нередко крестьяне выдавали властям ходоков в народ, видя в них мятежных бар, пошедших против Бога, царя и Отечества, или приступали к самим народникам, вроде тургеневского Нежданова, не имевшим гроша за душой, с требованиями типа: "Уж ты... барин, не размазывай, а прямо скажи: отдашь ли ты всю свою землю как есть, аль нет?" ("Новь", гл. XXX).

Даже такому крупному и умеренно-консервативному реалисту, как Гончаров, стало казаться, что раздоры и взаимное непонимание, в частности среди людей культурного слоя, привело Россию на край пропасти, к "о б р ы в у".

Такой взгляд, "гончаровская" картина мира быстро распространялись. Немногим позже та же идея, но в изрядно ироническом ракурсе пришла в голову скульптору П.П. Трубецкому, откликнувшемуся на заказ воздвигнуть памятник императору Александру III. Трубецкой намеревался вознести массивную фигуру на очень высокий пьедестал, но в позе, прямо противоположной позе Петра I.

У Трубецкого царь, натуживаясь, удерживает Россию на краю глубокой пропасти... Однако судьба поступила так, что великий замысел испортила вдова царя, императрица-мать. Она, вспомнив, что покойный государь не любил круч и высоты,

настояла на том, чтобы всадник стал на обыкновенный по высоте постамент. Памятник сохранил выразительность, но приобрел такую тяжкую грузность, что стал своего рода почти карикатурным монументом тому пределу, к которому Российская империя подошла на пороге XX в.

Незадолго до этого вскрылась и страшная болезнь: к народникам пристали и пристыли циничные глумливые "бесы", которые, как Петр Степанович Верховенский в романе Достоевского, дрались за возможность повелевать, дрались за власть, плели интриги, учились и учили привыкать к убийству, рады были жертвовать тысячами голов как своих противников, так и своих сторонников.

Картины мира, которыми бесы старались увлечь, не были картинами мира классической интеллигенции и для самих Петров Верховенских были ложью, но они успешно учили и в конце побудили миллионы умирать за них и из-за них.

Позитивизм, надо сказать, уберег народнических интеллигентов от чрезмерной моды на сочинения Ницше и от распространявшегося повсюду "разбавленного" ницшеанства. Ницше влиял несколько поверхностно как певец свободного, бодро идущего к своей цели индивида. То есть он был не таким, каким покойный философ был представлен в написанном в прогрессирующе безумном состоянии и фальсифицированном его сестрой Э. Фёрстер-Ницше сочинении – "Воля к власти"[10].

Лучше всех от таких сложностей освободился Вячеслав Иванов, потому что он по-настоящему изучил античное дионисийство и Ницше и не увлекался болезненной стороной его таланта. Всё это у Иванова сочеталось с идеей русской христианской "соборности" и дало совершенно новые результаты.

Ницше мог повлиять как на философа Константина Леонтьева, стоявшего на самом краю "о б р ы в а", так и на Леонида Андреева с его трагическим мироощущением.

Как это ни странно, если, разумеется, не ницшеанство в целом, то витавшие в воздухе его идеи в какой-то степени временами увлекали, кружились в сознании Максима Горького – от довольно ранних его произведений вроде "Девушка и Смерть" до запутанного "Клима Самгина". Два политических деятеля ославили "Девушку и Смерть" похвалой за то, что в ней "любовь побеждает смерть". Поэтому они полагали: "эта штука" якобы посильнее, чем "Фауст" Гёте. Оба этих "критика" не задумывались над тем, что в восходящий к фольклору мотив борьбы жизни и смерти новую силу вдохнул именно Ницше. Это не был характерный для русской классической интеллигенции мотив. Ницше исходил из немецкого романтизма, не так давно именовавшегося у нас "реакционным". Если с чем-либо целесообразно попробовать сопоставить "Девушку и Смерть", то прежде всего с драмами, текст и гениальная музыка которых были написаны Рихардом Вагнером, такими, как "Тангейзер" и "Тристан и Изольда": "штуками", может быть, не более сильными, чем "Фауст", но всесторонне более содержательными, чем сказка Горького.

Мы не беремся судить о том, как познакомился Горький с произведениями Ницше, да это нам и не нужно. Речь идет о влиянии на него одного упомянутого недавно в "Литературной газете" лица, о распыленном в прессе и литературе воздействии идей Ницше. Подобным было также воздействие ницшеанства, например, на образы некоторых героев рассказов Джека Лондона.

В России ницшеанское дионисийство само по себе не повлияло значительно на картину мира и культуры интеллигенции. Оно должно было попасть в особо благоприятные условия "Аркадии счастливой", быть к чему-то глубоко серьезному присоединено, чтобы выжить, как, например, в научных трудах и художественных произведениях Вячеслава Иванова.

В советское время "образованщина" низов становилась едва ли не опасней "образованщины" Победоносцевых и двора распутинцев.

Тут-то ответственность за картину культуры мира легла на плечи квалифицированной, высокопрофессиональной интеллигенции, сочетавшей и пушкинскую широту, и чувство боли за народ и за страну.

Александр Блок сумел раскрыть сильные и слабые стороны разных течений интеллигенции в период революций, а Волошин подметил, что часть ее неожиданно сильно сдала, когда пали прикрывавшие ее дискуссии крепкие стены самодержавия.

А тут еще ослабевшего и валившегося с ног от голода интеллигента подвергали суровым испытаниям, выдворяли целыми пароходами.

Наступил трудный период "выращивания" советской интеллигенции. Экстенсивно дело шло довольно успешно, а в отношении интенсивности грозило преобладанием чванной "необразованщины".

Создание интеллигенции своей, необходимой новому государству, было долгим и трудным делом.

Да и теперь воспитание интеллигенции находится не в лучшем состоянии. Появились новые беды: культурные учреждения, интеллигенция в лице и ее скромных, и подавляющего большинства ее известных представителей погружены если не в нищету, то в такое состояние, которое при разлетающихся попусту миллиардах язык не поворачивается назвать иначе чем нищета.

Будто никто и не думает, что в современном обществе совокупная работа интеллигенции в конечном счете производит продукт не меньший, если н е б о л ь ш и й, нежели промышленность. Один Ломоносов даже в отношении производства приносит больше, чем сотня Демидовых.

При нынешнем угрожающем положении интеллигенции нельзя терпеть развал главных библиотек в стране. Они изолировались, почти не покупают иностранных журналов и книг. Пожалуй, в конце XV в., создавая то, что потом неточно назвали "Библиотекой Грозного", Иван III приобретал больший процент чужеземной литературы, чем тот, что приобретаем мы на заре интернетизации научного обмена...

Где должна расти самостоятельная новая интеллигенция эры интернета? Неужели нам, России, так неймется занять последнее место в Евразии и в Африке?! Так и будем твердить и ныне актуальные слова Максимилиана Волошина: "Горькая детоубийца-Русь"?

Гибель науки – это гибель великой страны!

Ведь и так для воспитания современной интеллигенции потребовался опыт работы ученых и художников всех родов искусства, работавших еще до революции, и их непосредственных преемников.

Когда многое шаталось, необыкновенно возвысилось значение гигантских фигур И.П. Павлова, В.И. Вернадского, А.Н. Баха, Н.И. и С.И. Вавиловых, П.Л. Капицы, А.Н. Колмогорова, М.А. Леонтовича, Л.Д. Ландау, М.Л. Миля, из более молодых – А.Д. Сахарова.

В области гуманитарных наук не дожили до советского времени самые знаменитые историки, кроме разве С.Б. Веселовского и Д.М. Петрушевского, а из крупных философов, оставшихся в стране, даже страшно вспомнить, в каких условиях работали П.А. Флоренский, А.Д. Лосев и другие...

Из старейших филологов ничего существенно нового уже будто и не могли сделать крупные ученые – в последние годы состарившиеся А.А. Шахматов, И.А. Бодуэн де Куртенэ, но их влияние оказалось решающим в русистике и общей лингвистике XX в.: их дело продолжали Л.В. Щерба, В.В. Виноградов.

Оставив после себя мощную традицию, еще в 1906 г. ушел А.Н. Веселовский, но творили его последователи – В.Ф. Шишмарев, В.М. Жирмунский, А.А. Смирнов, М.П. Алексеев и младшие коллеги – Н.К. Гудзий, А.И. Белецкий. Классическое русское востоковедение жило в лице Е.Э. Бертельса, В.М. Алексеева, И.Ю. Крачковского, Н.И. Конрада, основателя новых направлений не только в японистике, но и в сравнительном изучении литератур[11].

Дальнейшие перечисления и анализ творчества, особенно не названных здесь деятелей искусств, пусть остаются на долю ученых, профессионально занимающихся историей художественной интеллигенции.

А вообще же новой интеллигенции было трудно – и как новой, и как интеллигенции. Свобода в постижении и в изложении своей картины мира ограничивалась, в том числе средствами не лучшими, чем те, драконовские, которыми Тимур уничтожал покоренные народы.

Запрещались многие перспективные науки: генетика, кибернетика.

Исключалась возможность серьезных дискуссий по философии, истории, искусствознанию; даже лингвистика была поставлена в странные и тесные рамки. Тормозилась и компьютеризация; как огня, боялись широкой интернетизации, открывавшей доступ к библиотекам мира; перечеркивались целые периоды и направления в искусстве; отторгалась вся эмигрантская литература, философия, богословие.

Но крепкий духом русский "классический" интеллигент держится. Пример тому – научная и общественная деятельность академика Д.С. Лихачева.

Если, увы, кого-либо веселит нынешний отток интеллигенции за границу, развал целых областей знания и искусства, проектирование п о л н о г о развала науки, обнищание интеллигенции, то всё равно пусть не думает, что в данном случае вынужденная "философия нищеты" у интеллигенции (вспомним терминологию знаменитых ученых XIX в.) – это столбняк русской мысли, действительно нищета философии.

Специфическая связь культуры и долга у классической русской интеллигенции не раз придавала ей свойства феникса. Тлеющая сегодня в удушливом огне безразличия, она, будем надеяться, сможет все-таки воскреснуть из пепла.

В современной России жизнь, кажется, оспаривает идеи Шиллера и Достоевского о том, что Красота спасет мир.

Ответственность отечественной интеллигенции возрастает с каждым годом и с каждым днем – именно об этом так сжато и так больно сказал Борис Дубровин, современный поэт:

Если мы не спасем
Красоту,
Никого не спасет
Красота...[12]

Спасение красотой – мысль реальная, если интеллектуальные чувства и картина красоты у современной интеллигенции по-настоящему и крепко связаны с долгом и самоотверженностью.

Ох, как важно всегда помнить, часто вспоминать патриотические слова, выстраданные поэтом Максимилианом Волошиным в тяжелые времена начала 20-х годов. В стихотворении "На дне преисподней", посвященном памяти А. Блока и Н. Гумилева, будто написанном над свежими и старыми могилами убитых поэтов, Волошин обращается к тем, кто верен России, верит в Россию даже в такие времена, когда в ней не видно ни Блоков, ни Гумилевых:

С каждым днем все диче и все глуше
Мертвенная цепенеет ночь.
Смрадный ветр, как свечи, жизни тушит:
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.

Темен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.

Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца – Русь!..
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.

Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба![13]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Мы ограничиваем себя в суждениях, напоминая о концепции русской интеллигенции в трудах акад. Д.С. Лихачева, прежде всего в лаконичном авторском изложении в известной статье: *Лихачев Д.С.* О русской интеллигенции // Новый мир. 1993. № 2. С. 3–9.

[2] Проблем интеллигенции на Востоке из-за их особой специфики мы здесь не касаемся.

[3] См.: *Шмидт С.О.* Откуда взялась "Интеллигенция": Слово, пришедшее из круга поэта // Лит. газета. 1996. 5 мая, № 23; *Он же.* Подвиг наставничества: В.А. Жуковский – наставник наследника престола // Русское подвижничество / Сост. Т.Б. Князевская. М.: Наука, 1996. С. 217–218 и прим. 140–144 на с. 221.

[4] См.: *Шмидт С.О.* Подвиг наставничества...

[5] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 17 т. [Б.м.], 1949. Т. 11. С. 235.

[6] Новейшее подробное описание истории кампании 1812 г. см. в кн.: *Тартаковский А.Г.* Неразгаданный Барклай. М., 1996. (Особенно см. Вступление и гл. I, II.)

[7] *Пушкин А.С.* Указ. соч. Т. 12. С. 335.

[8] *Мацкевич Н.И.* Из неизданных воспоминаний о Пушкине его племянника: Александр II о Пушкине // Временник Пушкинской комиссии–1974. Л., 1977. С. 30–33.

[9] См.: *Алексеев М.П.* Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984. С. 110–125.

[10] Трактовка заглавия этого труда, "Die Wille zur Macht", как "Воля к власти" – не совсем убедительная и несколько легкомысленная реакционная интерпретация, ибо умирающий поэт мечтал о могуществе. "Die Macht" – прежде всего "сила", "могущество" вообще, а не собственно "власть" ("die Gewalt – "грубая сила", "принуждение") и даже не "die Machtvollkommenheit – "полная власть", "всемогущество". Если бы Ницше действительно хотел назвать произведение "Воля к власти", он, скорее, написал

бы "Die Wille zur Gewalt". Ср. синонимические ряды слов: *die Macht* и *die Gewalt* в словаре: *Gorner H., Kempke G.* Synonimworterbuch. Leipzig, 1980. S. 382, 278.

[11] По старой, "общесоюзной" манере мышления можно было бы прибавить еще многих и многих культурных деятелей: Е.Б. Вахтангова, Н.И. Мусхелишвили, Г.В. Церетели, Т.Г. Абуладзе, А.С. Исаакяна, М.С. Сарьяна, Л.А. и И.А. Орбели, В.А. Амбарцумяна, А.Я. Таирова и др., тесно связанных с русской интеллигентской традицией XX в.

[12] *Дубровин П.С.* Прощая, радуясь и плача: (Лирика). М., 1996. С. 40.

[13] *Волошин М.А.* Стихотворения и поэмы. СПб., 1995. С. 280. Датировано: 12 января 1922. Коктебель.

Р.М. Байбурова

МОСКОВСКИЕ МАСОНЫ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ – РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ XVIII в.

Понятие "интеллигенция" существует примерно полтора века, и смысл его не всегда был однозначным. В начале нашего столетия под интеллигенцией подразумевали в первую очередь революционеров – борцов за социальную справедливость и равенство – это, так сказать, с марксистской точки зрения. И в то же время, "с точки зрения идеалистического понимания истории", интеллигенция рассматривалась как "внесословная и внеклассовая группа, объединяемая явлениями интеллектуального или этического, вообще психологического характера"[1]. (То, что в нашей "марксистской" стране по отношению к интеллигенции взяло верх идеалистическое определение, весьма любопытно и могло бы стать предметом специального исследования.) Со временем под интеллигенцией стали подразумевать также людей, занимающихся помимо умственного творческим трудом. Сегодня занятие умственным или творческим трудом не гарантирует интеллигентности – удельный вес в определении ее сместился на нравственно-этические категории. Интеллигент – это, как замечал Ю.М. Лотман, антоним хаму, т.е. человек прежде всего высоконравственный.

Уже давно было указано, что корни русской интеллигенции уходят в XVIII столетие. Но чтобы понять и проследить, как развивался зародыш будущей интеллигенции в XVIII в., мы должны внимательнее всмотреться в систему сложившихся и эволюционировавших воззрений на мир у современников этой эпохи.

XVIII век для России, как известно, – период яркий и драматический. С одной стороны, это гигантский прыжок через столетия, поставивший патриархальную, с выраженным восточным колоритом страну в ряд ведущих европейских стран. С другой – этим прыжком ничтожная в процентном отношении горстка – высший общественный класс – дворянство – навсегда оторвалась от народа. Пройдет время, и наиболее чувствительная его часть, а потом и чувствительная часть общества болезненно осознает свою оторванность от корней, задумается об исторической судьбе России, начнет строить планы ее преобразования.

© Р.М. Байбурова, 2000

Но в начале XVIII в. Петр I, оперевшись в своих реформах на дворянство, думал только о будущем величии России в ряду европейских стран. Европа поразила его воображение. Уже не одно столетие отделяло ее от средневековья, пафос которого был сопряжен с безусловным приоритетом духовного, религиозного начала в жизни человека. Новое время, с его открытиями законов в естественном мире, с его жаждой узнавания и познавания, переориентировало внимание на ценности земной жизни, сделало актуальными способность человека рационально мыслить, его любопытство, чувственные наслаждения. При реализации новых идей в жизнь, безусловно, сказывались национальные особенности народов, так что в художественном воплощении у рациональных французов эти идеи оборачивались формами классицизма XVII в., в то время как эмоциональные итальянцы подарили миру шедевры барочного искусства.

Петр I избрал для России рационально-утилитарный путь, что наложило соответствующий отпечаток на культуру петровского времени. При продолжательницах его начинаний – Анне Иоанновне и Елизавете Петровне – был сделан познавательно-эмоциональный "крен" с приоритетом чувственных наслаждений, что запечатлела барочная культура этого времени.

В XVIII в. Европа, в тесном контакте с которой развивалась теперь русская дворянская культура, сделала новый шаг в своей мировоззренческой эволюции. Еще задолго до XVIII столетия, по мере открывания законов, упорядочивающих мир, возникла дерзкая мысль "правильно" устроить и человеческое бытие. Первые утопии появляются уже в XVI–XVII вв. (Т. Мор, Т. Кампанелла). В XVII в. ставится вопрос о государстве как результате общественного договора (Т. Гоббс). К концу этого столетия мысль о возможном построении нового золотого века уже осознана, требовалась ее разработка в деталях. Казалось, мир стоит на пороге счастливой эры человечества.

То, что в основу идейных исканий нового времени легли раскрепощенные разум и чувства человека, предопределило и возникновение двух разных путей к достижению будущего счастья человечества. Их возглавили два патриарха Просвещения. Вольтер и его сторонники, отдавая предпочтение разуму и его колоссальным возможностям, выдвинут идею "просвещенной монархии". Руссо с его идеей "естественного человека", сердечного и доброжелательного от природы, но испорченного цивилизацией, станет проповедником "общественного договора". Их идеи были чрезвычайно популярны, в том числе в России; их развивали, преобразовывали и интерпретировали. Вне зависимости от расхождений в учениях это была новая оптимистическая картина мира, в рамках которой человек XVIII столетия четко видел свое место и перспективы.

Вместе с тем и Вольтер, и Руссо в своих теоретических рассуждениях были безразличны к религиозным чувствам и национальным особенностям народов, для которых они выстраивали пути в земной рай. Для значительной части новоявленных граждан мира, в том числе и в России, никаких "неудобств" не возникало. Поверхностное овладение этими идеями позволяло легко отделить "Богу Божие, а кесарю кесарево". Можно было наслаждаться общими для мира радостями земной жизни и оставаться праведным православным. Только сама религиозность как бы сместилась с переднего в прошлом плана на периферию сознания. Руководство по воспитанию детей, изданное в середине XVIII в., наставляло: "Сей способ к получению щастия весьма развращенный, ежели придворный в каморах своих тогда на молитве стоит, как Монарх его со всем

своим двором в опере или в комедии; также оставя бал или знатные при дворе веселия, в чтение углубится"[2].

Огромное поле интуиции, таинственных озарений духа, любви, совести, сопереживания, ответственности, какой-то мистической сопричастности, оформляемой торжественными обрядами с элементами театрализации и игры, оставалось вне поля зрения приземленных просвещенческих течений. Эту свободную духовную нишу заняли масонские идеи, что, во-первых, объясняет расцвет масонского движения именно в эпоху Просвещения и, во-вторых, особенности масонства XVIII в. в отличие от следующих столетий. Однако надо отметить, что потребность в театрально-игровом в известной степени компенсировалась "зеленой улицей" для чувственных наслаждений, а жажда прикосновения к тайне, по-видимому, отчасти реализовывалась в преувеличенной склонности века Просвещения к символике и аллегориям.

Масоны в том виде, как они становятся известными в XVIII в., впервые фиксируются в 1717 г. в Англии. Считается, что в идейную их основу легли мысли Амоса Комениуса, жившего в XVII в., о нравственном совершенствовании и объединении всего человечества. Масоны объявили себя строителями Духовного храма. Базируясь на старой цеховой организации вольных каменщиков-строителей, первые масоны воспроизвели соответствующую организационную структуру "ученик – подмастерье – мастер" и использовали соответствующую символику: строительные орудия (молоток, лопатка, циркуль и др.) и одежду (фартук, перчатки и др.). Замкнутые корпоративные обряды цеха каменщиков дали повод к созданию знаково-обрядовой стороны жизни масонских организаций. Первые четыре ложи были объединены в Великую ложу под управлением великого мастера и надзирателя.

Из Англии масонские ложи проникли на материк, движение стремительно расширялось, а вместе с тем возникли его новые толкования, уточнения, новые очаги великих лож – в зависимости от "прочтения" идей, углубления в них, темперамента, честолюбия мастеров лож. Усложнение учения, по-видимому, способствовало разрастанию количества высших степеней. Ложи объединялись, структурировались, дробились. В ложах занимались историей масонства, вытягивая нити истории каменщиков из глубин веков и соответственно их интерпретируя; мистической стороной масонства, изучая древние обряды, кабалистику и пр.; теоретическими вопросами, в частности о взаимоотношении масонов, на первых порах исключительно христиан, и других религиозных конфессий и т.д. Несмотря на множественные расхождения в деталях, масонов всех толков объединяли стремление к духовному и высоконравственные позиции. Масонство восполняло, по-видимому, в самоощущении его адептов слишком земную просвещенческую картину мира, частью которой они себя осознавали.

В предшествовавшей новому времени средневековой картине мира с Создателем в центре силы верующих, жаждущих спасения души ради будущей вечной жизни, были направлены к Богу. Соответственно средневековая картина мира имела центростремительный характер. Центробежный мир нового времени масоны стремились скрепить помимо любви к Богу, которого они почитали Верховным Строителем Вселенной, еще и братской любовью, любовью к ближнему. Масонство, как утверждал кодекс масонских уставов, должно было стать "объединяющим центром", который должен был связать "узами искренней дружбы людей доселе бывших друг другу чужими"[3]. Это была своего рода "религия", как гласил тот же ко-

декс, которая состояла "в обязанности каждого из нас быть добрым и верным долгу (loyal), быть человеком чести и совести..."[4]. В условиях XVIII в., когда люди поверили в возможность самим устраивать свое земное счастье, масоны приступили к строительству Духовного храма. Как дети своего века, они не выходили за рамки вненациональной его идеи, а потому трудились на общечеловеческой ниве, строили общечеловеческий Духовный храм. Масонский духовный космос восполнял собой, по-видимому, неизбывную во все времена потребность человека ощущать свою принадлежность к мировой гармонии. Как современники земного – рационального и чувственного – масоны XVIII в. предлагали свой вариант мирового порядка.

Уже первые английские масоны считали своим долгом оказывать материальную поддержку нуждающимся членам своего союза. Масонские ложи основывали больницы, заведения для слепых, воскресные школы, учебные заведения, приюты для престарелых масонов и их вдов, фонды для бедных невест, жертвовали средства на народные нужды в периоды войн и бедствий. Поистине они стали "совестью мира".

По отношению к обществу о них можно говорить как о жрецах-посвященных в сравнении с профанами. Соответственно, по аналогии с жреческими организациями, они обрели свою сокровенную тайну, язык, символику, обряды, правила и пр., что роднит масонство с мистико-эзотерическими учениями дохристианской поры.

Естественно, что Россия, включенная в европейскую кровеносную систему, как не могла бы оказаться вне просвещенческих идей, так же не могла остаться вне масонства XVIII в., порожденного Просвещением. Поскольку теоретическая и историческая проблематика масонства требовала соответствующей, скажем европейской, подготовленности, для чего необходимо было время, на ранних этапах в русских масонских ложах более увлекались обрядовой стороной, близкой эмоциональной душе русского человека. Еще совсем недавно в средневековой России в божьих храмах, являвших собой синтез архитектуры и живописи, театрализованного ритуала церковной службы, пения, запаха ладана, души в совместной молитве устремлялись в горние выси, таинственно соединяясь с Богом. Теперь состояния духовного подъема, трепета души, своего рода экстаза стремились достичь в масонских обрядах. Например, при вступлении новичка в ложу воспроизводился древний обряд "мытарств" – с кровью, шпагами, устрашающими эффектами; еще более "страшными" обрядами сопровождалось возведение в новую степень. Масонские "разны страсти" даже запечатлели стихи типа: "Выбегают отвсюду, рвут тело щипцами / Дробят его [посвящаемого] все уды шпаги и ножами / Встают мертвы из гробов, зубами скрежещут..."[5] и т.д. Мистическая обрядовая акция заканчивалась "торжественной вечерей", когда принимались за трапезою "несогласным воплем непонятные (новичку. – *Р.Б.*) реветь песни и... хорошим упиваться вином"[6]. Занимались также некоторой благотворительностью. С середины 70-х годов добавилось изучение этики и стремление к самопознанию. Но все равно Н.И. Новиков напишет, что "покуда упражнялись в Английском масонстве, то почти играли им как игрушкою, собирались, принимали, ужинали и веселились; принимали всякого без разбору, говорили много, а знали мало"[7]. С активизацией в начале 80-х годов московских масонов, главным образом благодаря духовным исканиям, энергии и организационному таланту И.Г.(Е.) Шварца и Н.И. Новикова, теоретическая

и практическая стороны деятельности духовного братства выдвинулись на первый план.

И Шварц, и Новиков искали более углубленной системы масонства, и их устремления были удовлетворены принятием розенкрейцерства. Цель "братства розового креста" состояла, по словам Новикова, "в познании Бога, чрез познание натуры и себя самого, по стопам христианского нравоучения"[8]. Главные принципы новой системы не отличались от принципов других лож. Как гласил "Нравоучительный Катихизис истинных франк масонов", составленный членом московского "братства" И.В. Лопухиным, своим основным долгом они считали: "Любить Бога паче всего и ближнего как самого себя, или еще более по примеру Св. Павла, который желал даже быть анафема и отлучен быть от Иисуса Христа, ради своих братий"[9].

"Братская любовь, помощь и верность" – эта основополагающая триада всех масонских систем, начиная с английской, – стала основным правилом и московских масонов – ведь только они могут скреплять разъедаемый злом и противоречиями мир. Не случайно масоны – это каменщики, т.е. строители, созидатели (в противоположность всякому разрушению), трудившиеся над объединением человечества. Созидаемый ими общечеловеческий Духовный храм можно понимать как мир, построенный на любви, взаимопомощи и верности.

Как сторонники единения, любви, братства, духовных построений масоны, в том числе и московские, были противниками любых насильственных действий. Еще первый масонский кодекс определял: "Масон является мирным подданным гражданской власти, где бы ни приходилось ему жить и работать. Он не примет участия ни в каких замыслах против мира и блага народа"[10]. Масон "должен быть покорен высшим властям, не токмо из страха наказания, но и по долгу совести"[11], – утвердит московский "Катихизис". "Работа над диким камнем" души (стимулируемая в том числе и руссоистскими учениями) предполагала, во-первых, избегание зла, которое воплощали семь главных грехов: высокомерие, скупость, неумеренность, похоть, корыстолюбие, праздность и гнев[12], и, во-вторых, поиск истины. Но для восприятия истины необходимо было просвещение. Проблеме просвещения – в познавательно-воспитательно-историческом смысле – московские масоны отводили одно из важнейших мест.

Розенкрейцерство кружка Шварца и Новикова было своеобразным религиозно-мистическим учением, опиравшимся на христианство, препарированное в соответствии с представлениями века Просвещения о мире как системе законов. Искренняя любовь к Богу – Верховному Строителю Вселенной соединялась с жаждой постичь тайны Божественного замысла, которые, по их предположениям, должны были открыться в высших градусах (степенях) розенкрейцерского учения. Двигаться к раскрытию этих тайн нужно было, "изучая натуру, самого себя" и нравственно совершенствуясь, а также в соответствии с заповедью Христа – любовью к ближнему. "Надо любить ближнего, помогать ему, защищать его, просвещать и спасать человека"[13].

Вся внешняя, открытая обществу деятельность московских розенкрейцеров, собственно, и была исполнением возложенного на себя нравственного долга и обязательств по просвещению, воспитанию, милосердию. Хорошо известна широкомасштабная издательская деятельность Новикова, значение которой трудно переоценить. Его книги, открывающие людям знания, утверждающие высокие христианские истины, взывающие к совести и любви к ближнему, были во многих домах.

(Конечно, существовали также издания, предназначенные исключительно для масонов.) Не менее значительной была огромная воспитательная, педагогическая, просветительная деятельность Шварца – профессора Московского университета, основателя известного в Москве Дружеского общества, не щадившего сил на воспитание у молодежи высоких нравственных понятий. Московские розенкрейцеры 80-х годов громко заявили о себе в обществе и благодаря широкой благотворительности – еще одной стороне практического воплощения в жизнь их идеалов любви, сострадания, следования добру. Для членов братства служение этим идеалам стало органической составляющей их жизни. Поступки, например, Лопухина, когда он, будучи председателем Московской уголовной палаты, проводил и обосновывал самые гуманные наказания, свидетельствуют, что он неизменно отстаивал человеколюбие, справедливость и т.п., хотя верность этим принципам делала его в глазах людей "непослушным, надменным, упрямым и таким, над которым нужно оказать пример строгости"[14].

Круг интересов и деятельность московского братства резко выделяли их в обществе, сосредоточенном преимущественно на земных проблемах, радостях и материальных благах. Их закрытая для непосвященных организация, высокие нравственные установки, издаваемые ими труды и благотворительность заставляли одних считать их "святошами", других – подозревать в стремлении к "вольности"; в щедрой благотворительности недоброжелатели готовы были усматривать желание привлечь на свою сторону народ. Все это не могло оставить равнодушной императрицу Екатерину II, весьма ревнивую к состоянию умов своих подданных, в особенности во второй половине своего правления. В 70-е годы масоны ее еще ничуть не смущали. Она усматривала в их действиях "соединение религиозных обрядов с ребяческими играми"[15]. Но в 80-х императрица интуитивно почувствует в их обращенной к обществу разбуженной совести скрытую угрозу своему монаршему благополучию, хотя в программах и действиях московских масонов и не было никаких противопоставлений правящему режиму. Особенно ее насторожила попытка московских розенкрейцеров вступить в контакт с наследником престола Павлом[16], незаконно оттесненным Екатериной от управления страной. В начале 90-х, после событий французской революции, императрица уже не захочет больше мирно сосуществовать с ними. Книги будут конфискованы, Новикова поместят в Шлиссельбургскую крепость. (Шварц умер еще в 1784 г.) На этом закончится эра московского масонства эпохи Просвещения. XIX в., с другим мировоззрением и другими проблемами, придаст возродившимся московским ложам иной характер.

Пытаясь объяснить природу русской интеллигенции XIX в., исследователи поневоле обращались к XVIII столетию, но не замечали, что именно в нем впервые активно зазвучал призыв к любви к ближнему, что именно в нем впервые пробудилась общественная совесть. И причиной этого стали московские масоны, выдвинувшие на повестку дня нравственно-этические проблемы, прививавшие пробуждавшейся человеческой личности чувство собственного достоинства, чести, совести и способность видеть в другом человеке личность. Их нравственная обеспокоенность, проповедь братской любви, привлечение внимания к ближнему, особенно в условиях крепостнической России, заставили в конце концов задаться "вечным" вопросом: что делать?

Наиболее простой ответ на него в части, ч т о именно делать для людей, существовавших вне идей масонства XVIII в., легко просматривался тоже в пред-

шествовавшем столетии. Земной рай, новый золотой век, который грезился эпохе Просвещения, был для русского сознания в какой-то степени созвучен давней народной мечте о царстве справедливости и правды. Но этот Град Божий в представлениях русской интеллигенции XIX в., задумавшейся о нем вследствие разбуженной московскими масонами "любви к ближнему", но воспринятый сквозь призму вольтеровско-руссоистского Просвещения, будет понимаем, по словам Н.А. Бердяева, как "уравнительная справедливость, общественное добро, народное благо"[17].

Поставленная цель сама и определяла способы ее достижения, а именно борьбу. На путь борьбы подталкивал и пришедший на смену веку Просвещения, – размеренному, стремившемуся представить мир как систему законов в действии, – ищущий, мятежный, обострivший национальные чувства и ломавший интернациональный порядок, – век XIX-й, окрашенный в краски романтизма. "С отроческим неведением жизни и своих сил", как отмечал С. Булгаков, в состоянии, по его же словам, "героического экстаза"[18] русская интеллигенция вступила на историческую арену борьбы за свои идеалы – народное счастье. В свете этой борьбы пытались оценивать и масонов XVIII-го, вдохновивших интеллигенцию XIX в.: "Действия Новикова были крайне осмотрительны, даже робки", его упрекали "в мелочной, медлительной и боязливой осмотрительности"[19].

Вместе с тем, изначально отталкиваясь от таких категорий, как любовь, совесть, добро, русская интеллигенция заняла в сознании человека нишу, сопряженную с религиозными чувствами. Эти высокие категории, склонявшие масонов XVIII в. к духовным исканиям, нравственному самосовершенствованию и к братской любви, в XIX столетии подтолкнули ее на борьбу за земное народное счастье. Интеллигенция XIX в. – атеисты в общепринятом понятии, потому что идеал, к которому они стремились, был не спасение души, а спасение русского народа. Но в смысле занимаемой ниши, а также фанатической преданности излюбленной идее, доведенной до самопожертвования, можно говорить о ее религиозности, с поправкой, согласно С.Л. Франку, что символ веры ее – это благо народа. По его же замечанию, интеллигент – это "воинствующий монах нигилистической религии земного благополучия"[20]. Ряд авторов (П.В. Анненков, Н.А. Бердяев и др.) сравнивали русскую интеллигенцию с религиозным орденом.

Из посвященных анализу русской интеллигенции XIX в. трудов, конечно, все в первую очередь назовут известный сборник "Вехи". Прошли десятилетия, и смысл понятия "русская интеллигенция" изменился настолько, что современное его трактование менее всего можно соотнести с борцами-революционерами, о которых писали "веховцы". Сегодня мы назвали бы интеллигентами самих авторов тех же "Вех", в начале нашего столетия резко осудивших современную им русскую интеллигенцию.

И это не какой-то случайный парадокс, потому что у тех и других есть общее ядро: совесть, неравнодушие, высокое чувство ответственности, в первую очередь за судьбу России и ее народ, что подтолкнуло одних действовать, других размышлять. То есть одно и то же высоконравственное начало породило и борцов-революционеров, и их оппонентов. Таким образом, явления нравственного, этического порядка и составляют родовой признак русской интеллигенции. Это побудительное начало может соединяться с разными направляющими идеями-целями. По этому главному, стержневому, родовому признаку мы почти интуитивно выделяем интеллигенцию наших дней. По этому же признаку мы, безусловно, мо-

жем отнести к русской интеллигенции и московских масонов эпохи Просвещения, еще в XVIII столетии выдвинувших на первый план проблемы нравственного самосовершенствования и совестливого, уважительного отношения человека к человеку, братской любви, подтолкнувших русское общество к восприятию этих истин. Впрочем, исследователи масонства XVIII в. уже назвали масонские братства "первыми кружками русской интеллигенции", предполагая правда, что причиной возникновения масонства было «глубокое сознание общественной опасности и необходимости серьезной борьбы с развращающим влиянием "вольтерьянства"»[21]. Но "вольтерьянкой" была императрица, а у масонов были мирные созидательные духовные задачи.

В XVIII в. разбуженная совесть пыталась строить общечеловеческий духовный храм, основанный на братской любви, помощи и верности, в XIX-м боролась за социальную справедливость, в XX-м размышляла и анализировала. Быть может, поэтому в XX столетии стали говорить о принадлежности к интеллигенции людей умственного труда, а потом – творческого, потому что анализ перешел также в сферу творческих рефлексий. Сейчас, на излете XX-го, разбуженная совесть, свободная от каких бы то ни было больших идей, предстала в своей обнаженности. И всякий раз люди с разбуженной совестью, такие, казалось бы, разные, и есть русская интеллигенция.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Новый энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., [б.г.]. Т. 19. С. 537.
[2] Совершенное воспитание детей, содержащее в себе, молодым знатного рода и шляхетного достоинства людям, благопристойные манеры и приличныя поведения... СПб., 1747. С. 44.
[3] *Херасков И.М.* Происхождение масонства и его развитие в Англии XVIII и XIX в. // Масонство в его прошлом и настоящем: В 2 т. 1914–1915. (Репринт.) М., 1991. Т. 1. С. 19.
[4] Там же.
[5] *Пыпин А.* Русское масонство в XVIII в. // Вестн. Европы. 1867. № 2. С. 92.
[6] Речь идет о первых впечатлениях Елагина. См.: *Семека А.В.* Русское масонство в XVIII в. // Масонство в его прошлом и настоящем. С. 129.
[7] Цит. по: *Лонгинов М.Н.* Новиков и московские мартинисты. М., 1867. С. 096.
[8] Там же. С. 0111.
[9] Записки сенатора И.В. Лопухина. Лондон, 1859. (Репринт.) М., 1990. С. 31.
[10] *Херасков И.М.* Указ. соч. С. 20.
[11] Записки сенатора И.В. Лопухина. С. 33.
[12] Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1902. Т. 36. С. 513.
[13] Из рукописи Шварца "О возрождении". С. 50. Цит. по: *Тукалевский В.Н.* Н.И. Новиков и И.Г. Шварц // Масонство в его прошлом и настоящем. С. 213.
[14] Записки сенатора И.В. Лопухина. С. 16.
[15] Письма Екатерины II к барону Гримму // Рус. архив. 1878. Кн. 3. С. 62.
[16] Вакансия Великого мастера у московских розенкрейцеров оставалась свободной, и есть основания предполагать, что она предназначалась для Великого князя Павла. Письмо от московского братства Павлу возил в 1787 г. архитектор В.И. Баженов.
[17] *Бердяев Н.А.* Философская истина и интеллигентская правда // Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. (Репринтное издание 1909 г.) М., 1990. С. 12.
[18] *Булгаков С.Н.* Героизм и подвижничество // Вехи... С. 41.
[19] *Пыпин А.* Указ. соч. С. 102, 103.
[20] *Франк С.Л.* Этика нигилизма // Вехи... С. 157, 177.
[21] *Семека А.В.* Указ. соч. С. 134.

Н.П. Матханова

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ГРУППЫ В СОСТАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 1840–1860-х ГОДОВ

ТИПЫ ЧИНОВНИКОВ*

Роль и значение чиновничества, в том числе и провинциального, в истории России признаны и исторической наукой, и массовым сознанием. Многие чиновники внесли неоценимый вклад в развитие русской культуры – писатели И.А. Гончаров и М.Е. Салтыков-Щедрин, декабристы И.И. Пущин и Г.С. Батеньков, ученые П.П. Семенов-Тян-Шанский и А.Ф. Гильфердинг. В классическом исследовании П.А. Зайончковского "Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в.", а также в других работах отечественных и зарубежных историков дореволюционных и советских лет – И.М. Страховского, Л.Г. Захаровой, Н.П. Зырянова, В.А. Иванова, С.В. Мироненко, Л.Ф. Писарьковой, М.М. Шумилова, Р. Роббинс-мл. – изучались условия службы, социальный состав, имущественное положение, численность, образовательный уровень чиновничества и отдельных его групп[1]. В содержательной статье Л.Ф. Писарьковой описаны и некоторые распространенные его типы[2]. Нами указывалось на существование особых групп в составе высшей администрации Восточной Сибири середины XIX в.[3] Источники мемуарного и эпистолярного характера демонстрируют значительную пестроту и разнообразие социально-психологического облика провинциального чиновничества, а также заметную взаимосвязь между этим обликом и направленностью профессиональной деятельности. При изучении этого вопроса мы попытались дополнить эмпирические наблюдения методами смежных наук. Оговоримся, что в данном случае мы в понятие "администрация" включаем не всех служащих, а лишь высший слой, входившие в который люди могли реально влиять не только на исполнение, но и на принятие решений. Кроме того, к администрации Восточной Сибири мы относим не только гражданских чиновников, но и военных, участвовавших в управлении регионом.

В современной социологии стратификационную систему, лежащую в основе общепринятого у историков деления чиновничества на группы или слои, принято обозначать термином "этакратический" (от французского и греческого – "государственная власть"). Дифференциация между группами в ней происходит в основном "по их положению во властно-государственных иерархиях (политических, военных, хозяйственных)" и связана "с формальными рангами"[4]. Применительно к российскому чиновничеству такими формально-юридическими рангами являлись чин, должность, ведомство, принадлежность к центральному или местному аппарату управления, происхождение, образование, возраст, старшинство (т.е. срок пребывания) в чине, имущественное положение, вероисповедание и – в неявном виде – про-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 96-01-00295.

© Н.П. Матханова, 2000

фессиональная квалификация. Они признавались законодательно и фиксировались в официальных документах, прежде всего в формулярных и послужных списках. Подобное деление давно и успешно применялось историками, хотя и без использования указанной терминологии.

Нами был предпринят анализ состава административного корпуса Восточной Сибири середины XIX в. не только с точки зрения этакратической стратификации, но и с позиции стратификации культурно-нормативной. "Здесь дифференциация, – как отмечают современные социологи, – построена на различиях уважения и престижа, возникающих из сравнения образов жизни и норм поведения, которым следует данный человек или группа"[5]. В основе социального деления при таком подходе лежат такие критерии, как нормы поведения, стиль жизни, манеры общения и этикет, особый язык. Причем происходит не только разграничение на "своих" и "чужих", но и ранжирование групп[6].

Эти группы мы будем называть социокультурными. От таких групп следует, как нам кажется, отличать малые социальные группы, или контактные общности людей, находившихся в приятельских либо дружеских отношениях, часто общавшихся, поддерживавших друг друга по службе. Члены малых социальных групп могли принадлежать и к одной социокультурной группе – это близкие, но не тождественные понятия. Социокультурные группы объединяли людей, которые могли быть лично неблизки и даже незнакомы, но придерживались одной системы норм и ценностей. В быту и в художественной литературе они назывались "людьми одного круга". Принадлежность к одной социокультурной группе предполагает одинаковый или близкий социальный статус, происхождение, имущественное положение, образовательный и культурный уровень, типологию досуга, определенный стиль жизни и поведенческую модель.

Изучение и тех, и других групп возможно при использовании эпистолярных и мемуарных источников. Они позволяют судить о взглядах, образе жизни, интересах, круге чтения, симпатиях и антипатиях, об основных ценностных ориентациях и установках многих представителей администрации. Для региона Восточной Сибири наиболее важны в этом отношении прежде всего обширный корпус мемуаристики, сложившийся вокруг личности Н.Н. Муравьева-Амурского, и сохранившийся в фамильном архиве Корсаковых уникальный эпистолярный комплекс. Региональные (Восточная Сибирь в ее административных границах середины XIX в.) и хронологические (1840–1860-е годы) рамки работы во многом обусловлены именно богатством и сохранностью источников. Ценную информацию содержат также и жандармские донесения, и даже официальные губернаторские и генерал-губернаторские отчеты. Необходимым и важнейшим источником являются, разумеется, формулярные и послужные списки.

Источниковая база не позволяет установить все существовавшие группы, но дает возможность назвать довольно большой набор подобных групп и выявить их персональный состав, основные господствовавшие в них нормы. Источники неравномерно освещают культурно-нормативную стратификацию администрации в разные периоды. Наиболее полно они позволяют реконструировать ситуацию применительно ко времени управления краем Н.Н. Муравьевым-Амурским (1848–1861), наименее – к периоду генерал-губернаторства В.Я. Руперта (1837–1847).

Современники характеризовали подобные группы, чаще всего не различая выделяемых нами малых социальных и социокультурных групп. Так, в воспоминаниях В.И. Вагина фигурируют "дельцы рупертовского времени" и "золотая моло-

дежь"[7]. Б.В. Струве выделяет "сибирских самородков" и перечисляет членов "нашего круга"[8]; в группу "поклонников новых порядков и учреждений" с понятным политическим подтекстом подобной формулировки зачисляет себя П.А. Кропоткин[9] и т.д.

Эти и подобные социокультурные группы существовали, как можно заметить, на пересечении нескольких линий, разделявших административный корпус. К числу таких линий можно отнести: приезжие – местные; дворяне – не дворяне (разночинцы); военные – штатские; образованные – необразованные; пользовавшиеся льготами и протекцией – начинавшие с нижних ступеней канцелярской лестницы и прошедшие всех их, не пропуская.

Традиционным для Сибири (и не только для нее) было деление на приезжих из центра, с более высоким сословно-социальным статусом, и местных – более низкого происхождения, менее обеспеченных материально, пользовавшихся меньшим доверием и имевших более слабые связи с центром, но сильных своими родственными и иными связями с местным населением, главным образом с его верхушкой. О подобном делении применительно к XVII в. писали В.А. Александров и Н.Н. Покровский: "Обычно новый воевода отправлялся из Москвы, особенно в крупный город, не один, а с свитой своих будущих помощников (дьяки и письменные головы)"[10]. В то же время, по замечанию и этих авторов, и Н.Ф. Демидовой, "основное пополнение приказной группы здесь (в Сибири. – *Н.М.*) происходило за счет включения в нее выходцев из различных слоев русского населения Сибири"[11].

Уроженцы Сибири и в XIX в. довольно редко достигали высших ступеней иерархической лестницы, наполняя главным образом ее низшие и частично средние этажи. В рассматриваемое время не было ни одного губернатора из сибиряков; уроженцами Сибири были 5 из 15 председателей губернских и областных правлений, 1 из 8 председателей казенных палат, 2 из 7 председателей губернских судов, 4 из 24 членов Совета Главного управления Восточной Сибири, 2 из 9 областных и градоначальников. Среди чиновников по особым поручениям и адъютантов сибиряков было еще меньше: 1 из 10 при Руперте, 7 из 58 при Муравьеве и 3 из 34 при Корсакове. Все остальные, огромное большинство высокопоставленных чиновников и офицеров, либо приезжали вместе с очередным генерал-губернатором, либо выдвигались им же из ранее приехавших, либо присылались петербургскими властями уже в сравнительно высоких чинах и на значительные должности. При этом такие должности не доставались местным уроженцам даже с большим опытом и стажем. Порой это было обусловлено вполне законными причинами: более высоким уровнем образования приезжих, их более высоким сословным статусом. Но, по мере того как развивалось самосознание сибиряков, подобная ситуация все острее воспринималась как явная несправедливость. Не случайно современники с удовлетворением отмечали успехи местных уроженцев в карьере.

Особо выделялась среди приезжих группа "золотой молодежи" из числа приближенных Н.Н. Муравьева. В нее входили приезжие дворяне, как штатские, так и военные. Характерные для группы привычки и нравы в концентрированном и даже утрированном виде отражали общие отличия приезжих. Неприязненное отношение к "золотой молодежи" нередко переносилось сибиряками на всех приезжих. Перешедшие из столичной гвардии адъютанты генерал-губернатора, молодые самонадеянные чиновники с петербургскими связями, они держали себя по отношению к местному обществу изолированно и надменно. Светские обычаи и нормы поведения, высокомерное отношение к купцам и чиновникам недворянского происхо-

ждения, к дамам их круга – все это породило оскорбительную кличку "навозные". Признанным лидером этой группы, ярко воплотившим свойственные ей черты, был Федор Андреевич Беклемишев.

Ф.А. Беклемишев приобрел шумную и скандальную известность после своей дуэли с чиновником М.С. Неклюдовым, закончившейся гибелью последнего. Событие всколыхнуло все местное общество, отразилось во множестве писем и воспоминаний и было довольно подробно освещено в заграничных герценовских изданиях и в позднейших исторических исследованиях. Но дуэль случилась в 1859 г., когда Беклемишев уже поднялся до пика своей сибирской карьеры, заняв должность члена Совета Главного управления, приехал же он в Сибирь в 1851 г. молодым выпускником Лицея и начинал помощником столоначальника. Через три года бывший лицеист стал верхнеудинским земским исправником – редкое явление в истории российского чиновничества, хотя в Сибири при Муравьеве были еще два подобных случая.

О Беклемишеве-исправнике сохранились прямо противоположные свидетельства. В "Записках декабриста" Д.И. Завалишина он предстает законченным негодяем, человеком без чести и совести, готовым на любую низость ради карьеры, известным всякого рода насилиями над крестьянами, особенно из старообрядцев[12]. М.И. Венюков же вспоминал, что Беклемишев был "человек дела, ненавидевший паразитов", энергичный, безусловно честный, имевший гражданское мужество говорить правду даже тогда, когда она могла не понравиться. По словам Венюкова, он сам слышал от верхнеудинских староверов, что "время исправничества Беклемишева в Верхнеудинске было для них золотым веком", что "душевный человек Федор Андреич... никаких поборов сам не брал и другим не дозволял", не давал их в обиду и все неправды разбирал быстро и решительно. Нет оснований не доверять общим оценкам этого видного русского географа и публициста, но представляется неправдоподобным утверждение Венюкова, что он видел в крестьянских избах портреты Беклемишева[13].

В формулярном списке зафиксировано стремительное восхождение Беклемишева по лестнице чинов и наград: приехав в 1851 г. в Сибирь титулярным советником, в 1852 г. он получил чин коллежского асессора "за отличие", в 1854 г. – следующий чин, надворного советника "вне правил за особые труды", через год – опять-таки за отличие – коллежского советника. Таким образом, он поднялся на три чина всего за четыре года вместо положенных шести–девяти. Впечатляет и перечень полученных за это время наград: в 1855 г. – орден Св. Анны 3-й степени, в 1856-м – Св. Владимира 4-й степени, в 1858-м – Св. Станислава 2-й степени. Последнего повышения – чина статского советника – генерал-губернатор Н.Н. Муравьев добился для своего любимца в 1861 г., уже после нашумевшей дуэли и осуждения ее участников. В том же году Беклемишеву пришлось уехать из Сибири. Отношение к нему противников Муравьева-Амурского запечатлено в анонимной сатирической "Оде на отъезд Графа Амурского": "Тут Беклемишев, что лозами / плебеев до смерти дерет. / Крестьяне Фединьке игрушка, / Их можно как скотину бить, / И если тихо возят пушки, – / К ним привязав, их уморить"[14]. Неприязнь местных купеческо-чиновничьих кругов, к которым, очевидно, принадлежал автор "Оды", к этому чиновнику была вызвана и его пренебрежительным отношением к общественному мнению сибиряков, принятым среди них обычаям и нормам. Особенно наглядно это проявилось после дуэли, которая была воспринята местным населением не как печальное, но в определенной ситуации неизбежное следствие соблюдения

светских правил, а как преднамеренное убийство. Это общее убеждение подкреплялось упорно циркулировавшими слухами о нарушении во время дуэли ее правил. Поведение же Беклемишева и его друзей вызвало возмущение не только среди людей несветских, не разделявших предрассудков дворянства, но и у близкого во многих отношениях к "золотой молодежи" Б.А. Милютина. "В самый день поединка Беклемишев и секунданты его имели бестактность, хорошо их характеризующую, – вспоминал он, – почти что публично, так как квартира Беклемишева была на Большой улице, имела балкон, выходивший на улицу, – кутить. Оргия их происходила на балконе"[15].

Следует отметить, что многие из числа "золотой молодежи" сделали заметные успехи по службе, но никто из них не достиг заветного губернаторского поста, а большинство не слишком-то задерживалось в Сибири.

Далеко не все приезжие вели себя столь вызывающе, но для большинства из них было типично следование привычным для них светским нормам и обычаям. При этом были среди них люди, противоположные "золотой молодежи" по своим идейным устремлениям и человеческим качествам. К ним можно отнести Андрея Осиповича Стадлера – одного из трех молодых чиновников, сопровождавших Н.Н. Муравьева в его первый приезд в Сибирь и самых близких к нему.

А.О. Стадлер окончил Московский университет, в студенческие годы был дружен с К.Д. Кавелиным, близок к известной в либеральных кругах семье Свербеевых. После университета он служил в Грузии, в канцелярии грузинского гражданского губернатора, и редактировал газету "Закавказский вестник". Затем перешел чиновником по особым поручениям к тульскому губернатору. В Туле Стадлер прославился борьбой с взяточничеством и злоупотреблениями, за что, по словам А.С. Хомякова, имение которого находилось в этой губернии, "был ненавидим всеми тульскими плутами", а самим Хомяковым причислен к числу "замечательнейших людей, воспитанных Московским университетом"[16]. Тульский губернатор Н.Н. Муравьев оценил Стадлера и пригласил его с собой в Восточную Сибирь, генерал-губернатором которой был назначен в 1848 г. В Иркутске Андрей Осипович стал членом Совета Главного управления и пользовался полным доверием генерал-губернатора, став одним из самых близких его подчиненных. По воспоминаниям Б.В. Струве, Стадлер отличался блистательными способностями и знанием дела, замечательной наблюдательностью, но "не щадил никого своим острым языком и насмешками нажил себе множество врагов"[17]. Похожую характеристику давал ему и М.С. Корсаков в письме к своим родителям: "Стадлер... очень умный, не щадит никого в разговоре, очень похож в этом случае на Мордвиновых, и видит все с дурной стороны"[18]. Сравнение с Мордвиновыми, которые "видят все с дурной стороны", выглядит весьма многозначительным, принимая во внимание известную склонность некоторых из молодых членов этой семьи к увлечению социальными и либеральными идеями[19]. В одном из немногих сохранившихся писем А.О. Стадлера к Е.П. Ковалевскому упоминалось о петрашевцах Черносвитове и Спешневе, причем о Черносвитове Стадлер писал: "Не могу понять, как такой человек мог попасть в такое дело. Хвастун, болтун и с первых двух слов весь на ладони, так что остается только отвернуться"[20]. Довольно подробная и любопытная характеристика была дана А.О. Стадлеру в очередном жандармском донесении в конце пребывания этого чиновника в Красноярске. "Замечательный по уму, образованию и сведениям, человек находчивый, способный и многосторонний, здравый, определительный и увлекательный, способен приобретать себе приверженцев, в особенности между

молодежью, на которую он действует обаятельно; характера неспокойного, любит интриги и не упускает случаев развивать их под рукою. ⟨...⟩ Как чиновник, замечательно дельный, но, как человек частный, требует особенного за ним наблюдения"[21].

Сибирский жандарм был весьма проницателен: через несколько лет, покинув не только Сибирь, но и Россию, Стадлер вступил в переговоры с известным эмигрантом князем П.В. Долгоруковым. Программа задуманного ими издания должна была быть чисто либеральной. "Не думая вовсе о революции и о ниспровержении всех основ общества, – писал Андрей Осипович своему давнему товарищу К.Д. Кавелину, – не будучи даже красным республиканцем, не только социалистом, очень возможно думать иногда о переменах к лучшему, о реформах, о преобразованиях. У нас из этой возможности рождается целая литература, вроде твоих статей, вроде тех, о которых ты говорил мне. ⟨...⟩ Вот этими-то произведениями, умеренными, но прогрессивными, свободными без задора, либеральными с уважением к первым началам общества и благопристойности, – я хотел бы служить органом за границею"[22]. Этот проект, как и большинство "умеренных, но прогрессивных" либеральных начинаний, не был осуществлен. Но в бытность свою на ревизии в Минусинском округе Стадлер добился рассмотрения в Совете Главного управления дела об отставном коллежском советнике Коновалове, обвиняя его в жестоком обращении со своими крепостными людьми. "За отягощение их работами в нарушение законом установленных правил, дурное их содержание и приведение в бедность" на помещика, заставлявшего вывезенных из Европейской России крепостных работать на стекольном заводе, была "наложена на управление теми людьми опека"[23].

Блистательно начавшаяся сибирская карьера Стадлера внезапно прервалась: в 1851 г. он был отправлен из столичного Иркутска в Красноярск на формально более высокое, но менее важное по отдаленности от генерал-губернатора место председателя губернского суда. Современники высказывали несколько версий о причинах постигшей его опалы, но большинство сходилось на том, что в основе ее было противодействие какому-то из замыслов Муравьева. Можно предположить, что не столько умеренно-либеральные взгляды, сколько само наличие твердых, устойчивых, самостоятельных убеждений не позволило А.О. Стадлеру, при всей его честности, способностях и бескорыстии, сделать успешную карьеру.

Одним из приезжих рупертовского времени, сумевшим остаться на службе и при Муравьеве, несмотря на близость к прежнему генерал-губернатору, был П.Н. Успенский. Карьера и биография этого чиновника подробно характеризуются нами в специальной статье[24]. В отличие от "золотой молодежи" он не был ни дворянином, ни выпускником привилегированного учебного заведения и получил высшее образование в Духовной академии, а практический опыт службы – в жандармском ведомстве. Подобное прошлое (за исключением последнего обстоятельства) было характерно и для многих других приезжих – разночинцев, окончивших гимназии, семинарии, Главный педагогический институт, Московский и Казанский университеты. Такие люди быстрее и легче сходились с местным обществом и местными чиновниками.

Но со временем, после нескольких лет пребывания в крае, многие прежние "чужие" становились "своими", сливались с местной элитой, чему обычно способствовали распространенные в XIX в. браки дворян-чиновников с дочерьми богатых сибирских купцов и золотопромышленников. При Руперте подобное произошло с ближайшим к нему чиновником по особым поручениям К.Я. Дараганом, который

женился на дочери красноярского 1-й гильдии купца и золотопромышленника И.К. Кузнецова, и с адъютантом генерал-губернатора Я.С. Безносиковым, жена которого была дочерью золотопромышленника Н.Ф. Мясникова. Были такие и из приезжих муравьевского времени: Н.В. Буссе, Б.К. Кукель, Е.В. Бюцов и Н.С. Лавров женились на дочерях местных чиновников, ранее сроднившихся и сблизившихся с купеческой средой. Многие из адъютантов и чиновников по особым поручениям М.С. Корсакова также вступили в брак с дочерьми сибирских богачей: П.А. Сиверс – с Е.И. Базановой, М.Р. фон Стенбок – с Пермикиной, А.Л. Шанявский – с Л.А. Родственной и т.д.

Таким образом, деление по принципу "приезжие – местные" накладывалось на более генерализованное "дворяне – не дворяне", но не совпадало с ним. Среди местных чиновников – уроженцев Сибири, естественно, было значительно меньше дворян. К тому же местное дворянство было, как правило, малоимущим и беспоместным (единственным помещиком среди чиновников-сибиряков был И.Г. Родюков, владевший несколькими десятками ревизских душ и тысячью десятин в Енисейской губернии[25]). Более типичными в этой группе были люди вроде А.М. Карпинского или Н.Я. Каргопольцева.

Первый из них происходил "из духовного звания", окончил Тобольскую семинарию, затем преподавал в ней. Выйдя из духовного сословия, он служил в департаменте горных и соляных дел министерства финансов. Получив чин коллежского регистратора, в 1817 г. Карпинский перевелся письмоводителем к начальнику Колывано-Воскресенских заводов, а через 13 лет определился в Томское губернское общее управление. Здесь он дослужился до должности старшего советника и чина коллежского советника. С 1842 по 1845 г. Александр Михайлович Карпинский был членом Иркутской полевой провиантской комиссии военного министерства и в этой должности был удостоен чина статского советника. Затем он принимал участие в ревизии сенатора И.Н. Толстого и заслужил одобрение ее главы. По его рекомендации Карпинский был назначен председателем иркутского губернского правления, что и стало вершиной его карьеры[26].

Выходец из обер-офицерских детей, Николай Яковлевич Каргопольцев начал свою карьеру в 1805 г. с должности подканцеляриста "по Омским городническим делам", затем служил в тобольской и омской полиции и судах, в омском областном правлении. В 1826–1828 гг. он подвизался в канцеляриях департамента внутренней торговли министерства финансов и Сибирского почтамта, в 1829–1835 гг. был советником Тобольской казенной палаты, затем – иркутского губернского суда и иркутского губернского правления. Семь лет, с 1839 по 1845 г., Каргопольцев был иркутским губернским прокурором, вершиной же его карьеры стали должность якутского областного начальника и чин статского советника.

Эти люди, пройдя по всем ступеням иерархической лестницы и через многочисленные канцелярии, достигли не только высоких, но и самостоятельных мест. Однако их биографии явно позволяют заметить еще одну черту, разделявшую администрацию по другому признаку.

Это – деление на начинавших с нижних ступеней канцелярской лестницы, прошедших все их, не пропуская, и пользовавшихся льготами и протекцией. Оно было связано с огромным значением канцелярской деятельности в функционировании системы управления. В воспоминаниях нижегородского чиновника, а впоследствии сенатора М.П. Веселовского[27], используемых в статье Л.Ф. Писарьковой, приводится несколько обычных для российского провинциального чиновничества типов.

Особенно подробно мемуарист характеризует "тип умного и даровитого подьячего, вертевшего своим начальником", и близкого к нему "чиновника особых поручений при губернаторе, не имевшего никакого образования, но обладавшего практической сметкой"[28]. "Такого типа чиновники, – замечает Писарькова, – как правило (секретари или столоначальники), обычно начинали службу с низших канцелярских должностей и, постепенно поднимаясь по служебной лестнице, накапливали огромный опыт практической работы, в совершенстве постигали все тонкости делопроизводства. Обладая при этом определенными способностями и умом, они становились незаменимыми для старших чиновников из дворян, которые службу начинали чаще всего в классных чинах и не особенно вникали в ее тонкости"[29]. В.И. Вагин в конце XIX в. называл подобных профессионалов канцелярского дела "дельцами прежнего времени". В этой характеристике было и указание на главное содержание их деятельности, так как понятие "делец" в описываемое Вагиным время (середина XIX в.) имело совершенно определенный и отличный от современного смысл, о чем говорит и приводимое М.Н. Веселовским типичное восклицание: "О, это был умница, делец! Бывало, от любой министерской бумаги сумеет отписаться"[30]. Чиновников подобного типа – канцелярских дельцов и умельцев – было во все времена немало.

При В.Я. Руперте и Н.Н. Муравьеве таким "дельцом" был начальник отделения Главного управления Восточной Сибири Николай Егорович Тюменцев. Он был сыном казачьего сотника (по другим сведениям, сыном простого казака), начал свою канцелярскую карьеру с низшей должности копииста палаты Иркутского гражданского суда, через год стал писцом и лишь через шесть лет службы получил первый классный чин коллежского регистратора[31]. Иркутскую гимназию он окончил, уже служа в губернаторской канцелярии. Тюменцев был чиновником по особым поручениям и одним из самых близких к иркутскому губернатору начала века, Н.И. Трескину, людей; его записки о пребывании Сперанского в Сибири В.И. Вагин использовал в своем труде[32]. Мемуаристы приводили его в пример как выходца из сибирских низов, не замененного Муравьевым кем-либо из приехавших из Европейской России молодых образованных дворян. В воспоминаниях Вагина приводилась история конфликта Тюменцева с Муравьевым. Приехав в Иркутск, новый генерал-губернатор попытался уволить Тюменцева, как и некоторых других доставшихся ему от предшественника чиновников, но отступил после данного ему отпора. А затем и признал Тюменцева необходимым для себя и одним из лучших своих подчиненных. Возможно, что отношение Муравьева к нему изменилось в лучшую сторону после того, как он узнал о давней вражде Тюменцева с иркутским губернатором Пятницким. Но скорее всего влияние Тюменцева при Муравьеве основывалось на том же, на чем и при Руперте, – хорошем знании канцелярского дела, "быстром, находчивом уме", "энергической деятельности", твердом характере[33]. При Руперте и при Муравьеве он был членом Совета Главного управления Восточной Сибири, начальником его III (хозяйственного) отделения. Первым из уроженцев Восточной Сибири Тюменцев достиг "генеральского" чина действительного статского советника, что особо отмечала "Иркутская летопись"[34].

Таким же специалистом канцелярского дела был и А.Д. Лохвицкий, начинавший при Муравьеве и сделавший блистательную карьеру уже при его преемнике, М.С. Корсакове. Формально он принадлежал к дворянству, но к дворянству "приказному": его отец начинал службу с подканцеляриста таганрогской градской полиции, сумел достичь только чина титулярного советника и должности пристава та-

ганрогской полиции[35]. Сам Аполлон Давыдович Лохвицкий "по окончании курса наук в Московском дворянском институте" в 1841 г. получил право поступления в российские университеты без экзаменов (т.е. имел среднее образование), начал службу переводчиком иностранных бумаг в канцелярии таганрогского градоначальства, уже через год став коллежским регистратором. Еще через три года он перешел на службу в Западную Сибирь, где довольно быстро продвинулся до столоначальника отделения Главного управления[36], а затем и чиновника по особым поручениям. В 1852 г. Лохвицкий перевелся в Восточную Сибирь, став здесь вскоре правителем канцелярии Камчатского военного губернатора. В Петропавловске на его долю выпало совершенно необычное для канцелярского служаки участие в обороне порта при нападении на него англо-французской эскадры[37]. За участие в этом деле он был награжден и, что было не менее важно для карьеры, избран курьером для донесения о победе генерал-губернатору. В 1856 г. Лохвицкий был назначен старшим советником Забайкальского областного правления – вице-губернатором обширной области, губернатор которой, М.С. Корсаков, был самым близким к Муравьеву человеком и бóльшую часть времени находился вне области. Таким образом Лохвицкий становится фактическим управляющим областью. Это был важнейший шаг в его карьере – и потому, что он приблизился к будущему генерал-губернатору, и потому, что выбился из круга незаметных канцелярских деятелей.

В "Записке о заслугах старшего советника Забайкальского областного правления коллежского советника Аполлона Лохвицкого", автором которой был сам ее герой, отмечаются наиболее важные для него моменты его профессиональной деятельности. "Много способствовал к улучшению порядка в производстве дел областного правления и правильного направления их" – вот что считал он главной своей доблестью. А еще и то, что "неослабным наблюдением за действиями присутственных мест и земским начальством способствовал к уменьшению накопившихся податных недоимок"[38]. Следующей стала должность начальника отделения Главного управления, в котором Лохвицкий занял место умершего в 1856 г. Н.Е. Тюменцева. И наконец, в 1865 г. он назначается якутским, а в 1868 г. – енисейским губернатором. Таким образом, карьера этого чиновника должна быть признана не только успешной, но, можно сказать, и блистательной[39].

К группе приказных дельцов может быть отнесен и уроженец Сибири Дмитрий Родионович Большаков, его карьера также была связана главным образом с канцелярскими заслугами. Казак по происхождению, он попытался воспользоваться довольно обычным способом выхода из своего сословия, став учителем Читинской казачьей школы. Но, уже перейдя на службу в министерство внутренних дел и заняв место помощника столоначальника, а затем и столоначальника канцелярии Иркутского общего губернского управления, он все еще оставался хорунжим и только в 1843 г., через девять лет после начала службы, был наконец произведен в первый классный чин. Еще через три года Большаков перешел столоначальником в Главное управление Восточной Сибири, но, вероятно, был недоволен темпами карьеры и добился перевода в столицу, в департамент общих дел министерства внутренних дел. В 1857 г. он вернулся в Иркутск уже на более престижную должность младшего чиновника особых поручений при казачьем отделении Главного управления. Своеобразным "трамплином" для карьеры Большакова опять-таки стала должность старшего советника Забайкальского областного правления, позволявшая приблизиться к М.С. Корсакову, – в 1863 г., пробыв на предыдущем месте всего два года, он назначается членом Совета Главного управления[40].

Своеобразным стержнем, коренной общей отличительной чертой чиновников подобного типа – "дельцов" – оставались низкое происхождение, сравнительно невысокий образовательный и культурный уровень, долгое и последовательное продвижение по всем (начиная с нижней) ступеням иерархической лестницы, сугубо канцелярски-бюрократическое содержание и соответствующий стиль профессиональной деятельности. Характерные для них нравственные ориентиры и культурно-бытовые нормы соответствовали традициям чиновничьей среды. По замечанию Д.И. Завалишина, Тюменцев откровенно признавал, что и при Муравьеве продолжает брать с откупа. Родственник и ближайший помощник Муравьева, М.С. Корсаков на вопрос Завалишина, почему борющийся с коррупцией генерал-губернатор не сменит его, отвечал: "Да вот видите ли, он человек нужный, он один в Главном управлении знает, как следует писать бумаги, особенно к высшим лицам и учреждениям"[41].

Влияние времени сказывалось на социально-психологическом облике членов групп. Эпоха реформ накладывала свой отпечаток даже на "дельцов". Так, главной заслугой Большакова стали его готовность и умение участвовать в печатной полемике, отстаивая интересы своего патрона на страницах газет. Сообщая М.С. Корсакову о подготовке им очередной статьи с возражениями Завалишину, Большаков просил его превосходительство "прочесть ее до отдачи в печать" – "нет ли в ней чего-либо неправильного". О характере своеобразного сотрудничества генерал-губернатора и его подчиненного говорит следующая фраза из письма: "Быть может, я послал бы еще дополнительные возражения на статьи Завалишина, поэтому, Ваше Превосходительство, велите дать мне знать, в каком журнале или газете будет напечатана моя статья, чтобы туда же посылать и дополнения"[42].

Судя по наблюдениям В.И. Вагина и частоте упоминания имен разных местных чиновников в письмах к М.С. Корсакову, люди описываемого круга в середине XIX в. так и не смешивались в неслужебной жизни с представителями приезжего дворянства. Разумеется, они встречались на официальных приемах, крупных торжествах, но частная жизнь протекала в разных кругах. Ситуация стала меняться только в начале 1860-х годов, когда появилась новая группа образованных молодых людей, в среде которых прежнее социально-сословное деление заменялось идейным, о чем убедительно свидетельствуют дневники и письма П.А. Кропоткина. Но об этом речь пойдет ниже.

Деление по принципу "канцелярские дельцы – привилегированные" близко к делению "не получившие образования – образованные", но не совпадает с ним. Среди канцелярских дельцов были и образованные, и чиновники без всякого образования, выслужившиеся из канцеляристов, как и среди тех, кто получил среднее и высшее образование, встречались приверженцы и любители канцелярского дела и пренебрегавшие этой стороной службы. Со временем неизбежно менялось само содержание понятия "образованные" применительно к деятелям администрации. Для начинавших свою служебную деятельность в начале и даже в первой половине XIX в. среднего образования (гимназия, семинария, кадетский корпус, не говоря уже о Пажеском) было достаточно для того, чтобы зачислить их в разряд людей образованных. Это положение сохранялось и позже по отношению к людям, уже достигшим солидных чинов и должностей. Из тех чиновников, кто начинал свою карьеру в 1850-е и более поздние годы, образованными могли считаться лишь имевшие высшее образование, т.е. окончившие университеты, лицеи, Училище правоведения, Академию Генерального штаба или офицерские классы Главного

инженерного училища. Понятие же специального, профессионального образования вообще начало проникать в среду провинциального чиновничества лишь к концу 1850-х годов. Об этом свидетельствует и привычка генерал-губернатора Н.Н. Муравьева – впрочем, не его одного – давать поручения своим подчиненным, не принимая во внимание ни их официальной должности, ни полученной ими в учебном заведении подготовки, о чем вспоминали Б.В. Струве и А.И. Заборинский[43]. То же самое, но применительно к более позднему времени писал и Б.А. Милютин[44].

Типичным для среды образованных людей дореформенного периода был ученый-любитель, дилетант в лучшем, старом смысле этого слова, Илларион Сергеевич Сельский. Он был одним из немногих чиновников рупертовского времени, имевших университетское образование, являлся "правителем дел Сибирского отдела ИРГО и действительным членом ВЭО, Общества сельского хозяйства, Российского общества любителей садоводства и других ученых обществ"[45]. Купеческий сын, Сельский в 1831 г. окончил Московский университет и после двух лет работы в канцелярии министерства финансов перешел на службу также по финансовой части в Восточную Сибирь: сначала в Иркутскую казенную палату (чиновник по особым поручениям при соляном отделении), затем – очень ненадолго – в экспедицию о ссыльных Иркутского губернского правления, несколько лет служил комиссаром по развозу соли Забайкальского края[46]. В 1839 г. Сельский стал членом Совета Главного управления от министерства финансов и формально оставался в этой должности всю жизнь. Как доносил начальник 8-го округа Корпуса жандармов генерал Фалькенберг, Сельский, "будучи родственником гражданского губернатора, вкрался к генерал-губернатору"[47]. В жандармском донесении 1842 г. приводились порочащие Сельского факты: он "имел под чужим именем лавку в городе и держал до 10 торговок, которые разносили по городу камни, приобретаемые им непозволительными средствами"[48]. Несколько раз в доносе подчеркивалось корыстолюбие Сельского, утверждалось, что он "вообще к приобретению денег готов на всякие низости"[49]. Трудно сказать, насколько эти обвинения были обоснованны и справедливы. Во всяком случае, они не повредили карьере Сельского: Муравьев, обычно не склонный излишне щадить проштрафившихся любимцев прежнего генерал-губернатора, оставил его в должности. Возможно, что снисходительное отношение к Сельскому было обусловлено и его контактами с декабристами Бестужевыми, С.П. Трубецким, А.В. Поджио и др. (это обстоятельство заставляет усомниться и в справедливости жандармских обвинений), а также и намерением Муравьева использовать обширные познания этого чиновника, особенно в географии и истории Сибири. М.И. Венюков писал о репутации Сельского и снисходительном отношении к нему Муравьева применительно к концу 1850-х годов: «Он (Сельский. – *Н.М.*) возбуждал насмешки своим скопидомством, но никто не смел бы сказать, что им что-либо приобретено нечестным путем... Кроме разве рукописей, про которые Н.Н. Муравьев как-то говорил мне на Зее, что "если распорядиться немного деспотически с Илларионом Сергеевичем, то у него можно открыть немало вещей из якутских и других архивов..." Может быть, даже почти наверное так, но хищничества Сельского не имели характера личного присвоения, а служили на пользу науки, спасая от забвения и гибели многие интересные документы»[50]. В другой редакции своих мемуаров Венюков оправдывал подобное поведение Сельского иначе: «Он относился к "извлеченным" таким образом научным документам как к святыне, а в провинциальной жизни это большая заслуга и редкость»[51]. Однако не все

были столь снисходительны, и в сатирической "Оде на отъезд графа Амурского" о Сельском было сказано: "Архива нашего грабитель"[52].

При Муравьеве первоначально Сельский не входил в число особо приближенных к генерал-губернатору и вообще значительных лиц. Тот же Венюков вспоминал: "Как член Совета Главного управления, он едва ли имел серьезное влияние на ход дел в Сибири, потому что боялся Муравьева, но все же лишнею спицею в колеснице не был"[53].

Содержащийся в одном из писем Сельского рассказ об именинах владельца иркутской аптеки Диннесса весьма любопытен и для характеристики широты общения Сельского – от князя Рюриковича, пусть временно оказавшегося в опале (Я.Б. Лобанова-Ростовского) до скромного провинциального аптекаря, – и для истории обыденной жизни[54]. Среди перечисляемых им гостей были купцы, чиновники из сибиряков и никого из генерал-губернаторского окружения или других значительных лиц из числа приезжих – эти круги почти не пересекались, хотя сам Сельский бывал и в тех, и в других и в последние годы был известен как "присяжный устроитель парадных обедов"[55].

В Иркутске у Сельского был свой сад, и, как писал Илларион Сергеевич Н.А. Бестужеву, на иркутской выставке огородных культур "за арбузы получил первый приз Муханов, за дыни – Поджио, ⟨...⟩ я получил приз за георгины и китайскую чайную розу"[56]. В 1849 г. Сельский просил отправлявшегося в Китай чиновника министерства иностранных дел Е.П. Ковалевского привезти произведения "изящной флорикультуры", особенно пионы, орхидеи и цитрусовые. "Чем более вывезете видов, тем более окажете услуг ученым и неученым. ⟨...⟩ Я первый прокричу от Ангары до Невы о знаменитом путешественнике, уделившем нам от своих избытков хотя малую толику"[57]. Как сообщалось в некрологе Сельскому, "покойный высылал семена, корни и луковицы сибирских растений, интересовавших ботаников, садоводов и сельских хозяев"[58].

Еще более страстным было увлечение И.С. Сельского историей Сибири. У него был особый вкус и интерес к архивным разысканиям. Еще в 1836 г., будучи по служебным делам в Нерчинске, он "между служебными занятиями" разбирал нерчинский архив[59], а в уже цитировавшемся письме к Ковалевскому просил: "Не откроете ли Вы что-нибудь нового из бумаг Пекинского нашего архива", т.е. архива Русской духовной миссии в Пекине. Дальнейшие советы свидетельствовали о подготовленности и осведомленности автора письма, советовавшего обратить внимание на маньчжурские источники и особенно на "распоряжения Кханси" (Кан-си. – *Н.М.*), это важно для параллели с нашими историческими материалами тех же годов"[60].

Профессиональный характер осведомленности Сельского доказывает его "Записка об истории проникновения России в Сибирь и на Дальний Восток и установления границы между Россией и Китаем", позже представленная Н.П. Игнатьеву и сохранившаяся в его архиве. В ней прослеживается, с учетом всех достижений исторической науки того времени, история продвижения русских на Дальний Восток, их отношений и соглашений с китайцами[61]. Еще в 1850 г. Муравьев поручил И.С. Сельскому "заняться образованием" архива старых дел при Главном управлении. Он "осмотрел почти все описи архивов Восточной Сибири", обратив особое внимание на дела о русско-китайских отношениях[62]. Вероятно, способность обеспечить историческое обоснование прав России на воссоединяемые с ней по Айгунскому трактату земли и делала Сельского одним из незаменимых и необходимых Му-

равьеву людей. В формулярном списке Сельского особо отмечено его "участие в снаряжении ученых экспедиций для описания Восточной Сибири"[63].

И.С. Сельский был назначен заведовать делами Архива Главного управления Восточной Сибири и занимался "разбором и приведением в порядок старых дел до периода царствования Екатерины II"[64]. Именно как "заведывающий всеми архивами Восточной Сибири" И.С. Сельский, по поручению иркутского губернатора К.К. Венцеля, отвечал русскому военному историку генерал-майору А.В. Висковатову. На просьбу Висковатова прислать сведения о Дмитрии Павлуцком и Афанасии Бейтоне Сельский ответил перечислением "жестоких кровавых поступков" Павлуцкого, которые "отдалили от нас чаукчей" (чукчей) и привели к тому, что "справедливая недоверчивость чаукчей к русским едва только теперь уменьшилась" и "чаукотская земля в настоящее время находится в том же положении, в каком была во время Павлуцкого, т.е. чаукчи до сих пор не подвластны русским"[65]. Здесь же Сельский сообщал, что им созданы "Описание Чаукотской земли" и биография героя обороны Албазина в XVIII в. А.И. Бейтона, для чего он воспользовался, "кроме наших исторических актов, источниками маньчжурскими"[66].

Статьи по истории Сибири, в том числе и принадлежавшие перу редактора, регулярно появлялись в Записках Сибирского отдела ИРГО, которые редактировал Сельский. Из них наибольший интерес представляют: "Исторический материал о сношениях европейцев с Японией" (основано на найденном при разборе старых дел Иркутского архива письме английского моряка Петра Гордона, посетившего Японию в 1848 г., к управлявшему Охотским портом князю Шаховскому[67]) и "Последняя осада Албазина маньчжу-китайцами в 1687 году"[68]. В ней автор по-прежнему опирался на "старые архивы"[69], а также использовал, с помощью китаистов Иакинфа (Бичурина) и Е.П. Сычевского, китайские источники. Сельский ставил подвиги защитников Албазина Толбузина и Бейтона выше Хабарова и Пояркова и высказывал важную мысль, развивавшуюся также в нескольких других его сочинениях. "К несчастью, – писал он, – большая часть начальников первых вольных казацких партий алчным корыстолюбием и притеснениями вывели из терпения инородцев, и русские начали встречать от них сопротивление. ⟨...⟩ Толбузина и Бейтона судьба назначила разделываться кровью за непозволительные насильства первых необузданных пришельцев"[70]. Почти та же идея высказана и в записке о роли Дмитрия Павлуцкого в отношениях русских и чукчей.

В ряде мемуаров Сельский назывался первым правителем дел Сибирского отдела ИРГО. На самом деле первым правителем (в 1851–1852 гг.) и одним из организаторов Отдела был другой чиновник, Ю.И. Штубендорф, но Сельский занимал эту должность в течение семи лет (1853–1861) и оказал серьезное влияние на направление работы Отдела, привлечение к ней местной интеллигенции и превращение его в центр собирания интеллектуальных сил края. По воспоминаниям Венюкова, при Сельском «Отдел ИРГО жил полной жизнью, издавал исправно "Записки" и служил сборным пунктом всего, что в Иркутске интересовалося знанием», и "в центре местного ученого кружка, т.е. Сибирского отдела Географического общества", стоял именно Сельский[71]. По утверждению другого современника, Сибирский отдел был не специально географическим, а "общеученым" обществом, из которого может образоваться несколько других обществ – географическое, статистическое, археологическое, историческое, сельскохозяйственное и прочие[72]. Но подобная широта направлений деятельности была характерна и для всего Географического общества в то время.

В своей частной жизни И.С. Сельский был близок к местному обществу, хотя и не чурался общения с "золотой молодежью". С молодыми образованными чиновниками из приезжих его сближали прежде всего любовь к науке и деятельность в СО ИРГО, хотя они и считали его "устарелым".

К концу 1850-х годов изменилось и само содержание понятия "образованные", да и к общему делению на образованных и необразованных прибавились более узкие, связанные с профессиональной специализацией. Не только в официальных документах, но и в частной переписке стало подчеркиваться наличие специального образования, особенно у окончивших Училище правоведения. В 1850-е годы в местном обществе немало шума наделала "занадворовская история". Богатый и влиятельный золотопромышленник Ф.П. Занадворов обвинил следователя по его делу, чиновника Д.В. Молчанова, во взяточничестве, а тот ответил обвинением Занадворова в клевете; оба были арестованы. Молчанова выгораживал Н.Н. Муравьев-Амурский, дело дошло до Сената и Государственного совета. В своих мемуарах Б.В. Струве указывал, что Молчанов был назначен следователем "потому именно, что он, как воспитанник императорского училища правоведения, был более подготовлен и способен к следственным и судным делам"[73].

Типичной для эпохи кануна и начала реформ была и такая распространившаяся в Иркутске форма проникновения профессиональных интересов в общественную жизнь, как цикл публичных лекций на юридические темы, прочитанных в 1863 г. Б.А. Милютиным и Д.М. Павлиновым, юридические вечера и созданная по инициативе нескольких выпускников юридических факультетов специальная юридическая библиотека[74]. В том же году было образовано и Общество врачей Восточной Сибири[75].

Среди необразованных, особенно при Муравьеве, были не только канцелярские дельцы, но и люди из народа, названные М.И. Венюковым "сибирскими самородками". Они попадали на довольно высокие должности, не имея на то формальных прав – ни высокого сословного статуса, ни образования, а порой и опыта канцелярской службы. Но им покровительствовал генерал-губернатор, высоко ценивший те их качества, которых не было у других его подчиненных. Эти люди имели богатый жизненный опыт, приобретенные на практике знания, выдающиеся способности. Такими были В.В. Ваганов – казак, получивший чин поручика и должность адъютанта генерал-губернатора, А.С. Савинский – выходец из "заводского сословия", управляющий горным отделением Главного управления, Г.Д. Скобельцын – казак, получивший чин войскового старшины и орден Св. Владимира 4-й степени, и др. Все они понимали, что обязаны своей карьерой лично Муравьеву и были ему искренне и глубоко преданы.

Ярким их представителем был Яков Парфентьевич Шишмарев, сын казака, служившего переводчиком монгольского языка в Троицко-Савском пограничном управлении. Окончив русско-монгольскую войсковую школу, Я.П. Шишмарев первоначально стал, как и его отец, переводчиком в пограничном управлении. По личному распоряжению Муравьева девятнадцатилетний младший урядник Яков Шишмарев был исключен из казачьего сословия и определен в гражданскую службу. Он участвовал в первых трудных сплавах по Амуру, в 1856 г. в чине коллежского регистратора был назначен переводчиком по дипломатической части Главного управления, фактически являясь более важным лицом благодаря своей близости к генерал-губернатору. По воспоминаниям Р.К. Богданова, Шишмарев в 1857 г. заведовал путевой канцелярией Н.Н. Муравьева, сопровождая его во время амурского спла-

ва. "Генерал любил его и верил в аккуратность и точное исполнение всех его распоряжений", – писал Богданов[76]. В 1860 г. Н.Н. Муравьев-Амурский вновь поручил Шишмареву выполнение этой важной обязанности[77].

В 1858 г. Я.П. Шишмарев сыграл заметную роль во время русско-китайских переговоров, увенчавшихся подписанием Айгунского трактата. Д.И. Завалишин, ссылаясь на рассказ пристава Русской духовной миссии в Китае, участника переговоров П.Н. Перовского, даже утверждал, что именно Шишмарев через своих знакомых в свите главы китайской делегации узнал о появлении в Печелийском заливе англо-французской эскадры и посоветовал "воспользоваться для возобновления переговоров с большею настойчивостью"[78]. Его подпись стоит под Айгунским трактатом, и на этом основании Муравьев ходатайствовал о награждении Шишмарева орденом Св. Владимира 4-й степени, что дало бы ему права потомственного дворянства. Когда эта награда была сочтена в Петербурге чрезмерной, Муравьев писал: "Неужели человек, написавший Айгунский договор, не достоин того, чтобы сделать его дворянином!"[79]. Получив отказ, генерал-губернатор возобновил свое ходатайство в июле 1859 г. Теперь оно основывалось на участии Шишмарева в комиссии по проведению русско-китайской границы в Уссурийском крае под начальством К.Ф. Будогосского. На этот раз Александр II написал на ходатайстве: "Согласен"[80].

Этого человека высоко ценил и чрезвычайный посланник России в Китае Н.П. Игнатьев. Я.П. Шишмарев много раз отправлялся курьером от генерал-губернатора Восточной Сибири к русскому посланнику в Пекин и обратно, причем Игнатьев неоднократно подчеркивал желательность присылки к нему именно Шишмарева. Так, 2 февраля 1860 г. Игнатьев писал из Пекина М.С. Корсакову: "Жалею, что граф Николай Николаевич не исполнил прежнего своего намерения прислать Шишмарева, которого мне очень хотелось бы видеть здесь. Шишмарев мог бы быть мне полезен в Пекине во многих отношениях"[81].

По настоянию ставшего директором азиатского департамента МИДа Н.П. Игнатьева и нового посланника России в Китае А.Е. Влангали Шишмарев в 1864 г. был назначен русским консулом в Ургу, хотя преемник Муравьева М.С. Корсаков не питал к Шишмареву особой симпатии и даже сомневался в том, уместно ли назначать его на столь высокую должность. Новый генерал-губернатор писал Н.П. Игнатьеву, что консулом в Урге должен быть человек с некоторым образованием и знающий иностранные (т.е. европейские) языки[82], и предлагал "оставить Шишмарева временно заведующим консульством, послав к нему переводчика"[83]. Но тот же Корсаков вынужден был в ответственных случаях прибегать к помощи этого чиновника и летом 1864 г. отозвал Шишмарева из Урги, чтобы взять его с собой на встречу с генерал-губернатором дальневосточной провинции Китая, где нужен был хорошо знающий язык и знакомый с китайскими обычаями человек"[84]. На деле же Я.П. Шишмарев был отправлен с дипломатической миссией к китайскому вельможе, причем его сопровождали топографы во главе с А.Ф. Усольцевым и П.А. Кропоткиным. Экспедиция "должна была заняться исследованием реки Сунгари, протекавшей через край, совсем еще неизвестный", – пишет биограф П.А. Кропоткина[85]. В Монголии Я.П. Шишмарев оставался почти 40 лет и сыграл заметную роль в развитии русско-монгольских и русско-китайских торговых и дипломатических отношений.

Последние сведения об этом человеке, имеющиеся в нашем распоряжении, относятся к 1905 г. Тогда он находился в Петербурге, представлялся великому князю

Николаю Николаевичу и беседовал с ним о дальневосточных делах. Как следует из его письма к Н.П. Игнатьеву, Шишмарев был сторонником получения Монголией автономии и подчеркивал, что, как бы ни складывались отношения России с другими дальневосточными странами, "монгольский вопрос, как пограничный, всегда будет важен"[86].

Разумеется, далеко не все "сибирские самородки" были людьми столь выдающимися, но многие из них, если не все, обладали какими-либо качествами, делавшими их незаменимыми для высокого начальства. Таким необходимым для Н.Н. Муравьева человеком был казак Г.Д. Скобельцын, сопровождавший А.Ф. Миддендорфа в его экспедиции по неизученным районам Забайкалья и бывавший на Амуре по своим торговым и промысловым делам еще до начала амурских сплавов 1850-х годов. Он знал местность и языки аборигенов и даже имел среди них знакомых, а в первые недели плавания выполнял обязанности лоцмана. Позже, когда началось заселение и освоение нового края, Муравьев прибегал к советам Скобельцына при выборе мест для поселений[87].

Незаменимым и для Муравьева, и для его преемников стал и управляющий горным отделением Главного управления Восточной Сибири А.С. Савинский. Уроженец Сибири, происходивший "из заводских", он окончил Нерчинское горное училище, затем был там же учителем, а в 24 года был определен по приказу Руперта письмоводителем горного ревизора. Через три года Савинский начал свою службу в горном отделении и лишь еще через пять лет, в 1846 г., получил первый классный чин коллежского регистратора. Муравьев сделал его – в том же чине – правителем дел горного отделения и в конечном итоге назначил на должность управляющего отделением, члена Совета Главного управления. В этой должности он оставался и при Корсакове, и при сменившем его Н.П. Синельникове. "Афанасий Степанович Савинский, вышедши из канцелярских служителей Нерчинских заводов, – писал о нем иркутский жандармский штаб-офицер А.А. Дувинг в 1873 г., – достиг в настоящее время статского советника, весьма хитрый человек, умеющий подделаться к начальнику"[88]. Но тот же Дувинг в 1857 г. характеризовал Савинского более доброжелательно: "Исполняет свою обязанность отлично, человек весьма сведущий и дельный, пользуется милостивым вниманием начальства"[89]. Лишь "весьма сведущий и дельный" чиновник мог удержаться на месте, требовавшем не только известных дипломатических качеств и знания канцелярских дел, но и профессиональной подготовки в области горного дела.

Как видно, эта группа возникла на пересечении делений по принципам "местные – приезжие", "дворяне – не дворяне" и "образованные – люди без образования". Их общение и неформальные отношения с представителями противоположных кругов – приезжими, дворянами, образованными – складывались неоднозначно. Б.А. Милютин вспоминал о своих дружеских встречах с А.С. Савинским: "В доме Савинского, от него и от его супруги, я всегда находил самый радушный, более – самый родственный прием. Не проходило дня, чтобы мы не виделись: то он у меня, то я у них"[90].

Более жестким был раздел в военной среде – между приезжими офицерами из дворян и местными, выслужившимися из рядовых казаков. Характерно письмо Н.В. Буссе М.С. Корсакову с рассказом о дружеских пирушках войскового старшины (чин, равный майору) Г.Д. Скобельцына с рядовыми казаками[91]. Скобельцын был зауряд-офицером, т.е. казачьим офицером, произведенным в офицерский чин за особые заслуги, но не имевшим права на равный чин при переходе в армию[92].

Общение в неформальной обстановке зауряд-офицеров с казачьими же офицерами из числа перешедших из регулярных гвардейских или даже армейских частей на равных было невозможно.

Деление на военных и гражданских оставалось существенным и не менее, если не более, значительным разделением деятелей администрации на протяжении всего рассматриваемого периода. Оно не сводилось только к формальному различию между людьми, служившими в разных ведомствах.

Среди военных было высоко развито чувство корпоративной солидарности. Не случайно в Восточной Сибири служило довольно много бывших офицеров Финляндского (А.А. Моллер) и Семеновского (Н.В. Буссе, К.Н. Шелашников, Н.Г. Шульман) гвардейских полков, в которых проходила молодость генерал-губернаторов Н.Н. Муравьева и М.С. Корсакова. Порой, особенно в неформальной обстановке, военные администраторы довольно жестко противопоставляли себя штатским. Этому способствовало и то, что в николаевскую эпоху "предпочтение отдавалось всегда военным, как будто лицам более способным все постичь и все объять по складу своего ума и по образу воспитания"[93]. То же самое, но применительно к более позднему времени писал и Б.А. Милютин[94].

Характер этого противостояния и некоторые основания для него раскрывает одна из дневниковых записей М.С. Корсакова. В 1851 г. он записал: "Был у нас большой спор с Налабардиным о преимуществе, которое выказывается для военных в России против гражданских, он восставал против этого, а я доказывал ему, что сами гражданские виноваты этому преимуществу, слишком много думают о себе и позволяют судить себе действия своих начальников. Есть и у него довольно общая студентам, правоведам и лицеистам уверенность, что сам бы лучше то и то сделал, и на этом основании позволяют они себе слишком строгую критику касательно всего"[95].

Для большинства военных администраторов было характерно пренебрежительное отношение к канцелярской, бумаготворческой стороне их деятельности. Н.В. Буссе, в бытность свою амурским губернатором, прямо отказывался давать своим подчиненным письменные предписания со словами "здесь не департамент"[96]. Впрочем, в этом, как и во многих других отношениях, и военные администраторы не представляли единого целого, и среди них тоже существовало деление на представителей канцелярий и людей практического дела. Тот же Н.В. Буссе так характеризовал одного из своих подчиненных, командира Амурской конной казачьей бригады полковника Г.Ф. Черняева: "Он степенный, умный и не ленивый человек, и потому я не считал себя вправе противиться желанию его служить на Амуре, но до 7000 номеров (т.е. официальных, под номером, распоряжений. – *Н.М.*) по бригадному управлению, до 11000 номеров по сотенным управлениям и 340 приказов в год – и все это на 7000 душ населения! А между тем самые важные учреждения, как лазарет, устройство станиц и прочее, – в беспорядке, – все это достаточно показывает, что Черняев плохой хозяин и неисправимый бюрократ"[97].

В начале 1860-х годов в кругах высшей администрации Восточной Сибири сложилась новая группа, отграниченная от остальных представителей административного корпуса не столько по указывавшимся признакам, сколько по новому – идейно-политическому, проявлявшемуся и в идеологии, и в образе жизни. Молодые выпускники университетов, приезжавшие на службу в Восточную Сибирь, привозили из столиц и новые, ставшие модными, радикально-социальные идеи, и свойственные кругам исповедовавшей их молодежи нормы поведения. Среди них были и дво-

ряне, в том числе и весьма родовитые, такие, как князья П.А. и А.А. Кропоткины, и уроженцы Сибири разночинского происхождения, как Н.М. Павлинов, и военные, как те же Кропоткины или офицер для особых поручений при генерал-губернаторе есаул Н.С. Лавров, и штатские, как чиновник по особым поручениям, а затем минусинский окружной начальник В.Н. фон Клингенберг. Пожалуй, среди них не было только канцелярских "дельцов". Эти люди отличались честностью, искренним стремлением служить интересам страны и народа, умением и готовностью использовать внеслужебные методы деятельности – например, участие в периодической печати, организацию и выступления на литературных вечерах.

Вот как писал о выполнении одного из данных ему поручений П.А. Кропоткин брату 24 ноября 1862 г.: "Заседатель участка (совершенно русский исправник, только его участок гораздо больше русского уезда) сек тут крестьян, баб, девок и т.п. Надо было доискиваться, как было дело, чтобы вывести его на свежую воду. Коекак удалось, но чтоб добиться доверия, боже, сколько надо было времени провозиться, непременно стараются скрыть, ведь своего же брата высекли, да как, жестоко до крайности"[98]. О своей борьбе с злоупотреблениями земских исправников, заседателей, волостных голов, писарей писал и чиновник по особым поручениям, назначенный минусинским окружным исправником, В.Н. фон Клингенберг. Человек, подружившийся с П.А. Кропоткиным и во многом повлиявший на первоначальное представление того о высшей администрации Восточной Сибири, он сам впоследствии жестоко разочаровался в своем родственнике, генерал-губернаторе Корсакове, который не поддержал Клингенберга в борьбе с енисейским губернатором П.Н. Замятниным и мелкими взяточниками и притеснителями народа.

Обычными для молодых образованных чиновников и офицеров этой группы стали поручения "литературного характера". Н.Д. Свербеев составил несколько записок и очерков, посвященных истории освоения Приамурья[99]; помощник столоначальника Главного отделения Н.М. Павлинов подготовил "Записку об открытии в Восточной Сибири женских школ"[100]; П.А. Кропоткин написал и опубликовал "Записку о первой сельскохозяйственной выставке в Чите"[101]. Основным занятием П.А. Кропоткина, несмотря на его официальную должность адъютанта, была работа в комиссиях по подготовке реформ. Ему же было поручено подготовить мнение забайкальского губернатора (эту должность тогда исполнял генерал-майор Б.К. Кукель, с которым у Кропоткина были прекрасные отношения и которого будущий анархист считал во многих отношениях своим единомышленником) относительно реформы положений о тюрьме и ссылке. "Мне дано одно дело, огромное и очень важное, – писал Петр Кропоткин брату 22 декабря 1863 г. – Думают уничтожить телесное наказание. Для уничтожения телесного наказания потребуется заменить его тюремным заключением; число тюрем, а также их устройство придется изменить совершенно. ⟨...⟩ Мне, совершенно незнакомому с состоянием тюрем, даже с законами по этому предмету, пришлось учиться с азбуки, т.е с устава о ссыльных, и собирать сведения о том, какие здесь имеются тюрьмы. Я бы никак не взялся за это дело, но было бы бессовестно не взяться, т.к. я вижу, что больше некому поручить, а вопрос серьезный"[102].

Члены этой группы поддерживали тесные дружеские контакты и заметно отличались способами проведения досуга. Вот как вспоминала о вечерах в доме Павлиновых его родственница, В.Н. Кропоткина (урожденная Чайковская): "Пели разные студенческие песни, вели интересные беседы на литературные и общественные темы, и нас угощали мороженым и шампанским. Мы попали в атмосферу сто-

личной студенческой жизни". Когда эти молодые люди бывали у Чайковских, то читали новые журналы, играли в игры[103]. Если театральные увлечения молодежи 40-х – начала 50-х годов были связаны с первыми профессиональными труппами, то в конце 50-х – начале 60-х годов молодежь, особенно из описываемого круга, увлекалась любительскими спектаклями, о которых не раз упоминалось в переписке участвовавших в них Кропоткиных. Там же довольно много говорится и о женском образовании – еще одной модной среди передовой молодежи теме. Только что познакомившись с шестнадцатилетней выпускницей Иркутского девичьего института, своей будущей женой Верой Чайковской, и ее сестрой Людмилой, вышедшей через несколько лет за Н.М. Павлинова, Александр Кропоткин предложил давать им уроки немецкого языка, которому в институте они "не особенно хорошо научились".

Подобные интересы и занятия не были впервые привезены в Иркутск Кропоткиными. В своих мемуарах В.С. Кропоткина отмечала, что, "несмотря на институтское воспитание и отдаленность от столиц, ⟨...⟩ мы не отстали от современного нам течения мысли". Еще до знакомства с Кропоткиными сестер Чайковских «окружали товарищи брата по Иркутской гимназии, только что окончившие университет, были доктора, юристы, дипломаты и другие молодые люди. Один доставлял нам "Русское слово", где помещались статьи Писарева, роман Чернышевского "Что делать?" и разные публицистические статьи. Другой читал вслух Щедрина и комментировал его. Читали нам вслух Шекспира и Фауста. Велись разговоры и споры на общественные темы»[104].

У передовых людей, находившихся на государственной службе, новым было не только бытовое поведение, но и образ административных действий. В.И. Мерцалов вспоминал, как «несколько молодых людей с университетским образованием были назначены прогрессивным кяхтинским градоначальником А.И. Деспот-Зеновичем на "важные, не по классу, а по значению должности" и старались "поступать по правде" и пресекать распространенные и вошедшие в обычай злоупотребления»[105].

В заключение необходимо отметить как разнообразие типов чиновников и – шире – деятелей администрации, так и то, что в основе различий между ними лежали критерии не столько официального, сколько культурно-нормативного характера. Их использование позволяет выделить в составе провинциальной административной элиты различные социокультурные группы. Входившие в них люди отличались своим поведением в быту и на службе, системой ценностей и направленностью профессиональной деятельности. С переменами в жизни страны новые люди и новые настроения проникали и в управленческие структуры, но играть сколько-нибудь заметную роль в них (во всяком случае, в не знавшей земства Сибири) им не удавалось.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Страховский И.М.* Губернское устройство // Журн. М-ва юстиции. СПб., 1913. № 7; *Зайончковский П.А.* Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978; *Захарова Л.Г.* Самодержавие, бюрократия и реформы 60-х годов XIX в. в России // Вопр. истории. 1989. № 10; *Зырянов П.Н.* Социальная структура местного управления капиталистической России (1861–1914) // Исторические записки. М., 1982. Т. 107; *Иванов В.А.* Губернское чиновничество 50–60-х гг. XIX в. в России (по материалам Московской и Калужской губерний): Историко-источниковедческие очерки. Калуга, 1994; *Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы: Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989; *Писарькова Л.Ф.* Российский чиновник на службе в конце XVIII – первой половине

XIX века // Человек. 1995. № 3. С. 121–139; № 4. С. 147–159; *Шумилов М.М.* Местное управление и центральная власть в России. М., 1991; *Robbins R., jr.* The Tsar's Vicerois: Russian provincial governors in the last years of the empire. Ithaca; London, 1987.

[2] *Писарькова Л.Ф.* Указ. соч.

[3] *Матханова Н.П.* Стратификация восточносибирского чиновничества в середине XIX века: (Смена поведенческих стереотипов на сломе эпох) // Сословия и государственная власть в России. XV – середина XIX в.: Международная конференция – Чтения памяти акад. Л.В. Черепнина. Москва, 13–16 июня 1994 г.: Тез. докл. М., 1994. Ч. 1. С. 327–336.

[4] *Радаев В.В., Шкаратан О.И.* Социальная стратификация. М., 1996. С. 52–53.

[5] Там же. С. 55.

[6] Там же.

[7] *Вагин В.И.* К биографии графа Н.Н. Муравьева-Амурского // ГАИО. Ф. 162. Оп. 1. Д. 81. Л. 25; *Он же.* "Муравьевское время" в Сибири // ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 1. Д. 1699. Л. 36.

[8] *Струве Б.В.* Воспоминания о Сибири // Рус. вестн. 1888. № 4. С. 181; № 5. С. 28.

[9] Петр и Александр Кропоткины. Переписка. М.; Л., 1933. Т. 2: 1862–1871. С. 65.

[10] *Александров В.А., Покровский Н.Н.* Власть и общество: Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 115.

[11] *Демидова Н.Ф.* Служилая бюрократия в XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1981. С. 74.

[12] *Завалишин Д.И.* Записки декабриста. СПб., 1906. С. 417–419.

[13] *Венюков М.И.* Из воспоминаний. Амстердам, 1901. Кн. 1. С. 271–272.

[14] ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 1696. Л. 1 об.

[15] *Милютин Б.А.* Генерал-губернаторство Н.Н. Муравьева в Сибири // Ист. вестн. 1888. № 12. С. 615.

[16] Письмо А.С. Хомякова А.В. Веневитинову. Марта 1844 г. // Хомяков А.С. Соч. М., 1900. Т. 8. С. 69.

[17] *Струве Б.В.* Указ. соч. // Рус. вестн. 1888. № 5. С. 90.

[18] РГБ. Ф. 137, 37.15. Л. 19 об. 24 мар. 1849 г.

[19] *Порох И.В.* История в человеке: Н.А. Мордвинов – деятель общественного движения в России 40–80-х годов XIX в. Саратов, 1971; *Он же.* Генерал-студент // Годы и люди. Саратов, 1989. Вып. 4. С. 32–56; *Сидоров И.С.* Николай Александрович Мордвинов среди петрашевцев (по новым архивным материалам) // Годы и люди. Саратов, 1992. Вып. 6. С. 47–61.

[20] РНБ. Ф. 366. Оп. 1. Д. 332. Л. 7 об. – 8.

[21] ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1844. Д. 247. Ч. 14. Л. 5.

[22] ИРЛИ. Арх. Кавелина. 20.689 / CXLI 6 10. Л. 15–16. 18 дек. 1861 г.

[23] РГИА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 154. 1852 г. Л. 8 об. – 9.

[24] *Матханова Н.П.* "Погубитель Лунина" // Гуманитарные науки в Сибири. Сер. Отеч. история. Новосибирск, 1997. Вып. 2. С. 106–111.

[25] ГАИО. Ф. 24. Оп. 1. К. 1477. Л. 539.

[26] РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. 1849 г. Д. 4994. Л. 453–468.

[27] РНБ ОР. Ф. F. IV. Д. 861.

[28] *Писарькова Л.Ф.* Указ. соч. С. 137.

[29] Там же.

[30] РНБ ОР. Ф. F. IV. Д. 861. Л. 293–293 об. Цит. по: *Писарькова Л.Ф.* Указ. соч. // Человек. 1995. № 4. С. 147.

[31] РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. 1845 г. Д. 475. Л. 35.

[32] *Вагин В.И.* Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 год. СПб., 1872. Т. 1. С. 588–601.

[33] *Вагин В.И.* Старые сибиряки: Н.Е. Тюменцев // Вост. обозрение. 1898. № 15, 4 февр.; ГАИО. Ф. 162. Оп. 1. Д. 27. Л. 27–29.

[34] Труды Вост.-Сиб. отдела ИРГО. Иркутск, 1911. № 5. С. 367.

[35] РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 1309. Л. 41–43.

[36] Там же. Л. 37–40.

[37] Героическая оборона Петропавловска-Камчатского в 1854 г. Петропавловск-Камчатский, 1979. С. 13–14, 165.

[38] РГИА. Ф. 1265. Оп. 7. Д. 208. Л. 70–70 об.

[39] Нелепая ошибка допущена автором монографии о жизни М.А. Бакунина в Сибири В.А. Должиковым: он называет сибирским чиновником Александра Лохвицкого, автора статьи в журнале "Русское слово" (1859. № 10) о славянском вопросе, и утверждает, что он и был исправлявшим должность забайкальского вице-губернатора. К сожалению, на этой неверной посылке во многом основывается гипотеза о пропагандистской тактике Бакунина, стремившегося сосредоточить свое влияние на молодых

перспективных деятелях (*Должиков В.А.* М.А. Бакунин и Сибирь. Новосибирск, 1993. С. 74–75).

[40] ГАИО. Ф. 24. Оп. 1. К. 1144. Д. 12. Л. 619–630.

[41] РГБ. Ф. 712, 1.9. Л. 39 об.

[42] ЦИАМ. Ф. 864. Оп. 1. Д. 83. Л. 49 об. Письмо Д.Р. Большакова к М.С. Корсакову. Чита, 20 июля 1860 г.

[43] *Струве Б.В.* Указ. соч. // Рус. вестн. 1888. № 6. С. 11; *Заборинский А.И.* Граф Н.Н. Муравьев-Амурский в 1848–1856 гг. // Рус. старина. 1883. № 6. С. 626.

[44] *Милютин Б.А.* Указ. соч. С. 622.

[45] *Кашин Н.И.* Некролог [И.С. Сельскому] // Журн. садоводства, изд. Российским об-вом любителей садоводства. М., 1861. Т. 1, № 7. Смесь. С. 70.

[46] РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. 1845 г. Д. 475. Л. 97–102.

[47] ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1842 г. Д. 104. Л. 21. И.С. Сельский и иркутский губернатор А.В. Пятницкий были женаты на сестрах: в доносе Фалькенберга в 1841 г. Сельский был назван свояком иркутского губернатора, его жену звали Елизаветой Александровной, жену Пятницкого – Любовью Александровной; в 1857 г., через несколько лет после отставки и смерти Пятницкого, И.С. Сельский получал письма из Парижа от некоей Любови Александровны (ГАРФ. Ф. 1143. оп. 1. Д. 74. Л. 4 об. Письмо И.С. Сельского С.П. Трубецкому. 4 окт. 1857 г., Иркутск).

[48] ГАРФ. Ф. 109. 1842 г. Д. 104. Л. 21.

[49] Там же.

[50] *Венюков М.И.* Указ. соч. С. 277.

[51] *Венюков М.И.* Мои воспоминания: Годы 1857–58 // РГБ. Ф. 363, 1.13. Л. 55.

[52] ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 1696. Л. 1 об.

[53] *Венюков М.И.* Из воспоминаний. С. 277.

[54] ИРЛИ. Р. III. Оп. 1. Д. 1886. Л. 2–2 об. 14 июля 1854 г. Иркутск.

[55] *Милютин Б.А.* Указ. соч. С. 634.

[56] ИРЛИ. Ф. 604. Оп. 1. Д. 15. Л. 140 об.

[57] РНБ. Ф. 356. Оп. 1. Д. 324. Л. 2–2 об.

[58] Журн. садоводства... С. 70.

[59] *Сельский И.С.* Ответ на вопрос Гумбольдта о появлении тигра в Северной Азии // Записки СО ИРГО. СПб., 1856. Кн. 1. Отд. 3. С. 9.

[60] РНБ. Ф. 356. Д. 324. Л. 1 об.

[61] ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 350. Записка советника Главного управления Восточной Сибири И. Сельского об истории проникновения России в Сибирь и на Дальний Восток и установления границ между Россией и Китаем. 1850 г. Копия.

[62] РГИА. Ф. 1265. Оп. 5. Д. 163. Л. 19 об. – 20. Отчет генерал-губернатора Восточной Сибири по управлению сим краем за 1855 г. Копия.

[63] РГИА. Ф. 1265. Оп. 7. Д. 208. Л. 97 об.

[64] Там же. Л. 97–98. Отчет генерал-губернатора... за 1857 г. Копия.

[65] ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 3405. Л. 2–2 об.

[66] Там же. Л. 3.

[67] Записки СО ИРГО. СПб., 1857. Кн. 4. Отд. 2. С. 17–22.

[68] Там же. СПб., 1858. Кн. 5. Отд. 1. С. 101–118.

[69] Статьи И.С. Сельского, в которых широко использовались старые архивные материалы, приобрели особую ценность после пожара 1879 г. в Иркутске, уничтожившего архив Главного управления Восточной Сибири.

[70] Записки СО ИРГО. Кн. 5. Отд. 1. С. 106.

[71] *Венюков М.И.* Из воспоминаний. С. 276–277.

[72] Иркутские губернские ведомости. 1858. № 19.

[73] *Струве Б.В.* Указ. соч. // Рус. вестн. 1888. № 10. С. 122.

[74] Иркутские губернские ведомости. 1863. № 27, 30.

[75] Там же. № 52.

[76] *Богданов Р.К.* Воспоминания амурского казака о прошлом с 1849 по 1880 год // Записки Приамурского отдела ИРГО. Хабаровск, 1900. Т. 5, вып. 3. С. 50.

[77] ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 4204. Л. 1. Письмо Я.П. Шишмарева к Н.П. Игнатьеву от 7 янв. 1860 г.

[78] *Завалишин Д.И.* Указ. соч. С. 431.

[79] *Барсуков И.П.* Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский по его письмам, официальным документам, рассказам современников и печатным источникам: (Материалы для биографии). М., 1891. Кн. 2. С. 198.

[80] Там же. С. 271.
[81] ЦИАМ. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 269 об.
[82] ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 3191. Л. 54 об. 18 сент. 1863 г.
[83] Там же. Л. 61. 4 февр. 1864 г.
[84] Там же. Л. 62–63. 6 мая 1864 г.
[85] *Маркин В.А.* Петр Кропоткин. Иркутск, 1992. С. 86.
[86] ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 4204. Л. 5–7 об. 19 июля и 10 авг. 1905 г.
[87] *Богданов Р.К.* Указ. соч. С. 74–75.
[88] ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1866 г. Д. 7. Ч. 15. Л. 69.
[89] Там же. 1844. Д. 247. Ч. 15. Л. 12 об.
[90] *Милютин Б.А.* Указ. соч. // Ист. вестн. 1888. № 11. С. 323.
[91] ЦИАМ. Ф. 864. Оп. 1. Д. 23. Л. 80. 14 мар. 1860 г.
[92] Генерал-губернатору Восточной Сибири, ввиду нехватки офицеров в Забайкальском казачьем войске и Иркутском и Енисейском казачьих полках, было разрешено производить способных урядников в зауряд-офицеры (Свод военных постановлений 1859 г. СПб., 1859. Ч. 2, кн. 1. Ст. 950, прим.). Имевшие чины за-уряд и в дальнейшем производились только за-уряд (Там же. Ст. 947) и получали право на производство в "действительные чины" только за военные подвиги, по получении ордена, дающего право на потомственное дворянство или при производстве в чин полковника (Там же. Ст. 948).
[93] *Струве Б.В.* Указ. соч. // Рус. вестн. 1888. № 6. С. 111.
[94] *Милютин Б.А.* Указ. соч. С. 622.
[95] РГБ. Ф. 137, 41.20. Л. 28.
[96] РГБ. Ф. 137, 73.31. Л. 5. Письмо М.С. Корсакову. 4 июля 1861 г. Благовещенск.
[97] Там же. Л. 4 об.
[98] Петр и Александр Кропоткины. Переписка. С. 60–61.
[99] *Свербеев Н.Д.* Докладная записка об Удской старине, составленная из сведений, полученных при разборе местного архива и дополненных сказаниями туземцев-старожилов // ИРЛИ. Ф. 57. Оп. 4. Д. 235; *Он же.* Описание плавания по реке Амуру экспедиции генерал-губернатора Восточной Сибири в 1854 г. // Записки Сибирского отдела Имп. Рус. геогр. об-ва. 1857. Кн. 3. С. 1–78.
[100] РГИА. Ф. 733. Оп. 11. Д. 32. Л. 57–62 об.
[101] Описание первой Забайкальской выставки сельских и других произведений, бывшей в Чите в 1862 г. Составлено, по поручению Комитета о выставке, сотником Амурского казачьего полка князем Кропоткиным. Иркутск, 1863.
[102] Петр и Александр Кропоткины. Переписка. С. 70–71.
[103] *Кропоткина В.С.* Воспоминания (1849–1886) // РГБ. Ф. 410, 10.27. Л. 19 об.
[104] Там же. Л. 25–26.
[105] *Мерцалов В.И.* О закрытии кяхтинского градоначальства // Вост. обозрение. Иркутск, 1894. 11 мар.

В.С. Жидков

РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, БОЛЬШЕВИЗМ, РЕВОЛЮЦИЯ

Идея большевистского социального эксперимента, составной частью которого стала попытка строительства "новой" культуры, базировалась в конечном счете на концепции "особого пути" России, имевшей к началу XX в. уже достаточно протяженную историю. Почвой, взрастившей эту концепцию, было промежуточное (евразийское) положение России между Востоком и Западом, борьба между этими двумя цивилизационными влияниями, тяготеющая (за исключением разве что пет-

© В.С. Жидков, 2000

ровской и ближайшей послепетровской эпохи, да и то лишь в ограниченном смысле) к доминированию Востока. Виноваты в этом были, как ни странно может показаться, и сами прозападно ориентированные реформаторы. Тот же Петр был озабочен не социально-психологическими преобразованиями русского общества, не переносом на российскую почву передовых европейских концепций государственного устройства. Нет, все свои усилия он направлял на формирование пирамиды власти, восточной по духу и принципам взаимоотношений с подданными. А зачем ему была нужна Европа? Только для решения чисто экономических и технологических задач, которые и должны были послужить имперским целям и укреплению его самодержавного престола.

Но Петр, как и его последователи, убедился, что без формирования более или менее свободного и самосознающего человека механически перенесенные на российскую почву западные технологии не давали должного экономического эффекта: они плохо сочетались с рабским трудом. Это противоречие наиболее четко осознали тоже ориентировавшиеся на западные образцы декабристы. Так, М.А. Фонвизин писал: "Если Петр старался вводить в России европейскую цивилизацию, то его прельщала более ее внешняя сторона. Дух же этой цивилизации... был ему, деспоту, чужд и даже противен. Ему нужны были способные орудия для материальных улучшений по образцам, виденным им за границей... Он особенно дорожил людьми специальными, для которых наука становилась почти ремеслом; но люди истинно образованные, осмысленные, действующие не из рабского страха, а по чувству долга и разумного убеждения, – такие люди не могли нравиться Петру"[1]. (Вот – к нашим дальнейшим размышлениям – исторически одно из первых определений интеллигенции. Это – люди "истинно образованные, осмысленные" в отличие от людей образованных, но "специальных".)

Из этих многосложных и противоречивых процессов, в конечном счете тормозивших формирование человека как субъекта истории, и проистекала экономическая и политическая отсталость России по сравнению с развитыми европейскими странами. Многие годы Россия приглядывалась к неизменно опережавшему ее на пути социально-экономического прогресса Западу, совершившему сперва первую, а затем и вторую промышленные революции, завидовала полученным результатам, пыталась, почти ничего не меняя в социально-политической сфере, отдельные фрагменты западного опыта перенести на свою почву и – одновременно с этим ужасалась издержкам этого процесса: социальной несправедливости первоначального капиталистического накопления, "обмещаниванию" и "обуржуазиванию" западного общества, росту "бездуховности" и погоне за мирскими, материальными благами. Сознание многих консервативно настроенных людей России, как будто не замечавших диковатых – по европейским стандартам – социальных последствий феодальных пережитков у себя дома, не могло смириться с необходимостью и для нашей страны встать на этот же путь. Тем более что по историческому опыту они знали, что Россия – большая мастерица гипертрофировать проблемы и впадать в крайности. Тогда и родился миф о "врожденной антибуржуазности" русского человека.

Нельзя сказать при этом, что в России начала XX в. не имела хождения либеральная концепция развития общества. Созданный в 1904 г. П. Струве Союз освобождения, в который входили видные ученые (П. Милюков, С. Булгаков, Н. Бердяев), популярные земские деятели (П. Долгоруков, И. Петрункевич), известные адвокаты (например, В. Маклаков), требовал путем всеобщих выборов избрания

конституционного собрания, которое определило бы дальнейшую жизнь страны и судьбу монархии. Умеренное крыло либерального движения представляли так называемые октябристы (Союз 17 октября), вполне удовлетворенные выдвинутым октябрьским (1905) "Манифестом свобод" обещанием созвать Думу. Левое крыло либералов – конституционные демократы (кадеты), – объединявшее преимущественно земских деятелей и наиболее радикальные элементы из числа профсоюзных активистов, собиралось через Думу установить парламентское правление в России. Но российские либералы в традиционном общественном сознании неизбежно проигрывали прожектерам, обещавшим построить лучшую жизнь по оригинальному проекту. Мало того что либеральная концепция предрекала России все те "ужасы" капитализма, которые были характерны для западного опыта. У либералов, кроме того, не было целостной, завершенной, всеобъемлющей, квазирелигиозной идеологической системы, что было всегда крайне привлекательным для русского философствующего ума. Помимо этого для эмоционально ориентированного русского самосознания либералы со своим прагматизмом и логикой казались невыносимо скучными.

Сразу надо сказать, что "идеологическая борьба", о которой идет речь здесь и будет идти дальше, в ту пору была не чем иным, как чисто интеллигентскими затеями. Преобладающая часть населения крестьянской России, интересы которого якобы защищали политики самых различных ориентаций, жила совсем другими заботами и имела совсем другие представления о социальной справедливости. Самое отсталое в Европе в технологическом отношении, крестьянское хозяйство в России было задавлено феодальной опекой общины, что самими крестьянами часто воспринималось как благо, как свидетельство социальной защищенности. Община периодически перераспределяла земельные наделы, устанавливала сроки сельскохозяйственных работ, брала на себя коллективную ответственность за выплату налогов, решала, выдать или отказать в выдаче паспорта крестьянину, желавшему выйти из общины, т.е. была прообразом большевистских колхозов, разве что без их экстремистских репрессивных крайностей. Такие порядки продуцировали убеждение (которое актуально в некоторых слоях нашего общества и сегодня) в том, что земля не может быть предметом собственности, но является общим достоянием, как солнце, воздух, вода и другие природные ресурсы. А такие представления вполне оправдывали земельные экспроприации и произвольный передел земельных наделов, а также и государственную собственность на землю.

"Горе той стране, – писал пытавшийся реформировать российскую экономику С.Ю. Витте, – которая не воспитала в населении чувства законности и собственности, а, напротив, насаждала разного рода коллективное владение"[2]. Ему так и не удалось решить эту реформаторскую задачу. И, в запоздалое утешение ему, можно сказать, что и нам, спустя почти сто лет, это тоже так и не удалось сделать.

Либеральные концепции перехода к конституционной демократии парламентским путем не овладели массами. Им были гораздо ближе те, кто обещал все и сразу. И в результате события начала века "не привели Россию к интеграции с демократическими режимами остальных европейских стран. Они всего лишь подорвали доверие к либералам и усилили конфронтацию между представителями крайних течений"[3].

Среди пестроты бытовавших в ту пору в России точек зрения на ее будущее, основанных на концепции "особого пути", можно выделить два враждовавших между собой подхода.

Исторически первой среди них была славянофильская идея, базировавшаяся на идеализации русской сельской общины. Будучи пережитком феодальных отношений, продолжением крепостничества в новую эпоху, община была тем не менее объявлена основой коллективистских социалистических отношений на селе, тем социальным организмом, который якобы мог позволить России соединить достижения европейского прогресса с "врожденной антибуржуазностью" русского человека, наполнить этот прогресс духовным содержанием, погрузить его в целостную идеологическую среду, доминирующее положение в которой занимало русское православие. Подобной точки зрения, в частности, придерживались эсеры, подхватившие эстафету народников.

"Эсеры унаследовали от народников симпатии к крестьянству и приверженность к терроризму. Подобно народникам 1870–1880 гг., они считали крестьян, в отличие от рабочих, подлинными носителями революции и видели в сельской общине ядро социализма на селе, основанного на кооперации и децентрализации"[4]. По мнению эсеров, России не нужно было идти по пути развитых стран Запада, у нее должен быть свой особый путь к социализму. Он сводился к перераспределению земли в равных долях между всеми желающими на ней трудиться. А потом, по их мнению, у независимых товаропроизводителей возникнет стремление к объединению, что в конечном счете приведет к социалистической схеме хозяйствования.

Этой концепции не было суждено реализоваться в политической жизни России. Страна пошла по "особому пути", но не в его славянофильской редакции, а в той, которая произошла из пересаженного на российскую почву марксизма.

Первая марксистская группа в России – "Освобождение труда", – борясь с народничеством, пропагандировала капиталистический путь развития России, который должен был создать предпосылки для формирования рабочего класса – "могильщика капитализма". В начале века это движение разделилось на три потока – экономистов, считавших приоритетной борьбу за экономические права трудящихся, экстремистов-большевиков, приступивших к созданию профессиональной централизованной партии революционеров, и близких к традиционным социал-демократическим взглядам меньшевиков.

Дискуссии того периода неизменно возвращались к проблеме рабочего класса, на который, как на субъект исторического процесса, ориентировались все политики социал-демократического направления. В том числе и большевики с меньшевиками, причем и те и другие на словах, якобы в соответствии с постулатами марксизма. Между тем, составляя меньшинство среди городских наемных работников (прислуги, поденщиков, мелких ремесленников), российский пролетариат представлял собой в ту пору отчетливо деструктивную силу. Как отмечалось в одном из донесений полиции 1901 г., под влиянием политической агитации экстремистских партий "из доброго малого рабочий превратился в своеобразного полуграмотного интеллигента (!), который считает своим долгом отбросить религиозные и семейные устои, позволяет себе игнорировать законы, нарушать или глумиться над ними"[5]. Социал-демократически настроенные политики полагали, что по мере становления капитализма в России этот "революционный" класс постепенно будет становиться все более сознательным и все в большей мере соответствовать марксистским представлениям о передовой революционной силе. Но такая "постепенность" не устраивала нетерпеливых большевиков, ощущавших себя революционными субъектами исторического процесса, способными повлиять на него в желаемом направлении. В соответствии с их целями немедленного соци-

ального переустройства России только именно такой маргинальный "пролетариат" и мог стать опорой в их агитации и практических действиях. Для людей с таким "промежуточным" типом сознания в высшей степени актуален тезис, еще в конце XIX в. сформулированный французским социальным психологом Г. Лебоном, – идеи сами по себе не могут влиять на поведение человека до тех пор, пока они не переведены на язык эмоций. Лозунги большевиков: "Грабь награбленное!", "Кто был ничем, тот станет всем!" и т.д. как раз и сыграли роль тех эмоциональных призывов, которые нашли отклик в отчужденной от какой-либо собственности пролетарской, а также крестьянской массе.

И все же – почему страна пошла по большевистскому пути? Ответ поищем в интеллектуальной и социально-экономической истории России.

Большевистская концепция исторического развития и включенная в нее как неотъемлемый элемент концепция культурной политики были продуктом длительной эволюции социально-психологической мысли России. Носителем и субъектом этой мысли была русская интеллигенция. Будучи чисто российским феноменом, интеллигенция как особый, не имеющий четкого определения общественный слой является для самосознания одних ее современных представителей предметом гордости, для других – симптомом "ненормальности" национального развития. Для первых позитивно оцениваемыми чертами, приписываемыми интеллигенции начала века, являются ее бескорыстие и высокая духовность, озабоченность народным счастьем, включенность в общественно-политическую жизнь на стороне "униженных и оскорбленных", а потому постоянная оппозиционность правящему режиму. Вторыми эти же качества трактуются как издержки российской истории, обусловленные постоянным запаздыванием социальных реформ, в результате чего интеллигенция не могла сосредоточиться на позитивной деятельности, связанной с профессиональными занятиями "умственным трудом, развитием и распространением культуры и выработкой мировоззрения как результата рационалистической обработки менталитета"[6]. В глубинах интеллигентского сознания они обнаруживают деструктивные тенденции, обусловившие не самый благоприятный исход российской истории XX в.

По-видимому, можно считать справедливой точку зрения о том, что именно Петр создал в России слой людей, владеющих европейскими знаниями, т.е. людей, ориентированных на прогрессивные европейские образцы не только в научно-технической области, но и в социальной сфере. Именно эти люди и стали наиболее отчетливо олицетворять тот "раскол", возникновение которого в русском обществе специалисты относят еще ко временам Киевской Руси и который выражался в "необычайно глубокой пропасти между правителями и управляемыми"[7].

Как отмечалось выше, российские власти всегда с неприязнью воспринимали европейское вольнодумство, полагая его вредным для России, которая якобы живет по иным законам. А на самом деле борьба с этим вольнодумством инициировалась естественным стремлением самодержавия к самосохранению и самоукреплению. Таким образом, русская интеллигенция с момента своего появления в России стала оппонентом правящим структурам, надоедливо лезущим к власть предержащим с ненужными ей советами по части социального переустройства русского общества, что заставляло власти наиболее настырных советчиков наказывать и даже изолировать от общества.

Но попытки изменить сложившееся положение вещей принимались в штыки и тем самым "народом", о благе которого радели русские интеллигенты. Косность,

неподвижность, лень и нелюбопытство русского народа, несомненно, были результатом длительного исторического пути России, пролегавшего между Востоком и Западом, но все же ближе к Востоку. И – что очень важно – на огромных просторах с богатейшими природными ресурсами. Вследствие этого интеллигенты при всем их искреннем народолюбии всегда оставались "страшно далекими от народа", отторгались этим народом, который в массе своей больше всего хотел не отказа от плохого старого во имя хорошего нового, но чтобы его оставили в покое. То есть народ упорно защищал собственную традиционно сложившуюся картину мира, основанную на доминировании "соборного начала" и принципах уравнительного распределения. (Вот, например, какие представления о свободе бытовали в крестьянской среде в середине прошлого века. Они же в значительной мере сохранились и к началу века XX-го. "Государственное управление заменяется общественным крестьянским управлением на мирских сходах", которые включают судебные функции по гражданским и уголовным делам. "Денежное имущество, т.е. капиталы должны быть уравниваемые между бедными и богатыми крестьянами". "Землями владеет чернь, а не помещики"[8].)

В результате интеллигенция в России оказалась в двойной изоляции – высказываемые ею идеи не принимались властями; ее попытки пойти в народ, изменить его жизнь в соответствии с европейскими образцами тоже отвергались этим самым народом. Следствием этого стало совершенно особое, неведомое Европе положение русской интеллигенции в обществе – позиция стороннего наблюдателя, анализирующего и критикующего и "верхи", и "низы". Но эта отстраненная позиция, эта невключенность ни в "народ", ни во власть и обусловила мощный взлет интеллектуальной и художественной сфер российской жизни XIX – начала XX в. Так что подобная "культурная изоляция" российской интеллигенции в определенном смысле была и несомненным благом. Потому что "если в XIX веке России удалось создать великую культуру, то это благодаря тому, что петровские реформы оторвали интеллигенцию от народа, тому, что, черпая из плодоносного океана народного инстинкта, культура не была порабощена народным сознанием. Лишь позднее, благодаря стараниям разночинцев-обличителей, народное сознание начало порабощать культуру и последователи этих обличителей довели этот процесс до своего предела"[9]. Таковым пределом стало большевистское представление о культуре как об инструменте решения прежде всего партийно-государственных проблем, как о сфере, которая обязана "служить" народу.

Необходимость дистанции между интеллигенцией и народом вытекает и из выводов современной науки. Так, если интеллигенция есть инструмент самосознания народа, она должна занимать по отношению к нему некую внешнюю позицию, чтобы "черпать из плодоносного океана народного инстинкта". Система (народ) не может обсуждать или оценивать себя, для этого оценивающему субъекту необходимо находиться в метасистеме, т.е. взглянуть на систему со стороны. Другое дело, что следует пытаться не быть "страшно далеким от народа", как попенял когда-то Ленин декабристам, нужно держать оптимальную дистанцию между интеллигенцией и народом. В этом и состоит одна из важнейших задач культурной политики.

Как известно, в развитых западных странах издавна существовал общественный слой, называемый "люди интеллектуального труда" (аналог фонвизинских "специальных" людей). С точки зрения апологетов русской интеллигенции, этот слой не тождествен тому, что на русской почве зовется "интеллигенцией". В чем же их отличие?

На честь введения в обиход термина "интеллигенция" претендуют три русских литератора – И.С. Аксаков, П.Д. Боборыкин и И.С. Тургенев. Последнюю кандидатуру поддерживает исследователь умонастроений русской интеллигенции П.Б. Струве, цитирующий в своей статье "Интеллигенция и революция" тургеневскую "Странную историю", где под интеллигенцией персонаж этого рассказа имеет в виду публику, бывающую на балу в дворянском собрании.

Не соглашаясь с таким определением, П. Струве предлагает разделить в русской истории понятия "образованный класс" (аналог европейских представителей интеллектуального труда) и "интеллигенция". С его точки зрения, размежевание этих двух слоев русского общества началось еще в 60-х годах XIX в. и окончательно завершилось после "рецепции социализма". («До рецепции социализма в России русской интеллигенции не существовало, был только "образованный класс" и разные в нем направления»[10]. При этом существует и иная, высказанная выше точка зрения, что интеллигенцию в России породил Петр.) В качестве характеристической черты русской интеллигенции П. Струве выделяет ее "отчуждение от государства и враждебность к нему" – "отщепенство"[11].

Принадлежность этого термина П.Д. Боборыкину отстаивают, например, советские энциклопедические издания разных лет, понимающие под интеллигенцией "слой образованных людей или работников умственного труда"[12], а также современные исследователи этой проблемы – редакторы цитированной выше книги "Интеллигенция и нравственность". Однако такое утверждение вряд ли справедливо – еще в 1861 г. И.С. Аксаков в журнале "День" опубликовал статью, в которой рассматривал проблему вполне в сегодняшней ее постановке: "Отчужденность интеллигенции от народной стихии".

Большинство исследователей соглашаются с тем, что интеллигентом имеет право называться не всякий человек, получивший высшее образование и занимающийся умственным трудом. Однако не вполне ясно, по каким критериям можно отделить истинных интеллигентов от "специалистов" или, по выражению М.А. Фонвизина, "специальных" людей. И вместе с тем очевидно, что, не решив эту задачу, не определив, какое содержание мы будем включать в понятие "интеллигенция", мы не можем двигаться дальше, ибо слишком неясны очертания обсуждаемого предмета.

Среди высказанных на этот счет точек зрения есть весьма решительные. Так, например, П.Б. Струве, введя для диагносцирования интеллигенции упомянутый выше критерий, оставил за пределами этой социальной группы таких деятелей отечественной культуры, "светочей русского образованного класса", как Н. Новиков и А. Радищев, А. Пушкин и Н. Гоголь, И. Тургенев и Л. Толстой, Ф. Достоевский и В. Соловьев, А. Герцен и А. Чехов. "Первым русским интеллигентом" он называет М. Бакунина и в затылок ему выстраивает "светочей русской интеллигенции" – В. Белинского, Н. Чернышевского, П. Кропоткина[13]. Очевидно, что по предложенным П. Струве признакам разделение "светочей" не выглядит убедительным – смущает приписывание интеллигенции непременной левизны и революционности. В современной русской культуре, во всяком случае, интеллигент – слово отнюдь не ругательное. Напротив, люди, принадлежащие к этому слою, в известной мере являют собой нравственный образец.

Чтобы избежать многозначности этого термина, важно по возможности полно определить необходимый и достаточный набор признаков, позволяющих отнести того или иного субъекта к этой социальной группе.

Размышляя на эту тему, М. Мамардашвили обращал внимание на то, что при некоем содержательном и относительно постоянном ядре роль интеллигенции в обществе исторически изменчива. В классическую эпоху капитализма, утверждал философ, интеллигенция составляла узкую группу лиц, владеющих монополией на умственный труд. В этот период «интеллигенция осознавала себя (и часто реально выступала) в качестве носителя всеобщей совести общества, в качестве его "всеобщего чувствилища", в котором сходятся все нити чувствования и критического самосознания остальных частей общественного организма, лишенного без нее и голоса, и слуха». Но в связи с тем, продолжает философ, что "духовное производство" в современном обществе стало массовым, "интеллигенция уже не может претендовать на то, чтобы знать за других или мыслить за них, а затем патерналистски защищать или просвещать их, сообщая готовую абсолютную истину или гуманистическую мораль". В этой ситуации «отрыв высших духовных потенций общества от основных масс людей выражается как различие между "массовой культурой" и культурой подлинной, индивидуально-творческой»[14].

В литературе преобладают определения интеллигенции "от противного", т.е. указания на то, каких образованных людей нельзя отнести к интеллигенции. Здесь можно упомянуть, например, А.И. Солженицына с его "образованщиной", здесь же Д. Штурман со своим "интеллигентоидом" ("Этот человек со словарем и манерами интеллигента, но таковым не являющийся. ⟨...⟩ Интеллигентоид может обладать умом и знаниями, но ему не свойственны духовная, умственная честность и чуткая совесть. Интеллектуал в моем представлении обладает умственной честностью, но не считает себя связанным узами совести"[15].)

В применении подобных терминов много путаницы. Как известно, Андрей Белый когда-то сказал об А. Блоке, что он не интеллигент, но интеллектуал. Развивая эту мысль, наш современник пишет: "Интеллигент в меру своих сил создает и воспринимает систему взглядов на мир. Интеллектуал осознает в себе эту систему и пытается ответить на вопрос, почему он видит мир именно так, то есть пытается понять зависимость его картины от собственного сознания"[16].

Конечно, заманчива идея связать интеллигентность не только с развитыми интеллектуальными способностями, но и с высокими этическими качествами. Тем более что история знает интеллектуалов как аморальных, так и имморальных. К этим последним можно отнести даже лучших представителей марксизма начала века, которые вслед за одним из своих лидеров, К. Каутским, полагали, что наука стоит выше морали, что "железные законы истории" безразличны к этическим оценкам событий, что история не считается с нравственными убеждениями, а потому добро и зло зависят не от личности, но от неотвратимых исторических обстоятельств[17]. Так, в частности, опиравшийся на марксистские постулаты, но не признанный большевиками правоверным марксистом Л.Д. Троцкий утверждал, придя к власти: "Что бы ни говорили святоши чистого идеализма, мораль есть функция социальных интересов, следовательно функция политики. Большевизм мог быть жесток и свиреп по отношению к врагам, но он всегда называл вещи своими именами"[18]. С первой частью этого утверждения можно согласиться – в жестокости и свирепости большевизму не отказать, но в правдивости, в желании и умении называть вещи своими именами большевизм заподозрить никак нельзя.

В свете этих точек зрения постепенно становится все более отчетливым главное отличие интеллигента от "интеллигентоида" или "образованца". Отличие это лежит не в сфере знания. "Образованность нельзя смешивать с интеллигентно-

стью, – утверждает Д.С. Лихачев. – Образованность живет старым содержанием, интеллигентность – созданием нового и осознанием старого как нового. ⟨...⟩ Лишите человека всех его знаний, образованности, лишите его самой памяти, но если при всем при этом он сохранит восприимчивость к интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории, вкус в искусстве, уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека, ответственность в решении нравственных вопросов и богатство и точность своего языка – разговорного и письменного – вот это и будет интеллигентность"[19].

Д.С. Лихачев полагал, что интеллигентность невозможно имитировать, сыграть: можно прикинуться кем угодно – умником, храбрецом, человеком щедрым, сострадающим, а интеллигентным – нет. Но и скрыть интеллигентность невозможно – она проступает во взоре человека и в его поступках. "Не механически научиться, но измениться, пропустив через себя знания, опыт, манеру поведения, адекватность реакции на людей и обстоятельства. Это гораздо больше и реже, чем образованность, это поведенческая культура", – добавляет к сказанному А. Битов[20].

Несомненно, тонкость чувств и богатство языка – вещи для интеллигента весьма важные. Но, как кажется, главное отличие интеллигента от просто образованного человека лежит в сфере этики. Высокая совестливость, ориентация на абсолютные этические нормы и ценности, по-видимому, составляет сердцевину признаков, присущих интеллигенту. Это объясняет, почему авторы "Вех" так настаивают на религиозности того персонажа, которого мы сегодня соглашаемся считать истинным интеллигентом. Ведь, как известно, именно религия, и только она дает надежное основание для любой этической системы. Попытки же вывести этику из материализма и эволюции не дали пока убедительных результатов. Правда, следует иметь в виду, что интеллигенту вовсе не обязательно быть религиозным в смысле принадлежности к какой-то конфессии. Известны нередкие случаи, когда общепризнанные интеллигенты (в частности, А. Эйнштейн, И.П. Павлов, А.Д. Сахаров и мн. др.), являя собой пример высочайшей нравственности, при этом были религиозны в каком-то ином, в неконфессиональном, философском смысле. Можно себе представить и вовсе нерелигиозного интеллигента, который обладает развитым нравственным чувством. То есть интеллигент – это человек с такими особенностями ума и совести, которые "предопределяют активность духовной и умственной жизни и ее сопряженность с нравственными критериями"[21].

Таким образом, общим свойством для интеллигенции является представление о себе как о звене в исторической цепи, из которого вытекает необходимость приложить все усилия для того, чтобы сохранить мир пригодным для жизни, а его обитателей, хотя бы самых ближних, сделать хоть немного более счастливыми. Но это не означает, что интеллигент непременно должен жертвовать собой и посвятить всю свою жизнь другим людям. Его миссия в ином – в максимальном развитии своих интеллектуальных и нравственных сил, в максимальной реализации своего духовного потенциала в какой-либо позитивной общественно полезной деятельности, что и является путем достижения сформулированного выше требования. Важно отметить при этом, что интеллигенту присуще сомнение в истинности разделяемых им сегодня убеждений (естественно, что такое сомнение не распространяется на ценности абсолютные). А потому он всегда склонен уважать иную точку зрения и не навязывает свою. И наконец, главное, интеллигент – противник всякого насилия как средства переделки человека или окружающего мира.

Современный исследователь предлагает такое определение интеллигента в отличие от "специалиста" ("белого воротничка"): это человек, занимающийся профессионально умственным трудом, который предполагает высшее образование или самостоятельное приобретение знания соответствующего уровня. Однако это составляет признак необходимый, но еще недостаточный. "Наряду с обязательной установкой на труд творческий, поисковый решающее значение здесь имеет осознанная причастность к никогда не прекращающейся в любом обществе выработке как бы заново, с опорой на культурное наследие прошлого и все же в свете меняющихся обстоятельств времени, самых общих целей и смыслов всей человеческой жизнедеятельности, к установлению сущностных закономерностей бытия, природы и особенно истории, включая историю настоящего времени, граждански и нравственно злободневную"[22].

Опираясь на такие представления, вернемся в начало века.

Анализируя в тех же "Вехах" нравственное мировоззрение русской интеллигенции, С. Франк выделяет в нем три главные черты. Во-первых, это "нигилистический утилитаризм", проникнутый идеей служения интересам народа: "Жизнь не имеет никакого объективного, внутреннего смысла; единственное благо в ней есть материальная обеспеченность, удовлетворение субъективных потребностей; поэтому человек обязан посвятить все свои силы улучшению участи большинства, и все, что отвлекает его от этого, есть зло и должно быть беспощадно истреблено – такова странная, логически плохо обоснованная, но психологически крепко спаянная цепь суждений, руководящая всем поведением и всеми оценками русского интеллигента"[23].

Второй чертой, определяющей интеллектуальный облик русской интеллигенции, С. Франк называет морализм, диктующий идею самопожертвования, подчинения собственных интересов делу общественного служения: "Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые. ⟨...⟩ Ценности теоретические, эстетические, религиозные не имеют власти над сердцем русского интеллигента, ощущаются им смутно и неинтенсивно и, во всяком случае, всегда приносятся к жертву моральным ценностям"[24]. А в результате, как заметил в связи с этим Н. Бердяев, у русской интеллигенции "любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине". И в итоге произошло «деление философии на "пролетарскую" и "буржуазную", на "левую" и "правую", утверждение двух истин, полезной и вредной...»[25].

И наконец, третья, выделенная С. Франком, черта русской интеллигенции, которая нас более всего интересует, – это ее противокультурная ориентация, выражающаяся в «стремлении превратить всех людей в "рабочих", сократить и свести к минимуму высшие потребности во имя всеобщего равенства»[26].

"Русскому интеллигенту чуждо и отчасти даже враждебно понятие культуры в точном и строгом смысле слова", – заявляет автор и расшифровывает этот "строгий смысл", опираясь на европейские представления об этой сфере общественной жизни. Европейское понятие культуры включает в себя "объективное, самоценное развитие внешних и внутренних условий жизни, повышение производительности материальной и духовной, совершенствование политических, социальных и бытовых форм общения, прогресс нравственности, религии, науки, искусства, словом, многостороннюю работу поднятия коллективного бытия на объективно высшую

ступень", т.е. для европейца культура – это "совокупность осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных ценностей"[27].

В противоположность такому взгляду для русской интеллигенции культура "отмечена печатью утилитаризма", она рассматривается как "средство для осуществления иной цели – именно удовлетворения субъективных жизненных нужд". Культура для русского интеллигента есть "ненужное и нравственно непозволительное барство... Борьба против культуры есть одна из характерных черт типично русского интеллигентского духа; культ опрощения есть не специфически толстовская идея, а некоторое общее свойство интеллигентского умонастроения, логически вытекающее из нигилистического морализма"[28].

Производным от упомянутых качеств русской интеллигенции стал, по мнению С. Франка, ее фанатизм, охотно трактовавшийся некоторыми его современниками как особая форма религиозности. На самом деле это не что иное, как "страстная преданность излюбленной идее... доводящая человека, с одной стороны, до самопожертвования и величайших подвигов, и с другой стороны, – до уродливого искажения всей жизненной перспективы и нетерпимого истребления всего несогласного с данной идеей"[29].

Отмеченные особенности и противоречия сознания позволили Н. Бердяеву заключить, что "вся история русской интеллигенции подготовляла коммунизм. В коммунизм вошли знакомые черты: жажда социальной справедливости и равенства, признание классов трудящихся высшим человеческим типом, отвращение к капитализму и буржуазии, стремление к целостному миросозерцанию и целостному отношению к жизни, сектантская нетерпимость, подозрительное и враждебное отношение к культурной элите, исключительная посюсторонность, отрицание духа и духовных ценностей, придание материализму почти теологического характера. Все эти черты всегда были свойственны русской революционной и даже просто радикальной интеллигенции"[30].

Можно ли эти, во многом справедливые, характеристики отнести ко всей русской интеллигенции, а не только к ее революционному крылу? Очевидно, нет. Хотя определенные "следы" подобных взглядов можно обнаружить и у представителей либеральной интеллигенции.

Концепция, высказанная авторами "Вех", подверглась критике с различных сторон. Все дело в конечном счете определялось ответом на вопрос: кто виноват? Человек или обстоятельства? А отсюда вытекала и положительная программа – заняться совершенствованием человека или сперва попытаться изменить его социальное окружение. Веховцы полагали актуальной первую задачу. Сторонники второй точки зрения были неоднородны и составляли два достаточно непримиримых лагеря. Так, с рационалистических западнических, либеральных позиций критиковал концепцию веховцев известный социолог и историк культуры П.Н. Милюков. Он полагал, что сперва нужно добиться политической свободы и демократии, а уже затем совершенствовать внутренний мир личности.

С другой стороны, высказанные в книге идеи критиковали большевики, усмотревшие в них попытку отвлечь трудящиеся массы от классовой борьбы. В.И. Ленин в статье «О "Вехах"» назвал книгу "клеветой на интеллигенцию" и "энциклопедией либерального ренегатства".

Социалистические и коммунистические идеи были продуктом западной философской мысли, где они прошли – в столкновениях и полемике – длительный путь развития. Характерно при этом, что ни в одной другой стране эти идеи не имели та-

кой власти над умами людей, как в России. Особенно созвучным умонастроениям русской интеллигенции оказался марксизм, который "с его учением о классовой борьбе и государстве, как организации классового господства, как бы был обострением и завершением интеллигентского противогосударственного отщепенства"[31].

Марксизм делит историю человечества на две части: прошлую историю, когда над человеком господствовал экономический детерминизм, и новую, будущую историю – "царство свободы". В эту новую историю (в соответствии с марксистской теорией) нельзя войти по собственному желанию. Для этого необходимы соответствующие предпосылки и условия. А вот их-то в России не было. Эту теоретическую трудность пришлось преодолевать большевистским революционерам, у которых, по словам Н. Бердяева, "революционная воля преобладала над интеллектуальными теориями, над книжно-кабинетным истолкованием марксизма. Произошло незаметное соединение традиций революционного марксизма с традициями старой русской революционности, не желавшей допустить капиталистической стадии в развитии России, с Чернышевским, Бакуниным, Нечаевым, Ткачевым. ⟨...⟩ Маркс был соединен со Стенькой Разиным. Марксисты-большевики оказались гораздо более в русской традиции, чем марксисты-меньшевики. На почве эволюционного, детерминистического истолкования марксизма нельзя было оправдать пролетарской, социалистической революции в стране индустриально отсталой, крестьянской, со слабо развитым рабочим классом. При таком понимании марксизма приходилось рассчитывать сначала на буржуазную революцию, на развитие капитализма и потом уже совершать социалистическую революцию. Это было не очень благоприятно для экзальтации революционной воли"[32].

Но здесь Н. Бердяев не вполне прав – большевики по-своему решили эту теоретическую трудность. «Педанты-каутскианцы... – утверждал "любимец партии" Н.И. Бухарин, среди руководящих большевистских неучей прослывший теоретиком, – не понимают того основного, что если с точки зрения всемирной истории проделывать пролетарскую революцию должны развитые страны, страны с чрезвычайно развитой экономической базой, вполне и вполне "достаточной" для перехода к социализму (хотя никто не может сказать, с какой ступеньки развития начинается эта достаточность), то могут быть особые исключения, определяемые своеобразием внутренней и внешней обстановки. Это своеобразие обстановки как раз у нас и имело место, ибо у нас революция была связана, во-первых, с мировой войной, во-вторых, с началом гигантского революционного брожения среди сотен миллионов восточных народов и, в-третьих, с особо благоприятным сочетанием классовых сил внутри страны, сочетанием, которое Маркс еще в пятидесятых годах прошлого века считал самым выгодным, а именно сочетанием крестьянской войны с пролетарской революцией. И вот эти-то обстоятельства, эта совершенно своеобразная и оригинальная обстановка была основой для всего развития нашей революции. Сделалось возможным такое оригинальное положение, что мы сначала завоевываем себе "рабоче-крестьянскую власть", а потом уж должны "на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы" (В.И. Ленин)»[33].

Бухарин нарушение Марксовых законов пытается преодолеть с помощью того же Маркса. Ленин делает это проще. Полемизируя со своими оппонентами, он в логике еврейского анекдота отвечает вопросом на вопрос: "Для создания социализма, говорите вы, требуется цивилизованность. Очень хорошо. Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности у себя, как изгнание по-

мещиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать движение к социализму?"[34].

Эта реплика показывает полный цинизм "вождя мирового пролетариата" по отношению к социальным законам. Не мог же он не понимать, что, как об этом говорит отрицательный персонаж советского фильма ("Мертвый сезон"), если собрать девять женщин на первом месяце беременности, то все равно нельзя получить одного полноценного младенца. Кстати, тот же Ленин попытался помочь Монголии, минуя капитализм, построить социалистическое общество. Его последователи убедились: социальная инженерия, нарушающая законы общественного развития, неизбежно терпит фиаско.

"Что заставляло Ленина, его соратников и наследников неукоснительно закрывать глаза, свои и чужие, на вопиющее несоответствие того, что они делали, тому, что намерены были, судя по их дореволюционным декларациям, сделать? – задает вопрос исследователь. – Несклонность и неспособность к последовательному и основательному мышлению? Нетерпение и нетерпимость? Поверхностность? Интеллектуальная и нравственная беспринципность, которая не могла не проявляться в качестве беспринципности этической и политической?"[35].

Ради политических целей, как показывает история, даже основоположники марксизма были готовы отказаться от чистоты своей концепции. Вот что писали они в 1882 г. в предисловии ко второму русскому изданию "Манифеста коммунистической партии": "Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что они обе дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность может явиться исходным пунктом коммунистического развития"[36]. То есть остатки феодализма в русской деревне, по циничной (или безграмотной?) мысли К. Маркса и Ф. Энгельса, при случае могут сгодиться для революционного прорыва в светлое будущее. Так что большевики, как получается, действовали не вопреки, но с благословения классиков.

Что способствовало успеху их предприятия? Вспомним общественно-политическую и экономическую ситуацию, в которой пребывала предреволюционная Россия.

Сперва об экономике. Так называемый капитализм, который якобы активно развивался в России в начале века, имел весьма своеобразные черты. Россия продолжала адаптировать передовую европейскую технологию, но сохраняла свою традиционную форму собственности – "государственную докапиталистическую монополию". Вот как характеризовал российскую экономику начала века заезжий американский экономист: "Никогда, быть может, в истории человечества деятельность правительства в чисто промышленной области не была более широкой и всеобъемлющей, чем за последний период русской истории. Русское правительство с помощью центрального государственного аппарата контролирует финансовое положение страны: оно владеет и управляет 2/3 всей железнодорожной сети, 7/8 всех телеграфов. Почти 1/3 всей земли и 2/3 всех лесов в его непосредственном заведовании. Оно владеет наиболее ценными рудниками и обрабатывает на своих заводах продукты, добытые из этих рудников. Оно продает все спиртные напитки..." Русское правительство "самый крупный капиталист, самый крупный строитель железных дорог и самый крупный предприниматель во всем мире"[37]. Нарождавшаяся в России буржуазия, пытавшаяся стать независимой от властей и развивать рынок, фактически занималась "не столько предпринимательством буржуазного типа, сколько паразитированием на внешних формах капиталистического промышлен-

но-финансового механизма... Средний предпринимательский слой был слаб и незначителен... Немногие более развитые предпринимательские элементы тонули в традиционной купеческой среде с ее низкой культурностью, отсутствием элементарной деловой этики..."[38].

Отчетливые черты духовного кризиса проявились в России уже после неудачи первой русской революции. С. Булгаков в 1909 г. характеризует его следующими словами: "Русское общество, истощенное предыдущим напряжением и неудачами, находится в каком-то оцепенении, апатии, духовном разброде, унынии. Русская государственность не обнаруживает пока признаков обновления и укрепления, которые для нее так необходимы, и, как будто в сонном царстве, все опять застыло, скованное неодолимой дремой. Русская гражданственность, омрачаемая многочисленными смертными казнями, необычайным ростом преступности и общим огрубением нравов, пошла положительно назад. Русская литература залита мутной волной порнографии и сенсационных изделий. Есть от чего прийти в уныние и впасть в глубокое сомнение относительно дальнейшего будущего России"[39].

А вот свидетельство В.И. Вернадского о России предвоенной поры, когда, казалось бы, все складывалось более или менее благополучно и страна, правда с некоторым отставанием, поспешала по магистральному пути европейского прогресса. "Взрослое население России находится после разгрома. Часть его... постыдно поддалась апатии, ушла в зоологическую жизнь, быстро разуверилась в том, чему верила еще недавно. Политическая жизнь в России не дает элементов для идеализации. Взрослое население русского общества не дало подрастающей молодежи своей жизнью и своей деятельностью ни примера гражданственности, ни примера высокого морального уровня... Молодежь... проходила путь разочарований, падений, бесцелья"[40].

Завершался "первый глобальный период" российской истории. Этому способствовало всеобщее разочарование в исторически сложившемся государственном порядке в целом. Он, с точки зрения основной части населения, не смог сохранить справедливость уравнительности, так как царь, который уже давно рассматривался как антихрист, слился в сознании народа с ненавистным начальством, государством, чиновником. Основная часть населения в возрастающих масштабах оставила государственность без поддержки... обрекая ее на саморазрушение..."[41].

Три года войны основательно повыбили из российского населения лучших представителей и взрослого поколения, и подрастающей молодежи. Трехлетний опыт узаконенного убийства не способствовал смягчению нравов и тех, кто выжил. Довершали картину хозяйственная разруха и огромное количество оружия, сосредоточившегося в руках у населения.

Какая же общественная сила была способна в тот период взять на себя бремя ответственности за спасение страны? Интеллигенция?

"Кажется, нет в мире положения более безвыходного, чем то, в котором очутилась русская интеллигенция, – писал Д. Мережковский еще в 1905 г., – положения между двумя гнетами: гнетом сверху, самодержавного строя, и гнетом снизу, темной народной стихии, не столько ненавидящей, сколько непонимающей, – но иногда непонимание хуже всякой ненависти"[42].

Очень важно было интеллигенции, попавшей в такой переплет, с одной стороны, самосохраниться, т.е. удержать роль интеллектуальной элиты нации, для чего требовалась определенная дистанция от народных масс, и с другой – не увеличить эту дистанцию до полного разрыва всяческих связей с массами. Одним из решений

этой дилеммы была народническая позиция, считавшая "для себя обязательными интересы народа, но не мнения народа". Потому что «верные, просвещенные мнения находятся у интеллигенции, а не у народа. Интеллигенция должна давать народу знания, просвещать его сознание, служить интересам народа и делу его освобождения, но сохранять независимость в мнениях, в идеях, – писал, анализируя народническую позицию, Н. Бердяев. – Михайловский выразил это в следующей фразе: "если бы революционный народ вторгся в мою комнату и пожелал разбить бюст Белинского и уничтожить мою библиотеку, то я боролся бы с ним до последней капли крови".

Тут он как бы предвидит ситуацию, в которую будет поставлена радикальная, стремившаяся к революции интеллигенция», – продолжает Н. Бердяев. И добавляет: "Разбить же бюст Белинского захочет революционный народ именно потому, что он проникается некоторыми идеями этого самого Белинского"[43].

Есть ли здесь приемлемое решение? Конечно, можно брезгливо не принимать новую "антикультурную" власть и либо уехать, либо затаиться в своей квартире до тех пор, пока тебя не пришел "уплотнять" "человек с ружьем". Можно и уверовать в новые идеалы, и, как это сделал В. Брюсов, быстро преодолеть путь от символизма до коммунизма. Так, например, он с энтузиазмом участвовал в определении "культурного пайка" для своего брата-интеллигента в размере не более 500 томов в личной библиотеке (этот максимум был определен декретом Совнаркома "Об охране библиотек и книгохранилищ в РСФСР"). А если этих томов фактически оказывалось больше, то "до полного осуществления идеала социализации всех областей жизни", о котором мечтал поэт, он допускал, что "специалисту" достаточно иметь в своей библиотеке 2 тысячи книг, а "литератору в широком смысле слова" – не более 6 тысяч. Прав был А.В. Луначарский, сказав, что "Брюсов относился в высшей степени серьезно к своему вступлению в партию и гордился званием коммуниста"[44].

Похоже, что приемлемого способа сосуществования интеллигенции с большевистской властью после Октября не существовало. В этом и заключалась главная трагедия русской культуры.

Но это все в дальнейшем, а пока, по словам Н. Бердяева, "только большевизм оказался способным овладеть положением ⟨...⟩ он демагогически воспользовался... бессилием либерально-демократической власти ⟨...⟩ объективной невозможностью дальше вести войну ⟨...⟩ неустроенностью и недовольством крестьян ⟨...⟩ русскими традициями деспотического управления сверху ⟨...⟩ свойствами русской души ⟨...⟩ ее религиозностью, ее догматизмом и максимализмом, ее исканием социальной правды и царства Божьего на земле, ее способностью к жертвам и к терпеливому несению страданий, но также к проявлениям грубости и жестокости ⟨...⟩ русской верой в особые пути России ⟨...⟩ историческим расколом между народом и культурным слоем ⟨...⟩ Произошло удивительное превращение. Марксизм, столь не русского происхождения и не русского характера, приобретает русский стиль, стиль восточный, почти приближающийся к славянофильству"[45].

Особенности психологического склада народа, легко и по видимости безболезненно воспринявшего марксизм, по-своему его деформировав и приспособив к собственному традиционному образу мыслей, коренятся в глубинах его истории. Точно так же тысячелетие назад тот же народ и так же легко и безболезненно (при этом нас не должны смущать восстания волхвов и крестьянские бунты против введения византийского христианства или европейского марксизма, потому что все

эти выступления сравнительно легко подавлялись не иноземными завоевателями, но другой и большей частью русского народа) воспринял византийское христианство, деформировав его под себя и соединив с традиционным язычеством. И – что очень важно – как марксизм, так и христианство русский народ получил уже в готовом виде, что исключало какую-либо историю взаимоотношений и тем самым консервировало их догматическую и обрядовую стороны (и марксизма, и христианства). "Евангельские заповеди оказались сравнительно легко, но зато слишком неглубоко наложенными на варварский быт и языческое сознание. Ни философия, ни даже теоретически-богословская сторона христианства, столь утонченно и одухотворенно развитая византийскими греками, не получила здесь не только применения, но и понимания, не говоря уже о традициях греческой литературы и поэзии. Перенята была главным образом догматика, нравоучительность и обрядность. Считалось благочестивым брать веру готовой, не испытывая ее собственной душой и разумом. ⟨...⟩ Получив христианство готовым, народ развил в себе высокомерно-снисходительный взгляд на творцов позаимствованного именно потому, что у тех была история, поиск, переход, которые воспринимались здесь как заведомые знаки нечистоты и несовершенства. ⟨...⟩ Готовый итог представлялся, таким образом, более ценным, чем путь к нему, подражание становилось как бы выше творчества"[46].

Такой же истиной в последней инстанции стал для левого крыла российской социал-демократии марксизм. Как византийское христианство наложилось на традиционное язычество и, не вытеснив его полностью, смешалось с ним, образовав русское православие, так же и марксизм лег на исконно русские философские представления, подробно проанализированные в свое время Н.А. Бердяевым в книге "Истоки и смысл русского коммунизма". В результате, деформировавшись, чуждая русской душе концепция, плод одной из ветвей европейского философского развития, превратилась в уютный и домашний "русский марксизм". Но всякое отклонение от его догматической стороны стало рассматриваться как непозволительная ересь, а российские жрецы новой марксистской религии стали "высокомерно-снисходительно" посматривать на европейских марксистов, для которых эта концепция продолжала оставаться не результатом, но процессом.

Строго говоря, отечественные марксисты именно в этот период "рецепции марксизма" окончательно потеряли право именоваться интеллигенцией. Ибо принадлежность к этому общественному слою означает не просто наличие некоего образования, но постоянную готовность к духовному поиску. Так что к власти большевики пришли вполне логично и, как это явствует из анализа Н. Бердяева, практически на безальтернативной основе. Потому что, кроме опоры на историю и традиции, у большевиков, как у людей не весьма образованных, был огромный потенциал энтузиазма и нерефлексирующей энергии. Они ни на миг не сомневались в том, что несут благо России и ее народам, они были убеждены в своем праве переустраивать жизнь на новых началах – "с аскетической суровостью к себе и другим, с фанатической ненавистью к врагам и инакомыслящим, с сектантским изуверством и безграничным деспотизмом, питаемым сознанием своей непогрешимости"[47]. Правда, подобная установка была характерна лишь для революционеров-романтиков первого призыва. Им очень скоро (и не по своей воле) пришлось уступить место утилитаристам-прагматикам.

Было и еще одно важное обстоятельство, способствовавшее захвату власти большевиками. Это – серьезная материальная помощь со стороны кайзеровской Германии. "Он работает полностью по нашему желанию... – сообщал Генеральный

штаб в Министерство иностранных дел Германии. – Немецкое правительство работой Ленина довольно"[48]. Как свидетельствуют документы, общая сумма, выплаченная Германией большевикам, составляла около 1 миллиарда марок, что по тем временам было огромными деньгами.

И тут в действие вступает фактор, о котором задолго до Октября предупреждал Ф. Энгельс: "Самым худшим из всего, что может предстоять вождю крайней партии, является вынужденная необходимость обладать властью в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство"[49]. Если отвлечься от ошибочности самой картины общественной жизни, основанной лишь на борьбе классов, то с большевиками произошло именно то, от чего предостерегал классик. История загнала их в угол, поставив перед альтернативой: либо уступить власть своим идейным противникам – представителям либеральных, умеренных политических течений (этот путь пролегал через Учредительное собрание, где большевики оказались в меньшинстве), либо, вопреки Марксовой теории, брать власть в стране, совершенно не готовой к социалистическому перевороту. Впрочем, у Ленина и на этот случай было свое "теоретическое" объяснение: "Дело не в России, – признавался он своему соратнику Г.А. Соломону, – на нее, господа хорошие, мне наплевать – это только этап, через который мы проходим к мировой революции"[50].

Основанная на подобном отношении к отечеству послеоктябрьская деятельность Ленина производила на М. Горького тяжелое впечатление. Ленин, писал он, "обладает... отсутствием морали и чисто барским, бежалостным отношением к жизни народных масс. ⟨...⟩ А потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу. ⟨...⟩ Правительство Смольного относится к русскому рабочему, как к хворосту: оно зажигает хворост для того, чтобы попробовать – не загорится ли от русского костра общеевропейская революция?"[51].

Взяв в свои руки политическую власть, большевики и дальше пошли по пути, предсказанному Ф. Энгельсом: "Всякий новый класс, который ставит себя на место класса, господствовавшего до него, уже для достижения своей цели вынужден представить свой интерес как общий интерес всех членов общества, т.е., выражаясь абстрактно, придать своим мыслям форму всеобщности, изобразить их как единственно разумные, общезначимые. Класс, совершающий революцию, – уже по одному тому, что он противостоит другому классу, – с самого начала выступает не как класс, а как представитель всего общества"[52].

А между тем в России о рабочих как о классе говорить в ту пору было явно преждевременно. Так, к 1917 г. при населении 143,5 млн человек промышленных рабочих насчитывалось едва ли 3,6 млн, т.е. 2,5%. Якобы представлявшая их интересы большевистская партия к тому времени состояла примерно из 5 тысяч членов (чуть больше 0,1% от численности рабочих), при этом в их числе несколько сотен составляли политические эмигранты, профессиональные революционеры[53].

Немногочисленная и сектантски фанатичная, приспособившая марксизм к своим текущим политическим нуждам, эта партия глубоко верила, что обладает единственно верной теорией, знает единственно верный путь, ведущий человечество к социальной гармонии, к подлинно справедливому общественному устройству. Так что очень скоро не только ее оппоненты, но даже и союзники, совместно совершавшие революцию, убедились, что никаких разговоров о мно-

гопартийности, о возможности свободно высказывать свои взгляды и быть не может.

Победе большевиков способствовало еще и то, что все усилия русской интеллигенции навести мосты с народными массами, преодолеть непонимание и отчуждение с их стороны не приводили к успеху. Об этом, в частности, писал Горький в первые месяцы после революции: "Русский народ, – в силу условий своего исторического развития, – огромное дряблое тело, лишенное вкуса к государственному строительству и почти недоступное влиянию идей, способных облагородить волевые акты; русская интеллигенция – болезненно распухшая от обилия чужих мыслей голова, связанная с туловищем не крепким позвоночником единства желаний и целей, а какой-то еле различимой тоненькой нервной нитью"[54].

Но этот процесс имел как негативные, так и позитивные последствия. В частности, с одной стороны, «культурная изоляция "передовых духовных сил", по словам Б.И. Шрагина, была жизнью, реальностью. Надежды же прорвать изоляцию были отрывом от жизни, мистикой и заумью. Оберегая обретенные и выстраданные ею духовные ценности, русская культура была обречена на крайний индивидуализм. Вырываясь из плена индивидуализма, она утрачивала свои ценности, переставала быть вообще культурой, превращалась в нечто непостижимое, невозможное и бессмысленное. Не миновала чаша сия и Льва Толстого, когда он решил опроститься и пойти в народ»[55].

Но тогда, в 1917 г., отрыв интеллигенции от народа сыграл на́ руку большевикам. Февральская революция завершила давно идущий процесс дифференциации, размежевания русской интеллигенции. Часть ее оказалась в полной растерянности перед обвалом революции и вполне проявила свою неспособность к государственному строительству. Для этого ей недоставало ни политической воли, ни отчетливой позитивной программы. ("Интеллигенция всегда мыслила себя стороной страдательной, женственной, зависимой. И никогда – самостоятельным актером на политической сцене", – заметил уже по поводу современной интеллигенции А. Янов[56].) Другие заняли казавшуюся им тогда предпочтительной позицию наблюдателей и комментаторов событий. Самонадеянно заявить: "Есть такая партия!" – смогла меньшая и далеко не лучшая часть российской интеллигенции. И тем самым она, эта часть, окончательно выделилась и противопоставила себя основной интеллигентской массе, занимавшейся какой-либо положительной практической деятельностью – наукой, техникой, юриспруденцией, литературой и искусством.

Но даже и в среде этой интеллигенции наметился принципиальный раскол, о котором упоминает М.О. Гершензон в письме к Н.А. Бердяеву (30 сентября 1917 г.): "... Лучшие люди России разделились на две партии: партию сердца и партию идеи, идеологии; одним больно за живого человека, за нуждающихся и обремененных, другим – ⟨...⟩ не менее больно за ценности – за государственность, за целость и мощь России. ⟨...⟩ Друг против друга восстали две идеологии, одна за свободу и счастье отдельного человека, другая за сохранение сверхличных ценностей. ⟨...⟩ В итоге выходит так, что те, ради личности, губят высшие ценности, а вы ради ценностей беспощадны к личности. ⟨...⟩ Вы такие же большевики вашего лагеря, как Ленин и Зиновьев – своего, и я думаю, что как раз большевизм один только и вреден сейчас"[57].

Выделившаяся часть интеллигенции (если после всего сказанного применительно к таким людям уместен этот термин) в большинстве своем состояла из професси-

ональных революционеров. Для них захват власти был единственным способом самореализоваться, оправдать свою предыдущую жизнь, проведенную в ссылках и эмиграциях. Стремление к власти у них доминировало, и, захватив ее, они, осознавая свою чуждость традициям "старой" интеллигенции, стали вытеснять ее из интеллектуальной жизни страны, замещая вакантные места "красной профессурой".

"Новый душевный тип, призванный к господству в революции, поставляется из рабоче-крестьянской среды, – отмечал в этой связи Н.А. Бердяев, – он прошел через дисциплину военную и партийную. Новые люди, пришедшие снизу, были чужды традициям русской культуры, их отцы и деды были безграмотны, лишены всякой культуры и жили исключительно верой. Этим людям свойственно было ressentiment по отношению к людям старой культуры, которое в момент торжества перешло в чувство мести"[58].

"Большевистский" тип интеллигенции оказался чуждым не только интеллигенции либерального толка, но и другим течениям социал-демократии. Как пишет в этой связи Г. Федотов, уже начиная с 60-х годов XIX в. "две линии русской революции разошлись достаточно далеко. Нечаев был отвергнут поколением 70-х годов. Ленин был одинок в породившей его социал-демократической среде. Он ненавидел интеллигенцию более страстной ненавистью, чем капитализм и самодержавие. Он должен был искать себе поддержки в людях полукультурных, даже полуграмотных: в Зиновьевых и Сталиных. Между ним и революционной интеллигенцией проведена черта – не его максимализмом (максимализмом нельзя было напугать русскую интеллигенцию), а его абсолютным имморализмом"[59].

Имморализм русской социал-демократии декларировался на самых ранних стадиях ее организационного становления. Он в ту пору выражался в двойной морали, в потребительском, утилитарном отношении к правовому регулированию общественной жизни, в отрицании нормативности права как универсального принципа общественного устройства.

Еще на II съезде РСДРП (1903), разделившем социал-демократию России на "большевиков" и "меньшевиков", один из достойнейших представителей русского марксизма, Г.В. Плеханов, заявил, что "успех революции – высший закон. И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы остановиться". И далее оратор приводит конкретные примеры возможных ограничений такого рода: "Даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения указанного мною основного принципа демократии. Гипотетически мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права. ⟨...⟩ Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов подобно тому, как высшие классы ограничивали когда-то его политические права".

Второй пример. "Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент... то нам следовало бы стремиться сделать его долгим парламентом, а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели"[60].

"Гипотетический случай" представился уже через 15 лет – "неудачно" выбранное Учредительное собрание было разогнано большевистской властью.

"Революция есть малый апокалипсис истории. ⟨...⟩ революция есть рок истории, неотвратимая судьба исторического существования. В революции происходит суд над злыми силами, творящими неправду, но судящие силы сами творят зло; в рево-

люции и добро осуществляется силами зла, так как добрые силы были бессильны реализовать свое добро в истории"[61]. "Осуществлять добро силами зла" – вот практическая программа, навязанная большевикам историей. И та же история доказала, что эта задача не имеет приемлемого решения – силами зла можно делать только зло. И к такой тактике большевики были подготовлены всей своей предшествующей биографией, именно такой путь был у них программным.

«Между доктринером-утопистом, с одной стороны, и диктатором сложившегося тоталитарного государства ("паханом" партократии) – с другой, в подходящих для того обстоятельствах возникает некий динамический переходный характер. Как правило, это социалист-радикал, инициирующий и возглавляющий грандиозное историко-уголовное действо, – не исключено, что из идеалистических побуждений. Рано или поздно радикал, занявшийся квазиосуществлением утопии, разрешает себе и своим соратникам преступить через "обывательскую мораль", то есть через мораль как таковую, через кровь, через насилие против "эксплуататоров", "социально чуждых", здравомыслящих, несогласных, "добреньких", "слабых" и т.д, и т.п. Он легко перешагивает через сомнительные теоретические моменты движущей им идеологии, которых большинство идущих за ним и окружающих еще не видит... Он убежден и убеждает других, что "чудо проявленной воли" позволит ему и его партии пренебречь отсутствием предсказанных идеологией "объективных условий" для начала претворения в жизнь ее программы»[62].

"... Социализм пройдет к солидарности человечества по трупам врагов этой солидарности, потому что он один прав в последней борьбе", – писал П. Лавров[63]. В этом пункте он наследовал классикам марксизма, а им всем – наследовали большевики.

"Ленинская апология насилия откровенно опирается на такую же у Маркса и Энгельса, причем у всех троих в ряде случаев речь идет о насилии не как о неизбежном зле, а как о феномене, очищающем и оздоровляющем личность, партию, класс, общество"[64].

Для проведения насилия в жизнь необходим был специальный инструмент. Им стала "партия нового типа". «Целью Ленина, которую он преследовал с необычайной последовательностью, было создание сильной партии, представляющей хорошо организованное и железно-дисциплинированное меньшинство, опирающееся на цельное революционно-марксистское миросозерцание. Партия должна иметь доктрину, в которой ничего нельзя изменить, и она должна готовить диктатуру над всей полнотой жизни. Сама организация партии, крайне централизованная, была уже диктатурой в малых размерах. (Кстати, роль партии в государстве Ленин мыслил как "ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть". – *В.Ж.*). Большевистская партия, которую в течение многих лет создавал Ленин, должна была дать образец грядущей организации всей России. И Россия действительно была организована по образцу организации большевистской партии. Вся Россия, весь русский народ оказался подчиненным не только диктатуре коммунистической партии, ее центральному органу, но и доктрине коммунистического диктатора в своей мысли и своей совести. Ленин отрицал свободу внутри партии, и это отрицание свободы было перенесено на всю Россию. Это и есть диктатура миросозерцания, которую готовил Ленин"[65].

Годы спустя, анализируя роль партии в победе большевизма, Н.И. Бухарин писал: «Подбор группы единомышленников, горящих одной и той же революционной

страстью и в то же время совершенно единых по своим взглядам, – было первым необходимейшим условием для успешной борьбы. Это условие было обеспечено беспощадным преследованием всяких уклонений от ортодоксального большевизма. Но это беспощадное преследование, постоянная самоочистка, сплотило ряды основной партийной группы в такой кулак, который нельзя разжать никакими силами. ⟨...⟩ Суровая дисциплина большевизма, спартанская сплоченность его рядов, его строжайшая "фракционность"... крайняя однородность взглядов, централизованность всех рядов – были всегда характернейшими признаками нашей партии... делали из нашей партии какой-то своеобразный революционный орден». В то же время партия "никогда не смотрела на себя как самоцель. Она смотрела на себя как на стальной инструмент, обрабатывающий мозги массы..."[66].

Характерная установка сознания – Н.И. Бухарин настолько верил в справедливость и жертвенность партийного дела, что качества этого "инструмента", ужасающие людей с нормальным (общечеловеческим) сознанием, выдаются им за добродетель. А между тем он ведет речь действительно не о партии в традиционном смысле этого слова (группе людей, разделяющих некие политические взгляды), но о партии "нового" типа, ордене фанатиков или, если угодно, о бандитской группировке, объединенной круговой порукой и своеобразной извращенной этикой. Подтверждает такой вывод замечание Л.Д. Троцкого о расстреле царской семьи, повязавшем партию пролитой кровью: "Казнь царской семьи нужна была не просто для того, чтобы запугать, ужаснуть, лишить надежды врага, но и для того, чтобы встряхнуть собственные ряды, показать, что отступления нет, что впереди полная победа или полная гибель. В интеллигентских кругах партии, вероятно, были сомнения и покачивания головами. Но массы рабочих и солдат не сомневались ни минуты: никакого другого решения они не поняли бы и не приняли бы. Это Ленин хорошо чувствовал: способность думать и чувствовать за массу и с массой была ему в высшей мере свойственна, особенно на великих исторических поворотах"[67].

В результате большевики создали государство, "призванное господствовать над всей жизнью народа, не только над телом, но и над душой... Русский преображенный марксизм провозглашает господство политики над экономикой, силу власти изменять как угодно хозяйственную жизнь страны. В своих грандиозных, всегда планетарных планах коммунизм воспользовался русской склонностью к прожектерству и фантазерству, которые раньше не могли себя реализовать, теперь же получили возможность практического применения"[68].

Об этом же прожектерстве большевиков упоминает в своих мемуарах Ф.И. Шаляпин: «Наши российские строители никак не могли унизить себя до того, чтобы задумать обыкновенное человеческое здание по разумному человеческому плану, а непременно желали построить "башню до небес" – Вавилонскую башню! ⟨...⟩ И главное – удивительно знают всё наши российские умники. Они знают, как горбатенького сапожника сразу превратить в Аполлона Бельведерского; знают, как научить зайца зажигать спички; знают, что через двести лет будет нужно потомкам этого зайца для их счастья. ⟨...⟩ И так непостижимо в этом своем знании они уверены, что самое малейшее несогласие с их формулой жизни они признают зловредным и упрямым кощунством и за него жестоко карают»[69].

Идея переделки мира, какими бы мотивами она ни вдохновлялась, всегда приводила к необходимости применять насилие. В эту проблему упирались все социальные реформаторы: "Многие мыслители, причем по-разному, социалистический

тоталитаризм предвидели. Платон, Мор, Кампанелла, Верас и другие – апологетически. (Мор, правда, не без иронии.) Г. Спенсер, среди многих других, – сугубо критически и остерегающе. Достоевский – апокалиптически. И это – лишь прикосновение к перечню тех, кто по-разному предвидел тоталитаризм. Нетерпимость Маркса, Энгельса, Ленина и их преемников ко всякой фундаментальной критике, к разномыслию по принципиальным вопросам внутри и вне собственных партий объясняется теоретической и моральной уязвимостью их позиций, которую они достаточно рано начали ощущать. Уже Маркс и Энгельс нередко подменяли полемику по существу – бранью. Для Ленина это было типичным приемом, включавшим в себя и клевету на противника"[70].

Измыслив нереалистический проект, большевики стали осуществлять его негодными средствами. Наблюдавший с возрастающей тревогой за практикой строительства "новой" жизни М. Горький такими словами характеризует большевистского лидера: Ленин – «человек талантливый, он обладает всеми свойствами "вождя", а также необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс... А потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу. ⟨...⟩ Эта неизбежная трагедия не смущает Ленина, раба догмы, и его приспешников – его рабов. Жизнь, во всей ее сложности, не ведома Ленину, он не знает народной массы, не жил с ней, но он – по книжкам – узнал, чем можно эту массу поднять на дыбы. ⟨...⟩ Он работает как химик в лаборатории... работает над живым материалом и ведет к гибели революцию"[71]. Г.В. Плеханов характеризовал позицию Ленина еще более жестко: "Он рассуждает вне обстоятельств места и времени. Он оперирует единственно со своими отвлеченными формулами. И если формулы эти противоречат фактам, то тем хуже для фактов"[72].

«... Своей безоглядности, своей и своих соратников беспощадности Ленин находил полное оправдание в том, что в конце концов все будет каким-то образом возмещено великой победой над обстоятельствами, над жизнью, противящейся переделке, над враждебными, неразумными, непонятливыми людьми, то есть построением "последней и окончательной" (Маркс) формы человеческого общежития – коммунизма. ⟨...⟩ Состоялся союз, без которого невозможна выдающаяся (с положительным или отрицательным знаком) роль личности в истории: Ленин нашел свою идею (задачу) – идея (задача) нашла его. Идея давала пищу и поприще всем его свойствам, дурным и хорошим. Он отдал ей свою тактическую одаренность и свою готовность на все – ради ее, как он, по-видимому, все-таки полагал, конечного осуществления. ⟨...⟩ Понять, что претворение этой расплывчатой и смутной идеи в жизнь является лишь фикцией претворения, он не мог, не успел или не захотел. Ему не приходилось убивать людей собственными руками, что он вряд ли смог бы осилить (как, впрочем, и вегетарианец Гитлер). Исполнителей же своих, своих ведомых, он так же освобождал от "химеры совести", как и наци № 1.

... Но ведь мы не знаем, убил ли кого-нибудь своими руками и Сталин. Ленин подписывал расстрельные декреты, письма, телеграммы; Сталин утверждал и корректировал расстрельные законы, списки и приговоры. И ни Ленин, ни кто бы то ни было из его преемников, в отличие от Родиона Раскольникова, так и не повалился на площади на колени»[73].

Желающих "жизнь по-своему переделать", в том числе и насильственными, революционными методами, было достаточно на всех этапах развития человеческо-

го общества. Однако на протяжении всей предшествующей истории революционеры и другие делатели истории всегда объясняли и оправдывали свои действия в системе традиционных этических норм, которые, правда, не раз приспосабливались к нуждам религиозной или политической актуальности. Традиционная нравственность оставалась ориентиром даже в тех случаях, когда исторический персонаж демонстративно занимал аморальную позицию. Теперь же, на рубеже веков, российские ниспровергатели основ объявили себя стоящими вне этики, вернее, провозгласили создание своей собственной, новой этики.

В заметке, опубликованной в мае 1917 г., М. Горький приводит слова члена большевистской партии: «Мне хотелось бы, чтобы психология, даже такого жалкого существа, как провокатор, все же была уяснена. Ведь нас – много! – все лучшие партийные работники. Это не единичное уродливое явление, а, очевидно, какая-то более глубокая общая причина загнала нас в этот тупик. Я прошу Вас: преодолейте отвращение, подойдите ближе к душе предателя и скажите нам всем: какие именно мотивы руководили нами, когда мы, веря всей душой в партию, в социализм, во все святое и чистое, могли "честно" служить в охранке и, презирая себя, все же находили возможным жить?»[74]. (Как свидетельствуют документы, Сталин сотрудничал с охранкой, а Ленин – с германским Генеральным штабом.)

Что это – "слишком широк русский человек", или, напротив, большевистская партия привлекала в свои ряды специфический человеческий тип? Второе предположение выглядит более вероятным.

И вот эти "лучшие партийные работники" пришли к власти в октябре. Не стала ли последующая история логическим следствием деятельности таких людей? Интересы борьбы за власть все в большей мере активизировали ту часть их души, которая "честно служила в охранке", и все менее ту, которая верила "во все светлое и чистое". В конце концов первая часть, видимо, вытеснила вторую и завладела всей душой. "Морали, как чувства органической брезгливости ко всякому грязному и дурному, как инстинктивного тяготения к чистоте душевной и красивому поступку, – такой морали нет в нашем обиходе", – замечает в этой связи М. Горький[75].

А дальше, действительно, процесс развивался в соответствии с подобной логикой. «Старая нравственность умерла, – заявит вскоре "красный" профессор А.Б. Залкинд в книге "Революция и молодежь", изданной в 1924 г. – На авансцену истории выдвигается новый господствующий класс – он начинает строить свои собственные правила поведения, свою этику», санкционирующую и убийство из соображений "классовой пользы", и непочитание старших, потому что "интересы революционного класса важнее блага отца", и любое предательство – на благо "дела революции"[76].

Мир утрачивает свои оттенки, становится черно-белым. Представляется справедливым утверждение, что большевистская модель общества "носила чисто манихейский характер, так как здесь буржуазия и пролетариат рассматривались как крайности, не знающие амбивалентности, взаимопроникновения. Стремление Ленина к крайностям было средством... для решения политических задач в обществе, склонном к крайностям. На слова, что его политика крайностей заводит "черт знает куда", Ленин отвечал: "И прекрасно... Это вода на мою мельницу". Он утверждал: "Буржуазная или социалистическая идеология: середины тут нет..." Так как буржуазия господствовала в старом обществе, то, следовательно,

это она была сферой господства зла, против которого выступает носитель исторической миссии добра, т.е. пролетариат, руководимый сакральным центром, т.е. партией, ее вождями»[77].

М. Горького, человека, в прошлом весьма близкого к большевистскому руководству, в тот период возмущала карательная политика властей, направленная против интеллигенции, в том числе и имевшей несомненные заслуги перед революцией. А. Луначарский так описывает беседу М. Горького с Лениным на эту тему: "Горький жаловался на обыски и аресты у некоторых людей из интеллигенции Петрограда.

– У тех самых, – говорил писатель, – которые когда-то всем нам – вашим товарищам и даже вам лично, Владимир Ильич, оказывали услуги, прятали нас в своих квартирах и т.д.

Владимир Ильич, усмехнувшись, ответил: – Да, славные, добрые люди, но именно потому-то и надо делать у них обыски. Именно потому приходится иной раз скрепя сердце арестовывать их. Ведь они славные и добрые, ведь их сочувствие всегда с угнетенными, ведь они всегда против преследований. А что они сейчас видят перед собой? Преследователи – это наши ЧК, угнетенные – это кадеты и эсеры, которые от нас бегают. Очевидно, долг, как они его понимают, предписывает им стать союзниками против нас. А нам надо активных контрреволюционеров ловить и обезвреживать. Остальное ясно.

И Владимир Ильич рассмеялся совершенно беззлобным смехом"[78].

Вот он, "звериный оскал" имморализма: разбойник, убивающий человека, аморален, он восстает против человечности, противопоставляет своеволие общепринятым законам. Имморалист – вне морали, он убивает "совершенно беззлобно".

«Большевистская практика оказалась еще страшнее большевистских теорий ⟨...⟩ Произошло то, что все "медали" обернулись в русской действительности своей оборотной стороной. "Свобода" превратилась в тиранию, "братство" – в гражданскую войну, а "равенство" привело к принижению всякого, кто смеет поднять голову выше уровня болота. Строительство приняло форму сплошного разрушения, и "любовь к будущему человечеству" вылилась в ненависть и пытку для современников. ⟨...⟩ И самая страшная, может быть, черта режима была та, что в большевизм влилось целиком все жуткое российское мещанство с его нетерпимой узостью и тупой самоуверенностью. И не только мещанство, а вообще весь русский быт со всем, что в нем накопилось отрицательного. Пришел чеховский унтер Пришибеев с заметками о том, кто как живет, и пришел Федька-каторжник Достоевского со своим ножом. Кажется, это был генеральный смотр всем персонажам всей обличительной и сатирической русской литературы от Фонвизина до Зощенко»[79].

Опыт исторического развития человечества – и прежде всего уроки Великой французской революции – показал, что возможны два полярных подхода революционеров к обществу. Один из них исходит из представления об обществе как о живом, развивающемся по собственным объективным законам организме, все элементы которого взаимосвязаны и соподчинены, и ни один из них не может быть изъят без ущерба для целого. Второй подход базируется на представлении об обществе как о некоей механической структуре с взаимозаменяемыми частями, которая поддается самым радикальным реконструкциям. История показала, что второй подход, демонстрирующий неуважение к законам социального развития, неизбежно приводит к самым трагическим последствиям.

Итак, в сфере политико-экономической для большевиков оказывается характерной постановка глубоко нереальных, химерических целей. Пытаясь повести российское общество по пути прогресса, понимаемого в Марксовом смысле, – в некое социалистически-коммунистическое будущее, большевики на деле вернули страну назад, в феодальное прошлое: "Переворот 1917 г. вовсе не был рабочей революцией, установившей новый, более прогрессивный по сравнению с капитализмом, социальный и политический строй. Природа его иная. Капитализм подавляли феодализмом, феодальными, племенными отношениями. В перевороте четко просматривается пласт активизации древних дорыночных, доторговых ценностей, направленных против попыток выйти на путь современной цивилизации"[80].

И, во-вторых, для деятельности большевиков была характерна принципиальная установка на использование любых, в том числе и безнравственных (с точки зрения традиционной общечеловеческой морали), средств. Но, к несчастью для России, эта "адская смесь" была во многом исторически обусловленной, вытекала из особенностей предшествующих этапов общественно-политического развития страны и стимулировалась последствиями неудачной военной кампании.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Цит. по: *Гордин Я.* Мыслящие восстали на умственный подвиг // Знание – сила. 1988. № 6. С. 68–69.
[2] Цит. по: *Верт Н.* История Советского государства. 1900–1991. М., 1995. С. 17.
[3] Там же. С. 53.
[4] Там же. С. 27.
[5] Там же. С. 20.
[6] Интеллигенция и нравственность: (Социологические очерки). М., 1993. С. 39.
[7] *Пайпс Р.* Россия при старом режиме. Кембридж (Массачусетс), 1980. С. 42.
[8] Цит. по: *Ахиезер А.С.* Россия: некоторые проблемы социокультурной динамики // Мир России: (Социология. Этнология. Культурология). 1995. № 1. С. 11.
[9] *Горенштейн Ф.* Псалом // Октябрь. 1992. № 2. С. 95.
[10] *Струве П.В.* Интеллигенция и революция // Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. М., 1990. С. 148–149.
[11] Там же. С. 135.
[12] Малая советская энциклопедия. М., 1929. Т. 3. С. 475.
[13] См.: *Струве П.* Указ. соч. С. 138–139.
[14] *Мамардашвили М.* Медиум или всеобщее чувствилище? // Лит. газета. 1996. 17 июля. С. 3.
[15] *Штурман Д.* О вождях российского комунизма. М., 1993. Кн. 2. С. 147.
[16] *Аверин Б.* История моего современника А.Г. Битова // Звезда. 1996. № 1. С. 196.
[17] См.: *Каутский К.* Этика и материалистическое понимание истории. СПб., 1906. С. 134–135.
[18] *Троцкий Л.Д.* Дневники и письма. США: Эрмитаж. 1986. С. 138.
[19] Цит. по: Интеллигенция и нравственность. С. 10.
[20] Аргументы и факты. 1996. № 26. С. 3.
[21] *Штурман Д.* Указ. соч. С. 147.
[22] *Великовский С.* Мы становимся неуживчивыми в помыслах о "другой политике" // Лит. газета. 1996. 17 июля. С. 3.
[23] *Франк С. Л.* Этика нигилизма: (К характеристике нравственного мировоззрения русской интеллигенции) // Вехи... С. 159.
[24] Там же. С. 152–153.
[25] *Бердяев Н.А.* Философская истина и интеллигентская правда // Вехи... С. 12, 14.
[26] *Франк С. Л.* Указ. соч. С. 162.
[27] Там же. С. 160.
[28] Там же. С. 160–161.

[29] Там же. С. 154.
[30] *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 100–101.
[31] *Струве П.Б.* Указ. соч. С. 135.
[32] *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. С. 86.
[33] *Бухарин Н.И.* Политическое завещание Ленина // Избр. произведения. М., 1988. С. 421–422.
[34] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 45. С. 381.
[35] *Штурман Д.* О вождях российского коммунизма. Кн. 1. М., 1993. С. 235.
[36] Цит. по: *Штурман Д.* Указ. соч. Кн. 2. С. 341.
[37] Цит. по: *Ахиезер А.С.* Указ. соч. С. 18.
[38] *Иванов А.В., Лоскутов В.А.* Сталинщина и сталинизм: восхождение по кругам отчуждения // Марксизм и Россия. М., 1990. С. 82–83.
[39] *Булгаков С.Н.* Героизм и подвижничество // Вехи... С. 27.
[40] Цит. по: *Гловелли Г.* Новый "Краткий курс"? // Культура. 1992. 6 июня.
[41] *Ахиезер А.С.* Указ. соч. С. 13.
[42] *Мережковский Д.С.* Грядущий Хам // Искусство кино. 1990. № 9. С. 35.
[43] *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. С. 57–58.
[44] См.: *Блюм А.В.* За кулисами "Министерства правды": (Тайная история советской цензуры. 1917–1929). СПб., 1994. С. 66–67.
[45] *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. С. 114–116.
[46] *Шрагин Б.И.* Противостояние духа. Лондон, 1977. С. 210–211.
[47] *Франк С.Л.* Указ. соч. С. 178–179.
[48] Цит. по: Сколько стоила октябрьская революция? // Аргументы и факты. 1992. № 29–30.
[49] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 7. С. 422–423.
[50] Цит. по: *Латышев А.* Что подогревает пыл защитников Ленина // Известия. 1993. 29 мая.
[51] *Горький М.* Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре (1917–1918 гг.), М., 1990. С. 84, 108.
[52] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 3. С. 46.
[53] См.: *Курганов И.А.* Победа меньшинства // Искусство кино. 1990. № 9. С. 19.
[54] *Горький М.* Указ. соч. С. 121.
[55] *Шрагин Б.И.* Указ. соч. С. 221.
[56] *Янов А.* После Ельцина-2 // Моск. комсомолец. 1996. 3 июня.
[57] Цит. по: *Чегодаева М.А.* России черный год: (Психологический портрет художественной интеллигенции в преддверии Октября.) М., 1991. С. 43–44.
[58] *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. С. 101–102.
[59] *Федотов Г.П.* Февраль и Октябрь // Искусство кино. 1990. № 7. С 16.
[60] Цит. по: *Кистяковский Б.А.* В защиту права // Вехи... С. 115–116.
[61] *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. С. 108.
[62] *Штурман Д.* Указ. соч. Кн. 2. С. 302.
[63] Там же. С. 305.
[64] Там же. С. 306.
[65] *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. С. 98–99.
[66] *Бухарин Н.И.* Железная когорта революции // Избр. произведения. С. 351, 361.
[67] *Троцкий Л.Д.* Указ. соч. С. 100.
[68] *Бухарин Н.И.* Железная когорта революции. С. 116.
[69] *Шаляпин Ф.И.* Маска и душа. Мои сорок лет на театрах. М., 1990. С. 222.
[70] *Штурман Д.* Указ. соч. Кн. 2. С. 301.
[71] *Горький М.* Указ. соч. С. 88.
[72] *Плеханов Г.В.* О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересен // Театр. 1990. № 12. С. 173.
[73] *Штурман Д.* Указ. соч. Кн. 2. С. 303.
[74] *Горький М.* Указ. соч. С. 40.
[75] Там же. С. 41.
[76] Цит. по: *Айхенвальд Ю.* Дон Кихот на нашей почве // Искусство кино. 1990. № 10. С. 8.
[77] *Ахиезер А.С.* Указ. соч. С. 16.
[78] Цит. по: *Айхенвальд Ю.* Указ. соч. С. 8.
[79] *Шаляпин Ф.И.* Указ. соч. С. 239.
[80] *Ахиезер А.С.* Указ. соч. С. 13.

В.Н. Дмитриевский

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЛАСТЬ: РОЛИ, МАСКИ, РЕПУТАЦИИ*

> Интеллигенция – слой образованных людей или работников умственного труда. ⟨...⟩ В древности и в средние века интеллигенцию составляли каста жрецов, духовенство, свободные философы, придворные поэты, шуты и т.д.
>
> Малая Советская энциклопедия. М., 1930. Т. 3. Стб. 475.

1

Роль и значимость интеллигенции в русском обществе принято исторически осмыслять начиная с рубежа XVII–XVIII вв., с петровских реформ, хотя само определение интеллигенции относится к веку XIX-му.

Петр I, как известно, окружал себя сподвижниками конструктивно-прагматического мышления, способными поддержать реформы, внедрение нового социально-экономического уклада, ориентированного на европейский образ жизни, людьми мыслящими, поправшими старые сословные предрассудки, преодолевшими гнетущий страх перед насилием, смекалистыми, действующими осмысленно, способными понимать императора с полуслова.

Совместить верноподданничество и личную инициативу, живость раскрепощенного ума, творческого воображения, энергетику действия удавалось немногим: мудрая воля монарха причудливо сочеталась с свирепым "волюнтаристским" произволом и приступами великого гнева.

Дух боевых сражений, воинских походов и побед объединял народ с петровским дворянством, гражданские реформы разъединяли. Чувство вины перед угнетенным народом порождало сострадание к нему, крепостнический уклад не противоречил патерналистской идее в сознании просвещенных дворян. Двойственность эта формировала в дворянстве противоречивое самоощущение. Объединяющим же фактором была вера в силу знания, в талант, в личность, в разум.

Петровское правление расслоило отечественную культурную традицию на дворянскую, "интеллигентскую" и народную, крестьянскую, на городскую и сельскую. В пропаганде и реализации политических целей Петр широко использовал разного рода массовые зрелища, празднества, посвященные политическим и воинским победам, театральные спектакли. А знаковой фигурой XVIII в., его символом

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 97-06-80167.

© В.Н. Дмитриевский, 2000

стал Михайло Ломоносов – архангельский мужик-интеллигент, умом и талантом достигший титулов, степеней, званий, ученой и художнической мудрости.

В русской культурно-исторической традиции искусство изначально связывалось с пропагандой государственной политики. Соответственно причастные к "искусствам" специалисты приводили в действие ее механизм. В пору царствования Алексея Михайловича спектакли в открытой в 1672 г. "комедиальной хоромине" были не только развлечением, но и содержали отчетливую политическую тенденцию. Сподвижник Петра Симеон Полоцкий, переложив "Пещное действо" в трагедию "О Навуходоносоре царе, о теле злате и триех отрецех, в пещи не сожженных", выполнял, по сути дела, социальный заказ, утверждая безусловное верховенство царской власти над церковной. Петр, относясь к искусству прагматически, заказывал театральное решение политически актуальных тем. Упразднив патриаршество, Петр отменил в пасхальные дни показ в храмах литургической драмы "Шествия на осляти", находя здесь демонстрацию превосходства церкви над престолом; при этом, однако, оставил церкви "Умовение ног" – как проповедь смирения духовенства. Наказы Петра исполнял и светский театр: показать новую комедию о победе и о вручении великому государю крепости Орешка, высмеять в шутовской интермедии раскольников, кои не удосужились сбрить бороды и усы. Вдохновенной игре актеров жадно внимала публика, в свою очередь, за ее реакциями наблюдали специалисты-осведомители из "Секретного приказа", относительно инакомыслящих принимались репрессивные санкции.

Иностранным труппам решать пропагандистские задачи было трудно в силу незнания языка и непонимания русского менталитета. Успешнее с пропагандой политики Петра справлялся школьный театр. В спектакле "Страшное изображение второго пришествия Господня на землю", поставленном учениками Славяно-греколатинской академии, в аллегорической фигуре Торжествующего Марса угадывался сам Петр, "Торжество мира православного" уже впрямую изображало разгром воинства Карла XII русской армией – "Российский Марс" побеждал "Льва Шведского". Сражение под Полтавой аллегорически воссоздавалось в спектакле "Божиих уничижителей... гордых уничижение" – Карл XII выступал в обличье "Хромого Льва", покоренного "Орлом Российским".

Петр формировал корпус специалистов массовых празднеств и официальных церемоний – приемов, маскарадов, фейерверков, народных гуляний и пр. Всякое скопление людей театрализовывалось, наполнялось символами, имеющими ценностную значимость, приобретало смысловую, идеологическую определенность. Выход царя, размещение в установленном месте приближенных, придворной челяди, произнесение тостов, встречи с иностранными послами – при всей повторяемости и закрепленности принятого ритуала каждый из его участников в той или иной мере вносил свою тему, свою "импровизацию", за которой стоял явный или скрытый личный либо корпоративный интерес; каждый играл роль; знал: от ее исполнения зависят будущее, благополучие, карьера, судьба. В послепетровскую пору покойный дядя Фамусова, Максим Петрович – "сурьезный взгляд, надменный нрав", – переусердствовав в поклонах, больно оступился, за что, как известно, "... был высочайшею пожалован улыбкой" и, вдохновленный ею, "упал вдругорядь – уж нарочно, / А хохот пуще, он и в третий так же точно"[1].

Благосклонность, успех достигались искусством "обыграть" ситуацию, обстоятельства, создать образ, вызывающий интерес, способностью продемонстрировать оригинальность, присущий или мнимый талант, но при этом остаться прежде всего

лояльным верноподданным – при дворе эти качества выводили в вельможи и фавориты.

В пору царствования Екатерины II художественная жизнь приобрела новый размах: императрица объявила театр народной школой, а себя – ее старшим учителем, несущим ответ перед Богом за всеобщее благонравие. Корпус специалистов, обслуживающих парадно-развлекательные зрелищные церемонии, ритуалы, приемы, балы, маскарады и пр., – сюда можно причислить актеров, музыкантов, композиторов, художников, драматургов, наконец, обслугу, "ливрею" – весьма расширился и укрепился.

Многие дворцовые ритуалы, церемониалы прямо заимствовались из театра. Ритуал и театр, как общественно значимые формы культурного бытия, преображали реальность, поддерживали социально-психологическое равновесие, обогащая друг друга. Связь театрально-художественного текста с текстом социокультурным выступала здесь в сложном и многозначном выражении, она опиралась на совокупность культурно-временны́х слоев, уровней; духовная, идеологическая, политическая жизнь в ее драматических и комедийных коллизиях сама часто становилась спектаклем. Ю. Лотман полагал, что в России XVIII–XIX вв. эстетика парада и эстетика балета исходили из общего корня.

Указ императрицы Елизаветы об учреждении русского государственного публичного театра (1756) играл важную роль не только в развитии отечественной культуры, но и в российской политике. Да и сами деятели театра нередко вовлекались в рискованные политические интриги. Федор Волков стал одним из непосредственных исполнителей свержения Петра III. По распространенной версии, Волков в критический момент прочитал, держа перед собой чистый лист, высочайший манифест, придававший воцарению Екатерины II видимость легитимности, за что вскоре получил почести и предложение войти в правительство кабинет-министром, от чего, впрочем, отказался, сохранив только исключительное право входить к императрице без доклада. Что же до профессиональной деятельности, то у Первого актера Российского театра она также впрямую связана с деятельностью государственной: поставленный в 1763 г. на улицах Москвы трехдневный маскарад "Торжествующая Минерва" с участием большого числа актеров и любителей имел откровенно социально-психологическую и прагматическую цель: успокоить население, возбужденное свержением законного императора, амортизировать психологическую напряженность, отвлечь внимание обывателя от политических сенсаций, перевести его настроение в развлекательно-праздничный регистр. Картины маскарада по существу зачеркивали короткий период царствования Петра III; в них осмеивались взяточники-судьи, пьяные чиновники, проигравшиеся дворяне, обманщики-купцы, прочие фигуры уходящего прошлого, с которым навсегда расставалась новая императрица, носительница добра, справедливости, чести и достоинства – "Торжествующая Минерва". Д. Фонвизин почитал Ф. Волкова не только "отцом русского театра", но и "человеком государственным", а у А. Тургенева артист имел репутацию "секретного делового человека", " первого основателя всего величия императрицы", который во время переворота при восшествии ее на трон действовал весьма умело.

Власть держала художественную интеллигенцию на коротком поводке привилегий и угроз. Новая императрица Екатерина II неожиданно дала "опасно вольнолюбивой" трагедии "Сорена и Замир" четкую политическую интерпретацию: "Смысл таких стихов ⟨...⟩ никакого отношения не имеет к вашей государыне: автор

восстает против самовластия тиранов, а Екатерину вы называете матерью" – и отвела от ее автора, П. Николева, реальную угрозу. Зато Я. Княжнину не повезло: его "Вадим Новгородский" ввел императрицу в великий гнев, пьесу уничтожили, автора забили до смерти розгами.

В пору царствования Павла I специальное "Распоряжение относительно театральной дисциплины" регулировало психологическую атмосферу зала; указывалось на недопустимость одобрения спектакля, когда император его не принимал, и, наоборот, "воздержание от плескания", когда император аплодировал[2]. Нарушители отдавались под суд; П.А. Катенин был выслан из столицы. А при Александре I критиковать артистов императорских театров вообще запретили.

Павел I сослал в Сибирь Августа Коцебу за драму "Граф Беньевский", но милостиво простил его после верноподданнической пьесы "Лейб-кучер императора Петра III". Николай I запретил выводить на сцену в негативном свете монархов – даже поверженного Наполеона – и приближенных к ним лиц: трагедию И. Лажечникова "Опричник" не разрешили за критическое изображение Ивана Грозного. Не лишенный, по свидетельству современников, лицедейского таланта Николай I внушительно играл державное величие, допрашивая декабристов: государь виртуозно демонстрировал многоликость, перевоплощался то в жесткого диктатора, заботливого "отца нации", то в искреннего друга, мученика-страстотерпца; на посольских приемах стремился походить на выдающихся императоров – Петра I, Наполеона Бонапарта, – используя величавую пластику, жесты, значительные интонации[3]. По мере своего разумения Николай I следил за художественной жизнью столиц, не чурался непосредственного общения с "творческой интеллигенцией", полагая себя знатоком и покровителем искусства.

Ф.И. Шаляпин в книге "Маска и душа" пересказывает известный в ту пору анекдот: за кулисами император похвалил В.А. Каратыгина; актер ответил:

– Да Ваше Величество, могу действительно играть и нищих и царей.

– А вот меня ты, пожалуй, и не сыграл бы, – шутливо заметил Николай.

Каратыгин стал в позу, характерную для Николая, и обратился к тут же стоявшему директору Императорских театров Гедеонову:

– Распорядись завтра в 12 часов выдать Каратыгину двойной оклад за этот месяц.

Государь рассмеялся.

– Гм... Гм... Недурно играешь.

На другой день Каратыгин получил двойной оклад[4].

Эпизод этот характеризует отношения власти и художника, стремление последнего сохранять независимость и даже умело овладевать ситуацией.

С ростом социальной дифференциации российского общества интеллигенция все отчетливее распадалась на верноподданническую и оппозиционную, исповедующую идеалы социальной справедливости, суверенитета личности, духовной свободы, наконец, тех, кто пытался устраниться от политико-идеологической суеты, уйти в сферы "чистого искусства". Власть же стремилась сделать искусство послушным инструментом формирования общественного сознания, укрепить с его помощью легитимность своих решений, свой привлекательный имидж.

Понятие "интеллигент", войдя в реальный культурный оборот в середине XIX в., вызывало самые разные реакции – от благостного восхищения до брезгливого презрения. Даже А. Чехов, "певец русской интеллигенции", не был однозначен в своих привязанностях. В рассказе "Маска" (1884) перепуганные интеллиген-

ты заискивают перед пьяным хамом миллионером Пятигоровым; Вершинин в "Трех сестрах" грустно признается: "Русскому человеку в высшей степени свойствен возвышенный образ мыслей, но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко? Почему?"[5]; Соленый в "Трех сестрах" равнодушно "отстреливает" никчемного Тузенбаха, как досужий охотник зазевавшегося вальдшнепа, – "одним бароном меньше". Надежду Чехов искал в разбросанных по всей России "отдельных личностях": "... интеллигенты они или мужики, в них сила, хотя их и мало. Они играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна. Что бы там ни было, наука все подвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер – и все это делается несмотря ни на что. Теперешняя культура – это начало работы во имя великого будущего..."[6].

Жестче и мрачнее смотрел на социальный и нравственный прогресс, на его носителей М. Салтыков-Щедрин: "История дает приют в недрах своих не только прогрессивному нарастанию правды и света, но и необыкновенной живучести лжи и тьмы. Правда и ложь живут одновременно и рядом, но при этом первая является нарождающейся и слабо защищенною, тогда как вторая представляет собою крепкое место, снабженное всеми средствами самозащиты... Я вижу людей, работающих в пользу идей, несомненно скверных и опасных, и сопровождающих свою работу возгласом: *пади! задавлю!*, и вижу людей, работающих в пользу идей справедливых и полезных, но тоже сопровождающих свою работу возгласом: *пади! Задавлю!* Я не вижу рамок, тех драгоценных рамок, в которых хорошее могло бы упразднить дурное без заушений, без возгласов, обещающих задавить"[7].

Что же до интеллигенции как таковой, то на ее счет Щедрин не обольщался: "В том суть-с, что наша интеллигенция не имеет ничего общего с народом, что она жила и живет изолированно от народа, питаясь иностранными образцами и проводя в жизнь чуждые народу идеи и представления, одним словом, вливая отраву и разложение в наш свежий непочатый организм"[8].

И все же рост авторитета российской интеллигенции, нравственный, общественный, профессиональный, очевиден. В. Короленко отмечает стремление интеллигенции найти "собственное место в великом процессе исторического перехода. Для этого ей нужно найти союзные в народе элементы в понимании и осуществлении этой правды"[9].

"Новый энциклопедический словарь" Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона определил интеллигенцию как социальную группу, играющую крупную роль в истории и общественной жизни, и приводил пространное суждение Н. Михайловского: "Мы можем с чистою совестью сказать: мы – интеллигенция потому, что мы многое знаем, обо многом размышляли, по профессии занимаемся наукой, искусством, публицистикой; слепым историческим процессом мы оторваны от народа, мы чужие ему, как и все так называемые цивилизованные люди, но... сердце и разум наш с ним... Мы – должники народа и ставим эту мысль во главу угла нашей деятельности"[10].

Отмечая профессиональный и экономический аспект связи интеллигенции с народом, автор статьи словаря В. В-въ, сосредоточивался на аспекте этическом: "К интеллигенции причисляются только лица, сердце и разум которых с народом и которые из факта своего образования за счет народа делают вывод о долге интеллигенции народу. Таким образом, к интеллигенции причисляется только прогрессивная часть образованного общества, а ни в каком случае не служители реакции, хотя бы они были людьми весьма интеллигентными"[11]. Размежевание за-

фиксировано: интеллигенция "прогрессивная" и "реакционная" существует как реальный факт.

Авторы сборника статей "Вехи" (1909), философы и мыслители, задавались вопросом: как могло общество, в котором интеллигенция занимает такое видное положение, опуститься до грабежей, резни, животной разнузданности? Почему интеллигенты приветствуют революцию, которая готова немедленно утвердить в России всеобщее равенство, даже ценой уничтожения привилегированных классов? "Разночинцы стояли ближе к народу, чем либералы, – писал Г. Федотов. – Они знали, что народу свобода не говорит ничего; что его легче поднять против бар, чем против царя. Впрочем, их собственное сердце билось в такт с народом; равенство говорило им больше свободы"[12].

Но еще четырьмя годами раньше, когда большевизм начал себя осознавать "боевой организацией", Д. Мережковский в пророческой статье "Грядущий Хам" описал три зловещих лица Хама в России: первое лицо – настоящее лицо самодержавия; второе – "лицо православия, воздающего кесарю Божие", "мертвый позитивизм православной казенщины". И третье лицо – "будущее под нами, лицо хамства, идущего снизу, – хулиганства, босячества, черной сотни – самое страшное из всех трех лиц". Три этих начала, согласно Мережковскому, направлены против земли и народа – живой плоти; против церкви – живой души; против интеллигенции – живого духа России[13].

К предсказанию Д. Мережковского многие отнеслись как к абстрактным конструкциям философа, пребывающего в умозрительных представлениях о реальной жизни. Между тем в его суждениях было не меньше реализма, нежели в романтизации люмпенства и "буревестнических" призывах М. Горького.

Противопоставление внутри самой интеллигенции определилось достаточно четко. В книге "Две интеллигенции и другие очерки" Р. Виппер выражал надежду: "Наша великая страна во многом глубоко несчастлива, но одно в ней здорово, сильно и обещает выход и освобождение – это мысль и порыв ее интеллигенции"[14].

В 1900-х годах художники, ученые, литераторы, артисты, музыканты – "представители творческой интеллигенции", "мира искусства" – оказываются в центре всеобщего внимания. Поклонение художнику в российском сознании опиралось на идеи свободы, равенства, справедливости. На художника смотрели с надеждой, в искусстве искали ответы на жизненно важные вопросы времени, в общении с ним стремились обрести внутреннюю энергию созидания, возможность приблизиться к высоким этическим и общественным идеалам. Литература, театр, живопись помогали "отдельному", "приватному", "частному человеку" обрести опору в жизненных бурях, укрепиться в сознании своей самоценности и значимости. Искусство стало мощным притягательным полем; в пространстве театра рождались могучие таланты, открывался мир новых идей, создавался новый образ современника, и интеллигент как художник и как герой, персонаж занимал в общественном сознании важное место. Внешний, знаковый и духовный имидж интеллигента 1900-х годов в решающей мере формировался спектаклями МХТ, творениями его драматургов, актеров, режиссеров, художников, духовно богатых, отзывчивых на радость, боль и страдание. «Художественный театр – дитя русской интеллигенции, плоть от плоти ее, кость от кости... Сходить в "Художественный" для интеллигента значило почти причаститься, сходить в церковь, – писал О. Мандельштам. – Здесь русская интеллигенция отправляла свой самый высокий и нужный для нее культ, облекая его в форму театрального представления»[15].

Но начало века – это и столкновение идеологий, общественных движений; интеллигентный МХТ вовлекается в осмысление острых проблем времени, стремится осмыслить сложные процессы в психике, в мироощущении современного человека. Динамичные соотношения социальной и частной жизни в российском обществе формируют менталитет российского человека, социально-психологический тип, выросший в амплитуде перепадов – от смирения к бунту, от анархии к сопротивлению.

М. Горький демонстративно противопоставляет себя рефлексирующей интеллигенции, заявляет о своей ангажированности большевиками и принятии их революционной стратегии и тактики. "Права не дают, права берут", "Хозяин тот, кто трудится" – гремит со сцены интеллигентного Художественного театра рабочий-машинист. Горький берет на себя роль полномочного идеолога будущей власти и именем ее вербует единомышленников. В преддверии кровавых дней 1905–1907 гг. устами героини "антиинтеллигентской" пьесы "Дачники" Горький возвещал наступление новой классовой силы, отодвинувшей интеллигенцию с авансцены российской жизни, силы, способной переустроить общество: "Мы все должны быть иными, господа! Дети прачек, кухарок, дети здоровых рабочих людей – мы должны быть иными! Ведь никогда еще в нашей стране не было образованных людей, связанных с массою народа родством крови..."[16]. Призыв к кровопролитной буре вскоре материализовался: "Итак – началась русская революция, мой друг, – писал Горький Е. Пешковой в январе 1905 г., – с чем тебя искренне и серьезно поздравляю. Убитые – да не смущают – история перекрашивается в новые цвета только кровью"[17].

Влас в "Дачниках" откровенно автобиографичен. Горький видит новым героем себя, "представителя социальных низов", и неожиданно обретает его в реальности! С восторгом сообщает он своему петербургскому приятелю В. Поссе о встрече с Шаляпиным: "... я убедился еще раз, что не нужно многому учиться для того, чтобы много понимать. Фрак – прыщ на коже демократа, не более. Если человек проходил по жизни своими ногами, если он своими глазами видел миллионы людей, на которых строится жизнь, если тяжелая лапа жизни хорошо поцарапала его шкуру – он не испортится, не прокиснет от того, что несколько тысяч мещан улыбнутся ему одобрительно и поднесут венок славы... Не нужно многому учиться, чтобы много понимать..."[18]. Вот хлесткая отповедь образованным интеллектуалам!

"Классовое чувство" Шаляпина радует Горького – Шаляпин в воспаленном воображении Горького "вспыхивает огнем желания расплатиться" за нанесенные ему в юности обиды и унижения. Идея реванша, возмездия, совершенно чуждая Шаляпину, но столь волнующая Горького, "материализуется" в писательском сознании Горького в фигуре "артиста-самородка", "выходца из народа", "босяка". Чем еще восхищается Горький? Шаляпин – "большое чудовище, одаренное страшной, дьявольской силой порабощать толпу". Как завидует Шаляпину Горький! Не это ли его собственная мечта, вкусившего в юности хмель провинциального ницшеанства, уязвленного свинцовыми "мерзостями жизни"? На скандальном спектакле "Дачники" в театре В.Ф. Комиссаржевской Горький тоже вышел на сцену, скрестив руки, наблюдал за бушующим партером. «Первый спектакль – лучший день моей жизни, вот что я скажу тебе, друг мой, – писал он Е. Пешковой. – Никогда я не испытывал и едва ли испытаю когда-нибудь в такой мере и с такой глубиной всю свою силу, свое значение в жизни, как в тот момент, когда после третьего акта стоял у самой рампы, весь охваченный буйной радостью, не наклоняя головы перед "публикой",

готовый на все безумия – если б только кто-нибудь шикнул мне. Поняли и – не шикнули»[19].

Триумф!

Горького раздражают "необщественные" люди, и заботу о социальном просвещении артиста Горький уверенно берет на себя. А для публики превращает его в некую плакатно-пропагандистскую фигуру, навязывая, приписывая артисту свои убеждения и взгляды. От имени писателей "Среды" Горький пишет приветственный адрес Шаляпину, а по существу программный манифест, полный политических сентенций и угроз:

"Федор Иванович!

Могучими шагами великана ты поднялся на вершину жизни из темных глубин ее, где люди задыхаются в грязи и трудовом поту. Для тех, что слишком сыты, для хозяев жизни, чьи наслаждения оплачиваются ценою тяжелого труда и рабских унижений миллионов людей, ты принес в своей душе великий талант – свободный дар грабителям от ограбленных. Ты как бы говоришь людям: Смотрите! Вот я пришел оттуда, со дна жизни, из среды задавленной трудом массы народной, у которой все взято и ничего взамен ей не дано! И вот вам, отнимающим у нее гроши, она, в моем лице, свободно дает неисчислимые богатства таланта моего! Наслаждайтесь и смотрите, сколько духовной силы, сколько ума и чувства скрылось там, в глубине жизни!

Наслаждайтесь и подумайте – что может быть с вами, если проснется в народе мощь его души и он буйно ринется вверх к вам и потребует от вас признания за ним его человеческих прав и грозно скажет вам: хозяин жизни тот, кто трудится!

Федор Иванович! Для тысяч тех пресыщенных людей, которые наслаждаются твоей игрой, ты – голос, артист, забава, ты для них – не больше; для нас – немногих – ты доказательство духовного богатства родной страны. Когда мы видим, слушаем тебя, в душе каждого из нас разгорается ярким огнем святая вера в мощь и силу русского человека. Нам больно видеть себя слугой пресыщенных, но мы сами скованы цепью той же необходимости, которая заставляет тебя отдавать свой талант чужим тебе людям. Во все времена роковым несчастием художника была его отдаленность от народа, который поэтому именно до сей поры все еще не знает, что искусство так же нужно душе человека, как и хлеб его телу: всегда художники и артисты зависели от богатых, для которых искусство только пряность.

Но уже скоро это несчастие отойдет от нас в темные области прошлого, ибо масса народная, выросшая духовно, поднимается все выше и выше!

Мы смотрим на тебя как на глашатая о силе духа русского народа, как на человека, который, опередив сотни талантов будущего, пришел к нам укрепить нашу веру в душу нашего народа, полную творческих сил.

Иди же, богатырь, все вперед и выше!

Славное, могучее детище горячо любимой родины, – привет тебе!"[20].

Шаляпин впервые, но не в последний раз становится инструментом политической пропаганды. Считал ли сам певец собственный талант "даром грабителям от ограбленных"? Ощущал ли он "трагичность разрыва с народом", а себя – несчастной "жертвой режима", "слугой чужих пресыщенных людей, для которых искусство только пряность"? Наконец, согласен ли был принять на себя роль глашатая, провозвестника социальных преобразований? Да полно! Радость жизни и творчества переполняет его в эти годы, он солист императорских театров, кумир российской и европейской публики, друг талантливейших своих современников, желанный

гость и собеседник великих князей, окружения государя, при этом никакого "разрыва с народом" у него нет, как нет и "комплекса ограбленного", и тяжкой зависимости от "власть имущих"... И уж совсем нелепо звучит вложенная Горьким в уста Шаляпину угроза поклонникам: наслаждайтесь моим искусством, пока народ не призвал вас к ответу и не сказал грозно: "Хозяин жизни тот, кто трудится" (кстати, прямая цитата из роли Нила в "Мещанах").

По прихоти Горького артист становится инструментом политических манипуляций, маятник которых начинает раскачиваться все с большей амплитудой. Желающих использовать славу и репутацию артиста, обрядить его в "агитационно-пропагандистский" наряд оказывается немало. Шаляпин сопротивляется: "Судите обо мне по сцене, по действиям моим на подмостках; частной же жизни моей не касайтесь. Это мое личное дело. О моих политических взглядах также никому нет дела! Моя платформа – это сцена"[21]. Но политические функционеры не унимались: когда артист не соответствовал ожиданиям, его клеймили то "монархистом", то "большевистским Мефистофелем", то "врагом народа", "белогвардейским прихвостнем". "Я ничего не просил. Звание Солиста Его Величества, Крест Почетного Легиона – все это свалилось как с неба. И я принял эти знаки отличия с удовольствием, говорю откровенно. Разве это преступление?"[22].

Преступление... В России артист "гражданином быть обязан", он больше, чем артист, писатель больше, чем писатель, поэт больше, чем поэт, и каждая кухарка больше, чем кухарка, и должна уметь управлять государством...

2

Умный царедворец и верный сподвижник Петра I граф А. Остерман оставил для истории много примечательных монарших высказываний, в том числе и о западной культуре. "Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней можем повернуться задом"[23]. Вождь пролетарского государства В. Ленин, позируя художнику Ю. Анненкову в кремлевском кабинете, между делом популярно разъяснял собеседнику свой взгляд на культуру и интеллигенцию как ее носителя: «Искусство для меня это... что-то вроде слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его – дзык-дзык – вырежем. За ненужностью... Вообще, к интеллигенции, как вы, наверное, знаете, большой симпатии не питаю, и наш лозунг "ликвидировать безграмотность" отнюдь не следует толковать как стремление к нарождению новой интеллигенции. Ликвидировать безграмотность следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи, читать наши декреты, приказы, воззвания. Цель – вполне практическая. Только и всего»[24].

Уже 29 августа 1922 г. на пленуме Петросовета объявлено о предстоящей высылке группы интеллигенции за границу. Эмигрантская газета "Руль" цитировала выступление Г. Зиновьева: "Найдутся люди на Западе, которые заступятся за обиженных интеллигентов. Возможно, что Максим Горький снова начнет нас поучать, что Советской России нужна интеллигенция, но мы знаем, что делаем. Рабочий класс не позволит никому, даже лучшему спецу, сесть ему на шею... Мы прибегаем сейчас к гуманной мере, к высылке, мы можем прибегнуть и не к столь гуманной мере, мы можем обнажить меч"[25].

"Философский пароход" "Oberburgermeister Hakken" 30 августа 1922 г. отошел от петроградского причала; утром следующего дня "Правда" в передовой статье

"Первое предупреждение" удовлетворенно сообщила о выдворении "наиболее активных контрреволюционных элементов из среды профессоров, врачей, агрономов, литераторов". Вскоре Ф. Дзержинский записал новые директивы вождя: "Продолжить неуклонную высылку активной антисоветской интеллигенции ⟨...⟩ Надо всю интеллигенцию разбить по группам. Примерно: 1) Беллетристы, 2) Публицисты и политики, 3) Экономисты (здесь необходимы подгруппы): а) финансисты; б) топливники; в) транспортники; г) торговля; д) кооперация и т.д. 4) Техники (здесь тоже подгруппы): а) инженеры; б) агрономы; в) врачи; г) генштабисты и т.д. 5) Профессора и преподаватели и т.д., и т.д. Сведения должны собираться всеми нашими отделами и стекаться в отдел по интеллигенции. На каждого интеллигента должно быть дело; каждая группа и подгруппа должна быть оповещаема всесторонне компетентными товарищами, между которыми эти группы должны распределяться нашим отделом"[26].

Партийность обязывала к дисциплине. На XIV съезде партии (1925) секретарь ЦКК заявил: "Ленин нас когда-то учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть и доносить... Если мы от чего-либо страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства... Можно быть прекрасными друзьями, но раз мы начинаем расходиться в политике, мы вынуждены не только рвать нашу дружбу, но идти дальше – идти на доносительство"[27]. Новый режим изымал из социального оборота категории и величины, определяющие существование интеллигенции: личностность, единичность, талант, художественное мышление, индивидуальность. "Единица – вздор. Единица – ноль", – провозглашал пролетарский горлан-главарь. Лояльный интеллигент – помощник партии. Нелояльный или устранившийся – потенциальный или реальный враг народа.

И. Бунин вспоминал о многолюдном митинге в петроградском Михайловском театре в защиту культуры: «Горький держал свою речь весьма долго и высокопарно и затем объявил:

– Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!

Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами и вызывать нас... Выходило так, что Шаляпину опять надо было "становиться на колени". Но он решительно сказал прибежавшему:

– Я не трубочист и не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.

Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:

– Вот, брат, какое дело: и петь нельзя и не петь нельзя – ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану.

И так и не пел, несмотря на рев в зале»[28].

Симпатизировавший Шаляпину финский коммунист Рахия в дружеском застолье высказывал твердое убеждение: талантливых артистов и художников надо резать – ни у какого человека не должно быть никаких преимуществ над людьми. Талант нарушает равенство[29].

Интеллигенцию продают и покупают, ее берут в заложники, выставляют щитом перед отечественным и мировым общественным мнением. За крохи свободомыслия интеллигенция расплачивалась чем могла и как могла. Шаляпин за разрешение петь за границей половину гонораров отдавал советскому посольству. "Это было в добрых традициях крепостного рабства, когда мужик, уходивший на отхожие промыслы, отдавал помещику, собственнику живота его, часть заработков, – вспоминал артист. – Я традиции уважаю"[30].

Изымаемые средства шли "на нужды народа и партии", в том числе и на благосостояние придворных одописцев. Живший на широкую ногу Ефим Придворов, он же Демьян Бедный, был расположен к Шаляпину. "Бедного в Демьяне очень мало, и прежде всего в его вкусах и нраве. Он любит посидеть с приятелями за столом, хорошо покушать, выпить вина... В критические зимние дни он разухабисто бросает в свой камин первосортные березовые дрова. А когда я, живущий дома в 6-ти градусах тепла, не без зависти говорю ему, чего это ты так расточаешь драгоценный материал, у тебя и без того жарко, мой милый поэт отвечал: – Люблю, весело пылает. – Квартира Бедного в Кремле являлась для правящих верхов чем-то вроде клуба, куда важные, очень занятые и озабоченные сановники забегали на четверть часа не то поболтать, не то посовещаться, не то с кем-нибудь встретиться..."[31].

В апартаментах из двух соседних квартир на Кронверкском проспекте обосновался оппонент Бедного М. Горький. «Иногда он устраивал и настоящие "обеды" человек на десять или пятнадцать, – вспоминал М. Алданов. – ⟨...⟩ "Обед" (в июле 1918 года. – *В.Д.*) был, конечно, не очень роскошный, но по тем временам отличный. В Петербурге начинался голод: белого хлеба давно не было; главным лакомством была конина. В хозяйстве Горького все было в надлежащем количестве и надлежащего качества»[32]. В числе гостей Горького случалось бывать и Ю. Анненкову. «В многокомнатной и удобнейшей квартире Горького не было ни в чем недостатка. Друг Ленина и завсегдатай Смольного, Горький принадлежал к категории "любимых товарищей", основоположников привилегированного класса. "Любимые товарищи" жили зажиточно»[33].

Но поведение Горького для власти неприемлемо: в газете "Новая жизнь" он печатает цикл статей "Несвоевременные мысли", защищает Учредительное собрание, рассказывает о расстреле рабочих, обвиняет большевиков в звериной жестокости, в нетерпимости к своим идейным противникам: "буревестник революции" вышел из подчинения. "Правда" 10 декабря 1917 г. публикует статью под многозначительным заголовком "В путах старого мира"; там же, в номере от 31 декабря, услужливый Демьян Бедный печатает стихотворение "Горькая правда"[34]. Окоротить Горького не удается: "В чьих бы руках ни была власть, за мною остается право отнестись к ней критически"[35]. Горький ошибается: никаких прав на критику у него, пролетарского писателя, нет. "Правда" награждает писателя убийственным ярлыком: "Горький заговорил языком врагов рабочего класса". (К сожалению, со временем Горький вполне овладеет методом и лексикой большевистской полемики и сам напишет пространную статью в той же "Правде" под красноречивым названием "Если враг не сдается – его уничтожают", оправдывающую репрессии советского режима: спустя полтора десятилетия это будет "другой" Горький новой, сталинской эпохи.) Пока же "окоротить" Горького не удается, и он размышляет на страницах "Новой жизни" о том, как изуверски трансформировались в революционной практике отношения власти, человека и народа: чаша большевистского терпения переполнилась – в июне 1918 г. "Новая жизнь" закрыта. Ленину назойливость Горького обременительна, он указывает ему на дверь: "Не хочу навязываться с советами, а не могу не сказать: радикально измените обстановку, и среду, и местожительство, и занятие, иначе опротиветь может жизнь окончательно"[36].

В 1921 г. Горький наконец уезжает за границу "для лечения". К.И. Чуковский запомнил его брошенную перед расставанием фразу: "С новой властью нельзя не лукавить"[37]. Сменив по совету Ленина "среду и местожительство", Горький не может сразу изменить образ мыслей. В 1922 г. он пишет предсовнаркома РСФСР

А. Рыкову: "Если процесс социалистов-революционеров будет закончен убийством – это будет убийство с заранее обдуманным намерением – гнусное убийство"[38]. Убийство предотвратить, естественно, не удалось. В январе 1924 г. Горький пишет Ромену Роллану: "...я не возвращусь в Россию, и я все сильнее и сильнее ощущаю себя человеком без родины. Я уже склонен думать, что в России мне пришлось бы играть странную роль – роль противника всех и всего"[39].

Судьба Горького и Шаляпина свидетельствует о двойственности, в которой творческая интеллигенция оказалась в начале века и какой драмой, а для многих и трагедией обернулась она в годы советской власти. Интеллигенция духовно формировалась и вырастала на сопротивлении власти как инструмента насилия, на конфликте с властью, которая ограничивала пространство свободы, творческого самовыражения. Власть, однако, стремилась расслоить интеллигенцию, растлить ее, ангажировать, заставить обслуживать себя, свои интересы и не скупилась при этом. Вытесненный из Советской России Горький вскоре после смерти вождя писал Е.П. Пешковой: «Должен сказать, что меня особенно раздражают намеки на чьито "влияния" и проч. в этом духе. Если бы на меня действовали влияния, то я, разумеется, давно подчинился бы Владимиру Ильичу, который умел великолепно влиять, и теперь я грыз бы бриллианты, распутничал с балеринами и катался в самых лучших автомобилях»[40].

Горький подчинился Сталину.

Бриллианты, автомобили и балерины Горького не увлекали. "Ему самому было нужно другое, – писал В. Ходасевич. – Он в конце концов продался, но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию. Своей жизни... Какова бы ни была тамошняя революция – она одна могла ему обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти – нишу в кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это революция потребовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. Он и на это пошел. Можно было бы долго перечислять, на что он еще пошел. Коротко сказать – он превратился в полную противоположность того возвышенного образа, ради сохранения которого помирился с советской властью"[41].

29 июня 1922 г. на пароходе "Oberburgermeister Hakken", том самом, который несколько месяцев спустя увезет из России цвет интеллигенции, Шаляпин уезжает в Европу. В 1927 г. его лишают звания народного артиста и советского гражданства. "Что же я после этого – перестану быть Шаляпиным или стану антинародным артистом, – недоумевает певец. – ...Я хочу на себя взять смелость и проявить, быть может, нескромность, сказав, что я не просто народный, а всенародный артист"[42].

Последнее слово осталось, однако, за государством. Гроб с телом Шаляпина еще стоял под образами в его парижской квартире, когда в "Известиях" (14 апреля 1938 г.) появился некролог: "...в расцвете сил и таланта, Шаляпин изменил своему народу, променял родину на длинный рубль... Громадный талант Шаляпина иссяк уже давно..."[43].

"Штучные" интеллигенты советской власти не нужны, власть нуждалась в "серийных" исполнителях своей воли. К началу 1930-х годов все свободные творческие объединения заменены ведомственно-огосударствленными творческими союзами – писателей, композиторов, архитекторов, художников, театральных деятелей. "...В русском коммунистическом царстве совершенно отрицается свобода сове-

сти и мысли ⟨...⟩ в коммунизме на материалистической основе неизбежно подавление личности, – писал Н.А. Бердяев. – Революционная коммунистическая мораль неизбежно оказывается беспощадной к живому конкретному человеку, к ближнему. Индивидуальный человек рассматривается как кирпич, нужный для строительства коммунистического общества, он есть лишь средство"[44].

В кинофильме А. Луначарского и Н. Пантелеева "Уплотнение" (1918) есть такой эпизод. В квартиру профессора Хрустина в порядке уплотнения вселили рабочего-слесаря Пульникова. Взаимное недоброжелательство рассеивается в ходе вынужденного общения. Ученый многое узнает о "простых людях", идет работать на пользу новой власти. В финале Хрустин и Пульников шагают вместе в рядах рабочей первомайской демонстрации. С "Уплотнения", а может быть и раньше, с горьковских "Детей Солнца", написанных в 1905 г., возникла в отечественном искусстве, литературе, театре, кинематографе трагикомическая фигура интеллигента-профессора в шапочке-тюбетейке, теплых туфлях, в "очках-велосипеде" с отрешенно-плывущим взглядом, углубленно-рассеянным, "не от мира сего", парящим над бытом в сфере отвлеченных возвышенно-умозрительных представлений. (Профессор Преображенский из "Собачьего сердца" М. Булгакова не в счет.) Другая разновидность интеллигента на сцене, в литературе, на киноэкране – вредитель, шпион, космополит, враг народа. Доминантой этого характера стали пьесы 40-х годов – С. Михалкова "Илья Головин", К. Симонова "Чужая тень", А. Штейна "Суд чести", Н. Погодина "Когда ломаются копья" и др. За "квартирной дискриминацией" интеллигента последовало его вытеснение из общественного сознания, социального пространства. В 1931 г. политический идеолог тех лет А. Сольц писал по поводу постановки в Театре Мейерхольда пьесы Ю. Олеши "Список благодеяний": "Для интеллигенции существует один благоприятный исход – слить свою жизнь с трудовыми массами, на службе у них заработать право на жизнь. Вот что, по-моему, хотели сказать автор и организатор спектакля Олеша и Мейерхольд"[45]. А уже в январе 1932 г. сам драматург на диспуте "Художник и эпоха" клятвенно заявлял: "Я хочу перестроиться, конечно, мне очень противно, чрезвычайно противно быть интеллигентом, вы не поверите, может быть, до чего противно. Это слабость, от которой я хочу отказаться. Я хочу отказаться от всего, что во мне есть, и прежде всего от этой слабости. Я хочу свежей артериальной крови, и я ее найду. У меня поседели волосы рано, потому что я был слабым. И я мечтаю страстно, до воя, до слез, мечтаю о силе, которая должна быть в художнике восходящего класса, каковым я хочу быть"[46].

1920–1930-е годы М. Мамардашвили считал самым позорным периодом жизни интеллигенции (впрочем, не только советской, но и европейской). Катастрофа советского человека – во внедряемой в его сознание и быт психологии партийности, в лишении права на личную ответственность и передаче его коллективу, руководству. Представление о ценности частной жизни изъято. Художник работает в пространстве санкционированной концепции героя, характера, понимаемого как социализированный и целиком зависимый от власти управляемый субъект, безоговорочно принимающий всю социальную систему. Все частное, личное, обусловленное собственным интересом, рассматривается как индивидуалистическое, противопоставленное коллективу, народу, стране, интересам товарищей.

Важнейший инструмент подавления индивидуальной воли – страх, тотальное устрашение, реализуемые массовой пропагандой и подкрепленные полицейскими спецслужбами. Страх 1930–1950-х годов управляет поведением, заставляет принять

обусловленные государством нормы жизни, занять отведенное по закону высшей целесообразности место в системе социальных связей. Лишь прикоснувшийся к этой теме в пьесах "Страх" и "Ложь" А. Афиногенов был тут же одернут Сталиным и Горьким[47].

Государство и его механизмы направлены на устранение возможностей самоопределения, циркулирования ценностей, способствующих формированию и становлению личности, предполагают полную идентификацию с властью. Пространства компромисса почти нет: услужение, ликвидация, подполье... "Трагическая судьба Юрия Олеши, – писал А. Белинков, – который по своей художнической физиологии был, несомненно, большим писателем, в том, что он не стал им, и не стал потому, что никогда не делал ничего сам... Он плыл в барже эпохи и не стремился переложить руля. Он катил в омнибусе отечественной словесности и не пытался повлиять на маршрут. Он понимающе улыбался, когда требовало время, приплясывал, когда вынуждали обстоятельства, кивал, когда диктовал исторический процесс. И вообще он жил только так, как будто бы его самого, его воли, его власти не существовало, а существовали только: эпоха, обстоятельства, закономерность, необходимость, процесс. Он думал, что для того, чтобы овладеть профессией замечательного писателя, нужно не покладая рук создавать замечательные метафоры. Он не понимал, что нужны более важные вещи: смелость не слушать толпу, все решать самостоятельно, готовность к ежеминутной гибели, ответственность за все человечество, уверенность в том, что когда приходится выбирать между рабством и смертью, то нужно выбирать смерть... *Нужно быть мужественным, чтобы иметь талант* (курсив наш. – *В.Д.*)"[48].

А. Белинков собственной судьбой доказал, что имеет право предъявлять высокий счет. Ему же принадлежит утверждение: "Нет таких обстоятельств, при которых душа была бы менее существенна, чем самые дорогие сорта колбасы"[49].

3

В судьбе Ю. Олеши А. Белинков увидел трагедию художника, гибнущего из-за неспособности к сопротивлению большевистской партийно-государственной системе. 1950–1960-е годы показали: способность к самоутверждению в "советском простом человеке" в интеллигенте не умерла. Значение характеров, проникших на сцену, на книжные и журнальные страницы, на киноэкран (произведения А. Арбузова, Л. Зорина, А. Володина, В. Розова, Ю. Трифонова, В. Пановой, В. Аксенова, Д. Гранина, А. Гладилина, Б. Пастернака, Б. Слуцкого и др.) не стоит преуменьшать. Появилось и окрепло "неофициозное" искусство, в сознание публики вернулась "шкала общечеловеческих ценностей", на которой можно было измерять простые качества "частного человека": порядочность, смелость, верность, честь. "Оттепельное искусство" возвращало на сцену, в кинематограф, в литературу, в читательский и зрительский оборот "частного человека". Заслугой интеллигента 1960–1970-х годов стало новое постепенное освоение возникшего в "оттепельную пору" духовного пространства и настойчивая борьба за его расширение, выражавшаяся в попытках индивидуального сознания выйти за ограничительные рамки дозволенного. Художественная интеллигенция, несмотря на старания властей, расслаивалась, росла та ее часть, которая противилась официозному направлению искусства и стремилась вернуть человеку затаптываемое несколько десятилетий самоощущение личности, индивидуальности, право на частную жизнь, легализировала

ее в искусстве, противопоставив "приватность" "здоровому коллективизму", "социализации", тотальной унификации личности. В свою очередь, искусство этой поры дало повод "простому человеку" увидеть себя как духовно значимую величину, отказаться от упрощенной социопсихологической модели "классовых отношений" – "они и мы", но принять более сложную модель – "я и другие", дало возможность увидеть себя отдельно от государства и его монопольной идеологии. Такая модель побуждала человека осознать свое место в окружающей жизни и осмыслить нравственную позицию, укрепиться в своей личностной целостности и даже упрекнуть себя в беспринципности, податливости внешним влияниям, проявить твердость, честность, уклониться от манифестаций "в поддержку" или "в осуждение", отказаться от участия в массовых демонстрациях, публичных голосованиях, протестах, иными словами – дистанцироваться от официозного пропагандистского энтузиазма и даже возвыситься если не до протеста, то до несогласия.

На расстоянии от официоза постепенно формировался оппозиционный настрой, пробуждалось индивидуальное, личностное сознание, возникали ростки несогласия, сопротивления, диссидентского правозащитного движения, стремление интеллигенции к нравственному самоутверждению, к осознанию сущности своего морально-этического достоинства, своей социальной роли. Инакомыслящие, правозащитники, диссиденты 1960–1980-х годов, "узники совести" (А. Делоне, А. Марченко, В. Буковский, А. Синявский, Ю. Даниэль, А. Сахаров, А. Солженицын, И. Бродский, Э. Неизвестный, В. Некрасов, А. Галич, В. Максимов, В. Войнович, Г. Владимов и др.), безусловно, ускорили падение "империи зла", "империи лжи" тем, что гласно потребовали соблюдения демократических свобод, взорвали общественное молчание, отвергли присвоенное партгосноменклатурой право закрытого обсуждения социально-политических вопросов и принятия единственно правильных решений, а главное – публично продемонстрировали возможность выбора, личную, индивидуальную волю к сопротивлению и при этом жизнеспособность, возможность выживания.

Публичный протест "инакомыслящих" взбудоражил общественное мнение, прорвал информационную блокаду; он требовал от каждого осмысления факта, укреплял собственное достоинство, порождал желание "жить не по лжи"; он подрывал монополию страха, монополию власти на интерпретацию событий, на информацию, разрушал мнимое "морально-политическое единство", принцип большевистской корпоративности – в этом также проявилась гражданская, историческая нравственная миссия "инакомыслящих". Личным подвижничеством, продемонстрированным публично и потому ставшим фактом общественного обсуждения, они показали возможность каждого "частного человека", "негероя" совершить поступок, утвердили его право на собственное мнение, право быть услышанным. Ответить режиму на нанесенное личное оскорбление оказывалось правом реальным – другое дело, какую цену за осуществление этого права нужно было платить.

Сама допустимость инакомыслия, несогласия с режимом определила позиции творческой интеллигенции 1960-х годов, она пробудила нравственное самосознание одних, заставила усомниться в себе других, определила четкость позиций третьих. Но главное – в обществе возникала новая нравственная шкала слов и поступков, и на фоне официоза значимость моральных ценностей в общественном мнении резко возрастала.

Повысился рейтинг личной репутации – "подручные партии" стали чувствовать дискомфорт: выполнять функции "приводных ремней" становилось в определен-

ных кругах интеллигенции "непрестижно". Именно в это время в среде интеллигенции в противовес "юношескому максимализму" формируется компромиссная психология "двойного стандарта" поведения, которая в идеологическом плане оформилась в кентаврической модели "социализма с человеческим лицом". Смысл ее заключался прежде всего в широком поле нравственного соглашательства, допускающего сотрудничество интеллигенции весьма разных ориентаций с официозом без вызывающе явного ущерба для личной репутации: не случайно государство, послесталинская власть постепенно присваивали себе концепцию "социализма с человеческим лицом", а в недрах самого партгосаппарата допускают формирование группы интеллектуалов, подготовивших идеологические предпосылки выхода из "застоя" к "перестройке" 1980-х годов.

Таким образом, перед творческой интеллигенцией снова возник реальный выбор, обусловленный генетической принадлежностью к культуре, к духовной среде, воспроизводящей нравственные ценности. Осознанная связь с культурой в сопряжении с реальными обстоятельствами времени провоцировала активность волевых интеллектуальных личностных, духовных начал и тем самым противостояла тотальному насилию, навязанному идеологическому единомыслию. Свободное слово и мысль просачивались иногда в неожиданных для властей формах и проявлениях. С середины 1950-х годов выходят статьи, очерки, рассказы, поэтические произведения, спектакли, провоцирующие "нездоровые дискуссии", сомнительное "волнение мыслей". Принимаемые меры по изъятию "вредных произведений" из читательского и зрительского оборота искомого эффекта не дали; наоборот, вносили смуту и не способствовали желаемой стабилизации общественного мнения в нужном идеологическом направлении. Одной из знаковых фигур в театре и кинематографе стал И. Смоктуновский, который как бы совместил в себе реальную и сценическую судьбу. Пройдя фронтовую и гулаговскую школу, он появился в роли интеллигента-рядового Фарбера в "Солдатах" – фильме по повести В. Некрасова "В окопах Сталинграда". Фарбер отказывался исполнять бесчеловечный приказ офицера-командира и публично обвинял последнего в трусости. (Добавим, что роль офицера играл Б. Бабочкин, сохранившийся в зрительской памяти как исполнитель роли Чапаева.) По тем временам это было вызовом всей административно-командной системе, и фильм был снят с проката. Тема интеллигента трансформировалась у Г. Товстоногова и И. Смоктуновского: в "Идиоте" Ф. Достоевского в БДТ, в фильме "Гамлет" Г. Козинцева Смоктуновский играл заглавную роль.

"Оттепельная" художественная жизнь поднимает социальную и нравственную значимость интеллигента, сосредоточивается на воссоздании характера, пытающегося сопротивляться общепринятому укладу жизни. Хотя на страницах журналов и газет, по радио и телевидению, с митинговых трибун официозные лица всех рангов требовали "всенародного осуждения" "венгерских событий", "польских ревизионистов", произведений А. Ахматовой, Б. Пастернака, М. Зощенко, А. Синявского, Ю. Даниэля, А. Солженицына, И. Бродского, заявлений А. Сахарова, тем не менее в столичных и провинциальных вузах обнаружились "идеологические отщепенцы" – преподаватели и аспиранты, объяснявшие студентам положение вещей. В крепко сработанной агитпропом стене молчания появились трещины и проемы. Призыв "жить не по лжи" заставил многих задуматься и понять истинную цену большевистских заклинаний. В "интеллигентских кругах" росло желание уйти от воздействия официоза. После XX съезда КПСС, "венгерских" и "польских" событий 1956 г. ссылки на "незнание", "неосведомленность" в отношении советского прошлого нано-

сили личной репутации непоправимый ущерб; с этим так или иначе приходилось считаться. Куда достойнее и убедительнее звучало публичное покаяние.

На IV съезде Союза писателей СССР Г. Владимов открыто выступил в защиту А. Солженицына, после чего был вызван в Правление Союза "на предмет исключения", куда, однако, не явился, а прислал письмо, которым "исключал из литературы" своих номенклатурных начальников: "Вот пример необратимости – когда судьбами писателей, чьи книги покупаются и продаются, распоряжаются писатели, чьи книги не покупаются и не читаются. Унылая серость с хорошо разработанным инструментом словоблудия, заполняющая ваши правления, секретариаты, комиссии, лишена чувства истории, ей ведома лишь жажда немедленного насыщения. А эта жажда неумолима и неукротима. Оставаясь на этой земле, я, в то же время, не желаю быть с вами. Уже не за себя одного, но за всех, вами исключенных, оформленных к уничтожению, забвению, я исключаю вас из моей жизни... Колокол звонит по каждому из нас, и каждый этот звон заслужен: каждый был гонителем, когда изгоняли товарища – пускай мы не наносили удара, но поддерживали вас своими именами, авторитетом, своим молчаливым присутствием! (10 октября 1977 года)"[50].

Обвинительные строки адресованы Г. Владимовым "им" и "своим": с начала "оттепельной поры" прошло два с лишним десятилетия, настало время подвести итоги: интеллигенция 60-х по большому счету проигрывала в поединке с властью, в жизнь входило уже новое поколение идеологов "застоя", сознательно или вынужденно лояльно настроенное к режиму, для которого романтика инакомыслия осталась в прошлом, больше привлекала норма благополучного "двойного стандарта", когда свободное слово "в своем кругу" не представляло особой опасности. В. Маканин в повести "Один и одна" рассказывал о студентах "оттепельных лет", горящих желанием самосовершенствования, творчества, подвижничества. Но с середины 60-х они уже оказываются невостребованными, обреченными на мелочное выяснение отношений, вытеснены энергичными приспособленцами, "людьми свиты", ловкими исполнителями указаний идеологов двоемыслия, в недрах которого и формировалась модель нравственного и политического компромисса – "социализма с человеческим лицом". Большевизм вновь подавлял личность, индивидуальность, "частный человек" принижался, общество строилось на презумпции "коллективной мудрости", его безусловной правоты, партийного диктата.

Формирование интеллигента нового поколения проходило сквозь фильтры многоступенчатой социализации. Формирование коммунистического сознания начиналось в детском саду, продолжалось в первых "октябрятских" классах школы, в пионерских отрядах, комсомольских лагерях, наконец, в партии, в ее средних и высших звеньях цикл социализации завершался. Два основных оправдательных мотива выдвигались в связи с вступлением в партийные ряды КПСС – прагматичный и моральный. Первый мотив – профессиональная карьера, возможность заниматься любимым делом с наименьшими ограничениями, с более широким доступом к информации, к "закрытым" изобретениям, документам, книгам, изданиям, выезды заграницу, контакты с иностранцами и пр. И второй мотив – внедрение в партийные структуры с целью их "облагораживания". Оба мотива убедительны лишь до известной степени: "карьерист" – если его деятельность не связана впрямую с партийно-идеологическим и административно-управленческим функционированием – попадал в еще большую зависимость от партийных органов и установок, нежели беспартийный специалист. Деятельность "карьериста" жестко направлялась в "ин-

тересах партии" подчас против его субъективной воли, на укрепление аппарата всей системы. Идея сотрудничества с партией с целью разложения ее изнутри также опиралась на ложную установку о том, что опора на количественное преобладание "порядочных партийцев" и внедрение их в высшую иерархию будет способствовать осуществлению демократических и экономических преобразований. Между тем реальная практика (крах экономических планов Н. Хрущева, А. Косыгина и др.) убедительно свидетельствовала, что даже на высшем государственном уровне, не говоря уже о среднем и низшем, проведение реформ невозможно, ибо централизованная горизонтально-вертикальная система партийно-государственного контроля не допускает отклонений от "линии партии" и выталкивает из своей среды потенциальных реформаторов.

Баланс "коллективной" нравственности партийной и беспартийной массы красочно характеризует распространившийся в 1970-х годах анекдот: служащие обращаются в партком с просьбой не исключать из партии скомпрометировавших себя коммунистов, чтобы не засорять ряды беспартийных.

Творческая интеллигенция в большей степени, чем, например, научно-техническая, была сращена с партгосаппаратом, представляла его "ум, честь и совесть", ибо именно через интеллигенцию, через ее представительство, через авторитет ее персоналий – популярных кино- и театральных деятелей, литераторов, художников, музыкантов – агитпроп обрабатывал массовое сознание, осуществлял промывку мозгов. Потому именно творческой интеллигенции было присвоено почетное звание "приводного ремня", "верных подручных партии", "надежных автоматчиков", "разведчиков" и пр. К ней примыкала и многотысячная армия идеологических работников всех уровней – пропагандистов, лекторов, вузовских и школьных преподавателей общественных наук, инструкторов парткомов, редакционных работников издательств, СМИ, кураторов и оргсекретарей творческих союзов и пр.

Ликвидация традиционной личной и общественной морали, веками складывавшейся системы элементарных житейских правил, здравого смысла как духовной основы существования, как фундамента индивидуальной нравственности, долга, совести, достоинства была одним из серьезнейших достижений и преступлений сталинизма. Этика растворилась в солидарности государственно-партийного долга, не подверженного критике, коллективная безнравственность неизбежно приводила к тотальному произволу и беззаконию.

Положив в основание признак отношений интеллигенции с властью, можно – разумеется, с большой долей условности – наметить пять основных групп интеллигенции, более или менее отчетливо оформившихся к 1960-м годам, каждая из которых в условиях режима играла определенную роль в его существовании.

Первая группа – "идеологи-фундаменталисты", правоверно мыслящие верноподданные режима, оплот и основа его бюрократии и идеологии, партийной и государственной власти, поставляющие номенклатуру, генерирующие базовые официальные идеи, догмы и духовные ценности, "верные ленинцы", инициаторы и авторы пакета "социального заказа".

Вторая группа – "карьеристы-функционеры", ангажированные властью квалифицированные специалисты, "верные подручные партии", с готовностью (по убеждениям) приспосабливающие свое профессиональное продвижение к требованиям и условиям "текущего момента", его идеологическим нормативам, ревностные исполнители социального заказа. Эта категория интеллигенции воспитывалась, выявлялась и адаптировалась в организационно-управленческих команд-

но-административных структурах, начиная с месткомов и парткомов предприятий и вузов, НИИ, киностудий, театров, издательств, художественных и ученых советов, райкомов, горкомов, обкомов и кончая республиканскими и союзными академиями, творческими союзами, Верховным Советом и ЦК КПСС. Научная и творческая работа в этих условиях сознательно подчинялась требованиям социального заказа, идеологической конъюнктуры, а сам научно-творческий процесс приобретал параллельно-прикладной характер "общего руководства" и реально выполнялся бригадным способом силами "штатных" сотрудников научных подразделений, корпусом литсекретарей, редакторов и пр. Главной для "карьериста" становилась административно-командная или общественно-партийная деятельность, в которой немалое место занимало сочинение разного рода обращений к партии, правительству, народу, представительство на собраниях и митингах, присутствие в группах поддержки и сопровождения руководителей в ходе официальных визитов и пр. Лояльность и предприимчивость такого типа работников поощрялись наградами, премиями, званиями, привилегиями, льготами, денежными вознаграждениями. На "отеческую заботу" "карьеристы" отвечали личной преданностью, клятвенными заверениями всегда исполнять любое задание партии, правительства, воплощать в жизнь идеи коммунизма, создавать "мобилизующие образы положительного героя", "творить искусство, достойное народа", внедрять в сознание масс "моральный кодекс строителя коммунизма" и т.п.

Третья группа – "нейтралы-уклонисты" – специалисты, ставящие свои профессиональные интересы, призвание выше общественной и партийной карьеры, стремящиеся к автономии, к дистанцированности от властей, к такому компромиссу с официальной идеологией, который позволил бы обрести свою социальную нишу, удаленную от политики, находящуюся в стороне от схватки. Сохранить призрачную возможность относительной независимости, более или менее чистую репутацию для этой категории интеллигенции было весьма важно. Таким образом, этой группе присуща определенная социальная пассивность при сохранении формальной лояльности режиму. "Нейтралы" лишь вынужденно участвовали в публичных акциях и занимали общественные и административные должности в нижних структурах власти, как правило, уклонялись от подписания разного рода обращений и участия в публичных политических манифестациях. Интересы этой группы интеллигенции были сосредоточены в основном на профессиональных проблемах; по мере возможности они стремились уйти от выполнения "социального заказа", пытаясь противопоставить ему собственные оригинальные замыслы, часто отправляемые "на полку", "в письменный стол", в бездонные хранилища цензурных ведомств.

Четвертая группа – "независимые специалисты", критически относящиеся к идеологии и практике советского режима и стремящиеся максимально использовать легальные и полулегальные возможности распространения своих взглядов, отвергающие участие в публичных манифестациях и официальных акциях, вынужденно принимающие весьма ограниченный компромисс с советским режимом. Этой группе присуще стремление к неформальному общению, игнорирование политической конъюнктуры, готовность идти на определенные житейские трудности ради любимого дела. Отсюда необходимость параллельно заниматься неквалифицированным трудом ради прожиточного минимума. Армия дворников, лифтеров, курьеров, сторожей, кочегаров, дежурных пожарников, санитаров, железнодорожников, проводников, страховых агентов, спасателей на

водах и пр. пополнялась в основном из этой категории мыслящих и творчески независимых людей.

Пятая группа – "инакомыслящие", "правозащитники", "диссиденты", сторонники коренных социальных преобразований и реформ, отторгающие возможность сотрудничества с советским режимом, организаторы и лидеры неформальных объединений, кружков, сообществ. Представители этой группы активизировались в "оттепельную пору" 1960-х годов, хотя отдельные проявления такого поведения наблюдались и раньше. Если первые две группы – "идеологи" и "карьеристы – составляли опору режиму, а со специалистами "нейтралами" и "независимыми" власть стремилась сотрудничать, регулируя отношения методом кнута и пряника, то "инакомыслящих" необходимо было подавить, изолировать, противопоставить всем остальным. В отличие от всех остальных групп интеллигенции "инакомыслящие" выступили обличителями преступлений большевистского политического обмана, двоемыслия, лжи, террора, несмотря на публичное оклеветывание, расправу, казни, ссылки, тюрьмы и лагеря.

Можно согласиться с тем, что сталинский террор 1920–1950-х годов был направлен на уничтожение творческой интеллигенции, низведение ее до положения идеологической обслуги, политических марионеток, лишенных права на самовыражение, на ответственность, влияние на происходящие события. Власть предлагала весьма ограниченный набор социальных игр и социальных ролей. Тех, кто не хотел принимать участие в них, власть отсекала в диссиденты, инакомыслящие, отправляла в лагеря, психбольницы, высылала за границу, репрессировала. Но как только в "оттепельные годы" террор слегка ослабел, сразу же, еще до XX съезда КПСС, уже на II съезде Союза писателей в 1954 г., в среде интеллигенции наметилась дифференциация, оппозиция, которая постепенно завоевывала все большее пространство в обществе. В ответ на стремление интеллигенции к свободе, к самовыражению власть стремилась ее подкупить, ангажировать, развратить, коррумпировать. В "оттепельные годы" пространство добровольного выбора интеллигенции существенно расширилось. Вопрос в том, кто и как этой возможностью хотел и мог воспользоваться.

Здесь не рассматривается весьма представительная группа беспартийной интеллигенции, которая также может быть структурирована по аналогичным признакам и основаниям. Для нас важно обратить внимание на то, что в советской стране интеллигенция могла реализовать себя в следующих основных направлениях:

1) в открытом политико-идеологическом официозе, выполняя социальный заказ власти;

2) в большей или меньшей дистанцированности от власти, в деятельности, относительно удаленной от открыто официозных программ;

3) в параллельной, "катакомбной" деятельности (например, литературная работа "в ящик", отказ от контактов с официальными структурами – "внутренняя эмиграция");

4) в открытой правозащитной, диссидентской деятельности;

5) в деятельности, связанной с отъездом в эмиграцию, добровольным или вынужденным. Исторический опыт такой деятельности достаточно богат и разнообразен.

Все эти направления могут быть представлены выдающимися в своем роде, а также "рядовыми" фигурами, лидерами и аутсайдерами. Как писал М. Салтыков-Щедрин, "подобно тому, как в стране, переходящей из низшего фазиса обществен-

ности в высший, бывает спрос на людей талантливых, убежденных и энергетических, которые обыкновенно и являются на призыв, – так точно и в стране, мечтающей о блаженстве неподвижности, бывает спрос на людей ограниченных, которые также не упускают откликнуться без замедления. А как скоро есть спрос, то, значит, есть и нужда в таких людях, нужда же, в свою очередь, приносит за собой силу, авторитетность, почет"[51].

Власть нуждалась в интеллигентах, популярных у населения, авторитет которых помогал манипулировать общественным мнением. Приближенные к верховным институтам партийно-государственного управления власти номенклатурные деятели искусства выступали непосредственными посредниками между властью и народом, обществом, исполнителями вышестоящей воли, помогали выдавливать из сознания и памяти народа выдающихся художников, очернять их нравственную и творческую репутацию. Борьба с интеллигенцией поручалась самой интеллигенции.

Формирующееся в 1960–1990-х годах инакомыслие, идея сопротивления режиму проникала в общественное сознание, нравственный, гражданский авторитет интеллигенции возрастал. Складывалось впечатление, что без усилий интеллигенции жизнь рабочих, крестьян усложнится, ибо уничтожение интеллектуального слоя общества неизбежно повлечет за собой деградацию всех остальных социальных слоев. Интеллигенция убеждала народ и власть, что в самой основе научного и художественного творчества лежит неприятие человеком существующего положения вещей, его "тоска по лучшей жизни". Акад. П.Л. Капица писал Председателю КГБ Ю.В. Андропову: "Динамика развития человеческой культуры лежит в тисках противоречия между консерватизмом и инакомыслием, и это происходит во все времена и во всех областях человеческой культуры"[52].

Силовые военно-политические и идеологические, а также и репрессивные акции – подавление "контрреволюционных мятежей" в Венгрии (1956) и Чехословакии (1968), политические обострения в Польше на рубеже 1970–1980-х годов, процессы над А. Синявским, Ю. Даниэлем, И. Бродским, преследования Б. Пастернака, А. Сахарова, П. Григоренко, А. Солженицына, шестерых демонстрантов на Красной площади, другие "нежелательные" события уже не обеспечивались тотальным единомыслием и всенародным одобрением. В этом особенность социально-психологической атмосферы 1960–1980-х годов. Интеллигенция расслаивалась, устойчивая картина мира дробилась, это ставило интеллигенцию перед необходимостью выбора, внятной оценки событий, ответа на жизненно важные вопросы.

Со своей стороны, власть полагала, что она владеет средствами воздействия на общественное мнение, "контролирует ситуацию", искала тех, чьими авторитетами она могла бы заслониться от общественной критики, благодаря кому она могла бы сохранить "лицо" внутри страны и за рубежом.

4

Среда обитания диктует парадигмы поведения. Более широкое информационное пространство привело советского человека к осознанию себя в новом социально-психологическом и социально-этическом поле, в котором складывалась новая система ценностей, формировалась новая шкала оценок поведения, новый механизм формирования (и крушения) профессиональных, гражданских, нравственных репутаций.

Поколение постсталинской интеллектуально-идеологической элитной номенклатуры, сменившее буржуазных спецов и красных выдвиженцев, формировалось в широко разветвленной сети комсомольско-партийного образования, на гуманитарно-теоретических факультетах университетов. Из выпускников элитных вузов выходили идеологи горбачевской перестройки, носители концепции "социализма с человеческим лицом".

В конце 1980-х годов, когда демократы-правозащитники и идеологи-реформаторы сблизились на перестроечно-демократической платформе, составив так называемую Межрегиональную депутатскую группу, пробудившаяся энергия нового поколения интеллигенции напугала не только консервативных "верных подручных партии": М. Горбачев принял на себя роль миротворца, вернул из "горьковской ссылки" А. Сахарова, одновременно было дано разрешение на публикацию в "Новом мире" произведений И. Бродского и А. Солженицына. Это был первый жест советской власти, приглашавший интеллигенцию к сотрудничеству. Спустя год, выступая перед американской общественностью, Горбачев заявил: "Всегда брожение в умах людей начинается с брожения интеллигенции. Это те самые дрожжи в любом обществе, которые вызывают новые процессы. Я сказал сегодня Президенту США, что желательно, чтобы в разработке, в формировании политики каждого государства – и внутренней, и внешней – присутствовал научный элемент, а художественная интеллигенция вносила бы свой нравственный элемент в политику"[53]. (Внести нравственный элемент поручили певице Большого театра Е. Образцовой.)

Демонстративно-открытая поддержка интеллигенции создавала советскому лидеру высокую репутацию в глазах отечественного и западного общественного мнения. В Польше (14 июля 1988 г.) М. Горбачев говорил об интеллигенции как представителе народа, духа нации. Такие суждения руководителя КПСС, великий основатель и вождь которой видел в интеллигенции "лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г...."[54], стали сенсацией. Именно интеллигенция, не устает подчеркивать М. Горбачев, породила перестройку, взаимопонимание интеллигенции и власти, способствовала утверждению гласности: "Инакомыслие – это мотор духовного научного прогресса"[55].

Тогда могло показаться: власть осознала роль интеллигенции в обществе, тем более что в новый состав Верховного Совета СССР вошло немало ученых и творческих работников. Но маятник снова качнулся вправо. Уже на Втором съезде Верховного Совета М. Горбачев, заискивая перед левым крылом депутатов, перешел на привычную большевистскую лексику: "говоруны", "интеллигентщина" и пр. Однако перешел с опозданием – его самого это вероломство уже не спасло.

Любая власть приглашает интеллигенцию к сотрудничеству, видя в ней инструмент своего утверждения в общественном сознании, но принципиальная неангажированность, убежденность, морально-этическая устойчивость определенных групп интеллигенции сразу превращает ее во врага, которого, согласно классической горьковской заповеди, уничтожают, если он не сдается. Власть всегда лукаво заискивала перед интеллигенцией, когда предчувствовала катастрофу, и сразу же отрекалась от нее, когда с помощью ее же сил и авторитета укреплялась на вершине.

В постсоветскую пору содержание понятия интеллигента деформируется. Прежде власть требовала от гуманитариев мифологизации жизни, внедрения в массовое сознание ценностных догм социализма. За эти достижения с интелли-

генцией расплачивались социальными гарантиями и почестями – изданиями книг, спектаклями, званиями и пр. Постсоветская власть под давлением интеллигенции отменила цензуру, освободила художников от принудительной обязанности обслуживать власть, но при этом сняла искусство и гуманитарные науки с материального довольствия. Экономический ошейник оказался достаточно жестким. Интеллигент нужен власти как генератор обеспечивающих ее руководящее положение идей. Но при этом власть боялась самостоятельности интеллигенции, ее рефлективности, непредсказуемости, инакомыслия. Интеллигент же снова оказался перед альтернативой – служить делу, идее или, отказавшись от себя, идти в услужение власти.

В пору предвыборных кампаний интеллигенция – и в первую очередь творческая, "публичная" – оказалась чрезвычайно востребованной и завербованной в качестве "групп поддержки", способствующих успеху лидеров власти у избирательных масс – электората. На ярмарке политических амбиций и художественных тщеславий началась широкая сезонная распродажа дефицитного товара: политики выкинули на прилавок смелые социально-экономические прожекты, художники – талант, мастерство, популярность, обаяние, любовь публики, свои репутации, натиск которых должен был убедить массы избирателей в правильности их выбора.

Взаимозависимость власти и интеллигенции, их притяжение и отторжение закономерны, имеют свои резоны: "Скажи мне, кто твой друг..." Жизнь художника и политика публична, известность, признание, успех, слава – условия профессионального существования, циркуляции в культурном обороте. Дружба государственного деятеля, партийного лидера с известным "мастером культуры" позволяет ему войти в окружение "любимца публики" и тем самым увеличить свою популярность, стать более известным, узнаваемым. Поэтому политики ревностно позируют перед телекамерами в обнимку со звездами, участвуют в качестве "свадебных генералов", "ближайших друзей", "творческих и идейных единомышленников" на разного рода вернисажах, презентациях, юбилеях, бенефисах, творческих вечерах и пр. В представлениях своего электората политики вырастают в личностных масштабах, выступают тонкими ценителями искусства и одновременно его щедрыми покровителями – ведь любимый и талантливый артист не станет водиться "абы с кем".

Творческая интеллигенция энергично выступает соучастником политической жизни, выполняет роль рыболовной наживки, подсадной утки; она участвует в преднамеренной подмене, отдавая в прокат политику неотразимую улыбку, талант, вдохновение, убеждения, авторитет, репутацию, наконец. В результате такой подмены в массовом сознании смещаются политические, идеологические, нравственные ценности. Подлинные лица политики заслоняются глянцевыми масками "звезд" разного калибра, "социальных героев", "трагиков", "комиков", писателей-сатириков и импровизаторов-куплетистов.

Общность интересов образует своеобразное эмоционально-идеологическое и культурно-политическое единение. Широко обнародованная дружба с обаятельной и популярной примадонной обеспечит политику наплыв к избирательным урнам массы поклонников; примадонна надеется, что в обозримом будущем ее старания будут соответствующим образом оценены – финансовой поддержкой, званием и пр. В промежутках между политическими кампаниями осуществляется "раздача слонов" – презентации, вручение премий, наград, почетных званий, подарков, разного

рода фестивали и пр. Все это эмоционально и психологически сближает политического деятеля с массой фанатов-поклонников, делает его "своим".

Опыт 1980–1990-х годов доказал: "войдя во власть", интеллигент входит в роль и, одев маску, нередко, как известный персонаж французского мима Марселя Марсо, сращивается с ней и не находит сил освободиться от нее. И тогда перед интеллигентами снова во всей остроте встает горьковский вопрос: «С кем вы, "мастера культуры"?».

Обстоятельно и эмоционально на него ответил писатель А. Битов: "Не был я никогда ни с какими мастерами культуры, и сейчас я не с ними. И если я в культуре мастер, то по-прежнему не желаю быть ни с кем... Интеллигенция потому и интеллигенция, что с властью не сближается. Но когда интеллигенция стала понятием социальным, классовым, образованческим – это привело к утратам. Не должна она сближаться с властью никогда. Это ее принцип и признак. А что она одобряет или нет – это должно быть всего лишь свободой выражения мнений. ⟨...⟩ Она (интеллигенция. – *В.Д.*) может выражать свои мысли в выступлениях и в эссе. Власть может высказанное понимать или не понимать. Когда власть невежественна – это беда национальная, социальная и государственная. То, что власть мало что может решить и даже понять, свидетельствует о слабости власти, которая ничем, кроме как танками, свою силу доказать не может. И интеллигенты будут продолжать уезжать, потому что слабость власти приведет в конце концов к террору. Интеллигенция беспомощна, ибо заставить непонимающего понимать нельзя, а потерять себя в сотрудничестве с такой властью можно. Поэтому выражать свою точку зрения можно и нужно печатно, публично – как угодно. Но я не вижу способов сотрудничества с властью"[56].

Постепенно складывается некий кодекс поведения человека, претендующего на право считать себя интеллигентом. По мысли Б. Окуджавы, интеллигент – это тот, кто жаждет знаний для пользы Отечества, ставит общественное выше личного, духовное выше материального, не приемлет насилия, уважает личность, сомневается в себе, имеет больную совесть, ценит независимость мышления, приоритеты добра, относится к себе с самоиронией. Впрочем, в этом наборе несколько отвлеченных характеристик видится не столько обобщенно-групповой портрет интеллигента, сколько собственная самооценка[57].

Позиция категорической дистанцированности от власти во имя нравственного и духовного самосохранения – собственного и общества – морально привлекательна, но не универсальна и малоконструктивна; до некоторой степени она может быть осуществима "непубличными" "свободными художниками", мало связанными с организованными структурами с материально-техническим производством, лабораторно-экспериментальным обеспечением, технически оснащенными студиями, театрально-концертными помещениями и пр. Распределяет национальные ресурсы власть; она обеспечивает ученого и художника условиями профессиональной деятельности, предъявляет ему социальный заказ, требует лояльности и подчинения. Власть нуждается в уме, опыте, таланте, знаниях интеллигента для умножения своего могущества, совершенства инструментария и для признания своей легитимизации, оправдания своих действий в массовом сознании, нуждается в одобрении интеллигенции, той, разумеется, которой масса доверяет, с которой считается. Укрепить в глазах общества свою моральную репутацию власти особенно важно в пору кризиса и принятия непопулярных решений.

Радикально настроенная интеллигенция в отличие от интеллигенции ангажированной оказалась в сложном положении. Последствия ее оттеснения с позиций духовного лидерства обозначились скоро. В телевизионной передаче "Вести" 4 ноября 1996 г. заместитель председателя Центробанка России признался, что низкая правовая культура и отсутствие навыков честного партнерства являются одной из причин банкротства и экономического краха частных банков и предпринимательства в целом. Банкир тем самым публично признал: благополучие и благосостояние нынешнего государства Российского упирается в аморальность общества. Примечательно, что семью годами раньше, на Втором съезде Верховного Совета СССР, Д.С. Лихачев сказал: "От культуры зависит социальный прогресс страны. Без культуры в обществе нет нравственности. Без элементарной нравственности не действуют социальные и экономические законы"[58]. Отсюда можно сделать вывод: интеллигенция не смогла противодействовать растущей деморализации и криминализации общества и правовому беспределу, ее авторитет оказался недостаточен.

Гораздо более устойчивыми на политическом горизонте были специалисты, прошедшие суровую школу моделирования "социализма с человеческим лицом". Поначалу приняв на себя роль реформаторов, они заняли место интеллектуальной обслуги аппарата власти в качестве более или менее известных широкой публике консультантов, референтов, советников и примкнувших к ним имиджмейкеров, клипмейкеров и иных профессиональных мастеров рекламного успеха. И сегодня можно наблюдать, как в результате интенсивных социальных перераспределений происходит упорядочение общественных функций различных групп населения, в том числе и интеллигенции, – идеологическая, политическая, хозяйственно-экономическая, административно-управленческая, духовная, интеллектуальная власть наполняется новым смысловым содержанием и предлагает своих лидеров, носителей, исполнителей в согласии с изменившейся ценностной иерархией. Но весьма очевидно и другое: российское массовое сознание еще не освободилось от классовых рабоче-крестьянских пропагандистских стереотипов прошлого, оно не созрело до принятия интеллигента в качестве и образе руководителя государства.

Интеллигенция пытается строить общество на основе общечеловеческих ценностей и цивилизованного правосознания, на знании, опыте и нравственных началах. Власть не приняла нравственных установок интеллигенции, которые она ставила выше обыденной повседневной целесообразности. В массовом сознании сохраняется сложившееся мифологическое представление об интеллигентах как об опасных или в лучшем случае бесполезных индивидуалистах, оторванных от практики, сосредоточенных на отвлеченных проблемах, не имеющих прямого отношения к действительности и безосновательно претендующих на лидирующее положение в обществе и государстве, вносящих только путаницу своими "дискуссионными мнениями", "сумбур вместо музыки", беспорядок, искусственно усложняя вопросы в противовес идее порядка, укрепляющей государственность и экономическое положение народа. Однако в современном социально-психологическом контексте идея порядка трактуется как идея упрощения социальной жизни, ее примитивизации, низведения до удобовоспринимаемой, общепонятной, унифицированной, опирающейся на деиндивидуализацию личности, на стандартизацию духовной жизни схемы, а носитель идеи соответственно упрощается до харизмы могучего Ильи Муромца или смекалистого Иванушки-дурачка –

некий радикал-разработчик, способный упростить сложную совокупность оригинальных политико-экономических концепций и идей до набора элементарных стандартизированных популярно-практических знаний. Многозначная, многоуровневая организация социальной жизни, социального порядка должна быть удобна, общепонятна, легко восприниматься массовым сознанием. Интеллигент для реализации такой идеи не годится. Выбор власти между интеллигентом-мыслителем, художником, осведомленным теоретиком и смекалистым мужиком-хозяйственником состоялся в пользу последнего.

Выйдя в 1980–1990-е годы в массовое общественное движение, интеллигенция расширила свою социальную базу, но утеряла в "качестве", растворившись в "образованщине". Среди части нынешней интеллигенции (назовем ее условно "автономной", так как определение "независимая" ко многому обязывает) можно наблюдать отчетливое стремление уйти в аутсайдеры, максимально дистанцироваться от политики. У другой части интеллигенции – назовем ее также условно "социально активной" – такое поведение вызывает гневные упреки в отсутствии гражданской позиции. Она, в свою очередь, готова энергично соучаствовать с властью, влиять на нее, "облагородить ее", консультировать и корректировать ее действия. Не аналогичное ли прекраснодушие и лукавство двигало в свое время теми, кто полагал внедриться в КПСС, надеясь разрушить ее изнутри? Эта часть интеллигенции вызывает упреки в соглашательстве и ангажированности, в нерезультативности такого сотрудничества.

Конфликт с властными структурами – не самая высокая плата за "несговорчивость", за "верность себе". Истинный выбор, цену поступка и приговор себе интеллигент определяет и выносит сам. Расставание с должностью, с "положением", даже расставание с жизнью – не самая страшная расплата для интеллигента, страшнее потерять имя, честь, репутацию, не выполнить взятые обязательства, долг, ощутить ужас бессилия, крах идеи, меру вины и ответственность перед другими.

Интеллигенция часто трагически реагирует на проявления нравственного общественного кризиса. Жесткое самоограничение нравственными нормами диктует поступки. В отличие от власти интеллигент не может допустить политического, нравственного двуличия, словесной демагогии, лжи. Тем не менее корпус профессиональных политиков рекрутируется из интеллигенции; они, по сути дела, трансформируются, превращаются в госслужащих, в чиновников, наемных работников с соответствующим вознаграждением. Образуется новая генерация политической интеллигенции.

По своей природе интеллигенция не может быть структурирована в централизованную организацию, она самовыражает себя в развитии индивидуальных начал. "Антиинтеллигентное" манипулирование единым мнением, силой большинства, рычагом корпоративности – главное средство политики, государственного управления. Интеллигент, отстаивая презумпцию автономности, поставлен перед альтернативой – нравственность или целесообразность. Вопрос не в том, нравственна ли политика; вопрос в том, нравствен ли человек, занимающийся политикой. Между тем политика, как и управленческая деятельность, предполагает гибкость, мобильность, компромиссы, расплывчатость моральных норм как непременные признаки управленческого профессионализма.

Жесткая централизованность, корпоративность неизбежно порождают даже в "интеллигентных сообществах" нетерпимость к инакомыслию. Формируется соли-

дарность круговой поруки, недемократичность, закрытость с присущим ей "двойным стандартом" мышления и оценок – для внутреннего корпоративного обихода и для "сторонней" публики, что становится приемлемой нормой, продиктованной "высшим принципом", "пользой дела", "производственной целесообразностью", "интересами научного, художественного коллектива единомышленников", "корпоративного большинства". Однако индивидуальность интеллигента всегда выше и значимее коллективной корпоративности. Презумпция совокупного большинства – блеф, испытанный рычаг партийно-коллективного произвола. Индивидуальная идея, личная мораль рождается в голове отдельного человека, а не толпы и даже организованного коллектива. Поэтому в конечном счете корпоративность всегда убирает неудобных одиночек со своего пути. "В мире должна произойти великая реакция против власти и господства политики, против похоти политической власти, против ярости политических страстей, – писал Н. Бердяев еще в 1918 г. – Политика должна занять свое подчиненное, второстепенное место, должна перестать определять критерии добра и зла, должна покориться духу и духовным целям... Должна быть в мире преодолена диктатура политики, от которой мир задыхается и исходит кровью"[59].

Наука, искусство, жизнь – три области культуры – обретают целостность в личности, которая приобщает их к своему единству. Претензии постсоветской интеллигенции на политическое лидерство оказались несостоятельны, участие в политических играх привело даже подчас не худших ее представителей к перерождению, общий "рейтинг интеллигентности" в науке, в искусстве, в обществе снизился. Как писал Д. Самойлов: "Смежили очи гении. Нету их – и все разрешено..."

Обратим внимание еще на одну отчетливо видимую генерацию интеллигенции, дистанцированную от власти. Ее можно определить как носителя принципиально нового типа современного социально-экономического и психологического сознания. Сегодня многие литераторы, музыканты, художники, ученые, актеры, искусствоведы занялись культурным предпринимательством, открыли частные издательства, художественные галереи, студии, театры и пр. Этот вид деятельности привел к заметному расширению художественного рынка, оживлению литературной, театральной, музыкально-художественной жизни. Несомненно, что выход части интеллигенции за рамки политики (так же как и демонстративной аполитичности) в сферу художественного предпринимательства свидетельствует об обретении ею новой социальной роли. В условиях интенсивного переструктурирования общества, стремительного имущественного расслоения и возникновения новой многоукладности роль и место интеллигенции требуют своего переосмысления и собственного самопознания.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Грибоедов А.С.* Горе от ума. М., 1982. С. 18.
[2] Распоряжение о театральной дисциплине // Рус. архив. 1873. № 11. С. 02298–02299.
[3] См.: *Муравьев А.Н.* Сочинения и письма. Иркутск, 1986; *Розен А.Е.* Записки декабриста. Иркутск, 1984; *Штейнгель В.И.* Сочинения и письма. Иркутск, 1988.
[4] См.: *Шаляпин Ф.И.* Страницы из моей жизни. Маска и душа. М., 1990. С. 321.
[5] *Чехов А.П.* Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 9. С. 357.
[6] Там же. 1957. Т. 12. С. 518.
[7] *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1957. Т. 5. С. 241.

[8] Там же. 1969. Т. 7. С. 124.
[9] *Короленко В.Г.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1953. Т. 9. С. 101.
[10] Новый энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., [б.г.]. Т. 19. Стб. 537.
[11] Там же. Стб. 538.
[12] Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. СПб., 1909. С. 148.
[13] См.: *Мережковский Д.С.* Полн. собр. соч.: В 24 т. М., 1914. Т. 8. С. 148–154.
[14] *Виппер Р.* Две интеллигенции и другие очерки. М., 1912. С. 24–25.
[15] *Мандельштам О.Э.* Художественный театр и слово // Мандельштам О.Э. Об искусстве. М., 1995. С. 252.
[16] *Горький М.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1950. Т. 6. С. 269.
[17] Там же. 1954. Т. 28. С. 348.
[18] Там же. С. 184–185.
[19] Там же. С. 333.
[20] Цит. по: *Дмитриевская Е.Р., Дмитриевский В.Н.* Шаляпин в Москве. М., 1986. С. 83–84.
[21] *Икс.* Правда о Шаляпине // С.-Петербургская газета. 1911. 24 мар.
[22] Объяснения Шаляпина // Киевская почта. 1911. 21 июня.
[23] См.: *Гельбит Н.* Русские избранники и случайные люди в XVIII веке // Рус. старина. 1886. № 4. С. 84.
[24] *Анненков Ю.* Дневник моих встреч: В 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 244.
[25] См.: *Латышев А.* Рассекреченный Ленин. М., 1996. С. 201–202.
[26] Там же. С. 202.
[27] Там же. С. 204.
[28] *Бунин Ив.* О Шаляпине // Иллюстрированная Россия. Париж, 1938. 30 апр., № 19. С. 3–44.
[29] *Шаляпин Ф.И.* Указ. соч. С. 388.
[30] Там же. С. 396.
[31] Там же. С. 384.
[32] *Алданов М.* Из иконоборца он стал советской иконой // Лит. газета. 1993. 24 мар. С. 5.
[33] *Анненков Ю.* Указ. соч. С. 40.
[34] *Бедный Демьян.* Горькая правда: Посвящается всем отшатнувшимся от народа писателям, М. Горькому и В. Короленко особливо // Правда. 1917. 31 дек.
[35] *Горький М.* Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. М., 1990. С. 177.
[36] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 51. С. 26–27.
[37] *Чуковский К.И.* Дневник. 1901–1929. М., 1997. С. 148.
[38] Из переписки А.М. Горького // Известия ЦК КПСС. 1989. № 1. С. 239.
[39] Цит. по: *Баранов В.* Горький без грима: Тайна смерти. М., 1996. С. 47.
[40] См.: *Данилова Е.* Проклятие Германна и любовь к Веничке // Общая газета. 1995. 1–7 июля. С. 5.
[41] *Ходасевич В.* Горький // Октябрь. 1989. № 12. С. 169.
[42] Беседа с Шаляпиным // Возрождение. 1927. 23 июля.
[43] *Рейзен М.* Умер Шаляпин // Известия. 1938. 14 апр.
[44] *Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 124–125.
[45] *Олеша Ю.К.* Пьесы. Статьи о театре и драматургии. М., 1968. С. 379.
[46] Там же. С. 268.
[47] См.: *Баранов В.А.* Указ. соч. С. 234–236.
[48] *Белинков А.* Сдача и гибель советского интеллигента. М., 1997. С. 64.
[49] Там же. С. 85.
[50] Как управлять литературой // Лит. газета. 1993. 15 мая. С. 5.
[51] *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч. Т. 7. С. 43.
[52] За ненадобностью вернуть гр-ну Капице // Сов. культура. 1988. 21 мая. С. 3.
[53] Визит Генерального секретаря ЦК КПСС в Соединенные Штаты Америки 7–10 декабря 1987 года. М., 1987. С. 68.
[54] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 51. С. 26.
[55] Речь М.С. Горбачева на встрече с интеллигенцией в Варшаве // Интеллигенция перед лицом новых проблем социализма. М., 1988. С. 78.
[56] *Битов А.* Я никогда не был с "мастерами культуры" // Известия. 1996. 15 мая. С. 3.
[57] См.: *Окуджава Б.* В нашем доме // Лит. газета. 1996. 23 февр. С. 4.
[58] Выступление Д.С. Лихачева на Съезде народных депутатов СССР // Сов. культура. 1989. 1 июня. С. 2.
[59] *Бердяев Н.А.* Философия неравенства. Пг., 1918. С. 205.

Г.С. Кнабе

ФИНАЛ: АРБАТСКАЯ ЭПОПЕЯ*

В нижеследующих заметках слово "Арбат" используется в соответствии с установившейся традицией в двух значениях – как наименование улицы длиной примерно в 850 метров, соединяющей Смоленскую площадь на Садовом кольце с Арбатской площадью на Бульварном кольце, и как наименование района, для которого улица Арбат играет роль организующей оси. Границы этого района устанавливаются по-разному. В данной работе в силу причин, которые станут ясны в ходе дальнейшего изложения, под арбатским районом понимается территория, ограниченная Пречистенкой, Садовыми, Спиридоновкой и бульварами[1].

В середине истекающего столетия – точнее, в третьей его четверти – район Арбата стал маркированным, т.е. отличным от других районов города и окруженным особой духовной аурой. Факты, в которых эта тенденция проявилась, бесчисленны. Напомним некоторые. Начиная с 1966–1967 гг., со строительства Нового Арбата и сноса многих переулков Арбата старого, и вплоть до середины 1980-х годов, когда стала реконструироваться сама улица, так называемый Старый Арбат, слово "Арбат" стало употребляться необычайно часто, причем в особом эмоциональном ключе. Именно тогда по радио нередко исполнялась песня про "Арбатских окон негасимый свет". Художники и кинорежиссеры, желая создать лирический образ старой Москвы, воспроизводили виды арбатских переулков; появились мыло и бритвенный крем "Арбат", ресторан "Арбат" и вино "Новоарбатское"; газеты, особенно местные, московские, стали уделять Арбату все больше внимания. В "Московской правде", например, только за 1982–1983 гг. появилось десять обширных очерков-"подвалов", посвященных Арбату. Печатные издания об этом районе, сначала в виде статей, а потом и в виде книг, затмили по числу публикации об остальных районах, так что постепенно образовалась довольно обширная библиография Арбата. Из принципиально важных публикаций здесь могут быть упомянуты детальнейшая роспись арбатских домов и их населения, составленная В.В. Сорокиным (см. журнал "Наука и жизнь", № 7 и 8 за 1985 г.); два посвященных Арбату номера "Декоративного искусства СССР" (1981. № 6; 1986. № 12); материалы "Досье Литературной газеты", посвященные, как значилось на титуле, 500-летию "знаменитой улицы Москвы", и ряд других, а также сравнительно недавно вышедший 1-й том "Арбатского архива" (М., 1997).

Сложившееся вокруг Арбата общественное настроение особенно обострилось в связи с его реконструкцией. В 1984–1987 гг. на бесчисленных собраниях "старых арбатцев" и "общественности города" звучали настойчивые требования сохранить в неприкосновенности "наш Арбат" и бурные протесты против реконструкции (в первую очередь против украсивших улицу фонарей, почему-то вызывавших особое раздражение старожилов)[2].

---

* Настоящие заметки представляют собой расширенный и переработанный текст доклада, который автор читал в 1983–1985 г. во многих научных и общественных учреждениях Москвы. Доклад был отпечатан, и машинописные копии его широко ходили по рукам. В последующие годы значительные и произвольно измененные пассажи из него появлялись в ряде публикаций без указания на источник. Считаю своим долгом предупредить об этом читателя.

© Г.С. Кнабе, 2000

Ощущение особой духовности арбатского района отчасти питалось многочисленными литературными, но главным образом мемориальными музеями, которых здесь всегда было много, а в интересующие нас сейчас годы стало еще больше – Пушкина, Лермонтова, Герцена, Аксакова, Скрябина, Андрея Белого, Луначарского, Голубкиной. В каждом из них имелся культурно-массовый отдел, регулярно проводивший лекции, выставки и встречи, собиравшие не такие уж малые аудитории и тоже укреплявшие сознание особости здешних переулков. Наконец, сказывалось и влияние книг и очерков эмигрантов, начавших широко издаваться в перестроечные годы. Эти люди покинули Арбат в пору революции и гражданской войны и издалека воссоздавали элегический и притягательный его образ. Среди этих публикаций, пожалуй, самым заметным образом сказались на восприятии Арбата в особом его обаянии роман М. Осоргина "Сивцев Вражек" и очерк Б. Зайцева "Улица Святого Николая".

Очень важно понять, однако, что ни к архитектурно-исторической или мемориально-краеведческой стороне дела, ни вообще ко всему, что могло бы быть выявлено на уровне знаменательных событий и знаменитых имен, тогдашняя аура Арбата и суть общественного настроения, связавшегося с ним в середине XX столетия, сведены быть не могут. Район Тверской и Малой Дмитровки, центр города, в широком смысле слова Чистые пруды с переходом на Басманные улицы, на Разгуляй и в Лефортово представлены значительно большим количеством великих имен и памятников культуры. Аура Арбатского района этих лет и его исключительное значение в истории, жизни и культуре города, времени и страны имели в принципе другое происхождение и другой характер.

Сначала несколько слов о характере, а потом, уже подробно и развернуто, о происхождении.

Культ Арбата в 1960–1980-е годы если и не был создан, то во многом оформился под воздействием песен Булата Окуджавы, что с самого начала придало ему характер не столько историко-архитектурный или мемориальный, сколько поэтический и лирический. "Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое призвание / Ты – и радость моя, и моя беда"; "Живописцы, окуните ваши кисти / В суету дворов арбатских и в зарю"; "По Сивцеву Вражку проходит шарманка, / Когда затихают оркестры Земли"; "Арбатство, растворенное в крови, / Неистребимо, как сама природа" – этот тон чувствовался во всех разговорах об Арбате, даже самых профессиональных и академических, образуя их невысказанную, но окрашивающую подоснову. 30 января и 12 ферваля 1986 г. в Доме архитектора состоялись совещания по Арбату. Темой их была оценка реконструкции, которой подверглась улица. Выступали архитекторы, историки, социологи. Но в большинстве выступлений сквозь логическую аргументацию звучал лейтмотив: "Люди, которые живут на Арбате, – это хозяева Арбата. Старые люди, которые здесь живут, – это местные божества"; "Пока интеллигенция не выступает ядром, вокруг которого возникает территориальная общность, ничего путного получиться не может". На этих совещаниях «Люди, выросшие на Арбате, спорили об "исторической подлинности"». Речь шла не о консервации прошлого, а о его опознании. Не о деталях и частностях, а о той целостной образной структуре, которая, когда она есть, создает индивидуальность, как бы магнитное поле, короче "тот самый" Арбат[3]. Примерно в те же годы в "Правде" было напечатано письмо студента, приехавшего в Москву издалека учиться, жившего в общежитии и каждое воскресение ходившего на Арбат, чтобы подышать его воздухом. Сержант милиции, несший службу на Арбате, говорил о том, как он

счастлив, переживая во время каждого дежурства "прелесть далеких времен и совершенно новую красоту современного градостроительства"[4]. Таких отзывов – бесчисленное количество. Задача заметок, предлагаемых вниманию читателя, – "поверить алгеброй гармонию", попытаться проанализировать это ныне уже ушедшее умонастроение и выявить его социокультурный смысл, постаравшись не упустить то, что, не укладываясь в рамки такого анализа и такого смысла, продолжает в них жить. Прежде всего – о его происхождении, мнимом и реальном.

ДВА ПРОЛОГА

Первый пролог – отрицательный: что в прошлом этого района не может служить объяснением той маркированности и той культурной ауры, которые впервые за его долгую историю выпали на его долю в середине нашего века? Не имеют прямого отношения к этой ауре и этой маркированности ни великие имена русской классической литературы XIX в., обычно упоминаемые в связи с Арбатом, ни аристократические фамилии, которые подчас фигурируют в списках здешних домовладельцев. И те, и другие в той мере, в какой они реально связаны с Арбатом, важны для краеведческой характеристики района в ряду других улиц и переулков Москвы. Попытки обосновать таким образом особое место Арбата в культурном самосознании города материалом не подтверждаются. В книге, посвященной русской интеллигенции Москвы, на этом положении стоит остановиться более подробно.

Если полагать началом эры классической русской культуры вообще и литературы в частности рубеж XVIII и XIX вв., то начинать приходится с Карамзина. Он прожил в Москве 33 года (с 1783 по 1816) преимущественно возле Кремля, на Никольской, и никаких связей с Арбатом не обнаруживает. Грибоедов до 1812 г. жил в родительском доме на углу Новинского бульвара и Девятинского переулка; во время пожара Москвы дом сгорел и в 1816 г. восстановлен. Наезжая в Москву, писатель останавливался либо там же, либо у своего друга С. Бегичева, на углу Мясницкой и Малого Харитоньевского, т.е. вне арбатского района. Особое значение для обсуждаемой темы имеет топография московских адресов А.С. Пушкина и тех домов, где он много и часто бывал. Связи его с районом Арбата представляются на первый взгляд обильными и тесными. Как сейчас выяснено, еще в 1807–1809 гг. семья Пушкиных снимала квартиры сначала на Кривоарбатском, потом на Хлебном переулках[5]. На Арбате, 53 квартировал Пушкин в 1831 г. в первые месяцы после свадьбы, состоявшейся в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот, а до этого прожил зиму 1826–1827 гг. у С.А. Соболевского на Собачьей площадке. В арбатских местах жили его близкие друзья – И.И. Пущин на Спасопесковском, П.В. Нащокин – на Большом Николопесковском, позже – на углу Гагаринского и Нащокинского переулков (здесь Пушкин прожил две недели в 1831 г.) – и его добрые знакомые, такие, как Е.П. Потемкина на углу Пречистенки и Мансуровского переулка или С.Д. Киселев в доме № 27 по Поварской.

Достаточно, однако, поместить эти данные в более широкий контекст, чтобы стало очевидно, насколько ограниченное место они занимают в биографии поэта, как мало дают оснований говорить об особенно тесных связях его именно с интересующим нас районом. Из 12 первых лет жизни, проведенных Пушкиным в Москве (1799–1811) и особенно важных для формирования детских впечатлений и об-

раза города, два года прошли действительно в переулках Арбата, но остальные десять – на Кукуе и "у Харитонья в переулке". У Нащокина он жил не только на Гагаринском, но и в Воротниковском в районе Малой Дмитровки и бывал не только на Николопесковском, но и на Большом Девятинском на Пресне и на Остоженке. Из друзей Пушкина Пущин жил на Арбате, но Пушкин никогда здесь его не навещал, другой же его ближайший московский друг, П.А. Вяземский, у которого он, по свидетельству А.Я. Булгакова, был "как дома"[6], жил в собственном доме на улице Станкевича (Большой Чернышовский переулок неподалеку от Университета). Пушкин действительно впервые читал "Бориса Годунова" у Соболевского на Собачьей площадке, но второе и третье чтения, несравненно более многолюдные, состоялись у Веневитинова в Кривоколенном переулке, т.е. на Мясницкой. Основным местом жительства Пушкина в Москве была гостиница Обера (позже Коппа) в Глинищевском переулке на Тверской, где он провел в общей сложности около девяти месяцев – больше, чем в любом доме Москвы. В корпусе его сочинений и писем Арбат упоминается десять раз, но все десять без оценки и только в адресах. 130 пушкинских адресов в Москве, зарегистрированных Н.М. Волович[7], распределяются следующим образом: Немецкая слобода – Басманные – Чистые пруды – 19 адресов (15%), окраины и пригородные имения – 24 (19%), Арбат (район и улица) – 27 (20%), центр города – 60 (46%). В топографии пушкинской Москвы, таким образом, Арбат играет существенную, но отнюдь не исключительную роль и, главное, не обнаруживает никакой особой ауры, никак не противопоставляется другим районам города. Лирически окрашенные топонимы, вроде знаменитых строчек "То ли дело быть на месте / По Мясницкой разъезжать", применительно к Арбату, насколько можно судить, не обнаруживаются.

Гоголь прожил в Москве в общей сложности шесть лет, из них половину времени (с декабря 1848 г. до смерти в феврале 1852 г.) у Арбатских ворот в доме сенаторши Талызиной (Никитский бульвар, д. 7). В конфликте, разыгравшемся после его смерти и касавшемся местоположения церкви, где его надлежало отпевать, при желании можно усмотреть некоторую маркированность арбатских мест, но только при большом желании, и маркированность далеко не очевидную. Дело в том, что Аксаковы и их славянофильские друзья настаивали на отпевании покойного писателя в церкви Симеона Столпника, в самом начале Поварской, почти у Арбатских ворот, тогда как Грановский и его друзья-западники хотели, чтобы панихида и отпевание прошли в Университетской церкви на Моховой, возле Манежа и Кремля (где оно и состоялось). Аксаковы, Хомяков, П. Киреевский мотивировали свое желание тем, что прихожане Университетской церкви в основном профессора, студенты и сановная публика околокремлевского района, тогда как Гоголь – народный писатель, принадлежит народу, и именно народ будет окружать его при прощании в церкви, открытой для всех. Акцент стоял не на местоположении церкви, а именно на ее рядовом статусе, и выведение отсюда особой демократичности Арбата выглядит явной натяжкой: по свидетельству современников, и в Университетской церкви при отпевании "стечение народу в течение двух дней было невероятное"[8], "можно сказать, что вся Москва перебывала у гроба"[9]. В целом топография дружеских связей Гоголя и домов, в которых он бывал, обнаруживает ту же тенденцию, что и в пушкинских материалах: сокращающуюся роль былого культурного центра столицы в районе Немецкой слободы, Разгуляя и Басманных улиц и перемещение его в другие районы города – прежде всего центральные, отчасти и на Арбат; последний при этом дает не более одной четвертой или одной пятой ча-

сти зарегистрированных адресов и, главное, не становится предметом особой, выраженной привязанности[10].

С указанной точки зрения показательны данные, касающиеся Ф.И. Тютчева. Он прожил в Москве первые 19 лет своей жизни (1803–1822), все – вне арбатского района. Позднейшие его адреса во время наездов в Москву обнаруживают концентрацию в центре города значительных духовных сил в районе Малой Дмитровки, Страстной площади и примыкающих переулков, т.е. опять-таки за пределами Арбата[11]. Продолжается и другая из намеченных выше тенденций – постепенный рост среди писательских адресов адресов арбатских (Лермонтов, Лев Толстой, Писемский), не сопровождаемый, однако, каким-либо особенно интенсивным переживанием этого района или ощущением его особой привлекательности. Показательно в этой связи отношение к Арбату таких знатоков и ценителей Москвы, ее идеологов, как М.П. Погодин и И.Е. Забелин. Первый жил в 1820-х годах в Дегтярном переулке на Малой Дмитровке (кстати сказать, в доме другого славянофила и ревнителя московской старины – С.П. Шевырева), в 1830-х – на Мясницкой, а затем, в конце жизни, – на Девичьем поле и никакого особого тяготения к Арбату не обнаруживает; второй – историк и прекрасный знаток Москвы, который должен был остро чувствовать привлекательность отдельных ее районов, чередует в своих переездах по городу арбатские адреса с неарбатскими, не обнаруживая никакой преобладающей тенденции и никаких эмоций[12].

Ряд писателей, живших в Москве, – Фет, Островский, Чехов – вообще никаких связей с Арбатом не обнаруживают (а в последнем случае обнаруживают связь отрицательную – см. об этом ниже).

Своеобразная вариация, но вполне очевидно на ту же тему – судьба в XIX в. Арбата дворянски-аристократического. Прежде всего надо подчеркнуть, что сама улица Арбат аристократической никогда не была. "Арбат – нечто среднее между дворянской и купеческо-лавочной улицей", – писал в середине века Боборыкин[13]. До Боборыкина никакого сродства с "душным и пыльным Арбатом"[14] не чувствовал такой аристократ, как Н.П. Огарев, проживший здесь (в доме № 31) некоторое время после возвращения из ссылки. После Боборыкина, уже в начале XX столетия, в той же тональности вспоминается Арбат в одном из важнейших источников для нашей темы, к которому нам в дальнейшем придется обращаться неоднократно, – в воспоминаниях художника Владимира Домогацкого: "Арбат тех лет встает передо мной в пестряди вывесок с разъезженными колеями заснеженной мостовой, когда великаны першероны везут гигантские полозья с поклажей"[15].

Дворянски-аристократическими были переулки Приарбатья, с одной, южной, стороны образовывавшие так называемую Староконюшенную (слободу) – примерно от современного Староконюшенного переулка до современного Денежного и продолжение этой полосы дальше к Пречистенке, с другой, северной и северо-восточной, стороны – вся их сеть, доныне окутывающая Поварскую, Большую и Малую Никитские. Дворянски-аристократическими для послепожарной Москвы на протяжении всего XIX и начала XX в. они могут быть названы бесспорно. В разное время на Пречистенке жили Лопухины, Всеволожские, Олсуфьевы, Орловы, Потемкины-Трубецкие, на Гагаринском и Сивцевом Вражке – Толстые, Гагарины, Кропоткины, Растопчины, на Поварской – Долгорукие, Волконские, Шаховские, Милославские, Сологубы. Еще в 1930-е годы автор настоящих заметок встречал здесь Панина, Бобринского, Дурново, Мусина-Пушкина.

Аристократизм здешних мест, однако, был особого свойства. В начале XIX в. англичанка, долго жившая в России и проницательно наблюдавшая ее как бы со стороны, назвала Москву "императорским политическим элизиумом России"[16]. Отпрыски аристократических семей селились в своих арбатских резиденциях, лишь отойдя от активной государственной и общественно-политической деятельности, – "общество государственных людей, умерших в Петербурге лет пятнадцать тому назад и продолжавших пудриться, покрывать себя лентами и являться на обеды и пиры в Москве, будируя, важничая и не имея ни силы, ни смысла"[17].

Герцен противопоставляет эту Москву первых лет XIX в. Москве своего времени, "толпившейся около кафедры одной из аудиторий Московского университета"[18]. Увы, в аристократических особняках Арбата все осталось по-старому. М.Ф. Орлов переехал на Пречистенку после того, как перед ним закрылись все пути и официальные назначения, вел дела сестры и продавал (не слишком удачно) ее лес. Денис Давыдов, выйдя в отставку, купил было дом здесь же, но вскоре продал его за нехваткой денег. Там, где ныне помещается Московское пожарное управление, доживал свои дни отставной Ермолов. Арбатскими были не талант, ум и масштаб этих людей, а их судьба. Достаточно вспомнить описание здешней жизни в "Былом и думах" Герцена или в "Записках революционера" Кропоткина. Всё, что рвалось к чинам и карьере, толпилось в коридорах власти в Петербурге; всё, что рвалось к большим деньгам, делало их в купеческих конторах Замоскворечья. Там – кипели страсти и жизнь встраивалась в движение времени, здесь – "медленно вымирало старое московское дворянство". Можно было, конечно, всё это любить, как свое родное и кровное, можно было, как только что цитированный Кропоткин, стараться передать обе стороны дела – и мертвенность этих переулков, и их элегичность, у большинства же людей, которые сами дышали этим воздухом, росло к арбатским местам, складывавшимся в определенный образ, тяжелое, неприязненное чувство.

Это выразилось уже в романе Тургенева "Дым" (1867), где семейство героини – "чистокровные князья, Рюриковичи" – "проживало около Собачьей площадки" и "едва-едва сводило концы с концами", а глава его, "человек вялый и туповатый, некогда красавец и франт, но совершенно опустившийся", "ни во что не вмешивался и только курил с утра до вечера, не выходя из шлафрока и тяжело вздыхая"[19]. Еще более выразительная характеристика Арбата этого времени явствует из контекста, в котором он упоминается тем же Тургеневым в одном из писем 1876 г. «Я еще не читал продолжения "Анны Карениной", но вижу с сожалением, куда весь этот роман поворачивает. Как ни велик талант Л. Толстого, а не выбраться ему из московского болота, куда он влез. Православие, дворянство, славянофильство, сплетни, Арбат, Катков, Антонина Блудова, невежество, самомнение, барские привычки, офицерство, вражда ко всему чужому, кислые щи и отсутствие мыла – хаос одним словом! И в этом хаосе должен погибать такой одаренный человек»[20]. Не прошло и года после этого письма, как появился роман 12 лет уже проживавшего на Арбате А.Ф. Писемского "Мещане". В нем содержится разговор, один из участников которого доказывает, что произведения искусства перестали предназначаться "московским Сен-Жерменам" – Большой и Малой Никитским, а адресуются все чаще "Таганке и Якиманке"; жители же былых "Сен-Жерменов" только и мечтают о том, чтобы сравняться и уподобиться москворецкому купечеству, куда смещается центр духовной и всякой иной жизни Москвы. "Богаты уж очень Таганка и Якиманка, – соглашается его собеседница по имени Домна Осиповна. – Все, разумеется, желают и себе того же"[21].

Ко времени Чехова репутация района сложилась прочно: дворянски-патриархальная Старая Конюшенная – "одна из самых глухих местностей Арбата"[22], а окрестности "Смоленского рынка – скучнейшее место Москвы"[23]. Именно здесь разворачивается действие рассказа "Страшная ночь" (1884) с его атмосферой глухомани, ненастья, неприютности и мрачной гротескной мистики. Отголоски такого восприятия отчетливо сказываются в воспоминаниях Андрея Белого, выросшего и проведшего значительную часть жизни на углу Арбата и Денежного переулка. В дальнейшем нам придется говорить об этих воспоминаниях более подробно, но уже при первом знакомстве ясно ощущается тон, господствующий в описании "мира Пречистенки и Арбата" – профессорский позитивизм и позитивистская скука, причуды, нарушающие монотонность здешнего существования, но в нее же вписанные и никак не нарушающие ее по существу. Тот же тон сохраняется и в романе "Москва" (1925), действие которого, насколько можно судить по некоторым топографическим реалиям, происходит в месте соединения Плотникова переулка и Малого Могильцевского и относится к рубежу XIX и XX вв.

Подведем итоги нашего первого пролога. Ни одна из двух рассмотренных социокультурных сил, которые обычно связываются сегодня с "арбатской традицией", – мир великой литературы XIX столетия и мир дворянской аристократии – объяснить особую роль и особую репутацию Арбата в 1950–1980-е годы, тот флер, которым он окутан, не могут. Отзвуки и обертоны их вплетены в образ, нас занимающий, – действительно, некоторые русские писатели – не так уж много, но и не так уж мало – живали в арбатских местах; действительно, аристократические имена и аристократическая орфоэпия сохранялись здесь кое-где вплоть до революции[24]. Но, как убеждает приведенный материал, атмосфера родовитого, радушного и культурного барства исчерпывается здесь к 1870–1880-м годам, а восприятия арбатских улиц и переулков как особого заповедного района духовности и литературного творчества здесь никогда и не было. Корни "арбатства", его "религии" и "призвания" надо искать в других сферах.

"Второй пролог", т.е. та эволюция, которая уже более или менее, не прерываясь, привела к образу Арбата, составившему особый "текст" в культуре города 1960–1980-х годов, начинается лишь по завершении этапа, описанного в "первом прологе", хотя и не без подспудной – именно подспудной – связи с ним. В первые пореформенные десятилетия в России вообще и в Москве в частности, на Арбате в особенности, нарождается новое поколение людей, на самой заре своего появления получивших наименование, выделившее их на особое место в общественном и культурном развитии России и отделившее их во времени и в пространстве от носителей культурного развития всех других типов: интеллигенция. Эпопея Арбата, его цивилизация, его миф и его судьба представляют собой концентрированное выражение интеллигентского этапа русской истории и русской духовности.

Связующим звеном между первым и вторым прологами послужил Александр Иванович Герцен. Он бесспорно принадлежит первому из намеченных нами "прологов", и его длительное проживание в арбатских местах никак этому не противоречит, не делало при его жизни Арбат сколько-нибудь маркированным районом, не порождало восприятия его в каком-то особенном ореоле. Откуда, например, приезжали к Герцену на Сивцев Вражек столь ему близкие и на всю жизнь запомнившиеся друзья? Кетчер – с Мещанских, Щепкин – с Каретного, Боткин – с Маросейки, Грановский – с Трубной или с Малого Харитоньевского[25]. Где происходили постоянные споры западников со славянофилами? "В понедельник, – вспоминал Гер-

цен, – собирались у Чаадаева, в пятницу – у Свербеева, в воскресенье – у А.П. Елагиной"[26]. Тут нет ни одного арбатского адреса. В эти годы Чаадаев жил на Новой Басманной, Свербеев – на Тверском бульваре, Елагина – в Хоромном тупике у Красных ворот. В сложенном Герценом знаменитом панегирике Москве для Арбата места не нашлось[27].

Всё это так, но к тому "отпечатку", который оставил Герцен на здешних улицах и переулках – а он жил в доме отца на Большом Власьевском (1824–1830) и Малом Власьевском (1830–1834), жил у себя на Сивцевом Вражке (1842–1846), – чутким оказалось следующее поколение. В наследии Герцена, в его облике, в местах, с ним связанных, они расслышали тот тон, который вел в будущее и который связал это будущее с арбатскими местами. О волнении, которое вызывал у него и у его сверстников дом Герцена на Сивцевом Вражке, рассказал в своих воспоминаниях П.А. Кропоткин: "Мы проходили мимо него с полурелигиозным чувством"[28]. Сам Сивцев Вражек, "не знаю почему, всегда представлялся мне центром студенческих квартир, где по вечерам ведутся между студентами горячие разговоры обо всяких хороших предметах"[29]. Представление о "горячих разговорах", которые, по мнению будущего революционера, велись в "студенческих квартирах" Арбата, чем дальше, тем больше связывалось с этими улицами и переулками. На Малый Власьевский к Кропоткину явился бежавший от полиции Степняк-Кравчинский. Напротив Малого Власьевского, на Гагаринском, в доме Армфельдов, сложился один из кружков, положивших начало "Земле и Воле". О дочери этой семьи, Наташе Армфельд, с восхищением писали впоследствии многие, вспоминавшие Забайкальскую каторгу 1870-х годов. Наискосок от Армфельдов, во втором доме от угла Малого Власьевского налево, жил потомок екатерининских вельмож генерал Дурново; дочь его, Елизавета Петровна Дурново, стала одним из ведущих деятелей "Народной воли". На Большом Афанасьевском в доме № 14 в середине 1860-х годов находилась конспиративная квартира Николая Ишутина, в доме № 15 – швейная мастерская ишутинцев. В декабрьские дни 1905 г. Арбат пересекли три баррикады. В обороне одной из них участвовали скульптор Сергей Коненков и художник Сергей Иванов.

Последнее обстоятельство символично и связано с тем существом настоящих заметок, которое необходимо всячески подчеркнуть. Арбат никогда не был пролетарским районом, никогда не был он и районом городской бедноты, где, естественно, возникали революционные настроения, а затем и революционная деятельность. Процессы, только что описанные, приобретали здесь характер, далеко не исчерпывавшийся революционной деятельностью. Революционные настроения, здесь проявлявшиеся, были одним из выражений крепнувшего и становившегося для здешних мест все более характерным интеллигентского уклада, с его духовностью, демократизмом, нравственной взыскательностью, отвращением к гнету, к правительственному произволу, плутократической наглости, с его постоянным представлением о нравственной ответственности культуры и тех, кто в ней живет, перед оттесненным от нее народом. В революционном движении этот уклад находил себе крайнее и одностороннее выражение, но распространялся он и на несравненно более широкое культурное и социально-психологическое пространство. Именно он образовывал общую основу, из которой исходили и развивавшееся здесь либеральное движение, просветительские начинания и художественная жизнь. Напомним предельно кратко некоторые факты.

В 1879 г. на Собачьей площадке, между Дурновским и Кречетниковским переулками, состоялся первый съезд русского земства. Многочисленные мемуаристы вспоминают ту роль, которую сыграли в пробуждении и сплочении либерального общественного мнения журфиксы В.А. Гольцева – сначала близ Плотникова переулка, позже – на Пречистенке. В следующем поколении сходную роль играл дом сестер Герцык на Кречетниковском переулке, где бывали и Бердяев, и Шестов, и многие люди их круга. В конце прошлого и в начале нынешнего века здесь более плотно, чем в любом другом районе города, расположились частные гимназии – Поливанова, Арсеньевой, Флерова Брюхоненко, Медведниковых, Хвостовой, Фишер, – разрабатывавшие новые прогрессивные формы обучения и практически отвергавшие мертвую рутину казенных учебных заведений. Из них вышло целое поколение русской интеллигенции от Андрея Белого (Поливановская гимназия) до Марины Цветаевой (гимназия Брюхоненко) и Тимофеева-Ресовского (Флеровская гимназия).

С указанными процессами на Арбате оказалось связано развернувшееся здесь в конце прошлого и в начале нынешнего века строительство многоквартирных домов в стиле модерн. Они составили устойчивую черту арбатского пейзажа, имевшую, как нам предстоит увидеть, существенные культурные и социально-психологические последствия. Чтобы понять, о чем идет речь, напомним лишь некоторые. Дом Кана на углу Малой Никитской и Садовой (архитектор Шехтель, 1901), Обухова на Большой Никитской, 24 (архитектор Нилус, 1905–1906), Исакова на Пречистенке, 28 (архитектор Кекушев, 1906), Казарновских в Малом Могильцевском переулке (архитектор Жерихов, 1910–1911), Панюшева на Арбате, 51 (архитектор Иванов-Терентьев, 1911–1912), Филатовой на Арбате, 35 (архитекторы Дубовский и Архипов, 1913–1914) и столь многие другие – на Гагаринском напротив Малого Власьевского, на Большой Молчановке напротив Большого Ржевского, знаменитый "дом со львами" в начале Малой Молчановки и дом рядом с ним, выходящий фасадом на Ржевский, дома на Малой Никитской напротив церкви Большого Вознесения и несколько выше, напротив городской усадьбы графов Бобринских... Числа им несть.

В те годы очень модно было проклинать эти громады, теснившие былое, как казалось, привольное и уютное житье и презирать дух наживы, вызвавший их к жизни. Брюсов писал, что "на месте флигельков восстали небоскребы / И всюду запестрел бесстыдный стиль – модерн"[30]. Эти настроения отражали лишь одну сторону дела, культурно-исторически не самую важную. Модерн придал характер нормы величайшему социальному завоеванию архитектуры XX столетия – квартире. После эры особняков она знаменовала наступление эры новой – демократической и, в особой форме, открывавшей широким слоям доступ к культуре. Квартира была несопоставимо дешевле особняка, не требовала многочисленной прислуги, повторялась однотипно во многих экземплярах, уравнивая занимавшие их семьи. В отличие от дворянски-аристократических резиденций, где дети и гувернантки ютились на антресолях, а прислуга в полуподвале, квартира обеспечивала всех проживающих комфортом, светом и воздухом, а членам семьи создавала возможности для умственного труда. Немаловажную роль играло и высокое качество строительства – квартиры были теплые, с центральным отоплением, со всеми известными в ту пору удобствами. Эстетика модерна предполагала насыщение облика дома искусством и историей. На фасадах размещались цитатные вставки из произведений архитектурной классики, горельефы и мозаики рассказывали мифологические, сказоч-

ные, литературные сюжеты. Для арбатского района один из самых ярких примеров – доходный дом на углу Малого Могильцевского и Плотникова переулков. На опоясывающем дом рельефном фризе представлены чуть ли не все великие классики русской литературы. Отличие арбатского района, скажем, от Столешникова, Большой Дмитровки, Мясницкой состояло в том, что здесь строилось больше домов модерн с квартирами сравнительно небольших размеров и потому доступными интеллигентным семьям средней руки – врачам, инженерам, гимназическим учителям. Соответственно здесь полнее, чем во многих других районах, реализовалась общественная программа архитектуры модерна – слияние культуры, демократизма и интеллигентности в единый стиль жизни, единую атмосферу района.

И сама эта атмосфера в целом, и присущее ей острое сознание долга интеллигента перед народом нашли себе особенно полное выражение в деятельности арбатских врачей. Начиная уже с 1865 г. на Арбате, в доме № 25, обосновалось Общество русских врачей. В разное время здесь вели прием светила отечественной медицины – Иноземцев, Смирнов, Клин, Абрикосов, Герцен, но с самого начала за консультацию здесь брали неслыханно низкую цену – 20 копеек, бедных же людей лечили вообще бесплатно. Находившаяся при Обществе аптека также выдавала неимущим лекарства без денег. В 1916 г. на 850 метрах Арбата проживало 87 врачей – больше, чем на любой другой улице города. Еще больше было их в примыкающих переулках, и после революции число это существенно выросло. В отчете Общества за 1909 г. указывалось, что за время своего существования оно оказало помощь 1 млн 300 тыс. больных. Тогда же на углу Арбата и Колошина переулка открылся бесплатный родильный дом[31]. О распространении этой практики не только на медицину говорит хотя бы то, что в доме № 4 по Арбату, принадлежавшем А.Л. Шанявскому, рождался университет, им основанный. Слушатели принимались без аттестатов и дипломов; то был первый вольный университет в стране, дающий первоклассное высшее образование без ограничений всем, кто к нему стремился.

Чувство преданности народу, сознание своей ответственности перед ним и необходимости искупить свою перед ним вину – вину сытости, комфортности, культурной рафинированности – и соответствующий образ народа, перед которым интеллигенция находится в неоплатном долгу, были здесь, как показывает весь приведенный материал, тоном и стилем, не всегда формулируемыми декларативно, но всегда ощущавшимися в подоснове здешней жизни. Это чувство и это сознание, этот образ, сам тон и стиль подверглись тягчайшему испытанию в годы революции, гражданской войны и военного коммунизма. Арбат выжил; по крайней мере на два еще десятка лет выжила арбатская интеллигенция, но и он, и она вышли из этого испытания преображенными. Именно здесь завязались те нити, которые на определенное время сделали Арбат проблемой, символом и мифом российской интеллигенции, озарившими советскую – финальную – стадию ее культурно-исторического бытия.

"Интеллигенция", как известно, – слово латинского корня, ставшее обозначением специфически русского явления, и эта его двойственность глубоко символична. С того момента, когда верховная власть централизованного (или только еще централизовывавшегося) Российского государства поставила своей задачей повышение военного, экономического и духовного потенциала страны за счет включения ее в мировое – прежде всего западноевропейское – развитие и освоение накопленного там передового опыта, она, эта власть, ощутила потребность в людях, более других соответствовавших решению такой задачи. Другими словами, готовых

принять западноевропейскую, к Древнему Риму восходящую систему воззрений и ценностей – законность, основанную не столько на обычае, сколько на письменном кодифицированном праве; дисгармоничное, трудное и неустойчивое, но неуклонно утверждающееся равновесие интересов личности и общественного целого, а вместе с ним и права индивида; ценность книжной образованности и культурной традиции. Но с того же самого момента та же самая власть создала тот конфликт, тот, как часто принято выражаться, "раскол", которым ознаменованы русская история и русская культура: конфликт между людьми означенного типа, без которых власть не могла решить поставленную ею перед собой задачу, и людьми, целиком укорененными в местной традиции, жившими не западноевропейским, а почвенно-национальным опытом, не письменным формальным правом, а обычаем, ощущавшими западный католицизм как враждебную силу и угрозу отечественному православию, а книжную образованность – как отпадение от народной веры и народного уклада. Люди этого последнего типа были так же необходимы власти, как и люди первого типа, ибо именно они составляли основную массу населения, оплот государства и производства. Конфликт между обеими силами начал ощущаться обществом со времен Ивана III, стал непреложной общественной реальностью со времен Петра, а предметом рефлексии – у "предарбатских", в указанном выше смысле, поколений, которые и нарекли его проблемой отношений "интеллигенции" и "народа"[32]. Суть проблемы состояла в том, что все три силы – власть, народ и интеллигенция – образовали конфигурацию, другим культурно-историческим регионам неведомую, заданную национальным развитием России, вмурованную в самую суть этого развития, в его течение, и именно поэтому делавшую каждое из ее слагаемых органическим элементом отечественной истории, равно необходимым обоим другим и равно перед ними ответственным. Когда монархическая власть стала терять свою историческую почву, а тем самым и чувство ответственности перед страной, именно интеллигенция пережила, как мы видели, свою ответственность перед народом особенно остро. То была не только распространенная форма ее жизнедеятельности, но и моральная заповедь, задушевное чувство, осознанная позиция, основа ее самоосознанной истории. Свидетельства этого были недавно опубликованы в виде выразительной сводки[33]. Один из авторов вышедшего в 1910 г. сборника "Интеллигенция в России", Н. Гредескул, подчеркивал, что русский интеллигент имеет много разных ликов: это и Радищев, «впервые заговоривший о страданиях и обидах крепостного "народа"», и Рылеев и Бестужев, «попавшие на плаху из-за этого "народа"», и Белинский, Герцен, Добролюбов, Михайловский и другие «вожди русского интеллигентного общества, всю жизнь свою положившие на защиту прав и интересов, того же самого "народа"». Г. Федотов находил определенную логику в мировоззренческих исканиях русской интеллигенции: "Она целый век шла с царем против народа, прежде чем пойти против царя и народа (1825–1881) и, наконец, с народом против царя (1905–1917)". Другой русский философ, Ф. Степун, писал в эмиграции о "тысячах юношей и девушек, которые, отказываясь от всех благ жизни, шли в народ, чтобы постичь его правду и принести ему свободу".

Вот эти-то "надежда и воздыхание", вера и страсть, клятва верности и дело жизни оказались в кричащем противоречии с образом "народа", в котором он раскрылся на улицах российских городов в последние месяцы 1917-го и первые месяцы 1918 г., а затем, сублимировавшись во "власть" и как бы растворившись в ней, предстал и иными, самыми разными своими гранями. Хлынувшие с фронта солда-

ты не расставались с оружием, и оно давало им возможность стрелять и убивать на улицах, вламываться в квартиры, разбивать винные лавки, заниматься под видом неизвестно кем санкционированных реквизиций и обысков обыкновенным грабежом, всегда оправданным тем, что направлен он против "буржуев", в том числе и в первую очередь против тех самых интеллигентов, которые из поколения в поколение только и делали что радели о "народе".

Так жила в те годы вся Россия, и в частности вся Москва, но вряд ли случайно, что исполненные особого трагизма источники, освещавшие эту коллизию, возникали из впечатлений арбатских мест и происхождением связаны с ними: "Окаянные дни" И.А. Бунина – с Поварской, "Лебединый стан" М.И. Цветаевой – с Борисоглебским, "Сивцев Вражек" М.А. Осоргина, если не биографически, то по содержанию, – с улицей, давшей роману название, "Улица Святого Николая" Б.К. Зайцева – скорее всего, со Спасопесковским сквером, "Кладовка" В.В. Домогацкого – с Серебряным переулком. В этих произведениях, как и в жизни их авторов, нашли свое отражение те взгляды на окружающие события и на возникший из них новый строй, новый уклад жизни и соответственно те линии поведения по отношению к этим событиям, этому строю и этому укладу, которым суждено было вступить во взаимодействие, более или менее освободиться от одних, более или менее полно утвердить другие и в таком единстве противоречивых вариантов составить общественную и духовную атмосферу Арбата как целостного культурного феномена последующих лет – тех, что наступили по завершении обоих "прологов" в рамках того Арбата, образ и судьба которого нас более всего интересуют.

Одна позиция – глубокое и яростное возмущение, полное неприятие раскрывшегося образа "народа" и порядков, из него вытекавших и его утверждавших, – позиция, ведшая к бегству, к эмиграции, фактической или внутренней. Такова была реакция Бунина.

Почти сплошь арбатские места: "Встретил в Мерзляковском старуху..."; "Во дворе одного дома на Поварской..."; "У Никитских ворот извозчик столкнулся с автомобилем..."; «Извозчик возле "Праги" с радостью и смехом...»; "В половине пятого на Арбатской площади, залитой ярким солнцем..."; "У Н.В. Давыдова в Большом Левшинском..."; "На углу Поварской и Мерзляковского два солдата с ружьями. Стража или грабители? И то и другое"[34]. И вот на этом фоне: «В кухне у П. солдат, толстомордый, разноцветные, как у кота, глаза. Говорит, что конечно социализм сейчас невозможен, но что буржуев все-таки надо перерезать. "Троцкий молодец, он их крепко по шее бьет"». Неподалеку, у Страстного монастыря, "Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается. – Это для меня вовсе не камень, – поспешно говорит дама, – этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать... – Мне нечего стараться, – перебивает баба нагло, – для тебя он освящен, а для нас камень и камень! Знаем! Видали во Владимире! Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну, и молись ему сама"; "Наклеивают афишу о бенефисе Яворской. Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала: – Ишь, расклеивают! А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам! Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Всё немцами пугают, – придут, придут, а вот что-й-то не приходят!"; «– Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, – холодно сказал рабочий и пошел прочь. Солдаты подтвердили: "вот это верно!" – и тоже отошли». Ощущения особости Арбата у Бунина нет и следа. Так во всей Москве, так и во всей стране. «Приехал Д. – бежал из Симферополя. Там, говорит, "неописуемый

ужас", солдаты и рабочие "ходят прямо по колено в крови". Какого-то старика полковника живьем зажарили в паровозной топке». И вывод: "Всё говорим о том, куда уехать". Следующая глава написана на пути в Париж, в Одессе, но и здесь то же самое, причем главное действующее лицо – не именно и только большевики и те, кто сознательно идет за ними, а народ как таковой и то, что в нем раскрылось. "В Николаеве зверский еврейский погром... Елизаветград от темных масс пострадал страшно. Убытки исчисляются миллионами. Магазины, частные квартиры, лавчонки и даже буфетики снесены до основания. Разгромлены советские склады. Много долгих лет понадобится Елизаветграду, чтобы оправиться", «это называется, по Блокам, "народ объят музыкой революции – слушайте, слушайте музыку революции!"»[35].

Не станем цитировать "Лебединый стан" – впечатления те же и настроение то же. Имело бы, может быть, смысл процитировать "Кладовку", где те же впечатления и настроения распространены и на последующие годы, но о ней речь впереди.

Совсем другое восприятие событий, судя по разговорам, полемически цитируемым в "Окаянных днях", сосуществовало в арбатских местах с тем, которое только что описано. Одно из самых ярких его свидетельств – "Улица Святого Николая" Б.К. Зайцева. Рассказ этот дал название книге, изданной автором в Берлине, уже в эмиграции, однако отразившей впечатления не только революционных, но и предшествующих лет[36]. Начинается всё с безмятежной радости жизни, не подозревающей о своей греховности, а потому и о справедливости ожидающей ее кары. "Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления – это ты, Арбат". Это – первые слова книги. Жизнь, так охарактеризованная, где "всё как будто чинно, всё так крепко, и серьезно, и зажиточно, благонамеренно", где "строятся сотни квартир с газом и электричеством" и заливаются свежим асфальтом новые мостовые, течет "между трех обличий одного святителя – Николы Плотника, Николы на Песках и Николая Чудотворца". Именно эти церкви, неизменно и постоянно (как казалось автору) возвышающиеся над всем здесь происходящим, служат залогом и свидетельством того, что покаяние и торжество жизни, движущейся вперед через все муки и страдания, возможны. "Туго пришлось тебе, твоим спокойным переулкам, выросшим на барственности, на библиотеках и культурах, на спокойной сытости изящной жизни". Ну, а тогда – "вези паек, тащи салазки, разгребай сугробы и коли дрова, но не сдавайся, русский, гражданин Арбата. Много нагрешил ты, заплатил недешево... Не позабывай уроков. Будь спокоен, скромен, сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанные, столь поруганные. Слушай звон колоколов Арбата. И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоей улицей три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель жизненную проведет"[37].

Настроение это было в те годы распространено в стране среди интеллигенции довольно широко, но на Арбате – в особенно концентрированном виде. Чтобы понять его причины, характер и смысл, необходимо указать еще на одну сторону арбатской жизни предреволюционных и первых последующих лет, о которой до сих пор мы упоминали лишь вскользь и мельком. Речь идет о той части интеллигенции этого района, которую долго принято было называть рафинированной (в осудительном смысле), модернистской или декадентской и которая сама себя предпочитала называть "людьми нового искусства". В частности, выше названы были фами-

лии живших и работавших на Арбате художников, многие из которых принадлежали к этому типу. Заметная роль в духовной жизни Арбата отводилась музыке и музыкантам, связанным с тем же слоем культуры. На Большом Николопесковском жил Скрябин, позже – Софроницкий, в этом доме был впоследствии открыт музей Скрябина, вокруг которого группировались во многом люди того же толка, только сильно постаревшие. В 1920-е годы в здании бывшей Поливановской гимназии на Пречистенке разместилась Ассоциация современной музыки, куда входили, в частности, Мясковский (живший в те годы тут же, в Денежном переулке), Держановский, Сараджев и другие и где систематически проходили концерты близкого им направления. В той же тональности культуры жила и часть арбатской профессуры – Бердяев, Гершензон, который жил тогда на углу Плотникова и Сивцева Вражка. Среда эта выступает отчетливо в воспоминаниях А.В. Чичерина[38], но наиболее остро нота, нас сейчас интересующая и во многом определившая последующую судьбу здешних людей, выражена в "Воспоминаниях" такого мало известного, но весьма примечательного человека арбатской культуры данного поколения и направления, как Евгения Казимировна Герцык (1875–1944)[39].

Она жила на углу Кречетниковского переулка и Новинского бульвара (дом не сохранился) и частенько по вечерам хаживала то "знакомыми арбатскими переулками – к Бердяевым", то к другим знакомым того же круга, среди которых были Вяч. Иванов (у Зубовской площади), Максимилиан Волошин (в Кривоарбатском переулке), а также Л. Шестов, С. Булгаков, В. Эрн, П. Флоренский. "Когда идешь по Арбату и ближними переулочками – чуть не каждый дом памятная стела"[40]. В мемуарах Герцык отчетливо выражено то настроение, которое охватывало весь этот круг и в котором обнажалась подоснова так называемого декаданса, во всяком случае русского, во всяком случае арбатского, – глубокое разочарование в сытом, спокойном существовании, гарантированном происхождением и семейным кругом и требовавшем закрыть глаза на беды и трагедии в окружающей действительности, на духовные и материальные страдания, которыми она была переполнена: "наступает час, когда обличается внезапно, катастрофически лживость всего, что казалось незыблемым"[41]; "все они (включая до конца искренних, как Блок или Анненский), все они, большие ли, мелкие ли, пронзены болью, с трещиной через все существо, с чертой трагизма и пресыщенности"[42]. Революция здесь и была воспринята как освобождение от "трагизма и пресыщенности", как возвращение к исконным и естественным началам жизни – к заботам о хлебе, о доме, о детях. "Так близко, так остро чувствую я приближающийся ко **всем** нам конец – таинственное начало нового"; "Из Праги Сергей Николаевич (Булгаков. – *Г.К.*) уже давно писал нам, не советуя ни в коем случае ехать туда и радуясь, что его сын Федя остался в России. Нет, очевидно, надо и возводить новую жизнь среди осыпающихся русских песков"; "Странно сказать, что последние годы ужасной нищеты были, кажется, самыми счастливыми годами моей жизни"[43].

Та же гамма настроений полностью отражена в автобиографических книгах Андрея Белого[44].

Помимо "бунинского" регистра яростной ненависти к террору, насилию всех родов, к подстегиванию самых разрушительных и самых низменных инстинктов, творимых именем народа, а в большой мере и людьми, из него вышедшими, помимо "зайцевского" регистра приятия происходящего как кары за сытость, как освобождения от духовной запутанности и как начала строительства лучшего будущего существовала в эти годы на Арбате и еще одна форма восприятия и пережива-

ния того, что обнаружилось в революции и последовавших за ней годах. Назовем этот, третий регистр восприятия случившегося условно, по фамилии автора произведения, отразившего его особенно полно и художественно убедительно, осоргинским, имея в виду роман М.А. Осоргина "Сивцев Вражек"[45]. И насколько "зайцевский" регистр оказался в сложении того образа Арбата, что был завещан последующему поколению, сильнее "бунинского", настолько же и этот, "осоргинский" образ оказался сильнее обоих предыдущих и в большей мере, чем они оба, определил и арбатский миф 60-х годов, и арбатскую жизнь 30-х, составившую для этого мифа реальную почву.

Основу "осоргинского" образа Арбата составило даже не убеждение, а чувство абсолютно непреложное: "жизнь должна продолжаться, как ни голодна она и как ни нелепа"[46]. Непреложно было: добыть дрова и пищу, накормить детей, отстоять свои две комнаты, оставшиеся от былой квартиры. А следовательно – действовать в окружающей жизни, следовательно – участвовать в ней, а значит, в той или иной форме принадлежать ей, быть в нее втянутым. Жизненная установка эта и практическое поведение, из нее следовавшее, и в людях тех лет, и соответственно в персонажах романа реализовались в двух разных формах, даже скорее не в формах, а как бы в музыкальных регистрах, разных, но нераздельных. Жизнь, в которую надлежало встроиться, направлялась властью, декретировавшей и притеснения, и террор, а господствовали в ней бежавшие с фронта солдаты и городские низы, практически осуществлявшие и то, и другое. Встроиться в такую жизнь поэтому можно было, лишь закрыв глаза на свое подлинное положение, на требовавшийся от тебя отказ от собственных привычек, ориентиров и ценностей – словом, ценой последовательного конформизма. Но было в таком поведении и понимание того, что жизнь, развитие, наука, искусство никогда не исчерпываются действиями власти, что за пределами ее действий остается довольно широкое поле, где в повседневном труде, честном и добросовестном, подспудно и вопреки всему живет нечто, сохраняющее и передающее будущему представление о порядочности, честности и добросовестности.

Власть понимала двойственный исторический смысл интеллигенции и потому одновременно и систематически уничтожала носителей этого "нечто", вплоть до массового геноцида 30-х годов, и столь же систематически использовала готовность людей такого типа работать на будущее, возводила эту готовность в ранг официальных добродетелей, награждала пайками и квартирами, амальгамируя интеллигенцию практически и идейно. Двойственность эта, легшая в основу арбатской цивилизации 30-х годов, исподволь складывалась уже и в 20-е годы. С одной стороны, сохранялась реальность всего того, что увидел и пережил на Арбате Бунин. В романе Осоргина она воплощена в образе полусумасшедшего расстрельщика Завалишина, преддомкома Денисова, в образе солдата Андрея, за пределами романа – в названных выше воспоминаниях художника Домогацкого[47], за пределами литературы – в атмосфере коммунальных кухонь тех, да и позднейших, лет. Однако встраивание в действительность, которую в большой мере определяла эта среда, несло в себе не только конформное приятие, но и, – благодаря возникавшему движению жизни вперед, – также неслышное и неуверенное преодоление реальности в ее наличном виде, частичную нормализацию самой среды. Сделано это несравненно тоньше и глубже, чем у Зайцева. Никто не перековывается, никто не идет навстречу "меньшому брату" или произносит речи во славу нового строя. Просто есть люди, у которых отчаяние оказалось сильнее инстинкта жизни, есть люди,

у которых инстинкт жизни означал бездумное растворение в окружающем, а между одними и другими – те, кто нес в себе начало жизни как начало веры, духовности и женственного цветения и, ничего не загадывая о будущем, отдавался им и ими существовал.

Таков солдат Григорий – денщик, ухаживающий, как нянька, за своим изуродованным и превращенным в обрубок офицером Стольниковым, а после самоубийства последнего уходящий из Москвы. "На выносливых плечах уносил Григорий свою старую веру, свою человеческую правду – из земли разврата к киевским угодникам, а то и дальше, куда заведет прямая дорога прямого и крепкого в вере человека. Не беглец, не родине изменник, не трус, а отрясший прах лжи и осмелевшего бесчестья. ⟨...⟩ Дошел ли старый солдат Григорий до Киева, нашел ли, что искал, или повернул оттуда к северу, в пермские скиты, или уплыл морем в Бари и Иерусалим, унес ли свою правду или бросил ее в пути вместе с тощей и изветшавшей своей котомкой – про то сказать никто не знает"[48]. В центре "зоны жизни", однако, оказывается не Григорий, а профессор-орнитолог Иван Александрович и его внучка Таня. Понятие жизни, в них воплощенное, замечательно тем, что оба героя не отстаивают ее, за нее не борются, она вообще для них не предмет рефлексии и не принцип поведения. Она – естественная, как дыхание, основа их существования. Именно она кладет грань между ними и остальными персонажами романа, которые все за что-то борются, что-то отстаивают, утверждают какие-то принципы. Они просто образуют вечную и непреложную основу бытия и длятся так же, как длятся дубовые бревна в основании их дома, как насекомые, ютящиеся в их щелях, или даже как мыши в подвале – что-то теряя, что-то перенося и неизбывно длясь. Вот разговор Тани с Астафьевым – самым "бунинским" персонажем книги, прожженным презрением и ненавистью окружающей его стихии насилия и хамства: "Всего важнее для меня было бы иногда видеть рядом простого и здорового духом человека, по возможности не философа, но и не раешника. – А это не слишком зло, Татьяна Михайловна? – Нет. Я вообще незлая, вы это сами признали. Но я хочу воздуха, а не какой-то беспросветной тюрьмы, куда вас всех тянет и куда вы меня тоже хотите упрятать. – Кто же вас... – Но Танюша перебила: Мне, Алексей Дмитрич, двадцать лет, вы думаете, мне приятно вечно слышать панихидное нытье, злые слова? И главное, всё время о себе, всё – вокруг себя и для себя, и все такие, даже самые лучшие"[49].

Одна черта романа особенно существенна для нашего анализа. Сознательно или подсознательно автор ведет свой сюжет так, что все персонажи, вступающие в конфликт с действительностью или безвольно в ней растворяющиеся, живут и действуют вне Арбата. Расстрельщик Завалишин и его наставник и жертва приват-доцент философии Астафьев, калькирующие пару Иван Карамазов – Смердяков, живут в одном доме в Дорогомилове – районе, для арбатского человека чуждо знаковом[50], Стольников, кончающий самоубийством, – на Малой Бронной, остальные связаны кто с Маросейкой, кто со Сретенкой, но самоценная и самообновляющаяся жизнь, ее сила и внутренняя красота имеют средоточие лишь в одном-единственном месте – "в беспредельности вселенной, – начинает Осоргин свой роман, – в солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка"[51]. Горничная Дуняша уезжает отсюда, от московского страха, голода и холода, в деревню; ее брат Андрей, поселившийся было здесь совдеповский начальник, уходит на фронт, чтобы там погибнуть; остаются профессор, Танюша да по-прежнему часто приходящие сюда полумладенец-получудак пианист

Эдуард Львович и некто Протасов – просто хороший человек, о котором мы не знаем ничего, "человек без свойств", – независимая от своих будущих свойств чистая потенция жизни.

Нам пришлось так подробно остановиться на романе Осоргина потому, что в нем наиболее полно представлены все слагаемые арбатского мира, какими они сложились на протяжении периода, обозначенного нами как "второй пролог", и какими они затем перешли из "пролога" в "основной сюжет драмы": культурный и аксиологический антагонизм между интеллигенцией и социальными низами в том их облике, который раскрылся в годы гражданской войны и военного коммунизма; приятие большой частью здешней интеллигенции такого объяснения указанного антагонизма, согласно которому значительная доля ответственности за него лежала на самой интеллигенции, а поведение тех, кто ее окружал, было лишь следствием векового неравенства, доказательством "вины интеллигенции перед народом", надо всем этим – общее ощущение причастности к длящейся и предъявляющей свои права живой жизни, несущей в себе обозначенные выше антагонизмы, но и смягчающей, а в перспективе и снимающей их. Чувство причастности к жизни и императив участия в ней, а следовательно, и в практической, реальной, т.е. советской, ее форме, оказывались в конечном счете сильнее двух первых слагаемых. Чувство это в разной форме и в разное время знали и люди, пережившие всё то, что им суждено было пережить тут же на месте[52], и те, кого пережитое привело в эмиграцию. Не случайно ему оказались сопричастны и Бунин, и Цветаева, и Зайцев.

Характеристика возникавшей таким образом амальгамы была бы неполна без указания на еще один существенный ее компонент. На протяжении 20-х годов на Арбате селилась партийная интеллигенция, в значительной своей доле еврейского происхождения. Эти люди лишь в очень редких случаях реально принадлежали к правящей элите. Последняя предпочитала не Арбат, а Берсеневскую набережную, Шереметьевский переулок, Каретный ряд, район Тверской и Большой Дмитровки. На Арбате дома, где им предоставлялись квартиры, были редки – так называемый "дом командармов" на Большом Ржевском, едва ли не единственный пример дома, целиком занятого людьми власти. Уже в таких домах первой пятилетки, как тот, что наискосок от "дома командармов", на углу Большой Молчановки, или № 3 по Карманицкому переулку, дом № 15 по Сивцеву Вражку, немало было и так называемых "спецов", т.е. активно сотрудничавшей с советской властью инженерно-технической интеллигенции, а в более или менее одновременно с ними возникших домах, вроде дома № 20 на Арбате или дома на углу Большого и Малого Левшинского, среди жильцов могли уже преобладать профессора и писатели. Партийная и советская интеллигенция, селившаяся на Арбате и в его переулках, в большинстве представляла собой тот средний слой, в котором естественная преданность жизни преломлялась в виде столь же естественной преданности конкретной общественно-политической форме этой жизни, т.е. советской власти и коммунистическому режиму. Еврейская часть была им предана за то, что они избавили ее от погромов, от черты оседлости и процентной нормы, от вечного чувства своей угрожаемости и дурной особости, нееврейская – в силу традиционного для этого слоя отрицательного отношения к царскому строю.

Наступившие после завершения "второго пролога" 30-е годы несли в себе весь его материал и все его конфликты. То коренное противоречие русской истории и русской культуры, которое Ключевский назвал "расколом", славянофилы связывали с деятельностью Петра и обозначили как противостояние Петербурга и Моск-

вы, а Александр Блок и его поколение пережили как проблему интеллигенции и народа, вступило в новую, предельно краткую и совершенно особую фазу. Преображенное и сублимированное, оно продолжало бушевать, но современники могли счесть его преображенность и его сублимацию доказательством того, что единство идет на смену розни.

АРБАТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 1930-х ГОДОВ И ЕЕ ИСЧЕРПАНИЕ

Сочетание социокультурных сил, их отношение друг к другу и эволюция этого отношения, составившие объективно-историческую основу образа Арбата, в дальнейшем маркировавшего этот район, явились результатом социальных, политических и демографических процессов, которые интенсивно шли здесь на протяжении первых двух послеоктябрьских десятилетий. В их число входили: массовое перемещение в столицу деревенского населения; абсолютное увеличение количества интеллигенции главным образом за счет переселявшихся сюда людей из провинций, либо отличившихся своими заслугами перед революцией, либо старавшихся скрыться здесь от ее последствий, а также за счет все шире привлекавшихся к работе с новой властью, как называли их в те годы, "спецов"; перераспределение жилого фонда в результате национализации и уплотнений. Процессы эти были характерны для Москвы в целом, да и для большинства городов страны. Однако на Арбате у них были свои особенности. Многоликое новое население в большой мере сохраняло свои, унаследованные каждой группой от прошлого социокультурные и социально-психологические различия, но в то же время население это тяготело к социальному единству. В силу сохранявшихся здесь "зайцевских" и особенно "осоргинских" традиций такое единство на протяжении 1930-х годов постепенно утверждалось и с трудом, сквозь реальные противоречия, но создало в итоге тот недолговечный сплав, который и составил "арбатскую цивилизацию". Представление о ее, так сказать, жилищных предпосылках можно себе составить на основе следующих данных.

Архитектурный пейзаж 30-х годов складывался из зданий четырех типов: 1. Особняки первой и второй трети прошлого века, вроде домов (здесь и далее по состоянию на последний предвоенный год) № 6–12 и 11–15 по Вспольному переулку, № 8–6 по Гранатному, весь Чашников переулок, вся правая сторона Борисоглебского, если идти от Поварской, и правая сторона Малой Молчановки, если идти от Ржевского и т.д. 2. Дешевые многоквартирные архитектурно невыразительные дома (так называемые "обиталища"), возникшие в эпоху архитектурного безвременья 1860–1880-х годов, когда ампирный канон уже ушел в прошлое, а принципы модерна еще не утвердились, как, например, оба угловых дома ныне не существующего Годеиновского переулка при впадении его в Арбат или дома на Большой Молчановке между Борисоглебским и Трубниковским. 3. Многоквартирные дома модерн (Арбат, № 7, 9, 35, 51, Сивцев Вражек, № 17, 19 и т.д.). 4. Ориентированные на конструктивистский канон дома первой пятилетки и хронологически их продолжающие дома второй половины 30-х годов (так называемый "сталинский ампир"), вроде дома № 15 по Сивцеву Вражку. Для арбатских переулков 30-х годов характерно совершенно определенное соотношение этих четырех типов, которое может быть представлено в виде табл. 1[53].

Таблица 1

Переулок	Особняки	Дома модерн	Особняки + дома модерн (общий процент)	Обитализа	Первая пятилетка	Их общий %
М. Молчановка	4	3	100	–	–	–
Б. Ржевский	3	3	100	–	–	–
Вспольный	14	5	95	1	–	5
Кривоникольский	4	2	87	1	–	13
М. Никитская	10	7	85	1	1	15
Борисоглебский	8	2	83	2	–	17
Староконюшенный	14	6	80	3	2	20
Плотников	6	7	80	4	0	20
Гранатный	8	–	80	2	1	20
Б. Афанасьевский	15	10	75	6	2	25
Б. Молчановка	7	4	73	3	1	27
Нащокинский	4	1	70	1	1	30
Итого в среднем	8	4		2	0,6	
Средний процент	57	27	84	15	1	16

Другие переулки района дают примерно те же цифры или, во всяком случае, укладываются примерно в те же пределы. Они как будто дают право принять за основополагающий признак арбатского района 1930-х годов следующие два параметра: необычно высокий сравнительно с другими районами города процент особняков, превращенных в коммунальные квартиры, но более или менее сохранивших свой архитектурный облик и социокультурный образ; резкое преобладание в жилой застройке сочетания особняков и многоквартирных домов модерн – в совокупности от 70 до 100%. Выборочные сравнительные данные по некоторым другим историческим районам Москвы подтверждают уникальность такого сочетания и его специфичность именно для района Арбата (табл. 2).

Отраженный в таблицах характер застройки дает возможность прежде всего обосновать более или менее объективными данными намеченные выше границы Арбата как района. Установленный коэффициент: "особняки плюс дома модерн существенно выше 70%" – выдерживается без коренных исключений только в намеченных выше пределах: Садовое кольцо – Пречистенка – Бульварное кольцо – Спиридоновка, и явно меняется на границах данной территории. На три переулка, соединяющих Спиридоновку с Патриаршими прудами и Малой Бронной, в 1920–1930-е годы имелся лишь один особняк; на самой Малой Бронной их было три, зато "обиталищ" – четырнадцать. Почти точно такое же соотношение на противоположной границе арбатского района – на Лопухинском переулке, на Всеволожском, Сеченовском, Мансуровском.

Характер застройки помогает также очертить – пусть в самом общем виде – социокультурную структуру района. Каждый из намеченных выше четырех типов домов предполагал с меньшими или большими исключениями определенную соци-

Таблица 2

Переулок	Особняки	Дома модерн	Общий процент особняков и домов модерн	Обиталища	Первая пятилетка	Их общий %
Б. Харитоньевский	6	4	46	11	1	54
Б. и М. Козловские	3	3	40	6	3	60
Машков	1	2	19	11	2	81
Фурманный	–	4	36	5	2	64
Фокин	–	2	50	2	–	50
Итого в среднем	2	3		35	8	
Средний процент	4	6	37	75	15	63
Или другой район – переулки в р-не Тверской и М. Дмитровки:						
Старопименовский	4	3	41	7	3	59
Дегтярный	3	8	84	2	–	16
Настасьинский	1	2	37	4	1	63
Успенский	6	1	100	–	–	–
Итого в среднем	3,5	3,5		3,3	1	
Средний процент	31	31	65	29	9	35

альную и культурно-психологическую окраску. Особняки были, как правило, населены средним общественным слоем той поры, обозначавшимся в анкетах как "служащие", т.е. интеллигентными семьями, московскими или приезжими, дореволюционной формации. Часть комнат в особняках оказалась занята бывшей прислугой старых владельцев, у которой нередко обосновывались перебравшиеся из деревни родственники[54]. Дома первой пятилетки были исключением из общей структуры: квартиры в них предоставлялись, по терминологии того времени, "ответработникам" и "спецам", не были коммунальными, и потому участие жильцов в сложной социокультурной "текстуре" времени осуществлялось – там, где оно имело место, – вне дома. Многоквартирные дома модерн были национализированы, и "уплотнение" их шло централизованным порядком. В квартиры этих домов, где часть комнат оставалась у старых обитателей, вселялись, вполне по Осоргину, появившиеся с фронта солдаты, позже – демобилизованные красноармейцы и широкий контингент лиц, обычно из провинции, имевших заслуги перед революцией. Наконец, "обиталищ", как мы видели, на Арбате было мало, и роль их населения в социокультурном облике района была ограниченной. Как правило, здесь жили старые московские семьи, занятые с дореволюционных лет в сфере обслуживания или физическим трудом.

При этой классификации следует, разумеется, учитывать, что население Москвы в целом и Арбата в частности в годы между гражданской и второй мировой войнами росло неудержимо, что пополнение каждой из перечисленных категорий также было весьма значительно и распределялось оно по указанным типам зданий не

в строгом соответствии с предложенной классификацией. Она – повторим – весьма приблизительна, но два обстоятельства отражает бесспорно: процесс особенно интенсивного в эти годы взаимодействия разных социальных прослоек и групп и необычно значительная роль в этом процессе старой демократической интеллигенции. Сочетание того и другого образует главную характеристику "мира Пречистенки и Арбата"[55] 1930-х годов.

Сочетание предполагало сопоставление, взаимодействие и очень нередко – конфликт. В обобществленных особняках, а в еще большей мере на коммунальных кухнях в домах модерн шло "взаимопритирание" остро разнородных элементов – коренных арбатских, разночинных, пришлых деревенских и деклассированных, так и не сумевших встроиться в общественную структуру после гражданской войны и НЭПа. Более типична для 1920-х, нежели для 1930-х годов, история, рассказанная арбатским писателем Николаем Зарудиным, но отсветы подобных ситуаций разъясняют кое-что и в атмосфере более позднего времени.

Демобилизовавшись после гражданской войны, Зарудин вскоре получил комнату в доме № 51 по Арбату, в коммунальной квартире, которая и свела его с неким Шевалко. "Кубанский казак, партизан без правой руки, прямо из гражданской в Москву. Мать его, старуха шестидесяти пяти лет, пила натуральную литрами, плясала и никогда не пьянела. На глазах наших к ней сватались, и она пошла, и вышла бы, если бы не сорвался сын... Мы знакомились с ним при обстоятельствах ночных: ежедневно в 4 ночи звонил к нам Шевалко – два звонка, и падал из двери покойником. Пил он зверски. Утром ежедневно у них, у Шевалко, начиналось: плач, драка, укоры, а мирились опять с водкой, причем пили уже все вместе – жена, мать, вечные гости из артели инвалидов. Из партии его вычистили – и навсегда ⟨...⟩ Бедняга был жертвой сложных отборов истории, он НЭПа не принимал идеологически, расстраивался – отсюда и пошел сплошной госспирт ⟨...⟩ Подули новые ветра, и запахло иным, уже и невидимым порохом. Но Шевалко успел как-то перепродать комнату, кого-то надул и сгинул уже навсегда"[56].

Были и другие варианты, дожившие до войны. Просто темные мужики и бабы, замачивавшие белье в ваннах, коловшие дрова на инкрустированном паркете и люто не любившие тех, кому это не нравилось. Прямой уголовщины, насколько я могу вспомнить, в арбатском районе в те годы было мало. Впрочем, коммунальные квартиры с их прямыми антагонизмами касались больше взрослого населения, нас же сейчас должно больше интересовать население школьное.

С точки зрения исторической и историко-культурной свойства и особенности арбатского мира, составившие основу его позднейшего образа, необходимо рассматривать в первую очередь на материале школ. Во-первых, потому что сам социокультурный пейзаж, подлежащий анализу, сложился совсем незадолго до этого времени, был новым и соответственно находил себе адекватное выражение в новом поколении. Во-вторых, в результате школьной реформы 1932 г. были восстановлены многие традиционные разделы программ и методы обучения, и насыщение новых форм жизни всем лучшим в культуре прошлого выступало здесь поэтому как осознанная задача; работа по ее решению соответствовала атмосфере Арбата, его давним культурным традициям и потому стала важным слагаемым его образа. В-третьих, образ Арбата, как было сказано и в какой-то мере показано в начале настоящих заметок, сложился в 1960–1970-е годы из воспоминаний и впечатлений людей, покидавших в ту пору Арбат, о своей юности, т.е. опять-таки о школах 30-х годов. Наконец, нелишне учесть, что школ в эти годы на Арбате было беско-

нечно много, дома, квартиры и дворы были переполнены детьми, они приносили в семьи тот дух, который царил в школах, и потому их роль в создании картины Арбата тех лет объективно очень значительна.

Мир арбатских школ 1930-х годов отличался рядом признаков. Все эти признаки характеризовали также и большинство других московских школ той поры, равно как школы многих других городов страны. Но историко-культурные особенности арбатского района, описанные выше, существенно усиленные школьной реформой начала 30-х годов, придавали здесь этим всеобщим процессам специфический арбатский облик. Здесь, в частности, особым образом разрешались контрасты между пронизывавшими время самыми темными и страшными сторонами действительности и сторонами ее небывало увлекательно светлыми, в особом сплаве представали три ранее сложившиеся тональности здешней жизни – "бунинская", "зайцевская" и "осоргинская".

В число признаков "арбатской школьной цивилизации" входил, например, глубокий органический интернационализм. Никому не приходило в голову оценивать достоинства или недостатки человека по его национальной принадлежности, которая, вообще, если и воспринималась, то скорее как внешняя, чем как содержательная характеристика. Во дворе бывшей гимназии Брюхоненко на Столовом переулке, где некогда училась Марина Цветаева и которая стала в советское время школой № 3, потом 103 и, наконец, 110, стоит скульптура, созданная бывшим учеником этой школы скульптором Даниэлем Митлянским, посвященная его соученикам, не вернувшимся с фронтов Отечественной войны. У основания скульптуры – доска с перечнем учеников школы, разделивших судьбу пятерых, изваянных на постаменте. И в этой прекрасной скульптуре, и в этом списке производит впечатление их многонациональность[57]. Примеров, говорящих о том же, можно было бы привести множество[58].

Чертой времени были также весьма эмоциональные и при этом очень чистые отношения между мальчиками и девочками[59], увлечение спортом и многое другое. Сосредоточимся, однако, на группе признаков, отчетливо образующих единую систему и наиболее прямо связанную с основной темой настоящих заметок.

Ведущей чертой, определяющей умонастроение в школах 30-х годов, было унаследованное от трех-четырех поколений демократической интеллигенции убеждение в том, что история разумна, развитие ее есть развитие к добру, лучшее – в будущем и потому отрицательные стороны действительности, бесспорно, существуют, но в высшем смысле несущественны, преходящи. Мера человеческой ценности – участие в истории и ответственность перед ней. Отсюда – комсомольский дух и весь общественный компонент в жизни школ, стремление молодежи конца 30-х годов в военные школы, массовое добровольчество в начале войны. "Мы хотели, чтоб было лучше, потому и не знали страха", – писал один из самых значительных поэтов этого поколения[60].

Важнейшей составной частью этого комплекса представлений было уважение к культуре и культурной традиции – специфическая черта 30-х годов в отличие от пролеткультовских 20-х или маргинально-контркультурных 60-х. Со времени революции прошло не более 15–20 лет. В школах продолжали работать многие гимназические учителя. Интеллигентные дамы, оставшиеся без средств к существованию, собирали группы детей из одного дома или из близлежащих и учили их французскому или немецкому (английский тогда в моду еще не вошел, той роли, которую он исполняет сегодня, не играл и встречался относительно редко). Стайки ма-

леньких детей, ведомых дамой в трижды перешитом "саке" и болтающих на иностранном языке, – одна из распространенных черт повседневного пейзажа Молчановки, Гагаринского или Малой Никитской. Школьная программа литературы предусматривала изучение "Гамлета", "Мещанина во дворянстве", "Фауста" и "Путешествия Чайльд Гарольда". Культура была ценностью и воздухом, предметом мальчишеских разговоров во время уличных прогулок, литературные и художественные кружки – обыкновением и модой.

Культура, которой увлекались, которая изучалась и обсуждалась, была культурой традиционной. Из нескольких десятков бывших арбатских школьников, опрошенных мной в ходе подготовки настоящего текста, только один мог вспомнить квартиру с книжками Ахматовой, Гумилева или Цветаевой. Так называемую современную живопись, даже в таких спокойных ее проявлениях, как картины Юона или Мешкова, Сапунова, мы открыли для себя не раньше конца 50-х. В комнатах часто висели портреты Бетховена или Чайковского, но никогда – Дебюсси или Франка, Стравинского или Прокофьева; о Малере и слыхом не слыхали. Соответственно у очень многих школьников над обтянутым цветной бумагой рабочим столиком помещались портреты и бюстики Пушкина, Некрасова, Чехова, Толстого, но не поэтов-символистов. Маяковский оставался предметом бесконечных споров – "понятно" или "непонятно", "прилично" или "неприлично". Зарубежных поэтов если и читали – обычно в переводах, очень редко в подлинниках, – то это были Гейне, Шиллер, никогда – Аполлинер, Рильке, Лорка, Йейтс. Архитектура и вся эстетика модерна, хотя они были даны почти каждому в уличном пейзаже и домашнем интерьере, не воспринимались совершенно, а если и воспринимались, то именовались "пошлостью" или "рябушинским модерном". Ценилось традиционное, здоровое, непосредственно и прямо гуманистическое. Такая эстетика была предусмотрена учебными программами, была установкой и насаждалась. Но она же продолжала, или оказалась продолжением, столбовых духовных традиций демократической интеллигенции предреволюционных лет. В этом сочетании традиции, революционного отрицания прошлого и того же прошлого, прочитанного как современность, – суть и секрет арбатских школ той поры, во всяком случае – суть их учебных предметов гуманитарного цикла.

Тяготению к духовной простоте соответствовала реальность простоты материальной – чтобы не сказать материальной стесненности, чтобы не сказать бедности. В жизни общества не ощущалось (по крайней мере, в этом районе) категории "материально престижного", сегодняшнего ажиотажа вокруг вещей – носильных, бытовых, декоративных. Различия в материальном уровне, одежде и обстановке не выставлялись, но и не скрывались, ибо не воспринимались как существенные. Вот, например, очень точное описание жизни одного в ту пору весьма известного писателя и его семьи. "Жили Н.Н. в Сивцевом Вражке, почти рядом с Гоголевским (Пречистенским. – *Г.К.*) бульваром, на первом этаже; окна их выходили на улицу. У них было две комнаты в коммунальной квартире, довольно просторные, или казавшиеся по тем временам просторными, особенно потому, что в них почти ничего не было. В одной стоял широкий матрас на поленьях вместо ножек, несколько табуреток и мосдревовский, небрежно сколоченный и уже потрескавшийся письменный стол у окна; в стену были вбиты гвозди, на которых висела одежда, прикрытая ситцем. В другой комнате стоял большой стол и вокруг него стулья, что и составляло всю ее обстановку. На этот стол подавалась красноармейская алюминиевая манерка, в которой кипятили чай, граненые стаканы и оловянные ложки". Этот ин-

терьер мог быть не столь спартанским в квартирах, где семья сохранила кое-что из дореволюционной обстановки; комнаты могли быть – и в большинстве были – разделены шкафами на зоны, родительскую, детскую, гостевую, но безусловным и всеобщим было то свойство, упоминанием о котором автор заканчивает свой рассказ: "Все это было не бедностью или игрой в аскетизм, а полным пренебрежением ко всему, что составляло быт"[61].

Если сферой жизни семьи были одна или две комнаты в коммунальной квартире, то сферой основного пребывания школьника – некое подобие выделенной ему и заходившим к нему товарищам функциональной зоны – столик у окна или место на краю большого обеденного стола, в непосредственной близости – две-три полки или этажерка с книгами. Привычной одеждой такого школьника была ковбойка, толстовка, бумазейный лыжный костюм, вершиной элегантности – летческий шлем, перешитый отцовский китель или куртка на молнии. Белые воротнички и галстуки вызывали насмешки. Это было то среднее состояние, удаленное и от нищеты, и от зажиточности, которое уравнивало, конформировало, но и было питательной средой для продолжения интеллигентских традиций демократизма, непритязательности и "честной бедности". "Я льнул когда-то к беднякам / Не из возвышенного взгляда, / А потому, что только там / Шла жизнь без помпы и парада"[62]. Один из бывших учеников школы № 70 на углу Малого Власьевского и Гагаринского переулков рассказывал о двух своих почти одновременно пережитых сильных детских впечатлениях: обходя по какому-то общественному поручению дома своих соучеников, он впервые в жизни попал в отдельную квартиру и в тот же вечер, тоже впервые в жизни, увидел жилую комнату, в которой вообще не было книг.

Чем же была эта, в общем, столь симпатично выглядящая действительность школьно-арбатского населения 1930-х годов? Как соотносилась она с чудовищной реальностью, его, это население, не только окружавшей, но и пронизывавшей? Не только с массовыми арестами и лагерным геноцидом, не только с заполнявшими газеты проклятиями по адресу очередных "врагов народа", в числе которых в основном оказывались люди, которым те же газеты годом раньше курили фимиам, но и с комсомольскими собраниями, где школьники должны были отрекаться от оказавшихся "врагами народа" собственных родителей, с постоянным контролем над разговорами и даже мыслями?[63]

На поставленные вопросы есть по крайней мере два ответа. Первый ответ, самый общий, к Арбату не сводящийся и приложимый к нему как к частному случаю, основан на концепции общественного развития К.-Г. Юнга и на соотнесении ее с советской действительностью в работах комментаторов. Как бы ни относиться к научной обоснованности конкретных общественно-исторических построений Юнга, вряд ли можно отрицать, что в учении его заложена особая вненаучная сторона истины. При истолковании определенных общественно-исторических ситуаций юнгианское учение о вытеснении архаических и разрушительных сил в глубины человеческого сознания, откуда они возвращаются в жизнь общества и яростно действуют в ней, выступает как грандиозная метафора исторического состояния, которая если не дает аналитического его объяснения, то дает картину его, увиденную как бы в рентгеновских лучах. Лучезарный образ времени, столь властно владевший умами людей 30-х годов, особенно подростков и молодежи, не упразднял ни общественных противоречий, ни насилия над историческим процессом, ни противоестественности категорических требований к каждому видеть вокруг себя не то, на

что смотришь, а лишь вытеснял их в сферу коллективного подсознания, где они переживали рационализацию отчетливо смердяковского типа и возвращались в жизнь в виде второй действительности, состоявшей из сгустившихся теней и как бы по уговору нарочито незамечаемой. Пути восстановления баланса между моральными и рационалистическими императивами общественного бытия, с одной стороны, и темной архаикой, неизбывно присутствующей, по Юнгу, в общественном сознании – с другой, были выразительно описаны применительно к советской действительности 30-х годов в работе российского историка. "Тайная полиция – неизбежный спутник рационалистической утопии, ее тень. В коллективном сознании она выполняет роль цензуры бессознательного. Следственные камеры ЧК – субститут католических исповедален. Греха, зла, тени согласно марксизму нет, они исчезли вместе с капиталистическим способом производства. И в подвалах Лубянки восстанавливается утраченная в марксизме полнота бытия, накладываются необходимые тени. Террор – психологическая компенсация для одностороннего рационализма и морализма оптимистической теории"[64].

"Утраченная полнота бытия" восстанавливалась не только в подвалах Лубянки. Это – одна из аберраций, свойственных сегодняшнему взгляду на ту эпоху. В иной, более повседневной и тихой, но от этого подчас в не менее мучительной форме "восстанавливалась" она на кухнях коммунальных квартир, в темных переулках и дворах. Смесь злобы и нахрапа, ненависти к чистоте и приличию, к закону и лицу, подстегиваемых официальной пропагандой под видом ненависти "рабочего класса" к "буржуазии и эксплуататорам", вносила в гармонизующе-оптимистический миф свои коррективы.

Вносила в него коррективы, но его ни в коей мере не отменяла. Как показал тот же Юнг[65], архетипы коллективного бессознательного в реальной жизни современного общества чаще всего перекрыты субстанциями другого порядка – символами или мифами. Архетипы в них как бы "утоплены", в них "дышат", но подчинены инстинктам человеческого общежития, компенсирующим темную разрушительную природу коллективного бессознательного светлым началом взаимопонимания и солидарности. Последнее также коренится в глубинах личности, также не поверяется конкретным, рационально осмысленным социальным опытом, выражая себя в "формулах, причем намного более прекрасных и всеохватывающих, чем непосредственный опыт". Опять-таки как бы ни относиться к научному существу юнгианства в целом, нельзя не видеть, что здесь уловлена одна из коренных традиций общественного и культурного развития.

Общественно-исторические мифы представляют собой особую универсальную реальность истории, сильнейший регулятор общественного поведения. Они возникают оттого, что никакое общество не может существовать, если основная масса его граждан не готова выступить на его защиту, спокойно подчиняться его законам, следовать его нормам, традициям и обычаям, если она не испытывает удовлетворения от принадлежности к его миру как к своему. Но эта готовность и это удовлетворение имеют своим исходным началом и одновременно своим следствием некоторую более глубокую потребность, их объединяющую и их реализующую, – потребность в солидарности общественного коллектива, потребность ощутить себя своим среди своих. И как для готовности защищать свое общество, подчиняться его законам, радоваться своей принадлежности к нему реальная жизнь никогда не дает полных оснований, ибо действительность никогда не совпадает с той, какую хотелось бы видеть, так и потребность в солидарности с соплеменниками или согражданами неизменно разби-

вается о личную и имущественную рознь, о корысть и другие виды эгоизма. Поскольку же сама потребность остается непреложной, то возникающий в обоих случаях зазор между нею и тем, что реально есть, может быть если не устранен, то примирен лишь на основе веры в осмысленность моего общества и в солидарность мою с другими его членами. Образ общества и норма отношений, в которых реализуется такая вера, и составляют общественно-исторический миф.

Миф находится в противоречивых отношениях с жизненной практикой. Он ей очевидно противоречит и в то же время, родившись из вполне реальной жизненной потребности, принадлежит практике общества, оказывает на нее мощное обратное влияние, живет в ней на грани упования, идеала, фикции и – эмпирии, практического регулятора поведения личностей и масс. Античный мир гражданской солидарности, героического патриотизма и гарантированной свободы в рамках закона, воспетый Аристотелем и Цицероном, никогда как таковой, в этом именно виде не существовал, но Фермопилы были, была беспримерная жизнестойкость римского народа во время войны с Ганнибалом, и "Дигесты" в течение двух тысячелетий составляют основу правового мышления Европы. Точно то же можно повторить и применительно к позднейшим эпохам. В эмпирическом бытии ленивого, невежественного и грубо насильственного общества средних веков не было места тому, что составило суть его самосознания и его образа в глазах последовавших поколений – рыцарской чести, верности даме, пламенной религиозности при коррекции ее разумом, но ни переписка Элоизы и Абеляра, ни капитальный факт средневекового номинализма – не фикция, как не исчерпывается образ Дон Кихота художественной фантазией его автора. И так далее.

Второй ответ на поставленный выше вопрос связан с ролью мифа в истории вообще и Арбата в частности. Современное представление о 30-х годах как об эпохе, исчерпывающейся чудовищной дихотомией ликующих парадов и пыточной реальности[66], говорит лишь о непрофессионализме историков, об этой эпохе пишущих и не видящих важнейшего ее слагаемого – общественно-исторического мифа времени. Ситуация, в которой он разворачивался, была точно описана Л.Я. Гинзбург. "Тридцатые – коллективизация, украинский голод, процессы, 1937-й – и притом вовсе не подавленность, но возбужденность, патетика, желание участвовать и прославлять. Интеллигенция заявила об этом и поездкой писателей по Беломорканалу, и писательским съездом 1934 года с речами Пастернака, Заболоцкого, Олеши и проч." Автор объясняет эту ситуацию владевшей всеми в те годы "жаждой тождества" – с режимом, с временем, с народом. "Создавать участки тождества интеллигенту помогали различные механизмы. Среди них один из самых мощных – это народническое наследство, это с первыми детскими впечатлениями освоенная идея социальной справедливости"[67]. Важно учитывать, что эта идея постоянно сказывалась в повседневном поведении – в готовности помочь "народу" и терпеливо сносить беды, сплошь да рядом этим же "народом" вызванные. Жажда тождества и механизмы ее удовлетворения, инстинкт социальной справедливости и практическое ему служение и образуют реальность мифа на Арбате времени 30-х.

Мы договорились описывать Арбат 30-х годов, существовавший в сознании и в жизни школьников той поры, и постарались объяснить причины и преимущества такого подхода. Для школьников макропроцессы времени преломлялись в жизни микромножеств, прежде всего двора и класса. Сейчас много пишут об этих ячейках социальной микросреды тех лет. Есть люди, ностальгически вспоминающие взаимную поддержку и коллективный уют коммунальных квартир, прелести дворовой

дружбы, здоровую атмосферу классов. Есть другие, с горечью говорящие и пишущие об унизительных квартирных склоках, о потасовках (четверо на одного) в подворотнях, об игнорирующем право человека быть самим собой безапелляционном приговоре класса. Было и то, и другое; и то, и другое верно. Суть дела – во всяком случае, арбатская суть дела – не в этом.

Сквозь квартирные травли, склоки и примирения, сквозь дворовые баталии (подчас кровавые), сквозь классные споры и коллективные бойкоты прорисовывалась на Арбате одна тенденция. В них выстояла и окрасила их собой советская демократическая интеллигенция – с равным акцентом на каждом из трех слов. Арбатская цивилизация – очередной, закономерный и важный этап существования интеллигенции России, после этапов, условно говоря, "славянофильски-аксаковско́го", "профессорски-бекетовского", "жизнестроительно-бердяевского".

Здесь, однако, необходимо одно весьма существенное уточнение. В первые послереволюционные годы и особенно в предреволюционную эпоху понятие и слово "интеллигенция" ассоциировалось в первую очередь с людьми известными, признанного высокого уровня – образовательного, интеллектуального, профессионального. Интеллигентными в этом смысле были на Арбате бердяевский круг (на Трубниковском переулке), профессорская среда, описанная Андреем Белым (на Денежном или на Плотниковом), круг Цветаевых, сестер Тургеневых, Завадского на Борисоглебском, ближе к Собачьей площадке, Гольденвейзеры на Скатертном, актерская среда вокруг Вахтангова на Левшинском и т.п. Именно это понимание феномена интеллигенции объясняло и оправдывало перевод ее имени на западные языки английским словом *intellectuals* или французским *intellectuels*. В 20-е и особенно в 30-е годы смысл понятия (по крайней мере в расхожем употреблении) во многом изменился, и для понимания сказанного на последних страницах важно уловить этот новоприобретенный оттенок его смысла. К описываемому времени люди из рафинированной профессорской или художественной среды отчасти уже вымерли, многие оказались в эмиграции, другие были репрессированы или инкорпорированы в официальную советскую элиту. В атмосфере района, в школах, магазинах, на коммунальных кухнях слово "интеллигенция" стало ассоциироваться с другим содержанием, и ассоциироваться потому, что социально-психологическое общественное содержание понятия и соответственно самого слоя стало реально иным. Теперь его в основном составляли, по тогдашней терминологии, "служащие". То были обычно люди с гимназическим, а не с университетским образованием, самого разного происхождения, обретшие нишу в порах советской учрежденческой системы, – библиотекари, школьные учителя, машинистки-переводчицы, работники канцелярий, вспомогательный состав научных и учебных заведений. То была среда достаточно демократическая по своему составу и убеждениям, но особым слоем тогдашнего общества в целом и на Арбате в особенности ее делали не убеждения как таковые, вообще не самостоятельно выработанное мировоззрение, а определенный стиль жизни и повседневного поведения – бытовая порядочность и чистоплотность, речь, свободная от жаргона, грубости и брани, предупредительность и вежливость, мало соответствовавшие условиям и потому подчас воспринимавшиеся комически, известная неприспособленность к советскому быту и окружению, порожденная органической неспособностью или сознательным отвращением ко всем видам нахрапа, алчности и карьеризма. При столкновении с людьми иной социокультурной формации такая интеллигенция чаще всего проигрывала, но тем знаменательней было принятие **их** стиля известной и не столь уж малой

частью школьной молодежи. Комплекс перечисленных ранее интеллигентских форм поведения, манер, реакций, бытовых навыков и ориентаций мог под влиянием обстоятельств быть оставленным, забытым в другой жизни, но он крайне редко и лишь в экстремальных условиях знал внутренний распад и медленную эрозию, линьку. Быт, повседневность, стиль существования и формы обыденного поведения играют в истории очень большую роль и проливают свет на многие ее макропроцессы. Подростки, вчера дравшиеся во дворе, заходили друг к другу рассматривать марки и запоминали звучные романтические слова: Гвадалупа, Коста-Рика, Борнео, и мальчишка, у которого дома было лишь полтора десятка случайных книг, уносил с собой непрограммные "Айвенго" или "Обрыв". Самодеятельные театры при домоуправлениях, собиравшиеся обычно в недрах жактовских (ЖАКТ – тогдашний эквивалент позднейшего ЖЭКа или нынешних РЭУ) подвалов, возникали и рассыпались от раздоров и распрей детей и взрослых, но вчерашний деревенский мальчишка успевал сыграть в них Кочкарева и Рюи Блаза. Коля Н. из подвала на Староконюшенном, сын уборщицы, был ярко одарен, отличался музыкальным слухом и прекрасно осваивал программу. Но в судьбе его – человека, ставшего и видным администратором, и известным ученым, – отложились и палеонтологические витражи на лестничных площадках Медведниковской гимназии, и талант ее старых, коренных арбатских учителей, и долгие шахматные вечера в доме ИТР на углу Староконюшенного и Сивцева Вражка. Коля Е., сын дворника с Никитского бульвара, вряд ли стал бы доктором наук, если бы не вся атмосфера, семь лет подряд окружавшая его во Флеровской гимназии. Таких людей в ту пору было довольно много везде, но на Арбате, пожалуй, больше, их связь с интеллигентской традицией прямее. Именно Арбат спас, хотя и не всех, но столь многих, от пьянства, уголовщины, гибели.

Все это – факты. Факты, далеко не исчерпывающие эмпирию довоенной арбатской жизни. В этом смысле они образуют нечто, от нее отличное, организованное памятью и сознанием, миф Арбата скорее, чем его повседневную практику. Но, как мы уже убедились, действительность – подлинно историческая действительность – всегда вырастает лишь из суммы и взаимодействия обоих – эмпирии и мифа. И не нужно сейчас пытаться признать одну из этих сторон подлинной, а другую пропагандистской фикцией. Так не бывает. Историческая действительность всегда содержит в себе некоторый миф, и реальное поведение исторического человека всегда есть равнодействующая эмпирии и мифа. С 1926 по 1958 г., например, в доме № 13 жила семья потомков Боратынского. Жили в одиннадцатиметровой комнате; чтобы уместить всех ее обитателей, понадобилось соорудить полати, куда на ночь и отправлялась часть семьи. Кроме нее, в квартире жил еще 21 человек. На положении семьи сказывались, по-видимому, все прелести подобной ситуации; наличествовало, должно быть, и жульничество управдома, и наглость соседей. Можно было бороться – договориться с застройщиком, вступать в кооператив, идти на комбинации матримониального свойства. Потомки Боратынского ничего этого не делали и предпочитали безвозмездно вести кружки в большом доме неподалеку (Филипьевский переулок, дом № 14), заселенном публикой самого разного социального облика, и объяснять здешним детям, какую великую культурную традицию наследует победивший пролетариат.

Арбатская цивилизация и арбатский миф в их описанном виде существовали актуально в 30-е годы и кончились вместе с ними, точнее – с войной и с первыми послевоенными годами. К этому времени полностью износился старый, предшество-

вавший модерну жилой фонд; жить в особняках стало практически невозможно. С конца 40-х и особенно с середины 50-х разворачивается массовое жилое строительство в новых районах, куда все энергичнее стало перемещаться социально активное население. Не вернулись с фронта многие и многие из вчерашних школьников, вымерли старики, воплощавшие арбатские традиции. Несколько лет после войны быт на Арбате не налаживался. В нетопленые квартиры проникает липкая и жестокая стихия черного рынка. Школы разделились на женские и мужские. Квартиры эвакуированных оказались слишком заманчивы и слишком легко доступны; растаскивание старинной мебели, картин и книг оказалось слишком привлекательно для худших и отделило их от лучших, старавшихся жить по довоенным арбатским нормам, а это в свою очередь внесло в относительно имущественно однородную довоенную среду резкую материальную дифференциацию. Люди, учившиеся в эти годы в 70-й школе, до сих пор вспоминают девчонок, поглощавших булки с ветчиной на глазах голодных одноклассниц. Возникают ранние и случайные, скажем мягко, романы, какие-то странные полуподпольные злачные места, засасывавшие и зеленую школьную молодежь. Выражение "арбатские рыбки" памятно многим. Арбатская цивилизация кончилась. Но арбатскому мифу предстояла еще одна, другая жизнь.

Чтобы понять этот вторичный миф Арбата, миф мифа, который и образовал "арбатскую легенду" 1960–1980-х, породил арбатские песни Булата Окуджавы и обеспечил их ошеломительный успех, стал притчей во языцех в пору реконструкции улицы в середине 1980-х, вызвал тот поток докладов, конференций, статей и книг, посвященных Арбату, с напоминания о котором мы начали настоящие заметки, надо обратить внимание на те лейтмотивы, вокруг которых оказались организованы, с одной стороны, образ Арбата 30-х, а с другой – реальность того же Арбата, характерная для послевоенных лет, обратить внимание на главную линию противостояния.

В довоенном Арбате запоминалась чаще всего ценность человеческого если не единения, то возможности взаимного понимания, интеллигентская способность видеть в другом такого же человека, как ты сам, и потому жить в некотором регистре, не исчерпывающемся конфликтами окружающей реальности. Вряд ли есть необходимость напоминать ни что то был миф, ни что этот миф был частью действительности. Выше мы кратко напоминали о том, как много было в жизни арбатских дворов грязного, неаппетитного, а временами (хотя и нечасто) уголовного. Но в арбатском мифе отложилось нечто совсем иное: «Для меня "арбатство" – тот воздух, который был символом, простите, родины; это двор с ясными законами чести, рыцарства, приязни, сочувствия и сопереживания»[68]. Чтобы не прерывать изложение, отнесем в примечания пассаж из воспоминаний писателя Ю. Нагибина (тем более что они относятся не к Арбату как таковому, а ко "второму Арбату" – к Чистым Прудам), где говорится о "добрых товарищеских драках"[69]. Понять противоестественное сочетание "доброты" и "драк" все же можно. В памяти автора реальность оказалась перекрыта ощущением как бы их случайности – ощущением, связанным с тем, что в них действительно не чувствовалось социальной заданности, непреложности антагонизма, не чувствовалось, да, наверное, и не было: сегодня подрались, завтра помирились. Образ и миф опираются на реальность. "Жажда тождества" существовала потому, что в какой-то мере находила удовлетворение. Парадокс 30-х годов состоял, в частности, в том, что инерция народной жизни, несмотря на озлобление, которое воспитывал военный коммунизм, несмотря на все ужасы коллекти-

визации и шигалевщины 37-го года, несла в себе и среди интеллигенции, и среди так называемых "простых людей" еще значительные запасы народной целостности; они продолжали сказываться в обществе вообще, в арбатских школах в особенности. Водораздел между предвоенным десятилетием и десятилетием послевоенным – от конца войны до хрущевской "оттепели" – как раз и проходил между обществом, хоть как-то, в какой-то мере сохранявшим ощущение целостности, и обществом, в котором общественные противоречия выявились со всей остротой и как бы брали реванш за предвоенное затишье. Ареной явились и школы, и в первую очередь коммунальные квартиры. Поредевшее арбатское население прежних лет теперь интенсивно росло за счет лимитной прописки навербованных рабочих, вчерашних военнослужащих, признанных достойными пополнить собой ряды московской милиции, и просто социальной пены, поднятой со дна трудностями и неурядицами военного быта. Новые люди во многих, очень многих случаях старались теперь не "притираться" к старым арбатцам, здесь сохранившимся, а их нарочито шокировать, подавить, "освободить жилплощадь". Своеобразной энциклопедией образовавшегося таким образом уклада жизни – типов людей, атмосферы и порядков, для него характерных, – является роман Б. Ямпольского "Московская улица" (часть первая называется "Арбат")[70]. Послевоенный быт арбатской "коммуналки" описан в нем в ретроспекции, из 1960-х, но описан с беспощадной точностью. Ошибки в реалиях и топографии Арбата ничему не мешают: перед нами точность не протокола, а точность художественного обобщения. Реальность описанного в романе подтверждается и документально – воспоминаниями Наталии Ильиной[71]. Вернувшись после войны из эмиграции на родину, она поселилась в особняке, некогда принадлежавшем известному историку профессору Герье на углу Гагаринского и Малого Власьевского переулков, и наблюдала там людей и отношения, с одной стороны полностью соответствовавшие изображенным у Ямпольского, с другой – делающие описание и стоявшую за ним реальность еще более впечатляющими, так как рядом с населением вполне "ямпольского" типа Ильина наблюдала и медленное угасание в этой атмосфере двух старых арбатских интеллигентов дореволюционного склада. Впрочем, литературными воспоминаниями дело не исчерпывается. Можно сослаться на рассказы людей, живших в эти годы на Арбате, 35, на Карманицком, 3, на Староконюшенном, 39 и во многих других домах.

В послевоенные годы Арбат как "духовная форма жизни", как выразился бы Томас Манн[72], как культурная реальность, система отношений, как тип человека – кончился. Кончился, но не только не исчез, а снова зажил еще более богатой, хотя и особой, как принято сейчас выражаться, "виртуальной" жизнью. Чтобы осмыслить ее, надо вернуться к понятию общественно-исторического мифа, проникнуть в его метафизику и диалектику.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ МИФ: ОБРАЗ АРБАТА В 1960–1980-е ГОДЫ

Отличительной чертой арбатской цивилизации было отсутствие самосознания – ощущения Арбата как некоторой духовной ценности, его исключительности. Давнее, еще задолго до революции написанное двустишие Эренбурга: "Как много нежного и милого / В словах Арбат и Доргомилово" – парадоксальным образом лишь подтверждает эту мысль: нужно быть совершенно посторонним "духу Арба-

та", чтобы поставить в один лирический ряд Арбат и во всем ему противоположное и его отрицающее Доргомилово[73]. Не опровергают высказанную нами мысль и слова Пастернака, написанные им в 1926 г.: "Недавно тут был вечер в пользу Волошина, без афиш, устроенный знакомыми для знакомых, миром Пречистенки и Арбата"[74]. Как показывает контекст, речь идет не об атмосфере или особой ценности района, а лишь о той концентрации в нем интеллигенции, связанной с "новым искусством", о которой мы говорили во втором прологе. Самосознание, переживание ценности, налет исключительности – все это вещи, плохо документируемые, живущие в душе больше, чем в письменных документах. Известный лингвист А.А. Реформатский, проведший полжизни в Дурновском переулке, записал в своих воспоминаниях: "Арбат, по которому я хожу всю жизнь"[75]. Автор настоящих заметок тоже "ходил по Арбату всю жизнь" – пока Арбат существовал – и может свидетельствовать, что лишь с конца 1960-х годов "мир Пречистенки и Арбата" связался с особым настроением культурно-исторического характера, объективировался и стал переживаться как исключительность и ценность, а слова "Я родился у Грауэрмана"[76] начали произноситься с такой интонацией, с какой в XVIII в., должно быть, произносили "Я из Оболенских" или "Мы, Голицыны".

Одним из немногих текстов, придающих сформулированному выше утверждению объективный – или, во всяком случае, интерсубъективный – характер, являются посмертно изданные автобиографические записи прекрасного писателя, очень ценимого в 60-е годы, – Юрия Казакова[77]. Автор родился на Арбате в доме № 30 (где помещался воспетый Булатом Окуджавой "Зоомагазин"), и прожил там до 1963 г., когда переехал в Бескудниково. В книгу включены отрывки из неоконченной повести "Две ночи", в двух из которых действие происходит на Арбате, по-видимому в родном доме автора. Никакого ощущения особости улицы или района здесь нет и в помине. В доме живут люди какие-то на редкость "всехние", социокультурно аморфные, без малейших признаков того, что позже было названо "арбатством". Публикации отрывков предпослан автобиографический материал, написанный в 1964 и 1965 гг., где об "арбатстве" также нет ни слова. Но вот завершается книга текстом интервью, которое автор дал "Вопросам литературы" в 1979 г., и здесь, казалось бы совершенно неожиданно, арбатская аура выступает во всей полноте. "Мы считали, что мы – лучшие ребята в мире! Родились не только в Москве, в столице нашей родины, но и в столице Москвы" – на Арбате. "Мы друг друга называли земляками"[78]. Это – чистая аберрация. Как показывают материалы той же книги, в пору жизни на Арбате ни сам Казаков, ни его приятели ничего подобного не "считали". Достаточно сказать, что автор познакомился с Булатом Окуджавой в 1959 г., когда были уже написаны и распевались всей литературно-молодежной Москвой многие песни арбатского цикла, но автору в ту пору запомнилась только вполне внеарбатская "Девочка плачет".

В этой ситуации нашли свое отражение главные черты арбатской темы, какой она стала в своей финальной и самой громкой стадии – в 1960–1980-е годы. Первая из этих черт – ретроспективное формирование прославленного образа Арбата. "Господи, как я люблю Арбат! Когда я из своей коммуналки переехал в Бескудниково, то понял, что Арбат – это как бы особый город, даже население иное"[79]. И почти буквально то же: "Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант, / В Безбожном переулке хиреет мой талант. / Кругом чужие лица, безвестные места. / Хоть сауна напротив, да фауна не та"[80]. Художник А. Суровцев, выросший на Староконюшенном и учившийся в 69-й школе на Плотниковом переулке, устроил выставку своих

работ "Мой Арбат"; едва ли не лучшая вещь там – портрет старой женщины, оглядывающей пейзаж одного из арбатских переулков; название картины – "Прощание". Первое из приведенных признаний относится к 1979 г., стихотворение – к 1982-му, картина А. Суровцева – к 1990-м.

Вторая черта арбатской темы 1960–1980-х годов состоит в том, что она воплощала не эмпирическую действительность арбатской жизни, а ее ретроспективный образ. То был образ post mortem, сложившийся после распада арбатской цивилизации и после описанных выше послевоенных лет, уничтоживших эту цивилизацию в ее материальной реальности. Такое положение явствует прежде всего из признаний старых арбатцев, когда речь заходит не об их элегических воспоминаниях, а об условиях существования. "На фоне непросохшего белья / Руины человечьего жилья..."[81]. На выставке того же А. Суровцева рядом с исполненным лирического чувства "Прощанием" расположен реальный к нему комментарий – картина "Из детства" (1978): тесная коммунальная кухня, полуразвалившаяся дореволюционного образца газовая плита, раковина с облезшей эмалью. В 1979 г. состоялась персональная выставка художника И. Макаревича, проведшего детство на Смоленской площади и находившегося под впечатлением арбатских переулков. Некоторая часть картин на выставке была посвящена воспоминаниям о здешней жизни. И опять то же – кухонный стол, заваленный посудой, сломанные стулья, узнаваемый дом (на углу Большого и Малого Левшинского), из каждого окна которого торчат малосимпатичные лица, довольно точно соответствующие натуре (а не образу). Наконец, стихи известного литературоведа А. Марченко, написанные в самый разгар арбатской эйфории: "Здесь ирисы по жатому стеклу, / Арбатская, профессорская скука. / В дверной меди, за вешалкой, в углу / и в коммунальной злости внука"[82].

В этих условиях арбатский миф вступает в новую фазу и обретает новый исторический смысл. В 30-е годы он реализовался в повседневной жизни, корректируя ее по высокой романтически-утопической и остаточно-интеллигентской норме. Теперь он был воссоздан как окутавшееся элегической дымкой воспоминание о давно изжитом состоянии. Однако если бы этим дело исчерпывалось, он не вышел бы за узкий круг престарелых арбатских старожилов и никогда не стал бы тем, чем он стал: "арбатским текстом" русской культуры, жившим на редкость интенсивно и ярко на протяжении 20–30 лет. Каким временем и почему оказался он востребован, этот мифологизированный образ Арбата 30-х годов, кто и как на это "востребование" откликнулся, чем завершилась его судьба?

Природа общественно-исторического мифа двойственна. С одной стороны, он выступает как сила, гармонизующая социокультурные противоречия в данное время и в данном социуме, воссоздающая, актуализующая норму солидарности его членов, напоминающую о примате общих интересов над эгоистическими и частными. Примеры, и общеисторические, и арбатские, были приведены выше. Но помимо этой синхронной роли есть у мифа и другая роль – диахронная. Он помогает времени и социуму как бы возвыситься над самими собой, над своими локальными повседневными целями и интересами, обнаруживая для себя в них и как бы через них цели более возвышенные и интересы более духовные. Санкцией и воплощением их возвышенности и их духовности выступает исторический прецедент, образ прошлого, созвучный интересам данного времени. В таком амальгамировании исторического эталона нет, разумеется, никакого лицемерия, никакой сознательной фальсификации: миф входит в культуру усваивающей эпохи, которая раскрывает в эпо-

хе усваиваемой некоторые близкие себе грани и радует людей оптимизированным образом самой себя. Столь же разумеется, что усвоение исторического образа происходит в ответ на запросы и интересы усваивающего времени, в силу чего сам исторический материал, откликаясь на эти запросы и интересы, перестраивается в соответствии с ними и живет именно как образ, а не как объективная реконструкция исторического прошлого. Образы антикизирующего барокко, в которые Петр облекал свои коронационные торжества, победные парады и новую столицу, или общеизвестный античный маскарад Французской революции дают об этой стороне общественно-исторического мифа достаточно ясное представление.

Арбатский миф 1960–1980-х представлял собой явление того же порядка. Хрущевская "оттепель" возродила упования на "социализм с человеческим лицом". Односторонний, мифологизированный, окутанный элегическими воспоминаниями об искренних комсомольских чувствах, о массовом стремлении на фронт на защиту Родины, а заодно об интеллигентной порядочности в семейных и личных отношениях, образ 30-х годов как нельзя более подходил на роль лирического комментария и исторической санкции происходившего. А арбатские тени и арбатские воспоминания, весь противоречивший этому образу опыт, пережитый за военные и послевоенные 15–20 лет, сообщали образу некоторую дополнительную условность, отступ, тональность скорее лирическую и художественную, нежели эмпирически достоверную. То был миф мифа, мифологизированный образ 30-х, востребованный мифом 60-х. Теперь человек с чистой совестью гуманиста и интеллигента мог повторить: "Я все равно умру на той, / На той далекой, на гражданской, / И комиссары в пыльных шлемах / Склонятся молча надо мной". "И нету, и нету погибших средь старых арбатских ребят / Лишь те, кому надо, уснули, а те, кому надо, не спят". Ключевое слово поэзии Булата Окуджавы – надежда.

Упоминание имени Булата Окуджавы здесь далеко не случайно. Именно творчество и творческая эволюция этого архитектора второго арбатского мифа содержат наиболее полный и ясный ответ на поставленные выше вопросы о смысле, который нес в себе миф мифа, и о том, чем, когда и почему завершилась его судьба.

Окуджава вернулся в Москву в конце 1950-х годов после почти 20-летнего отсутствия (фронт, учеба в Тбилиси, работа в школе в Калужской области) и в первые же годы, между 1956 и 1959-м, создал, по его словам, "такой вот цикл московских песен"[83]. Среди них сразу выделились песни, посвященные Арбату: "Ах, Арбат, мой Арбат...", "На арбатском дворе и веселье, и смех...", "Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю...", "И нету, и нету погибших средь старых арбатских ребят..." и др. Чтобы понять не только прямой смысл этих строк, но также значение и их самих, и арбатской темы для времени, для русской культуры и "арбатского текста" в ней, надо учитывать несколько обстоятельств.

Первое состоит в том, что "цикл московских песен" вместе с его арбатским ядром был порожден совершенно определенным временем, которое он нес в себе. Речь идет о 60-х годах в их первой, самой "розовой" фазе – от XX съезда до падения Хрущева, до первых политических процессов и начала войны во Вьетнаме, т.е. о годах 1956–1964-м. К этим годам относятся три первые книги стихов Окуджавы – "Лирика" (1956), "Острова" (1959), "Веселый барабанщик" (1964), где сосредоточено большинство "арбатских" песен. Связь их со своим временем, с его людьми и его атмосферой поэт сознавал отчетливо: "Эти люди как раз первыми восприняли мои песни, и они как раз первыми и разнесли. Но это был очень бурный процесс, очень быстро все это разносилось. Я не успевал что-нибудь спеть, как уже через два дня слы-

шал это в разных местах. Если бы я, допустим, сегодня начал бы сочинять те же песни, – они бы так не пошли. Это совпало с временем, с потребностью, с какой-то пустотой, – вот какая штука... В общем, это было очень интересное время"[84].

Второе обстоятельство: то, что было спето, воспринято, разнесено и совпало с временем, представляло собой сублимацию опыта, пережитого в 30-е годы, его очищение и светлый миф. Окуджава и его слушатели прекрасно понимали мифологическую природу создаваемого образа Арбата. Начать с того, что в свой двор поэт, "вернувшись в Москву, ни разу не заходил"[85]. Не заходил, другими словами, с 1940 г., так что двор, "где каждый вечер все играла радиола", где по весне "и веселье, и смех", двор, который поэт навсегда "уносит с собой", отодвинут почти на 20 лет в дымку детских воспоминаний, – ретроспективный образ, а не реальность[86]. В позднейшие годы последовал ряд выступлений в концертах и по телевидению, где поэт вносил весьма существенные коррективы в образ, им же созданный. Выяснилось, например, что прототип Леньки Королева был просто хулиган и мерзавец, что "на арбатском дворе" были не только "веселье и смех" и не только "играла радиола", но рядом с золотым – и куча подлого. При этом – классическая черта мифа, – осознаваясь как вымысел, тот же Арбат продолжал сохранять привлекательность, чем дальше уходил от реальности, тем упрямее окутывался в элегические тона. Признания указанного рода годами чередовались с прежними, элегически идеализированными, пока наконец в 1982 г. не возникло стихотворение "Все кончается неумолимо / Миг последний печален и прост...", где все акценты оказались расставлены и мифологическая природа образа Арбата раскрыта с почти научной точностью:

...лиловеет души отраженье –
этот оттиск ее беловой,
эти самые нежность и робость,
эти самые горечь и свет,
из которых мы вышли, возникли,
Сочинились...
И выхода нет.

Арбат раскрывается как отражение души, проекция ее содержания в историческую реальность и при этом не всего, что есть в душе, а лишь беловой, очищенный и обеленный ее "оттиск". "Оттиск" чего? Прежде всего собственных чувств, наших чувств, какими они были некогда, как сказано в другом стихотворении, "когда Арбат еще существовал": горечь и нежность, робость и свет. Из тех чувств и образов, которые мы в ту арбатскую эпоху несли в себе, которыми жили, – из них мы не только вышли, возникли, но и с о ч и н и л и с ь. Реальность видна здесь через воспоминания и чувства, которые ее отражают, но и сочиняют, и при этом "перебеляют". Они – часть меня, часть моей жизни и потому мне бесконечно дороги:

Как я буду без вас в этом мире,
протяженном на тысячи верст...

Но того мира больше нет. Нет его вовне: "Все кончается неумолимо. / Миг последний печален и прост". А потому нет оснований продолжать славить и его образ, с которым мы разлучены отныне и навечно, "и спасаться от вечной разлуки / унизительно мне и смешно". Написано стихотворение в 1982 г. в самый разгар арбатской эйфории, бесчисленных собраний и публикаций, бесчисленных оплакива-

ний "нашего Арбата", проклятий по адресу тех, кто его уничтожил, требований его сохранить и даже вернуть. Окуджава отдал им дань, но он не мог и не хотел "жить с головой, повернутой назад"[87]. Миф есть миф – пограничье реальности и надежды, образа внешнего и внутреннего. И выхода нет.

Третье обстоятельство. Содержанием мифа была особая жизненная установка, которой Булат Окуджава оставался верен всю жизнь и с исчерпанием которой он из жизни ушел. Сформулировать ее на языке анализа и академически однозначных определений затруднительно. В начале поэт обозначал ее словами: "Возьмемся за руки, друзья, / Чтоб не пропасть поодиночке", потом – "Надежды маленький оркестрик под управлением любви", в конце –

Они сидят в кружок, как пред огнем святым,
забытое людьми и богом племя,
каких-то тайных[88] дум их овевает дым,
и приговор нашептывает время.

У Окуджавы удивительно много местоимений множественного числа – "мы", "вы", в сущности он всю жизнь писал об одном – о "мы" и о "вы" как "мы", о тесном человеческом содружестве единомышленников и единочувствующих. В этом единении были сплетены разные нити: поначалу – верность социалистической утопии ("Сентиментальный марш", 1957) и стране, ее осуществлявшей подчас вопреки самой утопии ("Былое нельзя воротить...", 1964), потом, все чаще, – друзьям ("А мы швейцару..."), другая – хотя и все та же – нить: отрада солидарности с родным ночным городом и всеми, кто потерпел в нем "крушенье, крушенье" ("Полночный троллейбус", 1957), с традицией культуры и чести – в России ("Проводы юнкеров") и вместе с ней, вне ее – на Западе, в Европе ("Капли датского короля", 1964), но чем дальше, тем больше – с интеллигенцией ("По прихоти судьбы...", 1982), в конце – со всеми, кто живет теми же чувствами и способен их разделить ("У поэта соперника нету...").

...Итак, поначалу – верность социалистической утопии и стране, ее осуществлявшей подчас вопреки самой утопии; тесный круг друзей, связанных общими воспоминаниями, узнавших, "что к чему и что почем и очень точно", и тем не менее сохранивших чистоту помыслов; традиция культуры и чести – здесь и там; интеллигентность как основа содружества – все это и есть Арбат Окуджавы, Арбат в нераздельности вымысла, окрашенного реальностью, и реальности, окрашенной вымыслом. "Мы начали прогулку с арбатского двора, / к нему-то все, как видно, и вернется"[89], "Арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа..."[90].

Истребимо. Не вернулось и не вернется. Переживание времени и города, мира и истории на основе отрадного и, несмотря ни на что, не покидающего тебя чувства содружества. Способность видеть в другом такого же человека, как ты сам, и уважать его права, а на этой основе переживать и потенциальную солидарность с ним – выявленная и выраженная Окуджавой суть "арбатского текста" русской культуры, всей демократической русской интеллигенции. Но такого рода переживание предполагает, помимо лирического наполнения и мифологизации, определенный тип исторической реальности и общественных отношений. Уничтожаемые советским режимом, истончаясь и уходя из жизни, объективная возможность интеллигентского мировосприятия, его этика и его ценности продолжали в ней жить вплоть до середины 80-х годов, когда оказались полностью исчерпанными в реальности нового типа.

Обратим внимание на нечто самое простое и очевидное.

Интеллигенция, которую знали и к которой принадлежали доныне действующие поколения, отличалась определенными качествами, от сущности интеллигенции неотделимыми. Их было много, положительных и отрицательных, о некоторых мы пытались дать представление на предшествующих страницах, но было, во всяком случае, среди них одно, имеющее капитальную, принципиальную важность: материально-бытовая непритязательность, жизненная активность, измеряемая способностью обеспечить себе и семье достаточно средств для хотя бы минимального культурного досуга, но исключающая восприятие обогащения как цели и самодовлеющей ценности. При всех превратностях и поворотах судьбы, при всех ужасах, выпавших на русскую долю за последние сто лет, с 90-х годов прошлого века до 90-х годов нынешнего, возможность т а к существовать сохранялась. Она могла подрываться извне, в силу условий, но не обесценивалась как внутренняя норма интеллигентского бытия. Сейчас она ушла или уходит, в н у т р е н н е обесценивается. Чтобы функционировать в качестве интеллигента – держать руку на пульсе времени, следить за духовным развитием в стране и в мире, располагать необходимой для этого неимоверно разросшейся информацией и средствами для ее хранения, классификации и использования, – нужен не только высокий материальный уровень, заботы о котором всегда были интеллигентному человеку чужды, но нужна также в прошлом не менее ему чуждая (или, во всяком случае, бывшая для него не всегда обязательной) высокая степень практической активности, подвижности, вовлеченности в конкурентную эмпирию времени. Теперь это становится обязательным. Какое уж тут "не нас калач ржаной поманит", какой "неспешный пир души", какое "возьмемся за руки, друзья".

И только не надо никакого манихейства. Проклятия, которые так часто приходится слышать, по адресу злых сил и злых людей, уничтоживших "наш Арбат", помешавших "нашей интеллигенции" сохраниться такой, какой она была 100, 70, 30 лет тому назад, можно понять, но суть – самая суть – не в них. Арбатский человек Булат Шалвович Окуджава некогда написал строку: "Как вожделенно жаждет враг нарушить связь у нас в цепочке", но изменил ее, и на будущее, навсегда нам осталась другая редакция: "Как вожделенно жаждет *век* (курсив мой. – *Г.К.*) нарушить связь у нас в цепочке". История, заметил арбатский человек Александр Иванович Герцен, состоит из концов и начал[91].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Топонимия арбатского и примыкающих районов непоследовательна и неустойчива. На протяжении XIX в. выработалась система названий, в общем дожившая до революции. В 1921–1922 гг. особая комиссия Моссовета занялась переименованиями, как говорилось в постановлении о ее создании, "по археологическому принципу". Улицам и переулкам были возвращены названия по древним урочищам или владетельным фамилиям. Именно тогда Первый Ушаковский переулок, например, стал Коробейниковым, а Второй – Хилковым, Обухов переулок – Чистым, Георгиевский – Вспольным и т.д. Но одновременно началось и продолжалось почти до конца века новое переименование (нередко тех же улиц и переулков) по именам и событиям, признанным актуальными для советского режима. Так, Пречистенка стала улицей Кропоткина, Остоженка – Метростроевской, Большой Афанасьевский переулок – улицей Мясковского, Малая Никитская – улицей Качалова, а Поварская – улицей Воровского. При этом, однако, обе Молчановки остались Молчановками, Скатертный – Скатертным, Хлебный – Хлебным и т.д. Наконец, в последние годы, в эпоху перестройки и реформ, улицам и переулкам Арбата стали в массовом порядке возвращать старые названия, причем не всегда было понятно, что значило "старый". В этих условиях выдержать сколько-нибудь по-

следовательную и исторически однородную систему топонимов оказалось невозможным. В настоящей статье используются названия, которые были в ходу у коренных жителей района в те годы, которым статья прежде всего посвящена. Тогда почти никто не называл Борисоглебский переулок улицей Писемского и лишь немногие очень пожилые люди, слегка кокетничая своим консерватизмом, продолжали называть Плотников переулок Никольским. Система эта капризна, непоследовательна и в известной мере субъективна, но обеспечивает хоть какую-нибудь (в этих условиях, по-видимому, единственно возможную) историческую приуроченность изложения.

[2] Материалы некоторых таких собраний публиковались. См., в частности, журнал "Архитектура СССР" за июль–август 1986 г. и следующее примечание (3).

[3] Из опубликованных в указанном номере "Архитектуры СССР" выступлений на данном совещании С.С. Аверинцева, В.Л. Глазычева, Л.И. Невлера.

[4] Орган Главного управления внутренних дел Мосгорисполкома "На боевом посту" (1985. 26 окт. С. 4).

[5] Где жили Пушкины? // Веч. Москва. 1983.

[6] Цит. по: *Романюк С.* Улица Немировича-Данченко, 6 / Сер. "Биография московского дома". М., 1983. С. 24.

[7] *Волович Н.М.* Пушкинские места Москвы и Подмосковья. М., 1979. С. 222–230.

[8] Из письма известного гравера Иордана художнику А.А. Иванову. Цит. по: *Земенков Б.С.* Гоголь в Москве. М., 1954. С. 115.

[9] Из письма Е.М. Феоктистова И.С. Тургеневу от 25 февраля 1852 г. Цит. (без указания даты) там же.

[10] Зарегистрированные Б.С. Земенковым (см. прим. 8) 92 московских адреса, связанные с Гоголем, распределяются следующим образом: район Немецкой слободы и Басманных улиц – 4 (4%), окраины и пригородные имения – 13 (14%), район Арбата – 21 (23%), центр города – 54 (59%).

[11] Из архивных разысканий Т. Илясовой (опубликованы в краткой форме в журн.: Наука и жизнь. 1984. № 7. С. 122–127) видно не только тяготение Тютчева и лиц ему близких к району Малой Дмитровки и Страстной (Пушкинской) площади, но и значительная интенсивность культурной жизни в этих местах, ничего общего с Арбатом не имеющих. Родители Тютчева после 1843 г. жили на Садовой-Триумфальной в д. 25 (не сохранился); приезжая в Москву, Тютчев останавливался у Сушковых (Старопименовский, д. 11), летом 1863 г. с Денисьевой – в доме баронессы Корф (парадный фасад выходит на Тверской бульвар, вход – с Большого Гнездниковского переулка); родные Денисьевой жили неподалеку – на Малой Дмитровке в д. 3. У Сушкова на Старопименовском (в те годы – еще Пименовском) собиралась что называется "вся Москва". В разные годы здесь бывали Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, П.А. Вяземский, Д.В. Григорович, Н.Ф. Павлов. «Это был дом, – писала в своих известных воспоминаниях "Моя жизнь дома и в Ясной Поляне" Т.А. Кузьминская, – где можно было встретить людей, на которых зовут гостей: литераторов, дипломатов, приехавших из Петербурга, музыкальных знаменитостей». Загоскин в своих мемуарах употребил для обозначения этого круга – едва ли не первым – слово "интеллигенция".

[12] *Формозов А.А.* Историк Москвы И.Е. Забелин. М., 1984. С. 17–18.

[13] Публикация в газете: Досуг в Москве. 1985. 12 окт. С. 1.

[14] *Тучкова-Огарева Н.А.* Воспоминания. М., 1959. С. 39.

[15] *Домогацкий В.* Кладовка: Попытка консервации // Новый мир. 1992. № 3. С. 67.

[16] Воспоминания компаньонки Е.Р. Воронцовой-Дашковой Кэтрин Вильмот цитируются Герценом в статье "Старый мир и Россия" (*Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. 12. С. 418).

[17] *Герцен А.И.* Былое и думы // Собр. соч. М., 1956. Т. 9. С. 71.

[18] Там же.

[19] *Тургенев И.С.* Дым // Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1981. Т. 7. С. 279–280.

[20] Письмо Ю.П. Вревской. 10 (22) марта 1876 г. (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч.: В 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 1966. Т. 9. С. 230).

[21] *Писемский А.Ф.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1959. Т. 7. С. 13.

[22] Из рассказа "Страшная ночь" (1884). См.: *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч. М., 1975. Т. 3. С. 139.

[23] Слова эти являются комментарием к адресу писателя Пальмина, который Чехов сообщает Н.А. Лейкину (письмо от 24 или 25 сентября 1885 г. См.: *Чехов А.П.* Указ соч. Письма. М., 1974. Т. 1. С. 160). То, что речь здесь идет не о Доргомилове, Плющихе или других улицах, примыкающих к Смоленскому рынку, а именно о Староконюшенно-арбатских местах, явствует из письма Пальмина Чехову от 19 октября 1884 г.: "А я переехал на новую квартиру у Успенья-на-Могильцах" (*Чехов А.П.* Указ. соч. Т. 3. С. 568).

[24] Показателен отзыв человека, посетившего незадолго до первой мировой войны престарелую приятельницу и корреспондента Герцена М.К. Рейхель: "Первое, что поражает в ней, – это прекрасная мо-

сковская речь, речь Сивцева Вражка, Плющихи, глухих переулков Арбата или Поварской, где еще доживают дворянские гнезда, но не Таганки, не Ильинки, где московский говор окрасился типичной купеческой складкой" (цит. по: *Эйдельман Н.* Твой девятнадцатый век. М., 1960. С. 262).

[25] Ближайший друг, Огарев, приезжал с Арбата, но то была улица, которую он терпеть не мог (см. выше прим. 14) и с которой без конца отлучался, так как не ладил со своей первой женой, М.Л. Рославлевой: "...они уезжали из Москвы более для того, чтобы незаметно пожить врозь" (*Тучкова-Огарева Н.А.* Указ. соч. С. 39).

[26] *Герцен А.И.* Былое и думы. С. 156.

[27] *Герцен А.И.* Москва и Петербург // Собр. соч.: В 30 т. Т. 2. С. 33–42.

[28] *Кропоткин П.А.* Записки революционера. М.; Л., 1933. С. 8.

[29] Там же.

[30] Из стихотворения "Я знал тебя, Москва, еще невзрачно скромной..." (1909).

[31] Сведения о врачах на Арбате основаны на очерке Л. Колодного "Арбатская лечебница" (Моск. правда. 1983. 9 мая).

[32] Распространенный взгляд, подкрепленный авторитетом Н.А. Бердяева и Г.П. Федотова, согласно которому интеллигенция возникла при Петре, непоследователен. Если имеется в виду слой общества, порожденный специфическими социально-экономическими условиями, в результате которых он осознал себя интеллигенцией, то это вполне очевидно произошло тогда, когда появилось само название, т.е. во время реформ 1860-х годов и после них. Если же речь идет о типе человека и положении его среди общественных сил, то многие черты "интеллигента" явственно обнаруживаются в кругу Максима Грека, Вассиана Патрикеева, новгородских "жидовствующих", т.е. в начале XVI столетия, в правление Ивана III.

[33] В нижеследующем в тексте абзаце суммированы (отчасти в цитатах, отчасти в изложении) отзывы об интеллигенции, принадлежащие видным деятелям русской культуры и приведенные в книге: *Каган М.С.* Град Петров в истории русской культуры. СПб., 1996. С. 295 и след.

[34] *Бунин И.А.* Окаянные дни // Собр. соч. Берлин, 1935. Т. 10. С. 3, 8, 15, 20, 25. (Репринт: М., 1990.)

[35] Там же. С. 6, 9, 11, 42, 127.

[36] *Зайцев Б.* Улица Святого Николая: Рассказы 1918–1921 годов. Берлин, 1923. Книга состоит из пяти рассказов. Действие первых трех ("Улица Святого Николая", "Уединение", "Белый свет") происходит на Арбате, а двух последних ("Душа" и "Новый день") – в деревне. Для настроения автора в эти годы особенно примечателен последний рассказ. Молодая женщина, уже включившаяся в новую, послереволюционную жизнь, готовящаяся (после, по-видимому, гибели мужа) выйти замуж второй раз – за сотрудника того же госучреждения, где она работает секретаршей, приезжает в деревню проведать свою восьмилетнюю дочь Олю. Оля живет здесь с вдовой деверя героини, рядом с нищей помещицей, бывшей графиней, все еще собирающей у себя на чай местную интеллигенцию. Их окружают люди, доживающие и дострадывающие, втоптанные и раздавленные, погруженные в безрадостную борьбу за существование. Выдержав не больше двух-трех дней, героиня уезжает обратно в Москву, где ждут ее новые дни. Сюжет этот стал расхожим в последующей советской литературе. Здесь он звучит еще на редкость свежо и убедительно, рассказан с редким и очевидным талантом.

[37] Там же. С. 30–32.

[38] *Чичерин А.В.* Сила поэтического слова. М., 1985. С. 231–232, 244–245, 247, 254; ср. с. 250–253.

[39] *Герцык Е.* Воспоминания. Париж, 1973.

[40] Там же. С. 159.

[41] Там же. С. 100.

[42] Там же. С. 38.

[43] Приведенные цитаты заимствованы соответственно из писем: Евгении Герцык Льву Шестову 30 апреля 1925 г.; Аделаиды Герцык (по мужу Жуковской), сестры мемуаристки, Льву Шестову 27 августа 1824 г.; Д. Жуковского, мужа Аделаиды Герцык, Льву Шестову. Осень 1925 г. См.: *Герцык Е.* Указ. соч. С. 172, 184, 190.

[44] "На рубеже двух столетий", "Начало века", "Между двух революций". Об Арбате больше всего – в первой из этих книг. См., в частности, на с. 68 (по изд.: М., 1989. Серия литературных мемуаров): «И думал я, что склероз, поражавший всех нас так ужасно, имел объяснение в том ложном мненье, что "мы" – соль земли».

[45] Далее цит. по: *Осоргин М.* Сивцев Вражек: Роман. Повести. Рассказы. М., 1990.

[46] *Осоргин М.А.* Указ. соч. С. 165.

[47] "Беззаботная легкомысленность приветливой улыбки ушла из мира. То ли осатаневший от злобы мир не допускал приветливости, то ли недоверчивая подозрительность низов, с зоологической непреклонностью верящих, что человек человеку волк, родила злобу и страх" (*Домогацкий В.* Указ. соч. Прим. 15).

[48] *Осоргин М.А.* Указ. соч. С. 163–164.

[49] Там же. С. 185.

[50] Острое ощущение границ Арбата, жившее в сознании поколения, передано в автобиографическом романе Андрея Белого "Котик Летаев" (Пб., 1922. С. 101, 201). Особенно четко противопоставлялись в нем интеллигентски-профессорский Арбат и пролетарское Доргомилово: пришла весна "и закричало на нас: Доргомилово – грохотом; и стало выбрасывать на Арбат: ломовых, фабричных и конки" (с. 281).

[51] Кажется, единственный дом на Сивцевом Вражке из существовавших в ту пору, который подходит к данному описанию – двухэтажный угловой профессорский особняк, – это дом на углу Плотникова переулка. Если такая догадка правильна, то Осоргин точно выбрал место для демонстрации своей идеи: в этом доме в советские годы жили, в частности, профессор консерватории, знаменитый в те годы пианист Н.К. Игумнов и автор нормативного словаря русского языка профессор ИФЛИ Д.Н. Ушаков. Оба были интеллигентами дореволюционной формации, оба бесконечно преданы своему делу и через него вошли в жизнь послеоктябрьского общества.

[52] Ср. тип и судьбу проживавшего на Арбате, "в Спасо-Щегловском переулке восемь", заглавного героя романа С.С. Заяицкого "Жизнеописание Степана Александровича Лососинова" (М.; Л., 1928), и в частности его заключающую роман речь, произнесенную на педагогическом совете в школе и утверждавшую необходимость "честно относиться к своему делу", а значит – содействовать духовному росту, воспитанию и образованию детей (с. 177–178).

[53] Таблица составлена по памяти. Она суммарно точна, но на точность по каждой позиции не претендует.

[54] Вот, например, как был населен ставший "коммуналкой" особняк по Гагаринскому переулку, № 15: "...В начале 30-х годов в жарко натопленной кухне особняка собирались самые разные люди. Грелись дворник и водовоз, какие-то верткие старушки разогревали похлебку из картофельной шелухи. Сюда приходили студенты – перетащить тяжелую мебель, наколоть дров, наносить воды. В кухне собиралась самая пестрая в социальном отношении публика, но у плиты классовая рознь исчезала, всем было одинаково тепло, все что-то жевали...

Наша жизнь в особняке как-то очень подходила к историческому моменту. Владелец особняка профессор Лопатин (философ, сын Н.М. Лопатина), известный тем, что с ним когда-то спорил Ленин, уже умер. Занимал он большие и низкие антресоли. Там все еще продолжал жить его лакей Сергей со своим сыном студентом Колей. Кроме них в мансарде жили кухарка и генеральша Прокопе, бывшая знатная дама, судя по фотографии молодой красавицы в кружевах и бриллиантах" (*Егорьева Е.* Особняк на Гагаринском // Декоративное искусство СССР. 1987. № 7. С. 37).

[55] Выражение Б.Л. Пастернака из письма к И.А. Груздеву от 9 марта 1926 г. Публикация Е.Б. и Е.В. Пастернак в кн.: Литературное наследство. М., 1934. Т. 93: Из истории советской литературы 1920–1930-х годов: Новые материалы и исследования. С. 652.

[56] *Зарудин Н.* Старина Арбат // Наши достижения. 1934. № 11. С. 90.

[57] Русские, украинцы, венгр, евреи, немец; должно быть, представлены и другие национальности – по форме фамилии их не всегда удается отождествить.

[58] Так, в "Правде" за 10 апреля 1987 г. были напечатаны воспоминания матроса теплохода "Комсомолец", потопленного в 1937 г. у берегов Испании франкистами. В статье названы капитан судна Мезенцев, т.е. русский, комиссар Август Кульберг, т.е. латыш, старший механик Дрен (немец?). Фамилия автора воспоминаний – Иван Гайдаенко.

[59] Отличие в этом смысле 1935–1940 гг., т.е. эпохи школ-десятилеток, от предыдущих хорошо видно, например, из начальных эпизодов романа А. Рыбакова "Дети Арбата". Описанная здесь любовная история характерна для рубежа 20-х и 30-х годов. В школах-десятилетках мне, по крайней мере в семьях того облика, что описан в романе, ничего подобного видеть не приходилось.

[60] Д. Самойлов. Из стихотворения "Слава Богу! слава Богу..." (*Самойлов Д.* Второй перевал: Стихи. М., 1963. С. 7).

[61] *Оттен Н.* Дань: Невымышленная повесть. М., 1980. С. 95.

[62] Начальные строки стихотворения "Я льнул когда-то к беднякам..." Б.Л. Пастернака.

[63] Первое исключение, которое автору настоящих заметок пришлось пережить, было исключение из пионеров; причина состояла в том, что в разговоре с таким же десятилетним мальчиком, как я сам, я назвал Суворова великим полководцем. Разговор, происходивший с глазу на глаз, тут же стал известен старшей вожатой – восхваление царских генералов требовало "оргвыводов".

[64] Из статьи Б. Парамонова, вводной к публикации работы К.-Г. Юнга "Настоящее и будущее" // Октябрь. 1993. № 5. С. 163.

[65] См.: *Юнг К.-Г.* Об архетипах коллективного бессознательного // Юнг К.-Г. Архетип и символ. М., 1991. С. 95–128. Приводимые ниже цитаты – из этой работы.

[66] Особенно ясно – в проходившем в московском прокате и на телевидении фильме Ивана Дыховичного "Прорва", да и во многих других произведениях киноискусства, где речь идет о тех же годах (например, в фильме "Мой друг Иван Лапшин" А. Германа).

[67] *Гинзбург Л.* В поисках тождества // Сов. культура. 1988. 12 нояб.

[68] *Никитина Т.* Арбата старого больше нет // Л.Г. Досье. 1993. № 6: "Куда ведет Арбат". С. 9.

[69] «Сейчас дворы исчезают, какие могут быть дворы при домах-башнях, а с ними уходит многое важное в детской жизни: дворовая дружба-вражда, сложные иерархические отношения дворовой вольницы, особый кодекс чести, необходимое на заре туманной юности молодечество, добрые товарищеские драки, дворовый бескорыстный спорт и дворовые танцы. "Во дворе, где каждый вечер все играла радиола", помните? Исчезнут дворы, и навсегда не станет Леньки Королева, а без него плохо» (*Нагибин Ю.* // Сов. культура. 1986. 22 мар.)

[70] Первая публикация: Знамя. 1988. Апрель. С. 46–174.

[71] *Ильина Н.* Дороги // Октябрь. 1982. № 4.

[72] Имеется в виду название автобиографического очерка Томаса Манна "Любек как духовная форма жизни".

[73] См.: *Андрей Белый.* Котик Летаев. Пб., 1922. С. 281.

[74] См. прим. 55.

[75] *Ильина Н.* Дороги. Судьбы. М., 1988. С. 522.

[76] Имеется в виду излюбленный арбатскими жителями в 1930–1950-е годы родильный дом имени Грауэрмана в самом начале Большой Молчановки, возле бокового фасада ресторана "Прага".

[77] *Казаков Ю.* Две ночи: Проза. Заметки. Наброски. М., 1986.

[78] Там же. С. 320.

[79] Там же. С. 321.

[80] *Б. Окуджава.* "Я выселен с Арбата...". Из цикла "Арбатские напевы" (1982) (*Окуджава Б.* Стихотворения. М., 1984. С. 258).

[81] *Окуджава Б.* Арбатское вдохновение, или воспоминания о детстве (1980) / Окуджава Б. Посвящается вам. Стихи. М., 1988. С. 3.

[82] Цит. по авторизованной рукописи.

[83] Стенгазета Клуба самодеятельной песни, посвященная 60-летию Б. Окуджавы. Май–июнь 1984. С. 6.

[84] Там же. С. 7.

[85] Это признание Б. Окуджавы содержится в его посмертно опубликованном интервью (Общая газета. 1997. Июль, № 28. Публикация М. Поздняева). Оно ставит под сомнение атрибуцию известной фотографии (поэт сидит на "лавочке", в шапке-ушанке, кругом заснеженный городской тесный пейзаж) как снятой "во дворе родного дома" (Булат Окуджава. Спец. выпуск "Лит. газеты" б.г. [21 июля 1997]

[86] Ср. в стихотворении 1982 г. "Я выселен с Арбата...": "...И в эти, мной *когда-то* (курсив мой. – *Г.К.*) обжитые края / Все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я".

[87] Название статьи Г.А. Белой в посвященном памяти Булата Окуджавы "Специальном выпуске" (см. прим. 85).

[88] Магнитофонный вариант. В опубликованном тексте: "горьких".

[89] Из стихотворения Б. Окуджавы "Романс" ("Арбатского романса знакомое шитье...") (*Окуджава Б.* Стихотворения. М., 1984. С. 191).

[90] Из стихотворения Б. Окуджавы "Пускай моя любовь, как мир, стара..." (Песни Булата Окуджавы. М., 1989. С. 187).

[91] *Герцен А.И.* Концы и начала: Цикл статей из "Колокола" 1862–1863 гг. // Собр. соч.: В 30 т. М., 1959. Т. 16.

IV

В.К. Кантор

ПРОБЛЕМА ИСКУШЕНИЯ: ДОСТОЕВСКИЙ И "РУССКИЙ ПУТЬ"*

РОМАН ИСКУШЕНИЙ

Из всех романов Достоевского "Братья Карамазовы" вызвали наибольший общественный резонанс. Среди прочего объяснялось это тем, что за два года до публикации романа писатель обращался к читающей публике с прямым публицистическим словом. Как вспоминал типографский наборщик М.А. Александров, «контингент читателей "Дневника писателя" составлялся главным образом из интеллигентной части общества. ⟨...⟩ Некоторые говорили Федору Михайловичу, что они читают его "Дневник" с благоговением, как Священное писание; на него смотрели одни как на духовного наставника, другие как на оракула и просили его разрешать их сомнения насчет некоторых жгучих вопросов времени»[1]. Рефреном шла в публицистике писателя мысль об особом – русском – пути, который приведет к сглаживанию всех мировых – и европейских в особенности – катаклизмов, установит на земле истинно христианское жизнеустройство, которое он раньше Шпенглера с его "немецким социализмом" назвал "русским социализмом". Мысль эта не покидала его, о чем можно судить по последнему выпуску "Дневника" (1881), уже после выхода "Братьев Карамазовых". "Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов *всесветным единением во имя Христово*. Вот наш русский социализм!" – писал он там[2].

Именно как объяснение "народной правды" и "русского пути", а также как осуждение русской интеллигенции был прочитан его последний роман. Основания для такого взгляда безусловно имелись. В последней книге романа прокурор, как бы подытоживая развернувшуюся на глазах читателя трагедию, резюмирует: "Что такое это семейство Карамазовых, заслужившее вдруг такую печальную известность по всей даже России? ⟨...⟩ Мне кажется, что *в картине этой семейки как бы мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общества*" (15, 125). И было понято так, что народ – страдалец (вспомним, как Мите голодное крестьянское "дитё" видится), что народ с Христом, он свят, а идеи

* Работа выполнена при финансовой поддержке Института "Открытое Общество". Фонд Содействия (МСС 836).

© В.К. Кантор, 2000

интеллигенции, к несчастью, несмотря на все ее благородство, полны дьявольских искусительных провокаций, приводящих к преступлению. Не забудем, что по психической и умственной возбужденности того времени слово великого писателя казалось Словом пророка.

Впрочем, исторический комизм восприятия романа заключался в том, что не раз провозглашенная Достоевским вера в русский народ совпадала с народолюбием всей русской интеллигенции, испытывавшей глубокий стыд за свои мнимые преимущества перед народом (скажем, образование, которое вовсе не было ценностью для крестьянства). Забывалось, однако, что пророк – посланец Божий, обличающий грехи нации, бичующий ее пороки, но отнюдь не сулящий своему народу благоденствие. Желая благословить, он часто проклинает. Не случайно после кровавой революции стали искать в творчестве Достоевского указание на возможность наступившей катастрофы и бранить его за те иллюзии, которыми он напитал сознание образованного общества. В статье "Духи русской революции", опубликованной в знаменитом сборнике "Из глубины", рефлектируя по поводу слома российской судьбы, Бердяев резюмировал новое отношение к творчеству Достоевского: "Народопоклонство Достоевского потерпело крах в русской революции. Его положительные пророчества не сбылись. Но торжествуют его пророческие прозрения русских соблазнов"[3].

Итак, "русские соблазны", искушения, пережитые Россией... Что это значит? Как сказано в словаре у Владимира Даля: "**Искушать** ⟨...⟩ стараться совратить кого с пути блага и истины"[4]. Нации, как и отдельные люди, поддаются на искушения – тому пример и судьба России, и судьба Германии, соблазненных дьяволом на адский путь, ведущий к бесконечной череде преступлений. Причем смысл этого соблазна в том, что нация (или человек) отождествляет себя с дьяволом, а свой путь – с дьявольским путем, который считает отныне единственно возможным, пусть не благим, но неизбежным.

И если внимательно вчитаться в роман, то мы без труда поймем, что основной его нерв, основная двигающая действие сила – это бесконечные искушения, которые переживают все герои романа. Разумеется, каждый на своем уровне. Искушаемы Грушенькой – "искусительницей" и "инфернальницей", как ее называют в романе, – и старик Карамазов, и Митя, и даже Алеша, которому она на колени садится (сцена после смерти старца). Искушаем таинственный посетитель старца Зосимы и сам Зосима (дуэлью). Искушаем Митя Смердяковым и Федором Павловичем, провоцирующими его на убийство (Смердяков – сообщением о приходе Грушеньки к старику отцу, отец – оскорблением в адрес матери и задержкой наследства). Иван искушает Алешу рассказами о страданиях детей, вызывая у послушника "радикальное восклицание": "Расстрелять!" Смердяков искушает мальчика Илюшу, уговорив его убить собаку Жучку. Грушеньку искушает ее любовь к "прежнему". Катерина Ивановна испытала дьяволово искушение, когда, думая спасти Ивана, погубила Митю. Испытывает искушение на награбленные деньги открыть в Петербурге лавочку Смердяков. Наконец, главный искушаемый – это Иван Карамазов, который прежде всего искушаем неустройством мира (полагая при этом "мир сей" Божьим, а не дьяволовым), его напрямую искушает Смердяков (выпрашивая позволение на убийство отца), к нему является собственной персоной черт. Тот самый, который, как он признается, искусил верующих запахом тления, исходящим от мертвого тела старца Зосимы. И

именно в поэме Ивана Карамазова великий инквизитор вспоминает, как "могучий и умный дух в пустыне" (14, 230) трижды искушал Иисуса Христа. Эти искушения Христа создают как бы грундфон философской проблематики романа.

Но, быть может, основное искушение для всех персонажей романа, участвующих в его детективной фабуле, как, впрочем, и для всех читателей, – это поиск убийцы старика Карамазова... Кого обвинить в убийстве? Кто виноват? Повторяю: винят обыкновенно русскую интеллигенцию – таков прямой публицистический вывод из детективной фабулы романа, не учитывающий сложнейшей системы художественно-философских сцеплений и отзеркаливаний образов, рожденных "жестоким талантом" Достоевского.

Прислушаемся к мнению замечательного российского мыслителя Я.Э. Голосовкера, попытавшегося прочесть роман не социально-исторически, а как некую философскую теорему, отбрасывая даже религиозно-нравственные оценки персонажей, привычные для русской неорелигиозной философии и ее эпигонов. Вот что он фиксирует: «Смердяков и черт, по замыслу автора, двое подлинных убийц Федора Павловича ⟨...⟩ Смердяков – фактический, так сказать "материальный", убийца Федора Павловича, – дублирует черта, его символического убийцу, а черт, в свою очередь, дублирует Смердякова, не признавшего себя единственным убийцей и вообще виновником убийства»[5]. Иными словами, по мысли Голосовкера, если без затей и непредвзято подойти к сюжету романа, то становится очевидным, что "единственным виновником убийства Федора Павловича Карамазова является, по замыслу автора, не кто иной, как черт"[6]. А стало быть, именно черт искушает огромное число романных персонажей и читателей брать на себя функцию Божьего суда – указывать виновника и выносить приговор.

Мы видим, что весь огромный роман строится как система соподчиненных искушений, переживаемых в разной степени разными героями. Почему же столь важна оказалась для Достоевского эта тема – тема соблазна? Односложно ответить на этот вопрос вряд ли удастся. Попробуем порассуждать.

КОГО ОБЫЧНО ИСКУШАЕТ ДЬЯВОЛ?

Какой смысл искушать закоренелых или тем более прирожденных преступников? По замечательному соображению Сведенборга, злодеи, низвергнутые в царство тьмы и "скрежета зубовного", т.е. жители адских глубин, наслаждаются своим пребыванием в аду и вовсе не хотят спасения. Мучения испытывают только согрешившие праведники. Значит, искушать возможно лишь их, людей, взыскующих высшей, духовной и нравственной жизни. Об этом и черт рассуждает. Иван обращается к своему ночному незваному гостю:

"– Шут! А искушал ты когда-нибудь вот этаких-то, вот что акриды-то едят, да по семнадцати лет в голой пустыни молятся, мохом обросли?" (15, 80).

И получает в ответ:

«– Голубчик мой, только это и делал. Весь мир и миры забудешь, а к одному этакому прилепишься, потому что бриллиант-то уж очень драгоценен; одна ведь такая душа стоит иной раз целого созвездия – у нас ведь своя арифметика. Победато драгоценна! А ведь иные из них, ей-Богу, не ниже тебя по развитию, хоть ты этому и не поверишь: такие бездны веры и неверия могут созерцать в один и тот же момент, что, право, иной раз кажется, только бы еще один волосок – и полетит человек "вверх тормашки", как говорит актер Горбунов» (15, 80).

Не буду подробно описывать искушения святых, церковных подвижников и религиозных реформаторов – от св. Антония до Мартина Лютера, которым являлась беспрестанно нечистая сила, в том числе и черт. Самому Христу в пустыне являлся Сатана. А если в романе искушаемы все, т.е. взятая в сути своей вся Россия, то вряд ли мы можем даже вообразить, что Достоевский мог посчитать свою обожаемую страну дьявольским отродьем. Россия искушаема потому, что в сути своей она хранит ядро святости, – вот позиция, не раз декларировавшаяся великим русским писателем. А ведь есть и были читатели, которые после чтения романов Достоевского называли Россию страной, на которой лежит печать проклятия. Вглядимся в наиболее проблемного героя романа.

Рассуждая о творчестве Достоевского, как заметил еще в начале прошлого века русский философ С.Н. Булгаков, «всего естественнее остановиться на том произведении, которое и в философском, и в художественном отношении является наиболее гениальным у Достоевского, на "Братьях Карамазовых", а в этом романе выбрать самую яркую в философском отношении точку – образ Ивана Карамазова. Из всей галереи типов этого романа этот образ нам, русской интеллигенции, самый близкий, самый родной; мы сами болеем его страданиями, нам понятны его запросы. Вместе с тем образ этот возносит нас на такую головокружительную высоту, на которую философская мысль поднималась в лице только самых отважных своих служителей»[7].

А кто в романе главный подозреваемый в убийстве, главный обвиняемый и одновременно главный искушаемый? Разумеется, Иван Карамазов. Ведь именно к нему единственному является черт. Если не принять нашего рассуждения о том, что лишь праведники искушаемы, то получится, как и получалось до сих пор, что Иван – очевидный и единственный носитель зла. Так черт его перед публикой и (добавим, забегая вперед) перед ним самим выставил. А уж критика тем охотнее подхватила инвективы черта, что и сам черт числит себя по критической части («без отрицания-де не будет критики, а какой же журнал, если нет "отделения критики"», – иронизирует черт, 15, 77), значит, некоторым образом коллега. Даже Василий Розанов, считавший себя и духовно, и телесно близким Достоевскому, подпал под влияние дьявольской провокации, заявив: "В Иване в очищенном же виде сосредоточилась мощь отрицания и смерти, мощь зла. Смердяков есть только шелуха его, гниющий отбросок"[8].

Но это явная ложь, ибо именно черт чувствует в Иване другую природу: "Тебе оченно, оченно того втайне хочется, акриды кушать будешь, спасаться в пустыню потащишься!" (15, 80).

И все же современная исследовательница тоже практически отождествляет Ивана с чертом, видя в нем одного из представителей бесовского мира, который так ярко умел изображать Достоевский (роман "Бесы"): "Смех Ивана безусловно дьявольской природы..."; "Искушая брата своего, Иван выполняет дьявольскую миссию. Он лишний раз подтверждает этим свою близость с чертом"; «"Неистовый вопль", которым "вопит" Иван, это вопль бесноватого человека, в которого, по старым верованиям, вселился бес»; "Итак, Алеша (и читатель), слушая Ивана, слушают самого дьявола"; «Дьявольская враждебная людям и жизни ложь стоит за кощунственными "шутками" Ивана»[9].

Остается в таком случае все тот же вопрос: а какой смысл дьяволу искушать дьявола?

КТО ЖЕ ТАКОВ ИВАН?..

Если же Иван не дьявол, то кто он?

Об этом сказал С.Н. Булгаков довольно отчетливо – р у с с к и й и н т е л л и г е н т. Впрочем, это же говорил и сам писатель, и все последующие критики, писавшие о романе. Но, помня постоянные публицистические инвективы Достоевского в адрес интеллигенции, и в образе Ивана естественно искали только отрицательные черты. Радикалы восприняли роман как клевету на русскую интеллигенцию, а после первой и второй русской революции российские неорелигиозные мыслители – к а к п р е д у п р е ж д е н и е о негативной роли интеллигенции. Нечто похожее высказал Бердяев, как-то заметивший, что в отношениях Ивана и Смердякова выразились отношения интеллигенции и народа в революции, когда интеллигенция совратила народ. «Достоевский предвидел, что Смердяков возненавидит Ивана, *обучившего его атеизму и нигилизму* (курсив мой. – *В.К.*). И это разыгрывается в наши дни между "народом" и "интеллигенцией". Вся трагедия между Иваном и Смердяковым была своеобразным символом раскрывающейся трагедии русской революции»[10].

Между тем даже и в своей публицистике Достоевский отнюдь не однозначен.

Вот что писал он в "Дневнике писателя" за 1876 г.: "Мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли и образа; преклониться перед правдой народной. ⟨...⟩ Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием, и это sine qua non: чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой. Не можем же мы совсем перед ним уничтожиться, и даже перед какой бы то ни было его правдой; наше пусть остается при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже, в крайнем случае, и за счастье соединения с народом. В противном случае пусть уж мы оба погибаем врозь" (22, 45). Это словечко "мы" очень характерно, оно говорит нам, что Достоевский в п о л н е о т о ж д е с т в л я е т с е б я с и н т е л л и г е н ц и е й.

Не случайно сам Достоевский в своих записных тетрадях чрезвычайно высоко оценил своего героя: "Ив⟨ан⟩ Ф⟨едорович⟩ глубок, это не современные атеисты, доказывающие в своем неверии лишь узость своего мировоззрения и тупость тупеньких своих способностей" (27, 48). Недаром, видимо, проницательный Степун самого Достоевского относил именно к интеллигенции: «Достоевский, так беспощадно описавший интеллигенцию в "Бесах", всё же интеллигент, а Толстой – нет. Причина в том, что в жизни и творчестве Достоевского чувствуется страстная заинтересованность в вопросах социальной жизни; не случайно же примкнул он в молодости к кружку Петрашевского и был приговорен к смертной казни»[11].

Стало быть, и к словам старца Зосимы, указавшего н а в ы с о к и й д у х Ивана Федоровича, необходимо отнестись с вниманием. Напомню этот разговор. Иван утверждает в беседе с Зосимой:

«– Нет добродетели, если нет бессмертия.

– Блаженны вы, коли так веруете, или уже очень несчастны!

– Почему несчастен? – улыбнулся Иван Федорович.

– Потому что, по всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и о церковном вопросе... ⟨...⟩ В вас этот вопрос не решен, и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения...

– А может ли быть он во мне решен? Решен в сторону положительную? – про-

должал странно спрашивать Иван Федорович, все с какою-то необъяснимою улыбкой смотря на старца.

– Если не может решиться в положительную, то никогда не решится и в отрицательную, сами знаете это свойство вашего сердца; и в этом вся мука его. Но *благодарите Творца, что дал вам сердце высшее*, способное такою мукой мучиться, "горняя мудрствовати и горних искати, наше бо жительство на небесах есть". Дай вам Бог, чтобы решение сердца вашего постигло вас еще на земле, *и да благословит Бог пути ваши*!» (14, 65–66).

Уж во всяком случае, его свидетельство не должно быть отвергнуто в пользу слов черта или Смердякова, уверявшего Ивана: "Умны вы очень-с. Деньги любите, это я знаю-с, почет тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего в покойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться – это пуще всего-с. ⟨...⟩ Вы как Федор Павлович, наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с" (15, 68).

Кому же верить – старцу Зосиме или Смердякову?

Вопрос не такой уж нелепый, как может показаться на первый взгляд. Внимательное чтение критических текстов о романе демонстрирует нам, что, как правило, принимаются и торжествуют мнения Смердякова.

Отвечая на этот вопрос, не забудем и того, что, по словам его дочери, Достоевский "изобразил себя в Иване Карамазове"[12]. Над этим наблюдением дочери писателя исследователи не раз иронизировали, но, мне кажется, к ее словам стоит прислушаться, учитывая общую интеллигентскую природу писателя и героя. Надо вспомнить то количество автобиографических черточек, которые сопровождают образ Ивана Карамазова. Скажем, то, что Смердяков отправляет Ивана в Чермашню – родовое поместье Достоевских. И то, что Иван Карамазов – единственный из героев романа – самобытный, со своими идеями, писатель и мыслитель. Он пишет статью о церкви и государстве, сочиняет поэму о великом инквизиторе, поэму "Геологический переворот", где сравнивает грядущий социальный переворот с геологическим. Впрочем, именно так понимал грядущую революцию Герцен – как геологический катаклизм[13]. Слова о едущем на казнь в разговоре с чертом ("Как тысяча вещей припоминаются иногда бессознательно, даже когда казнить везут"; 15, 79), а также в главе "Бунт" брошенное Иваном вроде бы мимоходом замечание ("Я знал одного разбойника в остроге"; 14, 217) говорят нам о событиях, которых не было в житейском прошлом героя, но были у писателя Достоевского. Это не просто вложение своего опыта в биографию героя (в биографии 23-летнего студента ни казни, ни каторги не было), это проговорка писателя, сообщающего нам, что устами Ивана он сам говорит. Тем внимательнее мы должны приглядеться к искушениям героя. Это искушения автора.

Но подобная мысль отвергается, как правило, с негодованием: ведь Достоевский – мыслитель с положительным идеалом, а Иван – отрицатель, колеблющийся и сомневающийся, мира Божьего не принимающий. Приведем, однако, свидетельство самого писателя в связи с реакцией публики на его роман. В дневнике 1881 г. он писал: "Мерзавцы дразнили меня *необразованною* и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же, фанатик, я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием. **Да их глупой природе и не снилось такой силы**

отрицание, которое перешел я" (курсив Достоевского, полужирный мой. – *В.К.*) (27, 48).

Так что отрицание Бога и мира Божьего – это тоже опыт самого писателя.

Поэтому решение судьбы Ивана – это, по сути, решение судьбы Достоевского, совладал ли он с мучительнейшей проблемой движения России по праведному пути или нет. То есть в конечном счете от того, каким увидит и поймет себя Иван Карамазов, зависит судьба России, ибо образованные сословия в ней недаром возникли, "они всё же ведь интеллигенты, и последнее слово за ними" (27, 25).

ЧТО ТАКОЕ И КТО ТАКОВ ДВОЙНИК В РОМАНЕ "БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ"?

Иван всегда рассматривается в соотнесении с персонажем, именуемым, как правило, его "двойником". Я имею в виду Смердякова. Смердяков большинству критиков кажется своего рода прямым порождением Ивана, как бы материализующим его идеи, превращающим их в реальность. Скажем, один из первых аналитиков, осознавших сверхвременное значение романа, известный славянофил Орест Миллер, писал: "Несчастный Смердяков, слепо подчинившись идеалу Ивана, ⟨...⟩ совершил преступление"[14]. Эту идею повторяют русские философы и исследователи больше столетия. Примеры бесконечны. Однако весьма существенно, что на самом деле идея эта была подкинута вначале прокурору, потом романной публике, затем читателям и, наконец, философской критике самим Смердяковым: «Он с истерическими слезами рассказывал мне на предварительном следствии, как этот молодой Карамазов, Иван Федорович, ужаснул его своим духовным безудержем. "Все, дескать, по-ихнему, позволено, что ни есть в мире, и ничего впредь не должно быть запрещено, – вот они чему меня всё учили". Кажется, идиот на этом тезисе, *которому обучили его*, и сошел с ума окончательно» (15, 126–127).

Итак, получается, что Смердяков – слепое орудие Ивана, а потому и его двойник. Но такая трактовка двойничества, если вдуматься, в общем-то сомнительна. В традиции мировой литературы двойник – это тот персонаж, который, что называется, подставляет главного героя, паразитирует на его внешности, его благородстве, его происхождении и т.п. Короче, является явным антагонистом и врагом близкого автору героя, судьба которого составляет предмет забот того или иного произведения. Таким злодеем был у самого Достоевского в его "петербургской поэме" "Двойник" господин Голядкин-младший. Он оказался и находчивее, и решительнее, и изворотливее, и подлее Голядкина-старшего, которого он затирал, обходил на всех поворотах и довел наконец до сумасшествия, выкинув в дом умалишенных и заняв его место. Таков преступный и кровавый Викторин в "Элексирах дьявола" у Гофмана, едва не погубивший душу монаха Медардуса. Такова тень в пьесе Евгения Шварца "Тень".

Даже когда двойник оказывается вроде бы порождением сознания главного героя, как в романе Стивенсона "Странный случай с доктором Джекилем и мистером Хайдом", все равно он побеждает своего, так сказать, родителя, убивая его. Но никогда не подчиняется главному герою. Это закон, которому следует любой двойник.

Имеет смысл посмотреть в контексте этого рассуждения на Смердякова.

Кто же он таков? Прежде всего мы должны еще раз зафиксировать, что он из иного социального слоя, чем Иван. Более того, Смердяков – *человек из народа* (Бердяев тут прав), о чем говорит сама его фамилия. Случайных фамилий своим героям Достоевский не давал. Происходит она от слова *смерд*. По Далю, "**смерд** ⟨...⟩ человек из черни, подлый (родом), мужик, особый разряд или сословие рабов, холопов; *позже* крепостной. ⟨...⟩ *Смерда взгляд пуще брани.* ⟨...⟩ *Где смерд думал, тут Бог не был*"[15]. От пренебрежительного отношения высших классов к крестьянам, смердам, возник и глагол *смердеть*, т.е. пахнуть, как пахнут смерды. И это слово Достоевский использует в связи с преступлением Смердякова, т.е. с убийством Федора Павловича. Семинарист-карьерист Ракитин, беседуя с Алешей о реакции старца Зосимы на визит к нему семейства Карамазовых, как бы даже намекает на главного виновника: "Старик действительно прозорлив: уголовщину *пронюхал. Смердит* у вас" (14, 73).

Хотя, казалось бы, исходя из идеологии Достоевского, Смердяков должен быть сугубо положительный персонаж. Тем более что не только фамилией, но и прямым авторским рассуждением связывается Смердяков с классическим типом из русского народа: «У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием "Созерцатель": изображен лес зимой, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один-одинешенек, в глубочайшем уединении забредший мужичонко, стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то "созерцает". Если б его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас, точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы и очнулся, а спросили бы его, о чем он это стоял и думал, то наверно бы ничего не припомнил, но зато наверно бы затаил в себе то впечатление, под которым находился во время своего созерцания. Впечатления же эти ему дороги, и он наверно их копит, неприметно и даже не сознавая, – для чего и зачем, конечно, тоже не знает: может, вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то, и другое вместе. *Созерцателей в народе довольно.* Вот одним из таких созерцателей был наверно и Смердяков, и, наверно, тоже копил впечатления свои с жадностью, почти сам еще не зная зачем» (14, 116–117).

Однако Смердяков не раз декларирует свою ненависть к русскому народу, кичится своей мизерной образованностью ("Может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. ⟨...⟩ Наш подлец в своей нищете *смердит* и ничего в этом дурного не находит. Русский народ надо пороть-с"; 14, 204–205), говорит о желании свое дело завести ("Я при счастье могу в Москве кафе-ресторан открыть на Петровке; 14, 205), т.е. вроде бы выламывается из крестьянского состояния. Он – лакей, так его и Иван аттестует (по словам самого Смердякова): "А они про меня отнеслись, что я *вонючий лакей*" (14, 205). Именно этот социальный слой и называют обычно исследователи как силу, пугавшую Достоевского. Об этом в старой своей книге писал и автор этих строк[16]. Так ли это?

Не забудем того, что свое дело завести мечтал, в сущности, любой мужик, едва выбившийся из крепостного права и бесконечной барщины. Это был закономерный путь всего крестьянского сословия от рабского бесправия к экономической самодеятельности: кто уходил в извоз, кто в артель строителей, кто лавчонку открывал... Недаром Достоевский на уровне почти художественно-бессознательном

(а может, и сознательном!) сближает знаковые слова-символы своего романа: *Смердяков* говорит, что русский мужик *смердит*, сознавая при этом, что сам он – *вонючий* лакей. То есть *вонючий лакей* рассуждает презрительно о *смердящих смердах*, себя к таковым не относя. Ситуация отчасти комическая. Хотя смешного тут мало. Трагизм исторической ситуации заключался в том, что Смердяков не просто представитель народа, а наиболее продвинутой и все время увеличивающейся его части. Ему наплевать на высшую духовность (он отвергает, к примеру, Гоголя: "Про неправду все написано, – ухмыляясь, прошамкал Смердяков"; 14, 115), так же равнодушен он оказался и к "Всеобщей истории" Смарагдова. Ему нет дела до остального мира. Он целиком погружен в свои заботы: первый признак начальной образованности, лишенной широкого кругозора. Он, правда, благодаря своей небольшой образованности уже способен к с о з е р ц а н и ю. Но все это не обогащено никакой общей идеей. А потому эта склонность к созерцательности может, как замечает писатель, оказаться взрывчато-опасной ("село родное вдруг спалит").

С одной стороны, Достоевский боится: "Малообразованные, но уже успевшие окультуриться люди, окультуриться хотя бы только слабо и наружно, всего только в каких-нибудь привычках своих, в новых предрассудках, в новом костюме, – вот эти-то всегда и начинают именно с того, что презирают прежнюю среду свою, свой народ и даже веру его, иногда даже до ненависти" (22, 115). С другой стороны, видя идущий и неизбежный процесс внедрения в народ грамотности, он надеется: "В народе нашем вполне сохранилась та твердая сердцевина, которая спасет его от излишеств и уклонений нашей культуры и выдержит грядущее к народу образование, без ущерба лику и образу народа русского" (22, 119). И все это на протяжении одной подглавки из "Дневника писателя" за 1876 г. (апрель). Проверка этой возможности сохранения народной правды – в образе Смердякова.

Здесь необходимы некоторые историко-теоретические пояснения. Тот тип христианства, который сложился в России после превращения ее из страны городов (Новгородско-Киевская Русь) в страну крестьянскую, был своего рода рецепцией – со всеми вытекающими последствиями – городской религии, каковой и было пришедшее на Русь из Византии христианство, религия образованных, грамотных слоев древнего общества. Напомню, что поначалу и на Руси именно города, княжеские и торгово-посадские, были носителями новой веры в противовес языческому сельскому населению. Сошлюсь на фундаментальное исследование Макса Вебера: "Христианство было вначале учением странствующих ремесленников, *специфически городской религией по своему характеру* (курсив мой. – *В.К.*) и оставалось таковой во все времена своего внешнего и внутреннего расцвета – в античности, в средние века, в пуританизме"[17]. А потому столь сложно переживался именно в религиозно-метафизическом плане выход крестьянства из состояния патриархального невежества и приобщения к началам городского образования и грамотности. По сути это была проверка на духовную глубину усвоенного народом христианства.

Грамотность, образование, проникавшие в народ, были закономерным результатом социально-исторического развития России. А образование, иронизировал Чернышевский, не лекарство, его разом не выпьешь. Стало быть, Россия обречена быть наводненной и малообразованными, и на треть образованными, и полуобразованными С м е р д я к о в ы м и. Собственным искушением самого Достоевского была вера в святость русского народа. И вот одним из главных персонажей романа он делает мужика, с м е р д а – в его грядущем непременном развитии.

Этот "малообразованный" и с т а н о в и т с я д в о й н и к о м "высокообразованного". И вот здесь в разработанный мировой литературой образ двойника русский писатель вносит весьма существенное добавление. Двойник не просто паразитирует на главном герое, не просто старается прикрыть его обликом свои низменные мотивы и поступки – он еще выступает в роли и с к у с и т е л я главного героя.

ДВОЙНИК-ИСКУСИТЕЛЬ

Ивана Смердяков искушает продуманно и целенаправленно.

Иван чувствовал, что Смердяков не учится у него, а скорее его самого и з у ч а е т. Достоевский с гениальной точностью передает это усилие и самодовольство малообразованного ума, постигающего ум высокий, а потом навязывающего свое понимание собеседника – как окончательное и взаимно принятое, несмотря на неловкость и отталкивание от такого понимания ума высокого и образованного: "Смердяков всё выспрашивал, задавал какие-то косвенные, очевидно надуманные вопросы, но для чего – не объяснял того, и обыкновенно в самую горячую минуту своих же расспросов вдруг умолкал или переходил совсем на иное. Но главное, что раздражило наконец Ивана Федоровича окончательно и вселило в него такое отвращение, – была какая-то отвратительная и особая фамильярность, которую сильно стал выказывать к нему Смердяков, и чем дальше, тем больше. Не то чтоб он позволял себе быть невежливым, напротив, говорил он всегда чрезвычайно почтительно, но так поставилось, однако ж, дело, что Смердяков видимо *стал считать себя бог знает почему в чем-то наконец с Иваном Федоровичем как бы солидарным,* говорил всегда в таком тоне, *будто между ними вдвоем было уже что-то условленное и как бы секретное,* что-то когда-то произнесенное с обеих сторон, *лишь им обоим только известное, а другим около них копошившимся смертным так даже и непонятное"* (14, 243).

Интересно, что откровения Смердякова, случайно услышанные Алешей, Иван тоже узнает, более того, эти откровения странно волнуют Ивана (глава "Братья знакомятся" следует за главой "Смердяков с гитарой"):

"Алеша рассказал брату наскоро и *подробно* о своей встрече с Смердяковым. Иван стал вдруг очень озабоченно слушать, *кое-что даже переспросил.* ⟨...⟩

Иван нахмурился и задумался.

– Ты это из-за Смердякова нахмурился? – спросил Алеша.

– Да, из-за него. *К черту его*" (14, 211).

Что-то сильно стало беспокоить Ивана в его взаимоотношениях со Смердяковым. Он еще не догадывается даже, что именно, но уже отрицает Смердякова как явное зло ("К черту его"). Но не успевает продумать своего беспокойства, хотя с недавних пор начал замечать "нараставшую почти ненависть к *этому существу*" (14, 242). Он и человеком-то его не считает ("*существом*"!), но этот смерд словно привораживает его. После разговора в трактире с Алешей, возвращаясь домой, Иван наталкивается на Смердякова и хочет пройти мимо:

"Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!" – полетело было с языка его, *но, к величайшему его удивлению, слетело с языка совсем другое:*

– Что батюшка, спит или проснулся? – *тихо и смиренно* проговорил он, *себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно,* сел на скамейку. На мгнове-

ние *ему стало чуть не страшно*, он вспомнил это потом. Смердяков стоял против него, закинув руки за спину, и глядел *с уверенностью, почти строго*" (14, 244).

Что же происходит?

Словно вступают в действие дьявольские силы, подчиняющие волю Ивана, которым он не в силах противиться. Смердяков почти заставляет Ивана дать ему санкцию на убийство, искушая его якобы невысказываемым вслух их единством и взаимопониманием. Классический прием злодея – запутать постороннего в преступление, чтобы потом тот навсегда остался в сетях зла. Так склеивал кровью свои пятерки Нечаев (Верховенский в "Бесах"). Ивану стыдно за свое интеллигентское высокоумие перед хамоватым и назойливым смердом, многозначительное хитроумие которого он презирает. Поэтому он лжет самому себе, что ему-де наплевать на темные намеки слуги. Русскому интеллигентному человеку стыдно жить. Достоевский в статье из "Гражданина" (1873) "Нечто о вранье" заметил: "Наше всеобщее русское лганье намекает ⟨...⟩, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо, и, чуть в обществе, все русские люди тотчас же стараются поскорее и во что бы то ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо" (21, 119). Бог вроде бы каждому определил себя не стесняться, быть самим собой. Но куда было деваться от самой главной фальши – стыда за свою интеллигентность перед народом! Собственная глубина и образованность казались преступной роскошью в этом злом мире, где вчерашний смерд с трудом пытается вдруг распрямиться и сказать свое слово. Поэтому, кстати, был принят интеллигентными юношами изверг Нечаев, говоривший от лица народа и уверенно-нагло заявлявший о "нравственной шаткости цивилизованного меньшинства"[18].

Самое поразительное, что причину своего неприятия слов и смутных желаний смерда Смердякова Иван, как и свойственно интеллигенту, определить не в состоянии. В результате их странного, завораживающего разговора, полного намеков и недоговоренностей, Иван ночью не мог заснуть: "Уже после полуночи ему вдруг настоятельно и нестерпимо захотелось сойти вниз ⟨...⟩ и избить Смердякова, *но спросили бы вы за что, и сам он решительно не сумел бы изложить ни одной причины в точности*, кроме той разве, что стал ему этот лакей ненавистен как самый тяжкий обидчик, какого только можно придумать на свете" (14, 251).

Так что вполне в духе российского архетипа ничего не смогла возразить интеллигенция победившему в Октябрьской революции и гражданской войне крестьянству, малообразованность которого исполнила его презрением к нормам патриархальной жизни, но мешала и принятию норм цивилизованно-нравственной жизни. Если мы поглядим на большинство партийных и идеологических деятелей сталинского (да и ленинского) призыва, то увидим, что в анкетах их указано крестьянское происхождение. Не случайно, наверно, дорвавшиеся до власти Смердяковы всех врагов своего режима стали называть врагами народа. А главным врагом, как известно, стала российская интеллигенция, знания и способности которой могли быть даже использованы, и все равно немало сделавшие для советской власти инженеры и экономисты, ученые и писатели рано или поздно уничтожались. Но весь ужас в том, что сама интеллигенция безропотно шла на заклание, ибо считала новый строй и новых правителей-Смердяковых своим порождением. Вспомним, что в романе А. Кёстлера "Слепящая тьма" именно на этом (что это он сам породил диктатуру!) ломается старый

большевик Рубашов перед "неандертальцем" Глеткиным, пришедшим в ЧК по призыву партии из деревни. Но типологически это искушение было предсказано и изображено Достоевским в романе "Братья Карамазовы".

ГЛАВНОЕ ИСКУШЕНИЕ ИВАНА

Разумеется, искушение это связано с явлением черта.

Но прежде чем черт, Ивана смутил и почти победил Смердяков. Уже во втором разговоре он так построил свою речь, что Иван в растерянности обвиняет в убийстве себя, хотя с точки зрения формально-юридической он нисколько не причастен к преступлению. Но Смердяков спекулирует на "глубокой совести" героя, который ошеломленно произносит своей невесте: "Если б убил не Дмитрий, а Смердяков, то, конечно, я тогда с ним солидарен, ибо я подбивал его. *Подбивал ли я его – еще не знаю*. Но если только он убил, а не Дмитрий, то, конечно, убийца и я" (15, 54). Как видим, Иван еще колеблется. Но Смердякову важно сделать Ивана не просто соучастником, а главным субъектом убийства, отождествить его с мировым злом. И в третьем, последнем разговоре он бросает Ивану: "С глазу на глаз сидим, чего бы, кажется, друг-то друга морочить, комедь играть? Али всё еще свалить на одного меня хотите, мне же в глаза? *Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил*". Иван потрясен "Совершил? Да разве ты убил?" (15, 59).

Смердяков настаивает: "Самым естественным манером сделано было-с, с ваших тех самых слов..." (15, 61). Но все же проговаривается в какой-то момент:

"– Так неужели, неужели ты всё это тогда же так на месте и обдумал? – воскликнул Иван Федорович вне себя от удивления. *Он опять глядел на Смердякова в испуге.*

– Помилосердствуйте, да можно ли это всё выдумать в таких попыхах-с? *Заранее всё обдумано было.*

– Ну... ну, *тебе значит сам черт помогал*! – воскликнул опять Иван Федорович. – Нет, ты не глуп, ты гораздо умней, чем я думал..." (15, 66).

Невольно вспомнишь пословицу, приведенную Вл. Далем: "*Где смерд думал, тут Бог не был*". И точно, Бога не было, был черт.

Не случайно, говоря о Смердякове, оценивая его действия, Иван каждый раз поминает черта. Как только Смердяков в качестве действующего персонажа сходит со страниц романа (кончает жизнь самоубийством), Ивану является черт.

И тут мы сталкиваемся с поразительным парадоксом. Даже те, кто хотел бы обелить Ивана, снять с него вину за убийство (например, С.Н. Булгаков: "И правда, нетрудно видеть, что кровавое событие в романе надвигается с фатальной силой, что трагедия неотвратима и все равно разыгралась бы и без всякого участия Ивана. Смотря на дело объективно, можно считать и Алешу таким же попустителем, как и Ивана")[19], следуя законам бытового реализма, готовы признать черта порождением болезни Ивана, его галлюцинацией, его вторым "я": "Черт Ивана Федоровича не метафизический Мефистофель, изображающий собою абстрактное начало зла и иронии, это произведение собственной больной души Ивана, частица его собственного я. Все, что мучает Ивана, что он презирает в себе и ненавидит, притом не только в настоящем, но и в прошлом, все это получает как бы персонификацию в черте"[20].

Но именно этого убеждения и добивается черт. Именно этой мыслью он заставляет мучиться Ивана: "Я тебя иногда не вижу и голоса твоего даже не слышу, как

в прошлый раз, но всегда угадываю то, что ты мелешь, потому что *это я, я сам говорю, а не ты*!" (курсив Достоевского; 15, 72). Надо отчетливо сказать, что верующий христианин Достоевский, разумеется, был убежден в реальном существовании нечистой силы, а потому игра черта с Иваном, как кошки с мышкой, говорит не только о физической, но и о метафизической болезни Ивана. Достоевский не раз говорил, что состояние физической болезни способствует соприкосновению мирам иным, но это не болезненные образы, а просто обострение сверхчувственных способностей человека в результате болезни. Себя он называл реалистом в высшем смысле слова, т.е. не бытовиком и натуралистом, а писателем, способным изображать всю полноту мира, включая силы потусторонние.

Черт издевается над Иваном, то разуверяя его в своем существовании, то словно бы приглашая увериться в своей реальности. "Я нарочно тебе твой же анекдот рассказал, который ты уже забыл, чтобы ты окончательно во мне разуверился", – замечает черт (15, 80). А через пару минут делает вид, что убеждает Ивана реалистическими деталями, которые на деле приводят к обратному, но желательному для черта результату. Иван восклицает: "Ты хочешь побороть меня реализмом, уверить меня, что ты есь, но я не хочу верить, что ты есь! Не поверю!" (15, 75). Иными словами, он отождествляет себя с чертом, хотя чувствует, что для духовного своего здоровья он должен превратить черта из частицы своего "я" во внешний, посторонний себе объект:

"– По азарту, с каким ты отвергаешь меня, – засмеялся джентльмен, – я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь. ⟨...⟩

– Ни одной минуты! – яростно вскричал Иван. – *Я, впрочем, желал бы в тебя поверить*! – странно вдруг прибавил он" (15, 79).

А чуть позже жалуется, весь измученный, Алеше: "Знаешь, Алеша, знаешь, – ужасно серьезно и как бы конфиденциально прибавил Иван, – я бы очень желал, чтоб он и в самом деле был *он*, а не я" (курсив Достоевского; 15, 87).

Дело в том, что, не веря в черта, он тем самым лишается возможности с ним бороться. В разговоре с Иваном черт поминает Мефистофеля и л ю т е р о в у ч е р н и л ь н и ц у, т.е. литературный факт и факт исторический, объединенные одним обстоятельством: нечистый дух был вне и помимо героя, а потому и Фауст, и Лютер могли отстаивать свою правоту, несмотря на тяжесть борьбы. Приведу хотя бы слова родоначальника Реформации: "Не раз уже он хватал меня за глотку, но приходилось ему все-таки отпускать меня. Я-то уж по опыту знаю, каково иметь с ним дело. Он так часто донимал меня, что я уже не ведал, жив я или мертв. Бывало, доводил он меня до такого смятения, что я вопрошал себя, есть ли на этом свете Бог, и совсем отчаивался в Господе Боге нашем"[21]. Но боролся и побеждал. И душа Фауста не досталась Мефистофелю. Как и предсказывал Бог, Фауст сам собой, без посторонней помощи, сумел сопротивляться ловушкам и соблазнам дьявола ("Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange / Ist sich des rechten Weges wohl bewuβt").

Задача Ивана – преодолеть это искушение Смердякова и черта, растождествить себя с ними и их делами, а тем самым понять, что мир земной "во зле лежит" и управляется отнюдь не Божескими законами, а законами дьявола, с которым и борется Бог. А стало быть, не супротивничать Богу, но помогать ему надо, если хочешь исправления мира. И Иван становится на этот путь, в разговоре с Алешей, наконец отказавшись от идеи черта как галлюцинации, повторяя все время: "*Он* говорил" (15, 88). И Алеша понимает брата: "Муки гордого решения, глубокая совесть!" Бог, которому он не верил, и правда его одолевали сердце, всё еще не хотевшее подчиниться" (15, 89).

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО РАСТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ИВАНА С ЧЕРТОМ?

Поздний Платон, создавая свои жестокие "Законы", тем не менее заметил: "Божественное начало, заложенное в человеке, спасает всё, если каждый подобающим образом его чтит"[22]. К а ж д ы й – это сказано как идеал, далеко не каждый способен к такому – чтить Божественный дух в себе. Но на это обречен писатель, заново продумывающий все сущности бытия. Тогда он оказывается способен увидеть это Божественное начало у своих героев под самою "грубою корою вещества" (Вл. Соловьев). Именно в этом поиске Божественного центра в человеке – отличие писателей и мыслителей масштаба Достоевского от бытовиков, натуралистов и искателей сиюминутного. Одна из самых поздних его (предсмертных) записей о самом себе звучит так: "*При полном реализме найти в человеке человека.* Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я конечно народен (ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного), – хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему" (27, 65).

Утверждение насчет "преимущественно русской черты" сомнительно, ибо само христианство всечеловечно, а не выражает те или иные племенные особенности. Но попытка "найти в человеке человека", причем "при полном реализме", означает лишь одно: видеть зло и несовершенство мира и человека, беспощадно их изображать, однако оставляя шанс ищущему найти, а страждущему утешиться. Более того, писатель "неизвестен (да и ненужен, добавим) теперешнему народу русскому" именно потому, что народ, как и мир, во зле пребывает, одолеваем Смердяковыми, идущими ко власти, что Достоевский в общем-то сознавал. В "Дневнике писателя" за 1876 г. он ужасался : «Носится как бы какой-то дурман повсеместно, какой-то зуд разврата. В народе началось какое-то неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением материализму. Материализмом я называю, в данном случае, преклонение народа перед деньгами, пред властью золотого мешка. В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь всё, заключает в себе всякую силу, а что всё, о чем говорили ему и чему учили его доселе отцы, – всё вздор. Беда, если он укрепится в таких мыслях; как ему и не мыслить так? ⟨...⟩ Народ видит и дивится такому могуществу: "Что хотят, то и делают" – и поневоле начинает сомневаться: "Вот она где, значит, настоящая сила, вот она где всегда сидела; стань богат, и все твое, и все можешь". Развратительнее этой мысли не может быть никакой другой. А она носится и проницает всё малопомалу» (22, 30).

За и с т о в о й в е р о й в народ стояло у Достоевского сомнение и т а й н о е н е в е р и е. А вдруг и в самом деле в России решающей силой станут Смердяковы. Уж они-то на полную катушку используют в своих корыстных целях идеи интеллигенции, г о в о р я щ и е с о в с е м о д р у г о м. Как любил повторять Мераб Мамардашвили, когда философов обвиняли в создании предпосылок для чего-либо дурного: «Философ всегда должен говорить своим практическим слушателям: "*Простите, я о другом*"».

Именно это присвоение исканий интеллигенции взбунтовавшимися мужиками произошло в октябре 1917 г. Уже в мае 1918-го русский историк и философ Г.П. Федотов писал: "Мы целый год с невыразимой болью созерцали, как влачит-

ся в грязи красное знамя, *как, во имя братства и справедливости, бушуют ненависть, алчность и вожделение. (...) Именем социализма трудящиеся массы отравлены ядом подлинно буржуазной, мещанской жадности* (курсив мой. – *В.К.*)"[23]. И, разумеется, никакого даже в помине "православного социализма", о котором мечтал Достоевский. Но, что самое страшное, как я уже говорил, большинство российской интеллигенции сочло себя поначалу соучастниками и вдохновителями этого грандиозного массового людодерства, не сумев растождествить себя с большевизмом, сдавалось на милость торжествующего плебса, так и не победив дьяволова искуса.

Сам Достоевский, рисуя и предъявляя нам, читателям, образ Смердякова, преодолевал свое искушение слепого народопоклонства. Но писатель искал в человеке человека, а в народе – где-то глубоко запрятанный христианский идеал, ибо "без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности, – утверждал Достоевский. – Даже можно сказать положительно, что ничего не будет, кроме еще пущей мерзости. *У меня же, по крайней мере, хоть шанс оставлен*: если теперь неприглядно, то, при ясно сознаваемом желании стать лучшими (то есть при идеалах лучшего), можно действительно когда-нибудь собраться и стать лучшими" (22, 75).

К несчастью, на то время шанс этот так и остался только шансом. В своей публицистике и в своих романах Достоевский вроде бы призывал идти "русским путем", но он же говорил о непременном условии всякого движения – об умении реалистически смотреть на мир и видеть каждую минуту борьбу Бога и черта, а потому и преодолевать искушения любого пути, как только почувствуешь, что черт или Смердяков становятся твоим вторым "я". И Смердяков – это и есть пресловутый русский путь, как Гитлер – немецкий, и т.п. Ведь Смердяков отчасти православный – не только крещеный, но с глубокой писательской проницательной насмешкой изображен накануне злодейского самоубийства (уже самого-то по себе ведущего в ад, но отягощенного еще тем, что теперь вина за убийство отца точно складывается на Митю с Иваном) читающим книгу знаменитого православного мыслителя "Святого отца нашего Исаака Сирина слова" (15, 61). Смердяков и социалист отчасти, вполне в духе ленинского призыва "Грабь награбленное!" Он и тот, и другой, но одновременно ни тот, ни другой. Как наши партийные деятели, охотно поменявшие свои партбилеты на кресты, когда им это стало выгодно.

Достоевский призывал к идеальному пути, но нарисовал на самом деле опасность реального. И указал интеллигенции, что несет она ответственность не за слово свое (за историю человечества много разных слов произносилось), а за умение отделить свое слово от чужого поступка, не освящать своим словом чужое зло. Потому так важно ему растождествление Ивана с чертом. Ибо он понимал, что от успеха этого растождествления зависит и судьба России. Если эти духовно высшие (на которых ориентируется входящий в историю малообразованный пока смерд) припишут себе зло, то тем самым совратят всю страну, весь народ, который и не будет искать спрятанный где-то идеал и тех праведников, которые хранят его. Тогда народ скажет: раз эти духовно высшие – с чертом, ну тогда, стало быть, и в самом деле всё позволено.

Реалист Достоевский показал, однако, лишь возможность такого растождествления, оставляя читателю малую надежду на благополучный ис-

ход. Уже в конце романа беседуют Алеша и Митя. Митя говорит: "Слушай, брат Иван всех превзойдет. Ему жить, а не нам. Он выздоровеет" (15, 184). Младший брат (рупор позитивных идей писателя) осторожнее: "Брат сложения сильного. И я тоже надеюсь, что он выздоровеет, – *тревожно* заметил Алеша" (15, 185).

Как мы теперь знаем, тревога брата Алеши была ненапрасной. Но роман писался не только к тому конкретному времени, его идеи и образы актуальны и сейчас, и будут актуальны, пока длится история. А значит, поставленная писателем проблема искушения становится частью духовного и интеллектуального опыта любого мыслящего человека, участвующего своим словом в общественной жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Александров М.А.* Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика в 1872–1881 годах // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 280–281.

[2] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 27. С. 19. В дальнейшем все ссылки на это издание даны в тексте; курсив в цитатах из произведений Достоевского везде мой, за исключением особо оговоренных случаев. В скобках указаны том и страница.

[3] *Бердяев Н.А.* Духи русской революции // Бердяев Н.А. О русских классиках. М., 1993. С. 96.

[4] *Даль Вл.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1981. Т. 2. С. 52.

[5] *Голосовкер Я.Э.* Достоевский и Кант. М., 1963. С. 23.

[6] Там же. С. 24.

[7] *Булгаков С.Н.* Иван Карамазов как философский тип // Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 17.

[8] *Розанов В.В.* Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского // Розанов В.В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 78.

[9] *Ветловская В.Е.* Поэтика романа "Братья Карамазовы". Л., 1977. С. 93, 98, 99, 100, 109.

[10] *Бердяев Н.А.* Духи русской революции // Бердяев Н.А. О русских классиках. М., 1993. С. 95.

[11] *Степун Ф.* Пролетарская революция и революционный орден русской интеллигенции // Степун Ф. Встречи и размышления. London, 1992. С. 269.

[12] *Достоевская Л.Ф.* Достоевский в изображении его дочери. М.; Пг., 1922. С. 18.

[13] Этот образ возник в любимом Достоевским произведении Герцена "С того берега" (рус. изд. 1855, 1858), прочитанном им после возвращения с каторги. Ср.: "Или вы не видите (...) новых варваров, идущих разрушать? – Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землею, внутри гор. Когда настанет их час – Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот..." (*Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 6. С. 58). Иными словами, в этой поэме Ивана тоже чувствуется опыт самого писателя.

[14] *Миллер О.* Русские писатели после Гоголя: В 3 т. СПб., 1900. Т. 1. С. 264.

[15] *Даль В.* Указ. соч. М., 1982. Т. 4. С. 232.

[16] *Кантор В.К.* "Братья Карамазовы" Ф. Достоевского. М., 1983. С. 100–103.

[17] *Вебер М.* Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Избранное: Образ общества. М., 1994. С. 45. В России христианство слилось с почвенно-языческими верованиями земледельцев, скрыв эти верования за строгим соблюдением внешних обрядов и ритуалов (отсюда так называемая обрядовость русской церкви).

[18] [*Нечаев С.Г., Бакунин М.А.*] Взгляд на прежнее и нынешнее положение дела // Революционный радикализм в России: Век девятнадцатый / Документальная публикация под ред. Е.Л. Рудницкой. М., 1997. С. 227. Нечаев нисколько не стеснялся признаваться в своей малообразованности: "Мы, то есть та часть народной молодежи, которой удалось так или иначе получить развитие..." (Там же. С. 223).

[19] *Булгаков С.Н.* Указ. соч. С. 17–18.

[20] Там же. С. 18–19.

[21] *Лютер М.* Застольные беседы // Легенда о докторе Фаусте. М.; Л., 1958. С. 21–22.

[22] *Платон.* Законы // Соч.: В 4 т. М., 1994. Т. 4. С. 227.

[23] *Федотов Г.П.* Собр. соч.: В 12 т. М., 1996. Т. 1. С. 101.

В.Б. Катаев

БОБОРЫКИН И ЧЕХОВ

(К ИСТОРИИ ПОНЯТИЯ "ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ" В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ)

Имена П.Д. Боборыкина и А.П. Чехова неизбежно возникают при всяком обращении к истории понятия "интеллигенция" в русской литературе XIX в. Первый из них, каким бы архаичным ни выглядело сейчас все его литературное наследие, настаивал на том, что это он ввел в употребление понятие "интеллигенция" в том значении, которое закрепилось за ним в дальнейшем. Второй дал, по общему признанию, как бы эталонное наполнение этому понятию. Поэтому обращение к этим двум именам равносильно обращению к истокам. Истокам того, что в нашем столетии так и не получило однозначного истолкования и отношения.

1

В 1931 г. Борис Пастернак назвал себя, полушутя, "одним из боборыкинствующих"[1]. Что означала эта самоаттестация? Тогда же Леонид Леонов в романе "Скутаревский" упомянет: "интеллигенты, боборыкинское словцо"[2]. Думается, для Пастернака, как и для его современников, "один из боборыкинствующих" означало "интеллигент". Тогда не вызывало сомнений, что именно П.Д. Боборыкин (1836–1921) ввел в русский язык понятие "интеллигенция"[3], закрепил именно этот термин за специфическим феноменом русской социальной истории, точного соответствия которому не знали другие страны и языки[4]. Исподволь готовя свой великий роман о судьбах русской интеллигенции в XX в., Пастернак вспоминал произведения о духовных исканиях интеллигенции в веке прошедшем, в том числе романы Боборыкина.

Отметим: Пастернак заявлял о своей позиции в эпоху, когда следовало едва ли не оправдываться в своей принадлежности к интеллигенции.

"ИНТЕЛЛИГЕНТ... (*презрит.*) человек, социальное поведение которого характеризуется безволием, колебаниями, сомнениями.

ИНТЕЛЛИГЕНТСТВО (*презрит.*) Образ мыслей, привычки, свойственные интеллигенту.

ИНТЕЛЛИГЕНТЩИНА – То же, что интеллигентство (но с бóльшим презрением)"[5] – это определения из толкового словаря издания 1935 г. с характерными для этой эпохи пометами. *Интелягушка, антилигент, затыканный интеллигент, интеллигузию бей*! – столь же характерные примеры из произведений Артема Веселого, Ильи Сельвинского, рассказов Михаила Зощенко.

То была не первая и не последняя полоса в истории русской интеллигенции, когда она становилась предметом обвинений, унижений, и всегда это находило и собственно лексическое выражение.

В спорах о роли интеллигенции в обществе, которые не умолкают в наши дни, в самом словоупотреблении и толковании понятий отражаются, пожалуй, два гос-

© В.Б. Катаев, 2000

подствующих направления. С одной стороны, высота идеального представления, заключенного в этом концепте, и с другой – осуждение, граничащее с презрением и даже отрицанием, относительно реального бытия интеллигенции.

Образованщина – блестящее и злое определение А. Солженицына для интеллигенции советского периода в новейших словарях будет также, очевидно, сопровождаться пометой *презрит.* И создано оно по той же словообразовательной модели, что и слово *интеллигентщина*, которое в начале века прилагал к основной массе русских интеллигентов Н. Бердяев. Участники дискуссий наших дней утверждают, что сегодня "интеллигенции как группового понятия нет", уже не существует объекта, которому бы оно соответствовало. Есть еще отдельные интеллигенты; интеллигенции же, ввиду конца всей прошлой интеллигентской мифологии и телеологии, не осталось или не останется, что, впрочем, многими даже приветствуется. "В современном индустриальном обществе, – меланхолично замечает Вл. Войнович, – те черты, носительницей которых являлась интеллигенция, не будут нужны, честь и совесть не найдут себе широкомасштабного применения. Дело в том, что эти качества на виду только в том обществе, где жизнь скудна, бедна и общество и нация выживают за счет людей – носителей положительных качеств. В современном индустриальном обществе – европейском, западном – никого не надо защищать ⟨...⟩ там человек защищен законом. И потому та роль, которая *интеллигенции* (здесь и везде далее в цитатах курсив наш. – *В.К.*) предназначалась и которую она играла в XIX веке в России и частично в наше время, исчезнет... Будут *образованные люди*, умеющие работать на благо себе и Отечеству"[6].

И н т е л л и г е н ц и и нет, утверждают некоторые, она отыграла свою роль, вытеснена, уничтожена, – но остается представление об и н т е л л и г е н т н о с т и, русской интеллигентности, и расстаться с этим было бы жаль.

Другие настроены более категорично: и н т е л л и г е н т ы не нужны – нужны и н т е л л е к т у а л ы, л ю д и и н т е л л е к т у а л ь н ы х п р о ф е с с и й[7]. Но как раз обширный средний слой с п е ц и а л и с т о в - и н т е л л е к т у а л о в: инженеров и научных работников, преподавателей и врачей, артистов и работников культуры – сейчас оказывается невостребованным, пишет один из авторов, предлагая создать СОИ, союз оскорбленных интеллектуалов[8]. И задолго до сегодняших споров Мераб Мамардашвили писал об исчерпанности традиционного наполнения концепта 'Интеллигенция': «Бывшее монопольное положение интеллигенции, на основе которого могла когда-то возникать та форма занятия умственным трудом, которая представлялась хранением совести общества, формой "всеобщего чувствилища", размыто, исчезло... ⟨...⟩ сейчас столь явными представляются остаточность, архаичность этой претензии интеллигенции, сохранение прежнего положения скорее в утопических реминисценциях интеллигенции, чем в реальности...»[9].

Вся эта, отнюдь не завершенная, дискуссия имеет и чисто лингвистический и психологический аспекты. Что вкладывать в понятие интеллигенции и с каким из его значений себя идентифицировать: 'интеллигенты', 'образованные люди', 'образованщина', 'люди интеллектуальных профессий', 'специалисты-интеллектуалы'?..

"История этого слова [интеллигенция] в русской обиходной и литературной речи могла бы составить предмет интересного специального этюда", – писал П.Б. Струве[10]. Эта история прослеживалась в основном западными историками и славистами (в отечественной лексикологии до последнего времени можно было на-

звать лишь отдельные заметки В.В. Виноградова, Ю.С. Сорокина, Л.Я. Борового[11]). Обстоятельно занимались ею историки из США Джеймс Биллингтон и Ален Поллард; немецкий филолог Отто Мюллер посвятил ей 400-страничную монографию "Интеллигенция"[12]. Концепту 'Интеллигенция' уделяет главу в своем словаре понятий русской культуры Ю.С. Степанов[13]. Но кое-что в этой истории остается неучтенным или освещенным неверно.

В самом начале нашего века П.Д. Боборыкин утверждал: "Около сорока лет назад, в 1866 г., в одном из своих критических этюдов я пустил в обращение в русский литературный язык или жаргон ⟨...⟩ слово *интеллигенция*, придав ему то значение, какое оно, из остальных европейских литератур или пресс, приобрело только у немцев: *интеллигенция*, т.е. самый образованный, культурный и передовой слой общества известной страны. Тогда же я присоединил к нему одно прилагательное и одно существительное, ⟨...⟩ *интеллигент* и *интеллигентный*"[14]. Версию Боборыкина принимали первый его биограф С.А. Венгеров, и историк русской общественной мысли Р.В. Иванов-Разумник, и, как мы видели, Леонов, Пастернак, Виноградов... Поллард, чуть позже Сорокин, а за ними Мюллер энергично обрушиваются на то, что они называют "боборыкинской легендой", т.е. отказывают Боборыкину в приоритете введения слова *интеллигенция* в русский язык (эта полемика не учтена в книге Ю.С. Степанова).

В самом деле, в произведениях Боборыкина впервые слово *интеллигенция* встречается в статье о парижских театральных постановках в 1866 г.: "Постановки театра Шатле больше, чем постановки других театров, нравятся массе, без различия *интеллигенции* и общественного положения"[15], – и явно не в современном значении слова. Как наглядно показали названные выше историки и лексикологи, слово *интеллигенция* встречается ранее у других авторов 1860-х годов: в публицистических и критических статьях Ивана Аксакова, Петра Ткачева, Николая Шелгунова[16]. Введение термина не было делом единственного автора (так же как и другого понятия, широко вошедшего в русский язык в 1860-е годы: "нигилист". Ги де Мопассан назвал свою статью о Тургеневе «Изобретатель слова "нигилист"». Но слово не раз употреблялось до Тургенева; автор "Отцов и детей" лишь способствовал необычайному его распространению и вхождению в русский, а затем и европейские языки).

И все-таки важно подчеркнуть два момента: 1) понятие "интеллигенция" в исторически закрепившемся значении сложилось именно в русской художественной литературе (Поллард скептически замечает в своей статье: "Русская интеллигенция верила, что ее жизнь верно отражается в русской литературе", – скептицизм, на наш взгляд, напрасный) и 2) именно романист Боборыкин сыграл здесь заметную роль, поэтому необходимо обращение к его беллетристическим произведениям.

Слово *интеллигенция* непосредственно восходит к немецкому *Intelligenz* и французскому *intelligence* (менее вероятно – к польскому *intelligencja*)[17] – словам, имеющим иное значение. Увлечение образованных россиян немецкой идеалистической философией и французской позитивистской социологией побуждало к поискам русских эквивалентов. Первые русские переводчики Шеллинга переводили его термин "Intelligenz" как "разумение"[18], а заглавие книги Ипполита Тэна "De l'intelligence" – как "Об уме и познании". Это и есть исходные значения, в которых слово *интеллигенция* стало употребляться в русском языке: отвлеченное, философское или психологическое, как набор признаков, совокупность качеств (словообразовательная модель – потенция). В романе Боборыкина "В чужом поле" (1866) читаем: "французики казались ему очень мизерными по части *интеллигенции*"[19], –

т.е. по части умственных способностей, духовных запросов. И это, кажется, первое употребление слова *интеллигенция* в русском беллетристическом произведении.

В следующем романе Боборыкина, "Жертва вечерняя" (1868), слово встречается чаще. Роман написан в форме дневника молодой вдовы, петербургской дамы. Ее родственник, вернувшийся из Франции, говорит: "Я вижу, что твой ум возбужден неизмеримо больше, чем это было два года назад. Я вижу, что по твоей *интеллигенции* (у Степы тоже свои слова) прошлась рука опытного мастера"[20]. Фраза кажется бессмысленной с точки зрения современного словоупотребления, но понятна в свете сказанного выше. Слово становится модным в русском обществе, и это отражает роман Боборыкина. Героиня слышит разговор двух профессоров. "Слышу слова: Париж, Гейдельберг, фамилии чьи-то и, разумеется, *интеллигенция* и инициатива. Без этого физикусы обойтись не могут" (с. 326). Тот же родственник говорит ей: "Я замечаю, вернувшись в Россию, что теперь неглупая женщина не может по-русски двух слов сказать, чтобы не вставить принципа, организма и *интеллигенции*" (с. 344). А вот замечание героини о жизни на даче: "Растительная жизнь в порядке... Жизнь же *интеллигентная*, как выражается Степан Николаевич, двигается еще медленно" (с. 302).

О. Мюллер не без оснований полагает, что моде на слово *интеллигенция* способствовал сам роман Боборыкина. Дело в том, что "Жертва вечерняя" имела скандальный успех. Автор смело изобразил нравы аристократического общества, в том числе эротические оргии, и без обычной сентиментальности коснулся темы проституции (впоследствии Боборыкин скажет, что Куприн в своей "Яме" пошел по его стопам). Салтыков-Щедрин в "Отечественных записках" заклеймил роман Боборыкина за "нимфоманию и приапизм"[21], а по постановлению Комитета министров тираж отдельного издания романа был арестован и уничтожен. Но, как правило, такие-то произведения и возбуждают всеобщий интерес и пользуются успехом – так получилось и с "Жертвой вечерней". На слово *интеллигенция*, часто встречающееся в романе, обратил внимание широкий читатель. Боборыкин если и не ввел первым слово, то расширил круг его употребления – хотя пока в первоначальном, абстрактном значении.

Далее выступили более крупные фигуры.

В том же, 1868 г. вышло отдельное издание "Войны и мира" Л.Н. Толстого, где на первых же страницах читаем: "Он [Пьер] знал, что тут [в салоне Шерер] собрана вся *интеллигенция* Петербурга" (в журнальном варианте 1865 г. слово еще отсутствовало). А в начале 1870 г. вышел рассказ И.С. Тургенева "Странная история", где герою советуют: "послезавтра в дворянском собрании большой бал. Советую съездить; здесь не без красавиц. Ну, и всю нашу *интеллигенцию* вы увидите. – Мой знакомый, как человек, некогда обучавшийся в университете, любил употреблять выражения ученые", – комментирует рассказчик.

Как видим, *интеллигенция* употребляется пока в художественных произведениях иронически, как словцо редкое, экзотическое и скорее всего в том же, а б с т р а к т н о м значении ("интеллигенция Петербурга" – как ум, интеллект петербургского общества или, как в других выражениях, – цвет общества, сливки общества). До употребления слова в с о б и р а т е л ь н о м значении ("интеллигенция" как совокупность носителей ума, интеллекта) остается один шаг. Но еще раньше, чем в романистике, в русской публицистике слово приобрело достаточно частое употребление – с теми же колебаниями между абстрактным и собирательным его значениями.

Славянофил И.С. Аксаков в 1863 г. задавал (в своей газете "День") вопрос: может ли современное русское общество "быть названо у нас действительно выражением народного самосознания, ⟨...⟩ народною *интеллигенциею* в высшем значении этого слова?"[22]. Здесь, как ни современно кажется словоупотребление, *интеллигенция* означает, несомненно, понятие не собирательное, а отвлеченное, восходящее к гегелевской идее о самосознании народа. В другой статье Аксаков, кажется, еще более конкретизировал понятие, говоря о "Тамбовской интеллигенции", не уделяющей внимание старообрядчеству у себя в губернии (с. 225). Здесь, как и в рассказе Тургенева, слово употреблено в переходном от отвлеченного к собирательному значении. Эта переходность особенно наглядна в его рассуждении о том, что "полтораста лет чужие *интеллигенции* имели полный простор на Руси" и что Россия сумеет "совершить внутреннее развитие свое без чужих *интеллигенций*", а "германские *интеллигенции* могут остаться для Германии" (с. 309). Ясно, что невозможное впоследствии множественное число слова *интеллигенция* отражает здесь особенность периода, когда смысловое наполнение понятия только устанавливалось. Интересно, что в другом месте Аксаков говорит об "аристократических представителях" русской интеллигенции, о ее "демократических представителях", об интеллигенции "в высших своих делегатах" и интеллигенции "в мелких чинах" (с. 299): здесь слово *интеллигенция* само по себе употреблено в отвлеченном значении, а в сочетании с добавлениями образует уже понятие собирательное.

На другом фланге русской публицистики, в выступлениях "демократических представителей", при той же пока лексико-семантической неопределенности, наблюдалось иное толкование понятия. То, что славянофилу Аксакову виделось как выражение самосознания нации, здесь сузилось до идеологии определенной социальной группы. П.Н. Ткачев в леворадикальном журнале "Дело" писал в 1868 г., называя эту группу "образованным меньшинством": "по своему строго-критическому отношению к окружающим ее явлениям, по смелости своей мысли она ни в чем не уступает лучшей части западноевропейской *интеллигенции*", а "здоровые мысли и понятия, которые в наше время стали распространяться и утверждаться в небольшом кружке нашей *интеллигенции*", привели к тому, что "барская *интеллигенция* должна была стушеваться перед другою, вышедшею из другого класса людей"[23]. Здесь приведен полный набор признаков, по которым в 60–70-е годы прошлого столетия отличали тех, кого Н.Г. Чернышевский называл "новыми людьми", Д.И. Писарев – "мыслящим пролетариатом", П.Л. Лавров – "критически мыслящими личностями", а идейные противники и широкая публика – "нигилистами". Эти названия растворились затем в утвердившемся понятии интеллигенции как социальной группы, "класса людей" со своими отличительными признаками.

Итак, к концу 60-х годов в публицистике в основном произошел переход от одного словоупотребления к другому: от "носителей интеллигенции" – к "представителям интеллигенции" или просто к "интеллигенции" (хотя и в книге начала 70-х годов можно еще встретить использование прежнего, абстрактного значения: "представители труда нервного, работники умственные, *интеллигенция* общества"[24]). В первом издании словаря Даля (1865) слово *интеллигенция* еще отсутствует, во 2-м издании (1881) оно зафиксировано, и уже в значении собирательном: "разумная, образованная, умственно развитая часть жителей"[25].

Если *интеллигенция* стала из понятия отвлеченного понятием собирательным, то должно было появиться и некоторое представление о свойствах, присущих совокупности людей, подпадающих под это понятие. Иными словами, хотя слово *ин-*

теллигентность как название свойства, присущего *интеллигенции*, появилось позже, представление об *интеллигентности* тоже должно было наметиться. В публицистике 60-х годов, точнее, в ее "демократической" части свойствами "новой" *интеллигенции* (в противовес прежней, "барской") считались, как мы видели, смелость мысли, критическое отношение к действительности, "здоровые понятия". Рационализм и общественный радикализм были, таким образом, среди исходных составляющих русских концептов 'Интеллигенция', 'Интеллигентность'. Но наши сегодняшние представления о том, что такое *интеллигентность*, к этим качествам отнюдь не сводятся. И именно потому, что дальнейший путь развития понятия проходил через произведения художественной литературы.

Серьезный шаг в сторону современного наполнения понятия "интеллигенция" был сделан Боборыкиным в следующем его большом романе – "Солидные добродетели" (печатался в "Отечественных записках" в 1870 г.). Действие романа, начавшись в кварталах вокруг Московского университета, продолжается в Париже, куда главный герой, ученый-химик Александр Крутицын, едет в качестве корреспондента русских газет на всемирную выставку, и кончается на берегах Волги, близ большого промышленного села. И сам герой, и его маршруты биографически близки автору, П.Д. Боборыкину.

В романе совершается и некое духовное путешествие. В первых главах Крутицын размышляет о том, что все люди, общество разделены на два стана. Одни живут, "следуя законам своего растительного типа", – это купцы, коммерсанты-"папуанцы", самцы-офицеры, здоровяки с Тверской и Невского, британские джентльмены на скачках и т.д. Другие же... И он начинает с тех, кого знает по университету, кто снимает комнаты и углы вокруг Моховой и Театральной площади. Там «проходит жизнь того, что молодо телом и духом, что стремится, желает, мыслит... Какие радости, какие удовлетворения у всех этих "лучших людей" земли своей? ⟨...⟩ Сиденье на стоптанном диване, приятельский спор за грязным самоваром, папироска, ломтик лимона, интрижка с какой-нибудь Соничкой, да и то еще про великий праздник, купончик в Малом театре, зубренье, погоня за "сладким" трудом, глоданье пресных и сухих корок серенького житьишка – вот общая колея так называемой "*интеллигенции*", ⟨...⟩ вот роковой удел почти всех тех, кто начинает жить по своему духовному идеалу и все "взыскует грядущего града"»[26]. Есть среди этих людей и такие, кто сразу хочет получать большие деньги, занимается ради этого "кретинизирующей работой", т.е. ничем не одухотворяемой практикой. Другие, менее удачливые, так и остаются изнывать под тяжестью серенького житья, «гложут куски того, что псалмопевец называл когда-то "хлебом сокрушения"» (с. 44). Но тот, "кого идея задела хоть одним кончиком своего лучезарного хвоста, тот простись с равновесием, у того житейский чемодан запросит все новой и новой клади, а ее не хватит, пожалуй, и на первую станцию...". Он, сгорая от «неустанного жара внутренней работы, ⟨...⟩ отдаст свой мозг в крепостную зависимость взыскуемым им "идейным началам"» (с. 45).

Здесь среди главных признаков *интеллигентности* (само это слово, повторяем, еще не произнесено) названы не вполне конкретизированные, но несравненно более широкие, чем в статье П. Ткачева, составляющие. Пренебрежение житейскими благами ради духовных, почти мистическая устремленность в будущее, взыскание "града грядущего", идейность, неустанный жар внутренней работы... Это осмысление уже не классовое, как у "демократа"-шестидесятника, а почти религиозное – взыскание некоей истины, которую способны уразуметь избранные (в другом

месте романа мелькает замечание об "аристократии ума и дарований" – еще одном эквиваленте понятия "интеллигенция"). Можно предположить, что именно такие требования, напоминающие пункты устава некоей религиозной общины, в действительности могли увлечь под знамена складывающейся русской интеллигенции целые поколения, и не обязательно одних разночинцев.

В конце романа намечено представление о божестве этой новой *интеллигентской* религии – это народ и Россия. Крутицын, увидев, как ремесленники-замочники в приокском селе Петрове изготавливают изящные замки ничуть не хуже английских, а получают за них гроши, размышляет о "мире пролетариата в когтях кулака и мироеда" и мысленно обращается к "людям науки и друзьям человечества" (читай – к интеллигенции): "– Вот сюда, в подполья замочников, на многострадальную почву народного труда придем мы искупить все наши себялюбивые порывания, ей отдать наше душевное добро, не прося иного возмездия, кроме веры в наши смиренные начинания, кроме простого мужицкого спасиба" (с. 524).

Заметим: это написано за четыре года до начала "хождения в народ", первой массовой акции русской интеллигенции. Поистине не зря Боборыкин казался Тургеневу редким образчиком сверхчуткого и сверхоперативного беллетриста-репортера, который описывает "жизненные факты за пять минут до их нарождения"[27]. Живя подолгу за границей, регулярно приезжая в Россию на "разведку" и "съемки", Боборыкин особенно остро подмечал не только изменения в общественном движении и вновь возникавшие за время его отсутствия реалии русской жизни. Он нуждался в словесном материале для оформления своих наблюдений и оттачивал свою не только социологическую, но и лексическую наблюдательность. Он замечал только входившие в массовый обиход слова, вводил их в диалоги своих героев – и таким образом привлекал к ним внимание общественности, вводил их в общелитературный словарь.

Заканчивается роман описанием почти молитвенных чувств типичного русского интеллигента: "Все его существо было охвачено любовью к тому многообразному бытию, которое зовут родиной. ⟨...⟩ А посреди родной, некрикливой картины его духовный взор, с надсадой сострастия, обнимал безропотно идущего своей темной стезею кормильца-пахаря. Как глубоко несчастлив был бы он, если б мировое движение, мозговая работа, яркие цветы всесветной культуры оставили его в эту минуту безучастным наблюдателем того, что творится в одном углу вселенной, и не дали ему сил, держась за вечные устои, на которых зиждется людское преуспеяние, припасть горячими, любовными устами к матери Русской земле" (с. 524).

Случаи употребления слова *интеллигенция* в его прежнем, отвлеченном смысле можно найти в последующих романах Боборыкина. В знаменитом "Китай-городе" (1882) одна из героинь характеризуется «тайными желаниями, замыслами, внутренней работой, заботами о своей "*интеллигенции*", уме, связях, артистических, ученых и литературных знакомствах» (Ч. 2, гл. XXI). Здесь *интеллигенция* значит уровень развития. Это показывает, что и более чем через десять лет после "Солидных добродетелей" значение слова и понятия не устоялось. И все-таки тот роман стал важным пунктом в истории наполнения этого понятия новым смыслом.

Учитывая, конечно, толкования *интеллигенции* в публицистике "демократического" лагеря, Боборыкин не ограничился только классовыми и только мыслительными аспектами понятия (образованные люди, "мыслящий пролетариат"). Центр тяжести он перенес с головы на душу и сердце. В его романе перечисляются отличительные признаки "так называемой интеллигенции", русской интеллигенции: неуст-

роенность быта, житейские мытарства, "самолюбивые порывания", не слишком, может быть, богатый образовательный багаж и в то же время неустанный жар внутренней работы, жизнь по своему внутреннему идеалу, взыскание "грядущего града". Это уже не только социологическое, но ценностное, моралистическое толкование. Такая "нормативно-ценностная" трактовка[28] понятия "интеллигенция", предложенная П.Д. Боборыкиным, и утвердилась затем в русском словаре.

Это было лишь первоначальное определение особенностей русского интеллигентского морализма. Но важно отметить этот исходный пункт. Потом круг этих особенностей расширяется в произведениях Гл. Успенского, Короленко, Гаршина, Чехова, а в XX в. – Булгакова и Пастернака (Струве назовет интеллигенцию "чувствилищем нации"). Можно отметить, что производные понятия "интеллигентность", "интеллигентный", потерять которые при любом историческом исходе судьбы *интеллигенции* было бы действительно жаль, восходят именно к этому последнему значению, смысл которого раскрывался всей совокупностью произведений русской литературы.

И через три с половиной десятилетия, напоминая о своем приоритете во введении в русский язык понятия "интеллигенция", Боборыкин даст толкования его, реально сложившиеся к началу XX столетия: "*интеллигенция*, т.е. самый образованный, культурный и передовой слой общества известной страны. ⟨...⟩ самый просвещенный, деятельный, нравственно развитый и общественно подготовленный класс граждан. ⟨...⟩ собирательная душа русского общества и народа. ⟨...⟩ избранное меньшинство, которое создало все, что есть самого драгоценного для русской жизни: знание, общественную солидарность, чувство долга перед нуждами и запросами родины, гарантии личности, религиозную терпимость, уважение к труду, к успехам прикладных наук, позволяющим массе поднять свое человеческое достоинство. ⟨...⟩ Да здравствует русская интеллигенция!"[29].

2

Так заканчивал Боборыкин статью "Русская интеллигенция". В 1904 г., когда статья была опубликована, уже была реальной необходимость защиты русской интеллигенции и ее оправдания. Боборыкин в своей статье называет тех, кто с различных позиций выступал в то время противником русской интеллигенции – от представителей "ретроградного лагеря" до идеолога босячества М. Горького, от Льва Толстого до эстетов-декадентов. Интеллигенция предстает в статье защитницей некоторой территории, окруженной со всех сторон врагами и противостоящей им под едиными знаменами. Но, увы, единство русской интеллигенции, о котором писал Боборыкин, к тому времени было мнимым. Это со всей очевидностью показали события ближайших лет.

Собственно, раскол был предопределен изначально, при самом формировании представления об *интеллигенции* и *интеллигентности*, и мы это видели на примере определений, дававшихся Ткачевым (классово-непримиримое, радикальное, впоследствии революционное направление) и Боборыкиным (направление культурно-гуманистическое, видящее цель интеллигенции в эволюционном преобразовании русской жизни). Но размежевания внутри интеллигенции на рубеже веков проходили и по множеству иных линий. Статьи сборника "Вехи" (1909), зафиксировавшего "поражение интеллигенции", пронизанного "критикой духовных основ интеллигенции"[30], писались не посторонними интеллигенции людьми, а представите-

лями ее же особого крыла. Не случайно авторы, враждебно относящиеся к интеллигенции, хотя и с противоположных позиций, восприняли сборник как манифестацию наиболее характерных для русской интеллигенции свойств[31].

Интереснейший пример критики интеллигенции и з н у т р и интеллигентного сообщества – отношение к ней А.П. Чехова.

Стало общепризнанным, что именно Чехов не только в своих произведениях, но самой своей жизнью дал образцы истинной интеллигентности. "Простые, всем понятные и всем доступные для исполнения моральные принципы, сформулированные Чеховым для себя и близких, в наши дни могут рассматриваться как моральный кодекс современного русского человека. А сам Чехов важен здесь для нас не только как писатель, но как человек – пример нравственной личности"[32]. Если согласиться с автором, что "в современном русском обществе основной нравственный закон ближе всего ⟨...⟩ совпадает с этикой интеллигенции"[33], то именно в Чехове – его произведениях и биографии – следует видеть значимое и сегодня, наиболее адекватное выражение самой сути интеллигентности. Итак, Чехов – лицо русской интеллигенции?

Между тем существуют и прямо противоположные мнения о соотношении Чехова и русской интеллигенции.

Современный Чехову критик Ю.Н. Говоруха-Отрок писал об этом: «...он с большим скептицизмом относится к "*интеллигенту*". ⟨...⟩ Он знает, что такое "*интеллигент*": он знает, что это смесь тщеславия, глупости и банальной болтовни»[34]. И чуть позже: «Читая его произведения, ясно видишь, что ему нравятся старинные попы, дьячки, мужики, бабы, вообще простые люди – и не нравится так называемая "*интеллигенция*". Простые люди выходят у него яркими, выразительными ⟨...⟩ "*интеллигенты*" у него выходят бледными, вялыми и почти что лишенными всякой душевной жизни»[35]. Положим, что этот критик сам недолюбливал интеллигенцию и свое к ней отношение отчасти приписал Чехову... Но вот мнение С.Н. Булгакова, который также противопоставлял Чехова русской интеллигенции, считая, что "истинное отношение его [Чехова] к русской интеллигенции" – в том, как он "прозирал" ее "малопривлекательную сущность", выражая свое "скептическое отношение к качеству русской интеллигенции, к ее исторической и деловой годности"[36]. Чехов, утверждал П.Б. Струве, не носит, как и другие великие русские писатели, "интеллигентского лика"[37]. И в наши дни английский философ Исайя Берлин отказался причислить Чехова к интеллигенции (но уже по иной причине: за его не характерное для российской интеллигенции отношение к церкви)[38].

Итак, Чехов – квинтэссенция русской интеллигентности. И он же – антипод российского интеллигента. Следует признать, что основания для столь противоречивых выводов содержат произведения самого писателя и его прямые высказывания.

Прежде всего, именно по произведениям Чехова мы можем судить, как расширились к концу прошлого века ряды русской интеллигенции – за счет роста числа образованных людей, за счет увеличения областей приложения интеллигентного труда, появления новых профессий. Среди героев чеховских произведений – инженеры, статистики, землемеры, учителя, земские врачи, студенты, следователи, адвокаты... Новые условия русской жизни смешали традиционные сословия, изменили их функции; и офицеры, и помещики ("Поцелуй", "О любви", "Три сестры") предстают у Чехова носителями интеллигентности. Чехов сам в полной мере познал нелегкую жизнь сельского врача (приходилось, писал он, "быть и врачом, и са-

нитарным служителем в одно и то же время: мужики грубы, нечистоплотны, недоверчивы; но мысль, что наши труды не пропадут даром, делает все это почти незаметным" – это так близко размышлениям боборыкинского интеллигента из "Солидных добродетелей", только выражено проще и сильнее). Чехов создал очень симпатичные образы провинциальных врачей, сельских учительниц ("Попрыгунья", "Дядя Ваня", "На подводе")...

И все-таки Чехова никак не назовешь "певцом" интеллигенции: так много нелицеприятного, порой злого сказано им о русском интеллигенте.

Чего стоит картина пресмыкательства "не танцующих интеллигентов" перед разгулявшимся богачом в раннем рассказе "Маска" (1884). И впоследствии – сколько раз героем чеховского рассказа, повести, пьесы будет оказываться "измошенничавшийся душевно русский интеллигент среднего пошиба"[39] (3, 213). И в последней пьесе "Вишневый сад" (1903) в словах Пети Трофимова звучит обвинение российской интеллигенции: «Громадное большинство той *интеллигенции*, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. Называют себя *интеллигенцией*, а прислуге говорят "ты", с мужиками обращаются, как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало...». Стоит сопоставить эту филиппику против интеллигенции с апологией интеллигенции, появившейся почти одновременно в статье Боборыкина, приведенной выше. Ясно, что в статье речь идет о некоем "избранном меньшинстве", об идеальном представлении, связанном с интеллигенцией, о ее лучшей части. В монологе же чеховского героя – о "громадном большинстве" российской интеллигенции в ее реальном бытии.

То, что в действительности представляла собой российская "интеллигенция en masse", в письмах Чехова вызывало неизменно отрицательную характеристику. В декабре 1889 г. он с презрением пишет А.С. Суворину про "слизняков и мокриц, которых мы называем *интеллигентами*. Вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная *интеллигенция*, которая никак не может придумать для себя приличного образца для кредитных бумажек, которая не патриотична, уныла, бесцветна, которая пьянеет от одной рюмки и посещает пятидесятикопеечный бордель, которая брюзжит и охотно отрицает в с е, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать; которая не женится и отказывается воспитывать детей и т.д. Вялая душа, вялые мышцы, отсутствие движений, неустойчивость в мыслях..." (3, 308–309). Такой поистине беспощадный приговор, вынесенный Чеховым российской интеллигенции, отнюдь не был случайным или одноразовым. Приведенные выше слова он писал накануне своей поездки на каторжный Сахалин. А через десять лет, в феврале 1899 г., в письме к сельскому врачу И.И. Орлову, который все беды "интеллигентных работников" объяснял тем, что власти не дают свободы и направляют против интеллигенции всяческие "гасительные средства"[40], Чехов не согласился с этим объяснением: "Не гувернер [т.е. губернатор], а вся *интеллигенция* виновата, вся, сударь мой. Пока это еще студенты и курсистки – это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша, и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора-дачевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры. ⟨...⟩ Я не верю в нашу *интеллигенцию*, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр" (8, 101).

Такая последовательность и неизменность критического отношения к интеллигенции говорит, конечно, о выношенной концепции того, к чему, по мнению Чехова, интеллигенция призвана, и того, в какой мере она этому призванию соответствует. Есть несколько вполне конкретных пунктов в этой чеховской концепции. В чем-то они как бы предвосхищают критику российской интеллигенции, которая через пять лет после его смерти прозвучит со страниц "Вех". В чем-то Чехов с авторами этого сборника заведомо не согласился бы.

Вот первый из этих конкретных пунктов. Русская интеллигенция, по Чехову, заслуживает осуждения, потому что не способна к с п р а в е д л и в о с т и и даже не знакома с подлинным представлением о ней.

Критерий справедливости/несправедливости является одним из главных, может быть, самым главным в мире Чехова. "Смею напомнить о *справедливости*, которая для объективного писателя нужнее воздуха" (4, 273), – напоминает он начинающей писательнице. Но вопрос о справедливости отнюдь не сводится к проблеме писательской этики. "*Несправедливость* во всей своей форме" Чехов считает отличительным свойством всего так называемого интеллигентного общества. Оно "не смеет и заикаться о том, что оно знакомо с *справедливостью*" (3, 309). А вернувшись с каторжного острова, Чехов пишет: "Хорош Божий свет. Одно только нехорошо: мы. (Здесь *мы* – все общество, вся интеллигенция. – *В.К.*). Как мало в нас *справедливости* и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм! ⟨...⟩ Работать надо, а все остальное к черту. Главное – надо быть *справедливым*, а остальное все приложится" (4, 140).

Чеховские размышления о справедливости вообще и в применении к своему брату-интеллигенту в особенности отразились в рассказе "Враги" (1887). Рассказ этот интерпретировали по-разному[41]. Критики-современники увидели в нем рассказ с профессионально-медицинской проблемой, о трудностях выполнения врачебного долга: должен ли врач ехать по вызову, если у него самого умер сын, к тому же вызов оказывается ложным? В советскую эпоху почти официальной стала точка зрения В.В. Ермилова, давшего рассказу социологическую трактовку. Два героя, сельский врач Кирилов и помещик Абогин, были резко противопоставлены им по классовому признаку. Все симпатии Чехова, утверждал интерпретатор, отданы внешне несимпатичному труженику-интеллигенту, абсолютное презрение – внешне импозантному, но внутренне никчемному помещику-аристократу. "Право на все человеческие чувства имеют только люди, связанные с трудом"[42], – патетически восклицал Ермилов, закрывая глаза на все, что в тексте рассказа противоречит такой трактовке. Но и те интерпретаторы, которые, возражая Ермилову, прочли рассказ "Враги" в психологическом ключе, как рассказ об эгоизме несчастных, о взаимной глухоте к несчастью другого, о взаимонепонимании, которое проявляют оба врага, – и они дочитывали рассказ не до конца. Ибо рассказ не заканчивается указанием на взаимную несправедливость и взаимное непонимание врагов ("Кажется, никогда в жизни, даже в бреду они не сказали столько несправедливого, жестокого и нелепого. В обоих сильно сказался эгоизм несчастных. Несчастные злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга"). Сказав об этом, Чехов не ставит точку. Рассказ заканчивается возвращением к одному из врагов – доктору Кирилову.

Уже удален со сцены околпаченный муж, несчастный Абогин, – он, так ничего и не поняв, полетел по свету делать новые глупости, протестовать, обвинять кого-то, снова выставляя себя на посмешище. А мы, читатели, остаемся с Кириловым,

проделываем с ним путь не только обратно домой, но и много далее, до самого конца его дней. И теперь уже до самого конца этого пути, говорит автор, останется на нем тяжким грузом то, что он наделал, наговорил, объятый злобой, в тот вечер в доме человека, в котором он увидел своего врага.

Итак, автору важно сказать в конце концов, что оба врага не правы, но более не прав Кирилов. Обоих следует осудить, но тягчайшая вина на Кирилове. Почему это так? Почему именно Кирилов заслуживает большего, по сравнению с его врагом, осуждения? Ведь сталкиваются в рассказе "горе и бездолье", с одной стороны, "сытость и изящество" – с другой. Поистине непреодолимой выглядит пропасть, которая разделяет и два образа жизни, и две манеры поведения – все, что окончательно определило характеры врагов. Всем строем своего рассказа Чехов вызывает в читателе сочувствие именно к доктору Кирилову с его обожженными карболкой руками труженика, с его грубоватыми манерами, с его неподдельным горем от утраты единственного сына. И все-таки именно к нему обращен окончательный упрек. Создается впечатление, что Чехову важно предъявить именно своему брату-интеллигенту некие более высокие нравственные требования, судить его поведение по более высокому счету, нежели его врага-помещика.

На последней странице рассказа, на этом малом пространстве, пять раз повторено одно слово. Это слово – *несправедливость*. Кирилов во всем прав, но он не справедлив – в этом для Чехова все дело. Несправедлив и Абогин, но с него, как бы говорит автор, и спрос не тот.

Русская литература до Чехова уже изображала столкновение интеллигента-демократа с представителем противоположного класса – вспомним хотя бы тургеневских "Отцов и детей". Чехов обращается во "Врагах" к той же ситуации, но подходит к ней с противоположной, нежели Тургенев, стороны. Ведь сам он – интеллигент-разночинец, внук крепостного, доктор, выучившийся на гроши, знавший "горе и бездолье". О том, как сурова жизнь таких, как врачи Кирилов, Дымов, сельский учитель Медведенко, их автор знал не понаслышке. Кирилов для Чехова – свой. Но именно потому, что он свой, Чехов считает нужным предъявить к нему высшую требовательность, судит его по высшему счету.

В Чехове разночинец-интеллигент, выдавивший из себя по каплям раба, не снисходительности, жалости или сочувствия требует к себе, а отношения по самому высокому счету. В высшей и строгой требовательности к самому себе и себе равным и состоит чеховская нравственность, его понимание справедливости.

Понятие справедливости в конце прошлого века становилось предметом философских споров, темой трактатов. Через семь лет после "Врагов" выйдет русский перевод книги Г. Спенсера "Справедливость". Через несколько лет напишет свои статьи о справедливости (применительно к проблеме веротерпимости) Владимир Соловьев[43]. Чехов к этому времени уже высказал свое понимание справедливости. Он приложил это понятие к повседневной жизни, к реальному миру людей, каждый из которых является носителем своей правды. Как будет сказано в первоначальном варианте "Чайки":

"– Всякий по-своему прав, всякий идет своим путем.

– Вот потому-то, что всякий по-своему прав, все и страдают"[44].

Несправедливость, в понимании Чехова, – это неспособность понять другого, встать на его точку зрения. Люди не способны в суете и спешке заметить громадную тоску смешного маленького человека, извозчика Ионы Потапова ("Тоска"). На признание в небывалой любви отвечают "осетриной с душком" ("Дама с собач-

кой"). В горе вместо сочувствия друг другу начинают злобно доказывать свои права, пусть тысячу раз обоснованные ("Враги"). В этой всеобщей, – но осуждаемой прежде всего в интеллигенции, – глухоте и слепоте он видит зародыши несправедливости. Зародыши, которые могут потом разрастись в большое несчастье – во вражду религий, наций, классов.

Другой пункт чеховских обвинений русской интеллигенции тесно связан с первым. Если отсутствие с п р а в е д л и в о с т и проявляется прежде всего в абсолютизации своей "правды" и неумении услышать и понять другого, в непримиримости к инакомыслию, – больше всего это проявляется в пристрастии русской интеллигенции к п а р т и й н о с т и.

"Во всех наших толстых журналах царит кружковая, *партийная* скука. Душно! Не люблю я за это толстые журналы, и не соблазняет меня работа в них. *Партийность*, особливо если она бездарна и суха, не любит свободы и широкого размаха" (2, 183). Заявить так в конце 80-х годов, когда в среде русской интеллигенции отчетливо пролегли размежевания по идеологическим признакам, когда вожди складывавшихся литературных (пока) кружков, партий требовали единомыслия от своих сторонников, – значило отмежеваться от того, что становилось едва ли не главным отличительным признаком интеллигенции. Партийность политическая заявит о себе к концу чеховской эпохи, но им уже было указано, что жертвами всякой партийности становятся человеческая свобода и подлинный талант. Отказ от подчинения личности узкой, бездарной и сухой партийности был его ответом на поразившее интеллигенцию его эпохи деление на "насих" и "ненасих". При этом оборотной стороной партийной узости и идейной тирании ему виделись безыдейность и беспринципность. "Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я никогда не был" (4, 56). "Идейность" названа Чеховым первой среди признаков "людей подвига" в его знаменитом некрологе Н.М. Пржевальского.

Уже первые определения интеллигенции (что ткачевское, что боборыкинское) отделяли ее от остальной части нации и проводили разделения, размежевания внутри нее. Чеховская точка зрения была иной. Как писатель он искал в своих героях-интеллигентах не сословное, кастовое, а то, что объединяет их со всеми людьми. Все его герои – мужик и профессор, студент и помещик, сапожник и офицер – в принципе уравнены по отношению к тем вопросам, которые стоят перед каждым человеком.

Характерны его формулы, так сказать, самоидентификации – тех "мы", к которым он относил свое "я": множеств, групп, общностей, социумов. Достаточно проследить по чеховским письмам его самоопределения русского интеллигента: вначале – мы, "университетские"; мы – газетчики; мы – "пишущие по смешной части"; мы – артель писателей-восьмидесятников; а после – "мы, уездные лекаря"...

Но за причастностью к той или иной интеллигентской корпорации (образовательной, профессиональной) для Чехова всегда стояло и иное самоощущение. Перед поездкой на Сахалин в его письме появляется новая формула идентификации: "все мы". В с е м ы – это интеллигенция, образованное общество, от которого Чехов себя не отделяет. Герой его драмы Иванов говорит: "Ведь *нас* мало, а работы много, много!" – это голос интеллигента чеховского поколения.

С этим в с е м ы связана не только идея общего долга, но и чеховская идея общности вины и ответственности за совершающееся. Ведь в зле Сахалина виновато не правительство, не администрация, "красноносые смотрители", а – "виноваты *все мы*" (4, 32). Книга "Остров Сахалин" пробуждает чувство ответственно-

сти каждого за совершающееся зло – и вывод: не забывать о зле, не обольщаться своим неучастием в нем, не питать иллюзий насчет собственной непричастности. А в написанном после Сахалина рассказе "Гусев" Чехов показал честного, но несправедливого, не желающего видеть своей ограниченности, а потому поверхностного интеллигента-протестанта. Он отверг путь поверхностного обличительства и призвал российских интеллигентов не обольщаться собственной правотой, показав ее мнимость.

Говоря о вине каждого, Чехов спорил с традиционной для русской интеллигенции позицией в ответе на вопрос "кто виноват?". Сословный, классовый, партийный ответ представлялся Чехову и несправедливым, и узким (в перспективе же нашей истории он-то и возымел большое и зловещее будущее). К другим интеллигентским мифам и стереотипам его отношение было не менее скептическим.

После Сахалина Чехов еще более расширяет границы того "мы", с которым он готов себя отождествить: "Все мы народ, и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное" (записная книжка за 1891 г.). Здесь м ы расширяется предельно: народ – главный предмет раздумий и споров интеллигенции, основная субстанция величайших произведений русской литературы, грозная стихия грядущих в XX в. катаклизмов.

Говоря о народе как понятии наиболее общем, всех в себя включающем, Чехов, как обычно, вносит ноту несогласия, спора с принятым в его время толкованием. Смысл его фразы – возражение и государственно-административному пониманию народа как низших классов, податного сословия, тех, "кто глупее и грязнее нас", и принятому в народнической – в широком смысле – литературе сведéнию народа опять-таки лишь к мужику, крестьянину.

Чехов снимает характерное для интеллигентской публицистики противопоставление: м ы – представители привилегированных классов, образованное общество, и о н и – крестьяне, мужики, народ. В мире Чехова обе эти неизменно соотнесенные категории русской мысли и жизни десакрализованы. В цитированном письме 1899 г. к И.И. Орлову Чехов высказал горькие истины о российской интеллигенции, как за два года до этого, в "Мужиках", сказал он не менее горькие истины о русском крестьянстве. "Спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям – интеллигенты они или мужики..." (8, 101). Ни народопоклонничество, столь характерное для интеллигенции конца XIX в., ни поклонение каким-либо другим классу, сословию, партии над Чеховым власти не имели. Это мироощущение "мы" как общенародного (а не только общеинтеллигентского) определяло позицию Чехова.

Итак, заслугу беллетриста П.Д. Боборыкина можно видеть в том, что он придал понятию "интеллигенция" то значение, которое закрепилось в дальнейшем: значение не просто сословное (образованные люди, работники умственного труда), а определенное морально-ценностное. Само историческое положение и поведение русской интеллигенции закрепляло за понятием это значение. Следующий шаг был сделан А.П. Чеховым. Именно в Чехове русская интеллигенция заявила о себе не сословно, а нравственно. В полной мере сознавая долг интеллигенции перед народом и страной, своей жизнью он показал образец исполнения этого долга. Но отнюдь не выражение интеллигентской кастовой идеологии находим мы в его произведениях. Редко обнаруживая в реальном бытии русской интеллигенции соответствие высоким ценностям, он дал оценку и духовному потенциалу своих современников-интеллигентов, и тем идеям и теориям, которые претендовали на руководящее

положение. Не о правах, а об обязанностях интеллигенции говорит он. Только способность судить себя по самым высоким меркам, не кичась своей особенной "правдой", предъявлять прежде всего к себе нравственный счет – таков критерий интеллигентности у Чехова. Поднявшись в своем творчестве над кастовыми, сословными претензиями интеллигенции до высот общечеловечности, Чехов ввел понятие русской интеллигентности в круг общечеловеческих ценностей.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: Встречи с прошлым. М., 1990. Вып. 7. С. 514.

[2] *Леонов Л.* Собр. соч. М., 1961. Т. 5. С. 214.

[3] См., например: *Туган- Барановский М.И.* Интеллигенция и социализм // Интеллигенция в России. СПб., 1910. С. 248; *Дживелегов А.К.* Интеллигенция // Энциклопедический словарь бр. Гранат. 7-е изд. 1914. Т. 22. С. 59–60.

[4] Это находит отражение во всех толковых и двуязычных словарях. Немецкий Brokhaus-Lexikon (in 20 Bd. Mannheim, 1989) наряду со словами *Intellektueller, Intelligenz* дает, в двояком написании, слово *Intelligenzija, Intelligentsija* с пояснением: "Возникшее в 1860-е годы в России название социальной группы образованных людей, по преимуществу выходцев из духовенства, позднее – вовлеченных в общественную, нередко антиправительственную деятельность интеллектуалов..." (Bd. 8. S. 308). Другой немецкий толковый словарь (Meyers Grosses Taschenlexikon: In 24 Bd. Mannheim; Wien, Zürich, 1981) дает слову *Intelligenzija* сходное толкование: "Установившееся в 1860-е годы название радикальной, революционной духовной элиты русского образованного слоя..." (Bd. 10. S. 266). С пометой *mot russe* приводят слово *intelligentsia* французские Dictionnaire alphabétique de la langue francaise (P., 1957. Vol. 4. P. 42) и Nouveau petit Larousse (P., 1968. P. 549). Большой англо-русский словарь под ред. И.Р. Гальперина (М., 1979) наряду со словами *intellectual, intelligence* также дает как самостоятельную единицу русское по происхождению *intelligentsia, intelligentzia.*

[5] Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1. Стб. 1214.

[6] *Войнович В.* Совесть народа? // Культура. 1992. 12 дек.

[7] См.: *Иванов А.* Интеллигент – это кто? // Книжное обозрение. 1992. 13 мар.; *Рац М.* Интеллигенты или интеллектуалы? // Там же. 1995. 31 янв.

[8] См.: Известия. 1993. 17 апр.

[9] *Мамардашвили М.* Медиум или всеобщее чувствилище? // Лит. газета. 1996. 17 июля.

[10] *Струве П.Б.* Интеллигенция и революция // Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. 4-е изд. М., 1909. С. 158–159.

[11] См.: *Виноградов В.В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. М., 1938. С. 389, 394, 397, 399; *Сорокин Ю.С.* Развитие словарного состава русского литературного языка: 30–90-е годы XIX века. М.; Л., 1965. С. 147; *Боровой Л.Я.* Путь слова: Старое и новое в языке русской советской литературы. 2-е изд. М., 1963. С. 312.

[12] *Billington J.H.* The intelligentsia and the religion of humanity // The American Historical Review. 1960. July. Vol. 65, N 4. P. 807–821; *Pollard A.P.* The Russian intelligentsia: the mind of Russia // California Slavic Studies. Berkeley; Los Angeles, 1964. Vol. 3. P. 1–32; *Müller O.W.* Intelligencija: Untersuchungen zur Geschichte eines politischen Schlagwortes. Frankfurt a.M., 1971. 419 S.; *Idem.* Ein literarisches Modell der Rezeption von *Intelligencija* bei P. Boborykin // Festschrift für Alfred Rammelmeyer. München, 1975. S. 251–260.

[13] *Степанов Ю.С.* Константы: Словарь русской культуры: Опыт исследования. М., 1997. С. 610–628.

[14] *Боборыкин П.Д.* Русская интеллигенция // Рус. мысль. 1904. № 12. С. 80 [вторая пагинация].

[15] Рус. вестн. 1866, август. С. 647.

[16] См.: *Pollard A.P.* Op. cit. P. 7; *Сорокин Ю.С.* Указ. соч. С. 147.

[17] О более ранней этимологии слова см.: *Степанов Ю.С.* Указ. соч. С. 610–613.

[18] Ср. два перевода одного и того же фрагмента: "*Разумение* производительно двояким образом..." (*Шеллинг Ф.М.Й.* Введение в умозрительную физику / Пер. Н.К. [Куляндцева]. Одесса, 1833. С. 3) и современный перевод М.И. Левиной: "*Интеллигенция* продуктивна двояко..." (*Шеллинг Ф.М.Й.* Соч.: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 182).

[19] *Боборыкин П.Д.* Собр. соч. СПб.; М., 1885. Т. 4. С. 47.

[20] Там же. Т. 5. С. 196. Далее в тексте ссылки на страницы этого тома.

[21] *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1970. Т. 9. С. 38.

[22] *Аксаков И.С.* Полн. собр. соч. М., 1886. Т. 6. С. 201. Далее в тексте ссылки на страницы этого тома.
[23] *Ткачев П.Н.* Избр. соч. М., 1932. Т. 1. С. 274, 275.
[24] *Стронин А.* Политика как наука. СПб., 1872. С. 22.
[25] *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. СПб.; М., 1881. Т. 2. С. 46.
[26] *Боборыкин П.Д.* Собр. соч. СПб.; М., 1885. Т. 6. С. 41, 42. Далее в тексте ссылки на страницы этого тома.
[27] См.: *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1960–1968. Письма. Т. 13. С. 90.
[28] См. об этом: *Рашковский Е.Б.* Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока XIX–XX вв. М., 1990. С. 118–120.
[29] Рус. мысль. 1904. № 12. С. 81–88 [вторая пагинация].
[30] Вехи... С. 4, 5.
[31] Ср. резко критическое восприятие сборника в статье Толстого «О "Вехах"» (*Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 38) и в статьях Ленина "Идеология контрреволюционного либерализма", «О "Вехах"» (*Ленин В.И.* Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 19).
[32] *Степанов Ю.С.* Указ. соч. С. 647.
[33] Там же. С. 644.
[34] *Николаев Ю.* Литературные заметки: Новый рассказ г. Чехова. А.П. Чехов "Бабье царство" // Моск. ведомости. 1894. 27 янв.
[35] *Николаев Ю.* Литературные заметки: Бедная невеста. По поводу рассказа А.П. Чехова "Анна на шее" // Моск. ведомости. 1895. 26 окт.
[36] *Булгаков С.Н.* Чехов как мыслитель // Булгаков С.Н. Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 159, 160.
[37] Вехи... С. 138.
[38] См.: Исайя Берлин в 83 года // Сегодня. 1993. 25 сент. С. 13.
[39] Выражение из письма Чехова к А.Н. Плещееву от 14 мая 1889 г. Цитаты из писем Чехова, с указанием в скобках тома и страницы, приводятся по изданию: *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: в 12 т. М., 1974–1983.
[40] См.: Переписка А.П. Чехова: В 3 т. М., 1996. Т. 3. С. 497–498.
[41] См.: *Катаев В.Б.* "Враги": интерпретация эпохи перестройки // Театр. 1991. № 1. С. 114–119.
[42] *Ермилов В.* А.П. Чехов. М., 1954. С. 116.
[43] *Соловьев Вл.* Спор о справедливости. Конец спора (1894) // Соловьев Вл. Собр. соч. 2-е изд. СПб., 1911. Т. 6.
[44] *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем. Соч.: В 18 т. Т. 13. С. 263.

Н.М. Зоркая

ФОРМУЛА ПРЕОБРАЖЕНИЯ

(ТРИ СУДЬБЫ)

Речь пойдет о русской интеллигенции на рубеже 1917 г. и о дальнейшем ее существовании, о художественной элите, о тех, кто так или иначе, но добровольно принял революцию, свершенную большевиками, и постепенно превратился в "передовых деятелей советской культуры"; об интеллигенции как феномене, как о материке, до конца не разгаданном, как бы много о нем ни было написано и говорено. Проследить пути и причины отдельных, частных, индивидуальных решений – нить маршрута к более точному знанию об искусстве при российском коммунистическом режиме и – шире – об искусстве в условиях служения, содержания и принуждения – задача нашего исследования.

© Н.М. Зоркая, 2000

Обратимся же к конкретному биографическому материалу и попробуем внимательно прочесть его еще раз. Перед нами три творческие судьбы представителей интеллигенции, служителей советского искусства, к тому же и искусства привилегированного, кинематографа, объявленного Лениным "самым важным из искусств" и утвержденного еще в качестве "самого массового" Сталиным.

Необходимо отказаться от крайностей. Ведь умиленное воспевание социалистического экрана (при поддержке левой западной кинокритики) в течение семи десятилетий с перестроечной легкостью сменилось бойким нигилизмом и беспечными заявлениями, что кинематограф был лишь "преступной организацией, обслуживающей власть"[1]. Столь же устарело и грубое деление огромного и неоднородного художественного наследства семи советских десятилетий на три блока: официальный сталинизм, андеграунд ("потаенная Муза", примыкающие к ней гонимые художники) и авангард 1920-х, который при всей своей открытой наступательной коммунистичности получал сатисфакцию благодаря эстетическому всемирному престижу. Сейчас, мне кажется, для анализа интереснее всего разного рода симбиозы, прорастания, конгломераты, сплавы – эти странные, уродливые и порою прекрасные сочетания, которыми так богата эпоха социалистического искусства. Иначе исследователям и историкам в XXI в. не понять таких феноменов, как, скажем, расцвет шекспировской сцены, увенчанной балетом "Ромео и Джульетта" С. Прокофьева, в эпоху Большого террора, как театр ГУЛАГа или историко-революционная проза "Доктора Живаго" Бориса Пастернака.

Итак, перед нами три знаменитых советских кинематографиста. Люди поколения, к которому принадлежали Эйзенштейн (старший) и Козинцев (младший), по удачному выражению Вяч.Вс. Иванова, – "сгустки истории, она отпечатана на них и их судьбах"[2]; Тарковский – их прямой наследник и продолжатель.

1

«Не могу похвастать происхождением. Отец не рабочий. Мать не из рабочей семьи.

...Что же дала революция мне и через что я навеки кровно связан с Октябрем?

Революция дала мне в жизни самое для меня дорогое – это она сделала меня художником.

Если бы не революция, я бы никогда не "расколотил" традиции – от отца к сыну – в инженеры» – так начинается "Автобиография", написанная Сергеем Михайловичем Эйзенштейном в 1939-м[3]. Всемирно признанный творец "Броненосца Потемкина", советский "кинематографист № 1" уже познал и фанфары государственной славы, и опалу, и гибель запрещенного фильма "Бежин луг" (1937), и новый фавор – официозные восхваления военно-патриотического "Александра Невского", снимавшегося под надзором НКВД. На фоне сталинской доски почета, сонма героев-стахановцев из пролетариата и кухарок – членов правительства из беднейшего крестьянства Эйзенштейн вновь и вновь возвращается к теме своего социального происхождения и прихода в революцию, объясняясь, оправдываясь: "через революцию – в искусство, через искусство – в революцию".

Это в постсоветское время, когда возродилось благоговение перед чинами и регалиями эры царизма, Эйзенштейн мог бы смело похвастать родством. Отец, Михаил Осипович, – гражданский инженер и архитектор города Риги, действительный статский советник, удостоенный потомственного дворянства. Мать, урожденная

Конецкая, – наследница петербургского речного пароходства, из богатого русского купечества. "Сливки" рижского общества, роскошный дом, журфиксы, вист по вечерам, званые обеды, челядь и все прочее. Хотя по своей инженерной и архитекторской профессии отец семейства принадлежал к интеллигенции, достаток, уклад, "трен" дома Эйзенштейнов был буржуазным. Наследнику же и единственному сыну суждено было пополнить племя "блудных детей" российской буржуазии, тех, которые "выламывались" из своего класса, прожигая жизнь и отцовские капиталы в пьянстве, подобно героям романов М. Горького, играя в революцию, как петербургская барышня Шурочка Домонтович, ставшая большевичкой Коллонтай, или – кто может! – уходя в искусство. В элите ранней советской художественной интеллигенции, в тройке лидеров режиссерского авангарда 1920-х Эйзенштейн займет место вслед за сыном пензенского водочного магната Всеволодом Мейерхольдом и наследником табачной торговли во Владикавказе Евгением Вахтанговым. Но если последние свернули с уготованной им колеи еще в мирное время, то в судьбу Эйзенштейна, что настойчиво подчеркивал он сам, вмешалась повивальная бабка – революция.

О детстве мальчика из Риги ("мальчик-пай" – так он назвал себя) много написано биографами разного толка. Даны психоаналитические, социологические, педологические и иные разъяснения страданий и травм внешне столь благополучного, но внутренне трагического детского бытия. В нем видится едва ли не первая причина разрыва юноши с прошлым, более важная, нежели впечатление от разгрома революции 1905 г. (социологическое толкование), репрессий, свидетелем которых стал мальчик, наделенный редкостной чувствительностью и ранней зрелостью ума[4]. Бунт против отца приравнивается по своему судьбоносному значению к революционному бунту 1917 г. Действительно, тема отцовского деспотизма и сыновнего рабства проходит буквально через всю дальнейшую жизнь художника, питает его замыслы. И вполне мирный, тщеславный, образцовый буржуа Эйзенштейн-старший вырастает в фигуру тирана, отождествляется аж с самим Иваном Грозным и – по умолчанию – с тенью Сталина за кадром. Близко, кажется, банальный "эдипов комплекс", но и он легко опровергается таким, например, пассажем:

«Меня в детстве, очень рано, пугала маменька. Она говорила:

"Ты думаешь, я мама? Я – вовсе не мама..." Она при этом делала неподвижное лицо с остановившимися стеклянными глазами. И медленно надвигалась на меня. Неподвижное лицо. Маска с остановившимися глазами (Отсутствие живого лица!) Так же тупорыла и "свинья" с темным прорезом в шлемах вместо живого глаза (Речь идет о тевтонской коннице – "свинье", наступающей на русское войско в "Александре Невском". – *Н.З.*).

Одесская лестница ("Потемкин"). Сапоги солдат. Безлики...»[5].

Запись пугает. Шеренга солдат-карателей на Одесской лестнице – образ тупой и беспощадной смертельной силы – и надвигающийся на зрителя по снежной белизне безглазый металл шлемов и лат – это навеяно материнским лицом над колыбелью!..

Тайны того далекого рижского детства (как и подспудная жизнь взрослого Сергея Эйзенштейна) унесены в могилу и до конца их не разгадать. Но биографические факты складываются в довольно простую и типическую для смутных революционных лет картину. Из инженерного института юноша попадает в Красную Армию, работает сапером, чертежником, техником, прорабом на военном строительстве, расписывает агитпоезда, подвизается художником в солдатских самодея-

тельных труппах. С достоинством истинного аристократа он, выросший в комфорте, свободно говорящий на трех иностранных языках, щеголь, книгочей, спит на нарах, носит разбитые сапоги с обмотками, обедает сухой воблой, запивая кипятком. Песчинка в потоке истории? Не совсем. Ведь в обороне Петрограда от белых от участвует добровольно; а прощаясь с отцом, решительно отказывается от предложения вместе уехать из России[6].

Звезда ведет его в театральную Москву, в Первый рабочий театр Пролеткульта. Недавно опубликованное письмо к матери 1920–1921 гг. с трогательной наглядностью демонстрирует одержимость молодого человека творчеством или – точнее – стремлением к самовыражению во что бы то ни стало[7].

"Через революцию в искусство!" Бросается в глаза безразличие к качеству материала для спектаклей. Изысканный эстет в своих вчерашних театральных вкусах, поклонник блистательного "Маскарада" в постановке Вс. Мейерхольда на Александринской сцене, он не брезгует драматургией пролеткультовских вождей-графоманов, лишь бы режиссировать. Джек Лондон, бездарный Плетнев, современное политобозрение "Мудрец" вместо классической пьесы Островского. Но игра молодых сил и озорная эксцентриада вскоре должны уступить второй половине формулы – "через искусство в революцию!" Эйзенштейн рассказывает: «С этим же театром мы врастаем (1924) в первую киноработу "Стачка" ("К диктатуре") – цикл картин по истории партии"[8].

"По истории партии", – пожалуй, преувеличение, дань 1939 г., когда писалась "Автобиография", а вся страна уже обязана была проходить и заучивать "Краткий курс истории ВКП(б)". Но в ангажированности, в прямом пропагандистском характере революционного триптиха Эйзенштейна – "Стачка", "Броненосец Потемкин", "Октябрь" – сомневаться не приходится. Это были партийно-правительственные заказы и "приказы по армии искусств" (Маяковский), выполненные со всем темпераментом и пылом неофита в юном художестве – также "неофите", "Седьмом искусстве", "Десятой Музе" – так быстро и пышно стали именовать кинематограф.

Общеизвестны характеристики ранних фильмов Эйзенштейна как произведений принципиально нового жанра – р е в о л ю ц и о н н о й (или "и с т о р и к о-р е в о л ю ц и о н н о й") к и н о э п о п е и, не имевшей предтеч ни на русском дореволюционном экране, который Эйзенштейн презирал и игнорировал, ни даже в великой "Нетерпимости" Д.У. Гриффита, этой монументальной философской фреске, по которой Эйзенштейн учился кинематографу. Полный отказ от традиционного сюжета ("индивидуальной драмы"), конфликты, прямо отражающие противостояние революции и контрреволюции (старой законности, порядка), движение масс взамен борьбы характеров и т.д. Неоднократно высказывалось мнение, что кинокамера творца эпопеи – это "точка зрения очевидца": историческое событие прочувствовано здесь как факт авторской биографии, благодаря чему устранена классическая граница между эпосом и лирикой, между эмоцией личной и эмоцией социальной, и сама революция, сама история является одновременно и объектом и "субъектом" изображения. Однако следует более пристально всмотреться в акт интерпретации события на экране, в механизм и направление переноса.

Наверное, никто не поставит в вину художнику бравурный финал "Броненосца Потемкина": образ победоносного корабля, который рассекает волны, как бы вплывая в темноту зрительного зала – "в бессмертие", "в вечность". Пусть восста-

ние на "Потемкине", как и революция 1905 г. в целом, было подавлено, пусть матросские вожаки были расстреляны, но символика, эмблематика фильма законны – на то творческая воля автора. Но в "Октябре", где документализм (пусть и особый, эйзенштейновский, сочетающийся с интеллектуальными "сериями" кадров, долженствующими воплощать некие понятия – "Бог", "Восхождение к власти" и т.п.) декларировался в качестве принципа объективной хроники 1917 г., "точка зрения очевидца", позиция летописца-наблюдателя постепенно мистифицируются, и в обличье хроники предстает "политика, опрокинутая в прошлое".

«Помню – сам я попал под уличную стрельбу. По Невскому двигались знамена. Шли демонстрации. Я заворачивал на Садовую. Вдруг стрельба, беготня. Ныряю под арку Гостиного двора. До чего же быстро пустеет улица при стрельбе!

...Так и видишь скачущий бег вприпрыжку людей, непривычных и неприспособленных к бегу.

...Эти дни оказались историей. Историей, о которой так скучалось и которую так хотелось трогать на ощупь. Я сам воссоздавал их десять лет спустя в картине "Октябрь".

...прервав уличное движение на углу Невского и Садовой»[9].

Речь идет о сцене расстрела демонстрации 3 июля 1917 г., об одном из самых убедительных эпизодов фильма именно благодаря "точке зрения очевидца". Но среди воспоминаний о Петрограде 1917-го (Эйзенштейн уже студент Инженерного института) находим и следующее:

"...С часок я приводил в порядок заметки о граверах XVIII века.

И отправился спать. Где-то в городе далеко стреляли как будто больше обыкновения. У нас на Таврической было тихо. Ложась спать, я педантично вывел на заметках дату... 25 октября 1917. А вечером дата эта уже была историей"[10].

Совсем по-иному будет выглядеть ночь восстания на экране "Октября". Постановщик гигантской эпопеи-хроники оторвется от Калло и Гойи и сочинит мощную картину города, целиком охваченного революционным порывом. К большевистскому Смольному у Эйзенштейна-режиссера стягиваются силы трудящихся, спешат грузовики с отрядами добровольцев. А на берегу Невы, в бывшей царской цитадели – Зимнем дворце, трясутся от страха перед гневом народные министры соглашательского Временного правительства. И это уже полностью отвечает советскому сценарию событий 25 октября 1917 г. (в предыдущих частях фильма "Октябрь": карьера пустозвона Керенского, море людей вокруг броневика Ленина у Финляндского вокзала и другие эпизоды, которые в дальнейшем станут хрестоматийными).

Эйзенштейну же принадлежит экранная версия штурма Зимнего дворца – события, вошедшего в официальную историю именно *через посредство* художественного образа – любопытная инверсия! Ведь так и осталось неизвестным, штурмовали ли матросы чугунные узорные ворота перед дворцовыми подъездами с Невского проспекта – свидетельства весьма противоречивы. Но зато в школьных учебниках, в солидных исторических трудах фигурируют в качестве подлинных *фотодокументов* именно кадры из кинофильма "Октябрь", где черные бушлаты эффектными гроздьями висят на затейливых орнаментах решеток и река восстания прорывается внутрь твердыни. Это канонизировано советской историографией как первоисточник, как документальный материал, это включается в виде подлинной съемки 1917 г. (а не режиссерской реконструкции спустя десятилетие!) в позднейшие художественные фильмы.

Так художественная фантазия подменила собой реальное событие, или – точнее – "отредактировала" его. Фильм "Октябрь" явил собой как бы "чистовик" 1917 г., его "чистый дубль", его "второе издание, исправленное и дополненное", а постановщик оказался творцом мифа об Октябре как о великолепно подготовленном, высокоорганизованном и возглавленном большевистской партией всенародном восстании – социалистической революции в России. Только такая нерадивая власть, как советская, заполучив себе на службу гения, могла в дальнейшем делать все, чтобы мешать ему работать, сводить его в гроб и оказать ему лишь одно благодеяние: он не был отправлен в ГУЛАГ.

Границы между мифом и поэтическим вымыслом, между допуском и фальсификацией в XX в. настолько зыбки, что лучше обойтись без оценок идейной позиции автора кинотриптиха. Немые фильмы Эйзенштейна и сегодня покоряют пластическим совершенством. Но есть в них еще и глубоко личное, нечто страстью и темпераментом изнутри нарушающее классическую гармонию и жесткое выверенное мастерство.

Это – тема страдания и гибели беззащитного. Особенно – ребенка. Сам Эйзенштейн склонен был искать в этом вымещение жестокости, в детстве "не нашедшей своего приложения к мухам, стрекозам и лягушкам" – рижский "мальчик-пай" животных не мучил. В этом объяснении, как мне кажется (и в некоторых других пунктах тоже), больше своего рода стилизации à la Фрейд, которым он увлекался, нежели автопсихоанализа всерьез. Но даже если признать, что автору известнее его намерения, то со стороны виднее художественный результат. Нет, нет! Не сладострастие садистских и садомазохистских забав (а уж их-то мы насмотрелись за наш век на экране!), а душераздирающую жалость к жертве и сопереживание вызывают эти образы, порожденные памятью и трагическим видением художника. И мальчик, пускающий кораблик в луже крови, и рядом на пороге мать в обмороке с просыпанной крупой. И другой – под копытами казацких лошадей. И убитая белая лошадь-красавица, поднимающаяся к небу вместе с лопастью разведенного невского моста, и руном падающие вниз, к воде, белокурые волосы убитой девушки. И, конечно, смертельный хаос на ступенях Одесской лестницы под залпами карателей, вытекающий глаз старой учительницы, обезумевшая мать с мертвым сыном на протянутых руках и другая мать, молодая, беспечная и насмерть раненная, последним взмахом руки толкающая коляску с кричащим младенцем вниз по лестнице к обрыву в море – нестерпимо долго, мучительно, обретая некую призрачность, подскакивает на ступенях белая колясочка-катафалк, и камера следит за ее гибельным бегом – пожалуй, самые знаменитые кадры мирового экрана, знакомые, хотя бы на слух, по рассказам, и тем, кто и понятия не имеет ни об Эйзенштейне, ни об Одессе, ни о "Потемкине"...

Сценарные и режиссерские разработки, варианты, наброски, в обилии сохранившиеся в архиве постановщика, свидетельствуют, что за каждым кадром, вошедшим в фильм, стоят еще десятки сходных: избиения гимназистов полицейскими, издевательства над арестованными в участке, бесчинства обысков, вспоротые подушки и убитые старики во время еврейских погромов, расстрелы, виселицы – страшный мир, жертвы которых вопиют о возмездии. Мучители всегда – власть предержащие и их холуи, прогнившая царская Россия. Авторское отождествление себя неизменно едино – с жертвой ненавистного строя (хотя здесь стоит еще раз вспомнить о материнском пугающем лице над колыбелью, которому суждено преобразиться в сапоги солдат на Одесской лестнице). Революционные же расправы с врагами и

абсолютно справедливы, чуть-чуть "невсамделишны", "киношны". Они вызывают в зрительном зале скорее смех, чем жалость: офицер, скинутый в море матросней, летит с палубы, как кукла; вместо судового врача, вздернутого на рею, висит его разбитое пенсне ("pars pro toto", – комментирует Эйзенштейн) и т.д.

Между тем в жизни к началу его работы над юбилейным революционным киноэпосом уже давно была расстреляна царская семья, девушки-княжны и малолетний больной мальчик-цесаревич; был убит Николай Гумилев; в подвалах ЧК и в темницах тюрем томились безвинные, а в Белом море, на Соловецких островах, уже функционировал учрежденный Лениным концентрационный лагерь. На неслыханную жестокость революции на экране нет ни малейшего намека, ни даже на самом зашифрованном "эзоповом" языке. Классовая (или точнее – идеологическая) позиция эйзенштейновских фильмов 1920-х однозначна и тенденциозна. С этим связано и отступление Эйзенштейна от традиционного христианства, от православия, в котором был воспитан глубоко церковной по материнской линии семьей, и, более того, он, согласно собственным признаниям, пережил в канун революции, в 1916 г., период религиозного подъема. Однако датой последнего причастия остался для него тоже 1916 г.

В последнем творении мастера – во второй серии "Ивана Грозного", датированной 1945-м, запрещенной Сталиным и выпущенной лишь в 1958-м, – найдено иное решение мотива жертвы. Коварное и подлое убийство царем-маньяком юродивого, Владимира Старицкого, виновного лишь в том, что у него есть права на престол, развернуто в огромную сцену "черной мессы" и кровавого пира Ивана – поистине адской симфонии зла. Накал жестоких страстей доводится до крайнего предела, прежде чем, как писал Эйзенштейн, "всей массе черных опричников черной лавиной затопить внутренность собора, в котором среди них и еще более – черных их теней с еле слышным стоном захлебнется в темноте утробы ночного собора беспомощный, жалкий и вместе с тем взывающий к жалости Владимир"[11]. И хотя фильм "Иван Грозный", задуманный как трилогия, должен был прославлять единовластие и оправдывать преступления деспота "ради русского царства великого", эффект получался обратный. Все сочувствие отдавалось "очаровательному" (слово самого Эйзенштейна), блаженному юноше-ребенку, этому неведомому князю Мышкину XVI в., жертве самовластительного злодея.

Творец революционного киноэпоса большевиков, пройдя многие искусы "Великой Утопии" СССР, возвращался к традиционной нравственной теме русского искусства, к пушкинскому "Борису Годунову", к сжигающей Достоевского "слезинке ребенка". И умер, подвергнутый остракизму, в опале, мучеником.

2

"Приход в революцию" другого классика – корифея советского кино, Григория Михайловича Козинцева, схож с эйзенштейновским, хотя он (1905-го года рождения) был моложе на семь лет, что в тогдашнюю пору определяло существенную разницу биографий.

Козинцева можно считать "интеллигентом во втором поколении". Он родился и вырос в Киеве, в фешенебельном и красивом районе у Днепра, учился в лучшей городской гимназии возле Лавры, был окружен любовью и заботой близких – жизнь сызмала улыбалась ему! Родственниками были медицинские знаменитости, но дети, Гриша и Люба (в дальнейшем Любовь Михайловна Козинцева-Эренбург),

тянулись к искусству и с ранней юности вращались в молодежной художественной среде. Киев – один из культурных центров русского "серебряного века" – переживал расцвет и в свой фантасмагорический конец эры царизма, когда по нескольку раз на неделе менялась власть (гетман, петлюровцы, "Рада", гайдамаки, красные и т.д. – см. "Белую гвардию" М. Булгакова или увлекательные мемуары самого Г.М. Козинцева "Глубокий экран"[12]). Подросток посещал школу живописи Александры Экстер, а вместе с Сергеем Юткевичем и Алексеем Каплером (в будущем тоже видными советскими кинематографистами) открыл собственный площадный театр-балаган "Арлекин" – таково было время!

Но – с командировкой в Петербургскую академию художеств в кармане пятнадцатилетний Григорий Козинцев в теплушке прибывает в северную столицу. 1920 год, гражданская война. Правда, ленинское правительство уже переместилось в более безопасный московский Кремль, но жизнь искусства бьет ключом, несмотря на голод, холод и разруху, – снова до конца не объясненный феномен русской революции, вообще России! Еще одна любопытная закономерность: те, кто возглавит послеоктябрьский киноавангард, в большинстве своем – провинциалы, красные "командировочные" с окраин империи (из Белостока – Дзига Вертов, из глухой украинской Сосницы – Александр Довженко, из Сибири – Михаил Ромм и Сергей Герасимов). В отличие от укорененных, столичных, таких, как театральные династии Малого и Александринского, как преемственность поколений в балете и опере, музыке, цирке. Новому времени нужно было новое искусство, а новому искусству – новые люди. Маргинальный статус "чужаков" подстегивал их активность, завоевание столичных подмостков и трибун.

Козинцев встретил журналиста-одессита Леонида Трауберга, чуть постарше себя, в тандеме с которым он будет неразлучен до 1945 г. Организованная ими театральная, а вскоре кинематографическая мастерская ФЭКС ("Фабрика эксцентрического актера" – название в духе эпохи) и ее работа – петроградская (и совершенно независимая) параллель театральным экспериментам Эйзенштейна в московском Пролеткульте: тамошний эпатирующий "Мудрец" по классику Островскому и здешняя "Женитьба" – "электрификация Гоголя", как сказано было в афише (среди действующих лиц – Альберт Эйнштейн, Чарли Чаплин, клоуны), веселое сценическое ревю "Внешторг на Эйфелевой башне" и киноэксцентриада "Похождения Октябрины" (1924) про советскую девушку-управдома, сумевшую победить "акулу капитализма". Все искрилось, кувыркалось, мчалось, кинокамера взлетала аж на шпиль Петропавловской крепости, и все было стопроцентно "просоветским". Добровольно и радостно ангажированное новой действительностью, молящееся на Маяковского, влюбленное в свою "левизну", это юное и вполне инфантильное искусство не желало видеть трагедий окружающей его жизни, новых трагедий, порожденных самой революцией.

Правда, вглядываясь в фильмы "фэксов" (как стали называть молодых режиссеров для краткости), замечаешь в них один повторяющийся, настойчивый мотив. Мотив злобного разнузданного глумления над человеком беззащитным, душевно открытым, ожидающим помощи и добра, но получающим взамен оскорбления и пощечины. Из общего контекста творчества художника видно, что именно от Козинцева (а не от его соавтора Трауберга) шел этот мотив, обозначившийся уже в мелодраме "Чёртово колесо" (1926). Героя, светлоглазого моряка с революционного крейсера "Аврора", там хватало, завлекало и брало в плен уголовное воровское дно города – страшные лица-хари смыкали вокруг него кольцо. В исторической

ленте "СВД" над раненым декабристом, бредущим по снегам после разгрома восстания 1825 г. и попавшим в игорный дом, издевается пьяная толпа шулеров и проституток, уродливых масок. В гоголевской "Шинели" одиночество человека, его потерянность перед лицом чуждого и страшного мира достигали особого драматизма, а сцены, где над несчастным, маленьким и жалким Акакием Акакиевичем хохочет мерзкий хоровод ублюдков и воров, были полны экспрессивной силы.

По сути дела, это то же, что у Эйзенштейна, противостояние жертвы и карателя, только там беззащитному и безвинному грозит смерть или физическая боль, здесь же – непереносимое унижение.

Искренность и прочувствованность лейтмотива свидетельствовали об авторском неравнодушии, о личной, биографической его окраске. В поздних тетрадях Ко́зинцева находим этому подтверждение:

"Все, что я делаю, вышло главным образом из одного истока: актового зала Киево-Печерской пятой гимназии, с его огромной холодностью, блестящим паркетом, портретом государя императора в рост; строем, куда и я должен был становиться по ранжиру, и богом (в тексте оригинала с маленькой буквы. – *Н.З.*) – директором гимназии в вицмундире. Отсюда я хватил ужаса на всю жизнь.

Потом это же – зловещая, холодная пустыня, портрет, наводящий ужас, и представитель бога на земле, властелин моего живота – появилось в других обличиях, и я опять становился в строй по ранжиру, такой же ничтожный, принятый в числе троих по процентной норме.

Из теплого дома, его человеческих размеров, я попал в огромность холодного пространства... Здесь я был чужой, нелюбимый, бесправный, странный..."[13].

Эта знаменательная запись пока воспроизведена не до конца, продолжение – чуть ниже. Но сейчас важно опознать тот пункт, который послужил причиной детской травмы, повлиявшей на будущий душевный склад человека и художника, глубинной причиной раннего осознания собственной ущемленности, какой-то "недостачи" при всей лучезарности столь счастливого порога жизни. Пункт этот в советском обиходе будет называться "пятым", т.е. национальность, указываемая в гражданском паспорте СССР. Воспитанный на классической русской, как и мировой, культуре, с младенчества знавший наизусть Пушкина и Гоголя, поистине "русский европеец серебряного века", мальчик Козинцев вдруг оказывался "инородцем" и "иноверцем", будучи обязанным участвовать в процедуре молебна, как все остальные ученики, православные. Трудно ли вообразить ликование этого отщепенца поневоле, когда сняли со стен пугающие его императорские портреты. И прельщение кумачовыми тряпками лозунгов, отменой процентной нормы и черты оседлости, что привлекло к большевикам немало умных интеллигентных юношей-евреев из тех самых приезжих, которым теперь можно было дерзать без ограничений. Они не знали, что ждет их впереди.

Не знал и Козинцев, когда влюбленно погружался в суматошную новую жизнь и проклинал "свинцовые мерзости прошлого". Сцена-кокон, сцена-лейтмотив – апофеоз глумления над несчастным чужаком, безвинным – у фэксов 20-х годов всегда отнесена к буржуазии, к богатым хамам, к всевластным подонкам старого мира.

Но начальство советского государственного кинематографа требует вовсе не слез по несчастным и слабым, а прославления героя-победителя. По приказу из Москвы, как это уже было принято в начале 1930-х, Козинцев на киностудии "Ленфильм" ставит трилогию о русском большевике-подпольщике, первом "наркоме" –

по-старому – министре – революционного правительства. Тема – абсолютно чужая, материал – незнакомый, герои-пролетарии – очень далеки.

И тут находится выход из положения. На пути фэксов неожиданный крюк. Или – трюк. Хитроумный обход, принесший удачу.

Партийно-государственный заказ "из истории большевистской партии в период реакции после разгрома первой русской революции 1905 г." (как говорилось в студийной документации, на собраниях, в прессе) оказался на экране увлекательной и веселой полуавантюрной лентой. "Юность Максима", первая часть трилогии, больше всего напоминала лубочные книжки про знаменитых разбойников и сыщиков Арсена Люпена, Ника Картера или Ната Пинкертона (а также и "своих", российских – Ивана Путилина, Антона Кречета), которыми был завален прилавок в начале века. Подпольная деятельность партии, все эти конспиративные квартиры, замаскированные типографии, листовки-прокламации, сходки и маевки, за которыми охотится полиция и сыск, – все это смотрелось серией захватывающих приключений. И веселый питерский пролетарий Максим втягивался в большевистскую нелегальщину, постепенно становясь ее профессионалом, асом скорее не из-за "логики классовой борьбы", "эксплуатации", "уроков царской тюрьмы", как писали тогда и потом, а под влиянием своей подружки Наташи, подпольщицы со стажем, поистине королевы из лубочного и бульварного чтива, этакой Соньки Золотой Ручки, лихой, бесстрашной и вездесущей авантюристки, которая гуляет с городовым, обольщает жандармов и по поддельному паспорту служит гувернанткой у детей самого князя Святополка-Мирского.

Как не распознали? Как не закричали о "снижении темы", об "искажении образов революционеров-партийцев"?

При всей типичной для советской идеологической и цензурной непредсказуемости запретов и триумфов, хвалы или хулы здесь были, так сказать, объективные "смягчающие обстоятельства". Фильм был сделан исключительно умно, стилизован и задекорирован в "подлинную атмосферу эпохи", в "единый музыкальный напор времени" (Александр Блок). И снежная вьюга новогодней ночи с лихачами и шампанским, с буржуазным разгулом под звуки модных танцев ойры и галопа (музыку, как и ко всем следующим звуковым фильмам Козинцева, написал Дмитрий Шостакович), и рабочая слободка за Невской заставой с ее уютной нищетой, лоскутными одеялами, кудахтаньем кур и началом жизни трех друзей-товарищей, из которых одному суждено погибнуть в заводской аварии, другому – спиться, а уж третьему, Максиму, – попасть в большевики. Здесь было много тепла, обаяния, а песенка героя "Крутится, вертится шар голубой" стала любимым шлягером страны.

Тогда уже требовали, чтобы фильм "был понятен и академику, и колхознику", время экспериментов и авангарда прошло. "Юность Максима", как и снятый одновременно с нею "Чапаев" братьев Васильевых, нравилась общедоступностью. Ленинградских кинематографистов в качестве "реалистов", "народных художников", "создателей яркой портретной галереи героев революции и образов коммунистов" начали противопоставлять "ошибающимся", "формалистам", "заумникам" Эйзенштейну и другому основоположнику революционной эпопеи, постановщику "Матери", "Конца Санкт-Петербурга" и "Потомка Чингис-хана", – Всеволоду Пудовкину. Те уже сидели с закрытыми фильмами, с разносными статьями. Этих поднимали на щит и объявляли "кинорежиссерами второго призыва" (в отличие от тех, устаревших корифеев).

Но насколько были искренни новые удачники? Сознательно ли избрал Козинцев миссию портретирования большевиков? Жанр возрожденной "индивидуальной драмы характеров", отмененной Эйзенштейном ради революционной эпопеи масс? "Драмы характеров", реализуемой, однако, в виде борьбы "наших", "красных" с "белыми": фабрикантами и их холуями-мастерами, тюремщиками, шпиками, провокаторами, охотнорядцами, ренегатами революционной когорты 1905-го?

Очень трудно ответить на этот вопрос. Как и вообще проникнуть в психологию интеллигента той эпохи. Достоверные письменные свидетельства крайне скудны. Террор набирал темп, и люди боялись давать материал для обысков, бумаг не оставляли, письма уничтожали. И могло ли быть иначе, если вчерашний герой революции, орденоносец и сподвижник Ленина, сегодня объявлялся врагом народа и японским шпионом, если было известно, что ваш друг способен донести на вас? Куда уже дальше ходить, когда главный покровитель трилогии о большевике, председатель Комитета по делам кино Борис Шумяцкий, сам из старых коммунистов-подпольщиков, можно сказать, один из прототипов Максима, не дожил до окончания съемок второй и третьей серий, был "разоблачен" как враг народа, арестован и расстрелян!

Нет сомнения, что трилогия о Максиме и особенно первая ее часть – "Юность" – сделана с любовью к герою. Но к кому именно, кто он?

При всех отсылках в статьях, интервью и лекциях к трудам по истории партии, к мемуарам ленинцев и прочим реальностям Козинцев очень не любил, просто-таки не переносил, когда о Максиме историки кино (в том числе и автор этих строк в своих ранних ученических писаниях) судили как о некоем конкретном деятеле, «правильном большевике в кожаной тужурке, которому "для утепления" иногда разрешается выпить рюмку водки». Он был недоволен тем, что коллега по "Ленфильму" Фридрих Эрмлер ввел Максима в свою картину "Великий гражданин", где он, ныне большой человек в Москве (действие происходит в 1935-м), приезжает в Ленинград расследовать дело об убийстве Кирова. "Это не Максим. Он не может быть Максимом", – повторял Козинцев, хотя тот же, что в трилогии, исполнитель роли артист Чирков как бы продолжал жизнь героя.

Да потому – сегодня совсем ясно! – что Максим как живое лицо не существует. Не существует и как собирательный образ, принятый в реалистическом искусстве. Это фигура иного эстетического ряда.

И Козинцев на это постоянно намекал, боясь, однако, "рассекретиться" до конца. Подчеркивал, что у Максима нет фамилии. Сравнивал его с легендарным бессмертным фламандцем Тилем Уленшпигелем, с удачливыми и хитрыми героями русских сказок Иванушкой-дурачком и Петрушкой. Настаивал на том, что в фильме много от фольклора, например рассказ о неразменном рубле. А проницательный Эйзенштейн по выходе второй серии, называвшейся "Возвращение Максима", прислал Козинцеву поздравление с "возвращением Рокамболя" – Рокамболь же, как известно, бесстрашный французский разбойник. Максим – это чистый вымысел, веселый революционный идеал.

Что же, значит, "двоемыслие"? Или непреднамеренность, находка? Но даже такой, вполне невинный для всех (для зрителей, для начальства, для интеллигентов) вариант революционной киноповести нового типа не прошел мимо наивысшей цензурной инстанции.

Вернемся к цитированной выше и прерванной записи о детском страхе перед царским портретом: "Чистка аппарата конца 20-х. Большаков (без вицмундира).

Один вечер, вернее, ночь тридцатых вернули меня в детство, в актовый зал молебна Киево-Печерской пятой гимназии. И портрет ожил"[14].

Той ночью Козинцев, Трауберг и Шумяцкий были вызваны в Кремль на просмотр "Юности Максима" Сталиным. Обошлось. Фильм был одобрен. Но чувство непереносимого унижения, собственного ничтожества осталось до конца дней. Оно нарастало. Несмотря на фанфары, ордена, призы и Сталинскую премию 1-й степени за трилогию в целом, полученную в 1941-м, в самый канун войны, зловещие предчувствия не утихали.

Взятое под персональный контроль вождя продолжение судьбы Максима подвергалось бесконечным переделкам, поправкам, новым и новым конъюнктурным правкам согласно политическим требованиям дня. И если вторая серия, "Возвращение", сохранила в себе много забавного и живого, правда будучи сильно подпорченной разоблачением меньшевиков, не имеющим отношения к Максиму, то третья, "Выборгская сторона", оказалась весьма унылым историко-пропагандистским фильмом. И сам Максим с его улыбкой, неразлучной гитарой и лихими песенками превращался в волевого, резкого, с подозрительным прищуром красного комиссара.

Далее в биографии Козинцева следуют вполне банальные для советских деятелей искусств события: запрещения картин (одной, другой, третьей), закрытие сценариев, проработки. Мелочная опека редактуры и постоянный контроль в кинопавильоне едва ли не дисквалифицируют выдающегося мастера кино. Он выпускает вялые, скучные протокольные картины про великих людей прошлого ("биографический жанр"). Большаков, уподобленный им директору гимназии, пусть и без вицмундира, – надсмотрщик № 1.

К себе, к своей заветной теме Козинцев вернется в экранной классике. Еще одна его экранная трилогия: "Дон Кихот" (1957), "Гамлет" (1964), "Король Лир" (1971), объединенная общей концепцией, возвела давнишний поединок жертвы и карателя к масштабам противостояния "человек и время", точнее: "человек совести и черное, лихое время", каким раненая душа Григория Козинцева продолжала (что видно из посмертно опубликованных дневников) считать и "оттепель", и "застой". Раз обольстившись огнями Октября, ошибки не повторил. И его поздние фильмы шекспировским "эзоповым" языком говорили о людских страданиях, о напоре зла, об издевательстве силы над слабым и безвинным. Согласно точной характеристике Питера Брука, "человечность была темой" Козинцева в его Шекспире. Еще один пример внутреннего преображения, точнее – высвобождения из плена советской идеологии, возврата к себе.

3

Андрей Тарковский (род. в 1932-м) вырос в чисто советское время, судьба ему уготовила долю, как теперь выражаются на постсоветском арго, "совка" со всеми вытекающими отсюда последствиями. Истинно аристократическое (род Тарковских восходит к дагестанским правителям – Таркам, которым российское столбовое дворянство было пожаловано еще в XVII в.) и потомственно интеллигентское (деды, прадеды – врачи, агрономы, учителя) происхождение, разумеется, не дало семье привилегий, благо что не погубило. Не вояжами в Париж на каникулах, боннами и виллой на взморье, как у мальчика Эйзенштейна, не латынью в классической, пусть и нелюбимой, гимназии, как у мальчика Козинцева, а бедностью и стойкой недостачей отмечено детство Андрея Тарковского. Он вырос в деревянной хи-

баре на улочке Щипок в дальнем Замоскворечье, учился в соседней простецкой десятилетке. Но при этом быт дома можно охарактеризовать приевшимся словом "духовность". Деньги выкраивались не на новые ботинки, а на книги и альбомы, не на колбасы, а на билеты в Консерваторию, на уроки музыки и рисования.

Революция, ни как тектонический сдвиг, поднявший вверх новаторское кино корифеев-первопроходцев, ни как личное переживание не существует в миросозерцании и творчестве Тарковского. Он целиком и полностью – человек последующей эпохи, производной от Октября, предложенной новым поколениям как данность, установленная "до нас", мифологизированная, культовая. Никакой романтики воспоминаний, чему отдали дань многие, в том числе и хорошие писатели, поэты. Интересно, что и у Арсения Александровича Тарковского, рожденного в 1907-м (очень существенное влияние отца на сына недостаточно учтено биографами), находим то же самое. Его стихи запечатлевают с щемящей любовью и вещной памятью "белый, белый день", блаженное неведенье в отчем доме до 1914-го. Дальнейшее же сливается в полосу голода, смерти и страха. Никакого "нас водила молодость в сабельный поход"... Но – выжили! Тарковские принадлежали к той немалой части русской интеллигенции, кого называли "окопавшимися". Не диссиденты, нет, но и не участники, "контрики" не "контрики", а так – на обочине, всепонимающие, но помалкивающие, ибо борьба с режимом невозможна и бесцельна. Один из лучших русских поэтов XX в., Арсений Тарковский, смог опубликовать первый сборник стихов, когда ему было за 50, до того же числился переводчиком с восточных языков.

Место революции как трагического центра жизни, и народной, и частной, заняла у обоих, отца и сына, война. На фронте старший, чудом оставшись в живых, лишился ноги по бедро. Для младшего, кого июнь 41-го настиг восьмилетним, война означала беды эвакуации, нищету, непомерную жалость к матери, которой приходилось по скудному воинскому аттестату тащить его и сестру. Горести усугублялись семейной драмой: отец уже несколько лет как ушел из дому. Здесь, наверное, пункт детской травмы (радость для психоаналитика!), столь же значительной для будущего творчества художника, как неведомый нам шок Эйзенштейна-ребенка, как, по признанию Козинцева, моменты, когда гимназическая процентная норма распластывала маленького школьника. Но в том-то и дело, что, очевидно, существующий а р х е т и п послереволюционного искусства России, почти неправдоподобно, скрыто сохраненный с XIX в. и пронесенный через советские десятилетия, неотвратимо означает хрестоматийную пушкинскую формулу "судьба человеческая, судьба народная".

В "Ивановом детстве" (1962) героем стал двенадцатилетний мальчик-партизан, не только жертва, но и рыцарь, ревнитель, олицетворение войны. Одержимостью мщением, ненавистью, злобой он пугает взрослых командиров, испугал и западных интеллектуалов 60-х, видавших виды и посвятивших фильму русского кинодебютанта длинную газетную дискуссию. "Ребенок безумен, как безумна война!" – вскричал Жан-Поль Сартр в своем примечательном эссе о фильме[15]. Но ведь в своих снах Иван видит убитую немцами мать, сожженный дом, трупы и руины, а родная земля вопиет о возмездии.

Начиная с "Иванова детства", все фильмы Тарковского – своего рода исповеди, его собственная биография, пусть и резко преображенная, одетая в исторические, научно-фантастические, чужестранные одежды, лишь в "Зеркале" почти приближаясь к подлинному жизнеописанию автора. Герой, кем бы он ни был в каждом данном воплощении: иконописец ли, русский святой Андрей Рублев, астронавт ли из космиче-

ского будущего Кельвин в "Солярисе", проводник ли по смертоносной таинственной "зоне", некто Сталкер, или русский Горчаков, который ищет в Италии следы своего предка в "Ностальгии", или даже современный шведский интеллектуал (Тарковский и на это осмелился!) Александр в "Жертвоприношении", – он всегда и суверенен, и своими нравственными исканиями максимально приближен к своему творцу, Андрею Тарковскому, на каждой новой, соответствующей фильму, ступени его пути. Это поистине alter ego автора, или, точнее, его косвенное, опосредованное "я".

Кадр у Тарковского насыщен автобиографическими смыслами, приметами, деталями, которые "узнаваемы" для близких, друзей, современников и одновременно имеют самодовлеющий смысл. Можно проследить развитие мотивов и образов, непосредственно подсказанных домашним кругом и бытовыми воспоминаниями. Например, в "Зеркале" есть великолепный зимний пейзаж: снежная равнина с множеством людских фигур, снятая с верхней точки. Сразу напросилось сравнение с "Зимами" Брейгеля, и рецензенты быстро о том написали. Но на самом-то деле это документально воспроизведенный высокий берег Волги зимой в родном городе Тарковского Юрьевце, где они с матерью жили в эвакуации. Такова и вся ткань его картин, их покоряющая "одухотворенная вещность", "просветленная материя", документы, они же символы. У Тарковского уже совсем иная стадия выражения личностного, экзистенциального, прямой, а не "эзоповой" речи в рассказе о времени и о себе, нежели у его отечественных предшественников.

Вместе с тем нельзя принять и топорное противопоставление Тарковского старшему поколению советских кинематографистов, особенно Эйзенштейну, сопровождаемое тезисом, что, дескать, тех интересовала "масса", а у этого впервые возникла "личность" во всех ее проявлениях. Да, Тарковский много спорил с Эйзенштейном по принципиальным, но чисто кинематографическим вопросам. Но сопряжения "человек и время", "человек и история" у младшего мастера традиционны для послереволюционного русского кино: мир и человек равнозначимы, взаимопроникаемы, и трещина мира идет по сердцу героя. Заметим, какие вопросы мучительно решает этот герой – всегда вселенские, всегда космического порядка:

Он смотрит на планету,
Как будто небосвод
Относится к предмету
Его ночных забот, –

строки Бориса Пастернака могли бы относиться и к исканиям Кельвина, и к подвижничеству Сталкера, к Александру, который решает сжечь свой дом, чтобы спасти от гибели мир.

Эйзенштейн – Козинцев – Тарковский. Не антиподы, а единство. Просто перед нами разные этапы огромного исторического и художественного процесса, который, пользуясь выражением Герцена, можно определить как время "наружного рабства и внутреннего раскрепощения". Раскрепощения от мертвящей коммунистической идеологии, от пафоса классовой ненависти и борьбы. Преображения изнутри произведения искусства. Возврата к общечеловеческим и русским национальным, христианским в своей основе духовным ценностям.

Время это началось не по приказу, объявившему в стране гласность и демократию, а гораздо раньше, шло к своей политической легализации исподволь.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См., например: Преступник по имени Эйзенштейн? // Сов. экран. 1993. № 5–6. С. 3.
[2] По соседству с Фадеевым // Лит. газета. 1996. 10 июля, № 28 (5610). С. 6.
[3] *Эйзенштейн С.М.* Избранные произведения: В 6 т. М.: Искусство, 1964. Т. 1. С. 72–73.
[4] См., в частности: *Eisenstein S.M.* Yo, Ich selbst // Memoiren. Wien, 1985. Bd. 1–2; *Шкловский В.Б.* Эйзенштейн. М.: Искусство, 1973; *Аксенов И.А.* Сергей Эйзенштейн: Портрет художника. М., 1991; *Юренев Р.Н.* Сергей Эйзенштейн: Замыслы. Фильмы. Метод. М., 1985. Ч. 1; *Зоркая Н.М.* Сергей Эйзенштейн // Зоркая Н.М. Портреты. М.: Искусство, 1966; Sergei M. Eisenstein: The definitive biography by Marie Seton. N.Y.: Grove press, inc., 1960; *Leyda J., Voynow Z.* Eisenstein at work. N.Y.: Pantheon books, 1982. Следует заметить, что всегда чрезмерно волновавшая биографов (да и просто любопытных) тема сексуальной жизни Эйзенштейна и, возможно, каких-то неблагополучий в этой сфере, влиявших на его творчество, – тема, в высшей степени деликатная и ранее муссировавшаяся преимущественно западными авторами, ныне стала достоянием и экссоветских журналистов, что иногда приводит к бестактности, а то и грубым вымыслам.
[5] Цит. по: *Зоркая Н.М.* Портреты. С. 65.
[6] Сообщено автору Наумом Клейманом, директором Российского музея кино и Музея С.М. Эйзенштейна.
[7] См.: *Никитин А.* Один год Сергея Эйзенштейна. 1920–1921 // Киноведческие записки. М., 1995. [№] 25. С. 12–52.
[8] *Эйзенштейн С.М.* Указ. соч. С. 73.
[9] Там же. С. 275–276. Об исторических поновлениях в фильме "Октябрь" см. подробнее в статье: *Зоркая Н.М.* Миф об Октябре как о венце истории // Культурологические записки. М., 1996. Вып. 2. С. 50 и след. Там же подробнее и об эволюции религиозных взглядов Эйзенштейна.
[10] *Эйзенштейн С.М.* Указ. соч. Т. 3. С. 536. Из новейших анализов фильма "Иван Грозный" укажем на яркую и остродискуссионную статью: *Жолковский А.* Поэтика Эйзенштейна – диалогическая или тоталитарная? // Киноведческие записки. М., 1992. [№] 16. Архив С.М. Эйзенштейна (РГАЛИ. Ф. 1923) сам по себе является уникальным собранием, имеющим и огромную ценность, и драматическую историю. Долгие годы в этом архиве, спрятанном на подмосковной даче Эйзенштейна с риском для жизни, хранился еще и архив арестованного В.Э. Мейерхольда; литературное наследие самого Эйзенштейна много лет изучалось и обрабатывалось его вдовой и помощницей, П.М. Аташевой. Несмотря на многотомные издания сочинений Эйзенштейна, архив содержит еще множество неопубликованных материалов.
[11] Цит. по: *Зоркая Н.М.* Портреты. С. 137.
[12] *Козинцев Г.М.* Собрание сочинений: В 5 т. Л.: Искусство. Т. 1.
[13] *Козинцев Г.М.* "Черное, лихое время...": Из рабочих тетрадей. М., 1994. С. 194.
[14] Там же.
[15] См.: Мир и фильмы Андрея Тарковского. М., 1991. С. 11–21.

М.А. Ульянов

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЫРЬЕВ

Человек, уходя из жизни, уносит с собой свой мир, свою тайну. А те, кто потом пытается что-то о нем рассказать или, вернее, пробует воссоздать хоть какую-то сторону его индивидуальности, естественно, пропускают это видение через свое сердце, свой мир, – и, значит, этот образ приобретает какие-то новые и, может быть, даже не такие уж характерные для него черты.

Мне же рассказывать об Иване Александровиче особенно сложно, потому что

© М.А. Ульянов, 2000

более или менее близко я узнал его только в последние полтора года его жизни, хотя видел все его картины, начиная с "Партийного билета". Много слышал на студии всяких историй о его неукротимом характере, о пырьевских разносах нерадивых и ленивых. На похоронах Ивана Александровича говорили, сколь много он сделал для молодых режиссеров в те годы, когда, «водружая надпись "Дорогу молодежи", располагали ее поперек этой дороги», – как остроумно говорил Николай Павлович Акимов. А Пырьев действительно умел не только открыть эту дорогу, но и вывести на нее актера.

Слышал много и о том, как благодаря его неутомимой энергии и настойчивости был создан Союз кинематографистов. Коротко встречался на просмотрах материала фильма "Председатель", когда он, как руководитель объединения, где снималась эта картина, принимал снятый материал и скуповато, но определенно подбадривал, а иногда и хвалил.

Много я слышал о нем, но узнал его и что-то в нем понял только тогда, когда начал работать над ролью Мити Карамазова.

По существу, всякое ожидание роли, с которой связываешь свои мечты, свои раздумья, свое мироощущение, все свои самые смелые фантазии, роли, которая видится такой всеобъемлющей, такой непостижимо интересной, есть одно неутолимое мечтание, ни на чем не основанное. Могут пригласить или не пригласить, а, пригласив, могут утвердить или не утвердить на роль. Поэтому, когда актер говорит о роли, которую хотелось бы ему сыграть, он, по существу, говорит о желанном чуде, а не о реальном плане.

Вот, надо полагать, и я дождался в тот раз своего чуда. Как-то в перерыве заседания Комитета по Ленинским премиям (я тогда был членом этого комитета), зная, что Иван Александрович Пырьев собирается ставить "Братьев Карамазовых", я подошел к нему и, абсолютно ни на что не надеясь, попросил попробовать меня на какую-нибудь роль. Пожалуй, это была первая моя просьба о роли. И просьба-то нерешительная и безнадежная, высказанная только для того, чтобы потом себя не корить, что не осмелился спросить. Иван Александрович, криво улыбаясь, сказал мне, что, пожалуй, кроме Дмитрия Карамазова, он не видит персонажа, на которого можно было бы меня пробовать. Я почувствовал холодок, прозвучавший в ответе Пырьева.

Но пути актерские неисповедимы. Вероятно, моя вялая просьба в какой-то миг раздумий о фильме вспомнилась Пырьеву и не показалась такой уж нелепой. Тем более что Иван Александрович знал меня по работе над "Председателем". Всё это мои предположения, не более.

Однажды я шел по двору "Мосфильма" и на мгновение почувствовал, как кто-то смотрит мне в спину. Обернувшись, я увидел, что из машины меня как-то подозрительно пристально разглядывает Пырьев. Увидя, что я заметил его взгляд, он улыбнулся, хлопнул дверцей, и машина уехала. Вскоре после этого мне позвонили из киногруппы "Братья Карамазовы" и попросили приехать.

Иван Александрович встретил меня любезно, даже подчеркнуто любезно и спросил меня, как я посмотрю на его предложение прорепетировать несколько сцен Митеньки. Я, ощущая, как забегали мурашки по спине, согласился. И начались репетиции, которые, вероятно, нужны были Ивану Александровичу для того, чтобы понять, стоит ли со мною связываться. Он все повторял, что это должен быть актерский фильм: "Я без актеров не смогу сделать картину".

Если было необходимо, этот несдержанный, резкий человек умел быть удиви-

тельно терпеливым, предупредительным, мягким. Впрочем, как я уже упоминал, Иван Александрович актеров вообще ценил, любил и умел им создавать условия для работы, но именно для работы, а не для безделья. В данном же случае он соглашался на любые сроки, готов был ждать сколько угодно.

Когда я во время репетиций прикоснулся к характеру Митеньки Карамазова, то буквально не спал ночами, ожидая пробных съемок. Начались сумасшедшие дни. Я в своем старании переигрывал страшно. Пробы были судорожные, надрывные, выхлестнутые. Но Пырьев поверил в меня, в мои силы, и я был утвержден. Этот безумный и прекрасный, противоречивый и цельный, жуткий и светлый, бешеный и тихий, развратный и детский внутренний мир Дмитрия Карамазова надо было постичь мне и сыграть.

С чего начать? Что главное в этой работе? Ведь каждая новая роль для актера – это белый лист. И прежде чем провести первую черту, ты должен ясно представить себе характер, придумать его, нафантазировать. Но здесь я стоял перед разъяренным океаном, который клокотал, ревел, буйствовал, и мне предстояло переплыть его или утонуть. Характер Дмитрия был страстно и сострадательно выписан Ф.М. Достоевским. И мне не нужно было ничего придумывать, мне нужно было нырнуть поглубже в это бездонное море.

Мир героев Достоевского так выпукло-точно вылеплен, так достоверно и индивидуально, так зримо-конкретно, так обжигающе близко они стоят рядом с читателем, что их воспринимаешь как реально существующих земных людей. И когда актеры берутся за воплощение этих характеров, то перед ними открываются такие сложности, такой кажущийся на первый взгляд хаос поступков и чувств, что разобраться в этих джунглях – сложнейшая задача. И эту необыкновенно сложную и запутанную задачу надо решать.

Шекспир дает возможность, исходя из общечеловеческих трагедий, проблем, тем, различно истолковывать характеры Гамлета, Отелло, Ричарда III. Шекспир открывает безграничное поле для фантазии, решений, трактовок.

Достоевский же горячечно конкретен и национален. Здесь не придумаешь, не отступишь. Его надо понять и захлебнуться им.

Достоевский, наверное, самый жесткий и в то же время самый гуманный художник. Он не приукрашивает своих героев, он предельно искренен в желании разобраться во всех их слабостях. С решимостью хирурга он вскрывает душевные гнойники, показывает самое низкое и преступное, всю меру падения, на какую только способен человек. И это продиктовано не патологической страстью к душевным язвам, но желанием преодолеть многоликое зло. Это бесстрашное исследование человеческой души внушает в конечном итоге веру в жизнь.

Я начал читать, читать, стараясь погрузиться как можно глубже, сколько хватало моего дыхания. И чем дольше я читал, тем больше запутывался и в характере, а главное, в том, как играть. Со страниц романа поднималась трагическая, безудержная, почти безумная фигура Дмитрия Федоровича Карамазова.

Чем точнее я хотел быть похожим на Митеньку, так яростно написанного Достоевским, тем хуже и хуже шел материал. На экране бегал человек с выпученными глазами, бесконечно много кричащий, судорожно дергающийся. Казалось, я нахожусь на пределе физических сил, а на экране этот надрыв вызывал лишь недоумение. В чем дело? Я ли не стараюсь и не выкладываюсь? Почему этот крик летит мимо сердца? Я вроде бы понимаю, что хочу сыграть. И чем мы азартнее набрасывались на сцены, тем крикливо-бессмысленнее они получались.

Иван Александрович все время повторял мне: "Миша, перестань читать книгу". А когда раздражался в ответ на многочисленные вопросы, с которыми к нему обращались, ехидно кивал в мою сторону: "Вон спросите Ульянова, он все время читает книгу, он все знает".

Уже к концу работы, когда нашлись те опоры, которые помогли спасти роль, и когда я начал понимать свое нелепое подражательство ремаркам, я разобрался и в том, почему Пырьев так настойчиво сопротивлялся ежеминутному заглядыванию в первоисточник.

Ф.М. Достоевский – глубоко современный писатель, как и каждый великий художник. Поэтому тем, кто берется за экранизацию, важно определить две главные задачи: в чем наиболее полно выражается сегодня современность Достоевского и что режиссер определяет для себя как наиболее важное в произведении, которое он берется экранизировать. Нельзя объять необъятное. У Достоевского что ни образ, то целая тема, требующая специальной разработки: Алеша Карамазов или Смердяков, мальчики или старец Зосима. Философия романа настолько сложна и полифонична и в то же время противоречива, что ее невозможно целиком перенести в фильм.

Пырьев поставил себе главной задачей вскрыть тему взаимоотношений между людьми, показать любовь Достоевского к людям, "беспощадную любовь к человеку". Именно поэтому писатель ставит своего героя, по выражению Эйзенштейна, иногда "в нечеловечески постыдные положения", в которых может проявиться вся глубина его души. Вот таков Митя Карамазов, которому присущи черты карамазовские, необузданные, и в то же время чистота души, глубина чувств, свойственная людям, страдающим от несправедливости, внутренне незащищенным перед "проклятыми" вопросами, которые беспрерывно ставит жизнь. Основной смысл экранизации – попытка раскрыть нравственные проблемы, обнаженно и жгуче стоящие перед героями этого гениального произведения, и показать, какой отклик получают они в душе и в поступках героев.

При экранизации такого романа, как "Братья Карамазовы", режиссер и вместе с ним актеры не в силах объять весь гигантский мир произведения. Это реальность, с которой надо считаться. На мой взгляд, бесплодны споры о том, вправе или нет режиссер экранизировать классическое произведение, если он не в силах подняться на такую же высоту. Нелепое и невыполнимое требование. Постановщик стремится передать дух произведения, его созвучие сегодняшнему дню, а значит, выбирает в этом космосе одну звезду, которая в настоящий момент ближе всего к людям. И вот эту часть космоса режиссер – тщательно и по мере сил – глубоко изучает и стремится как можно точнее показать. Что, это весь мир? Нет, это только часть несказанно огромного. Но это должна быть часть именно того мира, который показан автором. Именно того, а не другого. Вот здесь надо следовать точно мысли писателя.

Я убежден, что каждый режиссер, который прикасался к Достоевскому, будь то Куросава или Пырьев, читали великого русского писателя по-своему. Разумеется, не было и нет режиссера, чьи идеи были бы абсолютно идентичны идеям Достоевского. Пырьев сделал акцент в своих "Братьях Карамазовых" на мысли – человек достоин счастья.

Позднее он сам ощутил неполноту трактовки, неполноту следования Достоевскому. И, сознавая это, в уже сложившийся сценарий, в съемочном даже периоде, вставил среди клокочущих событий беседу Ивана и Алеши в трактире – сцену ста-

тичную, но так много объясняющую во внутреннем мире героев, в философской основе "карамазовщины".

И когда я, буквально следуя тексту романа, старался сориентироваться в этом кипящем море, я запутывался еще больше. Иван Александрович убеждал меня не быть таким буквоедом. Он хотел, чтобы я нашел пусть маленькую, пусть узенькую, но свою творческую дорогу и твердо шел по ней, а не блуждал в бесконечном мире Дмитрия. Дорога эта должна быть выбранной, найденной и намеченной, исходя из моего, актерского понимания романа. И тогда берется в путь только то, что актер в силах донести и что в силах показать. Это не все? Да, не все! Но это то, что ты в силах рассказать своим голосом. Это будет естественно и правдиво. А когда пыжишься, пытаясь поднять сразу всю гору, то надрываешься и фальшивишь. Как бы ни получалось громко и крикливо, все равно это фальшь.

И дома и на съемках, раздумывая о роли, я в общем-то правильно представлял ее сущность. Я понимал Дмитрия как человека, доведенного до отчаяния всем страшным укладом жизни. Он погибает, так ничего и не доказав. И попытка самоубийства – это бунт, это крик, отчаяние, это невозможность поступить по-иному. Загубленный, замученный человек хочет любви от людей, помощи от Бога. Но люди не понимают друг друга, люди убивают друг друга. И Бог тоже не помогает. А Митя правдолюбец, и если он буянит, то оттого, что никто не верит ему, не понимает его. Он мучительно ищет правду, ищет настойчиво, ищет в людях, в их взаимопонимании, казнит себя за свои ошибки и пороки, сам себя казнит больше всех других и от отчаяния и муки идет на преступление. А в тюрьме приходит к окончательному выводу – в любви к людям надо искать правду. По существу весь ход роли – это непрерывное исступленное стремление осмыслить одну тему: почему люди так плохо, так пакостно живут? Почему люди так ненавидят друг друга? Это главная тема роли. И к себе он прислушивается: что же такое с ним происходит, почему он-то все путает, неправильно, не по-человечески поступает, и еще мучительнее становятся его ощущения.

В поисках пути к характеру Мити, в поисках его смысла, в попытке постичь мировоззрение моего героя я пришел даже к такому сравнению: в Мите есть что-то от Мышкина. Может быть, эту мысль можно опровергнуть, не принять. В конце концов я не предлагал свою концепцию, я, как актер, искал почву под ногами, чтобы понять этот прекрасный и страшный характер. Важно, что это сравнение мне давало какое-то новое ощущение роли.

И, как часто бывает, в долгих поисках самой сути, самой сердцевины роли, неожиданно натыкаясь на нее, несколько недоумеваешь: как же ты ее раньше-то не нашел? Так было и здесь. Не темперамент Мити, не его карамазовский характер, не его безумную любовь и муку надо передать. Это все написано, но это только скелет и мясо роли. А душа, сердце вот в этом: "...хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дите, не плакала бы и черная иссохшая мать дити, чтоб не было вовсе слез от сей минуты ни у кого..."

Вот самая главная трагедия Митеньки. Вот почему он кричит: не от характера, а от боли, потому что слезы льются рекой, а он не знает, как их остановить. Через такое ощущение мира воспринимаются им и Грушенька, и Катерина Ивановна, и брат Иван. Все остается: и характер, и страсти, но и все освещается каким-то иным, глубинным светом.

Митя, порывистый, с ясными, как ему кажется, устремлениями, бросается, чтобы ухватиться за человеческую руку, а натыкается на острые углы и с удивлением

видит на своих руках кровь. Он ребенок. Он верит, что взрослые поймут его и помогут ему. Разве можно равнодушно пройти мимо или обидеть его?

Трагизм в том, что слова Мити, отразившись от равнодушных людей, возвращаются к нему, оправленные в официальный холодок бессердечия, и он не может узнать в них, в отраженных, свои бесхитростные и доверчивые чувства; трагизм в обостренной Митиной жажде контактов человеческих. "Я, человек, достоин того, чтобы меня поняли", – говорит он.

Это чувство вообще удивительно сильно в героях Достоевского. Они кажутся необычными, но только потому, что поставлены писателем в условия, гиперболизирующие чувства, эмоции. Хотя это фантастическое преувеличение всегда оправдано психологически. Герои Достоевского предельно искренни в самораскрытии – искренни до беспощадности. Именно эта беспощадность больше всего подкупает.

Возможно, она преувеличена, но преувеличение не убивает достоверности. Достоевский не забывает главного – правды характера. Даже тогда, когда он показывает самое отвратительное в человеке, он не теряет веры в возможность нравственного очищения, в торжествующую силу добра.

Митя Карамазов сохранил в себе детскую наивную способность удивляться и сострадать – удивляться, отчего плачет дите, почему люди не обнимаются. Не за то ль истерзала его жизнь, исчернила его? Да так ведь и не одолела присущих ему наивности и сострадания. Он не пришел к покорной безысходности. Его нельзя причислить к разряду кротких, слабых людей. Ему предназначен другой путь, путь людей сильных, волевых, бунтующих. Он не желает покоряться судьбе. Проследив возрождение души Мити от мрака к просветлению, мы видим, как мучительно и трагически искал он свое солнце. Я не говорю здесь о богоискательстве, о раздвоенности личности самого писателя. Меня чрезвычайно волнует другое: правда человеческих характеров Достоевского, предельная обнаженность внутреннего мира героев.

И чем больше я погружался в этот смятенный мир, тем больше меня била дрожь. Я старался передать эту смятенность и все больше кричал и надрывался. Сердце обливалось кровью, мне хотелось как можно глубже показать все мучения Митеньки, а на экране метался орущий непонятно о чем человек. Руки опускались. Я заходил в тупик. Даже не заходил, а залетал в судорогах, с неистовым ревом. А где выход?!

Выбраться из этого бурлящего потока я уже не мог. А Иван Александрович, понимая мир Достоевского как неистовое столкновение страстей, требовал от актеров предельной отдачи, темперамента, неистового жития. Он был сам полон страстей, которые в нем бурлили и зачастую выливались через край.

Во время работы над картиной "Братья Карамазовы" у меня было три потрясения. Первое – это писатель Ф.М. Достоевский, как я уже говорил, весь его сложнейший мир яростных человеческих чувств, весь этот бушующий, ревущий океан страстей, этот беспощадный, свободный от стыда анализ жизни. Второе – характер взрослого, но беззащитного, как дитя, человека – Митеньки Карамазова. И даже не самое важное, удалось мне добраться в этой работе до высот или нет. Важно, что я прикоснулся к великому и потрясающему. И третье – встреча с удивительной личностью – Иваном Александровичем Пырьевым. Это было большое человеческое событие в моей жизни – встреча с таким непростым, с таким противоречивым, таким неистовым и таким народным художником.

Год работы с ним был большой жизненной школой для нас, актеров, ибо мы встретились с незаурядным, ярким, самобытным человеком, который не мог быть теплым или разумно-умеренным. В своих картинах он все доводил до предела, до пиршества красок, песен, страстей. Перехлестывал, увлекался, ошибался. И свой поистине неистовый характер художника и человека обрушивал на актера, ища вместе с ним способов самого страстного выражения образа.

Иван Александрович был поразительным тружеником, поразительным! Я и раньше много слышал о нем от своих товарищей, которые снимались в его картинах. Ходили легенды о его темпераменте, о том, как он обрушивался на тех, кто отлынивал от своих обязанностей, пренебрегал своим прямым делом. На первый взгляд он производил впечатление колючего человека, очень колючего. Но во время работы над картиной мы день за днем удивлялись его постоянному вниманию к актеру как к самому главному лицу на съемочной площадке. Он не уставал говорить об этом всей группе. Он очень доверял тому, кого снимал, он так много хотел сказать именно через него, поэтому стремился создать для него самые удобные условия. И он же был беспощаден к лентяям, говорунам. Этих он начинал буквально преследовать, не давая им ни минуты покоя.

В его окружении и в самой группе иной раз попадались любители спрятаться в кусты, постоять в тени. Если это видел Иван Александрович, то начинались его знаменитые разносы. Он не любил разговоры вообще, не любил бездельников и теоретиков. Все знают, что бывают такие актеры, которые всего тебе Станиславского процитируют, а сыграть "Здравствуй, мама" не могут. Вот их он терпеть не мог, ибо он любил "зацепление темперамента", а "умные разговоры" на площадке люто ненавидел.

Но особенно проявился его, пырьевский, характер и темперамент в экранизации Ф.М. Достоевского. Сначала вышел "Идиот" с большеглазым и потрясенным Мышкиным-Яковлевым и с неистовой Настасьей Филипповной – Борисовой. Потом были "Белые ночи". И, наконец, после долгих размышлений и колебаний он взялся экранизировать "Братьев Карамазовых".

У Ивана Александровича был любопытный подход к актеру. Он как бы влезал в состояние исполнителя, начинал играть словно вприкидку и постепенно проигрывал вместе с ним весь кусок, стараясь нащупать совместно ту единственную дорожку, по которой надо идти в этой роли. Он именно влезал в шкуру актера и начинал его разогревать своим совершенно поразительным темпераментом тогда, когда уже сам знал, как надо играть.

Именно так происходило во время съемки сцены, когда Дмитрий бьет папашу. Пригласили самбиста, крепенького такого паренька с неправдоподобными мускулами. Начали снимать. Иван Александрович кричал совершенно неистово, я был в мыле в буквальном смысле этого слова, а он нагонял обстановку такой нервозности, которая поначалу казалась совсем ненужной. Но так было только поначалу. На самом деле это было необходимо, чтобы раскачать нас, современных актеров, научившихся говорить правдиво и тихо, но подчас робеющих подняться на высоту – и боимся и не умеем. Иван Александрович знал, как это непросто. Этот худой человек с большим сердцем и горящими глазами подпаливал себя с двух концов. Он буквально разрывал себя и, если ему удавалось передать этот накал актеру, был бесконечно счастлив. А если не удавалось, то мрачно зыркал на тебя и проходил мимо.

Я бы определил его как трагика вдохновения, именно вдохновения, который мог вдруг гениально сыграть и потрясти зрителя, а мог быть и крикливо-аляпова-

тым. И это при поразительной, гигантской работоспособности, которой изумлял нас на съемках.

Под Москвой, на Истре, мы снимали монастырь. На утренний режим он сам поднимал нас в два часа ночи. Присутствовал на гриме, который длился два часа, подгонял нас, кричал: "Быстрей вы, мальчишки!" Выезжали на съемки в четыре часа утра, и часов до одиннадцати-двенадцати мы снимали. Днем, если не было съемки, он играл в шахматы, вечером опять ехали на вечерний режим и часов до десяти-одиннадцати работали, после чего он опять играл в шахматы. Когда он спал? Где он брал силы?

Несмотря на эту поразительную работоспособность, которую Пырьев сохранил до самого последнего дня жизни, он все-таки был режиссером вдохновения. Бывало, приходит на съемку – все у него готово, все он знает, и вдруг его охватывает какое-то неистовство, и он начинает вместе с актером доходить до грани. Так было, например, в сцене с Самсоновым, когда бедный Митя приходит продавать лес, чтобы раздобыть проклятые деньги.

Когда Иван Александрович показал мне, как надо играть эту сцену, я был в ужасе – какое-то неприличие и паясничанье. "Это надрыв человеческой судьбы! – кричал Иван Александрович, страшно вытаращив на меня глаза. – Митя на краю пропасти! Ему и стыдно и страшно, что откажется этот гнусный старик Самсонов". И он, высоко закинув голову, заискивающе глядя в глаза Абрикосова-Самсонова, широко, "фрунтовыми", "аршинными" шагами подошел к нему и, осклабясь, стараясь быть независимо-любезным, произнес первые слова: "Благороднейший Кузьма Кузьмич, вероятно, слыхал уже не раз о моих контрах с отцом моим, Федором Павловичем Карамазовым". И перед нами стоял "человек, который дошел до черты, погиб и ищет последнего выхода".

А иногда он приходил и начинал сам "ставить кадр": сам таскал световые приборы, сам дымы разносил, сам гримировал. Он, как мне кажется, делал это не потому, что кому-то не доверял, хотя и был в работе очень ревнивым человеком, а потому, что еще не совсем понимал, как играть сцену, и искал ее. Но искал, так сказать, темпераментом, чувством, а не разговорами и прохладными беседами.

Я уже говорил, что первое время постоянно держал роман под рукой и беспрерывно зачитывал цитаты: "А вот Митя такой... А вот у Достоевского сказано..." Наконец я ему надоел с этими цитатами, и он мне однажды резко сказал: "Сейчас мы снимаем, а по теоретическим вопросам ко мне домой звоните по телефону с двенадцати до двух часов ночи. – И, помолчав, добавил: – И оставь ты в покое эту проклятую книгу!" Он не стал объяснять, что "цитация при экранизации" – буквальное цепляние за роман – связывает и актера и режиссера. Нет свободы, нет дыхания, ты шагаешь не своим шагом и говоришь не своим голосом. Он не объяснял, он просто сказал: "Положи эту проклятую книгу".

Он был властным человеком, с ним было не всегда и не всем легко. Надо было поработать с ним, чтобы понять, что этот резкий и иногда кажущийся несправедливым, подчас очень грубо одергивающий актеров и работников человек по существу, в главном – справедливый и добрый. Сколько я ни вспоминаю, я не помню ни одного случая, чтобы для окрика не было причин. Если уж Иван Александрович кричит, значит, не привезли костюм на натуру, значит, актер опаздывает, значит, случилось что-то такое, что выбило его из рабочего самочувствия. А он был рабочим человеком, он был мастеровым. Это он принес, наверное, оттуда, из Сибири, от отца и деда.

"Братья Карамазовы" были для него картиной очень нужной. Как-то он, вероятно подытоживая жизнь, хотел понять ее, разобраться в чем-то сложном, в чем-то, вероятно, для него необходимом, в чем-то утвердиться, что-то отмести. Я не могу точно сформулировать, да, пожалуй, и сам Иван Александрович не смог бы точно сказать, что значила для него эта картина, но она была ему жизненно необходима. Потому он так отчаянно боролся со смертью – хотел успеть высказаться до конца.

Пырьев, как опытнейший режиссер, построил съемки с учетом постепенного нарастания картины. Но так было в начале работы. Где-то в середине съемок Иван Александрович начал уставать и решил отснять все второстепенные, или, точнее сказать, не самые сложные, сцены, а потом, отдохнув и подлечившись, опять самые трудные: "Мокрое", "Суд", "Иван и черт". Работать ему становилось все труднее. Но только один раз я услышал от него: "Сегодня я отменю съемку, что-то мне трудно дышать". И было видно, что ему действительно трудно дышать. Он в очередной раз слег на две недели. Едва отлежавшись, сразу вышел на работу.

Природа не всегда бывает справедлива – подарив Ивану Александровичу столько мощи, неукротимости, энергии, она дала ему сердце, которое не выдержало такого накала. Но жизнь благодарна подобным людям: они, и именно они не дают ей превратиться в стоячее болото.

Вот и Пырьев, художник и труженик, жил и творил без устали и без остановки, ошибаясь и находя новые пути, по-русски размашисто и щедро, пристрастно и яростно, обижая и возвышая, уча и отвергая, любя и ненавидя. Фильмы чаще всего устаревают со временем. И многое из того, что бурлило и кипело в былые годы, стало и непонятным и далеким. Таков жестокий закон и жизни и искусства. Но ярость и неистовство художника оставили неизгладимый след в сердцах и зрителей, и товарищей, и учеников Ивана Александровича. Жестокий закон над этим не властен.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 3

I

М. Л. Гаспаров
Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность 5

Ю.С. Степанов
"Жрец" нарекись, и знаменуйся: "Жертва" (К понятию "интеллигенция" в истории российского менталитета) 14

Вяч.Вс. Иванов
Интеллигенция как проводник в ноосферу 44

И.В. Кондаков
К феноменологии русской интеллигенции 63

В.М. Петров
Социокультурная динамика и функции интеллигенции 90

В.В. Кожинов
Попытка беспристрастного размышления об интеллигенции 108

II

А.И. Солженицын
Образованщина 125

К.Б. Соколов
Мифы об интеллигенции и историческая реальность 149

Б.Ф. Егоров
Интеллигенция и массовая культура 208

Т.Б. Романовская
Озарения и основания: русский интеллигент как визионер и профессионал 215

Т.К. Шах-Азизова
Немного о гамлетизме 220

И.Л. Вишневская
"Левое запретительство" и некоторые проблемы русской культуры 225

III

Н.И. Балашов

Русская интеллигенция в ее классическом виде как важный субъект формирования живой культуры России XIX–XX вв. 230

Р.М. Байбурова
Московские масоны эпохи Просвещения – русская интеллигенция XVIII в. 243

Н.П. Матханова
Социокультурные группы в составе администрации Восточной Сибири 1840–1860-х годов. Типы чиновников 251

В.С. Жидков
Российская интеллигенция, большевизм, революция 272

В.Н. Дмитриевский
Художественная интеллигенция и власть: роли, маски, репутации 298

Г.С. Кнабе
Финал: Арбатская эпопея 326

IV

В.К. Кантор
Проблема искушения: Достоевский и "русский путь" 366

В.Б. Катаев
Боборыкин и Чехов (К истории понятия "интеллигенция" в русской литературе) 382

Н.М. Зоркая
Формула преображения (Три судьбы) 397

М.А. Ульянов
Иван Александрович Пырьев 411

CONTENTS

TO THE READER 3

I

M.L. Gasparov
Intellectuals, intelligentsia, the intelligence 5

Yu.S. Stepanov
"Priest sacrificing you'll be in name, and the one sacrificied, in fact". (The concept of 'Intelligentsia' in Russian mentality throughout its history) 14

V.V. Ivanov
Intelligentsia as a guide to noosphere 44

I.V. Kondakov
About phenomenology of Russian intelligentsia 63

V.M. Petrov
Socio-cultural dynamics and the functions of intelligentsia 90

V.V. Kozhinov
An experiment of impartial reflection on intelligentsia 108

II

A. Solzhenitsyn
The smatterers 125

K.B. Sokolov
Myths about intelligentsia and the historical reality 149

B.F. Egorov
Intelligentsia and mass-culture 208

T.B. Romanovskaya
Illuminations and foundations: Russian intellectual as visionary and professional 215

T.K. Shah-Azizova
Some thoughts on hamletism 220

I.L. Vishnevskaya
"Left forbiddance" and some problems of Russian culture 225

III

N.I. Balashov
Russian intelligentsia in its classic variant as an important subject in forming of Russian culture in the 19–20th centuries 230

R.M. Bayburova
The Moscow masons of the Enlightenment period: The Russian intelligentsia of the 18th century 243

N.P. Matkhanova
Socio-cultural groups in the administration of the Eastern Siberia in 1840–1860: the types of state officials 251

V.S. Zhidkov
Russian intelligentsia, bolshevism, revolutioin 272

V.N. Dmitrievsky
Artists and state power: roles, masks, and reputations 298

G.S. Knabe
The finale: the Arbat epic 326

IV

V.K. Kantor
The problem of temptation: Dostoevsky and "the Russian way" 366

V.B. Kataev
Boborykin and Chekhov: about the history of the notion "intelligentsia" in Russian literature 382

N.M. Zorkaya
The formula of transformation: three lives 397

M.A. Uljanov
Ivan Alexandrovich Pyrjev 411

Научное издание

РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

ИСТОРИЯ И СУДЬБА

Утверждено к печати
Научным советом
по истории мировой культуры

Заведующая редакцией "Наука – культура"
А.И. Кучинская

Редактор издательства *В.С. Матюхина*
Художник *Б.И. Астафьев*
Художественный редактор *Г.М. Коровина*
Технический редактор *В.В. Лебедева*
Корректоры
Р.В. Молоканова, В.М. Ракитина, Т.И. Шеповалова

Набор и верстка выполнены в издательстве
на компьютерной технике

ЛР № 020297 от 23.06.1997

Подписано к печати 01.08.2000
Формат 70×90 $^{1}/_{16}$. Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Усл.печ.л. 31,0. Усл.кр.-отт. 31,7. Уч.-изд.л. 40,4
Доп. тираж 700 экз. Тип. зак. 3405

Издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90

Санкт-Петербургская типография "Наука"
199034, Санкт-Петербург В-34, 9-я линия, 12